

# Детство в европейских автобиографиях

От Античности  
до Нового времени



А л е т е й я

**Детство в европейских  
автобиографиях: от Античности до  
Нового времени. Антология**

## От составителей

Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой сборник фрагментов из европейских автобиографических сочинений III – начала XIX в., в которых их авторы рассказывают о своем детстве. Эти рассказы поражают разнообразием тематики и сюжетов – что, впрочем, не удивительно, поскольку это истории людей, которые жили в разные эпохи, в разных странах, принадлежали к разным социальным группам, говорили на разных языках. Удивительно, пожалуй, то, что все они – за редкими исключениями – далеки от изображения детства счастливым периодом своей жизни. Их истории полны рассказами о бремени учения и строгостях воспитания, жестокостях взрослых, несправедливостях и обидах, семейных неурядицах, тяготах войн, болезнях. Это – другие образы детства, во многом не похожие на те, которые мы встречаем в современных автобиографиях, непривычные для нас сегодняшних.

Читатели смогут также убедиться, что эти образы детства не только различны и непохожи на современные, но и изменчивы во времени, причем эти изменения относятся как к их содержанию, так и форме: из кратких и фактологических «зачинов» в историях о своей жизни в поздней Античности и Средневековье они превращаются в обособленные многостраничные рассказы о детских годах в Новое время. Важно подчеркнуть, что во всех случаях эти рассказы представляют особую ценность для гуманитариев – и для тех, кто специально занимается историей детства, и для тех, кто разрабатывает отдельные аспекты общей темы «человек в истории», в последние два десятилетия ставшей одной из магистральных в российском гуманитарном знании. Эта ценность, безусловно, заключена в самой природе автобиографизма: рассказы наших авторов о самих себе содержат уникальные свидетельства, которые мы не найдем в других типах исторических документов.

Все включенные в книгу тексты снабжены биографическими справками об авторах и подробно прокомментированы. Общая вводная статья детально рассматривает проблематику изучения темы. Вступительные статьи к разделам и заключение очерчивают контекст

«рассказов о своем детстве» для разных эпох. Научный аппарат издания будет полезен всем, кто захочет более обстоятельно познакомиться с различными аспектами истории отображения детства в автобиографических рассказах.

Хочется надеяться, что издание, в которое вошли эти разнообразные, порой захватывающие свидетельства, будет интересно не только специалистам – ведь каждый из тех, кто его откроет, когда-то был ребенком, каждый будет невольно сравнивать свои собственные детские переживания с теми, о которых рассказали Августин, Челлини, Монтень, Руссо и еще десятки других авторов.

Книга в значительной мере является результатом многолетней работы большого коллектива исследователей и переводчиков под руководством В. Г. Безрогова по выявлению, подбору, переводу и комментированию рассказов европейцев о своем детстве<sup>1</sup>.

*В. Г. Безрогов, д. п. н., член-корреспондент РАО*

*(Институт стратегии развития образования РАО)*

*Ю. П. Зарецкий, д. и. н. (НИУ «Высшая школа экономики»)*

*О. Е. Кошелева, д. и. н. (Институт всеобщей истории РАН)*

# Рассказы о своем детстве: историческая перспектива

Современные автобиографические повествования о детстве являются результатом долгого пути формирования особого способа размышлять о себе, устно рассказывать о начале своей внешней и внутренней жизни, говорить о нем и в письменном тексте, по большей части предназначенном для чтения другими. Период детства, без сомнения, оказался для европейцев самой трудноосваиваемой частью автобиографического рассказа: он долгое время вообще отсутствовал в повествованиях о себе или занимал в них исключительно скромное место. И лишь в последние три столетия тема детства автобиографа заявила о себе в полный голос.

Задача этого издания – показать через тексты автобиографических воспоминаний историческую динамику ранних взглядов на детство, изменение способов его осмысления и репрезентации, наконец, рождение в европейской культуре особого дискурса «автобиографии детства». Рассматриваемый период III–XVIII вв. характеризуется тем, что, во-первых, относящиеся к нему «рассказы о себе» еще довольно далеки от привычного для сегодняшнего дня жанра «автобиографии», а, во-вторых, детство представлено в них в весьма лаконичной форме. Однако из этого не следует, что они должны быть оставлены в стороне: эти тексты особо интересны своей уникальностью и неповторимостью. Без них история детства была бы не полной, лишенной своих истоков и своего личностного измерения<sup>2</sup>.

Во все времена люди так или иначе рассказывали о себе. Но чтобы понять оставленные ими рассказы, нам важно поставить текст автобиографического источника в его исторический и культурологический контекст, реконструировать цели и задачи автора, проанализировать то, о чем он говорит и о чем умалчивает, каким словарем пользуется. Полноценная работа с текстом воспоминаний, на наш взгляд, требует также предварительного ознакомления с рядом проблем, которыми заняты современные исследователи детства. Рассмотрим вкратце: 1) концептуальное осмысление понятия «детство» и историю его изучения; 2) историю развития

автобиографических текстов о детстве внутри автобиографического жанра; 3) изучение автобиографических свидетельств в современной исследовательской литературе.

# 1. Знаем ли мы, что такое детство и ребенок?

Есть в мире много вещей, о которых в силу их обыденности обычно не принято задумываться. Они для людей как бы разумеются сами собой. В число таких понятий попадают «детство» и «ребенок». Каждый человек, поскольку он был ребенком, уверен в том, что легко ответит на вопросы «Что такое ребенок?», «Что есть детство?»

Однозначность и «всем-понятность», однако, исчезает, как только мы действительно начинаем задаваться этим вопросом и задавать его другим. Оказывается, что на вопрос о сущности ребенка и детства ответить не так легко даже в беседе с современниками.

Если мы скажем, что ребенок – это «недоразвитый взрослый», то подвергнемся критике со стороны гуманистической педагогики, признающей за каждым возрастным этапом самозначимость и самоценность. Если мы скажем, что ребенок не хуже взрослого, равноценен ему, то нас не поймут представители многих традиционных теорий и взглядов на ребенка. Если мы восхитимся чистотой и невинностью ребенка и будем порицать взрослый мир за то, что он его «портит», то вызовем резонные замечания психоаналитиков. Если посмотрим на ребенка как на клубок разнообразных пороков и слабостей, подлежащих искоренению, то будем обвинены в авторитарности и насилии. Если скажем, что из ребенка можно сформировать любого человека – по характеру, моральным и умственным качествам, – то будем раскритикованы генетиками и конституциональными антропологами. Если утвердимся в том, что ребенок есть та «промокашка», на которой с его взрослением проявляется заложенный «от природы» рисунок, то наши руки опустятся, и мы замрем перед молодым поколением как кролик перед удавом.

Если мы скажем, что детство прекрасный и удивительный возраст, то будем обвинены в наивности. Если будем утверждать, что детство – самый трудный и печальный период жизни, то подвергнемся критике тех читателей, кто сохранил о детстве самые лучшие воспоминания. Если скажем, что детство предназначено для приобретения навыков будущего взрослого существования, то нам ответят, что нужно дать детям побыть детьми и нельзя отнимать у них это лучшее время

жизни. Если постановим, что детство – это время для безграничного самовыражения, то нас раскритикуют за то, что мы призываем растить эгоистов и неучей. Если мы в отчаянии попытаемся определить хотя бы хронологическую границу, за которой кончается детство, то даже и этого не сможем сделать, поскольку встретим детей, серьезных не по возрасту, и взрослых, так и оставшихся детьми.

Получается, что понятия «ребенок» и «детство» имеют многогранное и противоречивое осмысление. В каждом обществе, социальном слое, профессии, в каждую эпоху и в каждой культуре они имеют свои особенности<sup>3</sup>. Каковы же они? Исследования последних десятилетий по истории детства дают разнообразные ответы на этот вопрос. Французскому исследователю Филиппу Арьесу мы обязаны открытием в 1960 г. того факта, что феномен детства имеет свою историю. Особенно впечатлила его читателей мысль о том, что в европейском обществе взрослые достаточно поздно стали осознавать детство как особый период жизни человека, которому следует уделять специальное внимание, – приблизительно с XVII в.<sup>4</sup> До этого периода (с которого стала понижаться детская смертность, стала развиваться школьная система, формироваться новый стиль частной жизни, в которой ребенок приобретал особое ценностное значение и пр.) эмоциональное отношение взрослых к детям можно скорее определить, по мысли Арьеса, как равнодушное. В Средние века и даже в начале Нового времени, считал Арьес, годы, следующие за младенчеством, люди не рассматривали как время жизни, качественно отличное от взрослости, как стадию жизни со своими собственными специфическими нуждами, интересами и возможностями<sup>5</sup>. Дети с семи лет были лишь младшими членами взрослого сообщества. Они принимали самостоятельное участие во взрослом труде и досуге, носили ту же одежду, что и взрослые, ели такую же пищу. От детей у взрослых того времени не было секретов. Арьес относился к этому периоду «небрежения» детьми достаточно положительно, считая, что последующие эпохи, начиная с XVII в., когда постепенно произошло «открытие детства», внесли в детский мир больше стеснения и боли, нежели свободы и радости, поскольку взрослые отгородились от детей и ограничили их жизнь рамками детской и жестких правил поведения вне ее.



Одни исследователи 1970-х годов взяли на вооружение идеи Арьеса и, изменив акценты, обнаружили большое количество фактов, подтверждающих не только равнодушное, но и чрезвычайно жестокое отношение к детям в античном и средневековом обществе и улучшение статуса детства в эпоху Просвещения; другие – нашли немало контраргументов, показывающих, что и в период Античности, Средневековья и раннего Нового времени встречались любящие родители, а взрослые в целом имели достаточно четкие и определенные понятия о детях и их воспитании<sup>6</sup>. Но и в само понятие любви и заботы о детях в разные эпохи несомненно вкладывалось разное содержание, отличное от наших современных представлений. Американская исследовательница К. Калверт по этому поводу пишет следующее: «Найдется достаточно свидетельств того, что всегда были разные родители: любящие, небрежные и жестокие к детям родители. Изменялось ли с течением времени соотношение этих трех групп? Ответ зависит от того, выражает ли исследователь современный взгляд на то, какое поведение считать правильным и соответствующим интересам ребенка, или руководствуется представлениями изучаемого периода. Природа ребенка определялась по-разному в разные эпохи. То, что считалось хорошим или плохим для детей в одно время, рассматривалось совершенно в ином свете в другое, и любящие родители одной эпохи могли вести себя диаметрально противоположным образом по отношению к практике, принятой в другие времена.

Проблема, таким образом, не в решении вопроса, любили ли родители своих детей, а в том, как они вели себя по отношению к детям, которых они любили. Определенный образец родительского отношения к детям не предполагает, что это единственный способ поведения. Концепция детства поразительно менялась во времени, вместе с изменениями в социальной структуре и культурных установках, с технологическими новшествами, которые заставляли родителей отрицать образцы воспитания детей, принятые предшествующим поколением. Ход этих изменений был не столько продвижением от традиционного воспитания к современному (если понимать под этим переход от плохого к хорошему), сколько последовательной сменой альтернативных подходов. Каждая последующая стадия в истории детства имела свои положительные и

отрицательные черты. Приобретая что-то в одной сфере жизни, дети обычно теряли что-то в другой»<sup>7</sup>.

Имея различные мнения на развитие концепции детства в Средние века и Новое время, исследователи в основном сходятся во взглядах на то, что уже XVIII столетие, век Просвещения и становления индивидуализма, внесло в нее радикальные изменения. Они были связаны с отделением мира взрослых от мира детей в повседневной жизни «знатного» общества. Мир взрослых с его взрослыми делами и секретами уже не впускает в себя детей с той легкостью и простотой, как это было раньше: профессиональная и интимная жизнь взрослых, их «взрослые» разговоры и книги, их досуг, финансовые и житейские проблемы оставались за стенами буржуазной детской комнаты, в то время как детей простонародья продолжали включать во все эти взрослые сферы. Специально для детей создается и новый материальный мир: игрушки, детские книжки, детская одежда, мебель, посуда. В богатых домах дети обслуживаются большим штатом гувернанток и учителей<sup>8</sup>. Педагогически «правильная» организация детства предполагала ограничение его пространства детской, классной, садом и образовательными институтами<sup>9</sup>. С XVIII столетия взгляды и мнения о детстве, которые общество до того редко обсуждало в различного рода специальных текстах, теперь стали складываться в многоаспектную «концепцию». Приобретая самостоятельность, период детства стал значимым для общества. С одной стороны, он активно осмыслялся в педагогике, медицине, теологии, философии, в социальной политике государства, с другой – детство стало притягивать к себе больше заботы и эмоционального внимания родителей, чем раньше. Однако конструируемая исследователями общая «концепция» детства, отраженная в текстах XVIII в., в реальности имела свои отличия в разных европейских странах, воплощаясь далеко не одинаково в различных слоях общества и в разных семьях, не говоря уже о том, что у каждого человека могли быть разные и даже весьма противоречивые взгляды на детство (меняющиеся на протяжении жизни или существующие одновременно).

История детства включает в себя два аспекта. В первом она рассматривается как идея, как «культурный конструкт», который воспроизводит убеждения, чаяния, воззрения, ценностные ориентации

укорененного в определенной эпохе общества и человека по отношению к детям; во втором аспекте выделяется социальная сторона истории детства, отражающая повседневную жизнь ребенка в семье, в школе, на улице, его включенность в социальную среду, статус и социализацию детей разных возрастов и полов в семьях, группах, слоях, регионах и пр.<sup>10</sup>

Различные стороны истории детства исследователи реконструируют на основе различных источников, жанровые особенности которых часто влияют на создаваемую картину. Основными группами таких источников можно считать следующие:

1) содержащие язык и терминологию, связанные с детством, равно как и язык самих детей<sup>11</sup>;

2) педагогические, философские, богословские, медицинские и др. трактаты;

3) документация школ (в том числе и созданная учениками), медицинских, церковных, судебных, благотворительных, промышленных и др. учреждений;

4) государственное законодательство и другие нормативные акты о детях и родителях<sup>12</sup>;

5) изобразительные искусства (живопись, скульптура, архитектура), начиная с изображения детей в живописи и кончая архитектурой частных и школьных зданий<sup>13</sup>;

6) материальная культура детства (игрушки, мебель, одежда и т. д.)<sup>14</sup>;

7) литература для детей<sup>15</sup>;

8) художественная литература о детях<sup>16</sup>;

9) документы личного происхождения, в том числе и самих детей (письма, дневники, мемуары, автобиографии)<sup>17</sup>;

10) этнологические материалы (описания детских игр, записи детского фольклора, обычаев материнства и воспитания, инициации и т. п.)<sup>18</sup>;

11) переписи, актовые, метрические и регистрационные книги и иные демографические и социологические (опросы, анкеты и т. п.) источники<sup>19</sup>.

Почти все эти источники являются результатом творчества взрослых и отражают их мнения и действия по отношению к детям и детству.

При этом письменные тексты умалчивают о многом, не соответствующем этикету того или иного жанра, подлаживаясь под его каноны. Предметы материальной культуры в этом отношении зачастую могут быть гораздо более «откровенны». Как материальных, так и текстуальных источников, в которых бы слышались голоса самих детей, для отдаленных эпох имеется совсем ничтожное количество, поэтому история детства фактически является скорее историей представлений взрослых о детстве, взаимоотношений с ним, историей «политики детства» и таким образом производна от «истории взрослых» или истории общества в целом<sup>20</sup>.

Среди источников о детстве автобиография, или рассказ о себе, занимает особое место. В ней повествование о детстве ведется от первого лица и, таким образом, как бы непосредственно передает собственно детские впечатления. Однако это лицо – уже не ребенок, а взрослый, и сообщаемое им отобрано, проанализировано, сформулировано и пропущено через сознание взрослого человека, через представления о том, что и как можно и должно о себе рассказывать той или иной аудитории; через написание цельного текста<sup>21</sup>. «Рассказы о себе», кроме того, отличаются от других источников тем, что отражают понимание взрослыми детства не через отношение к другим детям или детству вообще, а через отношение к себе–ребенку. Это дает совершенно особый ракурс рассматриваемой проблеме: одно дело – отношение к другим, и совсем другое – к себе самому.

## 2. Как вспоминали о детстве люди разных эпох?

Воспоминания как логически связные повествования о внутреннем развитии и внутреннем опыте автора, в которых раздел о детстве соединяет этот опыт с историей своего времени, окончательно оформились в особый литературный жанр лишь к XIX в. Не случайно помещение раздела о детстве в автобиографии как равноправного с другими разделами совпало по времени с формированием самого понятия «саможизнеописание»<sup>22</sup>.

Термин «само-биография» (Selbstbiographie, Selbstzeugnisse, Selbsterinnerung, Selbstdarstellung, self-biography, self-character), равный по смыслу современному слову «автобиография», впервые появился именно в конце XVIII в. В Германии в 1796 г. была издана серия «повествований о себе» знаменитых людей предшествующих поколений для назидания, поучения, равно как и для развлечения читающей публики. В том же году термин self-biography употребил в своих записках английский политик и ученый Исаак Дизраэли, а в 1797 г. в английском журнале в анонимной рецензии на Дизраэли впервые появился термин «автобиография». В 1809 г. в английской периодике этот термин вновь возник в тексте авторской статьи, а с 1834 г. он вошел в заглавие собственно автобиографических сочинений<sup>23</sup>. Отсутствие термина «автобиография», однако, еще не означало, что до того не существовало соответствующему ему жанра. Процесс развития автобиографического сознания протянулся во времени на несколько тысячелетий.

Первые рассказы о себе были написаны примерно четыре-пять тысяч лет назад. Когда люди обрели навыки письменности, они стали фиксировать ответы на вопросы: «кто я есть?», «как я стал тем, кто я есть?». Автобиографическая память как свойство homo sapiens, видимо, находила выражение и в устной культуре. Письменность дала ей новые возможности и поставила ее перед своими правилами. Однако в древнейшие времена тексты «о себе» были уникальны, невелики, отрывочны и избирательны – как по составу авторов, так и по содержанию. Жизнь человека в условиях древних обществ

иерархизирована и ритуализирована, подвергнута детальной регламентации. В «рассказах о себе» человек этого общества стремился показать себя неразрывной частью того целого, которое составлял народ (племя) и государство. Он становился самим собой и одновременно «настоящим (состоявшимся, реализовавшимся) человеком» постольку, поскольку соответствовал канону воспитавшего его общества. Его жизнеописание отражало типичность его статуса в роде, сословии, племени и т. д. «Рассказы о себе», по-видимому, произошли от необходимости первоначально публичного рассмотрения своего точного соответствия нормам общества. Именно об этом прежде всего писал древний египтянин или житель Месопотамии. Люди древних обществ не включали в жизнеописания о себе сколько-нибудь пространные рассказы о детстве, только изредка проговариваясь о нем между строк, поскольку ребенок стоял за рамками образа полноценного члена общества. Изображение детства помещалось лишь в рассказы о богах, героях или выдающихся правителях и описывалось потому, что было необычным и сверхчеловеческим. Так было в древнем Египте, в Месопотамии и у хеттов, в Персии и Палестине<sup>24</sup>, данная модель продолжала оказывать большое влияние и на древнегреческое и древнеримское общества, хотя степень развития индивидуального начала в этих культурах была выше египетской и месопотамской<sup>25</sup>. Однако в Греции и Риме сложилась отрицательная оценка детского возраста, то есть представление о детях как объектах принудительного воздействия со стороны взрослых. Сохранявшаяся идея о том, что движущая сила человеческих поступков и чувств не является его собственным достижением (заслугой или проклятием), а приходит со временем извне, не способствовала утверждению идеи о самооценности ребенка. Продолжалась традиция пренебрежения детством в описаниях своей жизни<sup>26</sup>. Лишь в поздней Античности под влиянием панегирика, защитительной речи в суде и «поворота к биографии», выработавших четкую структуру жизнеописания героя, элементы воспоминаний о детстве и ранней юности начинают время от времени проникать в греческую и римскую «автобиографию»<sup>27</sup>. Тексты о детстве римских писателей куда более индивидуализированы и обширны, чем греческие (известно, что существовало гораздо большее количество автобиографических текстов, помимо тех, которые дошли до наших

дней). Заметим, что биография в Античности не была тем жанром, который был призван повествовать об обычных людях – она была предназначена для героев, – но ее влияние сказалось на немногочисленных рассказах о себе, например, таких античных авторов, как Лукиан, Марк Аврелий, Либаний. В целом античная автобиография была способом самоутверждения и самозащиты представителей высших сословий<sup>28</sup>.

Простому смертному невозможно было писать о своем детстве по схеме героического детства, например, как у Геракла или у обожествляемых императоров, поэтому в среде античных писателей и философов складывался другой подход: они изредка начинают упоминать о своем детстве прежде всего как о периоде интеллектуального и профессионального становления. Годы возмужания становятся возможным полем для философской новеллы и назидательного рассказа о годах обучения и о своих учителях<sup>29</sup>.

Позднеантичное общество придавало большое значение описанию годов учения в биографиях и панегириках различных знаменитых людей, поскольку уже по ним видны те или иные особенности будущей судьбы взрослого человека<sup>30</sup>. Это привело к разработке жанра описаний деятельности учителей, в том числе и тех, которые сыграли важную роль в жизни авторов таких описаний. Традиция эта впоследствии соединилась с распространившимся почитанием Христа как Учителя. Ярким примером служат воспоминания III в. об учителе Оригене, которые принадлежат Григорию Чудотворцу.

Первые шесть веков нашей эры были временем активного диалога языческого и христианского взглядов на человека и его жизнь. Античная биография продолжала в это время свое развитие и использовалась в основном в качестве воспитательного примера, вызывающего у аудитории гражданские чувства и изображающего выдающегося человека как тип. Она не только делалась более детальной в описаниях детства своих героев и расширила их возможный круг, но и, под влиянием новой религии, обратилась к духовному началу в каждом человеке, к его душе. Христианство дало своим последователям инструмент самоанализа – исповедь. Ее влияние на автобиографию оказалось неизбежным.

Однако, зародившись как публичная, проходящая в присутствии скопления верующих, исповедь затем утвердилась в форме исповеди

тайной<sup>31</sup>, и это привело в конце концов к тому, что в Средние века стало не вполне пристойным писать о себе (поскольку к письменному тексту относились как к публичному акту): желание выступить со своей автобиографией, как и в классической Античности, вызывало подозрения, но уже в другом – в закравшемся в душу автора грехе гордыни. Устно о детстве рассказывали по преимуществу лишь сами дети, приходившие к священнику на исповедь. Тем более ценны для нас те немногочисленные средневековые тексты, в которых их авторы – а это исключительно духовные лица – по тем или иным причинам все же поверяют пергамену свои детские воспоминания.

Христианская позднеантичная и раннесредневековая культура фактически породила первую автобиографию в собственном смысле этого слова, в которой достаточно подробно говорилось о периоде детства. Именно христианская традиция в отличие от Античного общества, в целом смотревшего на детей как на имущество, придала ребенку как «душе живой» большую ценность, так как уже с момента рождения человек есть создание Бога по его образу и подобию и в принципе несоизмерим ни с каким имуществом, в нем есть дух Божий<sup>32</sup>. Но эта же традиция стала различать божественного ребенка, образец которой был явлен в младенце Иисусе, и маленькое греховное существо, с первого появления в этом земном мире увязающее в различных грехах – гневе, неуважении к родителям, затем лжи, сквернословии и т. п.<sup>33</sup>

Христианин не рассматривал себя как автономное существо, движимое исключительно своим собственным желанием, а не высшим помыслом. Тем не менее христианство дало человеку статус наилучшего творения Создателя, творения, не только наделенного разумной душой и имеющего свободу воли, но и потенциально призванного к вечному спасению через усовершенствование души, то есть внутреннего начала в каждом человеке. Противопоставление земного и небесного, царства мирской смерти и царства вечной жизни ставило человека от рождения в положение путника, идущего либо к Богу, либо от него. Христианину следовало понимать, на каком отрезке пути он находится в настоящий момент, каким путем он уже прошел и в каком направлении ему надлежит идти дальше. Для этого очень важно было иметь назидательные примеры, помогающие интерпретировать свою моральную биографию. В их число входили



как биографии божественных и святых персонажей (легенды и жития), так и некоторые, весьма редкие, автобиографии. Не стоит забывать, что их редкость вызвана еще и тем, что вплоть до начала XVI в. связь между «познанием себя» и отражением этого процесса в письменной форме отнюдь не была всеобщей. Редко появлявшиеся на свет средневековые автобиографии писались в рамках жанров «исповеди» и «утешения», и стимулом к их написанию часто было состояние душевного кризиса, преодолению которого способствовал автобиографический текст, выступавший одновременно и парадигмальным образцом для других<sup>34</sup>.

Монументальным истоком жанра «духовной автобиографии» явилась «Исповедь» Аврелия Августина, североафриканского епископа IV–V вв., в которой обширный раздел посвящен детству как началу и источнику того неправильного пути, который преодолевается лишь с помощью Господа<sup>35</sup>. Именно с этого памятника начинается традиция развития автобиографии как истории обращения индивидуальной души к Богу, как истории избавления от своей греховности и от ловушек мира под мудрым надзором, воспитанием, любовью и заботой Господа; как вида терапевтической молитвы и средства истинного самопознания<sup>36</sup>. Жанр «духовной автобиографии» прошел долгий путь развития, обретая время от времени новое дыхание в русле того или иного религиозного направления или концепции. В историях «своей жизни» средневековые и новоевропейские духовные лица, как и многие миряне (и католики, и протестанты), продолжали видеть в периоде детства и юности или знамения состоявшейся дальнейшей жизни, или тот греховный период, который впоследствии был преодолен через духовный опыт обращения<sup>37</sup>. Детство такими автобиографами мыслилось как иллюстрация к важным религиозным истинам, обретенным через мистический опыт, как положительное или отрицательное начало истории спасения души.

Под влиянием Ренессанса и Реформации в автобиографии XVII и особенно XVIII в. было сказано новое слово. Начинается история светской автобиографии, хотя традиция автобиографии духовной не утрачивается и продолжает существовать. Итальянский Ренессанс вывел антропологическое начало человеческой природы из той глубокой тени, в которой оно пряталось в период Средних веков. Он стремился поместить человека как можно ближе к верхним ступеням

вселенской иерархии. Человек есть высшая ценность в мире – это мнение породило пристальное внимание человека ренессансной эпохи ко всем мелочам своей внутренней и внешней жизни<sup>38</sup>. Немецкая Реформация и в целом протестантизм на столь же большую высоту стремились вознести человеческие дух и разум<sup>39</sup>. В XVII столетии они заняли в европейском самосознании то место демиурга/преобразователя видимого мира, которое раньше занимал Бог, и представили Творца лишь как абстрактную первопричину существования вселенной<sup>40</sup>. Последняя отныне управлялась собственными, неизменяемыми и до конца познаваемыми экспериментальным путем законами.

Сохраняющаяся в протестантизме традиция духовной автобиографии представляла индивидуальную человеческую жизнь, рассказанную прожившим ее человеком, как образец его духовного опыта поиска соединения с Богом. Из реальной жизни с ее конкретными перипетиями создавался пример для других, чтобы они строили свою земную жизнь под влиянием представленного им образца. Детские годы в таких воспоминаниях обычно выглядят как подготовка к обращению («conversion»), переживаемому человеком в процессе внутреннего поиска истинной веры. Эти годы наполнены трагизмом оторванного от истины существования, преодоление которого обычно знаменует переход в иной период земного существования. Детство в протестантских духовных автобиографиях представлено в соединении его возможно реальных черт и эпизодов с концепцией греховной сущности ребенка, накладывающей на его изображение соответствующие черты. Сравнивая средневековые автобиографические тексты с протестантскими, И. Бен-Амос пишет: «В средневековых биографиях святых их герой изображался как родившийся уже с исключительной святостью и божественностью или обретший их в ранние годы. В «духовных автобиографиях», наоборот, автобиограф XVII в. обычно фокусируется на своем совершенно обычном для человека детстве, от греховности которого помогает спастись только Божественное милосердие; и, в соответствии с протестантской теологией, Божья милость и человеческая греховность таким образом проявляются в качестве примера. Вместо того чтобы изображать маленького, разумного, благодетельного ребенка – «мудрого Соломона», представленного некоторыми средневековыми

агиографами, пуританский автобиограф рисует внезапное познание Бога или внешних сил, которые должны объяснить, показать или сопроводить в духовное путешествие юношу или девушку; таким образом – это более рассказы об обращении в веру, чем свидетельства о чудесах»<sup>41</sup>.

Однако в протестантских автобиографиях продолжал существовать и образ благочестивого детства, сходный с тем, который был обычен для средневековых житий<sup>42</sup>. Но было бы ошибочным думать, что писание о себе стало принято только в русле протестантской духовной автобиографии, люди XVI—XVII вв. вообще стали больше писать о себе, своих чувствах и личной жизни. Они вели дневники, делали записки о себе и родителях для своих детей, писали воспоминания. Например, удивительным образцом рассказа-анализа своей сексуальной жизни в детстве является «Исповедь» Жан-Жака Бушара (1634 г.)<sup>43</sup>.

Обычные воспоминания в жанре исповеди предполагали в первую очередь раскрытие грехов своей жизни перед Богом и осмысление Божьей помощи и наказаний, отразившихся в событиях жизни. От разговора с Богом в присутствии слушателей «рассказы о себе» в XVII и XVIII вв. постепенно становятся разговором с читателями, сначала в присутствии Бога, а затем и без Его приглашения. В духовной автобиографии предмет описания – «детоводительство» ее автора Богом сквозь тернии жизни, Бог выступал настоящим Автором повествуемой жизненной истории. Но наряду с такими текстами постепенно возникает понимание человека как более или менее автономного творца самого себя и своей жизни. В автобиографиях интерес к свидетельствам о Божественном промысле в личной судьбе человека сменяется интересом к опыту конкретного автора, к тому, как он построил свою жизнь и распорядился ею, трагический или благополучный был у него опыт решения проблем и взаимодействия с другими лицами, средой и государством. В XVIII в. особенно усиливается стремление к индивидуализации рассказов о себе, стремление к демонстрации своей непохожести на других. Критерий самовыражения становится одним из главных<sup>44</sup>. Он-то и приводит к появлению термина «авто-биография», о котором говорилось выше. Жизнеописание XVIII века ощущает настоятельную потребность в активном включении в него периода детства. Происходят изменения в

различных сферах – усиливается роль и значение частной жизни человека. В ней особое место занимают дети. Мы уже говорили о том новом отношении, которое в XVIII в. стало проявляться к детям и детству. Этот век все активнее «работал» над проблемами детства, производя новые теории и методы в воспитании и образовании, в медицине и гигиене, новые подходы к детской литературе.

Таким образом, с одной стороны, «самостоятельная» концепция детства в обществе становится столь явной, что ее трудно уже было «не замечать» и человеку, пишущему свои воспоминания. С другой стороны, на представление в автобиографии своего детства влияет и развитие повышенного интереса к собственной персоне, к своим чувствам, эмоциям, интеллектуальному и физическому развитию – результат антропоцентризма, начало которому было положено гуманистами XIV–XV вв., и саморефлексии, выработанной протестантизмом XVI–XVII вв.<sup>45</sup> Центром в воспоминаниях XVIII столетия, которые вполне можно назвать светскими, становится сама личность их автора как таковая, личность, предъявляющая себя публике, но все же личность, вписанная в определенный культурный идеал своего сословия. Автобиография XVIII века во многих своих образцах все еще оставалась способом «подверстать» свою уникальную жизнь под образец или, в лучшем случае, сотворить образец из своей жизни. Детство в ней представлено как почва, на которой сформировалась к моменту написания воспоминаний личность их автора. Авторы скорее перечисляли основные вехи своего детства, чем раскрывали их значение и ценность. Обратиться к последним помогли сочинения Ж.-Ж. Руссо, который впервые сказал о том, что детство является ценностью для человека само по себе, а не только для его дальнейшей жизни<sup>46</sup>. Одновременно с Руссо в Германии Карл Филипп Мориц призывал обратиться к познанию человеческой души, начиная с воспоминаний о самых ранних годах детства во всех их мелких и кажущихся незначительными подробностях<sup>47</sup>.

Именно в XVIII в. появляются обширные автобиографические повествования о детстве рассказчика, выглядящие как вполне самостоятельные части более общего сочинения. В них читателю представляется многогранность детства и его различные этапы: рассказывается о детских и школьных годах автора, его первых «образовательных путешествиях», принятых в то время в среде

высшего и среднего сословий, о подростковой дружбе и отношениях с родителями, и т. п.<sup>48</sup>

Ярким примером является «История жизни» Иоганна Юнга-Штиллинга, в которой детству посвящены сотни страниц, раскрывающие, однако, лишь фактическую, а не психологическую историю взросления мальчика<sup>49</sup>.

Р. Коу в своей книге «Когда трава была выше: автобиография и опыт детства» убедительно показывает, как в конце XVIII – начале XIX в. из автобиографического жанра начинает выделяться особое направление, в котором все воспоминания целиком посвящены детским годам. Они все больше и больше насыщаются экскурсами в психологию ребенка<sup>50</sup>. Период, прошедший с 1782 г., когда была опубликована «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, до 1805 г., когда был подготовлен второй вариант «Прелюдий» Вордсворта, – решающий для зарождения особого типа текстов, к которым может быть применимо название «автобиография детства»<sup>51</sup>.

Когда в XVIII столетии осознание значимости детства достигло столь высокой степени, что появились воспоминания только о детстве, принцип отбора и представления читателям фактов внешней и внутренней жизни стал несколько иным, чем в тех автобиографиях, где детство присутствовало только в виде начальной прелюдии рассказа о собственной жизни. «Автобиографии детства» часто следуют идее, ярче всего выраженной Ж.-Ж. Руссо, – о кардинальном отличии ребенка от взрослого и о влиянии детского эмоционального опыта на всю дальнейшую жизнь человека. Велико на них и влияние немецкой мысли конца XVIII столетия, придающей огромное значение тому, как проходил в детстве процесс воспитания и образования, поскольку ему и только ему человек обязан своими успехами в дальнейшем. Подобного рода воспоминания не только заканчиваются моментом вступления во взрослую жизнь, но и полнее отражают становление темперамента, внутренний опыт детской души и повседневные проблемы ранних возрастов. Основная тема таких сочинений – рост и взросление героя, в то время как для воспоминаний о всей жизни детство существует скорее в виде эскиза к общей картине, который возможно оценить только исходя из знакомства с законченным произведением.

Детство может выступить и как потерянный рай, в чистоту и непосредственность которого приятно вернуться на склоне лет и заново прочувствовать и осмыслить его; оно иногда становится просто зеркалом того природного состояния радости и беззаботности, из которого человек вынужден уйти в сферу культуры и жестких социальных норм. Детство изображается и истоком индивидуальности взрослого, которая хранит в себе трагедии, страхи и радости детских лет. В детстве человек имеет повышенную эмоциональность, его психика более возбудима, и впечатления ранних лет ярко всплывают в памяти и связываются с днем сегодняшним. Именно мир сильных индивидуальных эмоций привлекал к себе читателей воспоминаний на рубеже XVIII–XIX столетий, и показ того, что ребенок далеко не чужд им и психологически не примитивнее взрослого, – в первую очередь заслуга авторов воспоминаний о детстве того времени. В процессе написания воспоминаний происходит внутренняя самореализация автора (выражает ли он свое индивидуальное личностное начало или сравнивает себя с абсолютной религиозной нормой), которая имеет несомненный терапевтический эффект.

Не только развернутое осознание самооценности детства и его значимости для взрослой личности, но и виртуозное искусство его описания в автобиографических сочинениях появляется уже в XIX в. Под влиянием романтизма, провозгласившего каждый период жизни индивидуальной натуры необычайно важным, по-своему и трагичным, и прекрасным, составляющим звено в общей цепи жизненной истории, происходит бесповоротное включение в автобиографию периода детства<sup>52</sup>. Оно занимает там место уже не как подробная предыстория взрослой значимости и своеобразности, как это было в XVIII в., а как «детство само по себе». В этом образе в первой половине века было еще много идеализации, ребенок представал как маленький ангел, существующий в этом прекрасном или страшном (оценка зависела от автора) мире. Вторая половина века придала облику ребенка в автобиографии известную «реалистичность», в автобиографиях действуют дети, похожие на Тома Сойера, созданного Марком Твенем, и Дороти из знаменитой книги Фрэнка Баума «Волшебник из страны Оз». XX век продолжил линию развития описания детства в автобиографии и внес в нее новые черты<sup>53</sup>.

Итак, трудно не увидеть тех разительных отличий, которые произошли в изображении детства за долгие века, начиная с древности и кончая веком Просвещения. Они гораздо более существенны, чем различия следующего этапа развития автобиографии вплоть до сегодняшнего дня. Это объясняется изменениями роли, места и статуса детского периода и в жизни отдельного человека, и в жизни общества в целом; изменениями в понимании сущности детства, его характеристик и значения; изменениями представлений о том, как следует писать о себе. Однако желание писать о своем детстве, вызываемое различными причинами, так или иначе существует в письменной культуре на протяжении практически всей ее истории. Оно проявляется сначала редко, благодаря отдельным личностям, с их особым вниманием к своей жизни в ее целостности, а затем распространяется все шире, закончившись тем, что воспоминания о детстве приобретают статус самостоятельного жанра в литературе.

Однако нельзя не отметить, что желание рассказать о своем детстве в письменном тексте могли осуществить по преимуществу только те, кто свободно владел письменной культурой, а таковых в первобытный, древний и средневековый периоды было меньшинство. Следует сказать, что имеются и очень редкие образцы другого вида рассказов о детстве – посредством рисунков, изображающих жизнь человека в ее последовательности. Такова, к примеру, серия картинок о банкире М. Шварце, проживавшем в XVI в. в Германии<sup>54</sup>. Авторам настоящего текста известен пример из современной жизни, когда пожилая деревенская женщина пыталась изобразить свое детство путем создания кукол (себя маленькой, своих родителей, подруг и пр.) и помещения их в игрушечный дом и комнаты своего детства. Рисуночные циклы эпизодов из своей жизни встречались у североамериканских индейцев, хотя у них рассказывать о своем детстве было не очень принято. Возможно, приблизительно таким же образом поступали неграмотные люди в разных странах во все времена.

Для автобиографов разных эпох, как мы стремились показать, значимость детства воспринималась по-разному и интерпретировалась в русле господствующих в то или иное время концепций человека. Рассказ о детстве мог быть произведен на свет с тем, чтобы соотнести себя со своими предками, встать в ряд людей определенной

социальной группы и показать свое ей соответствие. В Средневековье он часто исходил из размышлений о своей греховности и служил подтверждением одного из двух распространенных мнений: человек делается греховным с наступлением половой зрелости (и тогда ребенок – существо невинное, ангелоподобное) или он греховен изначально (и тогда ребенок еще хуже греховного взрослого, который может контролировать себя с помощью опыта и разума). В характере себя-ребенка и в своих младенческих поступках высматривали божественное предопределение, раскрывшееся со всей полнотой в дальнейшей жизни. Есть и сообщения о детстве, написанные не с прямой целью рассказать о нем, а с тем, чтобы повествовать о некоторых важных исторических событиях, пришедшихся на это время жизни. Фрагменты о детстве вставлялись и ради полноты создания «летописи» своей жизни, с целью не пропустить в ней ни единого года, как это делалось в хрониках и анналах. Детство могло служить фабулой для рассказа о различных приключениях наподобие «плутовского романа». Оно могло быть и назиданием своим детям через образец собственного «правильного» воспитания или воплощено в большой «роман воспитания». Подобных причин обращения к своему детству существует множество, и если возможно говорить о преобладании какой-то одной в определенные периоды истории автобиографии, то и другие, отойдя в тень, все же продолжают существовать.

Все же наиболее значимым из всех возможных побудительных мотивов для обращения в воспоминаниях к собственному детству является осмысление собственной взрослой жизни через обращение к ее началу, в каких бы различных формах оно не выражалось. Стоит лишь человеку серьезно задуматься над вопросами, «кто я сегодня таков?», «почему к настоящему моменту моя жизнь в таком состоянии?», – и он неизбежно, отвечая на них, подойдет к своему детству. Другое дело – насколько он сам и культура его времени имеют способы, возможности и желание отвечать на эти вопросы письменным образом.

Во всех разнообразных вариантах изображения детства их авторы из отдельных эпизодов строят образ «начального себя», имеющий отношение прежде всего к статусу, размышлениям или мироощущению автобиографа в момент написания текста, к



саморепрезентации и к концепту его жизненного пути и судьбы. В автобиографическое размышление «о самом себе для самого себя», даже написанное не для публикации, незримо вторгается третье лицо – читатель. Для авторов значим процесс составления самого текста и возможность предъявления его читателю, имеющему свои литературные вкусы и взгляды, а также и опыт собственного детства.

Автобиография – удивительный жанр, в котором соединяется автор повествования и его герой, исследователь и наблюдатель, исповедник и исповедуемый, прокурор, адвокат, незнакомый прохожий и другие собеседники и читатели.

### 3. Изучение воспоминаний о детстве

Автобиографические тексты о детстве привлекают к себе внимание по многим аспектам: 1) определение особенностей данного жанра; 2) изучение исторической динамики взглядов на детство; 3) решение проблем воспитательного процесса и педагогической психологии; 4) изучение особенностей социализации и роли детства в структуре жизненного пути; 5) реконструкция обычаев воспитания у разных народов и др.

Взгляды на автобиографию как на жанр, присущий исключительно двум, максимум – трем последним столетиям, держались достаточно долго. Даже из текстов XVIII в. предпочитали выделять и «записывать» в «настоящую» автобиографию лишь такие, которые имели аналогии с современными концепциями «Я». Тексты же с рассказами людей о себе и своем детстве, существовавшие до того, как появилась «классическая» автобиография, долго оставались в большинстве своем за рамками исследовательского внимания историков и теоретиков автобиографии, поскольку не вписывались в ее каноны. Они в первую очередь подразумевали самовыражение независимой личности, способной к цельному и подробному самоописанию и само-рефлексии. До тех пор, пока исследователи прикладывали критерии автобиографии XIX–XX вв. к текстам более ранних эпох, из прошлого выделялись лишь отдельные произведения, к которым оказывались применимы эти критерии, а между моментами создания таких текстов оставались зияющие пустоты. Подобное отношение к «текстам о себе», пришедшим из далекого прошлого, было некоторое время свойственно всем направлениям и подходам к изучению воспоминаний. Лучшие автобиографии, по Уэйну Шумейкеру, например, имеют черты реалистического романа – форму, структуру и драматизм повествования<sup>55</sup>. Джером Бакли также трактует автобиографии как тексты, преследующие одну цель – самопознание/самооткрытие<sup>56</sup>. Рой Паскаль, хотя и усматривает исток автобиографического жанра в «Исповеди» Августина, но, не видя далее его преемственного развития, определяет время зарождения жанра второй половиной XVIII столетия<sup>57</sup>. «Решающий»

«классический» «век автобиографии» начинается, по его мнению, с «Исповеди» Руссо и заканчивается «Поэзией и правдой» Гете<sup>58</sup>. Предтечей «классики» является творчество знаменитого историка Э. Гиббона и публициста Б. Франклина, поскольку они описывали свои развивающиеся неврожденные качества, свою личностность. Этот же период отмечен появлением особой «автобиографии детства», которой Паскаль уделяет особую главу и которую считает наиболее удачной и «чистой» формой целостного изображения себя вне зависимости от дальнейшего взрослого развития.

Ричард Коу – первый из исследователей, специально занявшийся воспоминаниями о детстве и их особенностями в структуре автобиографического жанра, – также построил свою книгу по преимуществу на сочинениях XIX—XX вв., посвятив более ранним текстам лишь часть введения<sup>59</sup>. В нем он раскрывает преемственность и различия автобиографических текстов разных эпох.

Однако в исследовательской литературе сложился и другой подход, трактовавший термин «автобиография» весьма расширительно и понимавший под ним все виды литературных свидетельств о себе людей разных эпох. Его основу заложила многотомная «История автобиографии» Георга Миша, который определил необычайно широкие хронологические рамки жанра «рассказов о себе и своей жизни», начав работу с Древнего Востока и, доведя ее до начала XIX в., так и не успев закончить задуманное<sup>60</sup>. В последнее время исследователи пришли к выводу, что более целесообразно для ранних «рассказов о себе» употреблять такие термины, как «эго-документы», «свидетельства о себе», чтобы подчеркнуть отличия подобных сочинений древности от современной «автобиографии» и самостоятельность их задач. Дело в том, что в течение многих веков «рассказы о себе» находили приют «под крышей» других жанров: речей, хроник, исповедей, писем, житий, судебных показаний и проч., – и подчинялись их законам. Да и задачи авторы этих рассказов ставили перед собой отличные от задач «классической» автобиографии. С введением вышеуказанных понятий изменилась не только терминология, но подчас и сам объект изучения. Долгое время исследовательская традиция включала в поле своего зрения рассказы о себе лиц известных и выдающихся в истории, в настоящее время вектор интереса переместился в сторону свидетельств о ничем

особенно не примечательном, «маленьком» человеке и его повседневной жизни в разных регионах, сословиях, в разные эпохи.

Развитие «рассказов о себе», как известно, шло параллельно с развитием понимания человеком своей сущности в соотношении с Богом, природой, обществом, близкими ему людьми. Тексты «о себе», спрятанные в других жанрах, благодаря усилиям многих исследователей извлеченные из них и собранные вместе, приобретают сейчас яркое звучание. Из многих изданий таких текстов можно привести в пример обширный справочник эго-документов, относящихся к периоду первой половины XVII в. в Германии, в котором есть и воспоминания тех, чьи детские годы пришлось на это время<sup>61</sup>; обзор эго-документов австрийского происхождения за 1400–1650 годы, содержащий в том числе сведения о фрагментах, относящихся к детским годам<sup>62</sup>; свидетельства англоязычных эго-документов (дневников, писем, воспоминаний) за 1600–1800 годы, в которых отражены разные аспекты отношений родителей к детям и детское воспитание<sup>63</sup>; две работы по немецким воспоминаниям о детстве, относящимся к 1700–1900 годы<sup>64</sup> и др.<sup>65</sup> К настоящему времени таких собраний эго-документов и справочников по ним, а также отдельных публикаций монографического типа издано уже немало, имеется даже сборник «автобиографических» текстов древних египтян<sup>66</sup>. Однако автобиографические документы о детстве ранних эпох почти не исследовались полностью и систематически как определенный вид источника.

Авторы исследований по истории детства обычно стремятся включить в них различные «рассказы о себе»: они являются наиболее живым и интересным материалом и для читателя, и для исследователя. Автобиографические материалы рассматривались уже таким классиком истории детства, как Филипп Арьес. Однако работы последних лет проявляют все больше скептицизма в отношении «рассказов о себе». В них отмечается, что автобиографии неправомерно принимать за наиболее достоверные источники о детстве, хотя они и являются свидетельствами «из первых рук», то есть сообщениями «очевидцев». Более пристальное и специальное изучение «рассказов о себе» заставляет оценивать их не как прямые свидетельства о реальной жизни детей, но как отражение «понимания детства» взрослым обществом соответствующей эпохи в

литературном, культурном, педагогическом, психологическом и иных контекстах личностного бытия конкретного автора. Подчеркивается, что различные тексты «личного происхождения», к примеру, не столько раскрывают реальные отношения родителей к детям, сколько отражают их утопические стремления в отношении к ним<sup>67</sup>.

Но все же было бы неверно, на наш взгляд, полностью отказать «рассказам о себе» и в отражении реалий детства, и в наличии отходов их авторов от «канонического» мышления, и в выражении личных, индивидуальных мнений и памяти чувств. Примером тому является «Исповедь» Августина, уникальная своим подробным изображением детства, которое одновременно и подчинено типичному для раннехристианской мысли отношению к нему, и дает ему новое осмысление, повлиявшее на дальнейшее развитие образов детства в духовной исповедальной автобиографии.

Придерживаясь основной концепции своего повествования, авторы «рассказов о себе» не только умалчивают о многих реальных событиях или субъективно их искажают, но и «проговариваются» о многом, не имеющем для них существенного значения, обыденном, но важном для исследователя, для людей других эпох. Кроме того, жизнь индивида и его внутренний опыт становления раскрываются подчас именно через автобиографические памятники, что делает их особенно ценными для истории семьи, брака, детства, эмоций и т. п.

\* \* \*

Тексты, с которыми вы встретитесь в данном сборнике, показывают, как в автобиографии своеобразно звучит и набирает силу мотив детства. Это свидетельствует о значимости такой темы для различных поколений, с одной стороны, и о многообразии ее воплощений – с другой. Как собственная личностная история, детство необходимо каждому человеку (для перехода из настоящего в будущее человеку необходимо его прошлое). Необходимо и умение его осмысливать, возвращаться к нему на разных этапах своей жизни. Обращаясь к своей автобиографической памяти, каждый человек стремится лучше понять самого себя, увидеть развитие своей личности. Делать это более осознанно и умело поможет познание образцов прошлого:

образы детства различных эпох дают возможность в сравнении с ними понимать свое время и идущие в сфере детства сложные и часто укрывающиеся от поверхностного взгляда процессы. Представленный в данной подборке материал показывает детство и ребенка как исторически сложившиеся явления, что помогает осознать наше сегодняшнее отношение к детям и детству как исторически изменчивое.

Тексты расположены в хронологической последовательности времен детства их автора, а не времени написания текстов. Историческая последовательность помогает познакомиться со своеобразием каждого произведения и представить историческую динамику не только способов репрезентации детства, применявшихся на протяжении столетий, но и отраженного в них осмысления детского опыта.

*Виталий Безрогов,*

*Ольга Кошелева*

**Часть 1**  
**От Античности до Высокого**  
**Средневековья**

## Воспоминания о детстве в Европе I–XIII веков

Знала ли эпоха поздней Античности и Средневековья детство как особый период в жизни человека, отличный от других? Раздумья ученых над этим вопросом и их споры, особенно после выхода в 1960 г. программной книги Филиппа Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке»<sup>68</sup>, породили несколько десятилетий назад новую междисциплинарную область исследований – «историю детства»<sup>69</sup>. По Арьесу (его позиция и на сегодняшний день, пожалуй, продолжает оставаться наиболее авторитетной)<sup>70</sup>, не только современное понятие детства, но и вообще интерес к этому важному периоду жизни были чужды культуре западноевропейского Средневековья; средневековый мир был «миром взрослых», где ребенка тоже считали маленьким взрослым и где, как правило, никто глубоко не задумывался над его возрастными особенностями. Складывание же современного образа ребенка в европейской культуре относится к XVII–XVIII вв., когда детский и взрослый миры получают отчетливые различия и за первым признается самостоятельная социальная и психологическая ценность, и в еще большей степени – к эпохе романтизма, создавшей нечто вроде культа ребенка.

Нужно заметить, впрочем, что в последующие годы эта позиция не раз вызывала аргументированные возражения<sup>71</sup>. Серьезной критике подверглась эвристическая значимость метафоры «открытие детства», лежащей в основе подхода Арьеса, найдено немало свидетельств того, что Средневековью были вполне знакомы этапы человеческой жизни, соответствующие современным понятиям детства и подросткового возраста. Сегодня исследователи все более решительно формулируют неприятие тезиса об игнорировании ребенка европейским Средневековьем. Суламифь Шахар, специально посвятившая свою книгу проблеме детства в Средние века, например, категорически заявляет: «Был ли взгляд на детство позитивным или негативным, нет сомнения в том, что детство воспринималось в Средние века как самостоятельный этап человеческой жизни с его собственными качествами и характеристиками»<sup>72</sup>.



Но что, собственно, мы знаем о средневековом ребенке? Довольно хорошо изучены философские и педагогические воззрения о нем современников<sup>73</sup>; социальные институты, определявшие его развитие, в особенности такие, как школа и семья; изображение детства в художественной литературе и живописи. Однако важные для воссоздания картины прошлого во всей его живой многогранности вопросы о том, чем было детство для обыкновенных людей Средних веков, как переживали они свой собственный детский опыт, только начинают формулироваться исследователями. Очевидно, что для уяснения их особое значение имеют сохранившиеся документы личного характера, в особенности средневековые автобиографические сочинения. В некоторых из этих самоизображений достаточно подробно говорится о первых годах героя-автора. Не могут ли они внести некоторые уточнения или даже новые существенные штрихи в сложившуюся общую картину? Ведь автобиографический характер этих сочинений превращает их в особую, весьма специфическую группу «живых» свидетельств – тех, которые дают возможность узнать не только то, *что думали люди Средневековья о первых годах жизни человека*, но и то, *как они их чувствовали и переживали на своем собственном опыте*.

\* \* \*

Автобиографические тексты VII—XV вв., впрочем, далеко не всегда рисуют яркие и информационно насыщенные картинки первых лет жизни их авторов. П. Абеляр, например, в «Истории моих бедствий»<sup>74</sup> о своем детстве сообщает крайне скупое и бесцветное. Он приводит лишь некоторые самые общие отрывочные сведения, составляющие часть универсального набора биографических клише: указывается место его рождения, отмечаются одаренность ребенка и склонность к учению, особая забота о нем отца – все это умещается в какие-нибудь два десятка строк. Несколько подробнее вспоминает о детстве Карл IV в третьей главе автобиографического «Жизнеописания»<sup>75</sup>, но его рассказ, по форме мало чем отличающийся от средневековой хроники, лишь сухо регистрирует отдельные внешние жизненные

обстоятельства. Здесь следует заметить, что описания жизни автора в средневековом автобиографическом тексте – это вообще чаще всего история событий и поступков, за которой не всегда удастся разглядеть даже того условного «внутреннего человека», делающего выбор между грехом и Божественной благодатью, о котором говорил Апостол Павел в I в. (Рим 7: 22). Помимо прочего, такие описания нередко имеют выраженный риторический характер. Ордерик Виталий (1075—ок. 1142), автор «Церковной истории» в 13 книгах, по примеру древних снабжает свой труд автобиографическим отступлением, в котором немало говорит о собственном детстве. Однако это описание настолько наполнено изысканными красотами стиля и общими местами, что внутренняя история его собственного детства почти целиком растворяется в них. То, что остается на поверхности и что отличает рассказ монаха о себе от какого-нибудь хрестоматийного «жития», – отдельные биографические факты, прочно встроенные в общую повествовательную канву: дата и место рождения, имена крестившего его священника, школьного учителя и монаха-наставника, других людей, сыгравших важную роль в начале его жизненного пути.

Впрочем, отдельные «детские» сюжеты в памяти некоторых авторов запечатлелись довольно живо и подробно. Чаще всего и больше всего они вспоминают о своем учении. Любопытное описание «запойного чтения» встречаем в «Поучениях» греческого монаха Дорофея (ум. после 560). Сначала книга, по его словам, вызывала у него неудержимый страх: всякий раз, когда ему приходилось брать ее в руки, он «был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю». Несмотря на это, мальчик продолжал понуждать себя, и вскоре был вознагражден за свое упорство Господом: прилежание обернулось в необычайную тягу к чтению. «... От усердия к чтению, – вспоминает Дорофей о том, что стало с ним вскоре, – я не замечал, что я ел, или что пил, или как спал. И никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во время чтения, хотя и был общителен и любил своих товарищей».

Богослов, переписчик и школьный учитель XI в. Отлох Санкт-Эммерамский (ок. 1010 – ок. 1070), рассказывая о своем учении, рисует автобиографический образ пытливого, любознательного и усердного мальчика, намного превосходящего своими способностями

сверстников. Рвение этого мальчика вознаграждается Господом, избавляющим его от усвоенного в детстве неправильного наклона пера и открывающим ему тем самым карьеру переписчика священных книг<sup>76</sup>. Византийский монах Никифор Влеммид (ок. 1197 – ок. 1282) говорит о науках, которые он изучал, а также подробно перечисляет наиболее важные произведения античных и христианских авторов и даже называет учебники, которые он штудировал.

Особое место при этом писатели отводят рассказам о тяготах, сопутствовавших их учебе, в особенности о жестокостях и несправедливостях учителей. Много, с нескрываемой болью и горечью говорит о своем учении Августин Блаженный (354–430). «Боже мой, Боже, – сокрушается он, – какие несчастья и издевательства испытал я тогда». Детский и взрослый миры в его рассказе отчетливо разведены и даже противостоят один другому. В школе, куда его отдали постигать грамоту, он вначале не отличался прилежанием и за свое нерадение частенько бывал жестоко бит. Причем жестокость, проявленная к нему, ребенку, как он хорошо помнит, вызывала не возражения, а, напротив, снисходительные улыбки его родителей, несомненно, любивших свое чадо и искренне желавших ему добра. И это доставляло юному Августину дополнительные тяжкие страдания: «Маленький, но с жаром немалым, молился я, чтобы меня не били в школе. И так как Ты не услышал меня... то взрослые, включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключилось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великим и тяжким тогдашним моим несчастьем».

Суровыми и полными несправедливостей выглядят и годы учения в автобиографии настоятеля Ножанского монастыря Гвиберта (1053–1121). Однако его отношение к перенесенным тяготам и к взрослому миру в целом не столь однозначно, как у Августина. Он считает, что учитель искренне желал ему добра, но был излишне строг и неискусен в своем деле. «Мой учитель, – вспоминает Гвиберт, – питал ко мне гибельную дружбу, и чрезмерная его строгость достаточно обнаруживалась в несправедливых побоях, которыми он меня наделял».

Сюжетная канва рассказа Гвиберта о годах ученичества, если оставить в стороне детали, близка к модели Августина: он тоже не проявлял поначалу должного рвения к занятиям и бывал за это жестоко

бит, тоже тяжело переживал несправедливость этих побоев. Что отличает оба сюжета, причем отличает разительно, – это интерпретация событий авторами. В «Исповеди» шалости мальчика и его увлечение играми, мешавшие учебе, – это всего лишь подтверждение истины об изначальной греховности человеческой природы (детство не невинно, оно всего лишь менее порочно по сравнению с другими периодами жизни человека). У Гвиберта воспоминания о трудных годах ученичества дают материал для заключения иного рода. Причиной его первоначального неуспеха в постижении наук оказывается не он сам, не ребенок, несущий на себе печать первородного греха, а нехватка знаний и умений учителя, за которую приходилось сурово расплачиваться мальчику: «Он бил меня тем несправедливее, что если бы у него был действительно талант к обучению, как он полагал, то я, как и всякий другой ребенок, понял бы легко каждое толковое объяснение». Говорит же он об этом в своем сочинении, как он сам признается, не для того, чтобы запятнать имя доброго друга, каковым этот учитель для него был, но чтобы поделиться с читателем одним из своих философско-педагогических наблюдений: «Мы не должны выдавать другим за верное то, что существует в нашем воображении, и не должны покрывать сомнительного мраком своих догадок».

Построение описаний детства в средневековых автобиографических сочинениях нередко оказывается довольно схематичным, восходящим к тому или иному узнаваемому образцу античной или христианской биографических традиций. Тяготеющие, например, к античной особенно часто и охотно обыгрывают такие топосы, как благородное происхождение героя и его успехи в учении, а продолжающие христианскую – чудесные знамения, свидетельствующие об избранничестве героя и его особой близости к Богу. Конечно, наиболее заметны в этих сочинениях христианские биографические (агиографические) клише<sup>77</sup>, откровенно доминирующие в произведениях, родившихся в монастырской среде. Так, в сочинении папы Целестина V (Петр из Мурроне, 1215–1296) рассказывается, как Всевышний продемонстрировал свое особое благорасположение к будущему главе Римской церкви в пяти-шестилетнем возрасте, открыв сердце мальчика ко всему доброму и вложив в его уста слова о готовности стать слугою Господа. Аналогичная повествовательная

модель обнаруживается в жизнеописании Геральда Камбрийского: когда другие мальчики строили из песка замки и крепости, сам он предпочитал возводить церкви, за что был прозван отцом «мой епископ». Очевидно, что это был знак, наряду с другими ему подобными, указующий на небесную предначертанность жизненного пути ребенка.

\* \* \*

Из всех средневековых автобиографических описаний детства можно указать на два, явно не вписывающихся в общую картину в целом довольно «прохладного» с современной точки зрения отношения авторов к первым годам своей жизни. Эти описания отличаются от других не только необычайной глубиной и детальностью, но и живым личностным отношением авторов к своему давно ушедшему возрасту. Речь идет об уже упоминавшихся «Исповеди» Августина и «Монодиях» Гвиберта Ножанского<sup>78</sup>.

Августин вполне определенно строит рассказ о себе, следуя широко распространенным в позднем Риме представлениям о делении человеческой жизни на семь возрастов. Не достигнув, однако, ко времени написания своей автобиографии последних двух, старости (*seniores*) и дряхлости (*senectus*), он говорит только о пяти из них: внутриутробном (*primordia*); младенческом (*infantia*) – от рождения до появления речи; детском (*pueritia*) – от появления речи до наступления половой зрелости; юношеском (*adolescentia*) и о возрасте полного расцвета сил (*iuventus*) – обычно примерно 20–45 лет, у Августина – с 29 лет до времени написания «Исповеди».

Первые три периода, очевидно, составляют для Августина некое важное в смысловом отношении целое, поскольку рассказу о них он посвящает почти всю первую книгу сочинения. Хотя, нужно добавить, что сами эти периоды для автора «Исповеди» далеко не равнозначны: *primordia* и *infantia* явно менее существенны, чем *pueritia*, так как о них у него не сохранилось своих собственных воспоминаний. Очевидно также, что его интерес к началу своей жизни имеет вполне определенную направленность, заданную жанром всего произведения: вспоминая свое детство, Августин горячо, порой мучительно

стремится осмыслить его в категориях открывшихся перед ним истин христианства. Именно поэтому его припоминание обретает довольно своеобразный вид: всякое автобиографическое свидетельство, всякое устремление или поступок ребенка неизменно соотносятся с этими истинами и тем самым как бы освещаются высшим светом Божественной правды.

Свое появление на свет, вступление в этот мир Августин рассматривает как величайшее чудо, лишь в ничтожной степени доступное его собственному разумению. Что было с ним раньше, был ли он и прежде, до зачатия и рождения его матерью? Все, что он может, это лишь страстно испросить об этом Господа, смиренно преклонив голову пред Его безграничным могуществом и непостижимостью Его мудрости.

Детский возраст в представлении Августина – это, хотя и вобравшая в себя опыт младенчества, но, несомненно, новая, качественно отличная ступень его биографии, начало его собственной сознательной жизни, его Я. Главной внутренней особенностью этой ступени является способность ребенка выражать свои мысли, главной внешней – то, что он впервые по-настоящему вступил в противоречивую и бурную жизнь человеческого общества.

Вся история детства, рассказанная Августином, помимо прочего, насквозь пронизана идеей изначальной человеческой греховности. Хотя сам автор «Исповеди» и не помнит об этом, он все же твердо убежден, что еще в младенчестве совершал дурные поступки, – ведь, наблюдая за другими малышами, он может увидеть, каким сам был когда-то. Августин указывает на характерные для грудных детей грехи, самым серьезным из которых, по его мнению, является ревность, и, резюмируя свои наблюдения, заключает: «... младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей».

Но все же несравнимо более тяжело Августину довелось грешить в детстве. Он признается в том, что обманывал воспитателя и учителей, и теперь отчетливо видит мотивы, которые заставляли его делать это («из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного обезьянничанья»). Кроме того, он воровал еду из родительской кладовой и со стола («от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки») и был нечестен в игре («в игре я часто обманом ловил победу, сам

побежденный пустой жаждой превосходства»). Но главным грехом мальчика было то, что он отвращал свои взоры от Господа, увлекаемый «внешним», мирской суетой – то ли «баснями древних» о деревянном коне, полном вооруженными воинами, и пожаре Трои, то ли поиском истины «не в Нем самом, а в созданиях Его: в себе и в других». Эти детские прегрешения кажутся не столь уж тяжкими, однако не следует забывать, что для Августина по своей сути они ничем не отличаются от тягчайших пороков взрослых.

Говоря о себе-ребенке, автор «Исповеди» рисует образ одаренного мальчика с открытой душой и добрым сердцем: «Движимый внутренним чувством, я оберегал в сохранности свои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества». Воистину, «что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе?» Разумеется, все эти достоинства мальчика Августин относит не на свой счет и не на счет своих родителей, а воздает за них хвалу Господу: «И все это дары Бога моего; не сам я дал их себе...». Он явно не видит в них ничего, принадлежащего ему самому.

Но тогда насколько обозначенные в «Исповеди» качества ребенка характеризуют именно Августина? В какой мере автор «Исповеди» говорит о себе и в какой – о ребенке вообще? Идет ли у него речь о его собственном детстве или о детских годах любого человека, подобно тому как мы это встречали в его «отчете» о младенчестве? Расплывчатость очертаний фигуры Августина-ребенка усиливается еще и тем обстоятельством, что он абсолютно ничего не сообщает читателю о своем внешнем облике. Был ли он высоким, маленьким, упитанным, худым, какого цвета были его волосы, глаза – все это для него как будто несущественно, недостойно интереса, все это вытесняет христианская идея ребенка, впервые в истории формулируемая Августином на своем собственном жизненном материале.

В этом состоит главная задача автора. В общем контексте «Исповеди» его собственная жизнь как таковая не имеет и не может иметь самодовлеющего смысла. Ребенок Августин – это всегда и ребенок вообще, часть мира, чудесным образом сотворенного Господом. Поэтому конкретные биографические детали, то, что

отличает его от других, не суть важны. Не из-за этого ли он даже не считает нужным назвать место своего рождения и имена своих родителей, остающихся в его описании собственного детства скорее Отцом и Матерью Человеческими, чем конкретными людьми во плоти?

Автобиография Гвиберта Ножанского демонстрирует иной тип отношения к детству. В отличие от Августина Гвиберта больше интересует не дитя вообще и не чудо Божьего творения, а его собственный детский опыт, его собственные печали и радости. Больше того, в «Монодиях» обнаруживаются следы глубоко личностного, порой даже пронзительно личностного восприятия детства – по-видимому, это вообще самый психологичный, самый индивидуализированный и самый детальный портрет ребенка во всей западноевропейской средневековой литературе.

О первых месяцах в этом мире, покрытых мраком беспомысленности, Гвиберт говорит вскользь, упоминая лишь о ранней кончине «отца по плоти», своем успешном физическом развитии и присущей этому возрасту живости. Подробный же рассказ о детских годах начинается у него с того времени, когда он стал обучаться грамоте (примерно с шести лет), и оканчивается, когда после отъезда матери и домашнего учителя он оказывается предоставленным самому себе (примерно в 12 лет), совершает многочисленные прегрешения и вскоре после этого принимает монашеский сан.

Внезапное исчезновение контроля за поведением ребенка со стороны взрослых круто меняет жизнь Гвиберта. Испытывая дурное влияние старших мальчиков, он всем своим поведением бросает вызов нормам благочестия, надеясь, что его грехи в будущем будут прощены. В совершенных им в то время дурных деяниях Гвиберт исповедуется перед читателем обстоятельно и искренне и в заключение своего самоотчета подчеркивает, что это было время, разительно непохожее на годы, проведенные под строгим надзором наставника.

Приход мальчика вслед за этим в монастырь определенно обозначает окончательное вступление во второй, главный и самый продолжительный период его биографии. В монастырских стенах он не только возрождается к возвышенной духовной жизни, но и неожиданно чудесным образом легко разрешает свою давнюю проблему – отсутствие желания учиться и способностей к учению.



Никаких принципиальных качественных изменений ни во «внешней», ни во «внутренней» его жизни больше не происходит до самого конца первой книги. С принятием монашеского сана он то ли становится взрослым раньше времени, то ли вступает во вторую стадию детства, растянувшуюся на всю его жизнь.

Подробное описание появления младенца на свет, совершенно очевидно, не является случайностью. По мнению Гвиберта (подобные представления были вообще широко распространены в Средние века), обстоятельства рождения ребенка – это указующий знак его будущности, который Господь дает миру, однако знак безусловный и несамоочевидный, до конца разгадать который едва ли дано кому-либо из людей. Гвиберт был последним ребенком у матери и единственным, кто остался в живых, миновав младенческий возраст. Автор оставляет это свое замечание без комментариев, но из контекста можно предположить, что оно имело для него особый смысл, являясь одним из знаков избранничества. Более явным указанием на уготованную Гвиберту судьбу является день, в который младенец появился на свет, – Пасхальное воскресенье. Это уже, вне всякого сомнения, выражение Божественного волеизъявления, и автор трактует его как дарованную свыше надежду на благую будущность новорожденного.

Жизненный путь Гвиберта был предуготован, однако, и другими событиями, связанными с его рождением. Он рассказывает, что, когда приблизился долгожданный час, младенец неожиданно повернулся в утробе матери головой кверху, что, по мнению членов семьи, представляло для нее смертельную угрозу. Тогда они решили отправиться в церковь и на алтаре Девы Марии дать обет: в случае, если родится мальчик, он будет отдан в служение Господу и Божьей матери; если же девочка, то ей также быть монахиней. Вскоре роженица благополучно разрешилась от бремени мальчиком, но ребенок был настолько мал и тщедушен, что вид его, почти уродца, вызвал всеобщее замешательство. В тот же день он был крещен, и перед свершением таинства произошло еще одно примечательное событие, которое Гвиберту впоследствии не раз шутливо пересказывали: некая женщина взяла его на руки и стала перебрасывать с ладони на ладонь, выражая сомнения по поводу жизнеспособности маленького жалкого существа.

Когда Гвиберт принялся за написание своей автобиографии, ему было уже за пятьдесят, но его горькая память о ранних годах была по-прежнему жива. Даже больше, по его собственному заверению, она буквально кипела в его душе: «Исповедуюсь в пороках моего детства и юности, которые до сих пор в этом зрелом возрасте все еще полыхают во мне»<sup>79</sup>. И читатель быстро убеждается, что это заверение вовсе не дань риторике. Гвиберт действительно говорит о своем детстве необычайно живо, можно даже сказать, страстно, с неподдельной болью и горечью размышляя и над всплывающими в памяти жизненными обстоятельствами давно ушедших дней, и над своими недостойными поступками и помыслами. Причем по сравнению, например, с Августином, эти его воспоминания гораздо более индивидуализированы. Неудивительно, что автобиографизм такого рода делает текст «Монодий» весьма привлекательным как для биографов Гвиберта, так и вообще для ученых, чьи интересы связаны с проблемами средневековой личности. Какую роль сыграли детские впечатления и первый жизненный опыт в формировании характера и мировоззрения этого несомненно неординарного человека? Некоторые акценты рассказа Гвиберта, прежде всего о людях, оказавших влияние на становление его личности, позволяют существенно конкретизировать этот вопрос, сформулировав его в категориях психоанализа<sup>80</sup>.

Первое, что обычно обращает здесь на себя внимание, это особая роль матери, о которой в «Монодиях» говорится с необычайной любовью и нежностью. Гвиберт буквально боготворит ее, наделяя качествами, присущими скорее небесному, чем земному существу: невиданной красотой, сугубой чистотой нравов, исключительным благочестием и глубокой набожностью. Влияние матери на него было огромным. Вплоть до сорокалетнего возраста она находилась рядом с ним, исполняя роль духовного наставника и одновременно являясь воплощением идеала христианской жизни (не раз обращалось внимание на то, что ее образ весьма напоминает у автора «Монодий» образ Девы Марии и иногда сливается с ним). Другой важный момент – это ранняя потеря отца, место которого в жизни ребенка занял домашний учитель. Хотя сам Гвиберт и не помнит своего «отца по плоти», все же он достаточно определенно выражает негативное отношение к нему, особенно к несоблюдению им чистоты брачных уз и

недостаточной набожности. И даже высказывает предположение, что, останься он в живых, он не позволил бы исполнить данный при рождении Гвиберта обет и сделал бы из него не монаха, а рыцаря. Но все же вторая по значимости фигура в детские годы героя «Монодий» не его отец, а домашний учитель, под строгой опекой которого прошли шесть лет жизни ребенка. Отношение Гвиберта к нему явно неоднозначное. Хотя он постоянно заверяет читателя в искренней взаимной любви наставника и его подопечного, воспоминания о его некомпетентности, излишней суровости и несправедливых жестоких наказаниях по-прежнему будоражат память монаха.

\* \* \*

На примере Августина и Гвиберта мы особенно отчетливо видим два, хотя и схожих в каких-то самых общих чертах (христианские представления об изначальной греховности человека, исповедальный и покаянный тон, невозможность помыслить себя обособленно от Божественного Космоса), но все же очень разных восприятия средневековым человеком его собственного детства.

Для епископа Гиппонского детство – один из семи отчетливо различимых возрастов человеческой жизни. Это время, когда он, выйдя из младенческого состояния, приобрел новые биологические и социальные качества и был менее, чем в юном и зрелом возрасте, склонен к пороку. Но для Августина далекие годы, о которых он вспоминает, – это не столько его собственное детство, сколько универсальный этап развития, через который проходят все люди – как каждый в отдельности, так и весь человеческий род. В его представлении возрасты жизни человека в своей глубинной сути составляют нерасторжимое целое с этапами всемирно-исторического движения человечества, определенного Творцом: младенчеству соответствует время от сотворения Адама до Всемирного потопа, детству – от потопа до Авраама, отрочеству – от Авраама до Давида и так далее. Понятно, что в таком контексте ни его собственная жизнь, ни чья-то еще ничем принципиально не может отличаться от жизни других людей, и ни о своеобразии, ни о самодостаточности его первого жизненного опыта в «Исповеди» не может быть и речи. Это, впрочем,

не противоречит тому, что отдельные яркие впечатления Августинова детства продолжают жить в его взрослом сознании. Но жить по-особому, являясь одновременно и исходным материалом для христианского истолкования природы ребенка, и иллюстрацией общеизвестных Божественных истин.

Отношение Гвиберта к своему детству гораздо более лично – давние годы жизни буквально будоражат его сознание воспоминаниями и смутными переживаниями. Однако понять, каковы корни такого пристального внимания к себе-ребенку, совсем непросто. Нам трудно поверить, что его заставляют вспоминать о детстве те ничтожные прегрешения, о которых он рассказывает, – едва ли они могут заставить так горячо сокрушаться даже самую чистую христианскую душу. Да и вообще его детским «порокам» в структуре автобиографического рассказа уделено слишком незначительное место. По сравнению с Августином Гвиберт вспоминает о своем детстве, несомненно, с несравнимо большей непосредственностью. Он не столько стремится открыть читателю высшую истину, преподать ему моральный урок или воспеть вместе с ним хвалу Господу (хотя все эти мотивы в той или иной мере у него присутствуют), сколько «просто» рассказывает о том, что запечатлелось в его памяти о первых годах жизни, дополняя этот рассказ своими размышлениями: об образе матери, учителя, о трудностях в овладении знаниями, своих дурных поступках и помыслах, упорном желании стать монахом, внешних обстоятельствах, определявших его жизнь в этот период.

Но следует ли из всего этого, что детство было «по-настоящему» открыто Гвибертом и что по своему отношению к нему он такой же «почти современный человек», как и по своему рационалистическому складу ума? Заключение такого рода, по-видимому, было бы поспешным по многим причинам. Хотя бы уже потому, что у Гвиберта, несомненно проявляющего пристальный интерес к своим детским годам, нет и намека на понимание первостепенного значения детства для становления его личности, того кажущегося ныне бесспорным взгляда, который сформировался в Новое время и позднее нашел одно из наиболее ярких выражений в теории психоанализа. И блестяще формулирующая этот новый взгляд известная фраза Вордсворта «Дитя – отец человека» ему, так же как и другим средневековым авторам, скорее всего показалась бы загадкой.

*Юрий Зарецкий*

## Публий Овидий Назон (43 до н. э. – 17/18 н. э.)

Древнеримский поэт, сосланный Октавианом Августом на 10 лет в Западное Причерноморье. Овидий родился 20 марта 43 года до н. э. (711 год от основания Рима) в г. Сульмоне, в округе пелингов, небольшого народа сабелльского племени, обитавшего к востоку от Лациума, в гористой части Средней Италии. Место и время своего рождения Овидий с точностью определяет сам. Род его издавна принадлежал к всадническому сословию; отец поэта был человеком состоятельным и дал своим сыновьям хорошее образование. Посещая в Риме школы знаменитых учителей, Овидий с самых ранних лет обнаружил страсть к поэзии. В приведенной ниже элегии (Trist., IV, 10) он признается, что и тогда, когда нужно было писать прозой, из-под пера его невольно выходили стихи. Следуя воле отца, Овидий поступил на государственную службу, но, прошедши лишь несколько низших должностей, отказался от нее, предпочитая всему занятию поэзией. По желанию родителей рано женившись, он вскоре вынужден был развестись; второй брак также был недолг и неудачен; и только третий с женщиной, уже имевшей дочь от первого мужа, оказался прочным и, судя по всему, счастливым. Собственных детей Овидий не имел. Дополнив свое образование путешествием в Афины, Малую Азию и Сицилию и выступив на литературном поприще, Овидий сразу был замечен публикой и снискал дружбу выдающихся поэтов, например, Горация и Проперция. Сам Овидий сожалел, что ранняя смерть Тибулла помешала развитию между ними близких отношений и что Вергилия (который не жил в Риме) ему удалось только видеть. В 8 году нашей эры Август по не вполне ясной причине (исследователями высказывается несколько версий) сослал Овидия в город Томы (совр. Констанца, Румыния), где на девятом году жизни тот и скончался.

«Скорби», или «Скорбные элегии», Овидий начал писать в дороге, направляясь к месту ссылки. Сборник из пяти книг элегий был написан за первые три года пребывания в Томах среди «диких гетов и сорматов». Резкая перемена обстановки и обстоятельств и обусловила,

в частности, автобиографический характер поэзии Овидия, воспоминания о прошедшей жизни<sup>81</sup>.

## Скорбные элегии

### Книга четвертая

#### Элегия десятая

Тот я, кто некогда был любви певцом шаловливым.  
Слушай, потомство, и знай, чьи ты читаешь стихи.

Город родной мой – Сульмон, водой студеной обильный,  
Он в девяноста всего милях от Рима лежит<sup>82</sup>.  
Здесь я увидел свет (да будет время известно)  
В год, когда консулов двух гибель настигла в бою<sup>83</sup>.  
Важно это иль нет, но от дедов досталось мне званье,  
Не от Фортуны щедрот всадником сделался я<sup>84</sup>.  
Не был первенцем я в семье: всего на двенадцать  
Месяцев раньше меня старший мой брат родился.  
В день рождения сиял нам обоим один Светоносец<sup>85</sup>,  
День освещали один жертвенных два пирога<sup>86</sup>.  
Первым в чреде пятидневных торжеств щитоносной Миневры  
Этот день окроплен кровью сражений всегда<sup>87</sup>.  
Рано отдали нас в ученье; отцовской заботой  
К лучшим в Риме ходить стали наставникам мы.  
Брат, для словесных боев и для форума будто рожденный,  
Был к красноречью всегда склонен с мальчишеских лет,  
Мне же с детства милей была небожителям служба,  
Муза к труду своему душу украдкой влекла.  
Часто твердил мне отец: «Оставь никчемное дело!  
Хоть Меонийца<sup>88</sup> возьми – много ль он нажил богатств?»

Не был я глух к отцовским словам: Геликон<sup>89</sup> покидая,  
Превозмогая себя, прозой старался писать, —  
Сами собою слова слагались в мерные строчки,  
Что ни пытаюсь сказать — все получается стих.

Год за годом меж тем проходили шагом неслышным,  
Следом за братом и я взрослую тогу надел<sup>90</sup>.  
Пурпур с широкой каймой<sup>91</sup> тогда окутал нам плечи,  
Но оставались верны оба пристрастиям своим.  
Умер мой брат, не дожив второго десятилетия,  
Я же лишился с тех пор части себя самого.  
Должности стал занимать, открытые для молодежи,  
Стал одним из троих тюрьмы блюдущих мужей<sup>92</sup>.  
В курию мне оставалось войти — но был не по силам  
Мне тот груз; предпочел узкую я полосу.  
Не был вынослив я, и душа к труду не лежала,  
Честолюбивых забот я сторонился всегда.  
Сестры звали меня аонийские<sup>93</sup> к мирным досугам,  
И самому мне всегда праздность по вкусу была.  
Знаться с поэтами стал я в ту пору и чтил их настолько,  
Что небожителем мне каждый казался певец. <...>



## Лукиан из Самосаты (ок. 120 – ок. 185)

Сирийский грек Лукиан – фигура пограничная. Он жил в эпоху, когда при всем внешнем блеске римского общества и государства начинался упадок античной культуры, распространялось неверие в языческих эллинских богов и одновременно формировалось новое мировоззрение, которое станет доминирующим в последующий период Средних веков, – христианство. Лукиан достаточно скептически относился и к язычеству, и к христианству, что усиливало внутренний трагизм его положения, из которого он стремился выйти с помощью увлечения филологией и сочинения массы сатир на окружающую жизнь. Лукиана не любили ни приверженцы древности, ни последующие христианские писатели.

Сведения о Лукиане скудны. Родился он в небольшом городке в верховьях Евфрата. Не найдя себя в обучении на скульптора, Лукиан взялся серьезно за риторику, изучал ее в таких центрах, как Эфес и Смирна. Закончив обучение, Лукиан попробовал стать адвокатом в Антиохии, но потерпел неудачу и стал сочинителем речей по заказу и одновременно – странствующим оратором. В таком амплуа он объездил Малую Азию и Грецию, Македонию и Италию. В Галлии он на некоторое время даже стал популярным учителем риторики. В процессе странствий Лукиан увлекся философией и к сорока годам забросил «чистую» риторику ради философии. Он жил в это время в Афинах. В ореоле славы Лукиан возвратился в родной город, где выступил перед согражданами с воспоминаниями о детстве и похвалой отчизне. Это произошло в начале 160-х годов. На склоне лет Лукиан вынужден служить, он занимал некоторое время крупный судейский пост в Александрии, но не удержался на нем. Последние годы жизни он вновь странствующий оратор<sup>94</sup>.

## Сновидение, или жизнь Лукиана

1. Я только что перестал ходить в школу и по годам был уже большим мальчиком, когда мой отец стал советоваться со своими друзьями, чему же теперь надо было бы учить меня. Большинство было того мнения, что настоящее образование стоит больших трудов, требует много времени, немало затрат и блестящего положения; наши же дела плохи и могут потребовать в скором времени поддержки со стороны. Если же я выучусь какому-нибудь простому ремеслу, то сначала я сам мог бы получать все необходимое от него и перестал бы быть дармоедом, достигнув такого возраста, а вскоре мог бы обрадовать отца, принося ему постоянно часть своего заработка.

2. Затем был поставлен на обсуждение второй вопрос – о том, какое ремесло считать лучшим, какому легче всего выучиться, какое наиболее подходило бы свободному человеку, – кроме того, такое, для которого было бы под рукой все необходимое, и, наконец, чтобы оно давало достаточный доход. И вот, когда каждый стал хвалить то или другое ремесло, смотря по тому, какое он считал лучшим или какое знал, отец, взглянув на моего дядю (надо сказать, что при обсуждении присутствовал дядя, брат матери, считавшийся прекрасным ваятелем), сказал: «Не подобает, чтобы одержало верх какое-либо другое ремесло, раз ты присутствуешь здесь; поэтому возьми вот этого, – и он показал на меня, – и научи его хорошо обделывать камень, умело соединять отдельные части и быть хорошим ваятелем; он способен к подобным занятиям и, как ты ведь знаешь, имеет к этому природные дарования». Отец основывался на безделушках, которые я лепил из воска. Часто, когда меня отпускали учителя, я соскабливал с дощечки воск и лепил из него быков, лошадей или, клянусь Зевсом, даже людей, делая их, как находил отец, весьма похожими на живых. Учителя били меня тогда за эти проделки; теперь же мои способности заслужили мне похвалу, и все, помня мои прежние опыты ваяния, возлагали на меня верные надежды, что я в короткое время выучусь этому ремеслу.

3. Также и день оказался подходящим для начала моего учения, и меня сдали дяде, причем я, право, был не очень огорчен этим обстоятельством: мне казалось, что работа доставит приятное развлечение и даст случай похвастаться перед товарищами, если они

увидят, как я делаю изображения богов и леплю различные фигурки для себя и для тех, которых предпочту другим. И, конечно, со мной случилось то же, что и со всеми начинающими. Дядя дал мне резец и велел осторожно обтесать плиту, лежавшую в мастерской, прибавив при этом обычное: «Начало – половина всего». Когда же я по неопытности нанес слишком сильный удар, плита треснула, а дядя, рассердившись, взял первую попавшуюся ему под руку палку и совсем не ласково и не убедительно стал посвящать меня в тайны ремесла, так что слезы были вступлением к моим занятиям ваянием.

4. Убежав от дяди, я вернулся домой, все время всхлипывая, с глазами полными слез, и рассказал про палку, показывая следы побоев. Я обвинял дядю в страшной дикости, добавив, что он поступил так со мной из зависти, боясь, чтобы я не превзошел его своим искусством. Моя мать рассердилась и очень бранила брата, а я к ночи заснул, весь в слезах и думая о палке.

5. Сказанное до сих пор звучит смешно и по-детски. То же, что вы услышите теперь, граждане, не так-то легко может быть обойдено молчанием, а рассчитано на внимательных слушателей. Ибо, чтобы сказать словами Гомера:

...в тишине амбросической ночи,

Дивный явился мне Сон, до того ясный, что он ни в чем не уступал истине. Еще и теперь, после многих лет, перед моим взором совершенно ясно стоят те же видения и слова их звучат у меня в ушах, до того все было отчетливо.

6. Две женщины, взяв меня за руки, стали порывисто и сильно тянуть, каждая к себе; они едва не разорвали меня на части, соперничая друг с другом в любви ко мне. То одна осиливала другую и почти захватывала меня, то другая была близка к тому, чтобы завладеть мной. Они громко препирались друг с другом. Одна кричала, что ее соперница хочет овладеть мной, тогда как я уже составляю ее собственность, а та – что она напрасно заявляет притязание на чужое достояние. Одна имела вид работницы, с мужскими чертами; волосы ее были растрепаны, руки в мозолях, платье было подоткнуто и полно осколками камня, совсем как у дяди, когда он обтесывал камни. У другой же были весьма приятные черты лица, благородный вид и одежда в изящных складках. Наконец они предложили мне рассудить,

с которой из них я бы желал остаться. Первой заговорила та, у которой были мужские черты и грубый вид:

7. «Я, милый мальчик, Скульптура, которую ты вчера начал изучать, твоя знакомая и родственница со стороны матери: ведь твой дедушка (она назвала имя отца матери) и оба твои дяди занимались отделкой камня и пользовались немалым почетом благодаря мне. Если ты захочешь удержаться от глупостей и пустых слов, которым ты научишься от нее (она показала пальцем на другую), и решишься последовать за мной и жить вместе, то, во-первых, я тебя хорошо выращу и у тебя будут сильные плечи, а кроме того, к тебе не будут относиться враждебно, тебе никогда не придется странствовать по чужим городам, оставив отечество и родных, и никто не станет хвалить тебя только за твои слова.

8. Не гнушайся неопрятной внешности и грязной одежды: ведь начав с этого же, знаменитый Фидий явил людям впоследствии своего Зевса, Поликлет изваял Геру, Мирон добился славы, а Пракситель стал предметом удивления; и теперь им поклоняются, как богам. И если ты станешь похожим на одного из них, как же тебе не прославиться среди всех людей? Ты ведь и отца сделаешь предметом всеобщего уважения, и родина будет славна тобой...» Все это, и гораздо большее, сказала мне Скульптура, запинаясь и вплетая в свою речь много варварских выражений, с трудом связывая слова и пытаясь меня убедить. Я и не помню остального; большинство ее слов уже исчезло из моей памяти. И вот, когда она кончила, другая начала приблизительно так:

9. «Дитя мое, я – Образованность, к которой ты ведь уже привык и которую знаешь, хотя еще и не использовал моей дружбы до конца. Первая женщина предсказала тебе, какие блага ты доставишь себе, если сделаешься каменотесом. Ты станешь самым простым ремесленником, утруждающим свое тело, на котором будут покоиться все надежды твоей жизни; ты будешь жить в неизвестности, имея небольшой и невзрачный заработок. Ты будешь недалек умом, будешь держаться простовато, друзья не станут спорить из-за тебя, враги не будут бояться тебя, сограждане – завидовать. Ты будешь только ремесленником, каких много среди простого народа; всегда ты будешь трепетать перед сильным и служить тому, кто умеет хорошо говорить; ты станешь жить как заяц, которого все травят, и сделаешься добычей более сильного. И даже если бы ты оказался Фидием или Поликлетом

и создал много дивных творений, то твое искусство все станут восхвалять, но никто, увидев эти произведения, не захочет быть таким, как ты, если он только в своем уме. Ведь все будут считать тебя тем, чем ты и окажешься на самом деле, – ремесленником, умеющим работать и жить трудом своих рук.

10. Если же ты слушаешься меня, то я познакомлю тебя сперва с многочисленными деяниями древних мужей, расскажу об их удивительных подвигах и речах – словом, сделаю тебя искусным во всяком знании. Я также украшу и душу твою тем, что является самым главным: многими хорошими качествами – благоразумием, справедливостью, благочестием, кротостью, добротой, рассудительностью, воздержанностью, любовью ко всему прекрасному, стремлением ко всему высшему, достойному почитания. Ведь все это и есть настоящее, ничем не оскверненное украшение души. От тебя не останется скрытым ни то, что было раньше, ни то, что должно совершиться теперь, мало того: с моей помощью ты увидишь и то, что должно произойти в будущем. И вообще всему, что существует, и божественному, и тому, что касается людей, я научу тебя в короткий срок.

11. И тогда ты, бедняк, сын простого человека, уже почти решившийся отдать себя столь неблагородному ремеслу, станешь в короткое время предметом всеобщей зависти и уважения. Тебя будут чтить и хвалить, ты станешь славен величайшими заслугами. Мужи, знатные родом или богатством, будут с уважением смотреть на тебя, ты станешь ходить вот в такой одежде (и она показала на свою, – а была она роскошно одета), ты будешь достоин занимать первые должности в городе и сидеть на почетном месте в театре. А если ты куда-нибудь отправишься путешествовать, то и в других странах ты не будешь неизвестен или незаметен: я окружу тебя такими отличиями, что каждый, кто увидит тебя, толкнет своего соседа и скажет “вот он”, показывая на тебя пальцем.

12. Если случится что-нибудь важное, касающееся твоих друзей или целого города, все взоры обратятся на тебя. А если тебе где-нибудь придется говорить речь, то почти все будут слушать раскрыв рты, удивляться силе твоих слов и считать счастливым твоего отца, имеющего такого знаменитого сына. Говорят, что некоторые люди делаются бессмертными; я доставлю тебе также это бессмертие. Если

ты даже сам и уйдешь из этой жизни, то все же не перестанешь находиться среди образованных людей и быть в общении с лучшими. Посмотри, например, на знаменитого Демосфена – чей он был сын и чем сделала я его. Или вспомни Эсхина, сына танцовщицы: благодаря мне сам Филипп служил ему. Даже Сократ, воспитанный скульптурой, как только понял, в чем заключается лучшее, сразу же покинул ваяние и перебежал ко мне. А ты ведь сам знаешь, что он у всех на устах.

13. И вот, бросив всех этих великих и знаменитых мужей, блестящие деяния, возвышенные речи, благородный вид, почести, славу, похвалу, почетные места и должности, влияние и власть, почет за речи и возможность быть славным за свой ум, ты решаешься надеть какой-то грязный хитон и принять вид, мало чем отличающийся от раба. Ты собираешься сидеть, согнувшись над работой, имея в руках лом, резец и молот или долото, склонившись над работой и живя низменно и обыденно, никогда не поднимая головы и ничего не замышляя, что было бы достойно свободного человека, заботясь только о том, чтобы работа была исполнена складно и имела красивый вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность мыслей, точно ты ценишь себя меньше своих камней».

14. Она еще говорила, а я, не дождавшись конца, встал, чтобы объявить о своем решении, и, оставив первую, безобразную женщину, имевшую вид работницы, пошел к Образованности с тем большей радостью, что помнил палку и то, как она всего только вчера нанесла мне немало ударов, когда я начал учиться ремеслу. Скульптура, которую я оставил, негодуя, потрясала кулаками и скрежетала зубами, а потом застыла и превратилась в камень, как это рассказывают про Ниобею.

Если вам и кажется, что с ней случилось нечто невероятное, вы все же поверьте: сны ведь – создатели чудес.

15. Образованность же, взглянув на меня, сказала: «Я теперь воздам тебе за твое справедливое решение нашего спора. Пойдем, взойди на эту колесницу, – она показала на какую-то колесницу, запряженную крылатыми конями, похожими на Пегаса, – и ты увидишь, чего бы ты лишился, если бы не последовал за мной». Когда мы взошли на колесницу, богиня погнала лошадей и стала править. Поднявшись ввысь, я стал озираться кругом, с востока на запад, рассматривая города, народы и племена, сея что-то на землю, подобно Триптолему.

Теперь я уже не помню, что я собственно сеял, – знаю только, что люди, глядя наверх вслед за мной, хвалили меня и благословляли мой дальнейший путь.

16. Показав мне все это и явив меня самого людям, возносившим мне похвалы, богиня вернулась со мной обратно, причем на мне была уже не та одежда, в которой я отправился в путь, но мне показалось, что я был в каком-то роскошном одеянии. Позвав моего отца, который стоял и ожидал меня, она показала ему эту одежду и меня в новом виде и напомнила ему относительно того решения, которое незадолго до этого хотели вынести о моей будущности.

Вот все, что я помню из того, что видел во сне, будучи еще подростком, – должно быть, под влиянием страха и ударов палки.

17. Во время моего рассказа кто-то сказал: «О, Геракл, что за длинный сон, совсем как судебная речь!» А другой подхватил: «Да, сон в зимнюю пору, когда ночи бывают длиннее всего, и, пожалуй, даже трехвечерний, как и сам Геракл. Что нашло на него рассказывать нам все это и вспоминать ночь в молодости и старые сны, которые давно уже отжили свой век? Ведь эти бредни уже выдохлись; не считает ли он нас за каких-то толкователей снов?» Нет, любезный. Ведь и всем известный Ксенофонт, повествуя о своем сне, будто в доме отца вспыхнул пожар и прочее (вам это ведь знакомо), прошелся об этом не рассказа ради, не потому, что пожелал заниматься болтовней, да еще во время войны и в отчаянном положении, когда враги окружили его войско со всех сторон, – и все же рассказ этот оказал некоторую пользу.

18. И вот я теперь рассказал вам о своем сне с той целью, чтобы ваши сыновья обратились к лучшему и стремились к образованию. И кроме того, что для меня важнее всего, если кто из них по своей бедности умышленно сворачивает на дурной путь и уклоняется в сторону худшего, губя свои хорошие природные способности, то он, я совершенно в этом уверен, наберется новых сил, услышав этот рассказ и поставив меня в хороший пример себе, помня, что я, каким я был, возгорел стремлением к самому прекрасному и захотел быть образованным, нисколько не испугавшись своей тогдашней бедности, и помня также, каким я теперь вернулся к вам – во всяком случае не менее знаменитым, чем любой из ваятелей.

## Григорий Чудотворец (ок. 213–ок. 270)

Епископ г. Неокесарии в Малой Азии, в отрочестве и юности – ученик знаменитого наставника и христианского философа Оригена, переехавшего из Александрии, где он преподавал в знаменитой Александрийской школе, будучи преемником Климента Александрийского, – в Кесарию Палестинскую. Выходец из богатой языческой семьи. Ушел из обычной школы в ученики к Оригену. Пробыв 5 лет с Оригеном, отправился в Неокесарию. Сумел во много раз увеличить там численность христианской общины.

Подробнее о нем см.: *Сагарда Н. И.* Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский. Его жизнь, творения и богословие. Петроград, 1916; *Van Dam R.* Hagiography and History: The Life of Gregory Thaumaturgus // *Classical Antiquity*. 1982. Vol. 1. No. 2. P. 272–308<sup>95</sup>.

### Благодарственная речь Оригену

#### V

48. Первоначальное мое воспитание от самого рождения проходило под наблюдением родителей, а нравы в отеческом доме отклонялись от пути истины. Что я освобожусь от них, этого, я думаю, и никто другой не ожидал, и не было никакой надежды у меня самого, так как я был еще дитятей и неразумным и находился под властью отца, преданного идолопоклонству.

49. Потом – потеря отца и сиротство, которое, может быть, было для меня началом истинного познания.

50. Ибо тогда в первый раз я обратился к спасительному и истинному слову, не знаю как [это произошло], более ли по принуждению или добровольно. Ибо какая способность суждения могла быть у меня в четырнадцатилетнем возрасте? Между тем с того



времени это священное слово тотчас начало, так сказать, посещать меня, потому что в нем именно достиг полного выражения всеобщий разум человечества; однако, тогда оно посетило меня в первый раз.

51. Я считаю, – если и не издавна, то, по крайней мере, когда размышляю об этом теперь, – немаловажным признаком священного и дивного промысления обо мне именно это стечение обстоятельств, которое может быть так расчислено по годам, чтобы, с одной стороны, все, что предшествовало этому возрасту, насколько оно состояло из дел заблуждения, могло быть отнесено на счет моей незрелости и неразумия, и чтобы священное слово напрасно не было вверено душе, еще не владеющей разумом,

53. но, с другой стороны, чтобы, когда она сделается уже способною к разумной деятельности, она не была лишена, если даже и не божественного и чистого разума, то, по крайней мере, страха, сообразного с этим разумом, и чтобы человеческий и божественный разум одновременно достигли господства во мне, один – помогая мне неизъяснимой для меня, но ему свойственной силой, а другой – воспринимая эту помощь. <... >

56. Моей матери, которая одна из родителей осталась, чтобы заботиться обо мне, угодно было, воспитывая меня во всем прочем, как мальчиков не неблагогородного, разумеется, происхождения и воспитания, послать меня в школу к ритору, так как я должен был сделаться ритором. И действительно, я посещал эту школу, и тогдашние сведущие люди уверяли, что в непродолжительном времени я буду ритором; со своей стороны, я и не мог и не хотел бы утверждать этого.

57. Не было даже никакого основания для этого, но не было также еще и никаких предположений для причин, которые могли привести меня на настоящий путь. Но ведь у меня был неусыпный божественный воспитатель и истинный попечитель: он, когда ни домашние не помышляли, ни сам я не обнаруживал желаний,

58. внушил мысль одному из моих учителей, которому поручено было только наставить меня в латинском языке, – не для того, чтобы я достиг в нем совершенства, а чтобы я и в этом языке не был совершенно несведущим; но случайно он имел некоторые познания и в законах.

59. Внушивши ему эту мысль, он чрез него склонил меня изучать римские законы. И муж тот делал это с большой настойчивостью. Я позволил убедить себя, но больше из желания доставить удовольствие мужу, чем из любви к тому знанию.

60. Он, взявши меня в качестве ученика, начал учить с большим усердием. При этом он высказал нечто, что сбылось на мне самым истинным образом, именно, что изучение законов будет для меня самым важным запасом на [жизненный] путь,... захочу ли я быть ритором из тех, которые выступают в судах, или каким-либо иным.

61. Он выразился так, имея в виду в своей речи человеческие отношения; а мне прямо кажется, что он предсказывал истину, объятый некоторым вдохновением, которое было скорее божественным, чем проистекало из его собственных мыслей.

62. Ибо когда я волей-неволей начал изучать названные законы, то на меня уже некоторым образом наложены были оковы, и город Берит должен был послужить и причиной и поводом моего пути сюда. Этот город находился недалеко от тогдашнего моего местопребывания, имел, так сказать, более римский отпечаток и считался рассадником названного законовещения.

63. А этого священного мужа [Оригена] другие дела как бы навстречу мне влекли и привели в эту страну из Египта, из города Александрии, где он жил прежде. <... >

65. Как же и это осуществилось? Тогдашний правитель Палестины неожиданно взял к себе моего зятя [шурина – *ред.*], мужа моей сестры, и против его желания одного только, разлучивши с супругой, переместил его сюда, чтобы он помогал ему и разделял с ним труды по управлению народом, – ибо он был несколько сведущ в законах и, без сомнения, еще и теперь.

66. Зять, отправившись вместе с ним, намерен был в непродолжительном времени послать за женой и взять ее к себе, так как разлука с ней была для него тягостна и неприятна; но вместе с ней он хотел увлечь и меня.

67. Таким образом, когда я замышлял отправиться в путешествие, не знаю куда, но во всяком случае скорее в другое какое-либо место, чем сюда, неожиданно явился передо мной воин, которому поручено было сопровождать и охранять мою сестру, направляющуюся к мужу, а вместе с ней, в качестве спутника, привести и меня.

68. Этим я должен был доставить удовольствие и зятю, и в особенности сестре, чтобы она не натолкнулась на что-либо неблагопристойное, или чтобы не боялась путешествия, точно также и самим домашним и родственникам, которые высоко ценили меня, и кроме того могли и в чем-нибудь ином оказать мне немалую пользу, если бы я отправился в Берит, усердно занявшись там изучением законов.

69. Итак, все побуждало меня [к этому путешествию] – убедительные основания, которые приводили мне по отношению к сестре, моя собственная наука, к тому же еще и воин, – ибо и о нем должно упомянуть, – который принес с собой разрешение на большее количество, чем нужно было, государственных колесниц и подорожные в большем числе, именно скорее для меня, чем для одной только сестры.

70. Такова была видимая сторона дела; но были и причины, которые хотя и не были явны, тем не менее были самыми истинными: общение с этим мужем, истинное научение через него о Слове, польза, которую я должен был получить от этого для спасения моей души, – [все это] вело меня сюда, – хотя я был слеп и не сознавал этого, но это служило к моему спасению.

71. Итак, не воин, но некий божественный спутник и добрый провожатый и страж, сохраняющий меня на протяжении всей этой жизни как бы на далеком пути, миновавши другие места и самый Берит, ради которого больше всего я думал устремиться сюда, привел меня в это место и здесь остановил; он все делал и приводил в движение, пока со всем искусством не связал меня с этим виновником для меня многих благ.

72. И божественный ангел, после того как прошел со мной так далеко и передал руководство мной этому мужу, здесь, вероятно, успокоился, не от усталости или изнурения, – ибо род божественных слуг не знает усталости, – но потому что он передал меня мужу, который должен исполнить все, насколько возможно, промышление и попечение обо мне.

73. Он же, принявши меня к себе, с первого дня, который был для меня поистине первым, если можно сказать, драгоценнейшим из всех дней, когда для меня впервые начало восходить истинное солнце, прежде всего приложил всякое старание к тому, чтобы привязать меня к себе, в то время как я, подобно зверям, рыбам или птицам, попавшим в силки или в сети, но старающимся ускользнуть и убежать, хотел удалиться от него в Берит или в отечество.

74. Он употреблял всевозможные доводы, трогал, как говорит пословица, за всякую веревку, прилагал все свои силы.

75. Он восхвалял философию и любителей философии обширными, многочисленными и приличествующими похвалами, говоря, что они одни живут жизнью, поистине приличной разумным существам, так как они стремятся жить правильно и [прежде всего] достигают знания о самих себе, каковы они, а затем об истинно благом, к чему человек должен стремиться, и об истинно злом, чего должен избегать.

76. С другой стороны, он порицал невежество и всех невежественных; а таких много, которые, наподобие скота, слепотствуют умом, не знают даже того, что они блуждают, как будто не имеют разума, и вообще не знают и не хотят узнавать, в чем действительная сущность добра и зла, как на благо устремляются и жаждут денег, славы и почета со стороны толпы и благосостояния тела,

77. ценят это выше многого и даже всего; – из искусств те, которые могут доставить эти блага, а из родов жизни те, которые подают надежду на них: военную службу, судебную и изучение законов. Это, – так говорил он с особенной настойчивостью и большим искусством, – то, что возбуждает нас, если мы оставляем в пренебрежении наш разум, который, однако, как он говорит, больше всего из нас призван к господству.

78. Я теперь не могу сказать, сколько такого рода изречений он произнес, убеждая меня к изучению философии; не один только день, но много дней вначале, когда я приходил к нему. Я поражен был его речью, как стрелой, и именно с первого дня, – ибо речь его представляла в некотором роде смешение приятной привлекательности, убедительности и какой-то принудительной силы, – но я все еще колебался и обдумывал, и я решил заняться философией, еще не будучи совершенно убежден, но, с другой

стороны, я не мог, не знаю почему, и удалиться от него, а все более и более привлекался к нему его речами, как бы силою какого-то высшего принуждения.

79. Он утверждал именно, что совершенно невозможно даже почитать Владыку всего, – это преимущество, обладать которым между всеми живыми существами на земле почтен и удостоен один только человек; и им естественно владеет всякий, кто бы он ни был, мудрый или невежественный, лишь бы только он совершенно не потерял вследствие какого-либо умопомешательства способности мышления; таким образом, даже богопочтение он, говоря правильно, объявлял совершенно невозможным для того, кто не занимается философией.

80. Он внушал мне множество такого рода оснований одни за другими до тех пор, пока, как бы зачарованного его искусством, не привел к цели без малейшего движения [противодействия с моей стороны], и не знаю, каким образом своими речами, как бы с помощью некоторой божественной силы, прочно посадил меня подле себя.

81. Ибо он поразил меня и жалом дружбы, с которым нелегко бороться, острым и сильнодействующим жалом умелого обращения и доброго расположения, которое, как благожелательное ко мне, обнаруживалось в самом тоне его голоса, когда он обращался ко мне и беседовал со мной. Он стремился не просто одолеть меня своими доводами, но благоприятным, человеколюбивым и благородным расположением спасти и сделать причастником как тех благ, которые истекают из философии,

82. так и других, особенно тех, которые Божество даровало ему одному превыше многих, или, может быть, превыше и всех нынешних людей,... спасительное Слово, которое ко многим приходит и всех, с кем только встречается, покоряет, – ибо нет ничего, что могло бы противостоять Ему, так как Оно есть и будет царем всего, – но Оно сокровенно и многими не только с легкостью, но и с трудом не познается в такой степени, чтобы, если их спросят о Нем, могли дать ясный ответ.

83. Подобно искре, попавшей в самую душу мою, возгорелась и воспламенилась моя любовь как к священному, достойнейшему любви самому слову, Которое, в силу своей неизреченной красоты, привлекательнее всего, так и к сему мужу, Его другу и глашатаю.

84. В высшей степени пораженный ею, я был убежден пренебречь всеми делами или науками, которые, как казалось, были приличны мне, как другими, так даже самыми моими прекрасными законами, [далее] моим отечеством и моими родственниками, как теми, которые были здесь, так и тою [то есть матерью], от которой я уехал; одно было для меня дорого и любезно – философия и руководитель в ней, этот божественный человек.

85. «И соединилась душа Ионафана с Давидом» (1 Цар 18:1). Это позднее прочитал я в Священном Писании, но и прежде я чувствовал это не менее ясно, чем сказано [в этом изречении], однако [здесь] это предсказано очень ясно. <... >

92. Таковыми узами, так сказать, крепко связавши, этот Давид держит меня не только теперь, но уже с того времени, и если бы я даже захотел, то не мог бы уже освободиться от его уз. Если бы я даже и ушел отсюда, то и тогда он не освободит моей души, которую он, по божественному Писанию, держит столь крепко связанной.

## VII

93. Впрочем, после того как он с самого начала таким образом захватил меня и всеми возможными способами преодолел, и после того, как им было достигнуто главное, и я решил остаться, с того времени он [начал поступать со мной] подобно тому, как поступает хороший земледелец с землей, которая не возделана и действительно никаким образом не плодородна, но соленая и сожженная, каменистая и песчаная, или даже с такою, которая и не совсем бесплодна и по крайней мере не лишена растительности, но [напротив] даже тучная и однако не возделана и оставлена в пренебрежении, поросла тернием и диким кустарником и с трудом поддается обработке;

94. или как садовник с деревом, которое, правда, дико и не приносит благородных плодов, однако не совсем негодно, если кто с искусством садовника возьмет благородный росток и привьет ему, [сначала] сделавши расщелину посреди, потом опять соединивши и связавши, пока оба не срастутся в одно, как два слившихся источника, – ибо можно видеть в некотором роде так смешанное дерево, правда, не настоящей породы, но из бесплодного сделавшееся плодовитым, на

диких корнях приносящее плоды прекрасной маслины. Или с деревом, которое хотя и дико, но несмотря на это бесполезно для искусного садовника, или и с благородным деревом, которое приносит добрые плоды, но иначе, чем следует, или с деревом, которое по недостатку искусства не обрезано, не полито и запущено и задушено многими лишними ростками, которые на нем бесцельно вырастают и взаимно мешают достигать совершенства в росте и приносить плоды.

95. Так он овладел мною и со свойственным ему искусством как бы земледельца осмотрел и проник не только в то, что видимо всем и усматривается на поверхности, но глубоко вскопал и исследовал самые внутренние основания, ставя вопросы, предлагая и выслушивая мои ответы; когда он усматривал во мне что-либо не непригодное, не бесполезное и не исключающее надежды на успех,

96. он начинал вскапывать, перепахивать, поливать, все приводил в движение, прилагал все свое искусство и заботливость и тщательно возделывал меня. Терние и волчцы и всякий род диких трав и растений, сколько их в своем изобилии произрастила и произвела моя беспокойная душа, так как она была неупорядочена и нерассудительна, – все это он обрезывал и удалял своими изобличениями и запрещениями.

97. Он нападал на меня и особенно своим сократическим способом доказательства иногда повергал меня на землю, если видел, что я, как дикая лошадь, совершенно сбрасывал узду, выскакивал за дорогу и часто бесцельно бегал кругом, пока убеждением и как бы принудительною силою – доказательством из моих собственных уст, как уздою, снова делал меня спокойным.

98. Сначала мне было тягостно и не безболезненно, когда он приводил свои доказательства, так как я не привык еще к этому и не упражнялся в том, чтобы подчиняться доводам разума; но вместе с тем он и очищал меня.

Но как только он сделал меня способным и хорошо приготовил к принятию доказательств истины,

99. тогда-то, как обработанную и мягкую землю, готовую возрастить брошенные в нее семена, он обильно засеял; благовременно он и посев произвел, благовременно и весь остальной уход совершал, все надлежащим образом и соответственными средствами слова.

100. Все, что было в моей душе притуплено и извращено, потому ли, что от природы она была такова, или потому, что вследствие чрезмерного питания тела она огрубела, он возбуждал и ослаблял своими утонченными доводами и приемами логических построений,

101. которые, последовательно развертываясь из самых простейших предположений и разнообразно переплетаясь друг с другом, развиваются в какую-то необыкновенную и трудноразрываемую ткань; они пробуждают меня как бы ото сна и научают всегда держаться поставленной перед собой цели, ни в каком случае не уклоняясь с прямого пути ни вследствие отдаленности ее, ни вследствие ее утонченности.

102. А что было во мне не взвешено и не обдуманно, потому ли, что я соглашался с тем, что первое попадалось, каково бы оно ни было, даже если оно было ложным, или потому, что я часто возражал, даже если бы высказано было что-либо истинное, – и это он исправлял как прежде названными, так и другими разнообразными доводами. Ибо многообразна эта часть философии [то есть диалектика], приучающая не безрассудно и не как случится то соглашаться на доказательства, то отклонять их, но точно исследовать не только то, что бросается в глаза,

103. ибо много замечательного самого по себе и блестящего под покровом благородных речей проникло в мои уши, как если бы оно было истинным, тогда как на самом деле оно было внутри испорчено и лживо, но вырывало у меня и получало признание своей истинности, а спустя немного изобличалось как дурное и недостойное доверия, напрасно притворявшееся истиной, – и он легко показывал мне, что я смешным образом был обманут и необдуманно свидетельствовал о том, о чем менее всего должно было свидетельствовать.

104. Наоборот, опять другое превосходное, но не выступающее напыщенно или не облеченное в вызывающие доверие выражения, мне казалось противным здравому смыслу и в высшей степени недостоверным и просто отвергалось, как ложное, и недостойным образом подвергалось поруганию, но позднее, когда я основательно исследовал и обдумывал, я узнавал, что то, что я дотоле считал заслуживающим быть отвергнутым и негодным, в высшей степени истинно и совершенно непреодолимо, —

105. [так вот говорю], он учил, что должно основательно исследовать и испытывать не только внешнюю сторону и то, что



заметно выделяется, – оно бывает иногда обманчиво и коварно рассчитано, – но внутреннюю сущность каждой отдельной вещи, не обнаружится ли где-либо фальшивого звука, и прежде всего самому убедиться в этом и только тогда соглашаться с внешним впечатлением и высказывать суждение относительно каждого отдельного явления.

106. Так развивал он по законам логики способность моей души критически судить относительно отдельных выражений и целых речей,

107. а не так, как блестящие риторы, которые судят по тому, есть ли в выражении что-либо эллинское или варварское, – это знание имеет мало значения и не необходимо.

108. Но то знание в высшей степени необходимо для эллинов и для варваров, для мудрых и невежественных и вообще, – чтобы речь моя не была длинною от подробного перечисления всех в частности наук и занятий, – для всех людей, какую бы род жизни они ни избрали, поскольку по крайней мере у всех, кто ведет с другими речь о каком бы то ни было предмете, есть забота и старание не быть обманутыми.

## VIII

109. Но он стремился возбудить и развить не только эту сторону моей души, правильная постановка которой принадлежит одной только диалектике, но также и низшую часть моей души: я был изумлен величием и чудесами, а также разнообразным и премудрым устройством мира, и я дивился, хотя и без разумения, и совершенно поражен был глубоким благоговением, но подобно неразумным животным не умел ничего объяснить, —

110. [так он возбуждал и развивал во мне эту способность] другими отраслями знаний, именно посредством естественных наук он объяснял и исследовал каждый предмет в отдельности и притом весьма точно до самых первоначальных элементов, потом связывал это своей мыслью и проникал в природу как всего в совокупности, так и каждого предмета в отдельности, и следил за многообразным изменением и превращением [всего] сущего в мире,

111. до тех пор, пока своим ясным научением и доводами, которые он частью усвоил от других, частью сам придумал, не принес и не вложил в мою душу вместо неразумного разумное удивление

относительно священного управления вселенной и совершеннейшим образом устроенной природы.

112. Этому возвышенному и божественному знанию научает для всех возлюбленная физиология.

113. Что же я должен сказать о священных науках – всем любезной и бесспорной геометрии и парящей в высотах астрономии? И все это он напечатлевал в моей душе, научая или вызывая в памяти, или не знаю, как нужно сказать.

114. Первую, именно геометрию, так как она непоколебима, он просто делал как бы опорой всего и, так сказать, крепким основанием; а возводя до высочайших областей посредством астрономии, он через обе названные науки как бы посредством лестницы, возвышающейся до небес, делал для меня доступным небо.

## IX

115. Но, что важнее всего и ради чего больше всего трудятся все философы, собирая как бы из разнородного насаждения всех прочих наук и продолжительного занятия философией добрые плоды, именно божественные добродетели нравственного характера, посредством которых душевные силы достигают невозмутимого и уравновешенного состояния, —

116. [к этому стремился] и он, [когда] намеревался сделать меня невосприимчивым к скорбям и нечувствительным ко всякого рода бедствиям, напротив, внутренне упорядоченным, уравновешенным и поистине богоподобным и блаженным.

117. И этого он старался достигнуть свойственными ему мягкими и мудрыми, но вместе с тем и особенно настойчивыми речами, относительно моего характера и образа жизни.

118. И он управлял моими внутренними движениями не только своими речами, но в известном смысле также и своими делами, именно посредством исследования и наблюдения душевных движений и чувств, — так как наша душа обыкновенно скорее всего тогда и приводится в порядок из расстройства, когда последнее познается, и из состояния смятения она переходит в определенное и хорошо упорядоченное, —

119. чтобы она как в зеркале созерцала самое себя, именно самые начала и корни зла, всю свою неразумную сущность, из которой проистекают наши непристойные страсти, а с другой стороны все, что составляет наилучшую часть ее – разум, под господством которого она пребывает сама по себе невредимой и бесстрастной.

120. Потом, точно взвесивши это в себе самой, она все то, что происходит из низшей природы, ослабляет нас распущенностью или подавляет и угнетает нас унынием, как, например, чувственные удовольствия и похоти или печаль и страх и весь ряд бедствий, которые следуют за этого рода состояниями, – все это она должна вытеснить и устранить, восставая против них при самом возникновении и первом возрастании их, и не допускать даже малейшего увеличения их, но уничтожать и заставлять бесследно исчезать.

121. А что, напротив, проистекает из лучшей части и благо для нас, то она должна воспитывать и поддерживать, заботливо ухаживая за ним в самом начале и охраняя, пока оно не достигнет совершенного развития.

122. Ибо таким способом [по его мнению] душа могла бы со временем усвоить божественные добродетели, именно благоразумие, которое прежде всего в состоянии определить эти самые движения души, так как на основе их происходит познание и относительно того, что вне нас, каково бы оно ни было, – [познание] доброго и злого; и умеренность, эту способность, которая в самом начале может сделать в этом правильный выбор; и справедливость, которая каждому воздает должное; и спасение всех этих [добродетелей] – мужество.

123. Впрочем, не речами, которые он произносил, он приучал меня к тому, что благоразумие есть знание доброго и злого или того, что должно делать и чего не должно делать, – это, несомненно, было бы пустой и бесполезной наукой, если бы слово было несогласно с делами и благоразумие не делало того, что должно делать, и не отвращалось от того, чего не должно делать, и однако тем, которые обладают им, доставляло относящееся к этому знание, как мы видим на многих. <...>

132. Я хочу открыто высказать только то, что я испытал на самом себе, без какого-либо противопоставления и без каких-либо искусственных приемов в речи.

## XI

133. Этот муж был первый и единственный, который склонил меня заняться также изучением эллинской философии, убедивши меня своим собственным образом жизни, и выслушать его речь о правилах жизни и внимательно следовать ей,

134. тогда как, насколько это зависело бы от других философов, – снова признаюсь в этом, – я не был бы убежден; конечно, с одной стороны, я был неправ, но с другой, это должно было бы явиться для меня почти несчастьем. Правда, вначале я входил в соприкосновение не с очень многими, а только с некоторыми, которые объявляли себя учителями в ней, однако все в своей философии не поднимались выше простых речей.

135. А он был первый, который и словами побуждал меня к занятию философией, упреждая делами побуждение посредством слов; он не сообщал только заученных изречений, но не считал достойным даже и говорить, если бы не делал этого с чистым намерением и стремлением осуществить сказанное; и скорее он старался показать себя таким, каким в своих речах изображал того, кто намерен жить надлежащим образом, и предлагал, – я охотно сказал бы, – образец мудрого. <... >

137. Кроме того, он стремился и меня преобразовать в этом роде, чтобы я овладел и понимал не только речи о душевных движениях, но и самые эти движения. Он особенно налегал на дела и слова [вместе] и при самом теоретическом научении представлял мне не малую часть каждой отдельной добродетели, может быть, он привел бы и всю, если бы я мог вместить.

138. Он принуждал меня, если так можно сказать, поступать справедливо посредством деятельности своей собственной души, присоединиться к которой он убедительно побуждал меня, отклоняя меня от многопопечительности, какой требует повседневная жизнь, и беспокойств общественного служения, напротив, побуждая тщательно

исследовать самого себя и делать то, что является поистине собственным делом. <... >

141. С другой стороны, он не менее учил быть благоразумным, именно, чтобы душа моя была обращена к самой себе и чтобы я желал и стремился познать самого себя. Это действительно – самая прекрасная задача философии, которая именно приписана и преимущественнейшему из пророческих духов [Аполлону], как мудрейшее повеление: познай самого себя.

142. А что это действительно задача благоразумия и что это есть божественное благоразумие, прекрасно сказано древними, так как в действительности божественная и человеческая добродетель одна и та же, поскольку душа упражняется в том, чтобы видеть себя самое как бы в зеркале, и отражает в себе божественный ум, если оказывается достойной этого общения, и [таким образом] отыскивает некоторый неизреченный путь к обожению. <... >

148. Своей собственной добродетелью он внушил мне любовь и к красоте справедливости, истинно золотое лицо которой он показал мне, и любовь к благоразумию, которое должно быть предметом стремления для всех, и любовь к истинной мудрости, в высшей степени достойной любви, любовь к богоподобной умеренности, которая есть уравновешенность и мир души для всех, стяжавших ее, и любовь к достойнейшему удивления мужеству,

149. любовь к нашему терпению и прежде всего любовь к благочестию, которое справедливо называют матерью всех добродетелей, ибо оно – начало и конец всех добродетелей. Если бы от него начинали, то и все остальные добродетели в высшей степени легко появились бы у нас. Если бы мы желали и стремились к тому, к чему должен стремиться каждый человек, если он только не безбожник и не предан чувственным удовольствиям, именно к тому, чтобы сделаться другом и защитником славы Божией, мы заботились бы и о прочих добродетелях, чтобы нам приближаться к Богу не в состоянии недостойности и нечистоты, но со всякой добродетелью и мудростью, как бы с добрым провожатым и мудрейшим священником. Цель же всего, я думаю, не иная, как та, чтобы, чистым умом уподобившись Богу, приблизиться к Нему и пребывать в Нем. <... >

## XIV

171. Но он и сам шел вместе со мной впереди меня и вел меня за руку, как бы во время путешествия, на тот случай, если встретится на пути что-либо неровное, потайное или коварное. Подобно тому, как сведущий человек, для которого вследствие продолжительного обращения с речами, нет ничего, в чем бы он не имел навыка или опыта, не только сам оставался бы вверху на твердом месте, но и другим протягивал бы руку и спасал, извлекая их, как бы погружающихся в воду;

172. так и он собирал все, что у каждого философа было полезного и истинного, и предлагал мне,

173. а что было ложно, выделял... в особенности то, что по отношению к благочестию было собственным делом людей. <...>

## XV

183. Коротко сказать, он был для меня поистине раем, воспроизведением того великого рая Божия, в котором не нужно было обрабатывать эту низменную землю и, огрубевши, питать тело, но только с радостью и наслаждением умножать стяжания души, как бы цветущие растения, насажденные нами самими или посаженные в нас Виновником всего.

## Либаний (314–393)

Крупнейший ритор и один из последних идеологов Античности, Либаний родился в г. Антиохии, культурном центре греческого Востока и всей Римской империи, распавшейся через два года после смерти Либания на Западную и Восточную. Семья его принадлежала к высшей городской аристократии, но сильно пострадала от репрессий во времена императора Диоклетиана. Получив традиционное воспитание, Либаний в возрасте пятнадцати лет увлекся риторикой. Окончательно решив заняться искусством красноречия, он в 336 г. отправляется в Афины и через пять лет становится странствующим преподавателем в различных городах Греции и Малой Азии. Наибольший успех имела открытая Либанием школа в г. Никомидии, где он был наставником Василия Великого, а также Григория Нисского, будущего императора Юлиана.

Победа на состязании риторов обеспечила Либанию вызов в Константинополь в качестве императорского ритора. Однако спустя пять лет Либаний добился разрешения жить в своем родном городе Антиохии. Он становится городским наставником, оратором и педагогом. Впоследствии ему присвоили титул префекта претория, приравнявший его к высшим сановникам Римской империи.

Последняя часть жизни Либания прошла под знаком падения престижа светского ораторского искусства, сокращения числа учеников в риторских школах. Именно на это время, 388–393 гг., приходится сочинение им автобиографии, где ярко отражен уходящий идеал античного образования как подготовки воспитанного на классических литературных образцах общественного человека, владеющего мастерством оратора. В нашей антологии мы приводим отрывок из начала автобиографии, где Либаний описывает свое детство<sup>96</sup>.

### **Жизнь, или о собственной доле**

4.... отец мой, имея трех детей, из коих я был средним, умер раньше зрелого возраста, получил он в приданое небольшую часть из значительного состояния, и тотчас в распоряжение им вступает отец матери. Мать же, побоявшись недобросовестности опекунов и, вследствие скромности, необходимости входить с ними в переговоры, сама желая быть для нас всем, все прочее попечение сохранила вполне за собою ценою большого труда, а за ученье платила деньги наставникам и не умела сердиться на ленивого сына, считая делом любящей матери никогда ни в чем не огорчать свое чадо, так что большая часть года у меня уходила на прогулки по полям более, чем на ученье.

5. После того как у меня прошло таким образом четыре года, я достиг пятнадцатилетия и мною овладела горячая любовь к красноречию, и в такой степени, что утехы полей были забыты, проданы голуби, ручные птицы, страсть к коим способна заполнить юношу, состязания коней, сценические представления, все было в забросе. И чем я особенно поразил и молодежь, и стариков, я воздерживался от посещения тех единоборств, где падали и побеждали мужи, которых можно было назвать учениками тех трехсот, что были при Фермопилах. <... >

8. Затем, опять-таки, посещение школы учителя, изливавшего красоту словес, доля ученика счастливого, а я посещал его не так много, как бы следовало, но до времени исполнял это только для приличия – посещал. А когда меня воодушевила любовь к учению, я уже не имел того, кто должен был сообщать мне его, так как тот поток уже погас, доля несчастного. Итак, тоскуя по тому, кого уже не было, и пользуясь руководством тех, кто был лишь каким-то призраком софистов<sup>97</sup>, словно те люди, что питаются ячменным хлебом вместо хлеба высшего качества, – так как нимало не успевал, но грозила опасность, следуя слепым руководителям, впасть в бездну невежества, я с ними расстался и, дав отдых душе от творчества, а языку от речей, руке же от письма, занимался только одним – заучивал наизусть произведения древних при содействии человека, одаренного чрезвычайно памятью и способного делать юношей сведущими в красотах тех писателей. И я настолько ревностно был привержен этому, что, даже когда он отпускал юношей, не покидал его, но и на пути через площадь в руках у меня была книга. Учителю приходилось



даже прибегать к настоящему требованию, которым он в ту минуту явно тяготился, а позднее хвалил.

9. Так прошло пять лет, в течение коих вся душа моя обращена была к этим занятиям, и божество содействовало тому, не прерывая хода учения. <... >

11. Итак, когда в душе образовался запас произведений людей, могуществом своего слова больше всех прочих вызывавших общее восхищение, и меня потянуло к действительной жизни... а был у меня друг... Ясион, поздно приступивший к риторике, но в своем трудолюбии обретавший удовольствие не менее кого-либо другого, – этот Ясион чуть не ежедневно рассказывал мне о том, что слышал от людей старшего поколения об Афинах и тамошней деятельности, сообщая о каких-то Каллиниках и Глеполемах, и мощи слова немалого числа других софистов, и о речах, в каких они одерживали победы друг над другом или терпели поражения. Под влиянием этих рассказов душой моей овладевало горячее желание посетить этот город. <... >

## Аврелий Августин (354–430)

Аврелий Августин – епископ г. Гиппон (Северная Африка), один из самых выдающихся христианских теологов и церковных деятелей, величайший философ раннего христианства. В его учении религиозные идеи Нового Завета органично слились с греческой философией Платоновой традиции, составив основу как средневекового римского католицизма, так и позднее протестантизма.

Августин родился в семье среднего достатка в городе Тагаст (Северная Африка). Его отец Патриций был язычником, мать Моника – христианкой. Она много заботилась о спасении сына, но не могла пойти против воли мужа и крестить его в детстве. Учеба давалась Августину легко. Хотя он и не отличался особым прилежанием, его успехи в науках были настолько заметны, что все сулили ему блестящую карьеру. В 19 лет, прочитав один из трактатов Цицерона, Августин почувствовал страсть к философии и решил целиком посвятить себя ей.

Сначала, поскольку христианская вера тогда казалась ему недостаточно «философской», он обратился к манихейству – возникшей в Персии религии, которая представляла собой синкретический сплав христианства и зороастризма и др. В это время Августин сблизился с некоей женщиной низкого происхождения (имени ее мы не знаем), которая оставалась с ним на протяжении многих лет и от которой у него родился сын. В 28 лет для Августина наступает период разочарования в манихействе. Он покидает Карфаген и отправляется сначала в Рим, а затем в Милан.

Здесь, в Милане, он встретился с одним из самых известных религиозных деятелей его времени Амвросием Медиоланским (ок. 340–379), проповеди которого освободили Августина от предубеждений против христианской веры. Подлинным откровением для него стали также трактаты знаменитого толкователя Платона – Плотина, спиритуалистическая образность учения которого (позднее оно стало называться неоплатонизмом) широко использовалась христианами. Тогда же в Милан приезжает мать Августина, общение с

которой сыграло не последнюю роль в его окончательном решении стать христианином.

Непосредственным толчком к принятию крещения (оно состоялось 24 апреля 387 г.), по словам Августина, стало чудо – таинственный голос с небес повелел ему обратиться к Евангелию. Это событие ознаменовало крутой поворот в его жизни. Он вскоре покидает Милан, оставляя и блестящую карьеру, и свою возлюбленную, и возвращается в родной город, где основывает небольшую монастырскую общину. Через некоторое время он принимает священнический сан, а в 395 г. посвящается в сан епископа. Августин много сил отдает борьбе с ересями, составлению проповедей, переписке со своими духовными детьми, исполнению обязанностей церковного судьи.

Главным делом в служении Богу для Августина, однако, стала писательская деятельность. В числе оставленных им многочисленных сочинений (в новом издании они составляют 16 томов) – проповедей, диалогов, посланий, комментариев, трактатов – находится и стоящая несколько обособленно автобиографическая «Исповедь».

«Исповедь» была написана около 400 г., когда ее автору было уже полных 45 лет (по тем временам возраст вполне почтенный). В ней Августин рассказывает историю своего детства, беспокойной молодости, исканий зрелого возраста, завершившихся принятием им христианства. Таким образом, внешние события его жизни и его душевные переживания в «Исповеди» (кн. I–IX) – это лишь ступени, по которым автор движется к богословской цели сочинения: открытию пути к постижению Господа (кн. X–XIII).

Рассказ Августина о себе, отличающийся экспрессивным лиризмом интонаций, в значительной мере посвящен изображению внутреннего мира автобиографического героя. Особое место занимают в нем окрашенные необычайной психологической глубиной и драматизмом описания нравственных конфликтов. Личностная перспектива рассказа при этом тесно переплетается с трансцендентной, с идеей предопределения, ставящей нравственный выбор человека в зависимость от Божественной воли.

То, что мы называем сегодня детством, в «Исповеди» (ее автор вполне разделяет здесь позднеантичные представления о семи периодах человеческой жизни) охватывает три «возраста»: внутриутробный (*primordia*); младенческий (*infantia*) – от рождения до

появления речи; и детский (pueritia) – от появления речи до наступления половой зрелости. Августин подробно рассказывает о том, каким он был в каждом из этих (за исключением внутриутробного) возрастов, опираясь не только на свою память, но и на то, что он слышал от других. Отличительной особенностью этого рассказа является безусловное признание изначальности собственной греховности, которая в представлении Августина является результатом первородного греха<sup>98</sup>.

# Исповедь

## Книга 1

Что хочу я сказать, Господи Боже мой? – только, что я не знаю, откуда я пришел сюда, в эту – сказать ли – мертвую жизнь или живую смерть? Не знаю. Меня встретило утешениями милосердие Твое, как об этом слышал я от родителей моих по плоти, через которых Ты создал меня во времени; сам я об этом не помню. Первым утешением моим было молоко, которым не мать моя и не кормилицы мои наполняли свои груди; Ты через них давал мне пищу, необходимую младенцу по установлению Твоему и по богатствам Твоим, распределенным до глубин творения. Ты дал мне не желать больше, чем Ты давал, а кормилицам моим желание давать мне то, что Ты давал им. По внушенной Тобою любви хотели они давать мне то, что в избытке имели от Тебя. Для них было благом мое благо, получаемое от них, но оно шло не от них, а через них, ибо от Тебя все блага, и от Господа моего все мое спасение. Я понял это впоследствии, хотя Ты зывал ко мне и тогда – дарами извне и в меня вложенными. Уже тогда я умел сосать, успокаивался от телесного удовольствия, плакал от телесных неудобств – пока это было все.

Затем я начал и смеяться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо мне, и я верю этому, потому что то же я видел и у других младенцев: сам себя в это время я не помню. И вот постепенно я стал понимать, где я; хотел объяснить свои желания тем, кто бы их выполнил, и не мог, потому что желания мои были во мне, а окружающие вне меня, и никаким внешним чувством не могли они войти в мою душу. Я барахтался и кричал, выражая немногочисленными знаками, какими мог и насколько мог, нечто подобное моим желаниям, – но знаки эти не выражали моих желаний. И когда меня не слушались, не поняв ли меня или чтобы не повредить мне, то я сердился, что старшие не подчиняются мне, и свободные не служат как рабы, и мстил за себя плачем. Что младенцы таковы, я узнал по тем, которых смог узнать, и что я был таким же, об этом мне

больше поведали они сами, бессознательные, чем сознательные воспитатели мои. <... >

Исповедую Тебя, Господи неба и земли, воздавая Тебе хвалу за начало жизни своей и за свое младенчество, о которых я не помню. Ты позволил человеку догадываться о себе по другим, многому о себе верить, полагаясь даже на свидетельство простых женщин. Да, я был и жил тогда и уже в конце младенчества искал знаков, которыми мог бы сообщить другим о том, что чувствовал. <...>

Услыши, Господи! Горе грехам людским. И человек говорит это, и Ты жалеешь его, ибо Ты создал его, но греха в нем не создал. Кто напомнит мне о грехе младенчества моего? Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день. Кто мне напомнит? Какой-нибудь малютка, в котором я увижу то, чего не помню в себе?

Итак, чем же грешил я тогда? Тем, что, плача, тянулся к груди? Если я поступлю так сейчас и, разинув рот, потянусь не то что к груди, а к пище, подходящей моему возрасту, то меня по всей справедливости осмеют и выбранят. И тогда, следовательно, я заслуживал брани, но так как я не мог понять бранившего, то было и не принято и не разумно бранить меня. С возрастом мы искореняем и отбрасываем такие привычки. Я не видел сведущего человека, который, подчищая растение, выбрасывал бы хорошие ветви. Хорошо ли, однако, было даже для своего возраста с плачем добиваться даже того, что дано было бы ко вреду? жестоко негодовать на людей неподвластных, свободных и старших, в том числе и на родителей своих, стараться по мере сил избить людей разумных, не повинующихся по первому требованию потому, что они не слушались приказаний, послушаться которых было бы губительно? Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку: он еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на своего молочного брата. Кто не знает таких примеров? Матери и кормилицы говорят, что они искупают это, не знаю какими средствами. Может быть, и это невинность, при источнике молока, щедро изливающимся и преизбыточном, не выносить товарища, совершенно беспомощного, живущего одной только этой пищей? Все эти явления кротко терпят не потому, чтобы они были ничтожны или маловажны, а потому, что с

годами этой пройдет. И Ты подтверждаешь это тем, что то же самое нельзя видеть спокойно в возрасте более старшем. <...>

... Этот возраст, Господи, о котором я не помню, что я жил, относительно которого полагаюсь на других и в котором, как я догадываюсь по другим младенцам, я как-то действовал, мне не хочется, несмотря на весьма справедливые догадки мои, причислять к этой моей жизни, которой я живу в этом мире. В том, что касается полноты моего забвения, период этот равен тому, который я провел в материнском чреве. И если «я зачат в беззаконии, и во грехах питала меня мать во чреве»<sup>99</sup>, то где, Боже мой, где, Господи, я, раб Твой, где и когда был невинным? Нет, пропускаю это время; и что мне до него, когда я не могу отыскать никаких следов его?

Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени, от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество. Младенчество не исчезло – куда оно ушло? и все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слова, а мальчиком, который говорит, был я. И я помню это, а впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигиванья, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соотносить, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выразить свои желания, начал я этими знаками общаться с

теми, среди кого жил; я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли старших.

Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда. Мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует: слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мире успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били; старшие одобряли этот обычай. Много людей, живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым нас заставляли проходить; умножены были труд и печаль для сыновей Адама. Я встретил, Господи, людей, молившихся Тебе, и от них узнал, постигая Тебя в меру сил своих, что Ты Кто-то Большой и можешь, даже оставаясь скрытым для наших чувств, услышать нас и помочь нам. И я начал молиться Тебе, «Помощь моя и Прибежище мое»<sup>100</sup>, и, взывая к Тебе, одолел косноязычие свое. Маленький, но с жаром немалым, молился я, чтобы меня не били в школе. И так как Ты не услышал меня – что было не во вред мне, – то взрослые, включая родителей моих, которые ни за что не хотели, чтобы со мной приключалось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великим и тяжким тогдашним моим несчастьем.

Есть ли, Господи, человек, столь великий духом, прилепившийся к Тебе такой великой любовью, есть ли, говорю я, человек, который в благочестивой любви своей так высоко настроен, что дыба, кошки и тому подобные мучения, об избавлении от которых повсеместно с великим трепетом умоляют Тебя, были бы для него ничем? (Иногда так бывает от некоторой тупости.) Мог ли бы он смеяться над теми, кто жестоко трусил этого, как смеялись наши родители над мучениями, которым нас, мальчиков, подвергали наши учителя? Я и не переставал их бояться, и не переставал просить Тебя об избавлении от них, и продолжал грешить, меньше упражняясь в письме, в чтении и в обдумывании уроков, чем это от меня требовали. У меня, Господи, не было недостатка ни в памяти, ни в способностях, которыми Ты пожелал в достаточной мере наделить меня, но я любил играть, и за это меня наказывали те, кто сами занимались, разумеется, тем же самым. Забавы взрослых называются делом, у детей они тоже дело, но взрослые за них наказывают, и никто не жалеет ни детей, ни взрослых.



Одобрит ли справедливый судья побои, которые я терпел за то, что играл в мяч и за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый, играл в игру более безобразную? Наставник, бивший меня, занимался не тем же, чем я? Если его в каком-нибудь вопросе побеждал ученый собрат, разве его меньше душили желчь и зависть, чем меня, когда на состязаниях в мяч верх надо мною брал товарищ по игре?

И все же я грешил, Господи Боже, все в мире сдерживающий и все создавший; грехи же только сдерживающий. Господи Боже мой, я грешил, нарушая наставления родителей и учителей моих. Я ведь смог впоследствии на пользу употребить грамоту, которой я, по желанию моих близких, каковы бы ни были их намерения, должен был овладеть. Я был непослушен не потому, что избрал лучшую часть, а из любви к игре: я любил побеждать в состязаниях и гордился этими победами. Я тешил свой слух лживыми сказками, которые только разжигали любопытство, и меня все больше и больше подзуживало взглянуть собственными глазами на зрелища, игры старших. Те, кто устраивает их, имеют столь высокий сан, что почти все желают его для детей своих, и в то же время охотно допускают, чтобы их секли, если эти зрелища мешают их учению; родители хотят, чтобы оно дало их детям возможность устраивать такие же зрелища. Взгляни на это, Господи, милосердным оком и освободи нас, уже призывающих Тебя; освободи и тех, кто еще не призывает Тебя; да призовут Тебя, и Ты освободишь их. <...>

В детстве моем, которое внушало меньше опасностей, чем юность, я не любил занятий и терпеть не мог, чтобы меня к ним принуждали; меня тем не менее принуждали, и это было хорошо для меня, но сам я делал нехорошо; если бы меня не заставляли, я бы не учился. Никто ничего не делает хорошо, если это против воли, даже если человек делает что-то хорошее. И те, кто принуждали меня, поступали нехорошо, а хорошо это оказалось для меня по Твоей воле, Господи. Они ведь только и думали, чтобы я приложил то, чему меня заставляли учиться, к насыщению ненасытной жажды нищего богатства и позорной славы. Ты же, «у Которого сочтены волосы наши»<sup>101</sup>, пользовался, на пользу мою, заблуждением всех настаивавших, чтобы я учился, а моим собственным – неохотой к учению, Ты пользовался для наказания моего, которого я вполне заслуживал, я, маленький

мальчик и великий грешник. Так через поступавших нехорошо Ты благодетельствовал мне и за мои собственные грехи справедливо воздавал мне. Ты повелел ведь – и так и есть, – чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание.

В чем, однако, была причина, что я ненавидел греческий, которым меня пичкали с раннего детства? Это и теперь мне не вполне понятно. Латынь я очень любил, только не то, чему учат в начальных школах, а уроки так называемых грамматиков<sup>102</sup>. Первоначальное обучение чтению, письму и счету казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. Откуда это, как не от греха и житейской суетности, ибо «я был плотью и дыханием, скитающимся и не возвращающимся»<sup>103</sup>. Это первоначальное обучение, давшее мне в конце концов возможность и читать написанное и самому писать, что вздумается, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли заучивать блуждания какого-то Энея, забывая о своих собственных; плакать над умершей Дидоной, покончившей с собой от любви, – и это в то время, когда я не проливал, несчастный, слез над собою самим, умирая среди этих занятий для Тебя, Господи, Жизнь моя<sup>104</sup>. <...>

Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов? Гомер ведь умеет искусно сплести такие басни; в своей суетности он так сладостен, и тем не менее мне, мальчику, он был горек. Я думал, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий, если их заставляют изучать его так же, как меня Гомера. Трудности, очевидно обычные трудности при изучении чужого языка, окропили, словно желчью, всю прелесть греческих баснословий. Я не знал ведь еще ни одного слова по-гречески, а на меня налегали, чтобы я выучил его, не давая ни отдыха, ни сроку и пугая жестокими наказаниями. Было время, когда я, малюткой, не знал ни одного слова по-латыни, но я выучился ей на слух, безо всякого страха и мучений, от кормилиц, шутивших и игравших со мной, среди ласковой речи, веселья и смеха. Я выучился ей без тягостного и мучительного принуждения, ибо сердце мое понуждало рожать зачатое, а родить было невозможно, не выучи я, не за уроками, а в разговоре, тех слов, которыми я передавал слуху других то, что думал. Отсюда явствует, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. <...>

Позволь мне, Господи, рассказать, на какие бредни растрчивал я способности мои, дарованные Тобой. Мне предложена была задача, не дававшая душе моей покоя: произнести речь Юноны, разгневанной и опечаленной тем, что она не может повернуть от Италии царя тевкров<sup>105</sup>. Наградой была похвала; наказанием – позор и розги. Я никогда не слышал, чтобы Юнона произносила такую речь, но нас заставляли блуждать по следам поэтических выдумок и в прозе сказать так, как было сказано поэтом в стихах. Особенно хвалили того, кто сумел выпукло и похоже изобразить гнев и печаль в соответствии с достоинством вымышленного лица и одеть свои мысли в подходящие слова. Что мне с того, Боже мой, истинная Жизнь моя! Что мне с того, что мне за декламации мои рукоплескали больше, чем многим сверстникам и соученикам моим? Разве все это не дым и ветер? <...> Посмотри, Господи, и терпеливо, как Ты и смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от Тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово *homo* без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если, вопреки заповедям Твоим, он, человек, будет ненавидеть человека. Ужели любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? И, конечно, знание грамматики живет не глубже в сердце, чем запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь.

Вот на пороге какой жизни находился я, несчастный, и вот на какой арене я упражнялся. Мне страшнее было допустить варваризм, чем остеречься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю Тебе об этом, Господи, и исповедую пред Тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь. Я не видел пучины мерзостей, в которую «был брошен прочь от очей Твоих»<sup>106</sup>. Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие, без конца обманывая и воспитателя, и учителей, и родителей из любви к забавам, из желания посмотреть пустое зрелище, из веселого и беспокойного

обезьянничанья. Я воровал из родительской кладовой и со стола от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам, продававшим мне свои игрушки, хотя и для них они были такою же радостью, как и для меня. В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бранил? А если меня уличали и бранили, я свирепел, а не уступал.

И это детская невинность? Нет, Господи, нет! позволь мне сказать это, Боже мой. Все это одинаково: в начале жизни – воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи; когда же человек стал взрослым – префекты, цари, золото, поместья, рабы, – в сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Когда Ты сказал, Царь наш: «Таковых есть Царство Небесное»<sup>107</sup>, Ты одобрил смирение, символ которого – маленькая фигурка ребенка.

И все же, Господи, совершеннейший и благой Создатель и Правитель вселенной, благодарю Тебя, даже если бы Ты захотел, чтобы я не вышел из детского возраста. Я был уже тогда, я жил и чувствовал; я заботился о своей сохранности – след таинственного единства, из которого я возник. Движимый внутренним чувством<sup>108</sup>, я оберегал в сохранности свои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества. Что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе? <...>

## Книга 2

Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить Тебя, Боже мой. Из любви к любви Твоей делаю я это, в горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои. <... >

Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота плотских желаний и бившей ключом

возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков.

Возобладал надо мною гнев Твой, а я и не знал этого. Оглух я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей<sup>109</sup>. Я уходил все дальше от Тебя, и Ты позволял это; я метался, растрчивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и Ты молчал. О, поздняя Радость моя! Ты молчал тогда, и я уходил все дальше и дальше от Тебя, в гордости падения и беспокойной усталости выращая богатый посев бесплодных печалей. <...>

Где был я? Как далеко скитался от счастливого дома Твоего в этом шестнадцатилетнем возрасте моей плоти, когда надо мною подъяла скипетр свой целиком меня покорившая безумная похоть, людским неблагообразием дозволенная, законами Твоими неразрешенная. Мои близкие не позаботились подхватить меня, падающего, и оженить; их заботило только, чтобы я выучился как можно лучше говорить и убеждать своей речью...

Воровство, конечно, наказывается по закону Твоему, Господи, и по закону, написанному в человеческом сердце, который сама неправда уничтожить не может. Найдется ли вор, который спокойно терпел бы вора? И богач не терпит человека, принужденного к воровству нищетой. Я же захотел совершить воровство, и я совершил его, толкаемый не бедностью или голодом, а от отвращения к справедливости и от объедения грехом. Я украл то, что у меня имелось в изобилии и притом было гораздо лучше: я хотел насладиться не тем, что стремился уворовать, а самим воровством и грехом.

По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в глухую полночь; по губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе (если даже кое-что и съели); и мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запрещен. Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое, над которым Ты сжалился, когда оно было на дне бездны. Пусть скажет Тебе сейчас сердце мое, зачем оно искало быть злым

безо всякой цели. Причиной моей испорченности была ведь только моя испорченность. Она была гадка, и я любил ее; я любил погибель; я любил падение свое; не то, что побуждало меня к падению; самое падение свое любил я, гнусная душа, скатившаяся из крепости Твоей в погибель, ищущая желанного не путем порока, но ищущая самый порок.

Есть своя прелесть в красивых предметах, в золоте, серебре и прочем; только взаимная приязнь делает приятным телесное прикосновение; каждому чувству говорят воспринимаемые им особенности предметов. В земных почестях, в праве распоряжаться и стоять во главе есть своя красота; она заставляет и раба жадно стремиться к свободе. Нельзя, однако, в погоне за всем этим отходить от Тебя, Господи, и удаляться от закона Твоего. Жизнь, которой мы живем здесь, имеет свое очарование: в ней есть некое свое благолепие, соответствующее всей земной красоте. Сладостна людская дружба, связывающая милыми узами многих в одно. Ради всего этого человек и позволяет себе грешить и в неумеренной склонности к таким, низшим, благам покидает Лучшее и Наивысшее, Тебя, Господи Боже наш, правду Твою и закон Твой. В этих низших радостях есть своя услада, но не такая, как в Боге моем, Который создал все, ибо в Нем наслаждается праведник, и Сам Он наслаждение для праведных сердцем. <...>

Что же было мне, несчастному, мило в тебе, воровство мое, ночное преступление мое, совершенное в шестнадцатилетнем возрасте? Ты не было прекрасно, будучи воровством; представляешь ли ты вообще нечто, о чем стоило бы говорить с Тобой? Прекрасны были те плоды, которые мы украли, потому что они были Твоим созданием, прекраснейший из всех, Творец всего, благий Господи, Ты, высшее благо и истинное благо мое; прекрасны были те плоды, но не их желала жалкая душа моя. У меня в изобилии были лучшие: я сорвал их только затем, чтобы украсть. Сорванное я бросил, отведав одной неправды, которой радостно наслаждался. Если какой из этих плодов я и положил себе в рот, то приправой к нему было преступление. Господи Боже мой, я спрашиваю теперь, что доставляло мне удовольствие в этом воровстве? В нем нет никакой привлекательности, не говоря уже о той, какая есть в справедливости и благоразумии, какая есть в человеческом разуме, в памяти, чувствах и полной сил жизни; нет

красоты звезд, украшающих места свои; красоты земли и моря, полных созданиями, сменяющимися друг друга в рождении и смерти; в нем нет даже той ущербной и мнимой привлекательности, которая есть в обольщающем пороке. <...>

Что извлек я, несчастный, из того, вспоминая о чем, я сейчас краснею, особенно из того воровства, в котором мне было мило само воровство и ничто другое? Да и само по себе оно было ничто, а я от этого самого был еще более жалок. И однако, насколько я помню мое тогдашнее состояние духа, я один не совершил бы его; один я никак не совершил бы его. Следовательно, я любил здесь еще сообщество тех, с кем воровал. Я любил, следовательно, кроме воровства еще нечто, но и это нечто было ничем. Что же на самом деле? Кто научит меня, кроме Того, Кто просвещает сердце мое и рассеивает тени его? Зачем приходит мне в голову спрашивать, обсуждать и раздумывать? Ведь если бы мне нравились те плоды, которые я украл, и мне хотелось бы ими наесться, если бы мне достаточно было совершить это беззаконие ради собственного наслаждения, то я мог бы действовать один. Нечего было разжигать зуд собственного желания, расчесывая его о соучастников. Наслаждение, однако, было для меня не в тех плодах; оно было в самом преступлении и создавалось сообществом вместе грешивших.

Что это было за состояние души? Конечно, оно было очень гнусно, и горе мне было, что я переживал его. Что же это, однако, было? «Кто понимает преступления?»<sup>110</sup> Мы смеялись, словно от щекотки по сердцу, потому что обманывали тех, кто и не подумал бы, что мы можем воровать, и горячо этому бы воспротивился. Почему же я наслаждался тем, что действовал не один? Потому ли, что наедине человек не легко смеется? Не легко, это верно, и однако иногда смех овладевает людьми в полном одиночестве, когда никого другого нет, если им представится или вспомнится что-нибудь очень смешное. А я один не сделал бы этого, никак не сделал бы один. Вот, Господи, перед Тобой живо припоминаю я состояние свое. Один бы я не совершил этого воровства, в котором мне нравилось не украденное, а само воровство; одному воровать мне бы не понравилось, я бы не стал воровать. О, вражеская дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить на смех и в забаву! Стремление к чужому убытку без погони за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто

потому, что говорят: «пойдем, сделаем», и стыдно не быть бесстыдным.

Кто разберется в этих запутанных извивах? Они гадки: я не хочу останавливаться на них, не хочу их видеть. Я хочу Тебя, Справедливость и Невинность, прекрасная честным Светом Своим, насыщающая без пресыщения. У Тебя великий покой и жизнь безмятежная. Кто входит в Тебя, входит в «радость господина своего»<sup>111</sup> и не убоится, и будет жить счастливо в полноте блага. Я в юности отпал от Тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для себя областью нищеты.



## Павлин из Пеллы (376 – ок. 459)

Павлин из Пеллы – латинский христианский поэт конца IV – первой половины V в., автор автобиографической элегии «Евхаристик» и пространной «Молитвы» («Oratio»). Родился в Македонии, в г. Пелла, происходил из семьи римского имперского чиновника, сына знаменитого галльского поэта Авсония.

О биографии Павлина известно немного и в основном от него самого. Сохранились также документальные свидетельства того, что в 414 или 415 г. он поступил на государственную службу в качестве казначея, а в 421 г. обратился в христианство и хотел даже стать монахом. Павлин прожил долгую жизнь, полную испытаний. Он пережил вторжение варваров в Западную Римскую империю в 406 г., захват и разграбление визиготами Бордо в 414 г. и окончил свою жизнь в нищете.

Элегия «Евхаристик» (то есть «благодарственный стих») была написана Павлином на склоне его дней (поэту было 83 года). Сюжет ее незамысловат: автор, перебирая события своей жизни, несмотря на ее невзгоды воздает благодарение Богу за все, что тот для него содейл. Ниже приводится начало произведения: вступление, разъясняющее авторский замысел – то есть оправдывающее его обращение к собственной персоне («всею жизнью моею обязан я Господу»), – и автобиографический рассказ о детских и отроческих годах. Рассказ этот, перемежающийся хвалебными обращениями к Создателю, содержит основные моменты начала жизненного пути Павлина. Щедро умящая рассказ поэтическими красотами, он говорит о своем рождении, переездах семьи с места на место в первые годы его жизни, о прибытии в Рим. Затем задает сам себе главный вопрос: «Что же, однако, из тех ребяческих лет мне поведать?» И дальше строит свою историю, отвечая на него. Первой он упоминает любовь и заботу «родителей добрых», затем рассказывает об учебе («Был я посажен учить заветы Сократа и сказки / Петых Гомером битв и потом скитаний Улисса») и трудностях, которые он испытывал, одновременно изучая латынь и греческий, о тяжелой болезни, которая

прервала его ученье в 15 лет, и последовавшей затем опасной увлеченности мирскими соблазнами.

«Евхаристик» – один из наиболее ярких примеров «украшенной» поэтической автобиографии. Сочинение отличается от большинства других античных и средневековых стихотворных сочинений автобиографического характера подробное изложение конкретных сведений о жизни автора, и в этом смысле «Евхаристик» иногда сравнивают с «Исповедью» св. Августина. Нетрудно, впрочем, заметить, что в рассказе Павлина о своем детстве гораздо более выпукло выражены топоры античной биографической традиции, чем христианской агиографической, которая в его время только начинала складываться<sup>112</sup>.

### **Евхаристик Господу Богу в виде вседневной моей повести**

Ведомо мне, что были прославленные мужи, которые в блеске своих добродетелей вседневную повесть деяний своих собственными словами предали памяти людской ради продления достойнейшей своей славы. Будучи безмернейше от них отдален как заслугами, так и минованием времени, к сочиненьицу подобно же содержания был я побужден отнюдь не подобною причиною, ибо ни деяний за мною нет столь блестящих, чтобы стяжать ими хоть малую славу, ни красноречия во мне нет столь надежного, чтобы решиться соперничать с трудом моего сочинителя, – зато не стыжусь признаться, что меня, иссыхавшего скорбью маетной праздности в скитании дней моих, само божественное (верую!) милосердие побудило искать такого утешения, которое пристало и добросовестной старости и прилежной вере: сиречь, памятуя, что всею жизнью моею обязан я Господу, всей этой жизни моей поступки показать Ему подданными в послушании, и всей этой жизни моей возрасты, Его же благодатию мне данные, перечислить Ему евхаристически (сиречь благодарственно) в виде вседневной моей повести, – ибо я заведомо знаю, что было надо мною всеблагое Его милосердие, так как и в первом моем возрасте не чуждался я преходящих наслаждений, простительных роду человеческому; знаю и то, что в настоящей моей жизни предводит меня забота провидения Господня, ибо, непрестанными невзгодами с умеренностью меня упражняя, Он воочию меня вразумил, что не должно ни к насущной

красоте прилепляться душою, зная, что быть ей утраченной, ни встречных невзгод чрезмерно страшиться, испытавши, как помогает в них Его Господне милосердие.

Посему, если попадает это сочинение кому в руки, то самым заглавием книжки должен он быть предупрежден, что рассужденьице это мое, всемогущему Господу посвященное, явилось не столько для чьего-либо дела, сколько от моего безделья, и написано с тем, чтобы молитвенное мое послушание, какое оно ни на есть, дошло до Господа, а не с тем, чтобы нескладными своими стихами привлечь внимание учнейших.

Если же отыщется такой любопытствующий, который от дел своих найдет досуг узнать хлопотный порядок жизни моей, то с такою мольбою к нему обращаюсь: найдет ли он, вовсе не найдет ли он в делах или в стихах моих нечто достойное похвалы, пусть он найденное лучше бросит под стопы забвения, нежели предаст на суд памяти человеческой.

Приготовляясь сказать о годах, которые прожил,  
День за днем проследив все те времена, по которым  
Жизнь prospeshila моя в своем пути переменном,  
Я обращаюсь с мольбою к Тебе, Господь всемогущий:  
Будь при мне, попутно дохни начинаньям угодным,  
Дай молитвам сбыться и дай стихам довершиться,  
Чтоб вспоможеньем Твоим исчислил я всю Твою милость.  
Ибо только Тебе я обязан всей моей жизнью, —  
С первого мига, когда вдохнул я свет животворный  
В этом неверном миру, бросаемый снова и снова  
Бурями жизненных бед, под Твоей я старился сенью:  
Вот уже полных начёл одиннадцать я семилетий  
В беге несущихся лет и еще с тех пор я увидел  
Шесть морозных зим и жарких солнцестояний,  
Господи, в дар от Тебя, ибо Ты на смену минувшим  
В круговороте времен посылаешь нам новые годы.  
Дай же запечатлеть дары Твои эту песню  
И в распорядок слов внести мою благодарность,  
Хоть для Тебя не безвестна она и скрытая в сердце,

Но из безмолвных таилищ души прорвавшись невольно,  
Голос спешит излить половодье чистой молитвы.  
Ты еще млечной порой вложил мне довольные силы  
Ко претерпению пути по земле и неверному морю,  
Ибо, родившийся там, где Пелла была колыбелью  
Для Александра царя, вблизи от стен Фессалоник<sup>113</sup>,  
Где при сиятельном был префекте отец мой викарий<sup>114</sup>,  
Вдруг на другой конец земли, по ту сторону моря  
Должен я был повлечься в руках дрожащих кормилиц  
За снеговые хребты изрезанных реками Альпов,  
За океанскую дальнюю хлябь, за тирренские волны<sup>115</sup>  
Вплоть до самых твердынь Карфагена, сидонского града<sup>116</sup>,  
Между тем, как еще и в девятом месячном круге  
Не обновилась луна со дня моего появления.  
Там, говорят, тогда восемнадцать лишь месяцев прожил  
Я при моем отце-проконсуле<sup>117</sup>, после же – снова  
Морем поплыл по знакомым путям, чтоб увидеть над миром  
Славные стены, взнесенные ввысь, великого Рима.  
И хоть еще не дано моему было детскому взгляду  
Знать, что лежит предо мной, но, узнавши потом по рассказам  
Тех, которые были при мне и видели это,  
Я порешил и об этом сказать, начав свою повесть.  
Но, наконец, закончивши путь столь долгих скитаний,  
Я пришел под дедовский кров, в отечество предков,  
В ту Бурдигалу<sup>118</sup>, где устьем реки, прекрасной Гарумны  
Сам Океан приливной волной вливается в город  
Через проем судоходных ворот, какими и ныне  
Отворена в Океан стеной обнесенная гавань.  
Тут-то впервые узнал я и деда, который был консул  
В этом году, а мне и трех лет не исполнилось полных.  
А как исполнился срок, и окрепло тело, и члены  
Силою налились, и над чувствами вставший рассудок  
С пользой меня научил познавать все вещи на свете, —  
С тех-то пор я должен и сам, насколько упомяну,  
Все о себе достоверно сказать, что достойно рассказа.  
Что же, однако, из тех ребяческих лет мне поведать,  
Лет, которые, мнится, даны были только в забаву

Первою вольностью, резвой игрой и отменным весельем,  
Что припомнить милей и что достойнее вставить  
В этот рассказ, который плету из кованных строчек,  
Как не любовь и заботу моих родителей добрых,  
Ибо она была такова, что умела ученье  
Нежною лаской смягчать и искусно приисканной мерой  
В сердце мое внедрить способность к доброму нраву,  
Неподготовленный дух наставив на путь совершенства, —  
Даже когда учил я в азбуке первые буквы,  
Было ли мне внушено избегать значков *amathiae*<sup>119</sup>  
И не впадать в порок, зовомый *ασοινοποετα*!<sup>120</sup>  
Пусть из этих наук во мне столь многое стерлось,  
Заглушено, увы, порочностью долгого века,  
Но признаюсь, доселе мила мне римская давность  
И оттого сносней наступивший старческий возраст.  
Вскоре после того, как прошли пять лет моей жизни,  
Был я посажен учить заветы Сократа и сказки  
Петых Гомером битв и потом скитаний Улисса<sup>121</sup>.  
Тотчас затем пришлось перейти и к Мароновым книгам<sup>122</sup>,  
Хоть и еще не довольно владел я латинскою речью,  
Будучи свычен скорей с болтовней служителей-греков,  
Тех, в которых знал товарищей в детских забавах;  
И оттого, признаюсь, нелегко в моем малолетстве  
Было познать красноречие книг в языке незнакомом.  
Это двойное ученье<sup>123</sup>, умов достойное лучших  
И придающее блеск сугубый большим дарованьям,  
Было моей, как я вижу теперь, душе не под силу,  
Вскоре в размахе своем исчерпав ее скудные средства, —  
Что и теперь выдает неволью вот эта страница,  
Хоть отдаю, неумелую, сам я ее на прочтенье,  
Ибо она не позорит меня своим содержаньем,  
О каковом и стараюсь я дать изъяснение в слове —  
Это отец и мать в добронравье своем постарались  
Так меня воспитать, чтобы больше уже не бояться,  
Что злоязычный попрек уязвит мое доброе имя.  
Но хоть осталось оно в своей не запятнано чести,  
Было бы лучше ему облечься достойнейшим блеском,

Если бы воля отца и матери в оные годы  
Так совпала с моим тогдашним детским желаньем,  
Чтобы навек сохранить меня рабом Твоим, Боже,  
Благочестивый отеческий долг соблюдая полномерно,  
И чтобы я, миновав преходящие радости плоти,  
Вечной радости плод пожал бы в грядущие годы.  
Но поелику теперь пристало мне более верить,  
Что изъявил Ты волю Свою провести меня в жизни,  
О присносуший Господь, всегда указующий долю,  
Так, чтобы я согрешил, а Ты меня снова восставил,  
Жизненным даром меня оделив, – то тем благодарней  
Я предстаю, чем больше в своих согрешениях каюсь.  
Ибо что бы мне ни пришлось соделать дурного  
В этом моем пути по скользкому времени жизни, —  
Знаю, что Ты, милосердый, отпустишь мою мне провинность,  
Если, раскаявшись, я прибегну к Тебе, всепокорный;  
Если ж я когда и сумел от греха воздержаться,  
Коим теперь пред Тобой оказался бы хуже виновен, —  
Тоже знаю, что это – Твои надо мною щедроты.  
Но возвращаюсь на прежний черед: в далекую пору  
Лет, когда, посвятив себя словесным занятиям,  
Я уже видел в мечтах себя ощутимо достигшим  
Некой цели трудов на этом избранном поле,  
Где надзирали за мной аргивский<sup>124</sup> наставник и римский,  
И, быть может, уже сбирал бы плоды урожая, —  
Если бы вдруг, внезапно напав, худая горячка  
Не отвратила меня от приятных ученых попыток  
В самый год, когда мне едва миновало пятнадцать.  
Были отец и мать в такой тревоге о сыне,  
Что рассудили они, что важней поправленье здоровья  
В теле бессильном моем, чем двух языков изощренье,  
Да и врачи говорили о том, что мне благотворно  
Будет развлечься душой на всем, что приятно и мило.  
Сам за это отец с таким старанием взялся,  
Что, хоть в последние годы отстал он от ловчей охоты  
(Все потому, что мешать не хотел моему обученью  
И отвлекать меня от книг в охотничьи игры,

Но и один без меня не чувствовал радости в ловлях), —  
Ныне ради меня с сугубым усердьем вернувшись  
К прежней потехе, он все обновил охотничьи снасти,  
Коими чаял вернуть меня к вожделенному здравью.  
Эти, однако, забавы мои, растянувшись на время  
Долгой болезни, во мне с тех пор посеяли леность  
К чтению, которая стала во вред, когда, избывши недуги,  
Новою я к соблазнам мирским загорелся любовью,  
В чем и родители мне не мешали, в любовном пристрастии  
Быв довольны и тем, что ко мне воротилось здоровье.  
Вот по какой причине с тех пор моя непутевость  
Быстро росла, подкрепясь исполненьями юных желаний —  
Чтобы скакун был красив и разубрана бляхами сбруя,  
Конюх виден, пес быстроног и сокол породист,  
Чтобы мне выписан был по заказу из самого Рима  
Весь позолоченный меч, удобный всяческим играм,  
Чтобы одет я был лучше всех, и любая новинка  
Благоухала, храня аромат аравийского мирра.  
Столько же был я рад скакать на коне бысролетном,  
И коли мне удалось избежать опасных падений,  
То, как припомню о том, по праву скажу, что Христовым  
Был я храним попеченьем, — и жаль, что тогда не подумал  
Я об этом и сам, теснимый соблазнами мира...

## Максимиан (VI в.)

О жизни Максимиана сохранилось мало сведений. Почти все, что нам о нем известно, рассказано им самим в его сочинениях. Из них мы знаем, что он был «этрусского рода», жил в Италии, прославился как судебный оратор и поэт, а также что в молодости он пользовался покровительством прославленного Боэция. Считают, что Максимиан занимал высокое положение при дворе остготских королей, известно также, что уже в преклонном возрасте он ездил в Константинополь в качестве римского посла.

Писал Максимиан свои основные произведения в очень распространенном в Античности жанре элегии и очень традиционно по стилю, настолько, что, когда в 1501 г. его стихи были найдены, их посчитали творением римского поэта Корнелия Галла. Содержание стихов – сладостные воспоминания об ушедшей юности и горькое сравнение ее со старческим возрастом.

До нас дошел цикл из шести элегий Максимиана. Главное место в них занимает эротическая топка, в которой Максимиан подражает «Любовным элегиям» Овидия. Любопытно, что несмотря на такое не вполне подобающее для детского чтения содержание элегии Максимиана часто использовались в учебных целях в средневековых школах. Ниже приводится третья элегия Максимиана, в которой он рассказывает о своей юношеской любви и которая написана ок. 550 г.

[125](#)

### Элегия III

Вспомнить теперь я хочу, что было в далекие годы,  
Юность хочу сравнить с нынешней дряхлой порой.  
Этот рассказ оживит в читателе дух утомленный —  
Будет после него легче и старческий стон.  
Был я в любовном плену – в твоём плену, Аквилина:  
Бледный, угрюмый, больной, был я в любовном плену,



Что такое любовь и что такое Венера,  
Сам я не знал и страдал в неискренности чувств.  
Та, кого я любил, пронзенная той же стрелой,  
Тщетно бродила, томясь, в тесном покое своем.  
Прялка и ткацкий станок, когда-то столь милые сердцу,  
Праздно стояли; одна мучила душу любовь.  
Так же, как я, не умела она излить свое пламя,  
Ни подобрать слова, чтоб отозваться в письме.  
Только и были отрадой тоске бессловесные взоры, —  
Лишь погляденьем жила в душах бесплодная страсть.  
Мало и этой беды: неотступно при нас находились  
Дядька-наставник – со мной, с нею – докучная мать.  
Не утаить нам было от них ни взгляда, ни знака,  
Ни покрасневшей щеки, выдавшей тайную мысль.  
Мы, куда могли, молчаньем скрывали желанья,  
Чтобы никто не проник в сладкую хитрость любви;  
Но наконец и стыд перестал удерживать нежность,  
Сил не хватило таить пламя, что билось в груди, —  
Стали мы оба искать и мест и предлогов для встречи,  
Стали вести разговор взмахами глаз и ресниц,  
Стали обманывать зоркий досмотр, осторожно ступая,  
И до рассвета бродить, звука не выронив в ночь.  
Так мы украдкой любили друг друга, однако недолго:  
Мать, дознавшись, дает волю словам и рукам,  
Клином хочет вышибить клин, – но страсть от побоев  
Только жарче горит, словно от масла огонь.  
Вдвое безумней безумная страсть свирепствует в душах:  
Не умеряется, нет, крепнет от боли любовь.  
Ищет подруга меня, прибегает ко мне, задыхаясь,  
Верит, что муки ее верность купили мою,  
Напоминает о них, не стыдится разорванных платий,  
Радостно чувствуя в них право свое на меня.  
«Любо мне, – говорит, – за тебя принимать наказание,  
Ты – награда моя, сладкая плата за кровь.  
Будь моим навсегда, не знай в душе перемены:  
Боль для меня ничто, если незыблема страсть».

Так терзали меня любовные жгучие жала,  
Я горел, я слабел и вызволения не ждал,  
Выдать себя не смел, молчаливою мучился раной,  
Но худоба и тоска все выражали без слов.  
Тут-то меня пожалел и пришел, жалея, на помощь  
Ты, Боэтий<sup>126</sup> знаток тайн, сокровенных от глаз.  
Часто видя меня, томимого некой заботой,  
А о причинах ее вовсе не зная ничего,  
Ты угадал, какая болезнь меня обуяла,  
И в осторожных словах горе мое приоткрыл.  
«Молви, – ты мне сказал, – какой тебя жар пожирает?  
Молви! назвавши беду, ты и целенье найдешь.  
Вспомни: пока неведом недуг, невозможно лечение;  
Злее земного огня злится подземный огонь».  
Стыд мешал мне сказать о запретном, признаться в порочном;  
Он это понял, но все смог прочесть по лицу.  
«Тайной скорби твоей, – сказал он, – понятна причина;  
Полно! от этой беды средство всеильное есть».  
Пал я к его ногам, разомкнул стыдливые губы,  
Слезно поведал ему все, что случилось со мной.  
Он: «Спасенье одно – овладей красавицей милой!»  
Я: «Боюсь овладеть – страшно обидеть ее».  
Он рассмеялся в ответ и воскликнул: «О дивная нежность!  
Разве царица любви может столь чисто царить?  
Будь мужчиною, брось неуместную жалость к подруге:  
Ты обижаешь ее тем, что боишься обид!  
Знай, что нежная страсть не боится кусать и царапать,  
Раны ей не страшны, краше она от рубцов».

Он посылает дары – и стали родители мягче,  
И снисхождению ко мне их научила корысть.  
Жажда богатств слепа и сильней, чем семейные узы:  
Стал родителям мил собственной дочери грех.  
Нам дозволяют они наслаждаться лукавым пороком  
И проводить вдвоем в радости целые дни.

Что ж? дозволенный грех опостылел, сердца охладели,  
Стала спокойна душа, лень одолела недуг.  
Видит подруга, что нет во мне желанного пыла,  
И возмущенно идет, неповрежденная, прочь.  
Сонм ненужных забот покидает воскресшую душу,  
Видит здоровый ум, как он напрасно страдал.  
«Слава тебе, чистота! – вскричал я, – не знала обиды  
Ты от стыда моего, – и не узнай никогда!»  
Весть об этом дошла до Бэотия, твердого мужа;  
Видит он, выплыл я цел из захлестнувшей беды,  
И восклицает: «Смелей! торжествуй, победитель, победу:  
Ты одолел свою страсть, и поделом тебе честь.  
Пусть же склонит свой лук Купидон, отступит Венера,  
Пусть Минерва сама силу признает свою!»

Вот как воля грешить охоту грешить отбивает:  
Нет желанья в душе, нет и желанья желать.  
Мрачно мы разошлись, друг другу немилые оба.  
Что означал разрыв? Наш целомудренный нрав.

## Дорофей из Газы (ум. после 560)

Монах монастыря аввы Серида в Сирии, затем настоятель монастыря близ Газы в Палестине. Автор многих аскетических наставлений о подвижничестве. Происходя родом из окрестностей г. Аскалона в Палестине, получил хорошее светское и духовное образование. По-видимому, в юности постепенно в процессе общения с подвижниками Варсонофием и Иоанном пришел к полному отречению от мира. В качестве послушания ему было назначено принимать и успокаивать странников. Стал впоследствии начальником монастырской больницы, устроенной в монастыре его братом. Став настоятелем другого монастыря, взялся за писательство<sup>127</sup>.

### Поучение десятое

#### **О том, что должно проходить путь Божий разумно и внимательно**

<... > Ибо, если кто в начале понуждает себя, то, продолжая подвизаться, он мало-помалу преуспевает и потом с покоем совершает добродетели: поелику Бог, видя, что он понуждает себя, подает ему помощь. Итак, будем и мы понуждать себя, положим доброе начало, усердно пожелаем доброго; ибо хотя мы еще не достигли совершенства, но самое сие желание есть уже начало нашего спасения; от этого желания мы начнем с помощью Божию и подвизаться, а через подвиг получаем помощь к стяжанию добродетелей. Посему-то некто из отцов сказал: «Дай кровь и приими дух», т. е. подвизайся и получишь навык в добродетели.

Когда я обучался светским наукам, мне казалось это сначала весьма тягостным, и когда я приходил взять книгу, я был в таком же положении, как человек, идущий прикоснуться к зверю; когда же я продолжал понуждать себя, Бог помог мне, и прилежание обратилось мне в такой навык, что от усердия к чтению я не замечал, что я ел, или что пил, или как спал. И никогда не позволял завлечь себя на обед с кем-нибудь из друзей моих, и даже не вступал с ними в беседу во

время чтения, хотя и был общителен и любил своих товарищей. Когда же учитель отпускал нас, я омывался водою, ибо иссыхал от безмерного чтения и имел нужду каждый день освежаться водою; приходя же домой, я не знал, что буду есть, ибо не мог найти свободного времени для распоряжения касательно самой пищи моей, но у меня был верный человек, который готовил мне, что он хотел. А я ел, что находил приготовленным, имея книгу подле себя на постели, и часто углублялся в нее. Также и во время сна она была подле меня на столе моем, и, уснув немного, я тотчас вскакивал для того, чтобы продолжать чтение. Опять вечером, когда я возвращался [домой] после вечерни, я зажигал светильник и продолжал чтение до полуночи, и [вообще] был в таком состоянии, что от чтения вовсе не знал сладости покоя.

Итак, когда я вступил в монастырь, то говорил сам себе: «Если при обучении внешнему любомудрию родилось во мне такое желание и такая горячность от того, что я упражнялся в чтении, и оно обратилось мне в навык, то тем более [будет так] при обучении добродетели» и из этого примера я почерпал много силы и усердия. Так, если кто хочет приобрести добродетель, то он не должен быть нерадивым и рассеянным. Ибо как желающий обучиться плотничеству не занимается иным ремеслом, так и те, которые хотят научиться деланию духовному, не должны заботиться ни о чем другом, но день и ночь поучаться в том, как бы приобрести оное. А иначе приступающие к сему делу не только не преуспевают, но и сокрушаются, неразумно утруждая себя. <...>

## Отлох Санкт-Эммерамский (ок. 1010 – ок. 1070)

Отлох Санкт-Эммерамский – монах, богослов, переписчик и школьный учитель, автор четырех произведений, либо полностью, либо большей частью посвященных истории собственной жизни. Приведенные здесь фрагменты из основных автобиографических трудов Отлоха – единственные и притом немногословные свидетельства писателя о детстве и годах учебы в баварском монастыре Тегернзее, хотя приобретенные тогда навыки переписчика и познания в свободных искусствах являлись предметом постоянной гордости Отлоха и существенным компонентом его самоидентификации. При сравнении фрагментов из сочинений Отлоха разных лет видно, как в течение жизни изменилось содержание его воспоминаний о детстве. В первом из своих автобиографических сочинений, «Книжице о духовном учении», написанной в 1034 г., по вступлении в монастырь св. Эммерама, Отлох вспоминал о детских годах почти исключительно в связи со своим намерением уйти в монастырь (тогда так и не осуществленным). В том же контексте тема детства возникает и в «Книге видений», составленной в 1062–1064 г. Если в «Книге о беге духовном», написанной в конце 60-х годов. XI в., Отлох вовсе не говорил о своем детстве, то в составленной на ее основе «Книжице об искушениях некоего клирика» появляется обстоятельный рассказ о годах учения. Отлох прежде всего пишет о своих успехах в освоении искусства письма, к которому его «с раннего детства предопределил Господь». Несмотря на важность каллиграфии (*studium scribendi*), место которой в рукописной культуре Средневековья трудно переоценить, Отлох считает этот свой дар второстепенным по сравнению с оригинальным литературным творчеством (*studium dictandi*). Его он избрал по вступлении в 1032 г. в монастырь св. Эммерама в Регенсбурге добровольно и с целью обуздать свою плоть. Тем не менее писатель рекомендует «некоторым монахам, преданным праздности», заниматься хотя бы и каллиграфией, как «подобающей монашеской жизни»<sup>128</sup>.

## **Из «книжицы о духовном учении»**

### **Глава XV**

#### **О том, как после разнообразных приступов недуга вернулся к монашеским обетам**

... Ведь помимо обета, который недавно принес (1032 г.), // Некогда, будучи еще маленьким мальчиком, // Преисполненный ожиданиями учебы в школе, // Обещал подчинить себя святому монашескому закону. // Сделал же это без всякого юридического принуждения // И не при свидетелях открыто, но тайно, побуждаемый любовью // К единому Господу, поскольку начал хорошо учиться // И поскольку как первый ученик жил вместе с монахами. // О горе! Этот обет, как считал, был якобы дан по-детски. // По легковесному совету обещанием таковым пренебрег, // Ведь одновременно соблазняли меня и мир и юность... [129](#)

## Из «книги об искушениях некоего клирика»

Еще угодно мне рассказать, какое великое знание и какую способность к писанию получил от Господа в нежном возрасте. Маленьким переданный в школьное учение, я очень быстро выучился буквам и пению, которое осваивают вместе с буквами, и начал задолго до обычного времени обучения, без приказания наставника, овладевать искусством письма. Тайно и необычным образом, без всякого наставления, попытался освоить это искусство письма. Потому и случилось, что привык при письме держать перо неправильно и позже никакое учение не могло этого исправить. Ведь сильная привычка мешала мне улучшиться. Когда многие увидели это, то говорили в один голос, что я никогда не буду хорошо писать. Но по милости Божьей случилось, как многим известно, иначе. Ведь хоть и казалось, что в детстве я научился кое-как писать, в то самое время, когда мне вместе с другими мальчиками была дана дощечка для занятий письмом, явил присутствовавшим чудо. Позднее, но не после долгого времени, так начал хорошо писать и такую страсть имел к этому, что и в том месте, где всему этому научился, то есть в монастыре, называемом Тегернзее, переписал многие книги. И еще ребенком отправленный во Франконию, настолько много предавался писанию, что по возвращении оттуда едва не лишился зрения. Я решил поведать об этом для того, чтобы побудить других к подобному рвению в трудах, а рассказывая всем о милости Божьей, которая предоставила мне такой дар, хочу подвигнуть их к возвеличиванию вместе со мной благодати Божьей<sup>130</sup>.



## **Гвиберт Ножанский (1053 или 1055 – ок. 1124)**

Гвиберт Ножанский родился в знатной семье в Северной Франции. Рано лишившись отца, он остался на попечении матери, которая была весьма озабочена его обучением и воспитанием. С детства он поручен учителю грамматики, затем отдан в монастырь. Первым его литературным увлечением оказалась античная поэзия, особенно Овидий и Вергилий, до такой степени потрясшие душу и ум юноши, что он и сам начал сочинять стихи подобного содержания. В долгой борьбе христианское воспитание все же одержало верх над языческой красотой и жизнелюбием.

Гвиберту довелось учиться у Ансельма Кентерберийского, комментировать Священное Писание. В 57 лет он стал аббатом монастыря св. Марии в Ножане (недалеко от Лана), по имени которого и получил свое прозвище.

Гвиберт оставил после себя теологические трактаты и комментарии, грамматические и поэтические сочинения. Однако наибольший интерес представляют два его крупных произведения: «Деяния Бога через франков» и «О своей жизни». В обоих сочинениях он показал себя писателем оригинального склада и в какой-то степени новатором.

Сочинение «О своей жизни», интересующее нас, состоит из трех «книг» (разделов), вторая и третья из которых посвящены событиям, прямо не относящимся к Гвиберту, но свидетелем которых он был, – это история его монастыря и борьба коммуны города Лана с епископом. Первая же книга – о детстве и отрочестве Гвиберта и о его жизни в монастыре. Сочинение имело своим образцом, видимо, «Исповедь» Августина. Гвиберт стремился дать психологическую картину становления юноши. Рассказ о воспитании юного Гвиберта позволяет автору подробно рассказать и о своем обучении. Живописные подробности отношений с учителем и к учителю, описание занятий и увлечений дают возможность представить себе состояние образования во второй половине XI в., степень его доступности и распространенности, приоритеты в обучении, методы

педагогов, наконец, тот круг чтения, который был доступен начинающему школяру<sup>131</sup>.

## О своей жизни

### Книга первая

IV. Родившись таким образом, как то рассказано мною<sup>132</sup>, едва я начал понимать удовольствие, доставляемое детскими игрушками, как ты, о Боже милосердный, долженствующий заменить мне место отца, сделал меня сиротою. Только что прошел восьмой месяц от моего рождения, как мой отец по плоти скончался; и при этом я должен, Господи, благодарить тебя, что ты допустил его умереть с христианскими чувствами, ибо он, если бы остался в живых, непременно воспротивился бы видам твоего промысла на меня. И так как развитие моего роста и естественная живость младенца казались ему предназначенными более для светской жизни, то никто не сомневался в том, что лишь только наступит время для меня заниматься науками, отец уничтожит данный им обет. Но ты, премудрый устроитель всего, ты спасительно распорядился обоими нами, и я не лишен познания твоих заповедей, и отец не нарушил данного тебе обещания.

Между тем та, которую ты оставил вдовою, воспитывала меня с самыми нежными заботами. Наконец, она избрала день св. Григория, чтобы посвятить меня в начатки учения. Она слыхала, Господи, что есть один святой муж, твой служитель, который превзошел свой век изумительною мудростью и беспредельными познаниями: вследствие того, при помощи щедрой благостыни, она не раз умоляла своего духовного отца, чтобы он, одаренный тобою всякими познаниями, вдохновил и мое сердце жаждою наук. С того времени<sup>133</sup> я начал обучаться грамоте; едва я успел усвоить себе первые начала, как моя мать, в своей жажде образовать меня, решила поручить то учителю грамматики.

Незадолго перед сим, да даже еще и теперь, учителя грамматики были так редки, что почти ни одного нельзя было найти в селах, и в

городах с трудом отыскивались немногие, притом и эти были столь слабы в науке, что их невозможно и сравнивать с теми грамотеями (clericis), которые ныне странствуют по селам. Мой же учитель, которому мать поручила меня, сам учился грамматике в позднем возрасте и был тем менее знаком с этою наукою, что обучался ей слишком поздно; но он был столь скромн, что эта добродетель вознаграждала ему слабые познания. Через посредство некоторых из клириков, которые под именем капелланов отправляли у моей матери божественную службу, она просила его принять на себя занятия со мною: он же в то время занимался с одним из моих двоюродных братьев, жил в замке вместе с ним у его родственников и был им весьма необходим; хотя он и был тронут просьбами моей матери и расположен к ней за ее добродетели и чистоту нравов, но он не решался удалиться от моих родственников, в опасении их оскорбить, и переехать к моей матери. Одно видение, о котором я расскажу, положило предел его колебаниям.

Ночью, когда он лежал в своей комнате – я помню очень хорошо, это была та самая комната, в которой все учившиеся у него собирались в замке, – тень какого-то старца с седою головою и наружностью, внушающею уважение, остановилась на пороге, держа меня за руку и, по-видимому, имея намерение ввести в комнату. Действительно, этот старец, остановившись у входа и указывая мне на маленькую кровать, на которой тот держал свои вещи, сказал мне: «Подойди к этому человеку, ибо он должен очень любить тебя»; сказав это, он отпустил мою руку и позволил отойти от себя; я подбежал к тому, на кого он мне показал, и так расцеловал его, что он проснулся. С тех пор он почувствовал ко мне такую привязанность, что без дальнейшего колебания и страха оскорбить моих родственников, которым он... был вполне предан, согласился наконец переехать к моей матери.

Ребенок, которого он воспитывал до того дня, был очень красив собою и хорошего рода; но он имел такое отвращение к наукам, был так неспособен к обучению, столь лжив для своего возраста, с такою склонностью к воровству, что, несмотря на весь надзор за ним, он никогда не был за работой и проводил целые дни, спрятавшись в виноградниках. Получив отвращение к такому испорченному ребенку, прельщенный дружбою, которую выражала ему моя мать, и особенно побуждаемый видением, о котором я говорил выше, он бросил

заниматься воспитанием того ребенка и весьма основательно освободился от господ, в зависимости от которых жил до того времени; но все это не прошло бы ему даром, если бы его не спасло уважение, которым пользовалась моя мать, и ее влияние.

V. С той минуты, как я был отдан ему на руки, он назидал меня с такою чистотою, так искусно ограждал меня от всех пороков, которыми обыкновенно сопровождается младший возраст, что я был тем избавлен от непрерывных опасностей. Он меня не пускал никуда от себя; я не мог отдыхать нигде, как только подле матери, ни получать подарков без его позволения. Он требовал от меня, чтобы я действовал с осторожностью, точностью, вниманием, тщанием, так что, казалось, он желал, чтобы я вел себя не только как клирик, но как монах. Действительно, в то время, когда мои сверстники бегали там и сям в свое удовольствие и имели позволение время от времени пользоваться своей свободой, я, оставаясь вечно на привязи, закутанный, подобно клирику, смотрел на толпу играющих как существо, поставленное выше их. Даже по воскресеньям и по праздникам меня принуждали следовать такому жестокому правилу; редко давалось мне несколько минут отдохновения, и никогда я не имел целого дня, всегда одинаково подавленный тяжестью труда; мой учитель обязался учить только меня и не имел права заниматься ни с кем другим.

Каждый, видя, как он побуждает меня к труду, надеялся сначала, что такие чрезвычайные упражнения изодрят мой ум; но эта надежда скоро уменьшилась, ибо мой учитель был очень неискусен в чтении стихов и сочинении их по всем правилам. Между тем он осыпал меня почти каждый день градом пощечин и пинков, чтобы заставить силою понять то, что он никак не мог растолковать сам.

Я мучился в этих бесплодных усилиях почти 6 лет, не достигнув никаких результатов своего учения; но зато в отношении правил морали не было минуты, которой бы мой наставник не обращал в мою пользу. По части скромности, стыдливости, хороших манер он употребил весь труд, всю нежность, чтобы я проникся этими добродетелями. Только дальнейший опыт уяснил мне, в какой степени он превышал всякую меру, стараясь для моего обучения держать меня в постоянной работе. Я не буду говорить об уме ребенка, но и взрослый человек, чем его долее лишают отдыха, тем он более тупеет; чем он с большим упорством предается какому-нибудь труду, тем силы

его более ослабевают от излишка работы, и чем сильнее принуждение, тем жар его скорей остывает.

Таким образом, необходимо щадить наш ум, утомленный и без того оболочкою нашего тела. Даже и на небе устанавливается правильно тишина ночи именно потому, что в этой жизни наши силы не могут оставаться совсем без отдыха и нуждаются иногда в созерцательном состоянии: точно так же и дух не может быть в вечной подвижности, каково бы ни было дело, которым он занят. Вот почему, какому занятию мы ни были бы преданы, я полагаю, необходимо разнообразить предмет нашего внимания, чтобы дух, переходя от одного предмета к другому, возвращался обновленным и свежим к любимой работе, чтобы наша природа, легко утомляющаяся, находила в перемене труда род некоторого облегчения. Припомним, что и Бог не дал времени одну и ту же форму и восхотел, чтобы его превращения: дни и ночи, весна, лето, зима и осень служили человеку отдохновением. Итак, пусть тот, кто берется быть учителем, обратит внимание на то, чтобы распределять обязанности детей и юношей, воспитание которых возложено на него, ибо я не думаю, чтобы их должно вести иначе по сравнению с теми, ум которых возрос и окреп.

Мой учитель питал ко мне гибельную дружбу, и чрезмерная его строгость достаточно обнаруживалась в несправедливых побоях, которыми он меня наделял. С другой стороны, точность, с которой он наблюдал за каждой минутой работы, превышала всякое описание. Он бил меня тем несправедливее, что если бы у него был действительно талант к обучению, как он полагал, то я, как и всякий другой ребенок, понял бы легко каждое толковое объяснение. Но так как он выражался с трудом, то часто и сам не понимал того, что силился объяснить; вращаясь в кругу тесных и простых понятий, он не отдавал себе ясного отчета и даже не понимал, что говорил, почему совершенно напрасно вдавался в рассуждения. Действительно, его ум был до того ограничен, что если он что дурно понял, учась в позднем возрасте, как я выше сказал, то ни за что не решался отказаться от своих прежних понятий, и если ему случалось высказать какую-нибудь глупость, то, считая себя непогрешимым, он поддерживал ее и в случае надобности защищал кулаками; но я думаю, он мог бы легко не впадать в такую ошибку...<sup>134</sup> ибо, как выразился один ученый, для ума, не довольно

еще укрепленного наукой, нет большей славы, как говорить только о том, что знаешь, и молчать о том, чего не знаешь.

Обращаясь со мной столь жестоко только потому, что я не знал того, что было ему самому неизвестно, он должен был бы понять, как несправедливо требовать от слабого ума ребенка того, что не было в него вложено. Как умный человек с трудом может понять, а иногда и совсем не понимает слов дурака, так и те, которые, не зная науки, утверждают, что они знают ее, и хотят еще учить других, запутывают свою речь по мере того, как они стараются сделать себя более понятными. Нет ничего труднее, как рассуждать о том, чего не знаешь: темно и для себя, темно и для того, кто слушает, так что оба остолбенеют. Все это, Господи, я говорю не для того, чтобы запятнать имя друга, столь дорогого для меня, но чтобы каждый, читая наш труд, понял, что мы не должны выдавать другим за верное то, что существует в нашем воображении, и не должны покрывать сомнительного мраком своих догадок.

VI. Хотя мой учитель держал меня очень строго, но во всех других отношениях он показывал всеми средствами, что любит меня, как самого себя. Он занимался мною с такой заботливостью, так внимательно следил за моею безопасностью, что ничто враждебное не достигало меня; с таким вниманием он ограждал от влияния дурных нравов людей, окружавших меня, так мало позволял матери заботиться о блеске моей одежды, что, казалось, он исполнял обязанности не воспитателя, а отца, и беспокоился не о моем теле, а о душе. И я испытывал к нему такое чувство дружбы, хотя и был для своего возраста несколько тяжеловат и робок, и хотя иногда моя нежная кожа носила без всякой причины на себе следы плети, что не только не питал к нему страха, естественного в этом возрасте, но забывал всю жестокость и повиновался ему с неподдельной любовью. Вот почему мой учитель и моя мать, видя, какое оказывал я почтение им обоим, старались делать опыты, чтобы убедиться, кого я больше слушаюсь, и давали мне вместе приказания. Но вскоре представился им случай, независимо от их намерения, решить этот вопрос окончательно. Однажды, когда меня побили в школе – школою же называлась одна из комнат нашего дома, ибо мой учитель, взявшись воспитывать меня одного, оставил всех прежних своих учеников, как того требовала моя рассудительная мать, согласившись, впрочем, увеличить его жалование

и дать ему значительную прибавку, – прекратив на несколько часов вечером мои занятия, я сел на колени своей матери, жестоко избитый и наверное более, чем заслуживал. На обычный вопрос своей матери, били ли меня в этот день, я, не желая выдать учителя, утверждал, что нет. Но она, заворотив против моей воли ту часть одежды, которую называют рубашкой, увидела, что мои ручки все почернели и кожа на плечах вздулась и распухла от розог. При этом виде, жалуясь, что со мною обращаются так дурно в нежном возрасте, она воскликнула со слезами, в смущении и вне себя: «Я не хочу больше, чтобы ты был клириком и чтобы для знакомства с науками тебе приходилось испытывать подобное обращение». При этих словах, смотря на нее с гневом, как только мог, я ей отвечал: «Если бы мне пришлось умереть, то я не перестану учиться, чтобы сделаться клириком». Действительно, она мне обещала, как только я приду в возраст и пожелаю того, сделать меня рыцарем и доставить мне оружие и прочее одеяние. Когда же я с пренебрежением отвергнул подобное предложение, твоя достойная служительница, о Господи, выслушала свое несчастье с такою признательностью и столь радостно ожила духом, что сама передала мой ответ моему наставнику. Оба они пришли в восторг, что я обнаружил столь пламенную преданность званию, которому посвятил меня мой отец; с большою быстротою я изучил науки, не отказываясь от церковных обязанностей, когда того требовало время или дело, даже предпочитал их еде. Но так это было только в то время. Ты же, Господи, знаешь, как впоследствии я изменился в своих намерениях, с каким отвращением я ходил на церковную службу, и только побои могли меня к тому принудить. В те же времена, о Боже, у меня было, без сомнения, не религиозное [еще] чувство, вытекавшее из души, но каприз ребенка, которым я увлекался. Когда юность развила во мне дурные семена, которые я носил в себе от природы, и внушила мне помыслы, разрушившие все прежние намерения, моя склонность к благочестию совершенно исчезла. Хотя, о Боже, в ту эпоху твердая воля или, по крайней мере, подобие твердой воли, по-видимому, возбуждало меня, но вскоре она пала, извращенная самыми пагубными помыслами. <... >

XVII. Между тем и в монастыре<sup>135</sup>, принявшись с такой необузданностью страсти писать стихи, что я предпочитал эту достойную осмеяния суету всем книгам божественного Писания, я

дошел наконец до того, что, увлекаемый своим легкомыслием, имел притязание подражать поэтическим трудам Овидия и буколикам<sup>136</sup> и хотел воспроизводить всю нежность любви в созданиях собственного воображения и в сочинениях, которые писал. Мой дух, забыв всю строгость, которой он должен подчиняться, и отбросив всякий стыд религиозной профессии монаха, так много питался обольщениями отвращающей распущенности, что я занялся только тем, чтобы в поэзии воспроизвести все то, что говорилось в наших собраниях<sup>137</sup>, не обращая внимания на то, как оскорбительны были для устава нашего священного ордена все подобные упражнения. Таким образом, я был весь проникнут той страстью и так помрачен обольстительными выражениями поэтов, что многое придумывал собственным воображением; иногда эти выражения производили во мне такое волнение, что я чувствовал дрожь по всему телу. А так как мой дух был постоянно возбужден и забывал всякое воздержание, то в моих произведениях раздавались только такие звуки, какие могли быть вызваны подобным душевным настроением.

Кончилось тем, что моя страсть до того возмутила всю мою внутренность, что я иногда позволял себе непристойные слова и писал небольшие сочинения, в которых не было ни ума, ни сдержанности, ни благородных чувств. Когда это дошло до сведения моего учителя, то он был в высшей степени тем огорчен, и однажды ему случилось уснуть под впечатлением грусти, которую я ему причинил. Когда он задремал, ему представилось следующее видение. Он увидел пред собою седовласого старца, смею думать, того самого, который приводил меня к нему и уверял, что моя любовь к учителю останется неизменною; этот старец объявил ему строгим голосом: «Я требую от тебя отчета по поводу этих сочинений, ибо рука сочинявшего их не одна и та же с рукою, которая их писала». Когда мой учитель рассказал мне это видение, мы оба сошлись в способе его толкования. Возлагая нашу надежду на Тебя, Господи, мы были опечалены, но вместе и радовались, видя, с одной стороны, доказательство твоего отеческого гнева, а с другой – уверенные, что это видение возвещало хорошую перемену в моих наклонностях к постыдному. Действительно, если старец объявил, что рука сочинявшего и писавшего не одна и та же, то из этого прямо следовало, что эта рука не станет упорствовать в столь позорном поведении. Это была та моя рука, которая оставалась моею,



когда я употреблял [ее] для порока, но она делалась неспособною к воспроизведению столь недостойных ее предметов, когда я предавался почитанию добродетели. Но Ты, Господи, знаешь, а я исповедую, что в ту эпоху ни страх перед тобою, ни стыд, ни то знаменитое и святое видение не могли возвратить меня к чистоте нравственной. С тем же бесстыдством, которое овладело мной внутренне, я продолжал писать те зазорные произведения. Втайне я сочинял стихи того же рода, хотя и не осмеливался показывать их всем или показывал только людям, подобным мне. Очень часто, скрывая имя автора, я прочитывал их встречным и радовался выслушивать похвалу от тех, которые разделяли мои чувства, что препятствовало мне еще более назвать свое имя. Так как похвала относилась к автору, то мне приходилось втайне наслаждаться плодами или скорее стыдом греха. Но, мой Отец, Ты наказал такие дела, когда того восхотел. Действительно, на меня воздвиглись несчастья по поводу этих произведений; Ты препоясал мою душу, преданную тем заблуждениям, поясом бедствий и удручил мое тело болезнями плоти. Тогда наконец меч дошел до самой души, ибо несчастье поражает самый рассудок человека.

Таким образом, с тех пор как муки греха надоумили меня, тогда я бросил свои пустые занятия; не будучи в силах оставаться праздным и покинув игру воображения, я предался духовным предметам и перешел к занятиям более полезным. Так я начал, хотя и поздно, с ревностью работать над тем, на что мне часто указывали многочисленные и превосходные писатели, а именно я обратился к комментариям Святого Писания и особенно изучал беспрестанно произведения Григория, в которых более нежели где-нибудь заключен ключ науки; потом я начал, по методу древних писателей, объяснять слова пророков и евангельских книг, толкуя сначала их аллегорический или нравственный смысл, а потом мистический. Более всех меня поощрял к подобным работам Ансельм, аббат в Беке, сделавшийся впоследствии архиепископом в Кентербери и бывший уроженцем заальпийской страны, из города Аосты; это был несравненный человек и по познаниям и по великой святости своей жизни. Когда он был еще приором вышеназванного монастыря, он открыл мне свои познания, и так как я, будучи мальчиком, находился в первой поре возраста и развития, то он старался с чрезвычайным благодушием наставить меня, как я должен руководить в себе внутреннего человека и

управляться правилами разума для власти над своим маленьким телом. Прежде, нежели он сделался аббатом и управлял только монастырем, он часто навещал монастырь Флавины, в котором я был помещен во внимание его научного и религиозного процветания, и с такою ревностью сообщал мне плоды своей учености, с такою заботливостью старался отпечатлеть их во мне, что, казалось, я был единственною целью его посещений.

## **Ордерик Виталий (1075 – ок. 1142)**

Норманнский священник Ордерик Виталий принадлежит к числу наиболее известных историографов начала второго тысячелетия. Его «Церковная история» остается едва ли не наиболее ценным источником для рубежа XI и XII столетий; по крайней мере она уникальна в своем норманнском материале, очень ценна в английском и, кроме того, даже в своей компилятивной части основывается на некоторых рукописях, которые не дошли до современных исследователей. Ордерик родился в 1075 г. в только что завоеванной норманнами Англии, в Шрусбери. Уже в 10-летнем возрасте отец отослал его на континент – в норманнский монастырь Сент-Эвруль. Ордерик стал облатом, послушником, который решается принять постриг не по своей воле, но по решению своих совершеннолетних родственников; впрочем, в зрелом возрасте Ордерик ничуть не склонен сомневаться в правильности того пути, который давал ему бóльшие шансы на спасение по сравнению со своими современниками-мирянами. Священник Сент-Эврульского монастыря, Ордерик не очень склонен описывать свой индивидуальный опыт: созданная им «Церковная история» освещает по преимуществу деяния династии нормандских герцогов, а также историю монастыря. Тем не менее последняя, тринадцатая книга его труда все-таки содержит некоторую редкую, а поэтому и любопытную информацию о том, при помощи каких образов и каких причинных объяснений склонен был воспринимать и описывать свои детские годы один из самых выдающихся авторов латинского Средневековья<sup>138</sup>.

### **Тринадцать книг церковной истории, на три части разделенные**

Кн. XIII.... Царь всевышний, благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне жизнь без всяких заслуг с моей стороны и по своей благой воле расположил мои годы. Ты – мой царь и мой Бог; я – Твой раб и сын Твоей рабыни; и сколько мог служил Тебе с первых дней моей жизни.

В субботу на Пасхе<sup>139</sup> я был крещен в Аттангаме, бургe, лежащем в Англии на великой реке Северн. Там руками священника Ордерика (родом сакса) Ты меня возродил водою и духом и дал мне имя того священника, который был вместе и моим крестным отцом. После, когда я достиг 5 лет, Ты меня отправил в школу в городе Шрусбери, и там я служил Тебе в первый раз в базилике святых апостолов Петра и Павла. В течение пяти лет меня учил там знаменитый пастырь Сигвард латинским письменам, которые изобрела Никострата, получившая впоследствии прозвание Кармента. Он наставил меня псалмам, гимнам и другим необходимым сведениям. Между тем Ты, Господи, соорудил на берегах Молы, во владении моего отца, церковь, и благочестием графа Роджера (Монтгомери) устроил монастырь. Но Тебе не было угодно, чтобы я продолжал борьбу за Тебя в прежнем месте, из опасения, что я могу испытать тревогу среди своих родственников, которые часто смущают Твоих служителей, и что мне придется нарушить повиновение Твоему закону вследствие мирских привязанностей, испытываемых под влиянием кровных связей. Вот почему, о Боже преславный, Ты, который извел Авраама из своей земли, из дома отца и из среды семейства, Ты внушил и моему отцу Оделерию намерение удалить меня и предать Тебе вполне<sup>140</sup>. В слезах и с плачем он вручил меня монаху Райнольдусу, удалил в изгнание из любви к Тебе, и с этого времени я никогда не видел более отца. Будучи юным и слабым отроком, я не смел противиться желанию своего отца; я повиновался ему охотно во всем, ибо он мне обещал Твоим именем, если я сделаюсь монахом, то по смерти наследую рай вместе с праведными. Заключив таким образом от чистого сердца по голосу моего отца этот договор с Тобою, я оставил отечество, ближайших родственников, остальную семью, знакомство, друзей, которые со слезами на глазах, прощаясь со мною, поручали меня в молитвах Тебе, о Господи, Всевышний Адонай!<sup>141</sup> Исполни, прошу Тебя, их молитвы, о благий царь Саваоф, и в своей благодати дай мне насладиться тем, что составляло их желание!

Таким образом, я переплыл море, имея от роду 10 лет. Изгнанником прибыл я в Нормандию, никем не знаемый и никого не знал сам. Как Иосиф в Египте<sup>142</sup>, я услышал язык, которого не понимал<sup>143</sup>. Но благодаря Твоему милосердию я встретил у чужеземцев все ласки и дружбу, какие только мог пожелать. Преподобный Майниер, аббат

Утического монастыря, принял меня в монашество на одиннадцатом году моей жизни и 22 сентября постриг меня по обычаю клириков. Он заменил мое англосаксонское имя, казавшееся варварским для духа нормандцев, именем Виталия, заимствовав его у одного из спутников мученика св. Маврикия, память которого праздновалась в тот день. Благодаря Твоему, Господи, милосердию, я оставался в этом монастыре 56 лет; меня любили и чтили там свыше моих заслуг все мои братья и соотечественники. Перенося жар, холод и дневные труды, я работал вместе со своими служителями в вертограде Сорекы [Суд 16:4]; и при Твоем правосудии ожидаю с уверенностью обещанный Тобою денарий. Я почитал как своих отцов и господ – так как они были Твоими наместниками – шестерых аббатов: Майниера, Серлона, Рожера и Гверина, Ричарда и Райнульфа; они правили по закону Утическим монастырем; они постоянно бодрствовали, как бы на них лежала ответственность за меня и за других, они искусно распоряжались внутри и извне и на Твоих глазах и с Твоею помощью снабжали нас всем необходимым. Мне было 16 лет, когда 15 марта, по предложению только что избранного Серлона, Гизельберт, епископ Лизьё, посвятил меня в подьяконы. После, через 2 года, Серлон, сделавшись епископом города Сеес... рукоположил меня дьяконом. В этом чине я служил Тебе от всего сердца 15 лет. По достижении мною 33-летнего возраста архиепископ Вильгельм возложил на меня в Руане 21 декабря бремя священства и со мною посвятил 244 дьякона и 120 священников, вместе с которыми я приблизился к Твоему священному алтарю, воодушевленный Святым Духом. Вот уже 34 года, как я верно отправляю свою священную службу с полной душевной радостью.

Таким образом, Господи Боже, Ты, Который меня сотворил и наделил жизнью, Ты осыпал меня своими дарами во всех званиях, которые были возложены на меня; мои годы были, по правде, посвящены на службу Тебе. Повсюду, куда Ты меня ни приводил, я был любим не по своим заслугам, но по действию Твоей благодати. За все такие благодеяния, о нежнейший Отец, я приношу Тебе благодарения, восхваляю и благословляю Тебя от всего сердца. Со слезами на глазах я молю Тебя простить мне мои бесчисленные прегрешения. Пощади меня, Господи, пощади и не покрой меня стыдом! Сообразно с своею неисчерпаемою благодатью, преклони взор Твой на дело Твоих рук; прости мне прегрешения и сотри нечистоту моей души. Дай мне

добрую волю к продолжению службы Твоей и достаточные силы против ухищрений коварного сатаны, пока не приобрету наследства вечного спасения. И того, что я прошу у Тебя, о Боже всеблагий, в эту минуту для себя, я желаю также и для своих друзей и благодетелей; я обращаюсь к Тебе с тою же мольбою за всех верных по распоряжению Твоего промысла. Но наших заслуг недостаточно для приобретения вечных благ, к которому устремлены все желания людей благочестивых, о Господи Боже, отче всемогущий, творец и вождь ангелов, истинная надежда и вечное блаженство праведных! Потому да поможет нам преславное заступничество святой Марии, Девы-Матери, и всех святых, и Господь наш Иисус Христос, Искупитель всех людей, который живет и царствует с Тобой, как Бог, в единстве Святого Духа, отныне и во веки веков! Аминь.

## Гиральд Камбрийский (ок. 1146 – ок. 1223)

Гиральд Камбрийский (его называют еще Геральдом Уэльским или Геральдом де Барри) почти тридцать лет (1175–1204) был архидиаконом и исполняющим обязанности епископа в городке Брекнок в Южном Уэльсе, однако прославился не как церковный деятель, а как историк, создавший разнообразные и многочисленные труды. Впрочем, не совсем оригинальные – Гиральда можно назвать, пользуясь современным языком, популяризатором знаний. Написанные безыскусным слогом для читателей-мирян, его сочинения содержат рассказы о церковной жизни (особенно в его родном Уэльсе), о росте влияния университетов (Парижского и Оксфордского), о знаменитых церковных деятелях и светских владыках его времени.

Гиральд происходил из высородной семьи де Барри и получил в юности отличное образование в Оксфорде и Париже, где он изучал каноническое право и теологию. Около 1184 г. он поступил на службу к королю Англии Генриху II Плантагенету и вскоре отправился по его приказу в военную экспедицию в Ирландию. В результате этой экспедиции им были написаны «Топография Ирландии» (ок. 1188) и «Завоевание Ирландии» (ок. 1189). Затем он совершает длительную поездку по Уэльсу вместе с архиепископом Кентерберийским Болдуином и создает два новых ученых труда: «Путешествия по Уэльсу» (1191) и «Описание Уэльса» (1194). В 1195 г. Гиральд покидает королевскую службу и целиком посвящает себя изучению теологии.

С 1199 по 1203 г. Гиральд безуспешно пытается добиться для себя епископской кафедры св. Давида, чтобы сделать ее независимой от Кентербери, восстановив тем самым ее прежнее главенствующее положение в Южном Уэльсе. О борьбе за эту должность он подробно рассказывает в своей автобиографии «О событиях моей истории». Известно, что затем Гиральд снова посетил Ирландию, а еще позднее – Рим (в 1207 г.).

Автобиография была написана (скорее всего продиктована) Гиральдом, когда ему было около 50 лет, то есть в 1204 или 1205 г. Это,

может быть, самая обстоятельная и насыщенная деталями автобиография Средневековья, подробно рассказывающая о полной приключений жизни ее автора. Рассказ Гиральда о себе ведется в ней от третьего лица, возможно, в подражание знаменитым «Запискам» Цезаря. В содержательном плане сочинение Гиральда, впрочем, выглядит весьма отличным от «Записок» знаменитого полководца – это рассказ о карьере неудачника, безуспешно пытающегося занять епископскую кафедру.

Рассказ Гиральда о своей жизни обладает очевидным своеобразием, особенно в той части, где он позволяет себе едкие характеристики церковных и государственных деятелей. Эти откровения, которыми перемежается описание событий, дают отчетливые представления об отдельных чертах его характера. Некоторые ученые даже называют «О событиях моей истории» уникальным личностным документом, позволяющим проследить историю становления индивидуальности его автора. Если они и правы, то только отчасти: известно, что труд Гиральда так и не был закончен – он неожиданно обрывается. К тому же не вполне ясна степень его автобиографичности. Вероятнее всего, оно было написано не самим Гиральдом, а кем-то из близких ему людей с его слов.

Рассказ о своем детстве строится Гиральдом, что совершенно очевидно, по агиографическому канону. Это и происхождение от благородных родителей, и знамения в раннем детстве, свидетельствующие о том, что ему был уготован путь пастыря (когда другие мальчики строили из песка замки и крепости, сам он предпочитал возводить церкви, за что был прозван отцом «мой епископ»), и необыкновенные успехи в учении<sup>144</sup>.

## **О событиях моей истории**

### **Глава 1**

*О происхождении Гиральда, его детских и юношеских  
деяниях [145](#)*



Итак, Гиральд, уроженец Камбрии, южной ее части, расположенной на морском побережье Дайфед недалеко от главного города Пенброк, а именно уроженец замка Манорбьер, вел происхождение от знатного рода. Ибо доподлинно происходил от матери Ангарад, дочери Несты, дочери нобиля Рис, принца Южного Уэльса (то есть сына Теодора), связанной брачными узами со славным мужем Вильямом де Барри. Будучи младшим из четырех единокровных братьев, единоутробно рожденных, он, предуготовливая будущее в детстве, никогда с тремя другими ни крепости, ни города, ни дворцы в песке или в пыли не рисовал и не строил, как подобает этому возрасту. Он один, сам по себе, следуя подобного же рода предуготовлению, всегда отдавал все свои усилия проектированию церквей и строительству монастырей. Тогда его отец, будучи притянут к этому, словно неким знамением, часто на это смотрел, внимательно и с изумлением разглядывая. Благоразумно предвидя будущее, он решил приобщить его к словесности и свободным искусствам и имел обыкновение, шутливо делая почтительные жесты, называть его своим епископом.

Случилось же, что однажды ночью, когда край был приведен в смятение вторжением врагов и все молодые люди замка наперебой бросились к оружию, мальчик, взирая на это и слыша гам, разрыдался, спрашивая, куда именно ему надлежит укрыться, и премоного просил, чтоб его отнесли в церковь, с необыкновенным предвидением провозглашая, что покой церкви и неприкосновенность священного дома Божьего должны быть самыми надежными и безопасными укрытиями. Все же, кто это слышали, когда смятение улеглось, вместе поразмыслив над этими словами мальчика и побеседовав меж собой, снова с восхищением вспомнили, что он предвещал – о чудо! – большую себе безопасность в церкви, открытой игре случая и чуждым ветрам, чем в городе, переполненном вооруженными людьми и надежнейше защищенном башнями и стенами. Сверх того, как только мальчик слышал споры о положении и правах церкви и законе страны среди церковнослужителей и народа, он выступал охранителем и заступником церкви, стараясь изо всех сил. Тем же рвением вдохновлял его Бог и умножал милости день ото дня все годы и продолжал вплоть до конца его жизни. Ибо в каждый период своей жизни и при любых обстоятельствах он даже ни к чему не стремился

на земле, кроме доброй славы церкви Христовой, ее преуспеяния во всем и ее почитания.

## Глава 2

### О неудачах в учении вначале и об успехах потом

Но мальчик вначале испытывал немалые затруднения от компании братьев, которые вместе играли в праздничные дни и вместе всячески восхваляли свое занятие воинским ремеслом. И так как он воспитывался в одних с ними условиях, продвигался в учении гораздо медленней, чем должно. Впрочем, в конце концов за него взялся блаженной памяти Давид, его дядя по матери, епископ Минива, тогда находившийся в должности. К тому же он был задет и твердо направлен на путь двумя клириками этого же епископа, из каковых один в насмешку над ним декламировал степени сравнения: «durus, durior, durissimus»<sup>146</sup>, а другой: «stultus, stultior, stultissimus»<sup>147</sup>. Много подстегнутый издевательствами, он потом начал преуспевать больше благодаря совести, чем розгам, и больше благодаря стыдливости, чем страху какого-либо наставника. Ибо, воистину, потом его охватила такая страсть к учению, что он за малое время далеко опередил всех соучеников<sup>148</sup> и сверстников этого края. С течением же времени, стремясь к большим знаниям и благополучию, он трижды переправлялся во Францию и трижды пребывал в Париже по многу лет, занимаясь изучением свободных искусств<sup>149</sup>, и, наконец, сравнившись с лучшими наставниками, там же превосходно преподавал тривий<sup>150</sup> и особенной славы добился в искусстве риторики. И он был настолько полностью предан своим занятиям, настолько был лишен легковесности и фривольности и в делах, и в помыслах, что всякий раз, когда доктора искусств желали отличить наградой лучших ученых, называли Гиральда прежде всех других. Столь замечательный в ученом рвении и отмеченный заслугами и в первые годы жизни, и в юношеском возрасте, благодаря достоинствам, он не просто стремился к образцу совершенства, но и сам стал им.

## **Никифор Влеммид (ок. 1197–ок. 1272)**

Родился в Константинополе и посвятил себя духовной карьере, причем приобрел незаурядную образованность. По получении образования и начальных шагов на собственном поприще перебрался в Никею, где добился высокого положения при дворе и – одновременно – славы в ученых кругах. В 1255 г. Никифору даже предложили сан вселенского патриарха восточной православной церкви. Он предпочел отказаться. Окончил свою жизнь Никифор настоятелем основанного им самим монастыря около г. Эфеса.

От Никифора дошли трактаты по логике, естествознанию, теологии, комментарии к Псалмам, риторические декламации, придворные стихи, наконец, едва ли не самое интересное – две автобиографии в прозе, показывающие повышенное внимание к собственной личности (чувство, почти незнакомое византийской литературе предыдущих веков). Как видно из автобиографии, Никифору хотелось бы быть не только великим мудрецом и стихотворцем, но и святым, Божьим избранником<sup>[151](#)</sup>.

### ***Избранные места из автобиографии монаха и пресвитера Н икифора, ктитора <sup>[152](#)</sup>***

#### **Годы учения**

I. Прожив шесть лет сверх шестидесяти от рождения, я решил предаться воспоминаниям о некоторых событиях моей жизни (вспоминать обо всем нет необходимости, да и невозможно) и тем самым воздвигнуть столп исповедания как помощь и спасение, как защиту и основу, благую, могучую, мудрую; хорошо сначала участвовать в этих событиях, а потом спастись из их водоворота, бури и хаоса, когда видишь и предчувствуешь крушение и знаешь о несметном множестве опасностей.

Да будет это сочинение предметом внимания и для моих близких – ведь о них я говорю немало; пусть станет оно руководством, как заслуживать милость Божию, как обратить помыслы к Господу, как посвятить только Ему и дух и тело, пусть станет оно неким предостережением и побуждением к полезным трудам.

Если для тех, кто силой Слова был приведен в мир, самое достойное – искусство речи, я напому о первой благодати, в словах содержащейся, а именно, что после творения слов она заключается в их порядке. Затем, распроставшись с тем временем юности, когда к душе подкрадывается опасность из-за нерадения, потому что нет ни трезвости, ни осторожности, я снова буду излагать события по порядку, стремясь во всем сокращать свою повесть и соблюдать очередность событий, чтобы ничто из позже случившегося не опередило происшедшее ранее.

II. Итак, когда я был ребенком, я уже постиг искусство грамматики, выучив ее без малого за четыре года. Я не был ни тупым, ни слишком одаренным, но любознательность и усердие в равной мере возместили природные недостатки. С большим рвением приходил я в школу раньше, а уходил позже других, и, после того как все ученики уходили, я долго бывал наедине с учителями, – от них я брал знания только для себя. А к тому же еще мне достались в удел, по счастью, лучшие наставники в науках духовных, и я узнал от них, Кто научает человека разумению. И я не отвратился от Него, а молил дать мне разум и руководство во всем остальном.

После грамматики я приобщился к поэмам Гомера, к другим поэтам и к афтониевым прогимнастам и к «Риторике» Гермогена<sup>153</sup>, а в философии, когда прошли шесть сверх десяти лет от моего рождения или что-то около этого, я попробовал науку логики.

Выучив «Звуки», «Категории» и «Искусство истолкования»<sup>154</sup>, я стремился к еще более высокому совершенству в искусстве риторики, но у меня не было руководителя. Вместе с этим я занимался также врачебным искусством и умозрительно и практически. Ведь это было занятием отца, которое кормило меня до семи лет.

III. Когда же истек двадцатый год моего рождения, если бы Господь не помог мне, я погрузился бы, подобно камню, в настоящую пучину бедствий из-за собственного бессилия, неумения распознать окружающих и увидеть, от чего исходит вред. Ведь пока мы чужды

дружбы и презираем любовь, мы проводим жизнь в близости к одному Богу и целиком устремляем к нему взор, полностью отдаваясь познанию. Когда же мы обратились к любви и дружбе, вокруг нас поднимается неодолимая буря.

## Петр из Мурроне (Целестин V) (1215–1296)

Петр из Мурроне, впоследствии римский папа Целестин V, родился в местечке Исерния на юго-востоке Италии в 1215 г. С юных лет он имел страстное желание жить в уединении, целиком посвятив себя служению Богу, и в возрасте двадцати с лишним лет стал отшельником. Три года он прожил на горе Поллено, затем, приняв в Риме сан священника, отправился на гору Мурроне, где провел еще пять лет. Впоследствии он основал монашеский орден целестинцев и до глубокой старости жил отшельником, почитаемый народом как святой. 29 августа 1294 г. восьмидесятилетний Петр по инициативе Карла II Анжуйского избирается главою Римской церкви. Однако он сразу же начинает тяготиться новым высоким положением, видя свое предназначение в уединенном служении Господу. После мучительных раздумий он делится идеей своего отречения с некоторыми из кардиналов и получает их поддержку. 13 декабря 1294 г. было объявлено об отречении Целестина V. Остаток своей жизни Петр провел в заточении в замке Фумоне, где и умер 19 мая 1296 г. Спустя семнадцать лет он был канонизирован Климентом V.

Автобиографическое «Жизнеописание» («*Vita*») – самое известное из сочинений, приписываемых святому. В нем достаточно стройно и подробно описывается вся его жизнь от рождения до призвания на папский престол, причем значительное внимание уделяется при этом разного рода чудесам и посетившим его видениям. Считают, что оно было составлено отшельником перед его избранием папой как своего рода завещание и назидание братии. Аутентичность автобиографии признается большинством биографов Целестина, в том числе и официальными историками католической церкви. Главным их аргументом является приписка в начале сочинения, повторяющаяся во всех сохранившихся рукописях и гласящая, что оно – не что иное, как жизнеописание папы, «которое он сам своей собственной рукою написал и в своей келье оставил» (*quam ipse propria manu scripsit et in cella sua reliquit*). Скептики утверждают, что папа не мог быть автором этого сочинения (так же, как и других), поскольку едва ли умел сам

писать на латыни, и что это скорее не автобиография, а биография, составленная одним из учеников почтенного старца. На самом деле, по-видимому, правы и те и другие. Известно, что в монашеской среде в Средние века широко практиковалась запись младшей братией рассказов и изречений монахов, чтимых за их мудрость и святость. Устный рассказ старца о своей жизни таким образом легко мог превратиться в законченное литературное произведение.

Описание детства в «автобиографии» Целестина полно агиографических клише. Так, Господь неоднократно посылает знаки, указующие на особую святость ребенка и его матери. Он также во сне дает знать матери Петра, что в будущем мальчик взойдет на папский престол. И все же некоторые детали этого описания выходят за рамки житийной традиции, принося в него живые индивидуализирующие черты – взять хотя бы упоминание о ночных страхах мальчика или рассказ об угрозах наказания ангелами за слова, которые он не произносил. В целом же смысл и место детства в автобиографическом повествовании Целестина вполне ясно определены. Это период, когда Небеса дают знать о судьбе, предначертанной человеку<sup>155</sup>.

## Жизнеописание

... Вначале же скажу нечто о моих родителях, имена которых таковы: Анджелерио и Мария. Были же они оба, как я полагаю, честны перед Богом и среди людей весьма почитаемы. Простые, праведные и богобоязненные, скромные и миролюбивые, не откликающиеся злом на зло, они с великой радостью давали милостыню и приют бедным. Так же как и патриарх Иаков, они произвели на свет двенадцать сыновей, постоянно прося Господа, чтобы кто-нибудь из них стал верным слугою Бога. Ради такой возможности они отправили обучаться наукам второго сына. И когда тот повзрослел, то стал мужем весьма красивым и достойным сообразно суетности этого века, но все-таки не настолько озабоченным служением Богу, как того хотели его родители. Когда же отец почил в благой старости, жена, оставшись с семью сыновьями (поскольку остальные уже умерли) и видя, добрая женщина, что ее сын клирик вопреки ее желанию не столь предан вере, всем сердцем опечалилась и сказала: «Увы мне, несчастной, стольких сыновей я родила и вырастила и ни одного из них не вижу слугою Бога!» Одиннадцатому же сыну было тогда шесть или семь лет, и в нем Бог чудесным образом обнаружил свою благодать, потому что все благое, что он слышал, сохранял в сердце и пересказывал своей матери, часто повторяя: «Хочу быть преданным слугою Бога». Поняв это, мать сказала себе: «Отдам этого моего сына учиться и, может быть, к нему Господь будет более благосклонен, чем к другому сыну, и если тот умрет, этот мне останется». Как она говорила, так и случилось, поскольку тот, который стал монахом, в скором времени умер, и его пережил мальчик, к тому времени еще мало познавший науки. Но дьявол, который всегда является противником всему благому, стал бороться за него и за его близких. Сначала он искушал мальчика в нежелании учиться и братьев мальчика в непослушании. Поэтому они, как могли, противились матери, говоря: «Нам достаточно одного ничего не делающего» (поскольку клирики в их местности действительно не работали). Искушал дьявол также одного богатого человека этого края, который ластился к мальчику, говоря: «Желаю сделать тебя своим наследником». Был также один демон (в чем я твердо убежден, поскольку таковым он мне виделся, хотя я и был



ребенком), который говорил, что исполняет Божью волю, и говорил матери: «Что ты наделала? Забери его из школы и отправь учиться другого, младшего сына, поскольку этот никогда не станет слугою Бога, как ты надеешься, ибо скоро умрет так-то и так-то». Мать это сильно печалило, но все же она не прекратила из-за его слов делать, что могла [для обучения сына].

Она вспоминала один случай, который произошел при рождении мальчика, так как, по ее собственным словам, когда мальчик вышел из материнского чрева, он был облачен в некое подобие церковных одежд. И вспоминала о другом случае, который произошел в первый день, когда мальчик начал читать. В ту ночь явился ей ее муж и сказал, обращаясь к одной из кумушек: «Определила моя жена нашего сына учиться. Какое это благо для меня и для нее и для многих других! Скажи же ей от моего имени, что, если она меня почитала, пусть покажет это и, сделав все возможное, доведет начатое дело до конца». Тогда мать вопреки воле сыновей произвела вычет из семейного имущества, причитавшегося им по наследству, и заплатила учителю за обучение мальчика, к которому Бог проявил столь великую благосклонность, что в скором времени он уже читал Псалтирь. Когда он был еще [маленьким] мальчиком и настолько малосведущим, что не различал изображенные на Кресте образы Пресвятой Девы и святого Иоанна, он все же видел их спускающимися с Креста. И взяв книгу, из которой мальчик читал, оба, то есть Мария и Иоанн, необычайно сладкозвучно распевали из нее псалмы. Мальчик сообщил все это матери с большой радостью. На что мать ему сказала: «Смотри, сын, никому не говори [об этом]». Также, когда еще мальчиком он шел с другими мальчиками играть, его искушал дьявол, чтобы он говорил непристойные слова, которых мальчик даже не знал. Но когда наступала ночь, он видел в снах, что находится в церкви, где днем читал, и это было у алтаря. И вдруг сверху спускались ангелы и окружали мальчика со всех сторон, грозя и говоря: «Зачем ты такое говорил? Остерегайся в другой раз такое говорить». И один говорил другому: «Побейте его; почему он сказал это?» Однако никто его не бил. Это и многие другие благие назидания всегда являлись ему в видениях. И когда он говорил о них матери, она запрещала ему рассказывать о них кому-либо, и он не рассказывал. Мать же [однажды] увидела в своих снах этого мальчика пастухом множества

овец, белых как снег. Это ее необычайно опечалило, и, даже проснувшись, она продолжала оставаться весьма грустной. Но на следующий день, встретив этого сына, которому тогда было уже двенадцать лет, сказала ему: «Сын, я видела сон об одном клирике». Сын тотчас ей ответил: «Это будет пастырь добрых душ». Услышав это, она радостно и весело сказала сыну: «Сын, это ты. Вверх себя Господу».

Много чудес явил Бог матери этого мальчика, каковые этот сын видел своими глазами. Сначала, когда в возрасте тридцати с лишним лет ее поразил тяжелый недуг, так что отнялась правая сторона тела, из-за чего она в один из дней почувствовала сердцем, что нужно идти в одно из святых мест. И, сделав это, за одну ночь исцелилась. Также этот ее сын, когда был трехлетним мальчиком, повредил глаз острой палкой и ослеп на правый глаз, так что медики и все, кто его видел, говорили, что глаз он потерял. Она же, веруя в Пресвятую Деву, отнесла его в одну из церквей Пресвятой Девы и осталась там с сыном на всю ночь. И тогда утром обнаружилось, что глаз здоров, без бельма. А также когда другой сын, который был женат, вязал колосья в снопы, пшеничный волосок прилип к его глазу и столь прочно засел в нем, что никто не мог его вытащить. И так много дней он мыкался туда-сюда в поисках помощи и не находил ее, крича днем и ночью от невыносимой боли. Мать же, скорбя и печалась, однажды ночью обратилась к Пресвятой Деве и сказала ей: «Моя Госпожа, верни глаз этому моему сыну, как ты другому моему сыну раньше вернула». На рассвете тот сын, который был клириком, посмотрел в глаз брата и [увидел, что] этот волосок находится в середине глаза, торча наружу. [Тогда] он сам, доподлинно, просто ухватил его пальцами и вытащил из глаза. Также однажды во время великого голода истощились их запасы хлеба, и она не могла найти способа спастись. Отчего однажды ночью она обратилась к Богу, прося и моля его, чтобы он проявил милосердие к ее сыновьям и не дал им умереть от голода. Когда же настало утро, она сказала [одному] своему сыну: «Сын, возьми серп и пойдешь в поле, и поищи там – может быть, Бог смилостивится к нам и мы не умрем от голода». Было же это до начала времени жатвы. Сын отказался и не захотел идти: «Зачем я пойду? – сказал он. – Нива же еще зеленеет, и я ничем не смогу помочь». Но все же в конце концов он дал согласие и пошел в поле и нашел в середине его ту белую и сухую ниву, которая

была столь необходима. И в этот же день он собрал урожай, смолотил зерно, отвез его на мельницу и возблагодарил Бога. Наша мать также очень почитала святых и чтила их праздники. Так на Усекновение главы святого Иоанна, за день раньше, надлежало печь хлеб. В этот вечер она захотела поставить опару, для чего стала с благоговейным страхом лить воду в муку; и вдруг тотчас вся мука превратилась в червей. Тогда в ужасе она упала на землю, взывая к Богу со словами: «Господи, помилуй меня». И немедленно мука обрела свой первоначальный вид.

Мальчик же все больше и больше кипел желанием служить Богу, особенно стать отшельником. И поскольку не знал, что отшельник может иметь рядом спутника, конечно же, считал, что ему всегда нужно будет быть одному, а он очень боялся ночных видений и, пребывая [из-за этого] в нерешительности, не знал, что следует делать (в его местности не было ни одного Божьего слуги, который мог бы дать ему совет). Так шло время и он достиг возраста двадцати с небольшим лет.

# **Часть 2**

## **Раннее новое время**

## Воспоминания о детстве в эпоху Возрождения, Реформации и Контрреформации

Революционность периода XIV–начала XVII в. в общем ходе европейской истории, долгие годы считавшаяся бесспорной аксиомой, сегодня все чаще подвергается сомнению. Это сомнение свидетельствует о глубоких переменах, происшедших в европейском сознании в послевоенные годы и приведших если и не к полному «краху традиционной драматической организации истории Запада»<sup>156</sup>, то к совершенно очевидному ее радикальному пересмотру. Действительно, многие историки заметили, что более чем трехсотлетний период, который они считали началом современной эпохи, временем «открытия индивидуальности»<sup>157</sup>, по своей глубинной сути не столь уж отличен от средневекового. Они обратили внимание на то, что в эти столетия общество продолжало оставаться преимущественно аграрным и, соответственно, жизнь людей в нем подчинялась природным циклам. Индивид в этом обществе также представлял собой звено во всеобщем круговороте времени, был частью постоянно воспроизводимого семейного, родового, социального целого. Цель его существования, следовательно, мыслилась не столько в том, чтобы прожить свою собственную жизнь, сколько в том, чтобы передать жизнь следующему поколению. Отсюда и ребенок виделся в этом обществе, по образному выражению французского исследователя Жака Жели, «отростком родового древа»<sup>158</sup>.

Однако даже самые горячие сторонники идеи «долгого Средневековья» не ставят под сомнение то обстоятельство, что в этот период отношение к ребенку в Европе существенно меняется. Эти изменения, ставшие впервые заметными с конца XIV в. в среде зажиточных горожан ренессансной Италии, в начале XVI в. обретают новый импульс, в результате которого процесс перемен охватывает почти всю Западную Европу.

Что же произошло? Какие «индикаторы» позволяют делать такого рода заключения? Исследователи указывают на самые разные приметы, относящиеся к социальной, экономической, ментальной,

интеллектуальной сферам общественной жизни. Еще в XIV в. появляются первые реалистические изображения ребенка в живописи и скульптуре, а с XVI в. начинают печататься первые книги для детей<sup>159</sup>. Общество начинает обсуждать множество «детских» вопросов, которые никогда не занимали его раньше. Среди них – целесообразность вскармливания младенца молоком кормилицы (не противоречит ли это законам природы?) и еще один, имеющий символическое звучание, – о возможном вреде пеленания младенца. Не является ли, спрашивают авторы XVI в., словно предвосхищая споры Нового времени, такое раннее ограничение свободы вредным для физического здоровья и общего развития ребенка? В частных письмах и мемуарах XVI—XVII вв. начинают встречаться наблюдения о переменах, происходящих с современными детьми, их отличиях от детей прежних лет, отмечается, например, что теперь они стали более живыми и зрелыми<sup>160</sup>. О детях и детстве вообще в это время стали больше думать и говорить.

Едва ли, впрочем, будет правильным изображать характер этих перемен как простой сдвиг отношения общества к ребенку от индифферентного к заинтересованному. Часто декларируемое безразличие к ребенку в Средние века – скорее всего миф. Но точно так же мифом следует считать и то, что с XVI в. в отношении к нему господствует тотальный пиетет. Множество свидетельств демонстрируют, что в это время соседствовали обе тенденции. Новое отношение к детству, родившееся в XVIII в., – *наше* отношение – явилось результатом гораздо более глубоких, беспрецедентных в европейской истории перемен не только в экономической, социальной и культурной жизни общества, но и в его сознании, в особенности в отношении к таким фундаментальным понятиям, как «жизнь», «тело», «индивид».

Нельзя не сказать еще об одном. Раннее Новое время в европейской истории отмечено стремительным ростом интереса индивида к самому себе. Один из показателей этого – резкое увеличение числа автобиографических сочинений. В XIV—XVII вв. их создаются уже не единицы, а многие десятки, практика создания автобиографий распространяется далеко за монастырские стены и становится делом самых разных общественных групп: профессиональных литераторов-гуманистов, художников, купцов, дворян, бюргеров. Воспоминания

людей о своей жизни в это время становятся более обстоятельными и более насыщенными непосредственно-личностным звучанием. Все это в полной мере характерно и для воспоминаний о детстве. Краткие малозначащие упоминания о нем [например, в автобиографиях двух гуманистов: величайшего флорентийского поэта Франческо Петрарки (1304–1374) и греческого ученого и политического деятеля Димитрия Кидониса (ок. 1324–ок. 1398)] – скорее исключения. Детство в памяти писателей XIV—XVI вв. – это отдельный, живой и несомненно значимый период жизни.

\* \* \*

*Изменение биографических моделей рассказов о детстве.* На рубеже Нового времени средневеково-христианские модели изображения детства, в основе которых лежал агиографический канон, хотя и продолжают определять сюжетную канву большинства автобиографических рассказов, претерпевают все же существенные изменения. Причем эти изменения имеют самый разнообразный характер. В одних случаях пронизывающая их антитеза грешного, земного, человеческого и возвышенного Божественного начал начинает наполняться живым личностным содержанием. Так, страницы «Книги жизни» св. Тересы Авильской (1515–1582), говорящие о ее детских годах, проникнуты искренней болью за то, что она не смогла сохранить дары, ниспосланные ей от рождения Господом. Ведь детство для нее (в отличие от Августина, настаивавшего на изначальной греховности ребенка) – период, когда эти дары находятся в человеке в наиболее чистом и незамутненном виде; их порча происходит позднее, в отрочестве и юности<sup>161</sup>.

В других случаях средневековый биографический канон трансформируется почти до неузнаваемости. Совершенно по-особому вспоминает о своем детстве флорентийский золотых дел мастер и скульптор Бенvenuto Челлини (1500–1571). Понятие греховности его человеческого существа в этих воспоминаниях совершенно отсутствует, а понятия избранничества и святости наполняются новым содержанием. Рассказ о самом себе в значительной мере строится у Челлини по тем биографическим клише, которые родились в

ренессансной художественной среде и нашли воплощение в знаменитом сочинении Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Рождение художника изображается здесь как чудесное явление на свет Божьего избранника. Особая близость Богу обязательно должна проявиться в каких-то чудесных знамениях, благоприятных сочетаниях звезд и пр. У Микеланджело таким знамением было внезапное озарение отца, определившее имя новорожденному. Назвав сына Микеланджело, говорит Вазари, «отец хотел этим показать, что существо это было небесным и Божественным в большей степени, чем это бывает у смертных». Богоизбранность младенца, по мнению того же Вазари, подтверждалась и его гороскопом: «При его рождении Меркурий в сопровождении Венеры были благосклонно приняты в обители Юпитера, а это служило знаком того, что искусством рук его и таланта будут созданы творения чудесные и поразительные»<sup>162</sup>. В изображении Челлини акт его собственного рождения выглядит очень похоже. Он подчеркивает, что родился в особое время, «в ночь Всех Святых, после Дня Всех Святых, в половине пятого, ровно в тысяча пятисотом году»; что его появление на свет было большой неожиданностью для всех, едва ли не чудом; что новорожденный был в «прекраснейших белых пеленах». И здесь тоже мы встречаем внезапное озарение отца: «Сложив престарелые ладони, он поднял вместе с ними очи к Богу и сказал: “Господи, благодарю Тебя от всего сердца; этот мне очень дорог, и да будет он Желанным”» [по-итальянски – *Venvenuto*]. Бенвенуто, так же как Микеланджело и другие великие мастера, является в мир прежде всего дабы создать совершенные произведения искусства. Но не только. Ему уготовано небом совершить множество и других великих дел, сравнявшись в них с величайшими героями древности и современности, а то и превзойдя их. Свидетельства этой богоизбранности – знамения, которые сопровождают его в детстве: сначала – спасение по воле небес от укуса огромного скорпиона, затем – чудесное видение в огне саламандры.

В автобиографии итальянского гуманиста, архитектора и теоретика искусства Леона-Баттиста Альберти (1404–1472) также рисуется образ детства, далекий от средневековых агиографических моделей. Это период раскрытия безграничных способностей человека, идеального *l'uomo universale*. Герой Альберти легко научается «всему, что



подобает знать благородному и свободно воспитанному человеку», и во всех науках и искусствах неизменно достигает успеха. Он «с чрезвычайным усердием занимался не только военными упражнениями, верховой ездой и искусством игры на музыкальных инструментах, но и всякими изящными искусствами, а также изучением самых необычайных и труднейших предметов». Кажется, нет такой области благородных занятий, которую не освоил этот герой в юные годы и в которой не достиг успеха: словесность, живопись, физические упражнения, верховая езда, военные игры, музыка, пение. Большую часть рассказа Альберти о его детстве и юности занимает как раз перечисление разнообразных видов деятельности, которые он с успехом осваивал.

В средневековых биографиях расхожим топосом является указание на «положительных» (как правило, благородных и обязательно благочестивых) родителей и их безусловно позитивную роль в воспитании героя. В историях жизни раннего Нового времени образы отца или матери выглядят далеко не всегда идиллически. Так, Варфоломей Састров (1520–1603), отметив, что его родители «были хорошего воспитания», тут же добавляет: «Мой отец был, правда, слишком вспыльчивым, и, когда его охватывал гнев, он не знал меры». И дальше изображает страшную сцену: «Однажды он очень сильно разгневался на меня. Он стоял внутри конюшни, а я в воротах. Тогда он схватил сенные вилы и с силой метнул их в меня. Я отскочил в сторону. Но бросок был таким сильным, что вилы вонзились глубоко в дубовый косяк купальни, и потребовалось немало усилий, чтобы вытащить их оттуда». Такое поведение отца не вызывает, впрочем, открытого осуждения автора. Мораль, которую извлекает из этого навсегда запечатлевшегося в его памяти случая Састров, незамысловата и вполне предсказуема в рамках христианских представлений об искушениях Сатаны и спасительном вмешательстве Господа в человеческие дела – это были «козни дьявола», которые «милостивый Бог в своем всеведении расстроил».

У писателей XIV—начала XVII в., как и раньше у средневековых, детство во многом ассоциируется с годами учения. Умение читать и писать, знание латыни и классических авторов, овладение основами наук – это главное, что, по их мнению, должен обрести человек в возрасте примерно от 6–7 до 16–17 лет. Как и раньше, их

воспоминаниям об учении часто сопутствует боль от перенесенных несправедливостей и жестокостей со стороны наставников. Картины, рисуемые авторами, тут одна мрачнее другой. Итальянский педагог-гуманист Джованни Конверсини да Равенна (1343–1408) почти весь рассказ о детстве посвящает осмыслению своего сурового опыта пребывания в школе некоего Филиппино да Луго. «Терпя безумную жестокость Филиппино, – признается Конверсини, – я упрямой душой возненавидел ученье и всех учителей». Главный вывод Конверсини из этого опыта состоит в том, что учителям непременно следует проявлять доброе отношение к их ученикам: «Заблуждаются те, кто считает, что при обучении детей грамоте стоит прибегать к жестокости. Педагоги добиваются большего умеренностью и милосердием, ибо от мягкого обращения и любой похвалы воспламеняется благородная душа и становится расположенной следовать туда, куда зовет рука ваятеля...»

Свирепство школьного учителя навсегда запомнилось и Йоханну Бутцбаху (1477–1516 или 1526). Спустя много лет он с явным удовлетворением добавляет в своем жизнеописании, что после одного из жестоких истязаний его наставник-мучитель был изгнан из школы и переведен в городские: «Так из эрфуртского бакалавра получился мильтенбергский полицейский... Ибо это только справедливо, чтобы тот, кто не захотел умерить свою жестокость по отношению к детям, должен был проявлять ее по отношению к злодеям и бунтовщикам».

Но ученичество вовсе не рисуется всеми авторами XIV–XVII вв. исключительно в мрачных тонах. В их рассказах, хотя и нечасто, можно встретить и выражения любви к школьному наставнику, и хвалы педагогическому мастерству. Так, доктор теологии лютеранин Якоб Андреэ (1528–1590), по его собственным словам, был отдан в школу «к весьма ученому и обладающему необыкновенным талантом учить детей наукам мужу, которого ученики любили и почитали как родного отца... Он редко приказывал приносить в школу розги, не чаще, чем раз в семестр, предпочитая побуждать юношество к успехам в учении похвалами, соревнованиями или же строгими порицаниями». Здесь мы словно видим реализацию на практике того подхода к ученику, о котором только мечтал Конверсини.

Удивительную картину своего воспитания и обучения в первые годы жизни рисует выдающийся французский мыслитель Мишель Монтень

(1533–1592). Она свидетельствует о существовании в его время совершенно особого отношения к ребенку – как к нежному легкоранимому созданию и одновременно как к личности, обладающей собственным достоинством и врожденными благими задатками. Трудно представить, что речь в рассказе писателя идет о середине XVI века, а не, скажем, XIX, настолько передовыми для его времени выглядят педагогические принципы, которыми руководствовался отец юного Мишеля, создавая условия для становления его личности. «Моему отцу, среди прочего, – пишет автор, – советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что – во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в который дети погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые, – мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из служающих мне».

*Детство в протестантских автобиографиях XVI – начала XVII в.* Многие исследователи считают, что «открытие детства» произошло в рамках протестантизма, и объясняют это особой требовательностью протестантов к обучению ребенка грамотности и его ранним приобщением к чтению Библии. Поскольку, согласно учению Лютера, спасение души – личное дело каждого, и происходит оно через Божье Слово, Библия должна быть в каждом доме, и ее нужно читать с самых ранних лет. Отсюда важность обучения детей и особое внимание к детскому возрасту, самой идее детства, когда человек приобщается к Богу. Впоследствии концепция детства нашла глубокую теоретическую разработку в сочинениях протестантских моралистов XVII в. [163](#)

В автобиографиях протестантских писателей действительно обнаруживается пристальный интерес к годам детства и учению. Они охотно и часто довольно непосредственно рассказывают о разных событиях, случившихся с ними в это время: детских проказах, родительских наказаниях, чудесных спасениях от нечаянной гибели и

болезней, предназначенных свидетельствовать о Божественном покровительстве над героем/автором, подробно сообщают об овладении ими навыками чтения и грамотности.

Во многом типичным для раннего протестантизма является образ детства, запечатленный в автобиографии шотландского священника Джеймса Мелвилла (1556–1614)<sup>164</sup>. Здесь нужно иметь в виду, что все его сочинение, написанное в жанре религиозной автобиографии, – это рассказ не столько о жизни самого автора, сколько о проявлении по отношению к нему Божественной благодати. В самом начале Мелвилл утверждает, что намеревается «запечатлеть на бумаге благодать Господа, дарованную ему с первого его зачатия и отмеченного дня его рождения». Отсюда и построение им сюжетов, и несколько необычный для такого рода личностных сочинений приподнято-торжественный тон, напоминающий стиль религиозно-полемических трактатов деятелей шотландской Реформации.

Он немало внимания уделяет рассказам о людях, наставлявших его в детстве на путь истинный, прежде всего о «добропорядочных, благочестивых и честных» родителях, которые были «освящены светом Евангелия». Еще в младенчестве Мелвилл потерял мать и воспитывался отцом и старшей сестрой. Об отце-священнике говорится как о «человеке редкой мудрости, рассудительности и благоразумия», ученике знаменитого Филиппа Меланхтона. Сестра Джеймса стремилась воспитать его в духе доброты и искреннего благочестия, пресекая негативные проявления его природы кротким укором и доверительным отношением.

Вера Джеймса значительно окрепла в ходе его обучения в школе. Там его наставляли в «разумном страхе» и благочестии, уча читать молитвы и Священную историю. Описание школьной жизни у него полно драматизма, за которым автору видится глубокий религиозный смысл: свои шалости и проступки, так же как и расплату за них, он трактует как проявления Божьего возмездия и напутствия. Все, что с ним происходит, имеет высшее Божественное значение и высшую справедливость. «Господь, – заключает Мелвилл, – сделал моими учителями всех тех, кто встречался мне, все места и действия, но увы: я никогда не пользовался ими так плодотворно, как позволяли обстоятельства...»

Автор много и подробно сообщает также о своем круге чтения в эти годы, чрезвычайно насыщенном. Это прежде всего Библия, Катехизис, молитвы, затем разного рода дидактические сочинения, содержащие основы наук, античная поэзия (Вергилий, Гораций) и драма (Теренций), эпистолярное наследие Цицерона, различные сочинения Эразма Роттердамского. Параллельно через сестру он знакомится с творчеством шотландского поэта Дэвида Линдсея, в драмах которого гуманистическое начало соединялось с критикой нравов духовенства и призывами к проведению королевской Реформации.

Важнейшее место в детских воспоминаниях Джеймса занимает память о его религиозном опыте, начавшемся с прозрения в результате чтения Священного Писания. Он отмечает, что «Дух освящения» начал рождать некое движение в его душе около восьми или девяти лет. Именно тогда он «стал молиться, укладываясь спать и вставая и прогуливаясь один по полям». Собственно и заканчивается детство для него событием высокого религиозного звучания, когда на тринадцатом году жизни он «принял причастие тела и крови Христовой впервые в Монроузе, с большим почитанием и смыслом...».

Протестантская автобиография, впрочем, не сводится к чисто религиозной проблематике. Она богата разнообразием и сюжетов, и авторских манер повествования. В описаниях детства XVI–XVII вв. можно встретить немало живых бытовых сцен, порой переплетающихся с религиозной полемикой и неожиданными антиримскими выпадами. Так, Варфоломей Састров охотно и весело рассказывает, что неприятие «папизма» проявилось у него еще в самом раннем возрасте, причем довольно своеобразно: как-то малышом, сопровождая мать-католичку, пришедшую помолиться в церковь, он сделал маленькие кучки (как он сам это называет, «маленькие пахучие жертвы») у всех трех церковных алтарей. В «Мемуарах» Ганса фон Швайнихена (1552–1616) – иной, особый случай: рисуемый им образ детства – это детство придворного. Мы видим мальчика, хотя и воспитывавшегося в страхе Божьем, но в силу своего возраста совершающего проказы, не очень стремящегося к знаниям, охотно служащего своему господину и даже радостно терпящего от него оплеухи, с юных лет неудержимо любящего развлечения и светскую жизнь.

*Калейдоскоп образов детства.* Трудно не поразиться богатству и разнообразию впечатлений авторов этого времени о своем детстве. Это разнообразие, обусловленное причинами социального, культурного, личностного характера, находит выражение в выборе и построении автобиографических сюжетов, расстановке акцентов, самой «фактуре» жизненного материала, особенностях индивидуального опыта.

По-особому предстает детство в изображении итальянского врача, математика, натурфилософа и астролога Джироламо Кардано (1501–1576). В своих ученых трудах и в своей автобиографии, которую он, по-видимому, также относит к ученым сочинениям, обнаруживается новый подход к пониманию человека, вписывающийся в изменившуюся картину мироздания<sup>165</sup>. Кардано убежден, что все в мире взаимозависимо и эти взаимосвязи скрыты от обычного взгляда, но доступные взору мудреца. Поэтому он фиксирует свое внимание на самых разнообразных деталях своего детства (ничто не может быть здесь второстепенным!): описывает свою внешность, все необычные случаи, с ним происшедшие, влияние расположения звезд при его рождении на складывание его характера и всю дальнейшую судьбу, перенесенные болезни (разнообразные и часто необычные), чудесные спасения от гибели, непростые отношения с родителями, часто относившимися к нему неоправданно сурово. Главная особенность этого детского автопортрета, пожалуй, заключается в том, что Кардано изображает себя, как он сам говорит, «аномальным». Все его автохарактеристики указывают на его несходство с другими детьми, причем отличается он от них вовсе не в лучшую сторону. А некоторые особенности или «признаки» Джироламо-ребенка, которыми автор, будучи уже в преклонных годах, считает необходимым поделиться с читателями, просто поразительны. Он сообщает, что появился на свет с длинными черными курчавыми волосами без всяких примет жизни; что на четвертом году ему стали являться причудливые образы и видения, созерцанию которых он охотно предавался лежа по утрам в постели; долгое время ночью его ноги никогда не могли согреться ниже колен, что все считали знаком того, что ребенок не проживет долго; что по ночам он покрывался испариной; наконец, что во сне ему стал часто видеться кошмар в образе петуха, пытающегося заговорить. Все это, по мнению Кардано, очень важно знать, все это характеризует его самого и его место в мире, хотя понять до конца, что же именно

кроется за этими знаками исключительности, едва ли дано кому-нибудь из людей.

Мемуары королевы Франции и Наварры Маргариты Валуа (1553–1615) рисуют ребенка в совершенно ином контексте и демонстрируют совершенно иное восприятие первых лет жизни. Образ, созданный в них, – это прежде всего образ *puella politica*, девочки-политика. С самого раннего возраста Маргарита оказывается втянутой в придворные интриги: выбор фаворита, достижение особой близости с королевой-матерью, исполнение поручений брата, герцога Анжуйского, при дворе, и все это на фоне событий большой европейской политики – вот, собственно и все, что помнит (или хочет помнить) Маргарита о своем детстве. Этот период мало чем отличается для нее от этапа взрослости, наступившей очень рано. Хотя отличия, конечно, есть – детство излишне наполнено суетными малополезными делами. «Теперь, глядя в свое прошлое, с пренебрежением думала я о детских забавах, о танцах, охоте, о друзьях детства, презирая все это как глупость и суету» – так вспоминает она свое прощание с ним.

Воспоминания о своих юных годах купца и путешественника Джона Сандерсона (1560–ок. 1627) напоминают содержимое маленького сундучка коллекционера – любителя древностей. Здесь можно встретить все мало-мальски примечательное, что только ему «попадалось под руку» в ходе разбора завалов памяти. Тяжелые роды матери, крещение, беспокойное и болезненное младенчество, странные нарывы на теле и «белые плоские черви в животе», от которых он не мог избавиться до 24 лет, необычное лечение, вследствие которого кожа полностью сходила с его живота, трудности с учебой и суровые телесные наказания за нерадение, болезнь и смерть отца, начало самостоятельной жизни в 17 лет. Все это с трудом складывается в единый цельный образ детства.

Деловые записи Феликса Гутратера (1589–1648) по своей форме похожи на хозяйственные дневники и «домашние хроники» итальянских купцов и деловых людей. Это сухая регистрация всех фактов и событий, которые автор по тем или иным причинам считает важными, – как связанных с ним самим и его жизнью, так и с членами его семьи, и шире – его города. Названия главок, на которые разбито его сочинение, достаточно красноречиво говорят о том, какие именно

темы и сюжеты запечатлелись в памяти автора: «Родители», «Отчим», «Семилетний», «Опекуны», «Корь», «Немецкая школа», потом «Наводнение», «Мои детские занятия», «Несчастный случай», «Тесная дружба», «Путешествия» и т. п. Гутратер извлекает из хранилища своей памяти отдельные биографические фрагменты бессистемно, бездумно, «как придется», он не рисует живых сцен детских проказ, не раскрывает внутренний мир себя-ребенка – и все же его рассказ в известном смысле примечателен: детство присутствует в нем как отдельный период жизни и сведения о нем занимают вполне почетное и значимое место.

\* \* \*

Очевидно, что восприятие детства авторами XIV–XVII вв. в своей принципиальной основе и похоже, и одновременно не похоже на сегодняшнее. Причем несходства тут особенно выпукло видны и особенно интересны. В чем же именно, зададимся вопросом, они состоят? Прежде всего в том, что аксиоматичный для XX в. образ детства как уникального и неповторимого опыта индивида, во многом определяющего его дальнейшую судьбу, в наших сочинениях не так-то просто разглядеть. В лучшем случае в них содержится лишь намек на такое понимание. Именно поэтому ни ренессансный писатель XVI в., ни протестантский священник XVII в., рассказывая о себе, обычно не обходится без тех или иных биографических образцов. В понимании самого себя он еще остается традиционалистом, он еще слишком «авторитарен», хотя уже и не в средневековом смысле<sup>166</sup>. И в этой еще не преодоленной спаянности с идеальным миром авторитетов заключается, пожалуй, главная особенность, отличающая его самосознание в целом и видение собственного детства в частности.

Только со второй половины XVIII в. создатели автобиографий начинают более настойчиво заявлять о своей личности как о явлении единственном и неповторимом. Среди них особенно отчетливо выступает фигура Жан-Жака Руссо, вдруг необычайно остро ощутившего собственную исключительность и объявившего о ней в своей «Исповеди». «Я один, – не без упоения сделанным открытием заявляет он. —... Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною... я



*не похож ни на кого на свете»* (курсив мой. – Ю. З.)<sup>167</sup>. А вспоминая о своей детской дружбе с двоюродным братом Бернаром, Руссо не может удержаться от того, чтобы не подчеркнуть ее необыкновенность, которая, конечно, коренится в его неповторимой индивидуальности. Он говорит об этой дружбе как о примере «может быть, *единственном с тех пор, как существуют дети*»<sup>168</sup>.

Подобное самовосприятие, очевидно, было теснейшим образом связано с интимизацией внутреннего мира индивида, рождением представлений о существовании в нем некоего скрытого ядра, его подлинного «Я»<sup>169</sup>. Свое отличие от других, свою обособленность и свое одиночество человек Нового времени стал осознавать именно исходя из существования этого никому кроме него по-настоящему не известного единственного во всей Вселенной внутреннего «Я». И именно тогда и стало складываться представление о детстве как о важнейшем периоде, когда происходит «закладка фундамента» такого «Я». В XX в., в особенности после открытий Фрейда, это представление стало незыблемой истиной для психологов, педагогов, философов и просто заботливых родителей, стремящихся к тому, чтобы их ребенок вырос счастливым человеком.

*Юрий Зарецкий*

## Франческо Петрарка (1304–1374)

Один из величайших деятелей итальянского Возрождения, поэт и писатель, родоначальник ренессансного гуманизма. Родился в г. Ареццо в семье флорентийского изгнанника, изучал право в Монпелье и Болонье, в 22 года принял монашеский постриг и поселился в Авиньоне при папском дворе, долгие годы находился на службе у кардинала Джованни Колонна, занимал ряд почетных церковных должностей. В 1330-х годах он путешествовал с различными миссиями по Северной Франции, Фландрии, Южной Германии, Италии, совершил плавание в Испанию и Англию. Исполнение служебных обязанностей не было для Петрарки особенно обременительным и оставляло достаточно времени для литературных занятий. Тем не менее, свой идеал «ученого отшельничества» он захотел воплотить, купив в 1377 г., дом в Воклюзе недалеко от Авиньона. Вопреки этому желанию, разные обстоятельства заставляли Петрарку часто покидать уединенное место, и в 1353 г. ему пришлось его оставить навсегда. В последние годы жизни Петрарка много путешествовал, жил в Милане, Венеции и умер при дворе правителя Падуи Франческо да Каррара за день до своего 70-летия.

Большую часть его творческого наследия составляют разнообразные латинские произведения (трактаты, диалоги, письма, исторические сочинения, поэмы, речи). 8 апреля 1841 г., возрождая римскую традицию, он был увенчан на Капитолии лавровым венком поэта за латинскую поэму «Африка», которую считал своим лучшим творением. Среди сочинений Петрарки на итальянском языке сегодня наиболее известны итальянские сонеты, посвященные его возлюбленной Лауре, традиционно считающейся реальным историческим персонажем (Лаурой де Нов, 1308–1348).

Ниже публикуются отрывки из двух эпистолярных сочинений Петрарки, в которых он рассказывает о своем детстве. Первое – его краткая автобиография, известная под названием «Письмо к потомкам» (время создания точно не установлено); второе – письмо, адресованное его другу, архиепископу Генуи, датировано 1367 г. [170](#)

## Письмо к потомкам

Коли ты услышишь что-нибудь обо мне – хотя и сомнительно, чтобы мое ничтожное и темное имя проникло далеко сквозь пространство и время, – то тогда, быть может, ты возжелаешь узнать, что за человек я был и какова была судьба моих сочинений, особенно тех, о которых молва или хотя бы слабый слух дошел до тебя. Суждения обо мне людей будут многообразны, ибо почти каждый говорит так, как внушает ему не истина, а прихоть, и нет меры ни хвале, ни хуле. Был же я один из вашего стада, жалкий смертный человек, ни слишком высокого, ни низкого происхождения. Род мой (как сказал о себе кесарь Август) – древний<sup>171</sup>. И по природе моя душа не была лишена ни прямоты, ни скромности, разве что ее испортила заразительная привычка. Юность обманула меня, молодость увлекла, но старость меня исправила и опытом убедила в истинности того, что я читал уже задолго раньше, именно, что молодость и похоть – суета; вернее, этому научил меня Зиждитель всех возрастов и времен, который иногда допускает бедных смертных в их пустой гордыне сбиваться с пути, дабы, поняв, хотя бы поздно, свои грехи, они познали себя. Мое тело было в юности не очень сильно, но чрезвычайно ловко, наружность не выдавалась красотой, но могла нравиться в цветущие годы; цвет лица был свеж, между белым и смуглым, глаза живые и зрение в течение долгого времени необыкновенно острое, но после моего шестидесятого года оно, против ожидания, настолько ослабло, что я был вынужден, хотя и с отвращением, прибегнуть к помощи очков. Тело мое, во всю жизнь совершенно здоровое, осилила старость и осадила обычной ратью недугов.

Я всегда глубоко презирал богатство, не потому, чтобы не желал его, но из отвращения к трудам и заботам, его неразлучным спутникам. Не искал я богатством стяжать возможность роскошных трапез, но, питаясь скудной пищей и простыми яствами, жил веселее, чем все последователи Апиция с их изысканными обедами<sup>172</sup>. Так называемые пирушки (а в сущности, попойки, враждебные скромности и добрым нравам) всегда мне не нравились; тягостным и бесполезным казалось мне созывать для этой цели других, и не менее – самому принимать приглашения. Но вкушать трапезу вместе с друзьями было мне так приятно, что никакая вещь не могла доставить мне большего

удовольствия, нежели их нечаянный приезд, и никогда без сотрапезника я не вкушал пищи с охотою. Более всего мне была ненавистна пышность, не только потому, что она дурна и противна смирению, но и потому, что она стеснительна и враждебна покою. От всякого рода соблазнов я всегда держался вдалеке не только потому, что они вредны сами по себе и не согласны со скромностью, но и потому, что враждебны жизни размеренной и покойной.

В юности<sup>173</sup> страдал я жгучей, но единой и пристойной любовью и еще дольше страдал бы ею, если бы жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя<sup>174</sup>. Я хотел бы иметь право сказать, что был вполне чужд плотских страстей, но, сказав так, я солгал бы; однако скажу уверенно, что, хотя пыл молодости и темперамента увлекал меня к этой низости, в душе я всегда проклинал ее. Притом вскоре, приближаясь к сороковому году, когда еще было во мне и жара и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминания о нем, так, как если бы никогда не глядел на женщину; и считаю это едва ли не величайшим моим счастьем и благодарю Господа, который избавил меня, еще во цвете здоровья и сил, от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства<sup>175</sup>. Но перехожу к другим вещам. Я знал гордость только в других, но не в себе; как я ни был мал, ценил я себя всегда еще ниже. Мой гнев очень часто вредил мне самому, но никогда другим. Смело могу сказать – так как знаю, что говорю правду, – что, несмотря на крайнюю раздражительность моего нрава, я быстро забывал обиды и крепко помнил благодеяния. Я был в высшей степени жаден до благородной дружбы и лелеял ее с величайшей верностью. Но такова печальная участь стареющих, что им часто приходится оплакивать смерть своих друзей. Благоволением князей и королей и дружбою знатных я был почтен в такой мере, которая даже возбуждала зависть. Однако от многих из их числа, очень любимых мною, я удалился; столь сильная была мне врождена любовь к свободе, что я всеми силами избегал тех, чье даже одно имя казалось мне противным этой свободе. Величайшие венценосцы моего времени, соревнуясь друг с другом, любили и чтити меня, а почему – не знаю: сами не ведали; знаю только, что некоторые из них ценили мое внимание больше, чем я их, вследствие чего их высокое положение доставляло мне только многие удобства, но ни малейшей доуки. Я был одарен умом скорее

ровным, чем пронизательным, способным на усвоение всякого благого и спасительного знания, но преимущественно склонным к нравственной философии и поэзии. К последней я с течением времени охладел, увлеченный священной наукою, в которой почувствовал теперь тайную сладость, раньше пренебреженную мною, и поэзия осталась для меня только средством украшения<sup>176</sup>. С наибольшим рвением предавался я изучению древности, ибо время, в которое я жил, было мне всегда так не по душе, что, если бы не препятствовала тому моя привязанность к любимым мною, я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть этот, постоянно старался жить душою в иных веках. Поэтому я с увлечением читал историков, хотя их разногласия немало смущали меня; в сомнительных случаях я руководствовался либо вероятностью фактов, либо авторитетом повествователя. Моя речь была, как утверждали некоторые, ясна и сильна; как мне казалось – слаба и темна. Да и в обыденной беседе с друзьями и знакомыми я и не заботился никогда о красноречии, и потому я искренне дивлюсь, что кесарь Август усвоил себе эту заботу<sup>177</sup>. Но там, где, как мне казалось, самое дело, или место, или слушатель требовали иного, я делал некоторое усилие, чтобы преуспеть; пусть об этом судят те, пред кем я говорил. Важно хорошо прожить жизнь, а тому, как я говорил, я придавал мало значения; тщетна слава, приобретенная одним блеском слова.

Я родился от почтенных, небогатых, или, чтобы сказать правду, почти бедных родителей, флорентийцев родом, но изгнанных из отчизны, – в Ареццо, в изгнании, в год этой последней эры, начавшейся рождением Христа<sup>178</sup>, 1304-й, на рассвете в понедельник 20 июля.

Вот как частью судьба, частью моя воля распределили мою жизнь донине. Первый год жизни, и то не весь, я провел в Ареццо, где природа вывела меня на свет, шесть следующих – в Анцизе, в усадьбе отца, в четырнадцать тысячах шагов от Флоренции. По возвращении моей матери из изгнания восьмой год я провел в Пизе, девятый и дальнейшие – в заальпийской Галлии, на левом берегу Роны; Авиньон – имя этому городу, где римский первосвященник держит и долго держал в позорном изгнании церковь Христову<sup>179</sup>. Правда, немного лет назад Урбан V, казалось, вернул ее на ее законное место, но это дело, как известно, кончилось ничем, – и что мне особенно больно, –

еще при жизни он точно раскаялся в этом добром деле. Проживи он немного дольше, он, без сомнения, услышал бы мои попреки, ибо я уже держал перо в руке, когда он внезапно оставил славное свое намерение вместе с жизнью. Несчастный! Как счастливо мог бы он умереть пред алтарем Петра и в собственном доме! Ибо одно из двух: или его преемники остались бы в Риме, и тогда ему принадлежал бы почин благого дела, или они ушли бы отсюда – тогда его заслуга была бы тем виднее, чем разительнее была бы их вина. Но эта жалоба слишком пространна и не к месту здесь. Итак, здесь, на берегу обуреваемой ветрами реки, провел я детство под присмотром моих родителей и затем всю юность под властью моей суетности. Впрочем, не без долгих отлучек, ибо за это время я полных четыре года прожил в Карпантра, небольшом и ближайшем с востока к Авиньону городке, и в этих двух городах я усвоил начатки грамматики, диалектики и риторики, сколько позволял мой возраст или, вернее, сколько обычно преподают в школах, – что, как ты понимаешь, дорогой читатель, немного. Оттуда переехал я для изучения законов в Монпелье, где провел другое четырехлетие, потом в Болонью, где в продолжение трех лет прослушал весь курс гражданского права<sup>180</sup>. Многие думали, что, несмотря на свою молодость, я достиг бы в этом деле больших успехов, если бы продолжал начатое. Но я совершенно оставил эти занятия, лишь только освободился от опеки родителей, не потому, чтобы власть законов была мне не по душе – ибо их значение, несомненно, очень велико и они насыщены римской древностью, которой я восхищаюсь, – но потому, что их применение искажается бесчестностью людскою. Мне претило углубляться в изучение того, чем бесчестно пользоваться я не хотел, а честно не мог бы, да если бы и хотел, чистота моих намерений неизбежно была бы приписана незнанию.

Итак, двадцати двух лет я вернулся домой, то есть в авиньонское изгнание, где я жил с конца моего детства. Там я уже начал приобретать известность, и видные люди начали искать моего знакомства, – почему, я, признаюсь, теперь не знаю и дивлюсь тому, но тогда я не удивлялся этому, так как, по обычаю молодости, считал себя вполне достойным всякой почести. Особенно был я взыскан славным и знатнейшим семейством Колонна, которое тогда часто посещало, скажу лучше – украшало своим присутствием, Римскую курию; они

ласкали меня и оказывали мне честь, какой вряд ли и теперь, а тогда уж без сомнения, я не заслуживал. Знаменитый и несравненный Джакомо Колонна, в то время епископ Ломбезский, человек, равного которому я едва ли видел и едва ли увижу, увез меня в Гасконь, где у подошвы Пиренеев в очаровательном обществе хозяина и его приближенных я провел почти неземное лето, так что и доньне без вздоха не могу вспомнить о том времени. По возвращении оттуда я прожил многие годы у его брата, кардинала Джованни Колонна, не как у господина, а как у отца, даже более – как бы с нежно любимым братом, вернее, как бы с самим собою и в моем собственном доме. В это время обуяла меня юношеская страсть объехать Францию и Германию, и хотя я выставял другие причины, чтобы оправдать свой отъезд в глазах моих покровителей, но истинной причиной было страстное желание видеть многое. В это путешествие я впервые увидал Париж, и мне было забавно исследовать, что верно и что ложно в ходячих рассказах об этом городе. <...>

*Гвидо Сетте [181](#), архиепископу генуэзскому, о том, как  
меняются времена*

Уже предвижу, что мне напомнят слова Горация, когда, рассуждая о нравах стариков, говорит он, что и сварливы-то они, и нудны, и лишь те времена склонны восхвалять, когда сами были еще юны<sup>182</sup>. Все оно так, не скрою, и, хоть кое к чему из написанного мной можно отнести это суждение, в сем письме не стану я утверждать обратного. Но пусть окажусь я брюзгой и певцом прошлого, все же не тщетными будут и жалобы мои на нынешние времена, и хвалы прежним. Нередко устами, привычными ко лжи, глаголет истина и, не давай ей веры говорящий, сама заставит перед собою склониться. Итак, не устаю твердить я, в надежде, что и ты ко мне присоединишься – твердить, скорбеть и рыдать, ежели приличествует сие мужу: отчего старость свою влачим мы в года более мрачные, нежели те, что провели детьми? Или, быть может, век людской подобен веку древесному – как дерево, постарев, выстоит любую непогоду, так человек, окрепнув, выдерживает такие мирские и житейские бури, коих в нежном возрасте никогда бы не вынес? Нас это может утешить, других же нет. Ведь великое множество людей, покуда старимся мы, переживает свою юность; и случается так, что одним выпадает безмятежная старость, иным же – бурная юность. Но, оставив других, возвращаюсь я к нам с тобою. Несомненно, что, с одной стороны, года закаляют нас, а с другой – делают чувствительнее, да к тому же – нетерпимее. Нет ничего нетерпимее старости: и хоть умеет она смирять свои порывы, но, усталая и пресытившаяся жизнью, глубже чувствует, нежели любой иной возраст. К этому мнению не книги меня привели, не чужие слова, но собственный опыт, хотя, право, не знаю, согласишься ли ты со мной. Впрочем, с тем, о чем разговор я повел, сиречь о всеобщем пути ко злу и праху, истина, что солнца яснее, заставит тебя согласиться.

Не без приятности, я полагаю, было бы и не без пользы припомнить кое-что из минувшего, так давай обратим наши взоры вспять, сколь возможно далее. Первый отрезок жизни провел ты в родном доме, я – в изгнании<sup>183</sup>; но не следует большого смысла искать там, где едва теплится светоч разума и духа. На рубеже младенчества и детства



переехали мы, волею судьбы почти одновременно, в Галлию заальпийскую, ту, что ныне зовется Провансом, недавно же именовалась провинцией Арелатенсе. И вскорости вступили на единую жизненную стезю, такую связанные дружбой, какую возраст наш тогдашний допускал и коя до самой смерти будет длиться. Здесь умолчу о твоей Генуе, что миновали мы в начале пути; сын ее, являешься ты ныне ее пастырем. <... > Целью детского нашего путешествия был город, что древние называли Авенио, а современники зовут Авиньоном<sup>184</sup>. Но затем, потому как незадолго до того перенесен был туда папский престол, чтоб лишь через шестьдесят лет в прежнюю обитель возвратиться, и оказался Авиньон тесен, скуден домами и переполнен жителями, порешили старики наши женщин с детьми отправить в близлежащее место. И мы, мальцами, были посланы туда же, но с иною целью: учиться. Карпантра называется сие место, городок маленький, однако столица небольшой провинции. Запечатлелись ли в памяти твоей те четыре года? Что за безмятежность, что за очарование, дома покой, на людях свобода, мир и тишина в полях! Уверен, что и ты так считаешь. И поныне за те и за прочие дни мои возношу благодарность Создателю, даровавшему мне столь безмятежную пору, когда вдали от житейских бурь впивал я сладкое молоко отроческого учения, возрастая на нем для пищи более серьезной. Но ведь мы изменились, заметит кто-нибудь, вот и кажется оттого, что все кругом изменилось. Так у больного и глаза по-другому видят, и язык ощущает иначе, нежели у здорового. Да, изменились мы, не отрицаю: да и кто же, не то что из плоти, но из железа или камня, за срок столь долгий не изменился бы? Статуи из мрамора и бронзы рушатся от времени, и города, возведенные людьми, и крепости, венчающие холмы и даже скалы, что всего тверже, обрушиваются с гор, так чего же от человека ожидать – существа смертного, с хрупкими членами и нежною кожей?

Но так ли велики перемены, что и сознание и рассудок отнимают у человека, тогда как душа еще его не отлетела? Допускаю, что коли вернулось бы вспять тогдашнее время, то в чем-то оно показалось бы иным, нежели казалось тогда. Не скажу, что ничего не изменилось в нас с годами; ясно, что прошлое предстало бы нам другим, но разве не было оно все же много лучше и покойнее, чем настоящее? Или, быть может, если не различают глаза спиц в колесах тончайшего творения

Мирмецида – колеснице, кою накрыть, говорят, могла крылышками муха, и если всю остроту зрения человеческого напрягши, невозможно пересчитать ножки и другие части Калликратова муравья, если не в состоянии глаза с легкостью читать знаменитую «Илиаду», написанную столь мелко, что, по словам Цицерона, заключалась она в скорлупе ореха, так до того, значит, слабы они, что ни городов, ни сел, ни нравов, ни обычаев, ни жилищ, ни храмов не видят? И ум человеческий столь ничтожен, что не может понять, как все и хиреет и изменяется? Какой безумец не заметит, как все к худшему клонится? Не доводилось ли нам позднее видеть этот город, до того с собою несхожим, что лишь человек, вовсе лишенный рассудка, может столь глубоких перемен не заметить. Ведь через несколько лет после того, как покинули мы его, превратился город сей в столицу королевства тяжб, а лучше сказать – в обиталище демонов, коим отнюдь не был прежде. Покинул его покой, покинули беспечность и тишина, наполнили споры и крики судейских. Что же нам предстоит, ведь и с переменою мест, и с течением времени должны были мы тоже измениться и, вне сомнения, изменились? Жители едва узнают теперь свою родину, о чем многократные жалобы знакомцев наших свидетельствуют. Но все перемены эти – могут мне сказать – во имя правосудия свершились, а ведь оно без шума редко может обойтись. Но я сейчас не о причинах, а только лишь о самых переменах речь веду. И то, что город и весь край, прежде безопасным казавшийся, оружию недоступным и неподвластным Марсу, ибо велико было почтение к папскому престолу, под чьей защитой он находился, ныне войском разбойников опустошен и разграблен – все это тоже во имя правосудия? Ежели бы в детстве нашем предсказал кто-нибудь подобное будущее, разве не сочли бы безумным сего ненавистного пророка? Но все, однако, по порядку. Хоть мог бы я повести речь о старине, все же охотнее о том с тобою побеседую, что сами мы видали, дабы на помощь рассуждениям моим пришла твоя память.

Уже на пороге зрелости и опять вместе (и для чего провели мы порознь большую часть жизни?) отправились мы из Авиньона изучать право в Монпелье, город в ту пору процветавший, и прожили там еще четыре года. Был он тогда во власти короля Майорки, и лишь малая часть его принадлежала королю французскому, вскорости – сильный сосед всегда опасен – его целиком захватившему. А тогда какой был

там мир да покой, сколько купцов, какие толпы школяров и какое множество учителей! Как мало там всего этого теперь! Как переменялась и жизнь общественная, и жизнь частная – о том ведомо и нам и горожанам, прежние и нынешние времена знававшим. Из Монпелье перебрались мы в Болонью, коей привольнее и милее, думаю я, на свете не сыщешь. Хорошо ли ты помнишь сборища студентов, усердие наше и величавость наставников: казалось, то воскресли древние законоведы! Ныне почти никого уж нет в живых, и на смену этим великим умам пришло весь город наводнившее невежество. Так пусть уж врагом будет оно, а не гостем, а уж коли гостем, так хоть не гражданином или, того хуже, владыкой: а ведь сдается мне, что все поспешили сложить оружие к его ногам. И так этот край был плодороден и изобилен, что по всему свету не иначе слыл, как «тучной Болоньей». Не скрою, вновь начала она оживать и тучнеть по мудрости и благочестию нынешнего папы, но еще недавно, кабы ты заглянул в самую сердцевину – ты бы ужаснулся ее худосочию.

Когда года три тому назад ездил я повидать назначенного управлять сей епархией кардинала де ла Роша, мужа отменнейшего, что и в бедах обык шутить, и после радостных и для гостя столь жалкого чрезмерно почетных объятий принялись мы беседовать, на мой вопрос о делах города вскричал он: «Дружище, прежде была Болонья, ныне же она – Мачерата!» – так шутя присвоил он ей название нищенского городка в Пичено.

Думаю, ты почувствовал уже, с какой сладостной горечью перебираю я в несчастье счастливые воспоминания. Ясный и неизгладимый след оставило в моей памяти, полагаю, впрочем, и твоей, время, что школяром провел я в Болонье. Между тем наступал возраст более пылкий, и на пороге юности отваживался я переступить границы дозволенного и привычного. Частенько разгуливал я вместе со сверстниками, и в иные праздничные дни случалось нам бродить так долго, что сумерки застигали нас среди полей и лишь глубокою ночью возвращались мы домой. <... >

## Димитрий Кидонис (ок. 1324 – ок. 1398)

Греческий политический деятель и ученый. Родился в Фессалониках в семье дипломата. Оставшись без отца в 17 лет, был вынужден взять на себя заботы о матери, брате и трех сестрах. К 17 годам он уже был достаточно хорошо образован. Много позднее он вспоминал: «Я был еще совсем ребенком, когда меня отдали учителю красноречия. Едва начав разбираться в вещах, я благодарил смелость, с которой родители оценили мои способности, и со всем рвением старался учиться так, что не сменил бы это на все блага мира, полагая, что это самое лучшее для свободного человека; я жил бы всегда затворником, посвятив себя занятиям, если бы обстоятельства не обратились против меня»<sup>185</sup>.

Политические распри вынуждают Димитрия бежать из Фессалоник. Общаясь с просвещенным политиком Иоанном II Кантакузином, Кидонис не раз подчеркивал значимость ума, образованности, мудрости в решении всех важных жизненных проблем. В конце концов он примкнул к свите Иоанна VI Кантакузина, который стал в 1347 г. соимператором византийского повелителя Иоанна V Палеолога. Димитрия в его 23 года назначили первым министром. Все контакты с императором проходили через него. Кидонис пытался воплотить идеал просвещенной власти. Уйдя вместе с Кантакузином с политической арены в 1354 г., через 2 года Димитрий вновь призван ко двору. Впоследствии он стал учителем наследника престола, проявлявшего с малых лет склонность к занятиям науками. Для улучшения дипломатических контактов с Западом Димитрий перешел в 1365 г. в католичество. Однако договориться с папской курией о помощи против теснящих Византию турок не удалось, хотя в 1369 г. император Иоанн V Палеолог принял католичество. Кидонис занимал при дворе последовательно прозападную политику латинофила. К середине 1380-х годов Димитрий Кидонис отошел от дел.

На протяжении всей жизни Димитрий не оставлял ученых занятий. Из произведений Кидониса выделяются прежде всего богословско-философские трактаты, переводы латинских авторов, этические сочинения, речи, письма, риторические вступления к императорским

документам, сочинения по математике и сборник сентенций. «Апология I», из которой мы приводим отрывок в данной книге, написана в 1363 г.<sup>186</sup>.

## Апология I

Я родился от добрых христиан, устроивших свою жизнь согласно вере. Они не позволили мне выучиться какой-нибудь из маленьких ремесленных специальностей, чтобы обеспечить мне необходимое в жизни, но доверили меня мужам ученым и мудрым, считая, очевидно, что от этого и моему разуму, и моему духу прибудет во имя моего будущего благополучия. У моих родителей были средства не только для детей и для друзей, но и для всех потребностей. Они надеялись, что, получив образование, я хорошо их [средства] использую. Закончив начальное обучение, я обратился к более совершенным наукам, к тому, в чем нуждаются и ум, и душа, поглощая более серьезные знания; и когда начинали перечислять сверстников, преуспевающих в науках, мое имя первым среди других приходило всем в голову. Но пока я, словно побег, благополучно набирая высоту, немного спустя обещал созреть прекрасным плодом мудрости, смерть моего отца остановила меня, и мысль моя о науках сменилась заботой о близких, ибо я имел возраст, достаточный для выполнения этих обязанностей. И я был вынужден заменить матери и младшим братьям и сестрам отца. Это прервало мою научную стезю, хотя все предсказывали мне блестящий успех.

## Джованни Конверсини да Равенна (1343–1408)

Один из первых гуманистических педагогов. Родился в Будапеште, где его отец был медиком при дворе венгерского короля Людовика Анжуйского. Еще ребенком посланный отцом для получения образования в Италию, он находился там на попечении дяди Томмазо, монаха-францисканца, ставшего позже патриархом Градо и кардиналом. Конверсини учился сначала в школах Равенны и Болоньи, затем изучал право в Болонском университете и гуманистические науки в Падуе. Рано начал преподавать, был учителем в ряде городов Северо-Восточной Италии (в Тревизо, Конельяно, Беллуно, Удине, Венеции и др.), читал лекции во Флорентийском (1368–1369) и Болонском (1392) университетах. Был канцлером Рагузы (Дубровника, 1384–1387) и канцлером у падуанских правителей Каррара (1393–1404).

Среди сочинений Конверсини работы на морально-этические темы («О судьбе», «О тщете человеческой жизни»); вопросы индивидуальной морали обсуждаются в полубеллетристических диалогах «История Элизии», «Договор между подагрой и пауком». Ему принадлежат также исторические сочинения «Происхождение семьи Каррара» и «История Рагузы». Его работа «Драгматология о предпочтительном образе жизни» посвящена обсуждению преимуществ монархической или республиканской форм правления. «Счет жизни» (1400) является своеобразной автобиографией и как редкий для раннего гуманизма жанр представляет исключительный интерес.

Особых сочинений на темы воспитания и образования гуманист не оставил, но интересный материал на эту тему содержат помимо «Счета жизни» и «Драгматологии» также письма. Поскольку Конверсини сам преподавал и знал современную ему школу, его взгляды на методы обучения, понимание процесса обучения, взаимоотношений ученика и учителя представляют особую ценность. Конверсини оставил воспоминания о своем обучении в средневековой школе, что также интересно. Наконец, будучи в Падуе, он оказал влияние на учившихся

там будущих гуманистов, которые в дальнейшем либо сами писали на темы образования (Верджерио), либо стали гуманистическими педагогами (Витторино да Фельтре, Гуарино да Верона).

Ниже публикуется фрагмент из «Счета жизни», где описывается обучение Конверсини в средневековой школе и где высказаны некоторые его мысли по поводу методов обучения. Сочинение, подробно описывающее главные события жизни автора, составлено в 1399–1400 гг. Оно разделено на 73 небольшие главы с относительно самостоятельными сюжетами, группирующимися вокруг нескольких тем: происхождение, годы детства (гл. IV–IX), первая женитьба, университет, работа учителем и нотариусом. Идея рассказа о себе навеяна Августином и Петраркой, но само произведение весьма своеобразно. Это исповедальный рассказ о прожитых годах, насыщенный морализаторскими рассуждениями, примерами из Библии и античных авторов, воззваниями к Богу. Повествование автора обращено к самому себе (размышления о собственной жизни способствуют самоочищению), небу (покаяние пред Богом дает надежду на отпущение грехов), миру (свою жизнь Конверсини стремится превратить в назидательный пример для всех грешников и праведников)<sup>187</sup>.

## Счет жизни

IV. Итак, мой отец, чтобы я не воспитывался с варварами (а мать моя умерла, когда я был ребенком), посылает меня из Венгрии от гуннов ребенком на воспитание в Италию к педагогу Михаилу Загабрия. Принимает [меня] муж весьма благочестивый и почитаемый всеми за нравы брат [отца] Томмазо (тогда провинциальный министр Болоньи ордена блаженного Франциска, затем кардинал) и отдает под покровительство и на воспитание Джакомо де Канали, богатейшему гражданину Феррары. Сначала мое местопребывание было там, потом он [Томмазо], заботясь [и в дальнейшем] о моем детстве, перемещает меня в Равенну к монахиням св. Павла<sup>188</sup>. Там я, словно вышедший из лона их всех, воспитывался в огромной любви с превосходнейшим усердием. Поэтому никому не должно казаться удивительным, если я среди стольких святых дев стал мальчиком кротким и мягким, и таким, который не только не мог делать ничего свирепого, кровожадного, жестокого, но даже ожидать (воспитание формирует природу: если оно правильное – направляет, если дурное, то того, кого воспитывают, сбивает с пути). Итак, воспитанный их старанием, более чем материнским, я начал в Равенне учиться у Донато дель Казентино<sup>189</sup>.

V. Затем ребенком я был отправлен в Болонью, где благородная вдова Джакома де Тавернула, воспитывавшая меня вместе со своими детьми, при содействии своего брата Грациано, отдала меня учиться. И я – что стало предзнаменованием моей последующей судьбы – стал воспитанником школы Филиппино да Луго [от lugo – оплакивать, скорбеть], школы жестокой и, я бы сказал, железной, ему затем сняли комнату у главного учителя грамматики Алессандро дель Казентино<sup>190</sup>. О его расходах, а также брата и моих заботился Томмазо, поскольку мой отец поставлял ему из Венгрии всего вдоволь. Немного спустя отец умер, и я, бедненький, жил под покровительством и опекой Томмазо и не знал с тех пор другого отца.

Итак, терпя безумную жестокость Филиппино, я упрямой душой возненавидел ученье и всех учителей. «Драчливого Орбилия» упоминает Флакк<sup>191</sup>. Этот же был не просто драчливым, а палачом учеников. Нас у него было четверо; племянника Грациано он однажды так жестоко избил, что, испугавшись, что тот умрет, ушел из города.



Хотя мы любили товарища по школе, тем не менее желали его смерти, чтобы Филиппино либо понес наказание, либо был вынужден навеки удалиться в изгнание. Но мы прогневили богов, ученик поправился и был определен, более счастливый [чем мы], благодаря заботам своих родственников, к кроткому наставнику; наш тиран возвращается к нам.

С содроганием вспоминает душа жестокие и подлые злодеяния, которые совершал надо мной и братом этот кровожадный. Для читателей достаточно будет описать одно как неизменный признак его свирепости. Мой крестьянин<sup>192</sup> отдал Филиппино, для того чтобы учился вместе с нами, восьмилетнего мальчика, не знаю, какой Тезифоний<sup>193</sup> перенесенного к наукам от пашни. Молчу о том, как учитель бил и пинал малыша. Когда однажды тот не сумел рассказать стих псалма<sup>194</sup>, Филиппино высек его так, что потекла кровь, и между тем как мальчик отчаянно вопил, он его со связанными ногами, голого (так было всегда, ибо за любой ничтожный проступок он истязал нас розгой голыми, чтобы мы со всех сторон были открыты его ударам), подвесил до уровня воды в колодце, который находился и, думаю, еще находится, в школьном доме Порте Нове, когда войдешь во двор, немного подалее от входа. Хотя приближался праздник блаженного Мартина, он [Филиппино] упорно не желал отменить наказание вплоть до окончания завтрака; наконец, после того как мальчик был извлечен [из колодца], словно из преисподней, полуживой от ран и холода, бледный перед лицом близкой смерти, он уложил его в постель; с помощью сильно нагретых одежд, многократно меняя их, мы с трудом вернули его к жизни. Подумай, читатель, какое наказание мог применить к старшим тот, кто так свирепствовал против малыша!

VI. Заблуждаются те, кто считает, что при обучении детей грамоте желательно прибегать к жестокости. Педагоги добиваются большего умеренностью и милосердием, ибо от мягкого обращения и любой похвалы воспламеняется благородная душа и становится расположенной следовать туда, куда зовет рука ваятеля; действительно, как любовь больного к врачу очень способствует исцелению, так любимого учителя слушают с большим удовольствием, верят ему легче, и то, что он описывает, крепче запоминается. И напротив, как свидетельствует Квинтилиан<sup>195</sup>, дети от излишне жестокого способа исправления угасают; когда учитель свирепствует, с трудом запоминается то, что он говорит. То, что вкуснее, лучше питает,

по мнению Авиценны, так, клянусь, и то, что воспринимается памятью с радостью, сохраняется надежнее; и потому удерживается памятью крепче все, что вызывает удивление, а также то, что доставляет удовольствие, то, что любимо, приятно, либо, напротив, все, что связано с тяжким позором или чудовищным злодейством, поскольку и вещи этого рода на душу влияют сильнее.

Итак, пусть будет в учителе кротость и мягкость, пусть он [скорее] побуждает детей идти в школу, чем понуждает, и, подобно тому как правители городов, напрягая все свои силы, стремятся к тому, чтобы их любили, нежели чтобы боялись, не иначе и в школьном государстве пусть преподаватель заботится о любви учеников, а не об их страхе перед ним. Пусть подражают людям, укрощающим лошадей, которые сперва обращаются с жеребьями с помощью свиста, крика и ласки, воздерживаются от применения шпор, скорее надевают недоуздок, чем настоящую узду, побуждают в путь и учат выдерживать на себе вес человека больше хлопаньем кнута, чем ударами. И не без основания древние, как считается, представляли муз девами, но по той причине, что тому, кто учит, подобает соблюдать и чистоту нравов, и во всей жизни девственную мягкость, а также кротость, [соединенную] с неким чувством чести, ибо многознание без света нравственности предстанет как грубое и особенно достойное презрения. В самом деле, как тот, кто учится рисовать, делает набросок с модели, так мальчик формирует свою душу, подражая жизни учителя; поэтому стоит посмотреть на жизненное поведение и ученость наставника, из которых одно формирует нравы того, кто пришел получить образование, другое – ум, первое оставляет после себя добродетельного, второе – ученого. Совсем юным полезнее жизнь [учителя как образец], а уже крепким [сформировавшимся] людям в учителе требуется образованность. Ибо тот, кто лишен мягкости, рассудительности и, так сказать, некоторой «евтрапелии» жизни, что мы можем по праву объяснить как способность быть приятным в общении, не может наставлять слушателей только словами или, что более всего помогает, примером.

Кроме того, надо тщательно рассмотреть разнообразие характеров; действительно, одних учеников мы лучше взбадриваем соревнованием с товарищем, воодушевляем похвалами (словно лошадей звуком трубы); на других следует воздействовать лаской, на третьих –

строгостью (но при этом умеренной), на некоторых отеческим порицанием. Ведь чем благороднее дух [человека], тем безутешнее он страдает от обиды. В большинстве случаев следует подражать мудрости медиков, которые, если недуги не повинуются целительным средствам, прекращают лечение, а не теряют труд [без пользы].

Следует, кроме того, немало поразмыслив, установить меру в распределении изучаемого материала. Учащимся надо всегда давать [знания] на уровне [их] способности понимания. Как пища должна наполнять желудок до уровня сытости, чтобы началось пищеварение, так материалы для чтения надо распределять в границах умственных способностей учеников. Ясное и совсем не обременительное чтение легко усваивается, сложное и трудное насыщает, но не питает. Разум ведь легко воспринимает, с удовольствием исследует [полученные знания] и пока не теряет надежды сохранить узнанное, благодаря самой уверенности то, что услышано, укореняется сильнее.

Но тот мучитель, с одной стороны, омрачал [жизнь] страдальцев тяжким бременем ученья и, с другой стороны, делал их самим своим присутствием полумертвыми от страха. Поскольку я был на второй ступени обучения, он принуждал запоминать и рассказывать наизусть наиболее известные латинские стихи всех авторов, изучаемых ранее: Катона<sup>196</sup>, кроме того, все, что читали из Проспера<sup>197</sup>, Боэция<sup>198</sup>, вследствие чего из-за тяжести занятий и в ожидании наказаний я, живя, умирал или жил, умирая.

VII. Итак, предпочитая все что угодно настоящей своей участи, я, отчаявшись душой, решил бежать. Но мешало присутствие стража (он ведь знал, что его страстно ненавидели, и по заслугам, и что у всех было страстное желание убежать). Я находился в школьной комнате, словно в ужасной тюрьме, в постоянном рабстве, под непрерывным наблюдением Аргуса<sup>199</sup> (за исключением лишь того времени, когда требовалось собраться всем, чтобы идти слушать Алессандро, общего учителя), ибо страх огромных мучений запрещал переступать порог [комнаты]. Что в конце концов [случилось]? В праздник блаженного Мартина, по причине торжеств которого, поистине вакханалий, было выпито вина больше обычного, он отпустил меня (что едва ли случалось в иное время) пойти поиграть в школы, где другие веселились. Я тотчас же, словно птица, вырвавшаяся из клетки, вылетаю и бегом к воротам, которые открывают дорогу на Флоренцию,

выбегаю и не прерываю бега, пока не достигаю через три мили села св. Руфилла. Там меня вынудила остаться наступающая ночь. Так стал я «превосходным» путешественником: без надежды, без помощи, без путника, без знания мест и людей, без денег на дорогу. У меня была только одна монета [anconitanum], неизвестно как попавшая в ширинку [штанов]. Она стала платой за ужин и жилье.

В село прибыли торговцы из Тосканы; увидев, что я мальчик, и посчитав, что беглец из школы, что так и было в действительности, спрашивают, не хотел бы я отправиться с ними слугой. Я охотно соглашаюсь: от чего бы я отказался, лишь бы не быть у мучителя Филиппино? Итак, утром я отправляюсь с ними. Когда достигли Пьяноро, они, устроившись обедать, зовут и меня принять участие. Затем уходим, они верхом, я пешком, и я следую за ними через каменистую местность, холмы, в снег и дождь, тяжело дыша и скользя. Но так важно было уйти от взора свирепого наставника. Наконец, с приближением ночи мы нашли приют в Лояно, где я стараюсь торговцам услужить всеми способами. Они обращались со мной довольно мягко, то ли из жалости [ко мне] из-за моего возраста, то ли потому, что, заметив по некоторым признакам мой недеревенский нрав, считали, что я из знатного дома.

VIII. Между тем Филиппино сокрушается об ускользнувшей добыче, неистовствует, выжидает. Все напрасно. Наконец, он сообщает о происшедшем Томмазо, который сразу же велит моему дяде, хирургу Бонато, вместе со своим слугой Джакомо, дав им лошадей, преследовать беглеца. Когда они все разузнавали, стражи ворот св. Стефана сообщили, что накануне вечером вышел мальчик, и они, предположив, с учетом обстоятельств, что это я, продолжают преследование большими переходами [проезжая большие расстояния] и на рассвете прибывают в Лояно. Усевшись перед гостиницей у костра стражника, они громко спрашивают у хозяина [гостиницы], не прибыл ли сюда какой-нибудь мальчик. Я с дрожащим сердцем, догадываясь, что спрашивают обо мне, что и было на самом деле, потихоньку устремляюсь прочь, [оставив] постель и гостиницу, и, будучи невидим сам, [вижу и] узнаю в разговаривающих у костра о беглеце своих и, дрожа, убегаю оттуда как можно быстрее и прячусь в куче дров, [расположенной] между гостиницей и пещерой в скале. С рассветом все поднимаются, усердно разыскивают отсутствующего и

удивляются, куда же я мог исчезнуть в столь глухих местах, особенно в темноте. Потом я едва слышу отдельные далекие крики; [слышу, что] преследование продолжают с помощью нескольких взятых собак. Все напрасно.

Однако то место, [где я был], расположено так, что с одной стороны находится низина долины, с другой стороны мешают [идти] высокие горы; надо идти тропинкой посередине, там страж, приставленный открывать закрытый проход, требует от проходящих дорожную пошлину. Почувствовав, что волнение [в груди] улеглось, возвращаюсь на дорогу и спешу [к ограде]. Страж изгороди: «Куда это ты? Ну, давай плати сбор!» Но, видимо, убежденный данными [ему] приметам, он хватает меня, в то время как я готов ему заплатить, поскольку [у меня] сохранилось что-то от тех денег, которыми я расплачивался с лавочником Пьяноро, после того как получил их от торговцев. «Как бы не так, беглец, – говорит он, – ускользнуть отсюда решительно не позволю». Он удерживает меня, кричащего и упирающегося, и дает звуком рога условленный сигнал. Сразу же приезжают дядя и слуга Томмазо, я плачу, отказываюсь возвращаться и вообще сопротивляюсь, они меня унимают и успокаивают как ласками, так и обещаниями забрать у Филиппино и, наконец, посадив на лошадь, везут обратно.

IX. И вот я снова возвращаюсь к палачу, но участь моя изменилась: мы, ранее жившие и питавшиеся в школе, оставались теперь в доме дяди. Но всю свирепость, умеряемую присутствием домашних, на виду которых я вел себя немного смелее, он [Филиппино] проявлял в школе, где, словно приходя в свое царство, вознаграждал [себя за умеренность] еще большей яростью. Признаюсь, раз или два я намеревался отравить его ядом; если бы не старание домашних, которые, заметив это, приняли меры предосторожности, я бы отправил Орку<sup>200</sup> достойную голову.

Кто мог бы объяснить, святой мой Боже, сколь переменчив, сколь тщетен, сколь опасен, сколь слеп и сколь из-за этого несчастен путь юности, чрезвычайно трудный для самопознания, по свидетельству Соломона<sup>201</sup>. Ты знаешь, Господи, сердце мое и совесть мою, которую только ты очищаешь и даруешь ей размышление над собой, исправление и направление [на правый путь]. Ты знаешь, сколь стыдно [мне] за прошлое, сколь берет раскаяние, как [я] страдаю и плачу, что оскорбил Тебя, [как] недоволен самим собой, потому что Ты был мной

не доволен. Сколь часто с пророком Твоим я восклицал с глубочайшим вздохом: «Грехов юности моей и неведения моего не вспоминай»<sup>202</sup>. Был я мальчиком уже столь дурным, что мог до смерти возненавидеть человека и дерзал помышлять о том, что выходило за пределы ненависти.

Однако, поскольку извращенное мое намерение не осуществилось и поскольку я не в силах был выносить жестокости тирана, я снова убегаю в город Сан Джованни. Там поступаю на службу к торговцу благовониями. Но поскольку мои меня повсюду разыскивают, братья минориты<sup>203</sup>, которым Томмазо тоже поручил розыск – а был я им всем близко знаком, – узнают, что я продаю специи у торговца, и после многих порицаний и многих уговоров они увлекают меня в монастырь. У них меня баловали, пока не возвратился посланец из Болоньи. Поскольку тому же Джакомо было велено меня забрать, я соглашаюсь уехать, только получив обещание, что ни при каких условиях не возвращусь к Филиппино.

Итак, при возвращении меня переводят от Филиппино к Бартоломео Теутонико. Он жил при банях в конце квартала Нозаделле у госпиталя, одновременно преподавал в школе; он не был столь жестоким, как Филиппино, но был равен ему в бесстыдстве и глупости. В самом деле, в окне комнаты, в которой он преподавал, выходявшем в портик, очень большом и с железной решеткой, он заключал, как в carcere, забывчивых и виновных в других проступках учеников; здесь на виду у всех он держал их всю долгую зимнюю ночь и часто также на жарком летнем солнце, и им предстояло терпеть насмешки прохожих; кроме того, собирая учеников обнаженными в группы по пять, иногда шесть человек, он, как бы играя [с нами], будучи и сам обнаженный, бил [нас] до изнеможения.

Так у двух кровожадных и безрассудных педагогов я, не скажу, что жил, но пребывал в жалком и бедственном положении, почти подобный мертвому, пока из-за нависшей над Болоньей войны с Миланом я не возвратился в Равенну, чтобы жить в удовольствии у монахинь<sup>204</sup>.

## Иоганн Бутцбах (1477–1516 или 1526)

«Одепорикон» («Hodoerogicon» – «Путевые заметки» в переводе с несколько латинизированного греческого языка) является одним из наиболее интересных произведений Иоганна фон Бутцбаха – малоизвестной, но колоритной фигуры времен зарождения немецкого гуманизма, автора первой книги «О знаменитых художниках Германии». В жанровом отношении «Одепорикон» является утешительным письмом (Trostbrief), которое автор адресовал своему сводному брату Филиппу, желая уберечь последнего от ошибок молодости и преподать образец надлежащего отношения к жизни. Форма письма выдержана очень точно: прямая речь, личные обращения к адресату, цитирование других своих произведений в третьем лице. В то же время по многим риторическим характеристикам «Одепорикон» является произведением литературы не столько «утешительной», то есть приводящей определенные аргументы, сколько «развлекательной»: письмо просто повествует о каких-то жизненных событиях, желая не убедить читателя в чем-либо, но лишь разбудить его интерес и сочувствие. При этом по многим литературным параметрам «Одепорикон» является просто сказкой: это история маленького ребенка, которого родители сперва вверяют бездетной тетке, а потом и вовсе посылают учиться на чужбину. Сын соседей, школяр, которому доверили 11-летнего Бутцбаха, оказывается шалопаем и истязателем: герой повествования принуждается попрошайничать и воровать, в 12 лет подрабатывает домашним учителем, а в 13 уже оказывается в чужой стране – в Богемии. После долгих странствий повзрослевший Бутцбах вознаграждается за все тяготы и находит свою истинную родину – монастырь в Лаабахе, откуда и пишет письмо своему сводному брату. Ниже приводятся отрывки из самого раннего периода жизни Бутцбаха, относящегося еще ко времени, когда он жил дома, в Мильтенберге (под Майнцем) или у тетки<sup>205</sup>.

### Одепорикон

## Глава третья

После смерти моей блаженной памяти кормилицы меня снова отправили в дом моих родителей. Но они тоже заставили меня опять ходить в школу. Потому что я должен признать: по своей детской глупости после смерти тетки я немало утешался тем, что думал, будто бы теперь я свободен от посещения школы.

Но когда меня сразу же, как и раньше, против моей воли, заставили продолжать начатую учебу, я стал нередко прогуливать, прячась в лодке на берегу реки Майна; там, в укрытии, я ждал, когда ученики приходили из школы; тогда осторожно и с опаской я пробирался домой. А когда учитель, которого я боялся больше всего, спросил о причинах моего отсутствия, я был вынужден сказать, что остался дома по воле родителей и делал якобы то или другое. Но когда однажды в пятницу – мы называли ее *sexta feria*, то есть «шестой день недели» – меня снова спросили о причинах моего отсутствия, то из-за огромного страха перед наказанием я, не подумав, ответил, что переворачивал жаркое на очаге<sup>206</sup>; а когда я, чтобы оправдаться, добавил, наверное, еще какую-то необычную работу для этого дня, то должен был, наконец, принять наказание, которое заслужил уже давно. Потому что по неосторожности я не подумал о том, какой это был тогда день. Меня уличили во лжи; о том, какое наказание я за это получил, еще долго напоминали рубцы.

Тогда я стал немного умнее; я научился больше не прогуливать, по крайней мере пока чувствовал боль от наказания – раны на своих ягодицах. Но скоро я уже забыл прошлое наказание – когда однажды вечером снова пришел домой не из школы, а, как обычно, из лодки и не смог назвать родителям латинские слова, выученные в этот самый день. Они начали упрекать меня за прогулы и обвинять во лжи, потому что уличили меня в том, что несколько дней назад я перечислял те же самые слова. Так из-за сходства латинских слов и благодаря обвинению соучеников, которых они спрашивали, сомневаясь в ситуации, меня опровергли.

На следующее утро мать потащила меня в школу. Когда мы пришли туда, мать сказала помощнику учителя (потому что старшего учителя, которого считали более понятливым, тогда не было на месте): «Вот



наш плохо воспитанный сынок, который так не любит ходить в школу. Вы должны примерно наказать его за прогулы».

Мне кажется, она сказала это, конечно, не понимая того, что говорит. Locatus – так мы его называли – схватил меня в припадке гнева, приказал раздеть и привязать к столбу. Жестоко и безжалостно – потому что был грубым малым – он приказал выпороть меня самыми жесткими розгами, сам деятельно участвуя в этом. Но моя мать, которая еще недалеко отошла от школы, услышала мой крик и душераздирающий вопль. Она повернула обратно и, стоя перед дверью, кричала ужасающим голосом, что этот живодер и палач должен прекратить порку. Но тот, словно глухой, не слышал этих протестов и вместо этого старался ударить еще сильнее, в то время как остальные должны были петь песню. И когда он, далеко не сразу, прекратил свирепствовать, моя мать с силой прорвалась в дверь. Но, увидев меня прикованным к столбу, беспомощным, подвергающимся ужасным ударам и обнаружив мое тело в потоках крови, она лишилась сознания и упала на пол; она чуть не умерла от беспамятства.

Когда ученики подняли ее с пола и она снова немного собралась с силами, она накинулась на учителя со страшными проклятиями, пообещав в конце концов, что я больше не переступлю порога этой школы и что она пожалуется в совет, так что учитель никогда больше не осмелится даже слегка поднять руку на кого-либо из бюргерских детей в этой школе. Так и случилось. Потому что вскоре, еще в тот же день, когда весть об этом достигла городского совета, учителя из школы уволили<sup>207</sup>. Так из эрфуртского бакалавра получился мильтенбергский полицейский, по-немецки «слуга города или полицейский городской». Ибо это было только справедливо, чтобы тот, кто не захотел умерить свою жестокость по отношению к детям, должен был проявлять ее по отношению к злодеям и бунтовщикам. И хотя я по справедливости должен был бы испытывать гнев по отношению к нему, я давно уже, когда был в родном городе и он почтительно попросил о прощении, окончательно простил его в благочестивом воспоминании об избииении Господа нашего Иисуса Христа. <... >

## Фома (Томас) Платтер (1499–1582)

Швейцарский гуманист, ученый и писатель Фома Платтер (Старший) родился в бедной семье, студентом много путешествовал по Германии, потом жил в Цюрихе, где сблизился с Ульрихом Цвингли. После гибели Цвингли перебрался в Базель, где получил известность как преподаватель древних языков и ученый-гуманист. Он был знатоком нескольких европейских языков, а также латыни, древнегреческого и древнееврейского, одним из основателей издательского дома, публиковавшего классических авторов. Его сыновья Феликс и Фома Младший успешно занимались медициной и тоже были заметными фигурами своего времени. Автобиография Фомы Платтера – одно из самых ярких свидетельств о себе человека XVI в., привлекающее внимание широкого круга читателей и ученых начиная с Гёте. В основном она посвящена рассказу о его детстве, годах учебы и становлению в качестве ученого<sup>208</sup>.

### Автобиография

Не один раз, милый мой сын Феликс, выражал ты желание, равно как и другие славные и ученые мужи, бывшие в своей юности моими учениками, чтобы я написал вам рассказ о своей жизни с самого детства. Вам ведь в самом деле приходилось слыживать от меня о великой нужде, преследовавшей меня от чрева матери, о многочисленных опасностях, в каких я бывал, сначала на службе в диких горах, а потом во время странствий по школам – о моих трудах, наконец, и о заботах, выпавших мне на долю, когда я, женившись, должен был снискивать пропитание для себя, жены и детей.

И ради души твоей полезно будет поразмыслить тебе о том, как Бог столько раз чудесно сохранял мне жизнь, и о том, какой благодарностью обязан ты, мое порождение, Господу на небе, так щедро тебя одарившему и не давшему тебе изведать нищеты. Поэтому я не откажусь исполнить твое желание и расскажу тебе, насколько позволяет мне память, обо всем – от кого я родился и как рос.

Не жди, впрочем, от меня, чтобы я мог тебе в точности сказать, в какое время что со мной приключалось. Когда мне пришло в голову пораздумать и порасспросить о времени своего рождения, то мне высчитали тогда 1499 год. Явился я на свет Божий в воскресенье на Масляной, как раз когда заблаговестили к обедне. Это я знаю потому, что мои родные всегда надеялись видеть меня священником, так как я явился на свет при церковном благовесте. И сестра моя, Кристина, что одна была при матери, когда та меня рожала, тоже мне про это поминала.

Отец мой звался Антон Платтер – из старого рода тех, что звались Платтерами. Имя это пошло от их дома на широком плато, то есть плоской скале, на очень высокой горе при деревне Гренхен, в округе и приходе Фисп (Фисп – большое село и округ в Валлисе). А мать моя звалась Анна-Мария Суммерматтер, из очень большого рода Суммерматтеров. Отец у нее дожил до 126 лет. За шесть лет до его смерти я сам с ним беседовал, и он мне говорил, что знает человек десять в приходе Фисп еще постарше себя. На сотом году он женился на тридцатилетней девушке и прижил с ней сына. Он оставил сыновей и дочерей; из них одни были уж с проседью, а другие и совсем седые еще раньше, чем он умер. Звали старика Гансом Суммерматтером.

Дом, где я родился, недалеко от Гренхен; зовется он «an dem Graben»; там, Феликс, ты и сам бывал. После родов у матери сделалась грудница, так что она не могла меня кормить; да мне и совсем никогда не пришлось попробовать женского молока, как покойница матушка сама мне говорила. То было моего бедования начало. Итак, вскормлен я был на рожке, как у нас дают его детям, когда отнимают их от груди. Надо тебе сказать, что в нашей стороне детям часто не дают ничего есть до четырех или до пяти лет: они сосут одно молоко.

Отец у меня умер так рано, что я его не помню. В нашей стороне исстари повелось, что бабы почти все до одной умеют ткать и шить; так мужчины перед зимой идут из дому, чаще всего в Бернскую область, покупать шерсть. Ее потом бабы прядут и делают из нее домашнее сукно на кафтаны и штаны для мужиков. Вот и отец раз пошел в Тун, в Бернскую область, за шерстью; там к нему пристала чума, и он отдал Богу душу. Схоронили его в Штефисбурге (это деревня возле Туна).

Немного погодя мать моя снова вышла замуж: взяла она себе в мужа Гейнцмана “am Grund” (это – дом между Фиспом и Стальденом). Так все мы, дети, от нее и ушли; я и не знаю хорошенько, сколько нас всех было. Сестер я помню двух. Одна умерла в Энтлебухе, куда она вышла замуж; ее звали Елисавета. Другую звали Христина; она умерла еще с воссемью членами своей семьи, во время чумы, в Стальдене у Бургена. Братьев я знал троих. Одного звали Симон, одного Иоганн и третьего Иодер. Симон и Иоганн не вернулись с войны, а Иодер умер в Обергофене на Тунском озере. Дело в том, что кулаки вконец разорили нашего отца: так почти всем братьям и сестрам и пришлось идти в услужение с самого раннего возраста. А так как я был самый маленький, то меня по очереди держали у себя тетки, отцовы сестры.

Первое, что я по-настоящему помню, это как я был у одной из них, Маргариты, и как она принесла меня раз в дом “in der Wilde” (он около Гренхен); там была еще одна из моих теток, и бабы с ней чем-то занимались. Та, что меня принесла, взяла валявшийся в комнате пучок соломы, положила меня на нем на стол и побежала потом к другим бабам. Другой раз вечером тетки мои, уложив меня спать, пошли на посиделки. А я встал и побежал по снегу, по самому берегу прудика, в чужую избу. Не найдя меня дома, тетки страсть как перепугались. Когда они меня разыскали, то я лежал в избе между двумя мужиками: они меня отогревали, а то я совсем заоченел в снегу.

Когда я, несколько времени спустя, жил у той тетки, что была в «in der Wilde», вернулся с одной войны в Савоие мой брат и принес мне в гостинец деревянную лошадку. Я ее катал за веревочку перед дверьми и был совершенно уверен, что она сама ходит: оттого я теперь отлично понимаю, как дети могут часто считать свои куклы и другие игрушки живыми. Бывало, брат перешагнет через меня и говорит: «Ну, Фомушка, конец – теперь тебе больше не расти!» Это меня огорчало.

Когда мне было года три, приехал в нашу сторону кардинал Матвей Шиннер<sup>209</sup> для ревизии и для миропомазания, как это водится у папистов; он завернул и к нам, в Гренхен. В это время там был один священник, по имени отец Антон Платтер. К нему меня и отвели, чтобы он был моим восприемником. Но когда кардинал (а может, он тогда был еще и просто епископ) после обеда пошел в церковь, чтобы помазывать детей миром, то родич мой Антон, не помню уж как, над

чем-то позамешкался, и вышло, что я один побежал в церковь, чтобы меня помазали и, как водится, дали подарок. Кардинал, сидя в кресле, поджидал, когда к нему начнут подводить детей. Я помню, как я подбежал к нему, а он, не видя при мне восприемника, говорит: «Тебе чего, дитячко?» Я говорю: «Мне бы помазаться». Он сказал с усмешкой: «А как тебя звать?» Ответ: «Меня зовут отец Фома». Тогда он рассмеялся, пробормотал что-то, положи мне руку на голову, и потом дал мне легонько раз по щеке. Тем временем подошел дядя Антон и стал извиняться, что дал мне убежать одному. Кардинал рассказал ему, как я ему отвечал, и прибавил: «Из этого мальчика наверное что-нибудь выйдет: скорее всего священник». И так как я к тому же явился на свет Божий при благовесте, то многие думали, что я непременно буду священником. Оттого-то меня потом, не долго раздумывая, и отдали в школу.

Когда мне исполнилось лет шесть, меня отдали в долину «zu den Eisten» у Стальдена. Там покойная сестра моей матушки была замужем. Мужа ее звали Фома «an Riedjin»; жил он в усадьбе по прозвищу «im Boden». У него на первый год дали мне пасти козлят около дома. Словно сейчас я помню, как мне приходилось там вязнуть в снегу, так что я еле-еле выкарабкивался: не раз сапожонки мои оставались в снегу, и я шел домой босиком, щелкая зубами от холода.

У этого мужика было еще штук 80 коз: их я пас на 7-м и на 8-м году. Я был тогда еще так мал, что когда, отпирая хлев, не успевал сейчас же отпрыгнуть, то козы меня опрокидывали и бежали по мне, наступая мне на голову, на уши и на спину. Я обыкновенно падал ничком. Когда я потом гнал своих коз по мосту за речку Фисп, то передние сейчас же забегали у меня в хлеба; не успевал я их оттуда выгнать, как задние кидались туда же. Тогда я принимался плакать и кричать. Я отлично знал, что вечером мне за это будет порка. Выручали меня другие пастухи; особенно один, Фома «im Leidenbach», уже большой парень, очень меня жалел и много мне помогал.

Загнав своих коз на высокие и дикие горы, мы, пастушата, усаживались обыкновенно вместе и вместе полдничали: у каждого из нас была за плечами пастушья плетушка с сыром и черным хлебом. Один раз, пополднивав, задумали мы играть в камешки. Для этого надо ровное местечко. Мы его и отыскали на высокой скале. Один за другим принялись мы там кидать в цель. Когда черед дошел до парня,

что стоял впереди меня, то я хотел посторониться, чтобы он, размахнувшись, не задел меня камнем по голове или по лицу, и полетел с края скалы. Пастухи все принялись кричать: «Господи Иисусе!», пока я не пропал у них с глаз. А я скатился немножко под скалу, так что им меня не было видно, и они были уверены, что я расшибся до смерти. Я скоро встал на ноги и, обогнув скалу, опять взобрался наверх. Они там плакали с горя, а потом стали плакать с радости. Недель через шесть у одного пастуха с того же места сорвалась коза: она расшиблась до смерти. Так сохранил меня Господь.

С полгода спустя погнал я раз своих коз на заре, раньше всех других пастухов – мне было туда ближе всех – через пастбище по прозвищу Виссегген. Там мои козы забрали вправо, на скалу, шириной не больше как в добрый шаг; а вниз она шла стеной на страшную глубину – сажень тысячу, не меньше. С этой скалы одна коза за другой стали карабкаться выше по неприступной крутизне; они сами еле цеплялись копытцами за кустики травы, что там росла. Когда они все взобрались наверх, то и мне волей-неволей пришлось отправляться за ними вслед. Но не успел я вскарабкаться и на шаг по траве, как увидел, что дальше лезть мне нельзя; нельзя было мне и спускаться, а прыгнуть назад я никак не смел: я боялся, что если я прыгну задом, то не удержусь на ногах и полечу со скалы в пропасть. Так я и остался там стоять, ожидая Божьей помощи: сам я себе ничем не мог помочь. Я только крепко вцепился обеими ручонками в кустик травы, а большим пальцем ноги уперся в другой кустик, и когда уставал, то притягивался немножко вверх и менял ногу. В этой беде пуще всего наводили на меня жуть орлы, летавшие надо мною в воздухе: я боялся, как бы они меня не утащили; у нас, в Альпах, бывает, что орлы уносят маленьких ребят и ягнят. А тут еще ветер раздувал мою несчастную одежонку: на мне и штанов-то тогда не было. Так вот я и стоял, пока меня не заметил издали приятель мой Фома. Сначала он не мог распознать, что там такое, и видя, как раздувался по ветру мой кафтанишко, думал, что это птица. Но когда он меня признал, он так перепугался, что совсем побелел. Он закричал мне: «Фомушка, стой, не ворошись», взобрался на скалу, взял меня на руки и снес на такое место, откуда можно было взобраться наверх к козам. Несколько лет спустя, когда я один раз пришел домой на побывку с чужой стороны из школы, этот мой товарищ, узнав про меня, пришел ко мне и помянул, как он спас

меня тогда от смерти (хоть это была и правда, но я воздаю за это честь Богу): так он просил, чтобы я, когда буду священником, не забывал о нем и молился за него в церкви.

Служа у этого хозяина, я работал изо всех своих силенок, и он был мною очень доволен. Когда я потом раз шел по Валлису в Фисп, уже женатый, этот мужик говорил жене, что у него никогда не бывало лучше батрачка, хотя я был совсем еще малыш.

Из других сестер моего покойного отца одна была благочестива, то есть не замужем; ей отец особенно меня поручал, как младшего ребенка; звали ее Франси. Вот этой-то тетке разные люди стали толковать, что живу я на работе не по силам, где, того и гляди, сломаю себе голову. Тогда она пошла к моему хозяину и сказала, что не хочет меня больше у него оставлять. Тому это пришлось вовсе не по душе. Она свела меня назад в Гренхен, где я родился, и поместила к богатому мужику – старику Жану «im Bode». У него опять дали мне пасти коз. Там раз случилось, что мы с одной девочкой – она тоже пасла у отца своего коз – заигралась у канавы, по каким у нас отводят воду с гор на поля. Мы отделили себе маленькие участки и стали пускать на них воду по желобкам: у нас дети постоянно так играют. Тем временем козы наши убежали на горы, неизвестно куда. Тогда я скинул кафтанишко и, бросив его у канавы, побежал на гору по всем вершинкам, а девочка пошла домой без коз; я же, бедный батрачонка, и думать не смел о том, чтобы домой глаза показать, если козы не отыщутся. На самом верху увидел я молодую серну: две капли одна из моих коз. За ней я и прогонялся до самого заката. Глянул я вниз на деревню, а там уж избы все в темноте; я пустился вниз, но меня тут же захватила ночь. Я стал ползти по откосу от дерева к дереву (то были смолистые лиственницы), цепляясь за корни; а там немало корней выходило наружу; земля из-под них высыпалась – такая то была круча. Но когда стало совсем темно, и я заметил, что стало что-то уж очень круто, я порешил дальше не ползти: зацепившись одной рукой за корень, другою я стал выкапывать землю около дерева под корнями, и слышно мне было, как она сыпалась вниз. Потом я затискался под корни; только ноги торчали наружу. На мне была одна рубашонка; не было ни сапог, ни шляпки, а кафтанишко я оставил у канавы со страху, что потерял коз. Когда я так улегся под деревом, зачуяли меня вороны и подняли на дереве крик. Жуть меня взяла; думалось мне, нет

ли тут медведя; я перекрестился и заснул. Так я проспал, пока утром солнышко не поднялось над горами. А когда я проснулся и увидел, где я, так, право, не знаю, случилось ли мне в жизни больше пугаться. Спустился я вечером еще сажени на две, я упал бы в бездонную пропасть. А тут опять беда: как отсюда выбраться? Пришлось снова ползти вверх, с корня на корень, покамест, наконец, не добрался я до такого места, откуда можно было бежать по горе в деревню. Когда уж я почти выбрался из лесу на поля, мне повстречалась девочка с моими козами: она их снова гнала пастись. Они, оказывается, как только настала ночь, сами прибежали домой. А хозяева мои, видя, что меня с ними нет, страсть перепугались: они подумали, что я расшибся до смерти. Они пошли в дом, где я родился (он стоит рядом с их), и стали спрашивать мою тетку и других людей, не знают ли они про меня, а то я не пришел с козами. Так тетка моя и старуха хозяйская жена всю ночь простояли на коленях, моля Бога, чтобы он меня сохранил, если я еще жив. <... > После того они не хотели больше пускать меня пастись коз: такого они тогда страха натерпелись.

Еще случилось мне раз у этого же хозяина упасть в большой котел, где грелось на огне молоко. Я там так обварился, что знаки остались на всю жизнь, как ты сам и другие могли видеть.

Тогда же я еще два раза чуть было не погиб. Раз сидели мы с другим пастушонком в лесу и болтали промеж себя по-ребячьи; между прочим толковали мы, что хорошо б нам было летать, тогда б мы полетели за горы, вниз, в немецкую сторону (так в Валлисе зовут Швейцарский Союз). Вдруг над нами зашумело, и громадная хищная птица стала на нас спускаться, словно собираясь утащить одного из нас, коли не обоих. Тут мы принялись кричать, отмахиваться палками и креститься, пока птица не улетела. Тогда мы оба сказали: «Грех было толковать, что хорошо бы нам было летать: Бог нас создал, чтобы ходить, а не летать».

Другой раз я забрался в глубокий овраг за «стрелками», иначе говоря, за хрусталем: его там много бывало. Вдруг я вижу, с самого верху горы сорвался камень, величиной с печку; бежать было нельзя, и я бросился на землю ничком. Камень ударился в землю за несколько сажень выше меня и потом через меня перепрыгнул; такие камни, бывает, прыгают на два, на три человеческих роста.



Вот что было мне за сладкое житье, вот что были у меня за радости на горах с козами. А сколько я еще перезабыл! Знаю только, что ходил я летом по большей части босиком или носил деревянную обувь, что ноги у меня вечно были в синяках и в глубоких ссадинах, что не раз я жестоко расшибался. Жара, бывало, морила так, что случалось мочиться в пригоршню, да и пить, чтоб утолить жажду. Есть мне давали утром на заре ржаную похлебку (замешанную из ржаной муки); в горы давали на спину плетушку с сыром и черным хлебом, а на ночь топленую сыворотку; впрочем, этого всего давали порядочно. Летом спал я на сене, а зимой на соломенном мешке, где бывало немало клопов, да и вшей. Так-то живут у нас бедные пастушата, что служат у мужиков по усадьбам.

Так как мне теперь не хотели больше давать пасти коз, то я перешел к мужу другой моей тетки; это был скупой и сердитый мужик; у него мне дали стеречь коров. Надо тебе сказать, что в Валлисе почти нигде не держат общественных пастухов при коровах, а у кого нет *альна*, куда отправлять их на лето, тот держит своего пастушонка, чтобы пасти их на выгоне при усадьбе.

Недолго я у него побыл, как пришла к нам тетушка Франси и сказала, что хочет отдать меня к отцу Антону Платтеру, нашему родичу, учиться у него Писанию: так у нас говорят, отдавая ребенка в школу. А священник тогда жил уж не в Гренхене, а при церкви Св. Николая, в селе, что зовется Газен.

Когда Антон «an der Nabtzucht» – так звали моего хозяина – услышал, что собирается делать тетка, то это пришлось ему не по душе. Он упер указательный палец правой руки в левую ладонь и сказал: «Парню так же ничему не выучиться, как мне не проткнуть ладони пальцем». Это было на моих глазах. А тетка отвечала: «Э, кто знает? Бог его не обидел, может, из него еще выйдет благочестивый священник». Итак, она свела меня к священнику; было мне тогда, думается мне, годов девять или девять с половиной.

Тут мне сразу пришлось круто: поп был нрава свирепого, а я неотесанный деревенский мальчишка. Он жестоко меня колотил и нередко за уши поднимал от земли, так что я визжал, как коза под ножом, и соседи уж ему кричали: «Да что ты, убить его что ли хочешь?»

У него я был недолго. В это время пришел домой один из моих двоюродных братьев, который ходил в школы в Ульме и в Мюнхене, в Баварии; он был из Суммерматтеров, моего старика-дедушки сына сын. Этого студента звали Павел Суммерматтер. Ему мои родные про меня сказали. Он обещал им взять меня с собой и отвести в Германию в школу. Когда я об этом услышал, я упал на колени и молил всемогущего Бога, чтобы он избавил меня от моего попа, а то он ничему меня не учил и только беспощадно бесперечь колотил. Всего-то я и выучился у него немножко петь *Salve*, чтобы ходить с другими учениками, что жили в деревне у того же попа, собирать ему яйца. Когда я там был, мы с ребятами задумали раз служить обедню, и меня послали в церковь за свечкой. Я, не задув ее, засунул себе в рукав и так обжегся, что знак и сейчас остался.

Когда Павел собрался опять уходить, он велел мне прийти к нему в Стальден. Около Стальдена есть усадьба, зовется она «zum Muhlbach». Там жил брат моей матери, Симон «zu der Summermatten». Он числился моим опекуном. Он дал мне золотой гульден. Я крепко зажал монету в кулак, да так и нес ее до Стальдена, все поглядывая по дороге, цела ли она у меня; там я отдал ее Павлу. Вот мы с ним и тронулись в путь.

По дороге мне приходилось собирать милостыню для себя, да давать из нее и Павлу. Мне, ради моей простоты и деревенского говора, подавали много.

Когда мы перевалили через Гримзель, пришли мы ночью на постоялый двор; там месяц играл на печных изразцах: а я никогда еще не видал изразцов и счел печь за большого теленка. На ней блестело только два изразца – так мне подумалось, что это у него глаза. Утром тоже в первый раз в жизни увидал я гусей: как они на меня зашипели, я подумал, что это дьявол, что он хочет меня сожрать, и пустился от них со всех ног, крича благим матом. В Люцерне увидал я первые черепичные крыши; крепко дивился я красным крышам. Потом пришли мы в Цюрих. Там Павел стал поджидать товарищей, чтобы вместе идти в Мейсен. Тем временем я ходил по городу за подаянием и почти совсем прокармливал Павла: там всем нравилось, что я говорю поваллиски, и мне по всем гостиницам подавали очень охотно.

Был тогда в Цюрихе один наш земляк, из Валлиса, из Лейка. Это был продувной малый; звали его Карле; думали про него, что он

знается с дьяволом, потому – он всегда все знал, где бы что ни случилось, был известен кардиналу и т. п. Так вот этот Карле пришел раз ко мне – а мы стояли с ним в одном доме – и сказал мне: «Хочешь, я вытяну тебя раз по голой спине и дам тебе за это цюрихский грош». Я дал себя уговорить; тогда он меня схватил, опрокинул через стул и отхлестал страсть как больно. Когда я успел немного прийти в себя после порки, он стал просить у меня этот грош назад взаймы: а то к нему придет вечером ужинать одна женщина, и ему не хватит расплатиться за ужин. Я отдал ему грош: только я его и видел.

Подождав попутчиков недель восемь или девять, тронулись мы с ними в Мейсен; для меня с непривычки это был дальний путь; а к тому ж по дороге приходилось еще добывать пропитание. Шло нас душ восемь или девять, трое маленьких стрелков, остальные большие вакханты, как их там называют; из стрелков я был самый маленький. Когда я за ними не поспевал, то *братан* мой Павел подгонял меня лозой или палкой по голым ногам: на мне не было штанов, а одни худые опорки.

Где ж мне теперь знать все, что с нами приключилось по дороге? Ну, а кое-что мне все-таки помнится. Вот например. Толковали раз по дороге наши вакханты о всякой всячине и между прочим о том, как это в Мейсене и в Силезии повелось, что школьникам можно там воровать гусей, уток и всякую другую снедь, и ничего им за это не достается, лишь бы удалось удрать от хозяина, чье добро. Были мы раз недалеко от одного села, и паслось там стадо гусей, а пастуха при них не было (там у каждой деревни есть особый гусиный пастух): он ушел довольно далеко к тому, что пас коров. Я спросил тут моих товарищей-стрелков: «А что, скоро придем мы в Мейсен, где можно мне будет бить гусей?» Они сказали: «Да мы уж пришли». Тогда я подобрал камень, запустил его и попал одному гусю по лапе. Остальные улетели, а хромой не мог подняться. Я взял другой камень и угодил ему прямо в голову, так что он тут и растянулся. (Надо тебе сказать, что, ходя за козами, я отлично выучился камни кидать: из ровесников-пастухов ни одному до меня не дойти было. Я научился там тоже трубить в пастуший рог и прыгать с альпийской палкой: то все были наши пастушьи искусства.) Тогда я пустился к гусю, схватил его за шею, цап его под кафтан и пошел с ним по улице через деревню. За нами следом прибежал пастух и поднял крик: «Парень украл у меня

гуся». Мы со стрелками пустились бежать, а гусиный хвост торчал у меня из-под кафтанишка. Мужики выскочили с топорами, какими можно кидаться, и погнались за нами. Увидав, что мне не удрать от них с гусем, я его кинул. За деревней я соскочил с дороги – и в кусты. А два моих товарища бежали вдоль по дороге, и мужики их нагнали. Тогда они упали на колени и просили пощады, говоря, что они ничего ихнего не трогали; а мужики и сами увидали, что это не они бросили гуся, и, подобрав гуся, пошли домой. А я как увидал, что они догнали товарищей, совсем затужил и сам себе сказал: «Боже мой, что ж это такое? Я нынче, должно быть, забыл перекреститься». Меня дома выучили, что надо креститься каждое утро. Вернувшись в деревню, мужики нашли наших вакхантов в шинке (они еще раньше прошли в шинок, а мы шли сзади) и стали им говорить, что надо заплатить за гуся, что они помиряются на двух баценах: только не знаю уж я, заплатили наши им или нет. Догнав нас, вакханты много смеялись и спрашивали, как это вышло. Я им сказал, что от них же наслышался, будто в этой стороне так это водится. Они мне сказали, что еще рано.

Другой раз повстречались мы с разбойником в одном лесу, мили полторы не доходя Нюрнберга; тогда мы шли всей кучей. Он сначала предлагал нашим вакхантам сесть с ним играть, чтобы задержать нас, пока подспеют товарищи. А с нами был удалец-парень, Антон Шальбеттер, из Фиспского округа в Валлисе; он один выходил на четверых и на пятерых, как тому были случаи в Наумбурге, в Мюнхене, да не раз и в других местах. Он велел разбойнику проваливать подобру-поздорову. Тот и убрался. А время было позднее, и мы к ночи могли поспеть только в ближайшую деревушку: там было две корчмы, да еще четыре-пять избенок. Вошли мы в одну корчму, а наш разбойник уж там, и с ним еще молодцы, конечно, его товарищи. Мы не захотели там оставаться и пошли в другую корчму. Следом за нами и они туда заявили. После ужина всем в доме было не до нас, стрелков, так что нам совсем забыли дать поесть: за стол нас никогда не пускали. Не дали нам и кроватей, и пришлось нам отправиться в стойло. А когда наших большаков повели на покой, Антон сказал хозяину: «Хозяин, сдается мне, что у тебя неладные гости, да что и сам ты немного их лучше. Так вот что я скажу тебе, хозяин: уложи ты нас так, чтобы нас никто не тронул, не то мы тебе такое сотворим, что ты сам себе в доме места не найдешь». А тут мошенники стали

приставать к нашим, чтобы те сели играть с ними в шашки. Те не захотели и ушли спать. Только ночью, когда мы, парнишки, на тощий желудок лежали у себя в стойле, к дверям спальни явились какие-то люди – может, с ними был и сам хозяин – и хотели их отпереть. А Антон изнутри закрепил замок винтом, придвинул к двери кровать, засветил огонь (у него с собой всегда было огниво и восковая свечка) и сейчас же разбудил всех товарищей. Когда мошенники это услышали, они убрались. А утром наши не нашли уж ни хозяина, ни работника. Так это они нам рассказали. Ну, и мы были очень рады, что нам в стойле ничего не приключилось. Отойдя оттуда с милю, мы завернули в одну избу, а хозяева, услышав, где мы ночь провели, диву дались, как это нас всех не перерезали. Это, сказали они нам, самая разбойничья деревушка.

Перед Наумбургом, так может за четверть мили, наши вакханты снова отстали от нас в одной деревне: собираясь обедать, они нас всегда отправляли вперед. Нас тогда было пятеро. И вот на поле к нам подъезжает восемь верховых с натянутыми самострелами, окружают нас, требуют с нас денег и направляют на нас стрелы; тогда еще у верховых не бывало пищалей. Один из них сказал: «Подавайте деньги!» Один из наших, уж порядочный парнишка, ответил: «Нет у нас денег; мы бедные школьники». Тот снова: «Деньги подавайте», а наш ему снова: «Нет у нас денег, и не дадим мы вам денег, и не с чего нам их давать вам». Тогда рейтер выхватил саблю и ударил ей малого, так что она просвистела у него мимо уха и рассекла веревки на котомке. Звали этого нашего товарища Иван «von Schalen» из Фиспа, из самого села. Они ускакали потом в лес, а мы пошли к Наумбургу. Скоро нас догнали вакханты, но они с ними не повстречались. И еще не раз приходилось нам набираться страха от разбойников и от рейтеров: так было в Тюрингенском лесу, во Франконии, в Польше и т. д.

В Наумбурге пробыли мы несколько недель. Кто из стрелков умел петь, тот ходил в город петь, а я ходил побираться; в школу же мы глаз не казали. Этому другие школьники не хотели терпеть и грозились стащить нас в школу силком. И ректор велел сказать нашим вакхантам, чтобы они являлись в школу, не то их силой туда приведут. А наш Антон велел ему отвечать, что пусть, мол, сунется. В городе были еще швейцарцы, и они нам дали знать, когда за нами придут, чтобы нас не

захватили врасплох. В ожидании гостей мы, стрелки, натащили на крышу каменьев, а Антон с другими заняли ворота. Ректор явился с целой вереницей своих стрелков и вакхантов. Но мы, стрелки, так принялись их угощать каменьями, что им пришлось убраться. Немного погодя мы услышали, что они подали на нас жалобу начальству. А у нас был сосед; он выдавал свою дочь замуж и припас целый загон откормленных гусей. Вот мы стащили у него ночью трех гусей и удрали в другую часть города; это было предместье, но у самой городской стены, как и то, где мы раньше были. Туда пришли к нам швейцарцы, выпили с нами, и потом наша бурса тронулась в Галле, в Саксонии, и стала там ходить в школу у Св. Ульриха.

Но так как наши вакханты очень уж нас обижали, то несколько из нас решили от них убежать, сговорились с Павлом, двоюродным моим братом, и пошли мы все в Дрезден. Там, однако, не было почти ни одной порядочной школы, а дома кишмя кишели вшами, так что мы по ночам слышали, как они под нами возились в соломе.

Поднялись мы оттуда и пошли в Бреславль. По дороге нам пришлось наголодаться: по целым дням не бывало у нас во рту ничего, кроме сырого лука с солью, а то мы кормились печеными желудями, да лесными яблоками и грушами. Не одну ночь пришлось нам спать под открытым небом: нас нигде не хотели пускать на ночлег, даром что мы просились как нельзя ласковей; случалось, еще нас травили собаками.

Зато когда мы пришли в Бреславль в Силезии, так там всего было столько, да так дешево, что бедные школьники объедались и нередко оттого сильно болели. Там мы сначала стали ходить в школу при соборе «Святого Креста». Но когда мы прослышали, что в Елисаветинском приходе есть еще швейцарцы, так мы перешли туда. Там было двое из Бремгартена, двое из Меллингена и другие еще, а также немало швабов. Швабы и швейцарцы жили там душа в душу, считали себя земляками и крепко друг за друга стояли.

В городе Бреславле семь приходов, и в каждом своя школа. Школьникам там не полагалось ходить петть в чужие приходы; а то тамошние поднимали крик: «Ad idem! ad idem!» – на него сбегались отовсюду стрелки, и начиналась жестокая драка. Там, говорят, раз собралось несколько тысяч вакхантов и стрелков, и все они жили милостыней. Говорят тоже, что иные вакханты жилали там по двадцати, по тридцати лет и дольше. Они держали стрелков, и те им

*презентовали*, т. е. есть приносили. Мне случалось там за один вечер приносить своим вакхантам по пяти и по шести мешков в школу, где они тогда жили. А мне подавали очень охотно за то, что я был маленький и швейцарец: там тогда очень любили швейцарцев. <... >

Однажды повстречал я на рынке двух молодых господ; потом я узнал, что один был из Бензенауэров, а другой из Фуггеров<sup>210</sup>. Они там прогуливались. Я, как это водится у бедных школьников, подошел к ним за милостыней. Фуггер спросил меня: «Ты откуда будешь?» Услышав, что я швейцарец, он потолковал с Бензенауэром и потом сказал мне: «Если ты в самом деле швейцарец, так я, коли хочешь, возьму тебя в дом как сына. Мы это закрепим здесь в Бреславле перед городской думой; только и ты мне обещаешься оставаться при мне всю свою жизнь, где бы я ни был, и жить у меня в послушании». Я ответил: «Меня препоручили одному земляку; я его об этом спрошу». Но когда я спросил об этом брата Павла, он мне сказал: «Я привел тебя сюда с родины и должен опять тебя сдать твоим с рук на руки. Как они тебе скажут, так ты потом и делай». Так мне и пришлось отказать Фуггеру. Но я часто ходил к его дому, и никогда меня не отпускали с пустыми руками.

В Бреславле прожили мы порядочно времени. Там за одну зиму я был три раза болен так, что меня приходилось отправлять в больницу. Для школьников там есть особая больница и свой доктор. Городской совет дает там на каждого больного по 16 геллеров в неделю. На эти деньги больных содержат хорошо: за ними хороший уход и кровати хорошие, только уж очень там крупные вши – как спелое конопляное семя. Оттого я не любил на кровати спать, а укладывался вместе с другими в комнате на полу. И нельзя себе представить, сколько на школьниках и на вакхантах, да зачастую и на простом народе, водилось вшей. Мне стоило запустить руку за пазуху, чтоб вытащить оттуда, если угодно, хоть трех сразу. Бывало, я частенько, особенно летом, хаживал на реку Одер, что там протекает, стирать свою рубашку. Я ее потом развешивал сушиться на ветках и тем временем чистил от вшей свой кафтан. Набрав их целую кучу, я рыл ямку, клал их туда и, насыпав могилку, ставил на ней крест.

Зимой стрелки спят там в школе на полу, а вакханты в спаленках: их у Св. Елисаветы несколько сот; а летом, когда жарко, мы ложились на кладбище. Мы подбирали траву, что летом, по субботам, разбрасывают

в господских улицах перед домами, сносили ее на кладбище в свой уголок и лежали там, как поросята на подстилке. А если начинался дождик, то мы почти всю ночь пели с помощником кантора Responsoria и разные другие вещи.

Иногда летом после ужина отправлялись мы по пивным собирать подавание пивом. Там подвыпившие польские мужики подчас нас так накачивали, что мне бы не добраться до школы, будь я от нее хоть всего только за несколько сажень. Итого: пропитания там было довольно, но учились мы немного.

В Елисаветинской школе иногда в одном классе читало зараз девять бакалавров. Но греческий язык там никогда еще не преподавался. Не было там еще ни у кого и печатных книг; только у наставника был печатный Теренций. Читали там так: сначала полагалось *произносить*, потом *разделять* (по словам), потом *располагать* (по предложениям) и только потом *объяснять*. Оттого вакхантам приходилось таскать с собой из школы в школу всякую писанную бумагу ворохами.

Оттуда восьмеро нас тронулось снова в Дрезден, и снова пришлось нам терпеть на пути жестокий голод. Тут мы однажды решили разделиться: одни должны были постараться промыслить гусей, другие – репы и луку, одному поручили раздобыть горшок, а нам, малышам, велели идти в город Неймарк, что был недалеко отсюда, при дороге, и промыслить там хлеба и соли; а к вечеру все мы должны были собраться перед городом, расположиться перед ним на стоянку, и там варить, что удастся промыслить. Там на ружейный выстрел от города был родник; у него мы и расположились на ночлег. Когда из города заметили наш костер, то по нас выстрелили, только никого не задели. Тогда мы перебрались за выгон, в лесок, к ручейку. Тут закипела работа: кто из больших рубил кусты и заплетал шалаш, кто щипал гусей – их у нас очутилась пара, – кто клал в горшок репу, отправляя туда же гусиные головки, лапки и потроха, кто строгал из дерева два вертела. Потом мы принялись своих гусей жарить и, чуть где мясо подрумянивалось, мы его обрезаем и ели; отдали честь мы и репе. Ночью услышали мы, как что-то шлепает: а там была сажалка, откуда с вечера спустили воду, и рыба билась в тине. Мы набрали рыбы, сколько можно было унести в рубахе на палке, и пошли отсюда в деревню. Там мы часть рыбы отдали одному мужику, а он нам за это сварил остальную в пиве.



Когда мы опять пришли в Дрезден, то раз ректор и наши вакханты послали меня с другими парнишками раздобыть им гусей. Мы сговорились с товарищами, что я буду гусей бить, а они подхватывать и уносить. Повстречали мы стадо гусей; они, завидев нас, полетели. У меня с собой была дубинка; я запустил ее им вдогонку, попал по одному и сшиб его. Но мои товарищи, завидев пастуха, труслили и не побежали за гусем, даром что они могли смело поспеть вперед пастуха. Тогда другие гуси спустились, обступили подбитого и принялись гоготать, словно с ним разговаривали: наконец тот встал и пошел за другими. Я крепко серчал на товарищей за то, что они не сдержали слова. Но потом они держались смелее, и мы принесли домой двух гусей. Вакханты и ректор зажарили их себе на прощальный обед, и мы тронулись оттуда в Нюрнберг, а оттуда дальше в Мюнхен.

По пути, недалеко от Дрездена, случилось мне пойти в одну деревушку за милостыней. Пришел я к одной избе, а хозяин меня спрашивает, откуда я. Услыхав, что я швейцарец, он спросил, нет ли со мной еще товарищей. Я сказал: «Товарищи мои ждут меня за околицей». Он говорит: «Поди, кликни их». Он выставил нам хороший обед и пива вдосталь. Когда мы с хозяином хорошенько подкрепились, он и говорит своей матери – а она тут же в комнате лежала на кровати: «Матушка, я не раз от тебя слышал, что тебе хотелось бы перед смертью повидать хоть одного швейцарца; вот тебе их и не один; я зазвал их тебе в угоду». Тогда старуха поднялась на кровати, сказала сыну спасибо за гостей, а нам говорит: «Я столько слышала хорошего про швейцарцев, что мне крепко хотелось повидать хоть одного; мне кажется, я теперь умру спокойнее; так гуляйте же себе на здоровье». С этими словами она опять улеглась. Мы сказали спасибо хозяину и тронулись дальше.

Когда мы пришли к Мюнхену, то было уж очень поздно, так что нельзя было идти в город, и нам пришлось заночевать в убежище для прокаженных. Когда мы утром пришли к воротам, нас не хотели пускать, если мы не укажем за себя поручителя в городе. А *брат мой* Павел бывал уж в Мюнхене раньше. Ему позволили сходить за тем, у кого он тогда стоял. Тот пришел, поручился за нас, и нас впустили.

Мы с Павлом поселились там у одного мыловара: звали его Ганс Шрель. Был он *magister Viennensis*, но не лежала у него душа к

поповскому делу, и он женился на красавице-девушке. Много лет спустя он приезжал с женой сюда, в Базель, и здесь тоже занимался своим промыслом. Его немало еще народа здесь помнит. Тут я не столько в школу ходил, сколько помогал хозяину мыло варить: мы с ним ездили тоже по деревням золу покупать. А Павел стал ходить в школу в приходе «Божией Матери». И я туда захаживал, но редко, только за тем, чтоб мне можно было петь на улицах и моему вакханту презентовать. Хозяйка моя была ко мне очень ласкова; а у ней была старая, черная, слепая собака, совсем уж без зубов; я ее кормил, спать укладывал и прогуливал по двору. Хозяйка мне все говорила: «Фомушка! ты уж около нее постарайся, я тебя за это не забуду».

Там мы прожили несколько времени, но тут Павел стал уж очень волочиться за горничной, и хозяин не хотел этого дольше терпеть. Тогда Павел решил, что нам надо сходить домой на побывку, а то мы уж пять лет дома не были.

Итак, мы тронулись к себе в Валлис. Там мои родные почти не могли больше меня понимать и говорили: «У нашего Фомы стала такая глубокая речь, что его почти никто не может разуметь». А я просто был мал, и потому кое-что перенимал из каждого наречия, какие мне в моих скитаниях приходилось слышать. За это время матушка еще раз вышла замуж: ее Гейнцман «am Grund» помер, и как прошел с того положенный срок, она вышла за Фому «an Garsteren»; оттого-то мне у нее и не приходилось долго жить. Я больше ходил по теткам и чаще всего был у тетушки Франси, да еще у двоюродного брата, Симона Суммерматтера.

Недолго мы прожили дома и пошли опять в Ульм. На этот раз Павел прихватил с собой еще парнишку, Гильдебранда Кальберматтера, сына одного из попов; был он совсем еще маленький. Ему подарили на дорогу, как это у нас водится, сукна на кафтан.

Когда мы пришли в Ульм, Павел велел мне ходить с этим сукном по городу и выпрашивать денег на шитье. Я набрал тогда много денег: ловко я приспособился христарадничать и подделываться. Оно и немудрено: вакханты только на этом меня и держали, а в школу совсем не водили и не выучили даже читать. И здесь я редко ходил в школу, а все время бродил по улицам с сукном, терпя жестокий голод. Надо тебе сказать, что все, что я добывал, я относил вакхантам и не посмел бы без их ведома съесть ни крошки: так я боялся побоев. Павел жил

тогда с другим вакхантом, по имени Ахацием, а мы с товарищем моим Гильдебрандом должны были им презентовать. Но товарищ мой поедал почти все: так они его выслеживали на улице, чтобы накрыть его с поличным, или заставляли его полоскать рот водой и выплевывать воду на блюдо, чтобы им видно было, не съел ли он чего. Тогда они кидали его на постель, подушку на голову, чтобы он не мог кричать, и принимались вдвоем варварски истязать его, пока сами не выбивались из сил. Оттого-то я и трусил и приносил домой все подавания. А у них иногда набиралось столько хлеба, что он начинал плесневеть; тогда они обрезали плесень и давали нам ее есть. Много я там голодал, много я там мерз, бродя иной раз до полуночи в темноте по городу и распевая из-за кусочка хлеба. Но грех было мне здесь промолчать и не упомянуть, как в Ульме жила одна добрая вдова с двумя взрослыми дочерьми, еще незамужними, и с сыном (его звали Павел Релинг), тоже еще неженатым. Когда я приходил к ее дому, она часто брала меня к себе, завертывала мне ноги в теплый мех, прямо с печки, чтобы их согреть, давала мне блюдо каши и потом отпускала меня домой. Иногда у меня был такой голод, что я отбивал на улице у собак полуобглоданные кости, а когда приходилось бывать в школе, я разыскивал на полу в щелях крошки и их поедал. Оттуда мы пошли опять в Мюнхен, и там мне снова пришлось собирать денег на шитье того же сукна: хоть бы оно по крайности было мое!

Через год зашли мы опять в Ульм, собираясь еще раз на побывку домой. Я опять стал таскаться с своим сукном. И помню я, как иные мне говорили: «Что за пропасть! Кафтан твой все еще не сшит? Сдается мне, парень, что ты чистый прохвост». Так мы оттуда и ушли. Я и не знаю, что случилось с сукном: пошло оно наконец на кафтан или нет.

Сходили мы еще раз домой и оттуда опять пошли в Мюнхен.

В Мюнхен мы пришли в воскресенье. Там вакханты для себя нашли пристанище, а для нас троих, маленьких стрелков, нет. Как дело пошло к ночи, мы решили пробраться на хлебный рынок и улечься там на мешках. А у соляного склада на улице сидело несколько баб. Они нас спросили, куда мы идем. Мы им сказали, что нам негде ночевать. Одна из них, мясничиха, услышав, что мы швейцарцы, сказала служанке: «Беги домой, разведи огонь, да повесь на него котелок с супом и мясом, что у нас осталось: ребята будут у меня эту ночь ночевать. Я

люблю швейцарцев. Когда я была молода, я служила в одном доме в Инсбруке, когда император Максимилиан жил там со своим двором; у него с швейцарцами было много дел, и они к нам были так ласковы, что я им этого по гроб жизни не забуду». Она накормила и напоила нас досыта и уложила у себя спать. Утром она нам сказала: «Если один из вас хочет у меня остаться, я его к себе приму, буду кормить и поить». Мы все хотели остаться и сказали ей, чтобы она сама выбирала. Когда она стала осматривать, так я был посмелей прочих – мне больше их приходилось всяких видов видать, – она меня к себе и взяла. У нее мне работы было немного; надо было только носить из погреба пиво, подавать в лавке кожи и мясо, да ходить с хозяйкой на поле; но мне по-прежнему приходилось презентовать своему вакханту. Хозяйке это было не по сердцу, и она мне говорила: «Что за напасть! Да брось ты своего вакханта и живи у меня; нечего тебе больше христарадничать». Вот я раз целую неделю и не показывал глаз ни к вакханту, ни в школу. Тогда вакхант сам явился и постучался к хозяйке в дверь. Хозяйка мне и говорит: «Твой вакхант! Скажись больным!» Потом она его впустила и говорит ему: «Вы, конечно, важный барин, а все ж можно бы было вам зайти проведать, что с Фомой творится. Он был у нас болен, да и теперь еще плох». Вакхант мне говорит: «Жаль мне тебя, парнишка, но смотри, как станешь выходить, являйся ко мне».

Немного погодя, в воскресенье, пошел я к вечерне. Когда служба отошла, вакхант ко мне подошел и говорит: «Ты, стрелок, ко мне вовсе глаз не кажешь. Смотри: все ребра переломаю!» Тогда я решил, что уж будет с него мне ребра ломать, и задумал удрать.

В понедельник сказал я своей мясничихе: «Я пойду в школу, а оттуда на речку рубаху стирать». Не посмел я ей открыть, что было у меня на уме; боялся я, как бы она меня не выдала. Итак, с грустью в сердце тронулся я из Мюнхена. Горько было мне расставаться с моим братом – немало мы с ним вместе побродили по белому свету – но уж очень он был ко мне жесток и безжалостен. Жалел я тоже и свою мясничиху: так она была ко мне приветлива и ласкова. Итак, я перебрался за Изар: по швейцарской дороге я боялся идти, чтобы Павел меня не нагнал. А то он не раз грозился и мне и другим: «Коли кто из вас вздумает от меня удрать, я пойду за ним вдогонку и где поймаю, тут же изорву в мелкие клочья».

За Изаром есть холм. Там я уселся, стал смотреть на город и горько плакать, что нет у меня больше никого на свете, кто мог бы принять во мне участие. Я решил пойти в Зальцбург или в Вену, в Австрии. Когда я там сидел, едет мимо меня мужик на повозке. Он возил соль в Мюнхен и был уже пьян, даром что солнышко только что встало.

Я попросил его, чтобы он меня подвез. С ним я ехал, пока он не остановился кормить лошадей и самому закусить. Тем временем я обошел деревню за милостыней, потом вышел за околицу, стал его там поджидать, да и заснул. Проснувшись, я снова принялся от всего сердца плакать: я думал, что мужик уже проехал, и так мне это было горько, как будто я родного отца потерял. Но он тут и подъехал, совсем уж пьяный, опять меня посадил и спросил, куда мне надо. Я сказал: «В Зальцбург». Под самый под вечер он свернул с дороги и сказал мне: «Ну, слезай, вот тебе дорога на Зальцбург». За день проехали мы восемь миль; ночевал я в одной деревушке.

Утром, когда я встал, все было покрыто инеем, как будто снег выпал. А на мне не было сапог, одни рваные чулки, и на голове шапки не было, а на теле одна куртка в обтяжку.

Так я пошел в Пассау; оттуда я думал пуститься по Дунаю в Вену. Но когда я пришел в Пассау, то меня туда не впустили. Тогда я решил идти в Швейцарию и спросил у привратника, как мне всего ближе туда пройти. Он сказал: «На Мюнхен». Я отвечал: «На Мюнхен я не хочу; я лучше дам крюку десять миль или того больше». Тогда он посоветовал мне идти на Фрейзинг; там тоже есть университет.

Во Фрейзинге нашел я швейцарцев, и они спросили меня, откуда я явился. Не прошло двух или трех дней, пришел туда Павел с алебардой. Стрелки мне сказали: «Твой вакхант из Мюнхена здесь и тебя ищет». Тогда я пустился за ворота, как будто он уж гнался за мной по пятам, пошел в Ульм и пришел к моей вдове, той самой, что прежде, бывало, грела мне ноги в меху. Она меня к себе приняла; я должен был у нее стеречь репу на поле. Так я и жил и совсем не ходил в школу.

Через несколько недель пришел ко мне один из старых товарищей Павла и говорит: «Брат твой Павел здесь и тебя ищет». Выходит, что он прошел за мной вдогонку 18 миль. Да и немудрено: ведь он потерял во мне хорошее приходское место; я совсем его прокармливал несколько лет. Но как только я это услышал, даром что на дворе была

почти ночь, я пустился за городские ворота к Констанцу и опять горько рыдал: очень уж жаль мне было моей милой хозяйки.

Когда я подходил к Мерсбургу, я повстречал одного каменщика родом из Тургау. На дороге нам попался один молодой мужик. Каменщик мне говорит: «Мужик должен отдать нам свои деньги». Потом он на него закричал: «Мужик! деньги подавай или сто тысяч чертей» и т. д. Мужик струсил, да и мне стало жутко: дорого бы я дал, чтобы меня там не было. Мужик полез в карман за кошельком, а каменщик ему говорит: «Бог с тобой; я ведь так это только пошутил».

Итак, я переправился за озеро в Констанц. Когда я, проходя по мосту, увидел несколько швейцарских мужичков в белых куртках, то, Боже мой, что это была мне за радость! Мне казалось, что я попал в царство небесное.

Пришел я в Цюрих. Там были земляки из Валлиса, большие вакханты; я вызвался им презентовать, а они должны были за это меня учить; но они так же меня учили, как и прежние. Тогда в Цюрихе был кардинал и уговаривал цюрихцев идти с ним к папе; но на деле-то он больше хлопотал о Милане, как это потом оказалось.

Через несколько месяцев Павел прислал туда из Мюнхена своего стрелка Гильдебранда и звал меня к себе назад, обещаясь простить. Но я не захотел и остался в Цюрихе. Только учиться мне и там не приходилось.

Там был один земляк из Валлиса, из Фиспа: звался он Антоний Венец. Он стал меня подговаривать пробраться с ним вместе в Страсбург. Когда мы пришли в Страсбург, то там оказалось множество бедных школьников, а школы хорошей, как нам сказали, не было; за то в Шлетштадте, говорили нам, очень уж хороша школа. Пошли мы в Шлетштадт. По дороге встретился нам один дворянин и спросил нас: «Вы куда?» Услышав, что мы пробираемся в Шлетштадт, он нам отсоветовал это. «Там, – говорил он, – бедных школьников без конца, а богатых людей совсем нет». Тогда мой товарищ принялся горько рыдать: «Куда ж нам теперь деваться?» Я его стал утешать и сказал: «Не унывай! Если в Шлетштадте есть только, с чего одному прокормиться, так я прокормлю нас обоих». Когда мы за милю до Шлетштадта завернули в одну деревню, то там мне сделалось дурно; у меня совсем дух захватило, и мне казалось, что я так и задохнусь; а я объелся зеленых орехов – они тогда падали. Тут мой товарищ опять

принялся рыдать; он думал, что потеряет своего товарища, и совсем не знал, что ему тогда одному делать. А у него еще было с собой 10 крон, у меня же не было ни полушки!

Придя в город, мы поместились у одних старичков: муж был слепой и ходил с палочкой. Потом мы отправились в школу к моему дорогому покойному господину учителю Йоханну Сапиду и стали его просить, чтобы он нами занялся<sup>211</sup>. Он нас спросил, откуда мы. Когда мы сказали: «Из Швейцарии, из Валлиса», – он говорит: «Там живут злостные мужики: выгоняют от себя всех епископов. А с вами вот как будет: если вы станете здорово работать, то я с вас ничего не буду брать, а если нет, так я сниму с вас себе в уплату даже последнюю рубашонку». Это была первая школа, где, как мне показалось, дело шло как следует.

То было время, когда расцветали науки и языки: в этот самый год был в Вормсе рейхстаг. У Сапида раз набралось до 900 учеников: между ними были тонко образованные люди. Там был тогда д-р Иероним Гемузей, д-р Йоханн Худер и еще много других, из коих некоторые стали впоследствии профессорами и известными людьми.

Когда я теперь стал ходить в школу, то я ничего еще не знал, даже не умел читать Доната<sup>212</sup>: а мне уж было 18 лет. Посадили меня с малыми ребятами, и я среди них был словно насадка среди цыплят. Один раз Сапид стал читать список своих учеников и сказал: «Тут у меня много варварских имен, я хочу их немножко облатинить». Он принялся снова его перечитывать, и, дойдя до наших имен, Фома Платтер и Антоний Венец, он их перевел: Thomas Platerus, Antonius Venetus. Потом он спросил: «А кто эти двое?» Когда мы встали, то он сказал: «О, чтоб вам пусто было! два таких паршивых стрелка, и у них такие прекрасные имена!»<sup>213</sup> А это была почти что и правда. Особенно товарищ мой так был паршив, что я иногда по утрам сдирал с него простыню, как шкуру с козы; сам я лучше переносил чужой воздух и пищу.

Пробыли мы там с осени до Троицына дня, но туда набиралось все больше и больше учеников, так что мне не под силу уж стало нас обоих прокармливать, и нам пришлось уйти оттуда в Золотурн. Там была порядочная школа, и насчет еды было лучше; но там столько приходилось торчать в церкви, теряя время, что мы пошли оттуда домой.

Дома я пожил несколько времени. Я ходил в школу к одному священнику, который выучил меня немножко писать и еще кое-чему – не помню уж теперь хорошенько, чему именно. Там пристала ко мне лихорадка, когда я жил в Гренхен у моей тетки Франси. В это же время я за один день выучил азбуке парнишку другой моей тетки: звали его Симон Стейнер. Год спустя он пришел ко мне в Цюрих, потом он пошел учиться в Страсбург, стал со временем *famulus D. Vuceri* и дошел до звания учитель... Он был два раза женат и когда умер, то вся Страсбургская школа по нему плакала.

Следующей весной я пошел опять из дому с двумя братьями. Когда мы пришли к матери прощаться, то она зарыдала и сказала: «Боже милосердый, три у меня сына, и все уходят на чужбину». Это был единственный раз, когда я видел, чтобы мать моя плакала. Она была храбрая, мужественная женщина, но груба. Когда у ней умер третий муж, она осталась вдовой и работала как мужик, чтобы прокармливать детей от последнего мужа. Она и землю копала, и хлеб молотила, и исполняла всякую другую совсем не женскую работу. Во время большой чумы она сама своими руками схоронила троих из детей: а то как чума пойдет валить народ, так могильщики берут дорого. С нами, первыми своими детьми, она была очень груба: оттого-то мы к ней редко и хаживали. Помню, раз я лет пять не был дома, скитался в дальних странах: а когда я к ней пришел, то она с первого же слова на меня закричала: «Какой черт тебя опять принес!» Я отвечал: «Зачем черт? Не черт, матушка, а мои ноги. Да ты не бойся, я не буду долго вам в тягость». Она сказала: «Ты мне не в тягость, но видеть я не могу, как ты шляешься взад и вперед и, конечно, ничему не учишься. Учился бы ты той же работе, что делал твой покойный отец. А священником тебе никогда не бывать: не написано мне на роду такого счастья, чтобы видеть сына священником». Я прожил у нее тогда два или три дня. Раз утром во время сбора винограда выпал большой иней. Помогая собирать виноград, я ел мерзлые ягоды, и меня с этого так раздуло, что я стал кататься по земле и кричать, что лопну. А она стала передо мной и смеялась: «Ну, и лопни, коли хочешь! Вольно же тебе было их есть». Я мог бы привести и много других грубых ее выходок; но со всем тем это была прямая, честная и благочестивая женщина; так про нее все говорили и все ее очень хвалили.



## **Бенвенуто Челлини (1500–1571)**

Ювелир и скульптор из Флоренции, Бенвенуто работал над своим жизнеописанием в 1558–1567 гг. Однако известна читателям эта книга стала лишь в 1728 г. Сочинение отмечено живым романским стилем и непосредственностью «не по эпохе». Рассказ доведен до 1566 г. и оборван.

Бурная жизнь автора вобрала в себя многое – и творческие муки мастера, и увлеченность красками жизни, и тюремное заключение, и стремление к монашескому уединению, и отвержение этого уединения, и периоды кризисов бедности, и славу, подогреваемую собственной рекламой; не прошли мимо него такие реалии повседневности, как чума и наводнение, буря и война, осада и болезни, ссоры и сплетни. Свойственный Возрождению индивидуализм нашел в Челлини своего искреннего приверженца и почитателя.

Свою автобиографию Челлини писал как Жизнеописание Мастера. Поэтому основной упор сделан на историю в человеке творческого начала, причем вполне определенного и развивающегося несмотря на желание отца видеть своего сына в иной профессии.

«Жизнь» оказала значительное влияние на историю автобиографического жанра в XVIII–XIX столетиях. С 1771 г. ее читали в английском переводе. С 1803 г. – в немецком, причем автором немецкого перевода книги был не кто иной, как Гёте. Во Франции Челлини активно пропагандировал и использовал в своих сочинениях Стендаль. С 1848 г. «Записки флорентийского золотых дел мастера» читали в России<sup>214</sup>.

### **Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим**

#### **Книга первая**

III. <...> Повитуха, которая знала, что они ждут его девочкой, обмыв создание, завернув в прекраснейшие белые пелены, подошла тихонечко к Джованни, моему отцу, и сказала: «Я несу вам чудесный подарок, какого вы и не ждали». Мой отец, который был истинный философ, расхаживал и сказал: «То, что Бог мне посылает, всегда мне дорого», – и, развернув пелены, увидел воочию нежданного младенца мужского пола. Сложив престарелые ладони, он поднял вместе с ними очи к Богу и сказал: «Господи, благодарю Тебя от всего сердца, этот мне очень дорог, и да будет он Желанным». Все те лица, которые были при этом, радостно его спрашивали, какое ему дать имя. Джованни ничего другого им не ответил, как только: «Да будет он Желанным (Бенвенуто)». Так решили, такое имя дало мне святое крещение, и так я и живу с помощью Божьей.

IV. Еще был жив Андреа Челлини, мой дед, когда мне было лет уже около трех, а ему перевалило за сто. Однажды меняли некую трубу у водостока, и из него вылез большой скорпион, какового никто не заметил, и из водостока он спустился наземь и ушел под скамью; я его увидел и, подбежав к нему, схватил его руками. Он был такой большой, что, когда я его держал в ручонке, то по одну сторону торчал наружу хвост, а по другую сторону торчали обе клешни. Рассказывают, что я с великим торжеством побежал к деду, говоря: «Посмотри-ка, дедушка, какой у меня красивый рак!» Тот, увидав, что это скорпион, от великого страха и от тревоги за меня чуть не упал замертво; и с великими ласками стал его у меня просить; а я только еще больше сжимал его, плача, потому что никому не хотел его отдавать. Мой отец, который точно так же был дома, прибежал на эти крики и, остолбенев, не знал, чем помочь, чтобы это ядовитое животное меня не убило. Тут ему попались на глаза ножницы; и вот, играючи со мной, он отрезал ему хвост и клешни. После того как он избавился от этой великой беды, он счел это за доброе предзнаменование. Когда мне было лет около пяти и отец мой однажды сидел в одном нашем подвальчике, в каком учинили стирку и остались ярко гореть дубовые дрова, Джованни, с виолой в руках, играл и пел один у огня. Было очень холодно; глядя в огонь, он вдруг увидел посреди наиболее жаркого пламени маленького зверька, вроде ящерицы, каковой развился в этом наиболее сильном пламени. Сразу поняв, что это такое, он велел позвать мою сестренку и меня и, показав его нам, малышам, дал мне

великую затрещину, от каковой я весьма отчаянно принялся плакать. Он, ласково меня успокоив, сказал мне так: «Сынок мой дорогой, я тебя бью не потому, чтобы ты сделал что-нибудь дурное, а только для того, чтобы ты запомнил, что эта вот ящерица, которую ты видишь в огне, это саламандра, каковую еще никто не видел из тех, о ком доподлинно известно». И он меня поцеловал и дал мне несколько кватрино.

V. Начал мой отец учить меня играть на флейте и петь по нотам; и хотя возраст мой был самый нежный, когда маленькие мальчики обычно находят удовольствие в какой-нибудь свистульке и подобных игрушках, я имел к этому неопишное отвращение; однако, единственно чтобы слушаться, играл и пел. <... >

В те времена эти игрецы были все именитейшие мастера, и среди них были такие, которые принадлежали к старшим цехам, шелковому и шерстяному; по этой причине отец мой не гнушался заниматься этим художеством; и величайшим на свете желанием, какое у него имелось на мой счет, это было – чтобы я сделался великим игрецом; а величайшим на свете огорчением, какое я мог иметь, это было, когда он со мной об этом рассуждал, говоря мне, что если бы я захотел, он видит меня таким способным к этому делу, что я стал бы первым человеком в мире. <... >

VII. Когда он мне говорил такие слова, я просил его, чтобы он мне позволил рисовать столько-то часов в день, а все остальное время я готов играть, только чтобы его удовлетворить. На это он мне говорил: «Так значит, ты не любишь играть?» На что я говорил, что нет, потому что это казалось мне искусством гораздо более низким, чем то, которое у меня было в душе. Мой добрый отец, придя от этого в отчаяние, отдал меня в мастерскую к отцу кавалера Бандинелло, каковой звался Микеланьоло, золотых дел мастер из Пинци ди Монте, и был весьма искусен в этом художестве. Никаким родом он не блистал, а был сыном угольщика; это не в упрек Бандинелло, каковой положил основание своему дому, если тот пошел от доброго начала. Как бы оно там ни было, мне сейчас о нем говорить нечего. Когда я там прожил несколько дней, мой отец взял меня от сказанного Микеланьоло, как человек, который не мог жить без того, чтобы не видеть меня постоянно. Так, к своему неудовольствию, я продолжал играть до пятнадцатилетнего возраста. Если бы я захотел описывать

великие дела, которые со мной случились вплоть до этого возраста и к великой опасности для собственной жизни, я бы изумил того, кто бы это читал; но чтобы не быть таким пространным и так как мне многое нужно сказать, я это оставляю в стороне.

Достигнув пятнадцатилетнего возраста, я, вопреки воле моего отца, поступил в золотых дел мастерскую к одному, которого звали Антонио ди Сандро, золотых дел мастер, по прозвищу Марконе. Это был отличнейший работник и честнейший человек, гордый и открытый во всех своих делах. Мой отец не хотел, чтобы он платил мне жалованье, как принято другим ученикам, с тем чтобы я, так как я добровольно взялся исполнять это художество, вдосталь мог рисовать, сколько мне угодно. Это я делал весьма охотно, и этот славный мой учитель находил в этом изумительное удовольствие. Был у него побочный сын, единственный, каковому он много раз ему приказывал, дабы оберечь меня. Такова была великая охота, или склонность, и то и другое, что в несколько месяцев я наверстал хороших и даже лучших юношей в цехе и начал извлекать плод из своих трудов. При этом я не упускал иной раз угодить моему доброму отцу, то на флейте, то на корнете играя; и всегда он у меня ронял слезы с великими вздохами, всякий раз, как он меня слушал; и очень часто я, из любви, его ублажал, делая вид, будто и я тоже получаю от этого много удовольствия.

VIII. Был у меня в ту пору родной брат, моложе меня на два года, очень смелый и прегорячий, который стал потом из великих воинов, какие были в школе изумительного синьора Джованнино де'Медичи<sup>215</sup>, отца герцога Козимо; этому мальчику было лет четырнадцать, а мне на два года больше. Однажды в воскресенье, около 22 часов, он был между воротами Сан Галло и воротами Пинти, и здесь он повздорил с неким юнцом лет двадцати, со шпагами в руках; он так ретиво на него наступал, что, люто его ранив, продолжал теснить. При этом присутствовало великое множество людей, среди которых было немало его родичей; и, видя, что дело идет по скверному пути, они схватили множество пращей, и одна из них попала в голову бедному мальчику, моему брату; он тотчас упал наземь, без чувств, как мертвый. Я, который случайно находился тут же, и без друзей, и без оружия, кричал брату, как только мог, чтобы он уходил, что того, что он сделал, хватит; покамест не случилось, что он, таким вот образом, упал, как мертвый. Я тотчас же подбежал, и схватил его шпагу, и стал

перед ним и против нескольких шпаг и множества камней; я не отходил от брата, пока от ворот Сан Галло не подошло несколько храбрых солдат и не избавили меня от этого великого неистовства, много дивясь тому, что в такой молодости такая великая храбрость. Так я отнес моего брата домой, как мертвого, и, прибыв домой, он пришел в себя с великим трудом. Когда он выздоровел, Совет Восьми<sup>216</sup>, который уже осудил наших противников и выслал их на несколько лет, также и нас выслал на полгода за десять миль. Я сказал брату: «Иди со мной»; и так мы расстались с бедным отцом, и, вместо того, чтобы дать нам сколько-нибудь денег, потому что у него их не было, он дал нам свое благословение. Я отправился в Сиену, разыскать некоего почтенного человека, который звался маэстро Франческо Касторо; и благо я как-то раз, убежав от отца, пришел к этому честному человеку и пробыл у него несколько дней, пока за мной не прислал отец, занимаясь золотых дел мастерством, то сказанный Франческо, когда я к нему явился, тотчас же меня узнал и приставил к делу. Когда я таким образом принялся работать, сказанный Франческо дал мне жилье на все то время, что я пробуду в Сиене; и там я поселил моего брата и себя и занимался работой много месяцев. Брат мой знал начатки латыни, но был такой молоденький, что не вошел еще во вкус науки и только и делал что гулял.

IX. В это время кардинал де Медичи, каковой впоследствии стал папой Климентом, возвратил нас во Флоренцию, по просьбе моего отца. Некий ученик моего отца, движимый собственным зломыслием, сказал названному кардиналу, чтобы тот послал меня в Болонью учиться хорошо играть к одному мастеру, который там был; каковой звался Антонио, действительно человек искусный в этом игрецком искусстве. Кардинал сказал моему отцу, что если тот меня туда пошлет, то он даст мне в помощь сопроводительные письма. Отец мой, которому этого до смерти хотелось, послал меня; я же, будучи не прочь увидеть свет, отправился охотно. Прибыв в Болонью, я стал работать у одного, которого звали маэстро Эрколе дель Пиффери, и начал зарабатывать; и в то же время я каждый день ходил на урок музыки и в короткие недели достиг весьма больших успехов в этой проклятой музыке; но гораздо больших успехов достиг я в золотых дел мастерстве, потому что, не получив от сказанного кардинала никакой помощи, я поселился у некоего болонского миниатюрщика, которого

звали Шипионе Каваллетти; жил он в улице Баракканской Божьей Матери; и здесь я рисовал и работал для одного, которого звали Грациадио, иудей, у которого я очень хорошо зарабатывал. Полгода спустя я вернулся во Флоренцию, где этот Пьерино флейтщик, когда-то бывший учеником моего отца, был этим очень недоволен; я же, чтобы угодить моему отцу, ходил к нему на дом и играл на корнете и на флейте вместе с его родным братом, имя которому было Джироламо, и был он на несколько лет моложе сказанного Пьеро и был очень порядочный и хороший юноша; полная противоположность своему брату. Как-то раз, среди прочих, зашел к этому Пьеро мой отец, послушать нашу игру; и, придя в превеликое удовольствие от моей игры, сказал: «Я все ж таки сделаю изумительного игрока наперекор тем, кто хотел мне помешать». На это Пьеро ответил, и сказал правду: «Гораздо больше пользы и чести извлечет ваш Бенвенуто, если он займется золотых дел мастерством, вместо этого дуденья». От этих слов мой отец пришел в такое негодование, видя, что также и я того же мнения, что и Пьеро, что с великим гневом сказал ему: «Я всегда знал, что это ты мне препятствовал в этой моей столь желанной цели, и это ты сделал так, что меня устранили с моего места во дворце, платя мне той великой неблагодарностью, которой принято вознаграждать великие благодеяния. Я тебе его добыл, а ты его у меня отнял; я тебя научил играть и всем искусствам, которые ты знаешь, а ты препятствуешь моему сыну исполнить мою волю; но держи в памяти эти пророческие слова: не пройдет, я не говорю лет или месяцев, но и нескольких недель, как за эту твою столь бесчестную неблагодарность ты провалишься». На эти слова Пьерино возразил и сказал: «Маэстро Джованни, большинство людей, когда состарятся, вместе с этой самой старостью дуреют, как сделали и вы; и я этому не удивляюсь, потому что вы наищедрейше роздали все свое имущество, не подумав о том, что вашим детям оно может понадобиться, тогда как я думаю сделать как раз наоборот, оставить своим детям столько, чтобы они могли помочь и вашим». На это мой отец ответил: «Худое дерево никогда не приносило доброго плода, а наоборот; и еще я тебе скажу, что ты — худой человек, и дети твои будут безумные и бедные и придут за подаванием к моим дельным и богатым детям». Так он ушел из его дома, и оба они бурчали друг другу неистовые слова. Тут я, который стал на сторону моего доброго отца, выйдя из этого дома вместе с ним,

сказал ему, что хочу отомстить за оскорбления, которые этот негодяй ему учинил, с тем, чтобы вы мне позволили заниматься рисованием. Мой отец сказал: «О дорогой сын мой, я тоже был хорошим рисовальщиком; но для прохладения от этих столь удивительных трудов и из любви ко мне, который тебе отец, который тебя родил, и вскормил, и положил начало стольким достойным дарованиям, на отдыхе от них, неужели ты мне не обещаешь взять иной раз эту самую флейту и этот нежнейший корнет и, к некоторому усладительному своему удовольствию, услаждая себя, поиграть?» Я сказал, что да, и весьма охотно, из любви к нему. Тогда добрый отец сказал, что эти самые дарования будут наибольшей мезью, которую за оскорбления, понесенные от его врагов, я бы мог учинить. <... >

Х. Меж тем я занимался золотых дел мастерством и им помогал моему доброму отцу. Другому своему сыну и моему брату, по имени Чеккино, как я сказал выше, преподав ему начатки латинской словесности, потому что он желал сделать меня, старшего, великим игроком и музыкантом, а его, младшего, великим ученым законоведом, не в силах будучи побороть того, к чему нас склоняла природа, которая сделала меня приверженным к изобразительному искусству, а моего брата, который был прекрасного сложения и изящества, всецело склонным к ратному делу; и будучи еще очень молоденьким, уйдя однажды после первого урока в школе изумительнейшего синьора Джованнино де'Медичи<sup>217</sup>; придя домой, когда меня не было, будучи хуже снабжен платьем и застав своих и моих сестер, которые, тайком от моего отца, дали ему мой плащ и камзол, отличные и новые, потому что, помимо помощи, которую я подавал моему отцу и моим добрым и честным сестрам, я от сбереженных моих трудов сделал себе это пристойное платье; видя себя обманутым и что у меня отняли сказанное платье, и не находя брата, ибо я хотел его у него отнять, я сказал моему отцу, почему он позволяет, чтобы мне чинили такую великую несправедливость, когда я так охотно утруждаюсь, чтобы ему помочь. На это он мне ответил, что я его добрый сын, а что этого он обрел, какового думал, что утратил; и что необходимо и даже самим Богом предписано, чтобы, у кого есть добро, давал тому, у кого нет; и чтобы ради любви к Нему я снес эту обиду; что Бог воздаст мне всяких благ. Я, как юноша неопытный, возразил бедному удрученному отцу; и, взяв некий мой скудный остаток платья и денег, пошел к

одним из городских ворот; и не зная, какие ворота те, что приведут меня в Рим, попал в Лукку, а из Лукки в Пизу. Придя в Пизу – было мне тогда лет шестнадцать, – остановившись возле среднего моста, где так называемый Рыбий камень, перед лавкой золотых дел мастера, смотря со вниманием, что этот мастер делает, сказанный мастер меня спросил, кто я такой и какое мое ремесло: на что я сказал, что работаю немного в том же самом искусстве, которым занят и он. Этот честный человек сказал мне, чтобы я вошел к нему в лавку, и тотчас же дал мне работу, и сказал такие слова: «По твоему славному виду я заключаю, что ты честный и хороший». И он выложил передо мной золото, серебро и камни; а когда я отработал мой первый день, то вечером он привел меня в свой дом, где он жил пристойно с красивой женой и детьми. Вспомнив о том горе, которое мог иметь из-за меня мой добрый отец, я ему написал, что я живу у очень доброго и честного человека, какового зовут маэстро Уливьери делла Кьостра, и выделяваю у него много прекрасных и больших работ; и чтобы он был спокоен, что я прилежно учусь и надеюсь этими знаниями вскоре принести ему пользу и честь. <...>



## Джироламо Кардано (1501–1576)

Итальянский медик и математик, философ, инженер и писатель, автор знаменитого энциклопедического труда «о тонких материях», нескольких десятков тысяч изобретений и решенных научных, инженерных, медицинских проблем. Считая себя в основном медиком, Кардано оставил тем не менее обширное научное наследие в математике и других науках и искусствах.

Свою автобиографию Кардано писал в возрасте 75 лет, уже после смерти сына в 1560 г. и после тюремного заключения в 1570 г. Работая над собственным жизнеописанием, он решал вопрос: неудачник ли он или, напротив, его жизнь «удалась»? Джироламо глубоко убежден в детерминированности своей жизни, он верил в предопределенность судьбы. Эта вера побуждала его разобраться в своей биографии и объяснить течение своей жизни. Склонность к медицине еще больше усиливала потребность в самопознании и самоанализе. Кардано был склонен размышлять о превратностях своей судьбы, опираясь на мельчайшие факты своей жизни, каждый из которых получал свое место в общей картине и свое объяснение. Параллельно с произведением «О моей жизни» (“*De vita propria*”) Кардано работал над сочинением «О собственных книгах» (“*De libris propriis*”). В одном он осмыслил собственную жизнь, в другом – собственное творчество<sup>218</sup>.

### О моей жизни

Имея в виду, что из всего того, что может быть достигнуто человеческим умом, нет ничего отраднее и достойнее познания истины и что ни одно из созданий смертных людей не может быть завершено, не подвергнувшись хотя бы в малой степени клевете, – мы, по примеру мудрейшего и, без сомнения, совершеннейшего мужа Антонина Философа<sup>219</sup> решили написать книгу о собственной жизни. Мы заверяем, что ничего не внесли в нее ради хвастовства или из желания что-нибудь приукрасить, но составили ее, изложив в ней, насколько

было возможно, как те события, свидетелями коих были наши ученики – главным образом, Эрколе Висконти, Паоло Эйфомиа и Родольфо Сельватико, так и записанные нами исторические события...

Сделать это, не заслуживая никакого порицания, допустимо не только Иудею<sup>220</sup>, но и всякому человеку; что же касается меня, то хотя события моей жизни не представляют собою чего-нибудь исключительно важного, однако многие из них поистине достойны удивления.

Сочинение наше, без всяких прикрас, не предназначенное никому служить поучением и заключаая в себе рассказ об истинных происшествиях, является описанием подлинной жизни и изложено без всякого беспорядка... Мы следуем примеру древних, а не затеваем чего-либо нового или нами самими измышленного. <... >

Итак, я родился – а вернее, был извлечен из чрева матери – с курчавыми черными волосами и без признаков жизни; меня привели в чувство лишь ванной из теплого вина, что для другого могло бы оказаться гибельным; но тем не менее я выжил. Мать моя мучилась родовыми схватками целых три дня подряд.

... У меня обнаружилось неправильности только в половых органах: случилось так, что я в возрасте от двадцати одного до тридцати одного года оказался неспособен к совокуплению с женщинами и часто горько оплакивал свою участь, завидуя судьбе других людей. И хотя, как я сказал, во всем моем гороскопе господствовала Венера и в асценданте<sup>221</sup> был Юпитер, тем не менее я был обездолен судьбой: я оказался несколько косноязычен; кроме того, у меня обнаружилось предрасположение (как говорит Птолемей<sup>222</sup>), среднее между холодным и гарпократическим<sup>223</sup>, то есть способность к стремительному и необузданному угадыванию будущего; эта моя особенность (которую называют более лестным словом «предвидение») обнаруживалась во мне с немалой силой, так же как и способность к другим видам гадания. А благодаря тому что Венера и Меркурий находились под лучами Солнца, сообщая ему всю полноту своей силы, из меня мог бы выйти весьма незаурядный человек, даже при такой (как указывает Птолемей) несчастной и неблагоприятной генитуре<sup>224</sup>, если бы только Солнце не оказалось в совершенном упадке, заходя в шестом месте и низвергаясь со своей высоты.

В результате всего этого мне остались присущи некоторая хитрость и отсутствие свободы духа, а вместе с тем склонность к опрометчивым и необдуманым решениям. Одним словом, из меня вышел человек, лишенный телесных сил; у меня было мало друзей, незначительное наследство и множество врагов, многих из которых я даже не знаю ни по имени, ни в лицо; мне недоставало житейской мудрости, память у меня была слаба, и только предусмотрительности было у меня несколько больше. Поэтому мне непонятно, почему мои свойства, которые должны считаться значительно ниже свойств моей семьи и предков, врагами моими признавались выдающимися и даже вызывали их зависть. <... >

Помимо вспыльчивости, оба мои родителя имели еще ту общую черту, что они были мало постоянны в своей любви к сыну, хотя оба были снисходительны ко мне до такой степени, что мой отец позволял мне, или даже прямо приказывал, не вставать с постели раньше второго часа дня<sup>225</sup>, что содействовало в значительной мере сохранению моей жизни и укреплению моего здоровья. Позволю себе еще добавить, что отец казался более добрым ко мне и более нежно любил меня, чем мать. <... > ... Нет ничего такого, что не было бы единственным в своем роде.

Итак, я родился в Павии, и мне еще не минуло и одного месяца, когда я потерял свою кормилицу, умершую (как я слышал) от чумы в первый же день болезни. Ко мне вернулась мать, а у меня на лице вскочило пять нарывов, расположенных в виде креста, причем один приходился на кончике носа. На тех же местах, где были нарывы, три года спустя появилось такое же число прыщей, называемых оспинами. Еще не истек второй месяц моей жизни, как меня, голого, после ванны из теплого уксуса, Исидоро деи-Рести, павийский патриций<sup>226</sup>, передал кормилице, которая увезла меня с собою в Мойраго (местечко, расположенное в семи милях от Милана на большой дороге, ведущей из нашего города прямо на селение Бинаско и оттуда в Павию). Так как я там стал сверх меры худеть, причем, однако, живот мой вздулся и стал твердым, и так как было признано, что причиной этого является беременность кормилицы, – я был передан другой, более подходящей; я был отнят от ее груди на третьем году. На четвертом году я был перевезен в Милан, где пользовался более внимательным уходом на руках то матери моей, то моей тетки Маргариты – ее сестры,

женщины, которая, я уверен, была совершенно лишена желчи<sup>227</sup>. Это, однако, не мешало тому, что меня иной раз либо отец, либо мать секли безо всякой причины, после чего я всегда заболел с опасностью для жизни. Наконец я достиг семилетнего возраста, и мои родители (которые тогда еще не жили вместе)<sup>228</sup> решили впредь меня не сечь, даже если бы я того и заслуживал. Однако даже после этого злая участь не миновала меня, и хотя характер моих злоключений изменился, но они не прекратились. Отец мой, наняв дом, поместил меня в нем вместе с моей матерью и теткой; теперь он начал настаивать на том, чтобы я повсюду сопровождал его, несмотря на слабость моего телосложения, на мое малолетство и на неблагоприятное действие, какое мог оказать на меня такой переход от полнейшего покоя к усиленному и почти непрерывному движению; тогда мне едва минуло семь лет; понятно, что я заболел жестоким поносом с лихорадкой; болезнь эта в нашем городе была в то время эпидемической, хотя и не заразной; а я еще украдкой объелся большим количеством незрелого винограда... Я выздоровел как раз в то время, когда французы, победив на берегах реки Адды венцианские войска<sup>229</sup>, устроили по случаю своей победы празднества, на которые мне позволено было смотреть из окна нашего дома. Одновременно прекратилась и обязанность моя всюду сопровождать моего родителя, и связанное с этим постоянное напряжение сил. Но так как гнев Юноны еще не был удовлетворен<sup>230</sup>, то, не оправившись как следует от перенесенной болезни, я свалился с лестницы (мы жили тогда на улице Майнов), причем ударился головой о молоток, вследствие чего верхняя левая часть лба была сильно ушиблена и рассечена, с повреждением черепа; шрам от этого ранения остался и до настоящего времени. Едва только я оправился после этого несчастного случая, как на меня, когда я сидел на пороге нашего дома, упал сорвавшийся с высокой крыши соседнего дома камень, размером с крупный грецкий орех, но не тяжелый, вроде как пробка; он сорвал мне кожу на темени слева, там, где волосы росли более густо, чем в других местах. Считаю, что дом, где мы жили, приносит одни несчастья, мой отец, когда мне пошел десятый год, обменял его на другой, насупротив, на той же улице; здесь я прожил целых три года.

Но и с переменой дома участь моя не изменилась; вследствие странного упорства – чтобы не сказать жестокости – моего отца, он

снова стал таскать меня всюду за собой как слугу; однако, если принять во внимание то, что случилось со мной впоследствии, это произошло скорее по божественному соизволению, чем по вине отца, тем более что моя мать и тетка были с ним вполне согласны<sup>231</sup>. Впрочем, он стал обращаться со мной снисходительнее, когда взял к себе одного за другим двух своих племянников; благодаря тому что они ему прислуживали, мое положение стало гораздо легче, так как мне или совсем не приходилось ему сопутствовать, или же я сопровождал его вместе с одним из них. <... >

Из болезней, перенесенных мною по несчастной случайности, первую следует назвать чуму, которую я захватил, когда мне было всего два месяца. Во второй раз я заболел ею, не помню точно – на восемнадцатом году или же после того как мне исполнилось восемнадцать лет; знаю только, что случилось это со мной в августе месяце и что я три дня оставался почти без всякой пищи, бродя по предместьям и садам, а вечером возвращался домой; дома я лгал, уверяя, что я обедал у друга моего отца Агостино Лавициарио. В течение этих трех дней, я не сумею сказать, какое количество воды я выпил<sup>232</sup>. <... >

Припадки у меня были разнообразны. Укажу прежде всего на то, что с семи до двенадцати лет я с криком просыпался ночью, произнося непонятные слова, и если бы мать или тетка, между которыми я спал, не держали меня, я часто сваливался бы на пол. После этих припадков меня сильно било в сердце; но оно вскоре успокаивалось, когда я прижимал его рукой; это является признаком расширения сердца. В тот же период моей жизни и вплоть до восемнадцатилетнего возраста со мной происходило следующее: как только я пытался идти против ветра, в особенности холодного, у меня захватывало дыхание; если же я из предосторожности задерживал дыхание, то это проходило. В это же время, с того часа, как я укладывался в постель, и до конца шестого часа мне никогда не удавалось согреть ног ниже колен; вот почему моя мать, особенно в разговорах с другими женщинами, считала невероятным, чтобы я прожил долго. Кроме того, в некоторые ночи, после того как я согревался, у меня появлялась по всему телу такая горячая и обильная испарина, что те, кто об этом слышали, отказывались этому верить.

<... > С самого раннего возраста я утвердился в решении заботиться об устройении своей жизни. Занятия же медициной скорее и ближе вели к намеченной мною цели, чем профессия юриста; кроме того, медицина одинаково пригодна для всего земного шара и для всех веков; она опирается на доказательства более ясные и менее зависящие от мнения отдельных людей, сообразные с разумом, то есть с вековечным законом природы; вот почему я и посвятил себя ей, а не юриспруденции. <... >

Мне неизвестно, что природа создала меня вспыльчивым, непосредственным и любострастным; из этих свойств, как из источника, проистекли, между прочим, гордость, упорство в спорах, суровость, неосторожность, склонность к гневу и чрезмерная мстительность; последняя побуждала к таким поступкам, которые многие (правда, только на словах) предают проклятью, но

Жизни приятней самой представляется радость отмщенья.

<... > В раннем детстве, когда мне было около девяти лет, мой отец обучал меня дома началам арифметики и некоторым тайным знаниям, неизвестно откуда почерпнутым им. Вскоре после того он начал учить меня и арабской астрологии и, вместе с тем, пытался искусственным образом развить мою память, но я оказался совершенно неспособен к этому упражнению. По наступлении двенадцатилетнего возраста он же заставил меня изучать первые шесть книг Евклида, но при этом не трудился объяснять мне то, что я мог понять сам. Вот те знания, которые я приобрел без помощи школьного обучения и без знания латинского языка<sup>233</sup>. <... >

Первым признаком, свидетельствовавшим о моей природной, так сказать, аномалии, было самое появление мое на свет с длинными черными и курчавыми волосами; в этом, конечно, не было особого чуда, но тем не менее это было явно ненормально; но самым существенным было то, что я явился на свет без признаков жизни.

Второй признак сказался на четвертом году моей жизни и проявлялся в течение почти трех лет. По предписанию отца я оставался в постели до третьего часа дня, а если просыпался раньше, то все время, остававшееся до указанного срока, проводил в блаженном созерцании всегда и неизменно являвшихся мне образов. Образы эти были разнообразны и являлись в виде каких-то воздушных тел, они казались состоящими из каких-то мельчайших воздушных колечек

вроде колечек кольчуг, хотя я тогда еще ни разу не видал кольчуги. Они поднимались с правого угла в ногах моей кровати, медленно сходя полукругом к левому углу, и здесь пропадали совершенно. Появлялись замки, дома, животные, всадники верхом на лошадях, растения, деревья, музыкальные инструменты, театры, люди, одетые в разнообразные одежды и разного вида, главным образом трубачи, как будто игравшие на трубах, но не издавая при этом никакого звука; затем видел я воинов, толпы народа, поля и такие предметы, которых я и по сей день никогда не встречал; луга, леса и множество других вещей, которых я уже не могу и припомнить; и хотя одновременно скоплялось множество образов, но так, что они не смешивались, а лишь спешили сменить друг друга. Все они были прозрачны, так что могло казаться, что их вовсе нет, и вместе с тем они были и не настолько плотны, чтобы сквозь них не было ничего видно. Сами кольца, из которых они казались составленными, были темнее, а пространство между ними было прозрачно. Я с большим увлечением предавался этому созерцанию и с таким напряженным вниманием следил за возникавшими чудесными образами, что как-то тетка моя спросила меня, уж не вижу ли я чего-нибудь? Как ни был я еще мал, но сообразил, что, если я признаюсь, она может рассердиться, запротестует против этого великолепия и лишит меня этой радости: ведь мне являлись и всякие цветы, и животные, и всевозможные птицы, хотя и были они лишены окраски, так как состояли из воздуха. Поэтому я, никогда не имевший привычки лгать, ни в юности, ни в старости, долго молчал, прежде чем ей ответить. Тогда она опять спросила меня: «На что же это ты, сынок, так пристально смотришь?» Не помню уж, что я ей ответил, а вернее даже совсем ничего не сказал<sup>234</sup>.

Третьей моей особенностью было указанное мною выше свойство, что у меня никак до самого утра не могли согреться ноги ниже колен. Четвертой особенностью было то, что я во сне обливался горячей и обильной испариной. Пятая особенность заключалась в том, что я очень часто стал видеть во сне петуха и боялся, как бы он не заговорил человеческим голосом, что вскоре после случилось: петух стал произносить какие-то угрожающие слова, но я не помню, что именно он говорил во всей этой смене сновидений. Как перья, так и гребешок, и борода у петуха были красные, а видел я его, думаю, раз сто.

Впоследствии, с наступлением юности, все эти видения прекратились...



## Св. Тереса Авильская (1515–1582)

Тереса из Авилы, или Тереса Иисусова – одна из самых известных женщин-мистиков и одновременно одна из самых авторитетных духовных наставниц Римско-католической Церкви<sup>235</sup>. Она была инициатором реформы ордена кармелитов и основательницей новых монашеских обителей, христианской писательницей, чей духовный опыт общения с Богом через умственную молитву приобрел широкое признание сначала в Испании, а затем и в остальном католическом мире. В 1622 г. Тереса была канонизирована Римской церковью, позднее стала почитаться как небесная покровительница Испании, а в 1970 г. папой Павлом VI она была признана первой женщиной – Учителем Католической церкви.

Большую часть литературного наследия Тересы составляют сочинения духовного содержания, передающие ее личный религиозный опыт. К ним относится и «Книга жизни», написанная между 1562 и 1565 гг. Это сочинение – один из самых замечательных образцов христианской автобиографии, сравнимый по своей глубине, искренности и выразительности с «Исповедью» св. Августина. В первых девяти его главах автор последовательно рассказывает о своих благочестивых родителях, событиях и душевных переживаниях своего детства и юности. За ними следует переходная десятая и целых двенадцать глав (11–22) рассуждений о четырех ступенях молитвы. Эта вторая часть написана особым, наполненным аллегориями языком. Четыре ступени молитвы предстают в ней как четыре различных способа возделывания сада. Первая ступень – молитва раздумий «для тех, кто начинает» (гл. 11–13), вторая – молитва сосредоточения и покоя (гл. 14–15), третья – молитва мечты о даровании сил (гл. 16–17), четвертая – молитва единения с Богом (гл. 18–22). Третья часть (гл. 23–31) описывает путь к достижению мистического союза с Господом. Хотя она в определенном смысле и вытекает из второй, составляющей ее доктринальную основу, очевидно, что Тереса придает ей особое значение. Она говорит, что это фактически новая книга с иным сюжетом: раньше она рассказывала о себе, теперь об открывшемся в

ней Боге (26, §1). В четвертой части (гл. 32–36), добавленной к книге через три года после окончания ее первой редакции, говорится об основании монастыря св. Иосифа как земном воплощении мистического опыта Тересы. Это как бы продолжение автобиографической темы, прерванной в 10й главе. Наконец, завершает автор свою книгу описанием новых милостей, полученных ею от Господа, и отзвука, который они нашли в ее душе (гл. 37—40).

При жизни Тересы «Книга жизни» (как и другие сочинения) не была опубликована, более того, она едва не попала на костер вследствие преследований со стороны инквизиции. Борьба вокруг оценки деятельности и учения Тересы продолжалась и после ее смерти, то затихая, то снова оживая, пока, наконец, растущая слава монахини не вынудила инквизицию отступить. К началу 1590-х годов ее сочинения приобрели чрезвычайно широкую известность, и разнеслась весть, что тело Тересы не подвергается тлению. Однако только после завершения процесса канонизации, спустя 40 лет после смерти монахини, «Книга жизни» и ее автор окончательно избавились от тяжелых обвинений со стороны церковных ортодоксов.

Язык Тересы в «Книге жизни» прост и сложен одновременно. Он напоминает устную речь не слишком образованного человека, который искренне стремится рассказать простыми словами о сложнейших вещах: едва уловимых движениях души, изнурительной внутренней борьбе, трудном пути к Богу через обретение молитвы, наконец, о мистическом озарении и обретении Господа. Тереса совсем не заботится о своем стиле: пишет быстро, никогда не исправляя написанное – буквально «как Бог на душу положит». Такая не совсем обычная писательская манера создает множество трудностей для читателя: в тексте сочинения немало «темных» мест, повторов, двусмысленностей, противоречий. Но одновременно она неожиданно рождает страницы удивительной по силе и совершенству глубоко проникновенной прозы. Переводчики стремились, насколько это возможно, передать все особенности языка «Книги жизни»<sup>236</sup>.

## **Книга жизни**

### **Пролог И. X**

1. Поскольку мне повелели и дали<sup>237</sup> большую свободу описывать способ молитвы и милости, которые мне явил Господь, я бы хотела, чтоб мне ее дали [и] для очень подробного и ясного рассказа о моих великих грехах и недостойной жизни. Это дало бы мне большое утешение. Но [этого] не было изволено, напротив, меня в этом очень ограничили.

И потому молю во имя любви к Господу, чтобы тот, кто читает этот рассказ о моей жизни, помнил, что она была столь недостойной, что среди всех святых, которые обратились к Богу, я не могу найти никого, кто бы мог меня утешить; потому что я сознаю, что после того, как Господь их призывал, они больше не ранили Его. Я [же] не только становилась хуже, но даже, кажется, научилась противиться дарам, которыми Его Величество меня наградило, подобно тому, который знает, что ему следует служить более усердно, но ему кажется, что он не может заплатить даже малую часть из того, что должен.

2. Да будет благословен вовеки Тот, Кто так долго меня ждал, Кого я всем сердцем молю даровать мне милость, чтобы я с наибольшей ясностью и правдивостью написала этот рассказ, как мне повелели мои духовники; и хотя сам Господь, я знаю, давно этого желал, я на это не решалась; и да будет это во имя Его славы и хвалы и во имя того, чтобы с этих пор они, узнав меня лучше, поддержали меня в моей слабости, для того чтобы я смогла послужить хотя бы чем-то из того, что должна Господу, Которому вечная хвала за все, аминь.

## Глава 1

### **В которой идет речь о том, как начал Господь побуждать эту душу в детстве к добродетелям, и о помощи в этом обладающих ими родителей**

1. Иметь родителей добродетельных и боящихся Бога<sup>238</sup>, притом что Господь покровительствовал моему благочестию, мне было бы довольно<sup>239</sup>, если б я не была столь испорченной. Был мой отец привержен чтению благочестивых книг<sup>240</sup>, и таковые он имел на

испанском, для того чтобы их также могли читать его дети. Вместе с заботой, с которой моя мать приучала нас к молитве и внушала нам почтение к нашей Госпоже и некоторым святым, это стало пробуждать меня<sup>241</sup> в возрасте, мне кажется, шести или семи лет.

2. Мне помогало то, что я не видела в моих родителях иной склонности, кроме как к добродетелям. Обладали [же] они многими.

Был мой отец человеком очень милосердным к беднякам и сострадательным к больным, и даже к слугам; настолько, что его никогда не могли убедить иметь рабов<sup>242</sup>, ибо к ним он испытывал великую жалость; и когда одна [рабыня] одного из его братьев как-то находилась в доме, лелеял ее, как своих детей; говорил, что то, что она несвободна, вызывает у него нестерпимую жалость. Ему была присуща великая правдивость. Никогда никто не видел, чтобы он бранился или злословил. [Был] очень, в высшей степени, честен.

3. Моя мать также имела много добродетелей, и прожила она свою жизнь в великих болезнях. Была величайшего целомудрия: будучи очень красивой, она никогда не давала ни малейшего повода полагать, что придает этому значение; ибо когда она умерла в возрасте тридцати трех лет, ее одежды были уже как у старого человека. Очень [была] кроткой и большого ума. Велики были испытания, которыми сопровождалась ее жизнь. Умерла она очень по-христиански<sup>243</sup>.

4. Нас было трое сестер и девять братьев. Все, по милости Божьей, походили на своих родителей в добродетели, кроме меня, хотя я была более других любима моим отцом. И, до того как я начала ранить Бога, мне кажется, для этого имелись некоторые основания; ибо я сожалею, когда вспоминаю о тех благих наклонностях, которые мне даровал Господь, и о том, как дурно я сумела ими распорядиться.

5. Так вот, мои братья и сестры никоим образом не препятствовали моему служению Богу. У меня был один [брат] почти моего возраста (мы собирались вместе, чтобы читать жития святых), каковой был тем, кого я любила больше других<sup>244</sup>, хотя ко всем чувствовала большую любовь, а они – ко мне. Когда я узнала о страданиях, которые за Бога терпели святые женщины, мне показалось, что они покупали путь к обладанию Богом весьма дешево, и я очень хотела умереть так же, не из любви, которую я к Нему сознательно испытывала, а чтобы поскорее овладеть великими благами, которые, как я читала, есть на небесах, и я вместе с этим моим братом обсуждала, каким способом

этого достичь. Мы договорились идти в страну мавров, прося из любви к Богу<sup>245</sup>, чтобы там они нас обезглавили. И мне кажется, что Господь в таком нежном возрасте дал нам достаточно духа, если бы только мы видели какую-нибудь возможность [это совершить], но то, что мы имеем родителей, нам казалось главным препятствием. В том, что мы читали, нас сильно поразило высказывание, что страдание и слава навсегда. Нам случалось часто говорить об этом, и нам нравилось много раз повторять: навсегда! навсегда! навсегда! Через многократное произнесение этого Господу было угодно, чтобы во мне в этом детском возрасте был запечатлен путь истинный.

6. Когда я увидела, что невозможно идти туда, где я могу отдать жизнь за Бога<sup>246</sup>, мы порешили стать отшельниками; и в саду, который находился при доме, начали, как могли, делать убежища, складывая камешки, которые потом на нас падали, и так в нашем стремлении мы не находили никакого успокоения; сейчас же меня приводит в трепет воспоминание о том, как рано дал мне Бог то, что я потеряла по собственной вине. Я подавала милостыню, сколько могла, а могла мало. Стремилась к одиночеству, чтобы читать свои молитвы, каковых было много, особенно молитву Деве Марии, которую очень почитала моя мать, так что приучила к ней [и] нас. Мне очень нравилось, когда я играла с другими девочками, изображать монастырскую жизнь, как будто мы монахини; и, мне кажется, я желала этого, хотя не так сильно, как того, о чем рассказала раньше<sup>247</sup>.

7. Я помню, что, когда умерла моя мать, мне было двенадцать лет, чуть меньше<sup>248</sup>. Когда начала я понимать, что потеряла, отправилась в печали к одному образу нашей Госпожи и молила ее со многими слезами стать моей матерью. Мне кажется, что, хотя я поступила простодушно, это мне помогло; ибо я ясно ощущала ласку этой Всевышней Девы, когда я вверялась ей, и в конце концов она приняла меня к себе. Сейчас мне тяжело думать и гадать, почему я не была стойка в благих устремлениях, с которых начинала.

8. О Господь мой! Раз, как будто, Вы решили меня спасти – да будет это угодно Вашему Величеству – и явить мне такие милости, какие Вы мне явили, почему не соблаговолили – не ради моей выгоды, но ради Вашей славы, – чтобы я не замарала грязью обитель, в которой Вы так долго пребывали? Мне доставляет мучение, Господи, даже произносить это, потому что знаю, что вина была целиком моя,

поскольку, мне кажется, Вы не могли сделать ничего больше для того, чтобы с этого возраста я была целиком Ваша. Когда б я захотела обижаться на своих родителей – тоже не могу, потому что не видела от них ничего, кроме добра и большой заботы обо мне.

Потом, выходя из этого возраста, я начала понимать, какие природные блага даровал мне Господь<sup>249</sup> (коих, как говорили, было много), и в то время как за них мне следовало Его благодарить, я стала употреблять их Ему во вред, как сейчас расскажу.

## Глава 2

### **Ведет речь о том, как были утрачены эти добродетели, и что в детстве важно иметь дело с добродетельными людьми**

1. Мне кажется, что стало приносить мне много вреда то, о чем сейчас скажу. Я иногда задумываюсь, как дурно поступают родители, не заботясь о том, чтобы их дети всегда видели перед собой вещи, достойные во всех отношениях; потому что, хотя моя мать была столь добродетельной, как я сказала<sup>250</sup>, я, входя в сознательный возраст, взяла из этой добродетельности немного, почти ничего, а дурное мне очень навредило. Она увлекалась книгами о рыцарях<sup>251</sup>, но это времяпрепровождение не принесло ей такого вреда, как принесло мне, ибо она не оставляла свои труды, а мы домогались их читать [все время]. И вероятно, она это делала, чтобы не думать о тех великих тяготах, которые она испытывала, и занять своих детей, дабы они не увлеклись иными дурными вещами. Это так огорчало моего отца, что следовало остерегаться, чтобы он этого не увидел. Я стала привыкать к их чтению, и этот маленький недостаток, который я в ней (то есть матери – *Примеч. пер.*) видела, начал охлаждать мои благие устремления и начал вовлекать в другое; и мне казалось, что нет ничего дурного в том, чтобы проводить за столь легкомысленным занятием много часов днем и ночью, хотя и втайне от моего отца. И

так глубоко я погрузилась в это, что, если у меня не было новой книги, мне казалось, не было и радости.

2. Я стала носить украшения и хотеть нравиться своим видом, много заботясь о руках и волосах, и благовониях, и о всех тех суетных вещах, которые только могла иметь, коих было более чем достаточно, поскольку я была очень привередлива. У меня не было дурных намерений, ибо я никогда не пожелала бы, чтобы кто-либо из-за меня ранил Бога. Продолжалась моя чрезмерная увлеченность излишней привередливостью и другими вещами, которые нисколько не казались мне греховными, много лет. Сейчас я вижу, как дурно это должно было быть.

У меня были двоюродные братья<sup>252</sup>, которым вопреки запрету для всех других [юношей], что было весьма благоразумно, разрешалось входить в дом моего отца, и я желала бы, чтобы Бог запретил и им; потому что сейчас вижу опасность общения с людьми, которые, сами не понимая суетности мира, побуждают сначала окунуться в него в возрасте, когда должны начинать возвращаться добродетели. Они были почти моего возраста, немного старше, чем я; мы ходили всегда вместе; они очень меня любили, и я поддерживала беседу обо всём, что их занимало, и слушала рассказы об их увлечениях и малодостойных детских проделках; и, что было хуже, открылась [моя] душа к тому, что было причиной всех ее бед.

3. Если б я должна была советовать, сказала бы родителям, что в этом возрасте им следует обращать большое внимание на людей, с которыми имеют дело их дети; ибо в этом содержится много вреда, ведь наша природа обращается прежде к худшему, а не к лучшему. Так случилось со мной, ибо у меня была сестра много старше меня<sup>253</sup>, из чьей порядочности и доброты – коей у нее было много – я не взяла ничего, но взяла все дурное от одной родственницы, которая часто бывала в доме<sup>254</sup>. Она была столь легкомысленна, что моя мать упорно старалась отвести ее от посещения дома (кажется, она предвидела то дурное, что через нее должно было со мной произойти), но у той было столько поводов приходить, что она ничего не могла поделать [дабы не допустить этого].

4. С той, о которой говорю, мне стало нравиться бывать. С ней я вела разговоры и беседы, ибо она поддерживала меня во всех развлечениях, которые я любила, и даже вовлекала меня в них, и

делилась со мной [рассказами о] своих разговорах и суетных делах. До того как я стала общаться с ней ([она это делала], я считаю, чтобы подружиться со мной и откровенничать), что было в возрасте четырнадцати лет, или, думаю, что больше, мне кажется, я не оставила Бога через смертный грех и не потеряла страх Божий, хотя страх в отношении чести у меня был бóльшим. Этот страх был достаточно силен, чтобы я не потеряла ее вовсе, и ничто в мире, мне кажется, не могло поколебать меня в этом, и не было у меня любви к такому человеку, который мог бы меня заставить в этом уступить. Хорошо, если б я имела силу, чтобы не идти против Божественной чести, раз Он наделил меня естеством, способным сохранить то, что мне казалось, было честью мирской!<sup>255</sup> И я не понимала, что теряю ее во многих других случаях! В этом тщеславном стремлении [к мирской чести] я доходила до крайности! Я вовсе не прилагала нужных усилий, чтобы оберегать её; единственно, проявляла большую осторожность в том, чтобы не пропасть совсем.

Мой отец и сестра очень огорчились этой дружбе; много раз за неё меня попрекали. Так как они не могли помешать её появлению в доме, их старания были безуспешны, ибо моя сметливость во всяких дурных делах была велика.

5. Я иногда ужасаюсь тому, какой вред приносит дурное общество; и если б я сама через это не прошла, едва ли в это поверила бы. Особенно сильнó причиняемое им зло в юные годы. Я бы хотела, чтоб мой опыт был поучительным для родителей, и чтобы они как следует о нем задумались. И таким образом настолько изменило меня это общение, что от добродетельного естества и души у меня почти ничего не осталось, и, мне кажется, что она (то есть родственница, о которой шла речь выше – *Примеч. пер.*) передала мне свои свойства, и [также] другая [девушка], которая имела склонность к такому же времяпрепровождению.

Из этого я понимаю, какую великую пользу приносит хорошее общество; и я уверена, что если бы в этом возрасте я общалась с добродетельными людьми, моя добродетель осталась бы незапятнанной; ибо, если бы в этом возрасте кто-нибудь научил меня бояться Бога, душа имела бы силы, чтобы не пасть. Позже, вовсе потеряв эту боязнь, я сохранила боязнь только в отношении своей чести, во всем, что бы я ни делала, приносившую мне муку. Думая, что



никто об этом не узнает, я отваживалась на многие вещи, весьма противные ей и Богу.

6. Сначала, мне кажется, сказанные вещи мне вредили, и в этом должна была быть вина не ее (девушки – *Примеч. пер.*), а моя; ибо потом хватало моей собственной склонности к дурному, и к тому же я имела служанок, у которых во всем дурном находила полную поддержку; так что, если б какая-либо из них дала мне добрый совет, я бы, вероятно, извлекла из этого пользу, но их ослеплял интерес так же, как меня увлечение. И ведь я никогда не была склонна к большому злу – потому что к вещам бесчестным питала природное отвращение, – разве что к развлечениям приятной беседой; но когда возникал соблазн, опасность была близка, и я подвергала ей [также] моего отца и братьев. От всего этого Бог освободил меня таким образом, что было ясно: Ему хотелось против моей воли, чтоб я не погибла совсем, хотя это не могло быть настолько тайным, чтобы не нанести большой урон моей чести и не вызвать подозрений у моего отца. Ибо, мне кажется, не прошло трех месяцев со времени моего вовлечения в эту суетность, как меня перевезли в один из монастырей этой местности<sup>256</sup>, где воспитывались такие же, как я, хотя и не со столь испорченными нравами; и это [было сделано] в такой большой секретности, что только я и один родственник об этом знали, потому что они ждали благоприятного стечения обстоятельств, чтобы это не казалось неожиданностью: ибо после того, как моя сестра вышла замуж<sup>257</sup> и я осталась одна без матери, [оставаться в доме] было нехорошо<sup>258</sup>.

7. Столь безмерной была любовь, которую мой отец питал ко мне, и столь великим мое лицемерие, что он не мог поверить в мою большую испорченность и никогда не гневался на меня. Так как это продолжалось недолго, хотя кое-что было ясно, ни о чем нельзя было сказать с определенностью; ибо, поскольку я так боялась за свою честь, все мои старания заключались в том, чтобы это было тайной, и я не сознавала, что это нельзя утаить от Того, Кто все видит. О мой Боже, сколько вреда совершается в мире от пренебрежения этим и от надежды скрыть то, что делается против Вас! Я твердо знаю, что многих бед можно было бы избежать, если б мы поняли, что дело состоит не в том, чтобы мы остерегались мужчин, а чтобы остерегались Вашего недовольства.

8. Первые восемь дней я сильно огорчилась, и больше от подозрения, что о моей суетности известно, чем оттого, что там находилась; ибо я уже была утомлена [прежней жизнью] и всякий раз имела великий страх перед Богом, когда ранила Его, и стремилась сразу исповедоваться.

[Сначала] я испытывала беспокойство, через восемь же дней, или, думаю, даже меньше, мне стало намного радостнее, чем в доме отца. Все были мною довольны, потому что Господь даровал мне милость дарить радость всюду, где бы я ни находилась, так что меня очень любили. И хоть тогда я в высшей степени враждебно относилась к тому, чтобы стать монахиней, я радовалась, когда видела столь добродетельных монахинь, коих было премного в этом доме – великой скромности, благочестия и воздержанности.

9. При всем этом дьявол не переставал меня искушать и искать людей за стенами монастыря, для того чтобы они тревожили меня записками. Поскольку возможностей было мало, это скоро прекратилось, и моя душа вновь начала приучаться к добру, присущему мне в детстве, и я поняла, какую милость являет Бог тому, кого помещает в общество добрых людей. Мне кажется, что Его Величество<sup>259</sup> словно раз за разом пытались снова обратить меня к Себе. Да будьте благословенны Вы, Господь, который столько меня терпел! Аминь!

Одно, кажется, могло бы быть мне каким-то оправданием – если б за мной не было столько грехов – это то, что мне казалось, будто отношения с человеком, который собирается вступить в брак, могут завершиться добром<sup>260</sup>. И мне говорили те, кто меня исповедовал, и другие люди, и по-всякому меня убеждали, что я не иду против Бога.

10. С теми из нас, которые не приняли обет, спала одна монахиня<sup>261</sup>, та самая, через которую Господь, мне кажется, стал даровать мне свет, как я сейчас расскажу.

### Глава 3

**В которой ведется речь о том, какую роль сыграло благое сообщество в том, чтобы снова пробудить ее добрые**

## **устремления, и каким образом Господь начал проливать ей свет на заблуждение, в котором она пребывала**

1. Затем, начав наслаждаться доброй и святой беседой этой монахини, я радовалась, слушая, как хорошо она говорила о Боге, ибо она была очень скромна и свята. Мне кажется, я никогда не отказывалась от радости слушать это. Она стала рассказывать мне, как пришла к тому, чтобы стать монахиней, просто читая то, что говорит Евангелие: «Ибо много званых, а мало избранных»<sup>262</sup>. Она говорила мне о награде, которую Господь дает тем, которые оставляют все ради Него.

Стало это благое сообщество изгонять привычки, которые раньше породило во мне дурное, и вновь придавать моим мыслям устремления к вечному, и немного ослаблять имевшуюся у меня великую враждебность к тому, чтобы стать монахиней, которая глубоко во мне укоренилась. И если я видела какую-нибудь [из монахинь] плачущей, когда она молилась, или другие ее достоинства<sup>263</sup>, я очень этому завидовала, потому что мое сердце в этом случае было столь равнодушно, что, даже прочитав все Страсти Христовы, я не проронила ни одной слезы. Это вызывало во мне боль.

2. За полтора года пребывания в этом монастыре я стала намного лучше. Начала произносить много голосовых молитв<sup>264</sup> и желать вместе со всеми, чтобы меня вверили Богу, чтобы Он даровал мне положение, в котором я должна Ему служить; но пока еще я не хотела быть монахиней, ибо Богу не было угодно даровать мне этого, хотя я боялась также и замужества.

К концу того времени, что я там находилась, я уже была больше расположена стать монахиней, хотя и не в этой обители, из-за необычайно строгих нравов, которых, как я узнала потом, [в ней] придерживались и которые мне казались совершенно излишними. И было несколько самых молодых [девушек], которые поддерживали меня в этом, ибо, если б все были одного мнения, я извлекла бы много пользы. У меня также была одна близкая подруга в другом монастыре<sup>265</sup>, и это было причиной, чтобы не становиться монахиней [здесь], если же я должна была ею стать, так только там, где была она.

Я больше думала о своих чувственных желаниях и суетности, чем о благе для моей души<sup>266</sup>.

Эти благие помыслы о том, чтобы стать монахиней, изредка приходили ко мне и тотчас исчезали, и я не могла убедить себя стать ею.

3. В это время, хотя я не пренебрегала заботой о собственном исцелении, стал Господь более настойчиво готовить меня к тому положению, которое было для меня лучшим. Он даровал мне тяжелую болезнь, которая заставила меня вернуться в дом моего отца.

Когда я поправилась, меня перевезли в дом моей сестры<sup>267</sup>, которая жила в деревне, чтобы повидаться с ней, ибо она питала необычайную любовь ко мне и, если бы на то была ее воля, я бы никогда ее не оставила; и ее муж также меня очень любил – по крайней мере, проявлял обо мне всяческую заботу, – чем также я более всего обязана Господу, потому что ко мне всюду всегда хорошо относились, но все, чем я Ему за это служила, так это была такая, какая я есть.

4. По дороге жил один из братьев моего отца<sup>268</sup>, человек очень мудрый и великих добродетелей, вдовец, которого Господь также начал готовить для Себя, потому как в старости он оставил все, что имел, и стал монахом, и умер так, что, я верю, он сейчас счастлив в Боге. Он захотел, чтобы я осталась у него на несколько дней. Он проводил время за чтением благочестивых книг на испанском, и его разговор чаще всего был о Боге и о суетности мира. Он заставил меня их читать, и, хотя я их не любила, притворялась, что любила, ибо в том, чтобы ублажать других, я была необычайно усердна, даже если это и вызывало у меня муки совести; настолько, что то, что в других было бы добродетелью, во мне было великим недостатком, ибо я часто вела себя неискренне.

О, помоги мне Боже, какими многими способами Его Величество меня приготовил к тому положению, в котором Он хотел, чтобы я Вам служила, ибо, когда я этого не хотела, понуждали меня, чтобы я понуждала себя! Да будет Он благословен вовеки, аминь.

5. Хотя я находилась там всего несколько дней, благодаря силе, с которой на мое сердце воздействовали слова Бога, как прочитанные, так и услышанные, и благому сообществу, я начала постигать истину детских лет<sup>269</sup>, что все [земное] – ничто и мирская суета, и как оно быстро приходит к концу, и бояться, что, если умру, отправлюсь в ад. И

хотя моя воля не склонилась окончательно к тому, чтобы стать монахиней, я понимала, что [такое] положение будет лучше и безопасней; и так мало-помалу я решила заставить себя ею стать.

6. Я находилась в состоянии этой борьбы три месяца, понуждая сама себя таким умозаключением: что испытания и муки монахини не могут быть тяжелее пребывания в чистилище, и что я вполне заслужила ада; что это не столь большое дело жить, словно в чистилище, и что затем я отправлюсь прямо на небо, ибо это было моим желанием.

И в этом движении к принятию [нового] положения, мне кажется, я больше была движима рабским страхом, чем любовью. Внушил мне дьявол, что я не вытерплю тягот монашеской жизни из-за моей избалованности. [В ответ] на это я защищалась [мыслями] об испытаниях, которые вынес Христос, ибо это не было бы много, если бы я смогла вынести какие-нибудь [испытания] за Него; должно быть, я думала, что Он мне поможет эти испытания вытерпеть, но об этом последнем я не помню. В эти дни я прошла через многие искушения.

7. Мне были посланы вместе с лихорадкой глубокие обмороки, ибо я всегда имела очень слабое здоровье. Даровало мне жизнь то, что я уже стала любить благочестивые книги. Прочитала письма святого Иеронима, которые меня воодушевили настолько, что я решилась рассказать моему отцу, что почти уже собралась принять обет; ибо я была столь честолюбивой, что мне казалось, ни за что не откажусь от однажды сказанного. Он настолько меня любил, что не было возможности добиться от него согласия на это, и не имели успехов мольбы людей, которых я просила с ним поговорить. Самое большее, чего я смогла от него добиться, это что после его смерти я смогу делать, что хочу. Из-за себя и из-за своей слабости я уже боялась, как бы не повернуть назад, но мне казалось, что я не соглашусь на это, и добилась я [своего] другим способом, как сейчас расскажу. <...>

## Варфоломей фон Састров (1520–1603)

Варфоломей фон Састров вместе с Иоганном Бутцбахом считается одним из виднейших представителей автобиографического жанра в немецкой литературе XVI в. Можно указать на несколько факторов, благодаря которым смогла сложиться эта репутация. Во-первых, «Происхождение, рождение и ход всей жизни Варфоломея фон Састрова» – произведение весьма масштабное, повествующее о самых разных вещах: описывается карьера автора (от школяра до писца, секретаря герцогского посольства при императорском дворе, интенданта г. Штральзунда и, наконец, штральзундского бургомистра); рассказывается о жизни Састрова за пределами родной Померании – в Италии, в Бельгии, где он побывал, исполняя дипломатические поручения; часто встречаются упоминания о важнейших событиях в истории городов балтийского побережья Германии. Во-вторых, даже несмотря на то, что в трактате Састрова смешиваются черты семейной хроники, городской истории и картины нравов, баланс между этими жанрами немецкие исследователи считают достаточно удачным для того, чтобы именно начиная с этого сочинения можно было говорить о литературной специфике немецкой автобиографии. Наконец, тексту Варфоломея свойственна весьма характерная авторская интонация: несомненно, грубоватая и колеблющаяся, по мнению различных специалистов, между эгоизмом и жизнелюбием. Можно спорить о том, свидетельствует ли грубость о прямоте и правдивости Варфоломея; доказывает ли его жизнелюбие то, что мировоззрение автора уже было проникнуто ренессансным мироощущением, но в любом случае нижеприведенный текст может быть любопытным источником, показывающим самовосприятие немецких горожан (а Варфоломей принадлежал к патрицианской верхушке) середины и конца XVI в. В какой-то мере сочинение Варфоломея позволяет строить гипотезы о том, как представители этого социального слоя воспринимали свое собственное детство<sup>270</sup>.

### Рассказы о жизни

<...> Моя мать после обеда имела обыкновение обходить все три алтаря в хоре, особенно во время постов, и читать по папистскому обычаю перед каждым алтарем «Pater Noster» и «Ave Maria». Маленький Варфоломей должен был постоянно следовать за ней. Он опустился рядом с матерью перед первым алтарем и положил рядом с ним маленькую пахучую жертву. Однако мать очень быстро поднялась, и он должен был последовать за ней ко второму алтарю, где сделал то же самое. И то, что еще у него оставалось, он принес к третьему алтарю. Когда мать поднялась и увидела, как я перед всеми тремя алтарями одарил святыню фимиамом и на свой лад так великолепно завершил молитву, она пошла домой и послала служанку с веником в церковь, чтобы она с благоговением вымела мою благоухающую работу из храма.

Не составит труда представить себе, как моя мать, угнетенная унылыми и печальными мыслями, принуждена была в свои юные годы без главы семейства вести дом и управляться с четырьмя маленькими несмышлеными детьми.

Мне рассказывали, что ребенком я был настоящим сорванцом. Не раз я поднимался на башню св. Николая и однажды даже вылез из башни и обошел вокруг нее на высоте колоколов. Моя мать стояла перед своей дверью – как раз напротив башни – и, ах, вдруг она увидела своего сынишку, разгуливающего там наверху. У нее сердце сжалось от страха, пока шалун невредимым не спустился вниз. Тогда уж она задала Варфоломею то, что ему причиталось.

Пока моя мать жила в Грайфсвальде, я ходил там в школу и выучился не только читать, но также склонять и спрягать по Донату<sup>271</sup>. На Вербное воскресенье я должен был петь «Quantus», а до этого я уже пел малое и большое «Nis est»<sup>272</sup>. Для мальчика это была большая честь и доставляла его родителям немалую радость, ибо для этого отбирали со всей школы только самых прилежных отроков, которые не терялись перед множеством духовных и светских персон и могли чистыми голосами выводить «Quantus».

В 1528 г., когда мои родители поняли, что хартманновские сторонники не собираются предоставлять моему отцу город, дом и пропитание, они решили – как это подобает благочестивым супругам – вместе нести груз домашнего хозяйства. И так моя мать должна была последовать за моим отцом. Он получил права гражданства в

Штральзунде и купил там дом. После этого мать покинула Грайфсвальд, сдала в наем свой дом и весной также перебралась в Штральзунд.

В это самое время мой дед, который тогда был казначеем в Грайфсвальде, взял меня к себе, чтобы я там учился. Я был устроен там и получил в наставники некоего Георга Нормана, который был родом с острова Рюген. Но учился я совсем мало и больше, чем книги, любил лошадей и конные прогулки, объезжая вместе с дедом окрестные деревни. Вследствие этого я мало продвинулся в учебе.

Старший сын барона Бартрама Шмитерлова по имени Клаус был всего пяти лет от роду, но имел более длинные и сильные члены, чем я, и слыл отчаянным плутом. Он учинял над соседскими детьми много жестоких и злых проказ. Однако его отец не только оставлял его безнаказанным, но даже защищал своего сына против обвинений соседей и укреплял его в этом злом озорстве. Наконец дед, барон Карстен Шварце, взял мальчика к себе, чтобы предотвратить большую ссору или даже смертоубийство между его отцом и соседями. Он спал вместе со мной в комнате на одной кровати. Однажды утром, когда мы, проснувшись, бок о бок одевались, стоя на высоком сундуке в ногах кровати, он без всякого повода, а просто из злого озорства толкнул меня в грудь так, что я навзничь упал вниз с сундука не без опасности для жизни. Из-за этой и других выходок мой дед принужден был наконец отправить меня в Штральзунд, чтобы уберечь меня от этого драчуна и чтобы он со своей стороны не имел из-за этого трудностей.

Моим наставником в Штральзунде был Маттиас Брассанус, ранее молодой монах в монастыре Камп. Так я вновь стал из приписанного к Грайфсвальду студента штральзундским школьником. Я ходил в школу и учился так усердно, как только позволяла моя резвость. Я был не без способностей, но напрочь лишен усидчивости. Зимой я вместе с Йоханом Готтшалком и другими учениками из нашей ватаги [как-то] бегал по льду. Йохан был заводилой, так как у него были длинные ноги, и если он изредка проваливался, то мог выскочить на берег, сохранив сухие ноги. Остальные, и я в числе первых, бегали следом за ним, проваливались и должны были шлепать по воде до берега. Временами мой отец выходил на мост и смотрел, как забавляется его сынишка. Однако когда я вернулся домой и устроился перед голландской печью, чтобы обсушиться, ах, как он поколотил бедного



Варфоломея, ибо мой отец был очень вспыльчивым человеком. Летом я с моими друзьями купался на морском берегу<sup>273</sup>. Это из своего сада из-за сарая видел мой дядя, бургомистр, барон Николаус Шмитерлов и сообщил об этом моему отцу. Отец ранним утром пришел с внушительной розгой к моей кровати. Так как я еще спал, он начал расстегивать свой плащ и заговорил так громко, что я проснулся. Когда, пробудившись, я увидел его стоящим передо мною в таком виде и заметил розгу рядом с кроватью, мне стало ясно, что мне грозит. Тогда я начал громко плакать и умолять его. Он спросил, что же я сделал? Сквозь слезы я поклялся, что никогда больше в своей жизни не буду купаться в море. «Да, юнкер, – сказал он, и это обращение уже было плохим признаком. – Если Вы купались, то я должен высушить Вас». С этим он схватил розгу, забросил мне платье на голову и вознаградил мой проступок по заслугам.

Мои родители хорошо воспитывали своих детей. Мой отец был, правда, слишком вспыльчивым, и, когда его охватывал гнев, он не знал меры. Однажды он очень сильно разгневался на меня. Он стоял внутри конюшни, а я в воротах. Тогда он схватил сенные вилы и с силой метнул их в меня. Я отскочил в сторону. Но бросок был таким сильным, что вилы вонзились глубоко в дубовый косяк купальни, и потребовалось немало усилий, чтобы вытащить их оттуда. Но милостивый Бог в своем всеведении расстроил козни дьявола против моего отца и меня.

Моя мать, которая по натуре была чрезвычайно добросердечна и мила, подскочила к нему и так, что мы, дети, этого не заметили, сказала: «Шлепни получше, проклятый сорванец сполна заслужил это». Но при этом она схватила его за руку, которой он держал розгу, чтобы он не мог бить слишком сильно.

Ректор школы Маттиас Брассанус строго требовал, чтобы все ученики во время проповеди присутствовали в церкви. Я же вместе с моими сверстниками и единомышленниками наострился совсем незаметно ускользнуть из церкви. Мы покупали себе пряников и шли в лавку, торгующую водкой, а к концу богослужения, когда ученики снова возвращались в школу, мы уже вновь были в их числе. Однажды когда мы слишком перебрали, я вынужден был вернуть наружу все, что съел и выпил до этого, и не мог держаться на ногах или выдать из себя хоть слово. Двое парней должны были поднять меня и отнести

домой. Мои родители посчитали, что я подхватил тяжелую и опасную болезнь, и всячески ухаживали за мной, пока я снова не стал здоров. Но если бы они и мой учитель знали истинную причину моей болезни, их методы лечения были бы гораздо хуже. Они узнали об этом только тогда, когда я уже перерос розги. Все же эта история пошла мне на пользу, ибо с того момента я больше не мог ни выносить дух водки, ни тем более пить ее.

## Яков Андреэ (1528–1590)

Яков Андреэ (Старший) снискал себе известность как один из наиболее заметных персонажей культурной истории Южной Германии во второй половине XVI в. Яков родился в 1528 г. в городе Вайблинген в семье кузнеца франконского происхождения. Тем не менее благодаря своим способностям он смог удостоиться стипендии вюртембергского герцога и получить образование: сначала в Штутгарте, а затем и в Тюбингенском университете. Впоследствии в течение многих лет Андреэ был ректором этого университета. Помимо этого, Андреэ известен как видный деятель южнонемецкой Реформации. Он принимал самое активное участие в попытках согласовать позиции представителей некатолических конфессий: первоначально он стремился помочь найти общий язык лютеранам и кальвинистам, а затем был вынужден ограничиться поисками консенсуса только среди сторонников лютеранского вероисповедания. Стоит отметить, что в своей попытке объединить антипапские силы Андреэ даже пытался договориться с балканскими православными иерархами. При этом Андреэ считал, что спор конфессий должен вестись только в плоскости теоретической теологии: существует скомпрометировавшая его в глазах протестантской традиции история о том, как Андреэ порекомендовал прибегнувшим к его совету австрийским протестантам не сопротивляться императору, и это непротивление немало помогло австрийской католической реакции.

Приводимые ниже фрагменты относятся к первым годам жизни Андреэ. Довольно сухое повествование поясняет, как именно сын кузнеца постепенно приобщался к науке. Андреэ однозначно рассматривает свое детство с точки зрения достигнутых в зрелом возрасте успехов, обращает внимание на сохранявшее его для наук божественное Провидение и демонстрирует в своем тексте пример того, как должен был осознавать и описывать свое становление протестантский теолог<sup>274</sup>.

***Жизнь Якова Андреэ, доктора теологии, описанная им самим с большой достоверностью и искренностью вплоть до 1562 г. от Рождества Христова***

## **Рождение доктора Якова**

Доктор Яков Андреэ появился на свет в герцогстве Вюртемберг в городе Вайблингене, от которого произошло название гибеллинов<sup>275</sup>, в год от Рождества Христова 1528 марта 25 день, в который празднуется праздник Благовещения, от благочестивых и почтенных родителей. Его отец, Яков Андреэ, был родом из Мекенлоэ во владениях епископа Эйхштетского. Его отец был похоронен в Ингольштадте, оставив после себя сыновей и дочерей, которые вплоть до сегодняшнего дня со своими потомками проживают в большом числе в Мекенлоэ и Нассефельсе. Имя же всей этой семьи – Андреэ, отчего и доктор Яков (которого звали Кузнечонком, так как его отец был кузнецом) носил фамильное имя Андреэ.

## **Родители**

Он никогда не стыдился своей семьи и своих предков, которых злонамеренно ставили ему в упрек многочисленные паписты, и в первую очередь презреннейший отступник Стафилус. Мать его, Анна Вайскопф, была рождена в Гундельфингене, городе Оберпфальца у Лауингена во владениях пфальцграфа Филиппа Людвига, герцога Баварского. В детском возрасте ее вместе с ее сестрой Урсулой забрали в Вайблинген родственники, впоследствии она сочеталась первым браком с кузнецом, от которого она зачала и произвела на свет несколько детей, которые вместе с детьми мужа от предыдущего брака входят в число живущих и поныне детей. К ним принадлежит Михель Бок, служитель при церкви в Хагенау, который вместе со своими братьями и сестрами был рожден от матери Барбары.

После смерти своего первого мужа она вышла замуж за будущего отца Якова, который в юности охваченный любовью к путешествиям

объехал Чехию, Венгрию, Францию и Испанию, а затем совершил паломничество к св. Иакову Компостельскому. Он также выучил языки всех этих народов: чешский, венгерский, французский и испанский. После смерти жены своей, Анны, он искал уединения в монастыре Бебенхаузен, где он благочестиво почил в Господе в 1566 год июня 1 дня и был там погребен. От нее имел он четырех детей, трех сыновей, Якова, Георга и Филиппа, и одну дочь. Дочь умерла в младенчестве, Георг же и Филипп, который умер затем в должности церковного служителя в имперском городе Гингене, также оставили детей, Георг – двух дочерей, Филипп – одну.

## **Младенчество**

Когда он младенцем еще лежал в колыбели, его так ужасно мучили злые духи, что он день и ночь наполнял постоянными воплями весь дом, и у его родителей не оставалось уже никакой надежды на то, что он выживет. Он же был спасен только по неисповедимой милости Божьей. На восьмом году своей жизни он несколько раз подвергался большой опасности, упав в реку Ремс, которая омывала город Вайблинген, но вновь был спасен чудесным образом.

## **Начало учения**

В год 1534, после того как светлейший князь Ульрих, герцог Вюртембергский, отвоевал назад свое герцогство и упразднил папскую веру, родители доктора Якова позаботились отдать своего первенца в обучение наукам.

## **Удаление из школы**

Однако, так как имущество их было таким скудным, что они не могли содержать его на собственные средства в чужих краях, в 1539 г. они решили определить его к какому-либо ремеслу. После чего он был

доверен некоему плотнику, горожанину из Вайблингена, которого звали Филипп.

## **Восстановление в школе по милости Себастьяна Мадера**

После того как об этом узнал высокочтимый муж Себастьян Мадер, член совета и горожанин Вайблингена, он призвал отца к себе и захотел от него узнать, какова причина того, что он забрал своего сына Якова из школы и определил его к ремеслу. Отец Якова Андреэ ответил ему, что он не имеет достаточно средств для поддержания учебы своего сына. Поскольку в то время светлейший князь Ульрих, герцог Вюртембергский, заботился о поддержании в Тюбингене из церковных расходов некоторого числа студиозусов, определенных для церковной службы, этот достойный муж посоветовал отцу, чтобы тот также просил о стипендии для сына, и даже выхлопотал ему рекомендательное письмо от имени совета к тем, на ком в то время лежала забота о церковных и школьных делах. Среди них наиболее важными особами были благородный Георг фон Ов, штатхальтер герцога Ульриха, и доктор Эрхард Шнепф, пастор в Штутгарте.

## **Милость доктора Эрхарда Шнепфа**

Когда его отец, запасшись письмом вайблингенского совета, пришел к ним, сын прежде всего должен был выдержать экзамен, который принимал доктор Эрхард Шнепф, тогда еще не получивший докторскую степень. Однако после того как он увидел, что мальчик 10 лет совершенно необразован и не знает латинской грамматики, он дал ему совсем коротенькое предложение на немецком языке «Я имею дома 12 животных», чтобы тот перевел его на латынь, чем показал достойное удивления терпение в отношении этого мальчика. Когда же он увидел, что мальчик не знает почти ни одного латинского слова, он не рассердился и сам подсказал ему по одному все слова, делая длинные паузы между ними (чтобы мальчик имел время для размышления): 1. «Что значит «я»»? На что мальчик: «Его». 2. Что

значит «имею»? После долгого размышления мальчик ответил: «habet». 3. Что значит «12»? Мальчик, который не знал латинских числительных, подражая голосу Шнепфа, ответил: «duodecim».

4. Что означает «дома»? Когда мальчик сказал, что не знает, Шнепф спросил, что означает «дом»? И после долгой паузы мальчик ответил Шнепфу: «domus». 5. Что означает «животное»? И это слово Шнепф также подсказал: «animal». Когда же он приказал ему соединить все это вместе и построить все предложение, мальчик Яков сказал наконец: «Ego habes domus duodecim animal»<sup>276</sup>. И хотя мальчик действительно был совершенно невежествен, однако Шнепф не отверг его и не посоветовал, чтобы он оставил учебу, но, напротив, в присутствии штатхальтера светлейшего князя сказал его отцу: «Это вина не мальчика, на лице которого лежит отблеск дарования, но наставника, который не выполнил своих обязанностей».

## Субсидия

Поэтому после общего совещания было решено, что вайблингенский совет из церковных доходов, которые передал в его распоряжение герцог Ульрих, будет выделять мальчику 7 флоринов ежегодно для поддержания его учебы, а остальное должен будет предоставлять его отец, чтобы мальчик в Штутгарте мог успешно продвигаться в учебе.

## Нерадивость первого наставника

Письмом к совету приказывалось вызвать вайблингенского школьного учителя и строго отчитать его за его нерадивость. После того как это было сделано и он вернулся из ратуши в школу, он решил переложить вину с себя на другого. И хотя он действительно не умел преподавать, он жаловался на нерадивость учеников и наказал Якова Андреэ, выбрав и жестоко выпоров его плетью и розгой, и вышвырнул его из своей школы, ибо тот был главной причиной того, что его вызвали в совет и отчитали.

## Усердие наставника Александра Мэрклина

В тот же самый год под праздник Пятидесятницы отец послал своего сына в Штутгарт по совету доктора Шнепфа к весьма ученому и обладающему необыкновенным талантом учить детей наукам мужу, которого ученики любили и почитали, как родного отца, и в то же время очень боялись вследствие его строгости. Он редко приказывал приносить в школу розги, не чаще чем раз в семестр, предпочитая побуждать юношество к успехам в учении похвалами, соревнованиями или же строгими порицаниями. Там менее чем за год Яков Андреэ овладел в достаточной степени основами латинской грамматики и приобрел навыки латинской речи.

В тот же самый год его экзаменовал в доме штутгартского пастора доктор Шнепф в присутствии его наставника магистра Александра Марколеона<sup>277</sup>. И хотя он не считал его недостойным быть посланным в Тюбинген, однако мудро указал, что для его дальнейшего учения будет полезно остаться в штутгартской школе еще на один год под надзором и руководством своего наставника. Отец повиновался этому совету и с готовностью предоставил необходимые средства на его дальнейшее обучение.

## Принятие в число стипендиатов герцога

По окончании отпущенного ему года (это был 1541 г.) он снова был экзаменован Валентином Ванниусом и в достаточной степени овладел основами греческой и латинской грамматики, а также правилами диалектики и риторики Филиппа Меланхтона<sup>278</sup>. В возрасте 12 лет в отсутствие доктора Эрхарда Шнепфа он был отправлен в Тюбинген и включен в число стипендиатов светлейшего князя Ульриха, герцога Вюртембергского, которые проживали в той части университета, которую раньше называли бурсой реалистов. Это случилось после Пятидесятницы.

## Бакалавр



Однажды осенью, когда в Тюбингене начала свирепствовать чума и университет был переведен в монастырь Хиршау, он отправился туда вместе со своими соучениками. Там в 1543 г. он вместе с другими юношами получил первую академическую степень. В тот же год, когда чума покинула Тюбинген, профессора факультета свободных искусств вместе со студентами вернулись в Тюбинген. С того времени он жил в одной комнате с Яковом Брауном, магистром и наставником стипендиатов, который вместе с господином доктором Иеронимом Герхардом стоял во главе университета. И так как к тому поступали жалобы на нерадивость или легкомысленное поведение других стипендиатов, соученики заподозрили его в предательстве, в том, что это он доносил об этом наставнику, вследствие чего он был принужден терпеть тайную ненависть и оскорбления. Так начал он еще ребенком обучаться терпению, глотая обиды и оскорбления, которые, казалось, Провидение предназначило ему переносить, едва он появился на свет из материнской утробы.

## Мишель Эйкем де Монтень (1533–1592)

Французский мыслитель эпохи Ренессанса, заложивший основы понимания личности в Новое время. Происходил из купеческой семьи, получившей дворянский статус. Заботливый отец, мэ́р г. Бордо (как его называл Монтень, «лучший из отцов»), дал сыну отличное образование. С младенчества к нему был приставлен немец-воспитатель, говоривший с маленьким Мишелем только по-латыни. Знание древних – латинских и греческих – классиков стало основой всех знаний Монтеня. С 6 до 13 лет он обучался в городском коллеже Бордо. На протяжении всей жизни занимался непрерывным самообразованием. Был советником парламента Бордо, дважды мэром города, придерживался центристской позиции в противоборстве различных партий и движений.

В свободное от административной деятельности время много размышлял и занимался литературным трудом. Основное произведение Монтеня – «Опыты» – писалось им с начала 1570-х гг. после удаления от дел, в уединении в башне родового замка, где Мишель оборудовал себе кабинет для занятий. Первое издание книги состоялось в 1580 г., но автор продолжал ее дополнять и улучшать. Окончательный текст был издан в 1595 г. после смерти Монтеня.

Монтень специально написал книгу не на латинском, а на французском языке, чтобы его мысли стали доступны «парижскому рынку». «Опыты» – собрание относительно свободных, не имеющих четкого плана размышлений о мире, жизни, человеке, но прежде всего – о себе самом. Именно последним обстоятельством они ценны в истории автобиографического жанра. Монтень создал огромное по объему и значимости произведение о конкретном человеке, через которое красной нитью проходит размышление автора о человеческой природе. «Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска... Каждый человек полностью располагает всем тем, что свойственно всему роду людскому», – писал Мишель Монтень (Опыты: В 3 кн. М.; Л., 1960. Кн. 3. С. 27). «Опыты» стали результатом его многолетнего самоанализа<sup>279</sup>.

## Опыты

<...> Покойный отец мой, наведя тщательнейшим образом справки у людей ученых и сведущих, как лучше всего изучать древние языки, был предупрежден ими об обычно возникающих здесь помехах; ему сказали, что единственная причина, почему мы не в состоянии достичь величия и мудрости древних греков и римлян, – продолжительность изучения их языков, тогда как им самим это не стоило ни малейших усилий. Я, впрочем, не думаю, чтобы это была действительно единственная причина. Так или иначе, но мой отец нашел выход в том, что прямо из рук кормилицы и прежде, чем мой язык научился первому лепету, отдал меня на попечение одному немцу, который много лет спустя скончался во Франции, будучи знаменитым врачом. Мой учитель совершенно не знал нашего языка, но прекрасно владел латынью. Приехав по приглашению моего отца, предложившего ему превосходные условия, исключительно ради моего обучения, он неотлучно находился при мне. Чтобы облегчить его труд, ему было дано еще двое помощников, не столь ученых, как он, которые были приставлены ко мне дядьками. Все они в разговоре со мною пользовались только латынью. Что до всех остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакей или горничная не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских, усвоенных каждым из них, дабы кое-как объясняться со мною. Поразительно, однако, сколь многого они в этом достигли. Отец и мать выучились латыни настолько, что вполне понимали ее, а в случае нужды могли и изъясниться на ней; то же можно сказать и о тех слугах, которым приходилось больше соприкасаться со мною. Короче говоря, мы до такой степени олатинились, что наша латынь добралась даже до расположенных в окрестностях деревень, где и по сию пору сохраняются укоренившиеся вследствие частого употребления латинские названия некоторых ремесел и относящихся к ним орудий. Что до меня, то даже на седьмом году я столько же понимал французский или окружающий меня перигорский говор, сколько, скажем, арабский. И без всяких ухищрений, без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розог и слез я постиг латынь, такую же безупречно чистую, как и та, которой владел мой наставник, ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и исказить ее. Когда случалось

предложить мне ради проверки письменный перевод на латинский язык, то приходилось давать мне текст не на французском языке, как это делают в школах, а на дурном латинском, который мне надлежало переложить на хорошую латынь. <... >

Что касается греческого, которого я почти вовсе не знаю, то отец имел намерение обучить меня этому языку, используя совершенно новый способ – путем разного рода забав и упражнений. Мы перебрасывались склонениями вроде тех юношей, которые с помощью определенной игры, например, шашек, изучают арифметику и геометрию. Ибо моему отцу, среди прочего, советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что – во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в который дети погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые, – мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из служающих мне.

Этого примера достаточно, чтобы судить обо всем остальном, а также чтобы получить надлежащее представление о заботливости и любви столь исключительного отца, которому ни в малой мере нельзя поставить в вину, что ему не удалось собрать плодов, на какие он мог рассчитывать при столь тщательной обработке. Два обстоятельства были причиной этого: во-первых, бесплодная и неблагодарная почва, ибо, хоть я и отличался отменным здоровьем и податливым, мягким характером, все же, наряду с этим, я до такой степени был тяжел на подъем, вял и сонлив, что меня не могли вывести из состояния праздности, даже чтобы заставить хоть чуточку поиграть. То, что я видел, я видел как следует, и под этой тяжеловесной внешностью предавался смелым мечтам и не по возрасту зрелым мыслям. Ум же у меня был медлительный, шедший не дальше того, куда его довели, усваивал я также не сразу; находчивости во мне было мало, и, ко всему, я страдал почти полным – так что трудно даже поверить – отсутствием памяти. Поэтому нет ничего удивительного, что отцу так

и не удалось извлечь из меня что-нибудь стоящее. А во-вторых, подобно всем тем, кем владеет страстное желание выздороветь и кто прислушивается поэтому к советам всякого рода, этот добряк, безумно боясь потерпеть неудачу в том, что он так близко принимал к сердцу, уступил в конце концов общему мнению, которое всегда отстаёт от людей, что идут впереди, вроде того, как это бывает с журавлями, следующим за вожаком, и подчинился обычаю, не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии. Итак, он отправил меня, когда мне было около шести лет, в гиенскую школу, в то время находившуюся в расцвете и почитавшуюся лучшей во Франции. И вряд ли можно было бы прибавить еще что-нибудь к тем заботам, которыми он меня там окружил, выбрав для меня наиболее достойных наставников, занимавшихся со мной отдельно, и оговорив для меня ряд других, не предусмотренных в школах, преимуществ. Но как бы там ни было, это все же была школа. Моя латынь скоро начала здесь портиться, и, отвыкнув употреблять ее в разговоре, я быстро утратил владение ею. И все мои знания, приобретенные благодаря новому способу обучения, сослужили мне службу в том отношении, что позволили мне сразу перескочить в старшие классы. Но, выйдя из школы тринадцати лет и окончив, таким образом, *курс наук*, я, говоря по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену.

Впервые влечение к книгам зародилось во мне благодаря удовольствию, которое я получил от рассказов Овидия в его «Метаморфозах». В возрасте семи-восьми лет я отказывался от всех других удовольствий, чтобы наслаждаться чтением их; кроме того, что латынь была для меня родным языком, это была самая легкая из всех известных мне книг и к тому же наиболее доступная по своему содержанию моему незрелому уму. Ибо о всяких там Ланселотах Озерных, Амадисах, Гюонах Бордоских<sup>280</sup> и прочих дрянных книжонках, которыми увлекаются в юные годы, я в то время и не слыхивал (да и сейчас толком не знаю, в чем их содержание), — настолько строгой была дисциплина, в которой меня воспитывали. Больше небрежности проявлял я в отношении других задаваемых мне уроков. Но тут меня выручало то обстоятельство, что мне приходилось иметь дело с умным наставником, который умел очень мило закрывать

глаза как на эти, так и на другие подобного же рода мои прегрешения. Благодаря этому я проглотил последовательно «Энеиду» Вергилия, затем Теренция, Плавта, наконец, итальянские комедии, всегда увлекавшие меня занимательностью своего содержания. Если бы наставник мой проявил тупое упорство и насильственно оборвал это чтение, я бы вынес из школы лишь лютую ненависть к книгам, как это случается почти со всеми нашими молодыми дворянами. Но он вел себя весьма мудро. Делая вид, что ему ничего не известно, он еще больше разжигал во мне страсть к поглощению книг, позволяя лакомиться ими только украдкой и мягко понуждая меня выполнять обязательные уроки. Ибо главные качества, которыми, по мнению отца, должны были обладать те, кому он поручил мое воспитание, были добродушие и мягкость характера. Да и в моем характере не было никаких пороков, кроме медлительности и лени. Опасаться надо было не того, что я сделаю что-нибудь плохое, а того, что я ничего не буду делать. Ничто не предвещало, что я буду злым, но все – что я буду бесполезным. Можно было предвидеть, что мне будет свойственная любовь к безделью, но не любовь к дурному.

Я вижу, что так оно и случилось. Жалобы, которыми мне протрубили все уши, таковы: «Он ленив, равнодушен к обязанностям, налагаемым дружбой и родством, а также к общественным: слишком занят собой». <... >

В то же время душа моя сама по себе вовсе не лишена была сильных движений, а также отчетливого и ясного взгляда на окружающее, которое она достаточно хорошо понимала и оценивала в одиночестве, ни с кем не общаясь. И среди прочего я, действительно, думаю, что она неспособна была бы склониться перед силою и принуждением.

Следует ли мне упомянуть еще об одной особенности, которую я проявлял в своем детстве? Я имею в виду выразительность моего лица, подвижность и гибкость в голосе и телодвижениях, умение сживаться с той ролью, которую я исполнял. Ибо еще в раннем возрасте... я справлялся с ролями героев в латинских трагедиях... которые отлично ставились в нашей гиенской школе... на этих представлениях меня считали первым актером. <...>

## Ганс фон Швайнихен (1552–1616)

Воспоминания силезского рыцаря Ганса фон Швайнихена во многих отношениях являются весьма примечательным произведением. Привлекает внимание прежде всего простота, с которой даже самая родовитая силезская знать осуществляла свои невзыскательные развлечения, добросовестно перечисленные фон Швайнихеном. С раннего детства последний состоял (пажом, камер-юнкером, гофмаршалом и, наконец, гофмейстером) при особе капризного герцога Генриха II, компенсировавшего политическую несостоятельность Силезии участием в постоянных авантюрах. Мемуары фон Швайнихена (даже когда он вспоминает о своем детстве) неопровержимо свидетельствуют о том, что он проводил свои дни среди самой титулованной знати: при этом и при дворе фон Швайнихен наблюдал вовсе не изысканное пьянство и грубость нравов, и в своем собственном доме самым естественным образом опускался до того, чтобы пасти гусей и получать от матери по геллеру за десяток яиц, добросовестно собранных в сарае. Протестантское вероисповедание, как кажется, не особенно повлияло на естественность, с которой фон Швайнихен относится к поиску мирских удовольствий. Раблезианская простота мировосприятия способствовала тому, что Швайнихена называли даже представителем ренессансной литературы; даже если эта оценка преувеличена, оставленный им дневник стоит считать весьма любопытным источником по истории жизненного мира знатного человека в эпоху раннего Нового времени<sup>281</sup>.

### Из моего отрочества

В 1552 г. в понедельник после дня св. Иоанна я, Ганс Швайнихен, появился на свет в княжеском замке Гредитцберг и восемью днями позже был крещен. До 1558 г. мои возлюбленные родители воспитывали меня там в страхе Божьем. Говорят, что я, будучи младенцем, нуждался в большом уходе. В 1558 г., когда светлейший и

высокородный князь, герцог Генрих Лигницкий достиг совершеннолетия, мой отец возвратился в свое имение Мертшютц в титуле княжеского советника. Это, впрочем, не принесло ему ни единого геллера<sup>282</sup>.

Когда мне исполнилось 9 лет – это произошло в 1561 г., я уже как раз стал немного соображать, – я должен был ходить в Мертшютце к деревенскому писцу Георгу Пентцу, и два года я учился у него писать и читать. Когда я приходил из школы, мне поручали пасти гусей. Однажды, когда я был занят тем, что пытался собрать моих зверей, а они так и сновали, гогоча, вокруг меня, я вставил всем гусям в клювы в качестве распорок маленькие палочки. И тут же они все стали удивительно тихими, однако вскоре они непременно бы передохли от жажды. Но мать своевременно заметила мою выдумку и дала мне шиллинг. С тех пор мне больше не давали пасти гусей. Я получил другую работу и должен был искать яйца в конюшнях и сараях<sup>283</sup>. Если я набирал копу (60 штук), мать давала мне за это 6 геллеров. Они долго не задерживались у меня и уходили на мармелад и игру в камешки.

В девятилетнем возрасте я перенес очень опасную болезнь, дизентерию, и еще многие недуги. Отец, мать, братья и сестры уже отошли от моей кровати, думая, что я умер. Два часа они были твердо уверены в этом, а при мне оставалась только моя кормилица. И тогда я вдруг пошевелил рукой. Она начала громко кричать, что я еще жив, меня тут же усадили и, когда я немного пришел в себя, дали мне поесть теплого хлеба с маслом. Все это произошло только по милости Божьей, и день ото дня мне становилось все лучше и лучше.

После этого я снова должен был посещать деревенскую школу. С чтением дело у меня обстояло еще плохо, я только начал «лепетать», как обычно говорят. Но я научился уже рисовать буквы, которые, правда, больше напоминали каракульки. В 1562 г. за 14 дней до Пасхи я был отправлен моим любящим отцом к герцогу Фридриху III в Лигниц, где Его Княжеская Милость<sup>284</sup> содержались в плену. Я должен был учиться вместе с молодым господином, герцогом Фридрихом IV, и для него тогда держали наставника по имени Ганс Пфитцнер из Гольдберга. Мой отец дал мне 32 гроша на покупку книг и пропитание. Кроме меня вместе с юным господином был допущен учиться только Бартель Логау. Его Княжеская Милость, герцог Генрих, который тогда



был правящим князем, выделили молодому господину и его учителю отдельную комнату: она называлась малым бастионом. Здесь мы занимались каждый день. Катехизис<sup>285</sup> и литанию<sup>286</sup> мы должны были выучить очень старательно, сверх этого нас учили молиться с четками и бегло читать по-латыни. Каждый день нам надо было учить по четыре вокабулы<sup>287</sup>, которые в конце недели мы должны были отвечать учителю.

Учитель был очень строг к юному господину. Однако я всегда ходил у него в хороших учениках. Моя матушка время от времени высылала мне немного денег, и ими я откупался от господина учителя, так как этот добрый человек очень любил прогуливаться с красивыми девушками, и деньги были нужны ему как воздух, поэтому он иногда даже ставил мне пять, если я выручал его деньгами. И получилось так, что за все время, пока он был учителем, я был побит всего дважды. И это я уж точно заслужил, так что он никак не мог с честью выйти из положения, не наказав меня. В остальном, мне и фон Логау не приходилось терпеть нужды в еде и напитках. Также мы должны были прислуживать старому господину в его комнате, приносить ему туда еду, короче говоря, исполнять все те обязанности, которые обыкновенно бывают возложены на пажей. Очень часто случалось, что Его Княжеская Милость бывали навеселе. Тогда мы должны были оставаться с ним, ибо Его Княжеская Милость очень неохотно ложились спать, когда сильно напивались. Герцог вскоре дал мне должность: я должен был стать его келлермейстером. Это означало следующее: Его Княжеская Милость получали в качестве части содержания определенное число бутылок с вином из погреба герцога Генриха. Если Его Княжеская Милость не имели желания пить, то я должен был собирать вино в небольшой бочонок вместимостью около ведра, который стоял у Его Княжеской Милости в комнате. Когда бочонок наполнялся, Его Княжеская Милость приглашали гостей и они пьянствовали до тех пор, пока не выпивали его до дна. Позднее Его Княжеская Милость доверили моему попечению также свою рапиру, которую он обыкновенно называл «моя девица Катхен». Часто они орали: «Прохвост! Черт тебя раздери! Подай сюда мою девицу Катхен, я хочу немного потанцевать!»

В таком настроении Его Княжеская Милость часто давали мне затрещину. При этом они кричали: «Ну, как тебе это понравится? Разве

это не добрая княжеская оплеуха?» Если я хвалил ее, то Его Княжеская Милость давали мне серебряный грош на сладости. Но оплеуха была намного лучше, даже чем 20 серебряных грошей, ибо она была для меня знаком его высочайшей милости. Впоследствии я должен был также принять на сохранение ружья Его Княжеской Милости – это были духовые ружья с запалом – и в придачу мне предстояло заботиться о птицах, по которым стреляли из духовых ружей. Как только у Его Княжеской Милости были гости и намечалась стрельба, я получал за каждую птицу, которая встретится стрелкам, по крейцеру. И это часто приносило мне за один-единственный день 6 или 7 серебряных грошей. На них я должен был, впрочем, еще покупать у резчика по дереву птиц по 2 геллера за штуку.

Во время их заключения Его Княжеская Милость были очень богобоязненны. Утром и вечером они усердно молились на латинском языке независимо от того, были они трезвыми или пьяными. Его Княжеская Милость не очень любили герцога Генриха, своего сына. Часто слышали, как отец сильно бранится, особенно теперь, когда к нему пришла такая тяжелая нужда. Однако, когда появлялся герцог Генрих, чтобы навестить своего отца, старый господин откладывал все дела в сторону и устраивал вместе с сыном хорошую попойку. Довольно часто я слышал из уст Его Княжеской Милости слова: «Сын, как ты меня сейчас держишь в плену, так и тебя, придет время, также закуют в кандалы».

Старый князь был очень доволен молодым господином, Его Княжеской Милостью герцогом Фридрихом [IV]. Но несколько раз дело все же доходило до побоев. Однажды, когда вышеупомянутый господин наставник отправился к любовнице, фон Логау и я подрались, как это в обычае у мальчишек, и поблизости не было никого, кто бы мог нас разнять. И на тебе, по винтовой лестнице поднялась к нам наверх из черного парадного зала свинья и громко захрюкала. Охваченные спасительным ужасом, мы тут же разбежались кто куда. Что это была за свинья, нетрудно догадаться, ибо в замке в то время не было ни единого человека. Но милостивый Господь принял нас обоих под свою защиту.

И таким образом с Пасхи 1562 г. до конца 1563 г. я пробыл в плену при Его Княжеской Милости и прислуживал им. Я выучился читать и писать по-немецки и по-латыни, а также Катехизису и молитвам.

Кроме этого, я приобрел и другие знания, которые относятся к придворному обхождению.

Причина же моего удаления от двора была следующей. Его Княжеская Милость совершенно не могли терпеть господина Леонарда Кренцхайма, придворного проповедника, и сочинили сатиру в стихах против герцога Генриха и придворного проповедника. Я сохранил в памяти только последнее четверостишие:

Все несчастья и раздоры  
Между нами и нашим сыном, высокочтимым герцогом Генрихом,  
Исходят от грязного попа,  
Пронырливого, распущенного франконца!<sup>288</sup>

Этот пасквиль я должен был положить на кафедру в церкви замка, чтобы он наверняка попал в руки господина Леонарда. И вот, когда господин проповедник поднялся на кафедру, он нашел упомянутое сочинение, которое было довольно длинным. Он весьма сильно разгневался и вместо слова Божьего, которое он тогда должен был читать, он прочел эту сатиру. Герцог Генрих рассвирепел, и после проповеди состоялся суд. И тут же нашлись предатели, которые донесли, что это сделал я по особому приказу моего господина, Его Княжеской Милости. После этого отец забрал меня от двора, ибо ему было не по душе, что через меня, пользуясь моей неопытностью, сеется раздор между княжескими особами.

По правде говоря, я неохотно возвращался домой, так как придворная жизнь пришлась мне по душе. Вскоре мой отец принял решение послать меня в Пруссию ко двору старого маркграфа, чтобы я обучался вместе с юным господином, ибо Его Княжеская Милость, маркграф, охотно согласились бы оказать милость моему отцу, своему старому слуге, приняв меня при дворе. Однако, как это обычно бывает с любимыми детьми, так произошло и со мной. Моя мать не хотела отпускать меня так далеко, но охотнее удержала бы меня при себе. Возможно, воспрепятствовав этому, она своим любящим родительским сердцем невольно разрушила мое счастье. Однако я должен принять это как есть, ибо на то, видимо, не было Божьей воли. Ибо я полагаю,

если бы Господь пожелал, то это произошло бы и против желания моих родителей. Я благодарю Бога за это, а также моих любящих родителей за их постоянные заботы обо мне.

Мой отец оставил меня дома, и я должен был ходить заниматься к писцу. Но скоро в 1563 г. выпало много всяких разъездов, из-за чего мой отец вынужден был подолгу находиться в дороге вместе с герцогом Генрихом. Он обыкновенно брал меня с собой. 28 декабря госпожа Катарина, герцогиня Лигницкая, вышла замуж за герцога Казимира Тешского. На эту свадьбу в Лигниц прибыл также король Максимилиан II. В тот же день была крещена дочь герцога Генриха под именем Эмилия. При этих событиях я должен был прислуживать в качестве пажа, облаченный в бархатное одеяние, как это тогда было принято. Пиршества продолжались целых 14 дней. После этого я с моим возлюбленным отцом снова вернулся домой и стал с большим усердием изучать письмо, чтение и другие благородные дисциплины, которым меня обучали мои родители. На следующий год во время моего путешествия в Дрезден я увидел столь многое, что буду помнить это всю оставшуюся жизнь. По приезде курфюрст Август и мой отец устроили конный бой на копьях, так как оба они были хорошими наездниками и бойцами. Но все это проводилось втайне, так что об этом знали только княжеские персоны. Его Курфюршеская Милость собственноручно надели на моего отца кирасу и сами позаботились о том, чтобы он был хорошо обезопасен. Когда же они помчались друг на друга, то оба, как хорошие наездники, не промахнулись мимо цели. У курфюрста было такое тяжелое копье, что двое мужчин едва были в состоянии подать его Его Курфюршеской Милости. Копье даже было немного тяжелее, чем сам курфюрст. К этому еще прибавился удар, который Его Курфюршеская Милость получили от моего отца. Этого было достаточно для того, чтобы Его Курфюршеская Милость упали. Мой отец, хотя курфюрст также ударил его копьем, вполне был в состоянии удержаться в седле. Однако когда он увидел, что курфюрст упал, он тут же сам упал с коня, чтобы все выглядело так, как будто бы Его Курфюршеская Милость сбили его наземь. И эта ничья впоследствии доставила курфюрсту особенную радость. Он также сказал, что это был его последний турнир. Он пожаловал моему отцу цепь стоимостью 70 гульденов и свой портрет. Затем он показал ему свою сокровищницу и сказал, чтобы он просил о чем-либо и ему не

будет отказа. Но мой отец попросил только, чтобы тот всегда оставался его милостивым курфюрстом. И Его Курфюршеская Милость торжественно пообещали ему это.

В 1566 г. в четверг после «Kantate» мой отец отослал меня в школу в Гольдберге, чтобы я там учился. Меня отвез туда Бальтазар Тимен, мертшютцский священник. В Коллегии я жил в одной комнате вместе с неким Креквитцем из Глогау.

Нашим наставником был весьма ученый муж, Бальтазар Титц из Глогау, а столовался я у Ханса Хельмериха. В той школе со мной очень хорошо обходились, так как все учителя, зная, кто мой отец, относились ко мне с уважением и старательно обучали меня. За год и 4 месяца к моим прежним знаниям прибавилось много нового, и я мог уже немного изъясняться по-латыни. В Гольдберге меня ни разу не били. Только магистр Барт, который очень строго ко мне относился, однажды ударил меня розгой по рукам, когда я не выучил своего Теренция и сказал: «Выучите в другой раз, или я спущу Вам штаны!»

Однако, так как в моей голове сидело слишком много придворных привычек, которые я довольно хорошо постиг прежде этого, то я находил большее удовольствие в верховой езде, чем в книгах, и мое сердце стремилось больше к свободной жизни, чем к прилежной учебе. Поэтому я выискивал всяческие предлоги, чтобы уехать из Гольдберга. Однако все они не имели успеха у моего отца, напротив, он постоянно повторял мне, что все мои мысли должны быть только об учении, а если же я не имею их, то господа учителя привьют мне их с помощью хорошей розги. Но наконец я подхватил лихорадку и был отправлен домой. В действительности же я чувствовал себя лишь наполовину так плохо, как притворился. После моего возвращения домой учебе вскоре пришел конец, так как в Гольдберге начала свирепствовать дизентерия. Отец оставил меня дома, и я умудрился за 14 дней забыть все то, чему меня выучили за год и 4 месяца.

Впрочем, в Гольдберге я наслаждался куда большей свободой, чем в других школах. Я не пропускал ни одного праздника, на которое меня приглашали. У старого Альбрехта Бока была в то время пара красивых дочерей. Их часто приглашали в город на празднества в бюргерские дома. И довольно часто случалось, что мне вместе с юнкером фон Фауленеком, другим гольдбергским студентом, выпадало вести девицу к столу. Когда это происходило, я мнил себя чертовски

ловким молодцом, ибо мне доверяли дело, которое не всегда выпадало на долю и более старшим парням. Особенно у меня засело в голове то, что дочь господина Бока, девица Катхен, может сказать пару слов латыни. Когда она предлагала мне на латыни поднять бокал, и я мог ей ответить, мне представлялось, что я уже знаю латынь так же хорошо, как какой-нибудь доктор, и что я весьма ученая персона.

Кроме этого, я был в хорошей компании сверстников, ибо в Гольдберге было не менее 140 студентов благородного сословия, не считая сыновей бюргеров, которых, кажется, насчитывалось более 300. Под конец моего пребывания в Гольдберге ко мне в комнату подселили юнкера Георга Ландескрона фон Ауша. Это был неотесанный мальчик, совершенно не пригодный к учению. С ним мы откололи много грубых шуток. Он был очень падок на мед, и, если я затевал ссору с каким-нибудь другим юношей, я обещал Ландескرونу поставить стаканчик меду, за который он дрался с моим противником столько, сколько я хотел.

В то время епископ Логауский предложил моему отцу, что он передаст мне имение Бишдорф или будет выделять по 500 талеров ежегодно, если мой отец захочет, чтобы я продолжал учебу. Однако окольными путями мой отец узнал, что епископ имел намерение сделать меня католиком. Тогда он наотрез отказал епископу, особенно после того, как тот вдобавок потребовал, чтобы я сразу же после университета получил какую-либо церковную службу в епископстве.

Мой отец дал мне с собой в школу 3 талера на дорожные расходы, поэтому я мнил себя Крезом. Кроме этого, я получил 22 гроша на книги и отдал сшить себе бархатный берет. Когда я надевал его, а это происходило только по воскресеньям и праздникам, я считал себя неплохим парнем. Однажды мать прислала мне еще 2 гульдена и длинное белое перо. Его я надежно спрятал в своем комодe и нацеплял на берет только по большим праздникам. Однако я был достаточно глуп, чтобы часто прямо среди бела дня рассматривать свое сокровище. Это заметил один студент, который жил вместе со мной в комнате, и решил, что там должно быть спрятано еще много венгерских гульденов. И что же произошло? Однажды ночью он вскочил, прикинулся бешеным и взломал не только мой сундук, но и несколько других. Он буянил до тех пор, покуда мы не выбежали из комнаты. Тогда он спокойно стащил у меня 2 гульдена и 2 талера,

которые я получил на хлеб. Так я лишился всех своих сокровищ и не мог пожаловаться ни учителю, ни матери. А вороватый парень вскоре после этого покинул Гольдберг. Было бы намного лучше, если бы я не своевольничал, а продолжил бы учебу, как того хотели мой отец и мои учителя.

Но, как уже было сказано, я возвратился из школы домой и со всем пылом посвятил себя благородным охотничьим забавам. Ежедневно я охотился с ястребом, подстерегал гусей и уток или отправлялся куда-нибудь с борзыми. Попутно я наблюдал, как мой отец ведет хозяйство, а также помогал ему. Я разъезжал повсюду вместе с ним и держал себя как юнкер. Также я упражнялся в немецком правописании и снимал для моего отца копии со всех его писем. Так что меня нельзя было упрекнуть в праздности, наоборот, всегда находилось полно работы!  
<...>

## Маргарита Валуа (1553–1615)

Младшая дочь французского короля Генриха II и Екатерины Медичи, королева Наварры, писательница и меценатка, с юных лет вовлеченная в политическую борьбу и придворные интриги. Свидетельница братоубийственной религиозной войны во Франции, не прекращавшейся почти 50 лет.

Маргарита получила блестящее образование, свободно говорила на итальянском и испанском языках, читала книги на латыни, интересовалась философией, математикой и физикой, рано начала сочинять стихи. С раннего детства ее прочили в невесты нескольким европейским государям, пока, наконец, в 1572 г. под давлением матери-католички она не была обвенчана с протестантом Генрихом Наваррским из династии Бурбонов (будущим королем Франции Генрихом IV). Молодоженам чудом удалось спастись в последовавшей за свадьбой резне Варфоломеевской ночи, однако в дальнейшем брак Маргариты с Генрихом оказался крайне неудачным и привел к драматическим политическим последствиям. Вследствие бездетности королевы, в 1592 г. Генрих начал бракоразводный процесс, сопровождавшийся интригами и заговорами. После вступления Генриха на французский престол папа Климент VIII расторг его брак с Маргаритой (30 декабря 1599 года). Однако даже после развода она осталась членом королевской семьи с титулом королевы, получила право пользоваться землями в Юго-Западной Франции, продолжала участвовать в пышных придворных церемониях. После убийства Генриха IV в 1610 году она приложила немало усилий для сохранения общественного спокойствия в королевстве.

Последние семь лет жизни Маргарита провела в Париже в своем новом дворце, как и прежде, в окружении поэтов, художников, философов, музыкантов и высшей европейской знати. Умерла 27 марта 1615 г. от воспаления легких, ее прах покоится в капелле Валуа базилики Сен-Дени. Благодаря роману Александра Дюма, ее часто называют королевой Марго.



«Мемуары», главное из ее сочинений, Маргарита начала писать в 1599-1600 гг. вдалеке от Парижа, в овернском замке Уссон. Поводом к их написанию стала ее панегирическая биография, преподнесенная ей летописцем европейской придворной жизни Пьером Брантомом. Споря с его льстивыми оценками, Маргарита в своем сочинении рисует картину жизни двора, полную низких страстей и изощренных интриг. Резко критический взгляд Маргариты на происходящее распространяется и на фигуры большинства ее близких – за исключением Генриха Наваррского и нескольких других. Так, она беспощадно рисует образ жестокой и властной королевы-матери Екатерины Медичи, слабохарактерного Карла IX, циничного Генриха III. Себя же Маргарита представляет жертвой закулисной борьбы и несчастных обстоятельств. При этом заверяя читателя в правдивости созданной ею картины: «Я начертаю свои Мемуары, которым не дам более славного названия, хотя они заслуживают быть названными Историей, потому что содержат только правду без каких-либо прикрас, на которые я не способна и для чего теперь не имею свободного времени»<sup>289</sup>.

## Мемуары

Связь событий прошлого и настоящего времени вынуждает меня начать рассказ с эпохи короля Карла<sup>290</sup> и с того момента, когда, насколько я помню, в моей жизни произошло нечто примечательное. Подобно тому как географы в описании земли, дойдя до последней точки своих знаний, говорят: «Дальше нет ничего, кроме песчаных пустынь, необитаемых земель и несудоходных морей», так и я могу сказать, что от этого момента у меня остались лишь смутные воспоминания о раннем детстве. Ведь в ту пору мы живем ведомые скорее природой, наподобие растений и животных, а не как люди, управляемые разумом. Я оставляю тем, кто наставлял меня в этом возрасте, возможность написать дополнительное исследование. Вероятно, среди моих детских поступков окажутся такие, которые будут достойны описания, как факты из жизни Фемистокла и Александра<sup>291</sup>. Первый из них встал посреди улицы прямо перед лошадью, когда извозчик не захотел по его просьбе остановиться, а второй всякий раз отказывался от почетного приза, если он не

оспаривал его у королей. Об этом я хотела поговорить с королем – моим отцом – незадолго до ужасного события<sup>292</sup>, которое лишило Францию покоя, а наш дом счастья.

Когда мне было четыре или пять<sup>293</sup> лет, отец посадил меня на колени и начал беседу. Он сказал, чтобы я выбрала себе в услужение либо принца де Жуанвиля, которым был тогда этот большой и невезучий герцог де Гиз, или маркиза де Бопро, сына принца де Ларош-Сюр-Ион (природа постаралась снабдить его таким умом, что вызвала тем самым зависть у судьбы, которая, отняв у него жизнь в возрасте 14 лет, лишила его почестей и лавров, несомненно его ожидавших: так благороден и добродетелен был весь его облик). Я смотрела, как оба они, будучи шести или семи лет от роду, играли возле моего отца, и выбрала маркиза. На вопрос отца: «Почему? Он не так красив» (ибо принц де Жуанвиль был белокож и белокур, а маркиз де Бопро смугл и темноволос) я ответила: «Потому что он послушный, а тот, другой, не может оставаться в покое, пока не причинит кому-нибудь зло, и всегда хочет быть первым». Это было точным предсказанием того, что мы позже увидели.

Такое же упорство я проявила, пытаясь сохранить верность своей религии в период Синода в Пуасси<sup>294</sup>, когда весь двор был заражен ересью. Я не уступала перед настойчивыми убеждениями многих придворных дам и сеньоров. Даже мой брат герцог Анжуйский<sup>295</sup>, детство которого прошло под сильным воздействием гугенотов, беспрестанно убеждал меня отказаться от католической религии. Он часто кидал в огонь мои часословы, а взамен давал псалмы и молитвенники гугенотов. Получив их, я сразу же отдавала их мадам де Кюртон, своей гувернантке, которая, слава Богу, сохранила католичество и часто водила меня к месье кардиналу де Турнону. Кардинал советовал мне быть стойкой и сохранить свою веру. Он давал мне часословы и четки взамен тех, которые были отняты у меня и сожжены. Мой брат герцог Анжуйский и другие отступники, которые хотели погубить мою душу, находя все это у меня, охваченные гневом, ругали меня и говорили, что мое поведение – просто ребячество и глупость, что я ничего не понимаю, что все, у кого был хоть какой-то ум, независимо от возраста и пола, видя, как проповедуется правда, уже отошли от этих заблуждений. Они считали меня такой же глупой, как мою гувернантку. При этом герцог

Анжуйский добавлял угрозы, говоря, что королева-мать прикажет меня высечь. Но все это он выдумывал, так как королева-мать ничего не знала о его заблуждении и симпатии к гугенотам. А когда обо всем узнала, то велела высечь его и гувернеров, пытаясь заставить их уважать истинную, святую и древнюю религию наших отцов, от которой она никогда не отходила. Я же разрыдалась, так как мне было всего семь или восемь лет, и рассказала ей об угрозах брата и о том, что он приказал отстегать меня, и мог приказать убить меня, и что я вытерпела все, но не отступилась от своей религии.

По поводу этих событий можно привести много других деталей и суждений, но я не буду на них останавливаться, а начну свои мемуары лишь с того момента, когда я отправилась вслед за королевой-матерью и больше не покидала ее. Тотчас же после Синода в Пуасси, в связи с возобновлением войны, мой брат герцог Алансонский и я, как самые младшие, были отправлены в Амбуаз. Сюда же съехались дамы со всего края. В их числе были ваша тетя мадам де Дампьер, с которой мы очень подружились<sup>296</sup>. Эта дружба длилась до самой ее смерти. Была и ваша кузина мадам герцогиня де Рэц, которая там, в Амбуазе, познала милость судьбы, освободившей ее после битвы при Дре от несносного первого мужа, месье д'Аннебо, который был недостоин владеть таким божественным существом. Я говорю здесь о дружбе, возникшей между вашей тетей и мной, а не о дружбе с вашей кузиной, хотя с той поры дружба моя с вашей кузиной продолжается. Этому очень благоприятствовали преклонный возраст вашей тети и мой детский, принимая во внимание естественную потребность старых людей любить маленьких и, наоборот, склонность людей среднего возраста, в котором в ту пору была ваша кузина, относиться с презрением и нетерпимостью к детской простоте и назойливости.

Я оставалась в Амбуазе до тех пор, пока королева-мать не взяла меня в большое путешествие по Франции. И хотя я не покидала королевский двор, не буду о нем говорить, так как из-за своего детского возраста сохранила о нем лишь самые общие воспоминания, детали же исчезли из моей памяти, как сон. Я даю возможность рассуждать о нем тем, кто, как вы, находясь в более зрелом возрасте, могут помнить о том великолепии, с которым все обставлялось: в Барле-Дюк крестины моего племянника, принца Лотарингского, в Лионе приезд месье и мадам Савойских, в Байонне встреча моей

сестры королевы Испании, королевы-матери и короля Карла, моего брата. Тут, я убеждена, вы не забудете изобразить превосходное пиршество с балетом, организованное королевой-матерью на острове Дегмо. Казалось, что сама природа располагала к празднику: посреди острова находился большой луг, который окаймляла высокая сосновая роща; на этом лугу королева-мать приказала устроить беседки, а в каждой из них – круглый стол на 12 персон. Только стол их Величеств возвышался среди зеленых газонов. Все эти столы обслуживались группами пастушек, на которых были одежды из сатиновых с золотой нитью тканей – в соответствии с обычаями различных провинций Франции. Эти пастушки, спускаясь с великолепных суден (переезд на которых сопровождался звуками музыки – словно морские боги распевали и читали стихи вокруг судна их Величеств), оказывались на боковых лужайках, расположенных по обе стороны от большой аллеи, ведущей к главной зале. Каждая группа пастушек исполняла танец своей провинции: пастушки из Пуату танцевали под звуки волынки, из Прованса – вольту под цимбалы, пастушки из Бургундии и Шампани – под маленький гобой и скрипки. Бретонки танцевали веселые пасспье, бранль и так далее. Когда пиршество закончилось, в огромный освещенный грот вместе с большой группой музыкантов-сатиров сверху спустились нимфы, красота которых и блеск их украшений затмили искусственное освещение. Спустившись, они дали представление из танцев и пантомимы под музыку. Завистливая фортуна не смогла перенести их успех и послала такой сильный дождь и грозу, что все спешно должны были спуститься на судна и там провести ночь. На следующий день это происшествие дало повод для спешных историй, так что все устройство праздника доставило большое удовольствие присутствующим. Затем участники праздника отправились по главным городам королевства, посетив таким образом все провинции. Повсюду им устраивали пышные встречи.

В правление благородного короля Карла, моего брата, через несколько лет после нашего возвращения из большого путешествия гугеноты возобновили войну. Король и королева-мать были в Париже, когда один дворянин из ближайшего окружения моего брата герцога Анжуйского прибыл с поручением сообщить им, что численность гугенотов в их армии значительно сокращена благодаря его усилиям и он надеялся, что через несколько дней они (король и королева) приедут

и будут свидетелями сражения. Он умолял их приехать и оказать ему честь перед битвой. Он гордился возложенной на него миссией, и если фортуна, ревнивая к его славе, которую он стяжал в таком молодом возрасте, захотела бы в этот счастливый день, после оказанной доброй услуги королю, религии отцов и своему государству, присоединить триумф победы к торжествам по случаю его похорон, то он ушел бы из этого мира с меньшим сожалением, оставив их обоих удовлетворенными тем, как он выполнил свою миссию. Это было бы для него более почетным, чем трофеи двух первых побед<sup>297</sup>. Вы можете себе представить, насколько эти слова тронули сердце моей доброй матери, которая жила только ради своих детей, готовая в любой час отказаться от своей жизни, чтобы сохранить их честь и корону. Особенно она любила моего брата герцога Анжуйского.

Она сразу же принимает решение уехать с королем, со мной и в сопровождении небольшой группы дам из ее окружения: мадам де Рэц, мадам де Сов. Летя на крыльях желания и материнской любви, она проделала путь от Парижа до Тура за три с половиной дня. Путешествие это было полно всякого рода неудобств и забавных приключений, в особенности связанных с бедным кардиналом Бурбоном, который никогда не оставлял мать, но который ни по своему характеру, ни по своей комплекции не был приспособлен к таким тяжелым переездам.

В Плессе-Ле-Тур, куда мы прибыли, находился мой брат герцог Анжуйский со своими главными военачальниками, которые были цветом принцев и сеньоров Франции. В их присутствии он дал отчет о выполнении возложенной на него миссии за тот период, когда он отсутствовал в Париже. Это было сделано с таким искусством и красноречием, сказано с таким изяществом, что он вызвал восхищение у всех присутствовавших. Тем более что его молодость особенно подчеркивала осторожность его речей, скорее подобающих для человека, убеленного сединами, или же для старого капитана, нежели для юноши шестнадцати лет<sup>298</sup>, чело которого украшали лавры двух выигранных битв. Его красота, которая вообще делает все поступки приятными, была так ярка, что казалось, будто она соперничает с его удачной судьбой: которая из них прославит его более?

Что при этом чувствовала моя мать, которая его очень любила, невозможно передать словами, как нельзя выразить скорбь отца

Ифигении<sup>299</sup>. Любую другую женщину легко мог бы охватить восторг, вызванный чрезмерной радостью. Осторожность, однако, никогда не покидала мою мать, и она, умеряя свои чувства, как сама того хотела, ясно показала, что скромный человек не делает ничего такого, что он не хочет делать, не демонстрирует свою радость и не расточает похвалы, которые заслуживает прекрасное поведение ее обожаемого сына. Она просто выделила те моменты в его речи, которые касались военных дел, чтобы поставить их на обсуждение перед присутствовавшими принцами и сеньорами, принять подобающие решения и обеспечить все необходимое для продолжения войны. Для этого надо было провести в Туре несколько дней. Однажды, когда королева-мать прогуливалась по парку с принцами, мой брат герцог Анжуйский попросил меня пройтись с ним по боковой аллее. Он обратился ко мне со следующими словами: «Сестра моя, не только радость сближает людей, но и то, что они росли вместе. Может, вы не знаете, но из всех братьев я больше всех желал вам добра, и я признаю также, что и вы по своему характеру расположены платить мне такой же дружбой. Мы естественным образом пришли к этому и без всяких намерений, кроме единственного удовольствия, которое получали от совместных бесед. Это было хорошо для нас детей. Но сейчас уже нельзя жить, как в детстве. Вы видите, на какие прекрасные и великие дела призвал меня Бог и в каком духе меня воспитала наша добрая мать<sup>300</sup>. Вы должны верить, что вы, которую я люблю больше всех на свете, всегда будете делить со мной все почести и блага, которые я получу. У вас достаточно ума и рассудительности, чтобы отстаивать мои интересы перед матерью, чтобы я смог удержаться в таком благоприятном положении, в котором сейчас нахожусь. Моя главная цель – сохранить ее доброе ко мне расположение. Я опасаясь, что мое отсутствие может этому повредить. Война и обязанности, возложенные на меня, вынуждают меня почти всегда находиться вдалеке, в то время как король, мой брат, всегда рядом, и льстит, и угождает ей во всем. Боюсь, что это навредит мне и что король, возмужав, не всегда будет развлекаться на охоте, но, движимый честолюбием, захочет охоту на животных заменить охотой на людей и лишит меня должности наместника короля и сам отправится командовать армией. Это было бы для меня полным крахом и таким большим огорчением, что я скорее избрал бы жестокую смерть,

прежде чем испытаю подобное унижение. Опасаясь всего этого и думая, как бы помешать подобному повороту моей жизни, я нахожу, что необходимо иметь очень верных людей, которые бы отстаивали мои интересы перед королевой-матерью. Я не знаю никого более подходящего для этой цели, чем вы, которую считаю своим вторым я. У вас есть все необходимые качества: ум, рассудительность и верность. Я был бы вам очень обязан, если бы вы пристрастно отнеслись к моему поручению, стараясь быть с матерью при ее пробуждении, при отходе ко сну – короче, весь день. Это вынудит ее общаться с вами. Я же расскажу ей о ваших способностях, уверю ее в том, что она получит от вас утешение и помощь, упрошу ее не обращаться с вами как с ребенком, а пользоваться вашими услугами в мое отсутствие как если бы это был я. Убежден, что она это сделает. Оставьте свою робость, разговаривайте с ней с той же уверенностью, с какой вы говорите со мной, и увидите, что она станет с вами мила. Она полюбит вас, и это будет большой честью и благом для вас. Вы сделаете много для себя и для меня. Благодаря Богу и вам моя fortuna не отвернется от меня».

Эти речи были для меня совершенно новы, так как до сих пор я жила без целей, думая лишь о танцах и охоте, не имея никакого желания хорошо одеваться или казаться красивой, находясь еще в таком возрасте, когда нет подобных амбиций. Я росла при королеве-матери, настолько боясь ее, что не только не осмеливалась разговаривать с ней, но, когда она смотрела на меня, я цепенела от страха, что сделаю что-нибудь такое, что ей не понравится. Я чуть было не ответила, как Моисей Богу, который сказал при виде кустарника: «Да кто я такой? Пошли того, кого ты должен послать»<sup>301</sup>. Однако чувствуя в себе энергию, возникшую под влиянием его слов, о которой я раньше не подозревала, хотя от рождения не была трусливой, придя в себя после первого потрясения от этих слов, я поняла, что они мне понравились. Мне вдруг показалось, что во мне произошли какие-то перемены и возникло нечто такое, чего раньше не было. Я стала верить в себя и сказала ему: «Брат мой, если Бог даст мне силу и храбрость говорить с королевой-матерью так, как я хотела бы, чтобы оказать вам услугу, которую вы ждете от меня, не сомневайтесь, что вы будете довольны и извлечете из этого для себя пользу. А что касается услужения нашей матери, то я буду это делать

так, что вы признаете, что я предпочитаю благо всем удовольствиям мира. Вы совершенно правы, что верите в меня, ибо никто так вас не любит и не почитает, как я. Примите это во внимание, а также то, что, говоря с королевой-матерью, вы будете самим собой, я же буду представлять вас».

Эти слова я сказала скорее сердцем, нежели устами, и результаты не заставили себя ждать. Уезжая из Тура, королева-мать позвала меня и сказала: «Ваш брат передал мне, о чем вы с ним говорили, он не считает вас ребенком, я тоже не буду это делать. Мне доставляет большое удовольствие разговаривать с вами, как и с вашим братом; будьте в моем услужении и не бойтесь со мной свободно разговаривать, ибо я так хочу». Эти слова вызвали в моей душе необыкновенные чувства, каких я еще не знала, и такое безмерное удовольствие, что мне показалось, что все то хорошее, что было у меня до сих пор, было лишь тенью этого удовольствия. Теперь, глядя в свое прошлое, с пренебрежением думала я о детских забавах, танцах, охоте, о друзьях детства, презирая все это как глупость и суету. Я повиновалась этому приятному приказу, ежедневно была в числе первых при ее пробуждении и среди последних при ее отходе ко сну. Она делала мне честь, разговаривая со мной по два или три часа, и, слава Богу, она была всегда мною довольна и хвалила меня придворным дамам. Я говорила с ней о моем брате и держала его в курсе всего того, что происходило, с такой верностью, что целиком исполнила его пожелания. <...>



## Джеймс Мелвилл (1556–1614)

Публикуемые ниже фрагменты автобиографии принадлежат Джеймсу Мелвиллу, одному из крупнейших деятелей Реформации в Шотландии и так называемого мелвиллианского движения – пресвитерианского по духу церковных преобразований, вобравшего в себя новую естественно-научную систему образования, основанную на превалировании логики над риторикой. Она пропагандировалась Эндрю Мелвиллом (1545–1622), виднейшим реформатором 1580–1590-х годов, приходившимся дядей Джеймсу<sup>302</sup>. Это движение особенно важно не только в связи с тем, что оно представляло собой острую оппозицию монархии Якова VI (1567–1625), но и с точки зрения реформы университетского образования и грамматических школ, бывших одним из рассадников Реформации, их перепрофилирования исходя из интересов пресвитерианской реформы церкви<sup>303</sup>.

Воспитанный в традициях своего дяди, который, заметим, лично следил за успехами Джеймса в изучении древних языков, необходимых для понимания Священного Писания и ведения дискуссий на его сюжеты, Джеймс Мелвилл вскоре стал протестантским священником в Келкенни, в графстве Файф, а затем профессором теологии в университете Сент-Эндрюс. Его детство и юность пришлись на годы утверждения идеологии кальвинизма в Шотландии, триумфа Реформации как в идеологической, так и институциональной сфере.

Стиль мемуаров Мелвилла напоминает приподнято-торжественный слог сочинений Нокса, Дэвида Фергюссона и других деятелей шотландской Реформации. Характерен в этой связи сам зачин повествования Мелвилла, указывающего, что его родители были «освящены светом Евангелия». Благодаря своему отцу, учившемуся у Меланхтона<sup>304</sup> в Виттенберге, а затем общавшегося в кругу сподвижников видного деятеля первой волны шотландской Реформации Джорджа Визарта<sup>305</sup>, мученически погибшего в 1546 г., Мелвилл получил воспитание в духе традиций шотландской реформационной мысли.

В младенческом возрасте Мелвилл потерял мать и воспитывался отцом и старшей сестрой. Отец его, священник, вселял в сына чувства глубокого уважения и сыновней преданности, – он описан как «человек редкой мудрости и благоразумия». Сестра Джеймса стремилась воспитать брата в духе доброты и искреннего благочестия, пресекая потенциальные негативные качества кротким укором и доверительным отношением. Вера Джеймса значительно окрепла в ходе его обучения в школе, принадлежавшей родственнику отца, – там его наставляли в «разумном страхе» и благочестии, прививали знание молитв и Священной истории. Описание школьной жизни полно драматизма и непосредственности – Мелвилл вспоминает свои школьные шалости и проступки, в расплате за которые он усматривает проявление Божьего возмездия и напутствия. Его восприятие чумы как Божьей кары за отступничество от Завета скорее созвучно ноксовскому идеалу карающего ветхозаветного Бога.

Круг чтения юного Джеймса был крайне разнообразным – это и всякого рода дидактические сочинения, содержащие основы наук, античная поэзия (Вергилий, Гораций) и драма (Теренций), эпистолярное наследие Цицерона. Важное место в этом списке с детства занимала гуманистическая литература – сочинения Эразма Роттердамского. Параллельно через сестру он познакомился с творчеством шотландского придворного поэта Дэвида Линдсея<sup>306</sup>, в драмах которого гуманистическое начало соединялось с критикой состояния нравов духовенства и призывом к проведению королевской Реформации. Его творчество адекватно отражало истинное положение шотландской реформированной церкви, практически лишенной какой-либо материальной базы, вследствие законодательства Марии Стюарт, предписывавшего ее остаточное обеспечение из фондов короны. Генеральная Ассамблея шотландской кальвинистской церкви, учрежденная в 1559 г. лордами Конгрегации и ставшая основным законодательным органом Реформации, предпринимала все возможные усилия для решения этой проблемы и автономизации церковной собственности и финансов новой Церкви. Однако острая оппозиция власти католички Марии Стюарт не привела к решению вопроса, достигнутый компромисс был шатким и непрочным.

Именно в атмосфере этих споров и проблем проходило детство Джеймса. Политическим фоном его взросления стала череда заговоров

и переворотов вокруг Марии Стюарт. Первым среди них стало убийство ее личного секретаря итальянца Дэвида Риччио<sup>307</sup>, потрясшее Джеймса, за которым последовало покушение на «доброего регента» Шотландии графа Джеймса Морей<sup>308</sup>, пользовавшегося поддержкой большинства лордов Конгрегации и Джона Нокса. Атмосферу нестабильности усугубляли слухи о возможном французском вторжении и призывы протестантов к Уильяму Сесилу и Елизавете поддержать Реформацию силами английской армии. Все это объясняет, почему Мелвилл оценивал обстановку в Шотландии того времени как «тревожную и беспокойную», и для нас тем более ценно это замечание, если учесть, что оно отражает жизненные впечатления еще совсем юного человека, чутко воспринимавшего разговоры окружающих его взрослых – представителей духовенства, наставников в школе, которых напрямую затрагивали события Реформации, но лишь опосредованно – политические события в стране.

Весьма любопытны воспоминания Мелвилла о его первом опыте приобщения к Библии: сначала отец «вложил Ее» в его руки, затем Джеймс попал в школу родственного с ними клана; это весьма четко отражает реалии распространения Реформации, воспринимавшейся целыми семьями и кланами, обеспечивавшими не только ее широкую идеологическую поддержку, но и по необходимости собиравшими мощные силы для вооруженного сопротивления католикам, что проявилось в Гражданской войне (1567–1573).

Настоящие фрагменты представляются тем более интересными, что они раскрывают не только личные воспоминания самого Джеймса, относящиеся к его детству и юности, но и освещают круг чтения, рекомендованного в ходе дидактической и катехизической активности реформаторов в области школьного образования, и специфику обучения, нередко не менее скучного и длительного по сравнению с предшествовавшими ему образцами<sup>309</sup>.

## История жизни

Я знаю человека во Христе, принесенного Господом из чрева матери своей 25-го числа, месяца июля (издавна посвященного святому Иакову апостолу и мученику) в год от Рождества Господа нашего 1556, ради благодарности сердца, славы и чести его, ради Господа и дорогого отца во Христе и во имя воспитания и счастья его детей и, таким образом, как явствует из нижеследующего, намереваюсь запечатлеть на бумаге благодать Господа, дарованную ему с первого его зачатия и отмеченного дня его рождения; настолько, по крайней мере, насколько его слабое понимание и память могут постигнуть и донести.

Тем не менее, как я возвестил словами Псалмов Давида, даже малейшая из Его неизвестных щедрот превосходит крайние пределы моего понимания и изречения.

Так, во-первых, Господь позволил мне родиться у добропорядочных, верных и честных родителей, оба из которых освящены светом Евангелия, на самой заре того самого дня в пределах Шотландии, зная и веруя, что этот завет благодати и зерно истины, открыто выраженные в нем, быстро убедят меня в преимуществе оногo, то есть корня и потому источника всех благ, моего вечного избрания во Христе еще до Сотворения мира.

Этих родителей звали по имени Ричард Мелвилл из Болдуи и Изабелла Скримгер, которая была сестрой лорда Глезвелла. Мой отец, воспитанный грамотным с юности и наученный вежливости по достижении двадцатилетнего возраста, затем был избран наставником Джеймса Эрскина из Дона и отправился с ним в Германию, где занялся изучением наук, а именно теологии, сначала с доктором Манабеем в Дании, а затем был учеником Филиппа Меланхтона в Виттенберге в течение двух лет. Из великой любви к Господу он имел счастье учиться у таких наставников, которые были величайшими светочами того времени в стране, в городе Монтроуз, и в обществе лорда Дона и благочестивейшего и благороднейшего шотландского мученика Джорджа Визарта и тех, которые названы в Германии. И Господь, благословляя семя, брошенное ими в его сердце, в конце концов, после первой Реформации, выбрал его в числе своих жнецов и назначил его

служителем своего Слова в церкви Маритон, в миле от Монтроуза, почти примыкающей к его собственному дому в Болдуи, в которой он продолжал преданно служить до конца дней своих.

Он умер на 53-м году своей жизни (в месяце июне) в 1575 г. от желтушной лихорадки, насколько можно благородно, после изъявлений наиболее лестных увещеваний в адрес благородных джентльменов страны, которые все надеялись посетить его во время болезни, и его брату, и друзьям, остававшимся с ним; почти в самый час его смерти он просил читать ему восьмую главу Послания к Римлянам. И сразу после того, как его брат господин Джеймс, священник в Арброте, спросил, что он делал, подняв глаза и руки к небу, спокойным тоном он ответил: «Я славлю Господа за свет его Евангелия и остаюсь в убеждении Его благостными обещаниями жизни, во имя моего Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа», не промолвив более ни одного внятного слова. Он был человеком редкой мудрости, суждения и благоразумия; и поэтому чрезмерно занятым встречами и делами благородных джентльменов страны, которые отвлекали его от служения Господу, препятствуя его добродетелям и сокращая его жизнь. Воздаянием за это было уважение и привязанность всех. Не было никого из лиц его достоинства и очень мало стоявших выше него, столь почитаемых и возлюбленных, как он, что особенно проявилось на его похоронах и что часто мне говорили люди разных званий.

Моя мать умерла примерно спустя девять месяцев, но не более чем через год после моего рождения; она была женщиной особенно возлюбленной друзьями и соседями ее супруга. Несколько раз я слышал, как мой дядя Роджер, Джон, господин Джеймс и Роберт не могли снискать ее расположения, честности, добродетели и привязанности к ним. И я часто слышал от мастера Эндрю, что он, будучи крайне болезненным ребенком, был окружен большой заботой и нежностью, и она обнимала и целовала его много раз со словами: «Господи, дай мне еще одного такого же ребенка и призови меня к себе!» У нее было до меня двое детей, старший из которых умер, и между ним и вторым она родила трех дочерей, и в конце концов Господь удовлетворил ее желание, даровав ей сына, который для Господа был бы похожим на мастера Эндрю как по дарованиям, так и

по телосложению и чертам лица, настолько, что те, кто мало осведомлен, принимают меня за брата мастера Эндрю.

Следующим преимуществом [после таких родителей] было мое образование, которое я получил до достижения зрелого возраста, и вступление в служение, в котором было много преимуществ, но наиболее замечательные по моему суждению и памяти я опишу. Прежде всего, к славе моего небесного родителя, я в общем берусь исповедовать вместе с Давидом: «Моя мать оставила меня, но Иегова принял меня»<sup>310</sup> и с Исайей «Мать оставила плод чрева своего, но Господь всегда помнил меня».

Моей няней была злонамеренная женщина; впоследствии, одинокий, я оказался в доме батрака, затем, около 4–5 лет, попал в дом мачехи. Тем не менее один добропорядочный горожанин Монтроуза не раз говорил мне, что отец укладывал меня на спину, забавлялся и смеялся надо мной, так как я не мог встать из-за своей тучности; тогда он спрашивал меня, что мешало мне, на что я отвечал: «Я такой толстый, что не могу подняться».

И воистину, на моей памяти я никогда не приходил на место, если только Господь не вел меня с материнской привязанностью ко мне. Когда мне исполнилось пять лет, в мои руки вложили Библию, и когда мне исполнилось семь, некоторые главы из нее я выучил дома; поэтому отец поместил моего старшего и единственного брата Дэвида, который был на полтора года старше меня, вместе со мной в школу к члену одного с ним клана и брату по его служению Господу. Это был добрый, знающий человек, имя которого я помню из благодарности к нему, господин Уильям Грей, священник в Ложи-Монтроуз.

У него была сестра, добропорядочная и честная матрона семейства, управлявшая его домашним хозяйством, которая будила во мне воспоминания о собственной матери, да и на самом деле была для нас с братом любящей матерью. В той же школе учились дети большого числа благородных и честных людей округа, хорошо подготовленные в науках, благочестии и разных играх. Там мы научились читать катехизис, молитвы и Священное Писание, повторять катехизис и молитвы наизусть, а также фрагменты Священного Писания после его чтения; и там я впервые обнаружил (благословен мой Господь за это!), что Дух освящения начинает рождать некое движение в моей душе около восьми или девяти лет, что я стал молиться, укладываясь спать и

вставая и прогуливаясь один по полям, я стал читать молитвы, которые выучил и чтобы презреть божбу, и упрекать [в божбе других], и жаловаться на то, что я слышал божбу других. Тем временем пример этой благочестивой матроны, болезненной и вынужденной читать и молиться в постели, сильно помог мне, ибо я находился в ее комнате и слышал ее упражнения. Мы выучили начатки латинской грамматики и канты на латыни и французском языке и также многие речи на французском с чтением и правильным произношением на этом языке. Затем мы перешли на «Этимологии» Лили и его «Синописис»<sup>311</sup>, так же как и немного «Синтаксиса» Линэкера, дополненного номенклатурой Хантера; «Малые Беседы» Эразма и несколько эклог Вергилия и письма Горация, также письма Цицерона к Теренцию. У него была прекрасная и удобная форма освоения стиля авторов, а именно: преподавание с грамматической и этимологической сторон, а также по синтаксису. Что касается меня, то сказать по правде, мои усидчивость и память были достаточны, но способности к рассуждению и восприятию пока оставались настолько смутными и темными, что получавшееся при этом становилось результатом механического заучивания, а не знания. Там мы также воспитывались в хорошем духе и разумном страхе, и наш наставник учил нас натягивать лук для стрельбы, [сгибать] палочки, предназначенные для строительства забора. А также бегать, скакать через веревочку, плавать, бороться и применять все это на практике, каждый состязаясь со своим соперником, как на уроках, так и во время игры. Счастлирое и золотое время в действительности, если бы наше невежество и неблагодарность не заставили Господа укоротить его, отчасти вследствие сокращения числа учащихся, что заставило волноваться нашего учителя, отчасти из-за чумы, которую Господь из-за греха и презрения к Его Завету наслал на Монтроуз, находящийся на расстоянии двух миль от Овер Ложи, так что школа оказалась распущенной, а мы все отосланы по домам.

Я пробыл в той школе почти пять лет, и за это время из политических известий я, помню, слышал о бракосочетании Генриха и Марии, короля и королевы шотландцев, об убийстве сеньора Дэвида (Риччио), гибели короля на Керкоф-Филд<sup>312</sup> и пленении королевы в Карбарри и на Лангсайдском поле. Об этом читайте Историю г-на Бьюкенена<sup>313</sup>, кн. 17, 18, 19.

Даже тогда, по-видимому, весть об этих событиях тронула меня и отозвалась в моем сердце с некоей радостью или грустью, так как я думал, что они могли способствовать или мешать делу религии: так, я припоминаю пост, соблюдавшийся в 1566 г., когда дурное управление делами церкви привело к лишению священников жалования, это касалось Джеймса Мелвилла, моего дяди, и г-на Джеймса Белфора, его двоюродного брата, обоих священников и находящихся на жаловании, равно как и доброго Патрика Форбса из Корса. Лорд Кирнабер и благочестивые и ревностные джентльмены из графства, частично ради своих детей, а частично ради того известного документа<sup>314</sup> в церкви Шотландии, Джон Эрскин Дон, суперинтендант Мориса и Ангуса, в определенные периоды проживавший в Ложи, часто посещали наш дом и рассказывали об этих вещах. Также я хорошо помню, как мы добрались до края стены посмотреть на костер, разожженный на крутой вершине Монтроуза (в день рождения короля). Эти обстоятельства я отмечаю ради блага места и того общества, в котором Господу было угодно поместить меня учиться в период моего детства и юности.

Когда мы с братом вернулись домой, наш отец проэкзаменовал нас и остался доволен нашими успехами. Тем не менее, при столь нестабильном и тревожном состоянии страны, и при столь скудных и маленьких средствах, которыми он располагал (не получая собственного жалования и помогая многим, нуждавшимся в его братской помощи), и вследствие того, что школа не работала, мы зимой оставались дома и вспоминали время от времени о книгах, когда отец был более свободен, что происходило весьма редко. Однако Господь не позволил, чтобы это время проходило бесцельно, и я помню о двух его преимуществах: о чтении истории Священного Писания, запечатленной в моем уме, и книге Дэвида Линдсея, которую моя старшая сестра Изабелла читала и фрагменты из коей декламировала, а именно касательно Страшного Суда, мук ада и радостей рая, благодаря чему она приводила меня в радостное состояние духа. За это я особенно нежно любил ее, больше, чем других. Однажды она мне показала среди прочего сценарий балета против священников, которые покидают службу из-за отсутствия жалования.



О тех, кто отдает свою руку в заклад  
И за это уходит с поста,  
Сказано явно в Завете Христа,  
Что Царство мое не получают те в дар и т. д.

С этими словами она разразилась слезами: «Увы! Что случится в этот лучший день? Господь, убереги моего отца и господина Джеймса Мелвилла и г-на Джеймса Белфора от этого!» Вслед за этим она воскликнула стихами Д. Линдсея:

Увы! Я трепещу сказать  
О страшных муках ада,  
Кто в силах скорбно отрицать  
Его за вечную печаль?

Своими речами и слезами она заставила меня содрогаться и горько плакать, что оставило глубокую печать страха перед Господом в моем сердце, не похожую ни на что, о чем я когда-либо слышал. Я предавался детским проказам и опасному мелкому воровству, и она, понимая это, нарочно вверяла мне ключ от ее сундука, и, зная, что в маленькой коробочке находится немного серебра, я брал часть его, полагая, что она не заметит этого. Но случайно она подходила ко мне в этот момент с таким предупреждением и в то же время со столь ласковым предостережением и увещеваниями, что я благодарил Господа за то, что воздерживался от этого во все последующие дни, и, где бы я ни был, если мне удавалось купить что-нибудь достойное ее, я посылал этот подарок ей (принимая во внимание нашу привязанность) в течение всей ее жизни. Это преимущество я получил от Бога благодаря ей той зимой в силу роста страха перед Ним и честной жизни.

Беседы на гражданские темы и благоразумие относятся к другой стороне моей жизни. Мой отец той зимой дал нам в руки Палингения<sup>315</sup>, которым он восхищался сам и желал, чтобы мы из его

чтения дома учили много стихотворений наизусть. Таким образом я выучил хорошо и даже запомнил посредством ежедневной практики с восхода солнца эти предписания для заверения сердец, умерения страстей и мирной беседы, которую он ведет в поэме «Рак» начиная с этих строк до конца книги:

Всякий, кто жаждет быть любимым при жизни,  
Пусть услаждает, приносит пользу он людям  
И добродетель вечно в себе сохраняет,  
Ибо даже самые злобные люди, опасаясь,  
Признают добродетель, при этом ее ненавидя.

Только одна вещь в конце [поэмы], по тонкому воздействию не являющаяся христианской (которой он нас не научил), самым надлежащим образом должна быть отмечена и оценена с точки зрения благоразумия.

Несомненно, великий опыт – побеждать лаской  
И до срока скрывать сдавленную скорбь души.

Сам Макиавелли не мог бы так предписать это, как, насколько я знаю, практикуется в Шотландии<sup>316</sup>, и все еще эти строки оказываются действенными: Господь, сделай нас кроткими как голуби и мудрыми как змеи. Я благодарю Господа от всего сердца за то, что с моей юности он позволил мне понимать это, но не использовать, и я благословляю Христа за то, что презираю все мщение как дьявольское и именно исходящее от змея.

По весне отец решил взять моего старшего брата, теперь совсем почти вышедшего из детского возраста, к себе домой для обучения домашнему хозяйству и опыту светской жизни и решил вновь послать меня в школу на год или два с тем, чтобы впоследствии он смог и меня познакомить с домоводством и подготовить для меня небольшую ферму, и так как он никогда не знал способов, чтобы мы выучились, живя на ферме, но по достижении знания (умения) в домохозяйстве

доставить нам для этого хоть какой досуг в деревенской жизни. Итак, я был направлен в школу Монтроуз; найдя Божьим провидением мою старую мачеху, Мэрджори Грей, состарившись со своим братом, после его женитьбы открыла школу для мальчиков в Монтроузе, и я был принят ею вновь как сын. Начальник школы, образованный, честный, добрый человек, которого я также могу назвать в знак благодарности, господин Эндрю Милн, был очень искусным и прилежным наставником. В первый год он прошел с нами по второму разу «Начатки»<sup>317</sup>, затем мы стали изучать первую часть «Грамматики» Себастьяна, потом «Формиона» Теренция и упражнялись в сочинении; затем мы перешли ко второй части и изучали «Георгики» Вергилия и разные прочие вещи. Я ни разу не получал от него ударов, хотя я дважды допускал непростительные ошибки с огнем и холодным оружием. Держа свечку в руках зимней ночью до шести утра в школе, я сидел в классе и ребячески небрежно играл с устилавшим пол камышом, он взял загорелся, и мы приложили все наши усилия, чтобы затоптать его ногами и выбросить. В другой раз ко мне пристал одноклассник, обрезавший шнурок моей ручки и чернильницу из рога своим перочинным ножиком; тогда я стал направлять свой перочинный нож к его ноге, чтобы попугать его; он испугался и, поднимая то одну, то другую ногу, резко дернул ногой в сторону моего ножа, нанеся себе глубокую рану, которая не заживала в течение трех месяцев. Когда разбирались в происшедшем, наставник увидел меня столь униженным, испуганным, расстроенным, заплаканным, что только запер меня на целый день в школе, не находя в своем сердце повода строже наказать меня. Но мой Господь не позволил мне забыть об этой вине, но дал мне предупреждение и память о том, что было замарано кровью, хотя и нечаянно; спустя некоторое время я попросил ножовщика, недавно приехавшего в город, почистить и заострить мой перочинный ножик и, купив на пенни яблок, разрезая и едя их, по мере того как я клал кусочки себе в рот, я стал запрыгивать на маленького рыжего ослика с ножиком в правой руке, и, упав, нечаянно поранился в живот на дюйм вдоль левого колена до самой кости по справедливости Божьего наказания. Я настолько был поражен, что в дальнейшем избегал ножей всю свою жизнь.

В Монтроузе жил господин Томас Андерсен, священник, человек, не наделенный особыми дарованиями, но ведущий добропорядочную

жизнь. Господь подвигнул его заметить меня, и часто он звал меня в свою комнату, когда он видел во мне какую-либо пользу, чтобы наставить и увещевать меня другим образом. Он желал, чтобы я повторял часть Катехизиса Кальвина субботними вечерами, так как слышал, что людям нравится чистота моего голоса и прочувственное чтение, и Господь подвигнул одну благочестивую честную даму из города назвать меня ее маленьким сладким ангелом. У священника не было возможности обучать меня чаще, чем раз в неделю; но чтцом у него был благочестивый человек, отчетливо читавший Священное Писание с религиозным и преданным чувством; тем временем я все более старался прислушиваться к чтению и выучил историю Священного Писания, получая также удовольствие в Псалмах и мелодиях, написанных на них, которые он читал почти наизусть в прозе. Вышеупомянутый лорд Дон поселился в городе и из благотворительности покровительствовал одному слепому, у которого был редкостно чудный голос; через врача нашей школы он стал учить нас читать псалмы и петь их в церкви, слышать его голос было для меня такой отрадой, что я выучил много псалмов и мелодий на них в переложении на шотландский, о которых я только и мог подумать как о благословенных и приносящих радость. Исполнение священнических обязанностей происходило тогда в Монтроузе, и их ассамблеи обычно имели место там же; и когда я понял, что мне будет очень хорошо от этого призвания, то я подумал, что это невозможная вещь, чтобы я когда-либо встал и заговорил, когда все придерживали языки, и продолжал говорить один на протяжении часа. Там также был посланник, часто приезжавший в Эдинбург и привозивший [к нам] в дом книги псалмов и баллады, сочиненные Робертом Семпиллом, от которых я получил удовольствие и выучил кое-что как о стране, так и о поэзии на шотландском диалекте. Он показал мне первые песни Веддеберна<sup>318</sup>, из которых я выучил некоторые наизусть, отличавшиеся разнообразием мотивов. Он часто приезжал в нашу школу, и от него я также научился понимать календарь, часто используя его.

И наконец, на тринадцатом году жизни я принял причастие тела и крови Христовой впервые в Монтроузе, с большим почитанием и смыслом, которые я затем часто мог найти в душе моей; и тогда, отойдя от стола, добропорядочный человек, диакон церкви, дал мне

наставление относительно легкомыслия, своенравия и недостаточного внимания к проповеди и чтению Евангелия. Это наставление осталось со мной навсегда. Итак, Господь сделал моими учителями всех тех, кто встречался мне, все места и действия, но увы: я никогда не пользовался ими так плодотворно, как позволяли обстоятельства, но увлекался в суетности ума своего юным и нелепым самомнением, что является тяжким упреком для моей совести. Время, которое я провел в Монтроузе, растянулось на два года, в течение которых повсеместно распространялись великие похвалы в адрес правительства, а в конце его горькая и вызывающая сожаление новость о предательском убийстве Джеймса, графа Моррея, называемого добрым регентом<sup>319</sup>, о котором смотри 19-ю книгу вышеназванной хроники (т. е. «Истории» Бьюкенена).

## Джон Сандерсон (1560–ок. 1627)

Джон Сандерсон родился в Лондоне в марте 1560 г. Его отец происходил из «хорошей семьи» с севера Англии, откуда он переселился в Лондон и там основал дело по производству шляп. Семья жила неподалеку от собора Св. Павла, в знаменитой школе которого Сандерсон изучил начатки латыни. Некоторое время Сандерсон вел дела в лавке отца, в 1578 г. был определен на девять лет в ученики купца Мартина Калторпа. В 1584 г. Калторп записал его на четыре года в служащие компании, которые вели дела с Турцией. Сандерсон поступил в распоряжение английского посла, некоторое время выполнял обязанности управляющего его домом, затем был послан в Александрию, откуда за неимением других дел дважды ездил осматривать пирамиды. В 1587 г. Сандерсон вернулся в Лондон к своему прежнему хозяину Калтропу (с 1589 г. лорду-мэру и рыцарю) и помогал ему в делах в Голландии. В 1588 г. для него закончился период ученичества, и, вероятно, Калторп подыскал бы ему место в своей конторе, но, к несчастью, не успел этого сделать, так как умер в мае 1589 г. Попытки Сандерсона наладить свое дело во Фландрии, а также его проект достичь Индии по маршруту португальцев кончились крахом. В 1591 г. Сандерсон возобновляет контакты с Турцией. В портретах его коллег перед читателями предстает меланхолический и раздражительный характер автора, проявившийся и в его воспоминаниях о детстве, публикуемых ниже. Несмотря на неуживчивый нрав, Сандерсон, очевидно, стяжал симпатии посла, горячего и решительного человека. В 1595 г. посол, сопровождавший султана на войну в Венгрии, оставил Сандерсона, к немалой его гордости, своим заместителем, однако же интриги членов посольства вынудили его в 1599 г. вернуться в Англию. Последнее путешествие в Порту Сандерсон совершил в 1599–1600 гг., когда не только вел сложные финансовые дела в качестве консула и казначея компании, но и посетил Палестину. В 1602 г. Сандерсон вернулся в Лондон, который больше не покидал до самой смерти около 1627 г. В 1604 г. он получил дворянский герб, а в 1605 г. оставил сферу торговли, хотя и вел

оживленную переписку с агентами в Константинополе. Остаток его жизни был посвящен написанию записок о своих путешествиях и составлению автобиографии.

Сандерсон так и не женился после неудачного романа с племянницей Калтропа. Единственным родственником, к которому он был привязан, являлся его брат, священник. Из переписки братьев перед нами предстает другой Джон Сандерсон – человек, проявлявший интерес к теологии, музыке и литературе. В путешествия он всегда брал собственноручно переписанную коллекцию произведений церковных авторов. Его записи об увиденных Святых местах отличает немалая наблюдательность и ученость. Хотя, подобно другим своим современникам, Сандерсон привозил и просто «редкости» – мумии и различные восточные снадобья, в своих поездках на Восток он искал для брата и греческие рукописи. Последние представляли живой интерес для Томаса Сандерсона, одного из видных членов лондонского комитета по составлению нового исправленного издания Библии (так называемой Библии короля Якова), работой над которым занимались виднейшие теологи Англии.

В Библиотеке Британского музея хранится объемный свод сочинений Сандерсона – фолиант из 411 листов. Второй том его сочинений утрачен. Наряду с набросками записок о Леванте, копиями теологических сочинений, заметками о Риме, Испании, шуточными записями, стихами, перепиской. Сюда вошла и краткая автобиография. Если записки о Леванте увидели свет при жизни автора, в собрании Самюэля Перчаса, то автобиография была опубликована только в 1931 г. в издании Гаклюйтовского общества. Издатели отмечают, что Сандерсон дважды привносил изменения в текст, в 1615–1616 и в 1621–1622 гг., подчеркивая свою греховность. По-видимому, начало автобиографии, посвященное детским воспоминаниям, не подверглось существенным изменениям, однако и оно отражает меланхолический и болезненный нрав автора<sup>320</sup>.

## **История рождения и приключений Джона Сандерса, иначе Бедика**

После того как моя мать (как она говорит) с большим риском для своей жизни промучилась три дня, за нее были вознесены молитвы в

начале службы в воскресенье у креста Св. Павла; вслед за тем, в то время, как пели псалом, она разрешилась от бремени в ... последний день марта 1560 г., всего за 14 дней до Пасхи. Леди Стаффард, услышав о трудных родах, пришла к ней и принесла попить и непосредственно приняла меня у матери. При появлении на свет я был очень слаб и немедленно крещен с именем Джон; каковое, то есть Джон, и осталось моим именем после торжественного обряда крещения в следующее воскресенье. Моими крестными были мой кузен мастер Ричард Уайтхилл, джентльмен и купец Стапля; мастер Уильям Франклин, джентльмен и также купец – из Данцига; а крестной матерью была добрая леди Вудроф.

Мое младенчество, как говорила мать, было очень беспокойным и болезненным, я постоянно страдал нарывами, каковых у меня было не меньше семи одновременно. Когда я немного подрос, меня начали беспокоить белые плоские черви в животе. Долгое время из-за них я принимал много лекарств; среди других одно средство, которым я натирал свой живот целиком, по наставлению одной женщины, и прикладывал по целому грецкому ореху к пупку каждый день, но все приводило к тому, что кожа полностью сходила с моего живота, что до сих пор я не могу об этом вспоминать, не испытывая вживе жесточайшую боль; но от них (червей) я не излечился до 24 лет, после чего я не пил ничего кроме вина и воды.

Далее, очень большим было мое несчастье в грамматической школе из-за моих плохих способностей. До 16 лет я покончил со всей латынью, получив слабое в ней наставление от безумных учителей в бесплатной школе, Кука и Холдена<sup>321</sup>. Розги упомянутого Кука оставили не менее семи шрамов у меня на боку, которые видны и сейчас<sup>322</sup>. Так я перешел к счету и письму, в чем за полгода я получил все, что только было нужно, от мастера Скоттоу и мастера Грея<sup>323</sup>. После чего я провел полгода дома, ведя счета и определяя работу для слуг отца, так как сам он мучительно страдал от зоба, который начал расти под его правым ухом (как говорит моя мать) после того, как он женился; зоб сильно увеличился за 14 лет и теперь в последние годы находился в руках хирурга. Одна женщина, по имени мистресс Хамфри, первая поставила диагноз и занялась им, но лучшие хирурги лечили его многие годы спустя; по этой причине все, кто в какой-либо мере был с ним связан, носили в сердце большую печаль, видя его



страдания; а он был в постоянном беспокойстве и так слаб, что не мог приглядывать за слугами или вести счет бархату, тафте, шелку, подкладочному шелку и т. д., что шли на подкладку шляп и чепцов; у него в услужении было постоянно три-четыре подмастерья, по крайней мере две служанки и не меньше семи или восьми рабочих. И все же он умер, не стяжав большого состояния, хотя и не в бедности ...

В 17 лет мой дядя Фоксалл, купец, поместил меня [в ученики] к мастеру Мартину Калторпу, фландрскому купцу, который держал меня год до того, как я был записан его учеником, и потом я был приписан к нему с согласия отца на 9 лет, из которых прослужил ему только 7 лет, первые два в жалком звании подмастерья...

## Эдуард Херберт (1583–1648)

Эдуард Херберт – английский дворянин, происходивший из шропширского рода Хербертов, состоятельного, но не высокородного семейства (только его прадед был рыцарем, дед и отец оставались эсквайрами). Благодаря его раннему браку с дальней родственницей – Мэри Херберт, наследницей графа Пемброка, его социальный статус значительно возрос. В возрасте 18–19 лет Эдуард был представлен ко двору, где его превосходное образование и галантные манеры были оценены по достоинству. Расцвет его придворной карьеры пришелся на годы царствования Якова I: Херберта производят в рыцари и кавалеры Ордена Бани. Он воюет во Фландрии, путешествует по Германии, Италии и Франции, с 1619 по 1621 г. возглавляет английское посольство в Париже. В 1625 г. получает ирландский баронский титул, а в 1631 становится пэром Англии, лордом Хербертом из Чербери. Во время гражданской войны он принял сторону парламента.

Херберт был одним из самых образованных джентльменов якобитского двора, питавшим глубокий интерес к философии и медицине. Помимо автобиографии его перу принадлежит трактат «Об истине» (1624). Жизнеописание Эдуарда Херберта осталось незаконченным. Впервые оно было опубликовано в 1764 г. Значительная часть автобиографии посвящена взглядам сэра Эдуарда на воспитание совершенного джентльмена, которое, по его мнению, должно было включать фундаментальное классическое образование, современные языки, этику и теологию, естественно-научные дисциплины, в особенности – медицину и анатомию, а также занятия спортом, военными искусствами, музыкой и танцами.

Воспоминания Э. Херберта о его детстве приведены здесь практически полностью. В основном они центрируются вокруг тяжелого врожденного заболевания, которое способствовало формированию философского умонастроения автора, готового с легкостью покинуть бранный мир ради иного, а также с учебой, ставшей основным занятием его отрочества. Любопытно, что ранние брак и отцовство описаны весьма бегло и, по-видимому, не

представлялись Херберту достойными подробного рассказа. Бросаются в глаза скупые упоминания о родне, отсутствие эмоционально окрашенных характеристик близких (в то время как портрет наставника написан значительно ярче). В трактовке автором его детских поступков и качеств можно усмотреть его высокую самооценку и определенный эгоцентризм<sup>324</sup>.

## Жизнь Эдуарда, лорда Херберта из Чербери

<...> Я родился в Эйтоне в Шропшире... между полночью и часом ночи<sup>325</sup>. В детстве я был весьма болезненным: мою голову беспрестанно терзали боли, средоточием которых были уши. По этой же причине я так долго не говорил, что многие полагали, будто я навсегда останусь немым. Самое первое, что мне помнится, это то, что, когда я уже понимал, что говорят другие, я тем не менее продолжал хранить молчание, дабы не сказать чего-нибудь нелепого или неуместного. Когда же я заговорил, мой первый вопрос был таков: «Как я пришел в этот мир?» Я сказал своей кормилице, дядьке и остальным: «Вот я уже здесь, но не могу представить, что было тому причиной или началом, и каким образом это совершилось». В ответ кормилица и прочие женщины, присутствовавшие там, засмеялись надо мною, поэтому я обратился к другим, и мне ответили, что никогда не слышали, чтобы какой-нибудь ребенок задавал подобные вопросы. По достижении более зрелых лет я пришел к умозаключению, доставлявшему мне позднее немалое утешение: подобно тому как я обнаружил в себе жизнь, не подозревая о схватках и муках, перенесенных моей матерью (а между тем они должны были беспокоить и терзать меня не меньше, чем ее), и душа моя, надеюсь, перейдет в иную, лучшую жизнь, не ощущая болей и страданий, испытываемых телом в момент смерти.

... Но оставим эти рассуждения и вернемся снова к моему детству. Я помню, как болезнь моих ушей (из которых текло)<sup>326</sup> продолжалась с такой силой, что друзья считали, что меня не следует учить даже алфавиту, и так было до тех пор, пока мне не исполнилось семь лет; в это время мои уши успокоились, из них перестало течь, и в результате я оказался избавленным от того недуга, которому были подвержены мои предки, а именно – эпилепсии<sup>327</sup>. Тогда учитель в

доме моей... бабушки начал изучать со мной алфавит, затем – грамматику и читать те книги, которые обычно проходят в школах.

И я настолько преуспел в этом, что однажды составил речь на тему «Audaces fortuna juvat»<sup>328</sup> на целый лист, а также 50 или 60 стихотворных строк за один день.

Помню, меня порой наказывали за то, что я ходил драться на кулачках с двумя приятелями, учившимися вместе со мной, которые были старше, но никогда – за ложь или какую-то другую вину, ибо моему естественному расположению и склонностям была противна фальшь. Поэтому, если я совершал какой-то проступок, в котором меня могли справедливо заподозрить, я обычно признавался в нем по доброй воле, предпочитая скорее принять наказание, чем запятнать себя ложью. Эта привычка, насколько я могу судить, сохранилась у меня и поныне. И я могу искренне заявить перед всем миром, что с самого раннего детства до настоящего времени я никогда осознанно не говорил ничего, что было бы неправдой, поскольку душа моя естественным образом отвращается от лжи и обмана.

Когда мне исполнилось девять лет (а все это время я жил в доме моей... бабушки в Эйтоне), родители решили, что меня нужно послать куда-нибудь, где бы я мог выучить валлийский язык, полагая необходимым дать мне возможность общаться с теми из моих друзей и держателей, которые не знали никакого иного языка. Поэтому меня рекомендовали м-ру Эдварду Теллволлу из Плэйсварда в Денбишире. Я должен воздать ему всяческие почести, ибо этот джентльмен досконально изучил греческий, латинский, французский, итальянский, испанский, а также приобрел знания в других сферах, не отправляясь для этого за моря и не воспользовавшись благами университетов.

Кроме того, будучи человеком редкостного темперамента, он так умел усмирять свой гнев, что я никогда не видел его рассерженным, пока оставался у него там (по отзывам, таким его знали и прежде). Если случалось, что он бывал обижен, я видел, как его лицо покрывалось краской, и некоторое время он хранил молчание, но когда снова начинал говорить, его речь была тихой и спокойной, и было ясно, что он справился со своим гневом. Признаюсь, сам я никогда не мог достичь такого совершенства, будучи подвержен гневу и страстям больше, чем следует. Я обычно прямо высказываю то, что думаю, уподобляясь тем, кто отворяет двери, если в доме пожар, чтобы огонь

вырвался наружу и не сжег дом изнутри. Тем более я превозношу нрав м-ра Теллволла, ибо тот, кто может промолчать во гневе, бесспорно, способен контролировать свои страсти.

Но, подобно тому как я не смог научиться этому у него, так же мало пользы я получил от изучения валлийского или любого другого языка из тех, что знал этот достойный джентльмен, поскольку большую часть девяти месяцев, в течение которых я оставался в его доме, я был болен малярией<sup>329</sup>.

Когда ко мне вернулись силы (мне было тогда около десяти лет), меня послали учиться к некоему м-ру Ньютону в Дидлбери в Шропшир, где за два года я не только наверстал все, что упустил из-за болезни, но и добился таких успехов в греческом и логике, что, после того как мне исполнилось двенадцать лет, родители сочли возможным послать меня в Оксфорд в Университетский колледж<sup>330</sup>. Помню, что по прибытии туда я чаще и охотнее вел свои первые диспуты по логике и выполнял упражнения, которые требовались в этом колледже, на греческом, а не на латыни.

Я провел в университете несколько месяцев, когда пришло известие о смерти моего отца. Его недугом была летаргия – *caros*, или *soma vigilans*, которая продолжалась довольно долго. В конце концов он, кажется, умер без больших мучений, едва ли ощущая что-нибудь. Поскольку, по мнению врачей, болезнь была смертельной, моя мать решила послать за мной и привезти домой; сразу же после кончины отца она пожелала, чтобы ее брат, сэр Фрэнсис Ньюпорт, поспешил в Лондон и оформил там право совместной опеки надо мной для них обоих, чего он и добился.

Вскоре после этого меня снова послали в Оксфорд продолжать учебу, где я пробыл недолго, поскольку начались переговоры о моем браке с дочерью и наследницей сэра Уильяма Херберта из Сент-Джиллиана, а обстоятельства заключения этого союза были следующими. Сэр Уильям Херберт являлся наследником... старого графа Пемброка по линии младшего сына последнего. (У старшего сына графа была дочь, которая получила в приданое огромные земельные владения, которыми теперь распоряжается в Монмутшире граф Вустер.) Сэр Уильям Херберт, имея только одну дочь, оставшуюся в живых из его потомства, завещал ей все свои владения в Монмутшире и в Ирландии, но при том, однако, условии, что она

выйдет замуж за кого-нибудь по фамилии Херберт, в противном случае упомянутые земли перейдут к его наследникам мужского пола, а дочь получит лишь малую часть из земель на острове Англси и в Карнарвон-шире. Сделав эти распоряжения относительно земель, сэр Уильям вскорости умер... Его дочь и наследница Мэри после кончины отца оставалась незамужней до двадцати одного года, и никто из Хербертов, подходивших бы по возрасту и состоянию для союза с ней, не объявлялся. К этому времени я достиг возраста пятнадцати лет, и брачное предложение было, наконец, сделано. Невзирая на разницу в возрасте между нами, 29 февраля 1598 г. в Эйтоне тот же викарий, что благословлял моих отца и мать, а потом крестил меня, освятил и мой брак.

Через некоторое время после женитьбы я снова вернулся в Оксфорд вместе с женой и матерью, которая сняла там дом и немного пожила там. Теперь, имея средство против вожделения, к которому естественно склонна молодость, я углубился в книги с большим рвением, чем когда бы то ни было, и продолжал свои занятия, пока мне не исполнилось восемнадцать лет. В ту пору моя мать сняла дом в Лондоне, и я делил свое время между ним и замком Монтгомери, до тех пор пока не достиг двадцати одного года. К тому времени у меня было уже несколько детей (из них ныне здравствуют Беатрис, Ричард и Эдвард).

За эти годы, проведенные в университете и дома, я выучил, не имея наставника или учителя, французский, итальянский и испанский языки только с помощью словарей, а также латинских и английских книг с переводами идиом. Я также научился петь по нотам с листа и играть на лютне. Моей целью при изучении языков было сделаться, насколько это возможно, гражданином мира. Что же касается музыки, она предназначалась для моего домашнего развлечения, чтобы отдохнуть после занятий, к которым я был в высшей степени склонен, и чтобы не стремиться к обществу молодых людей, являвших собой в основном дурные примеры и обнаруживавших страсть к распутству и кутежам.

... Около 1600 года от Рождества Христова я приехал в Лондон, вскоре после этого граф Эссекс предпринял свою попытку<sup>331</sup>, вошедшую в историю... Спустя некоторое время я побывал при дворе, движимый скорее любопытством, чем амбициями. По обычаю все преклоняли колени перед великой королевой Елизаветой, правившей

тогда. Я также стоял коленапреклоненный в приемной, когда она следовала из часовни в Уайтхолл<sup>332</sup>. Заметив меня, она остановилась и, ругнувшись по своему обыкновению<sup>333</sup>, спросила: «Кто это?» Все оглянулись, но никто меня не знал. Тогда сэра Джеймс Крофт, джентльмен-пенсиянер из ее гвардии, заметив, что королева остановилась, возвратился назад и сказал, кто я такой, а также упомянул, что я женат на дочери сэра Уильяма Херберта из Сент-Джиллиана. Королева внимательно посмотрела на меня и после своего обычного ругательства сказала: «Жаль, такой молодой – и уже женат». Затем она дала мне дважды поцеловать ее руку, оба раза мягко похлопав меня по щеке.

Я мало что помню о себе в тот период: только что еще до прихода на трон короля Якова у меня был сын, вскорости умерший. Также и то, что я очень усердно занимался, и чем больше я узнавал из моих книг, тем сильнее росло во мне желание умножать знание.

## Феликс Гутратер фон Пюхштайн (1589–1648)

Многостраничное жизнеописание Феликса Гутратера является довольно скромной частью его сочинения, известного под названиями «Домовая книга», «Инвентарь», «Описания» или, если более полно: «Домовая книга, инвентарь, путеводитель, красная нить и другие необходимые описания о... моих горячо любимых женах... происхождении, службе, действиях, а также обо всем имуществе, с полным реестром, с указанием последней воли, и со многим прочим, что будет благоугодно увидеть». Название книги, насколько это возможно, отражает ее содержание. Автор, происходивший из благородной (но обедневшей) семьи и не получивший должного образования, тем не менее сделал в Пассау и Линце неплохую карьеру, будучи в юности пажом, а впоследствии гофмейстером, попечителем имений и управляющим замком; из-за болезней он уже в сорок лет сложил с себя свои обязанности и предался отдыху и написанию мемуаров (в которых, впрочем, после 1634 г. встречаются лишь отдельные записи). Гутратер достаточно непосредственен в повествовании о своей жизни: он не делает тайны из своих чувств по отношению к первой и второй женам и не упускает возможности порассуждать, как следует оценивать то или иное событие с моральной точки зрения. Однако свое детство он рассматривает исключительно как взрослый человек, отдавая должную благодарность своим суровым родственникам и скорбя о том, что опекуны совершенно не радели о его образовании. Эта взрослость очевидна и в отборе Гутратером эпизодов, которые он выделяет как значимые для своего детства; чуть ли не единственным исключением являются сентиментальные воспоминания об обрядах побратимства, которые Феликс заключал со своими кузенами<sup>334</sup>.

### Домовая книга

#### Родители



Вигулойсен Гутратер фон Пюхштайн. Он больше всего в своей юности занимался военным делом, а женившись, стал жить на свои средства в Лауффене и умер 18 октября в 5 часов утра в 1595 г. Он взял супругой незамужнюю девицу Барбару Хольвассер, дочь сборщика таможенной пошлины герцога зальцбургского и судьи в Дитманнинге Линхарта Хольвассера, и его свадьба была 5 октября 1587 г. Вместе с ней он произвел на свет меня, Феликса, который был рожден 30 августа 1589 г. в день св. Феликса под знаком Тельца между 2 и 3 часами пополудни. Моим воспитателем при крещении был господин Генрих Нагенгаст, патрон лауффенской церкви.

## Отчим

Как это уже было сказано, моя возлюбленная госпожа мать после блаженной смерти моего возлюбленного господина отца снова вступила в брак, на который все друзья смотрели с неодобрением, и она сама потом сильно поплатилась. Она вышла замуж за Георга Дрибенпахера фон Дифенбах-и-Вайденека, который хотя и был весьма знатен, но вследствие преследовавшей их большой бедности он должен был плачевным образом заниматься в Лауффене ремеслом обрезчика неровных волокон шерстяной ткани. Он был моим отчимом, и я совсем не стыдился этого, как некоторые лживые хвастуны и наглые глотки, возможно, делали бы на моем месте. Но я не таков, ибо тот, кто презирает бедность, тот действует против Бога, и увидишь, он также попадет в число бедных в свой день.

## Семилетний

Дальше расскажу о том, как я проводил время моей жизни, сколько я себя помню и насколько мне это известно, а именно с 1596 г. [335](#)

## Опекуны

В тот год мои опекуны господин Йохан Яков Тойфль фон Пюэль, попечитель имения Лебенау князя зальцбургского, и господин Йохан Хризостомус Гутратер, назначенный Его Императорским Величеством капитан, который был братом моего отца, в первый раз определили меня в немецкую школу, посчитав при этом, что я имел такую дырявую голову, что не годился к учению<sup>336</sup>. И оттого они приказали учить меня только письму и верховой езде. И за это мое большое несчастье я им нисколько не благодарен и совсем бы не хотел, чтобы подобная же беда случилась с моими детьми или о них кто-то сказал, что они не могут учиться.

## **Корь**

В тот год у меня была такая сильная корь, что я за четыре недели не съел ни кусочка, и во время этой болезни однажды очень сильно напугал моих братьев, ибо у меня за один день 16 раз случались судороги.

## **Немецкая школа**

В 1597 г. мой опекун господин капитан Гутратер 16 августа взял меня к себе и затем послал в немецкую школу в Зальцбурге.

Поскольку в то время меня очень любил господин Аннибальд фон Райттенау, брат архиепископа Зальцбургского, и очень благосклонно ко мне относился, он втайне от моего опекуна послал меня в Мильдорф.

## **Мне не позволено учиться**

В 1598 г. я очень просил моих опекунов, чтобы они отправили меня учиться, но мне было в этом совершенно отказано. 18 ноября мой двоюродный дядя и опекун Йохан Яков Тойфль взял меня к себе в свой замок, где я за полгода забыл больше, чем выучил ранее за два.

## **Я заболеваю паршой**

В 1599 г. я по недосмотру попал под льющийся жир, и у меня от этого появилась корка на голове, которую мне своими собственными руками лечила жена упомянутого господина Тойфля, урожденная Хоффлингер фон Имелькамп, но меня все равно мучили сильные боли в течение целых семи недель.

## **Ученик в Лауффене**

29 апреля меня вместе с двумя моими братьями Гансом Кристофом и Гансом Вилибальдом снова отправили в школу к лауффенскому школьному учителю господину Хуберу, у которого мы также должны были столоваться. У него было с нами много забот, ибо он должен был удерживать нас, братьев, от потасовок и драк и заниматься с нами, когда мы все трое окровавленные приходили на занятия. <... >

## **Мои детские занятия**

В упомянутом году я начал по большей части тайно, так что никто об этом ничего не знал, постепенно учиться молоть, чертить, вырезать по дереву, вязать, вышивать шелком и подобным рабочим «детским забавам». Но больше всего мне с самого детства были по сердцу духовные вещи и украшение алтарей.

## **Несчастный случай**

В 1600 г., когда я вместе с другими гулял по крытой галерее лауффенской приходской церкви, мой брат Йохан Хризостом в шутку внезапно толкнул меня сзади на могильный камень моего отца, так что долго считали, что я умру, несколько недель я харкал кровью, и после этого случая я долго болел.

## **Тесная дружба**

В 1601 г. на день св. Иоанна в Мете я и мой любимый кузен Ганс Зигмунд Оффлингер заключили братскую дружбу<sup>337</sup>.

## **Путешествия**

В 1602 г. 6 марта я поехал с моим двоюродным дядей господином капитаном Шнеевайзенем в Халль.

Двадцать девятого я и мой любимый кузен Готфрид Гутратер заключили братскую дружбу в саду, и, поскольку у нас не было ни вина, ни воды и нельзя было их быстро достать, мы съели в знак дружбы ноготки и розмарин, и детьми мы очень любили друг друга.

3 августа я поехал с моей возлюбленной госпожой матерью в Зальцбург, и на обратном пути при Хауншперге мы потерпели кораблекрушение, тогда я проплыл на сундуке более четверти мили, пока меня не вытащил рыбак.

## **Смена опекуна**

В 1603 г. осенью мой двоюродный дядя и опекун господин капитан Гутратер умер в Фельде в Венгрии и был похоронен в Вене, что для меня было большим несчастьем, ибо он очень хорошо обходился со мной. И для всех друзей это было большим огорчением вследствие милости, обещанной ему уже императором Рудольфом. После него моим опекуном стал двоюродный дядя господин Ганс Гутратер, попечитель владения Миттерзиль князя зальцбургского, благочестивый и верный муж, который также прожил совсем немного.

## **В Пассау и в Баварии**

В 1604 г. мои опекуны сообщили мне, что они хотят отослать меня из дому. Но путешествие было не столь долгим, как я надеялся. Я посетил моих родственников и друзей в Зальцбургском архиепископстве, а именно господина старшего лейтенанта Эрготта, капитана Шнеевайзена, господина Гримминга, Тойфля фон Пюэля, Хоффлингеров, Альтишских, Ротмайрских, Бриферских, Эдерских, Вагнхуберских, фон Рехлинг и много других знакомых, которые почти все уже умерли.

После этого 27 сентября я прибыл в Пассау к нашему двоюродному дяде господину Эразму Гольдену фон Ламподингу Обернпаршенбрукскому, который был тайным советником эрцгерцога Леопольда, президентом придворного совета, гофмаршалом и попечителем в Вольфштайне. Этот господин был очень добродетелен, и я не мог научиться от него ничему дурному. <...>

## Роберт Блэр (1593–1666)

Роберт Блэр появился на свет в Ирвине (город на западном побережье Шотландии) в 1593 г.

После завершения курса в церковно-приходской школе он продолжил обучение в университете Глазго. В двадцать два года он был назначен профессором, а в следующем году получил право проповедовать Евангелие, став священнослужителем пресвитерианской церкви Шотландии. Успех движения за реформу церкви, возглавляемого в Шотландии Джоном Ноксом (1505–1572), привел к образованию государственной пресвитерианской церкви Шотландии в 1560 г.

Представляя умеренное крыло пуританского движения, пресвитериане требовали уничтожения системы епископата и замены епископов синодами (собранием) пресвитеров<sup>338</sup>, избираемых самими верующими. Уния 1603 г., заключенная при восшествии на английский престол шотландского монарха Якова IV Стюарта (в 1603 – 1625 Якова I), осложнила религиозную ситуацию. Курс на укрепление позиций королевской власти, осуществляемый посредством внедрения епископальной, по английскому образцу церкви, вел к неизбежному обострению противоречий между официальным англиканством и радикально настроенными пуританами.

Планы Роберта Блэра относительно карьеры в городе Глазго были нарушены появлением доктора Камерона (1622), активного проповедника политики двора. Блэр был вынужден отказаться от должности и перебраться в Ирландию, где он возглавлял пресвитерианскую общину города Бангора. В 1632 г. он был обвинен в неподчинении официальной церкви и лишен своей должности. В условиях непрекращающихся гонений на пуритан Блэр последовал примеру многих своих единоверцев. Он сел на корабль, чтобы эмигрировать в Новую Англию, но его судно было прибито штормом обратно к берегу (1635). Попытка Карла I (1625–1649) ввести в 1637 г. в Шотландии порядок англиканской церковной службы вызвала войну

Англии с Шотландией. Роберт Блэр сопровождал шотландскую армию в ее знаменитом походе в Англию 1640 г.

Блэр был одним из шотландских священников, назначенных в 1645 г. с целью убедить короля отказаться от его приверженности епископальной церкви. В 1646 г. он был назначен капелланом Карла I, провел с ним в Ньюкасле несколько месяцев, а затем вернулся в Шотландию. В 1648 г. Кромвель прибыл в Эдинбург, чтобы заручиться военной поддержкой пресвитериан. В числе трех священников, выставленных для переговоров, находился и Блэр. Во время Протектората (1653–1658) Роберт Блэр ревностно продолжал свое служение Богу. После реставрации династии Стюартов он был отстранен от должности. В течение нескольких лет ему приходилось переезжать с места на место, проповедуя при любой счастливой возможности. Он умер в Абердуре 27 августа 1666 г. на семьдесят третьем году жизни.

Роберт Блэр был автором «Комментария к Книге притчей Соломоновых», а также некоторых сочинений теологического и политического характера, которые, к сожалению, не сохранились<sup>339</sup>. До нас дошла лишь его «Автобиография», отрывки из которой были напечатаны в 1754 г. в «Мемуарах о жизни Роберта Блэра», состоящих из двух частей: первая написана им самим и охватывает период с 1593 по 1636 г., вторая – мистером Вильямсом Роу<sup>340</sup>.

Сочинения Роберта Блэра ближе всего к религиозной автобиографии. Свой жизненный путь автор рассматривает в качестве длительного и тяжелого путешествия, полного испытаний. Путь человека – это движение его к Богу. Отсюда проистекает повышенный интерес к душевным состояниям разного типа, склонность к самоанализу. Для перевода были отобраны отрывки из первой главы «Автобиографии» Роберта Блэра, содержащие его воспоминания о детстве<sup>341</sup>.

## **Мемуары о жизни Роберта Блэра**

### **Глава 1**

## От рождения до стяжания славы (1593–1613)

За всю свою жизнь мне довелось иметь дело с удивительным разнообразием обстоятельств и превратностей судьбы, и, приближаясь теперь к завершению (мне уже почти семьдесят) и испытав постоянную доброту и заботу моего Господа, я считаю себя обязанным оставить некоторые заметки, содержащие наиболее важные отрывки из случившегося со мной в моем странствии, дабы жена моя и мои дети<sup>342</sup> имели бы их по крайней мере в качестве напоминания о стезе, которой я в мире держался, дабы лучше вооружить их, чтобы отвечать на клевету и упреки, которые доставались и, возможно, еще будут доставаться мне; а также в гораздо большей степени им; поскольку этого [написания] столь часто требовали от меня близкие мои, а также другие<sup>343</sup>.

Итак, начнем с моих ранних лет. Мой отец<sup>344</sup> (о благочестии которого я узнал, когда достиг определенного возраста; в частности о том, сколь он был склонен к молитве и сколь осторожен, когда, будучи дважды захвачен в море пиратами, отказался обогатить себя покупкой их товаров, чем занимались его соседи) был отнят у меня, когда я был шести лет от роду. На его похоронах я приложил все мои ребяческие усилия, чтобы оказаться в могиле раньше его<sup>345</sup>. Младший в семье<sup>346</sup>... я остался, таким образом, на руках не слишком обеспеченной матери-вдовы<sup>347</sup>, но Господь (поскольку она прожила вдовой после смерти отца около пятидесяти пяти лет) в течение долгого времени являл ей свое милосердие через покровительство, оказываемое ей достойным и известным [Божьим] слугой, мистером Дэвидом Диксоном<sup>348</sup>; Господь рано признал меня, бывшего лишь формально добродетельным, покинутого [отцом], как я уже сказал, и начал наставлять меня уже на седьмом году моей жизни. Во второй день [похорон], когда я был оставлен дома по нездоровью... Господь обратил мой дух к размышлению над следующим вопросом: «Для чего служишь ты, бесполезное создание?» Не будучи в состоянии дать ответ, я выглянул в окно и увидел ярко светившее солнце и корову с полным выменем. Я подумал, что я знаю, что солнце было создано, чтобы сиять и давать свет миру и т. п., а та корова создана, чтобы давать молоко, чтобы питать меня... но все еще оставаясь в неведении



в отношении того, для чего создана. Я сам задумчиво ходил взад и вперед по галерее, где находился. Затем, не увидев на улице ни молодого, ни старого, не услышав ни единого звука, я вспомнил, что все люди имеют обыкновение собираться в очень большом доме, называемом церковью, где они, вне сомнения, находятся из-за того же вопроса, что возник у меня, и слушают службы, которые я до сих пор не принимал близко к сердцу. Вскоре после этого в воскресный день чужеземец (после я узнал, что это был английский священник, осужденный епископами и направляющийся в Ирландию, ожидающий в Ирвине<sup>349</sup> разрешения на проезд) взошел на кафедру: его лицо и ворот его облачения<sup>350</sup>, подобного которому я прежде не видел, заставили меня внимательно взглянуть на него, и в то время как я был охвачен этим действием, он произнес: «А мне благо приближаться к Богу»<sup>351</sup>. Эти слова были тем текстом, на котором он строил свои наставления и который он очень часто повторял тогда в своей проповеди; и каждый раз мое сердце бывало ими тронут. Я согласился с их истинностью и искренне почел их правильными и подумал: «Истинно Господь дал мне ответ на вопрос, на который мой дух ответил незадолго до этого». И хотя прошло уже шестьдесят три года с того момента, спокойствие, осанка и голос говорящего остаются нетронутыми в моей памяти; эти слова были столь милы мне, что в самом начале моего священства я воспользовался этим текстом, как и поклялся.

С той поры я не осмеливался играть в воскресный день, хотя учитель после разбора Катехизиса распускал нас с вполне определенным указанием: «Идите не в город, а на поля и поиграйте»<sup>352</sup>. Я подчинялся ему в том, что шел на поля, но отказывался играть с моими товарищами, поскольку игра противоречила заповеди Божьей<sup>353</sup>.

Так же как я помню эти ранние проявления милосердия Божьего, я помню и свои ранние грехи. После описанных выше событий во время бесчинства (обычно называемого святками), понимая, какие вольности позволяют себе некоторые из тех, что старше меня, чтобы паясничать более смело, я прикинулся пьяным, оставаясь при этом столь же трезвым, как и всегда. Забыв о долге, я продолжал играть до позднего вечера. Я был подвергнут расспросам и оказался под угрозой наказания и, чтобы избежать этого, я притворился, что плакал на

могиле моего отца, и таким образом избежал наказания и заставил плакать мою мать. Тогда я легко с этим примирился и лишь в двадцать три года, читая «Исповедь» блаженного Августина, обнаружил, как близко в преклонном возрасте принимал он свои детские ошибки<sup>354</sup>...

Хотя меня одолевали подобные искушения и грех, я по прочтении уселся за работу, чтобы поразмыслить над деяниями времен моей молодости, ведь грешное себялюбие столь сильно в нас, что даже если бы Твое Слово, О Господи, дало ясное объяснение склонностей нашего сердца к самообману касательно всего и прискорбной безнравственности [нашей], мы и тогда бы еще не поверили в это [объяснение], пока не почувствовали бы и не обнаружили бы это [наставление] ворвавшимся в нашу жизнь.

Тогда же Тебе было угодно, Господи, посетить меня с казавшейся смертельной болезнью кровавого поноса, из-за которой незадолго до этого умер мой отец, и когда все предписанные средства не дали результата, Тебе, о милосердный Боже! было угодно предложить мне способ, который, казалось, сразу же убьет меня, которым я воспользовался и который остался секретом Твоего старого слуги; но, погрузившись в сон на все двадцать четыре часа, я проснулся совершенно здоровым и попросил мяса, к которому я не притрагивался все двадцать четыре дня. Но и после этого развращенность моей натуры проявлялось в спорах и непокорности по отношению к моим двум сестрам; и тогда, Господи, ты подверг меня внезапной и короткой болезни и сделал так, что, оправившись от нее, я возненавидел все раздоры и несогласия. <...>

## **Августин Гюнтцер (1596–1657?)**

Августин Гюнтцер родился в 1596 г. в городе Оберенхайме на территории современного Эльзаса. Как известно, с 1555 г. в Священной Римской империи действовало Аугсбургское религиозное перемирие католиков и протестантов. Однако, несмотря на всю четкость принципа «чья власть, того и вера», конфессиональный компромисс нес в себе опасность будущих конфликтов как между отдельными княжествами, так и внутри них. Семья Гюнтцера придерживалась евангелического вероисповедания, но оказалась на территории, где господствовал католицизм. Это предопределило как отдельные эпизоды, героем (а чаще жертвой) которых становился Августин и его близкие, так и весь способ его мировидения: автор жизнеописания склонен рассматривать свое прошлое как череду искушений. Известно, что в зрелости Гюнтцер веровал очень искренне и искал в религии оплот против жизненных треволнений; создавая (уже после Тридцатилетней войны) свою автобиографию, Гюнтцер проецировал на свое детство взгляды взрослого человека: всеми способами «враг рода человеческого» пытается отвлечь Гюнтцера от истинной веры; дьявол ищет или погубить маленького Августина, или склонить к папизму; с Божьей помощью Гюнтцер справляется с любыми опасностями, будь то болезни или иезуиты. Конечно же, на посвященных детскому и юношескому периодам страницах автобиографии очень сильно отразилась конфессиональная ангажированность. Тем не менее она не только не вытеснила из текста ряд характерных эпизодов, но и способствовала тому, что сочинение Гюнтцера может рассматриваться как до некоторой степени типичное: его жизнеописание удачно выражает «протестантскую этику», в том числе и по отношению к детству<sup>355</sup>.

**Удивительная история жизни Августина Гюнтцера,  
рассказанная им самим**

## О себе

Я появился на этот свет в 1596 г. 4 мая по старому календарю, во вторник ночью между часом и двумя, когда часы среды находились под знаком планеты Луна<sup>356</sup>. По гороскопу я родился под знаком Козерога. Этот знак предполагает меланхолический темперамент и соответствует холодной и сухой земле.

Следующие персоны были моими восприемниками при христианском крещении, а именно двое моих крестных: Яков Штрихерт и Даниель Корн. Моей восприемницей была Агнесса Хассен, незамужняя девица, все трое были горожанами Оберенхайма. Я был крещен в евангелической церкви Св. Иоанна, которая принадлежала благородному юнкеру Штурму<sup>357</sup>. Однако после моего крещения в ней не был более крещен ни один младенец в городе, ибо евангелическим горожанам Оберенхайма было предписано отдавать крестить своих детей в папистские церкви под угрозой строгого наказания.

Мой отец, Августин Гюнтцер, горожанин и литейщик свинца в Оберенхайме, был сыном блаженной памяти амтмана<sup>358</sup> Эмериха Гюнтцера, который временами бывал очень жесток. Моя мать, Агнесса Госсен, была замужней дочерью и наследницей Себастьяна Госсена, литейщика свинца и хозяина постоянного двора в Оберенхайме.

Как только я появился на свет, у меня обнаружилась мошоночная грыжа. Мои родители вверили меня заботам костоправа, однако он не мог исцелить мой недуг и я принужден был так и остаться с этой болезнью.

О, злой первородный грех, как ты поймал меня,  
Подобно тому как цапля хватает рыбку в воде.

Беду, несчастья, страх и нужду я узнал сполна уже в раннем детстве. Как юный еретик-лютеранин я терпел ругань молодых и старых папистов.

Мое первое воспоминание относится к 1600 году, когда мне было четыре года. Я играл перед церковью Св. Михаила около ворот дома моего двоюродного дяди. И вот в это самое время из ворот дома вышел скот, который хозяин намеревался отогнать на луг. Одна из коров подбежала ко мне, подняла меня на рога, пронесла 2 руты, или 14 человеческих шагов, и сбросила на мощеную мостовую. Подбежали люди и, подняв меня, понесли в дом моего дяди, где была моя мать. Она ужасно перепугалась, услышав, что произошло. Говорили, что я, должно быть, уже умер, так как сначала у меня пропало дыхание. Мои испугались, что у меня внутри что-то повредилось. Мои родители ухаживали за мной, прибегая к советам врачей и хорошим лекарствам. И мне по Божьей милости становилось день ото дня все лучше и лучше. Благодарение Богу за его милосердие.

В 1604 г. ландсбергский юнкер фон Нидерайн устроил большие соревнования по стрельбе, на которые был также приглашен и мой отец. Он взял меня с собой, чтобы я впоследствии мог рассказывать об этом событии. Однако на этих соревнованиях мне сильно досталось от одного крестьянина, который при игре в мяч попал в меня мячом, так что я упал на землю, и меня сочли мертвым. Об этом известили моего отца, который в то время обедал с друзьями в деревне Циммес.

Он очень испугался, выскочил из-за стола и хотел разобраться с этим крестьянином. Но крестьянин был не виноват, так как он бросил мяч не с умыслом, а случайно во время игры. После этого броска я долго, на протяжении нескольких лет, страдал от болей в теле. Однако мне стало наконец лучше с Божьей помощью, Которому честь, слава и поклонение ныне, присно и во веки веков.

На восьмом году своей жизни я претерпел большую опасность в воде. Один горожанин Оберенхайма хотел меня утопить и прикончить. Это был виноградарь Ганс Мозер, слывший врагом веры моего отца. Он, увидев, как я резвюсь вместе с другими маленькими мальчиками перед воротами моего отца, подбежал и схватил меня. В ужасном гневе он бросил меня в реку и удерживал меня так, что вода сомкнулась над моей головой. Когда он посчитал, что я уже мертв и захлебнулся, он вытащил меня и увидел, что я, однако, еще жив. Но по милости Божьей несколько баб и мужиков пришли мне на помощь. Тогда злодей убежал домой, похваляясь, как он бросил гугенота, еретика, сынка литейщика в воду и быстро бы его утопил, если бы ему не пришли на

помощь. Мои родители прибежали домой, поставили меня на голову, и вода частично вытекла из моего тела. Они ухаживали за мной, прибегая к советам врачей, и я по Божьей милости снова стал здоров.

В конце 1605 г. я опять претерпел большую опасность в воде. Напротив ворот моего отца был мостик через мельничный ручей, и я лежал на нем вместе с другими мальчишками и, свесившись, ловил в нем листья, которые ветер срывал с ив и бросал в воду, представляя при этом, что это рыбки, как это обычно делают дети во время игры. В этот момент я свалился в воду, и хлопок от моего падения, напоминающий выстрел, разнесся далеко по воде. Мясник и бабы, покупавшие у него мясо, вытащили меня и почти мертвым принесли в дом моего отца. Мои родители были до крайности этим опечалены и расстроены, ибо они полагали, что я умер и захлебнулся в воде, а ведь я был их единственным сыном, и они меня очень любили. Они поставили меня на голову, и вода вышла из моего тела, затем они положили меня на кровать и чередовали различные целительные средства и молитвы. Через несколько дней я с Божьей помощью снова был здоров. Это был второй опасный случай, который я претерпел на воде в том году.

В пору моего отрочества в отцовском доме мне однажды привиделось во сне, что кто-то звонит в звонок, когда вся семья сидела за обедом. Тогда мой отец говорит мне: «Сынок, сбегай, спроси, кто там звонит!» Я быстро сбежал вниз по лестнице, ибо опасался, что если я замешкаюсь, то мне за столом уже ничего не достанется, и закричал вниз с лестницы: «Кто звонит?» Тогда перед дверью встал ужасный черный человек и сказал, что это он звонил и что он черт. «Спускайся вниз, ты должен сразиться со мной». Тогда я сказал: «Я должен с тобой бороться? Убирайся отсюда, ты не сможешь мне ничего сделать!» Он сказал мне: «Но ты можешь это сделать и можешь сразиться со мной». Тогда я сказал: «Если я должен это сделать, то ангелы Божьи должны спуститься с небес и защитить меня. Я знаю, что Бог сильнее тебя; Божьи ангелы защитят меня от тебя и его Святой Дух будет направлять мою руку так, что ты не сможешь причинить мне никакого вреда. И если нужно решить это дело силой, то я с Божьей помощью легко справлюсь с тобой». И как только, взяв в руки палку, я вышел за дверь, с небес спустились четыре прекрасных белых ангела и пронесли меня под мостом над водой перед воротами моего

отца. Враг же поскакал на черном коне, вооруженный копьем и щитом, прямо на меня и хотел меня убить и заколоть. Но я защитил себя своей палкой, и ангелы крепко держали меня. Я храбро ударил его и сказал: «Смотри, злой враг, разве Бог не сильнее, чем ты? Разве я не выиграл битву против тебя?» Тогда я проснулся и возблагодарил Бога, что это был только сон. Я рассказал об этом моему отцу. Он сказал: «Это был воистину злой сон, Бог да спасет тебя».

В 1607 г. я захворал злым недугом, длительными болями в колене, которое распухло до размеров моей головы, так что я хромал целый год и совсем не мог ходить без палки; мудрые советы и врачевания не могли мне помочь. В Оберенхайме жила одна жена палача, которая была сведуща во врачевании и пользовала меня человеческим и собачьим салом и другими медикаментами. После того как эта женщина лечила меня около года, я, наконец, с Божьей помощью снова стал здоров. Наряду с этой болезнью бедра мои были покрыты воспаленными нарывами, гноящимися и незаживающими язвами, но эти болячки преследовали меня в течение всего моего детства. Я благодарен Богу, моему небесному Отцу, за ту милость, которую Он проявил ко мне в моем тяжелом положении. Хвала Ему, честь, слава и поклонение ныне, присно и во веки веков. Аминь.

В том же году черт сильно приступил ко мне, намереваясь отвратить меня от Божьего Слова посредством двух попов, которые в доме священника доставили меня на подъемнике в их рабочий кабинет<sup>359</sup>. Эти попы насели на меня со всей их силой, добиваясь, чтобы я отрекся от евангелической религии, моей веры, и принял папистскую веру, и тогда я буду спасен. Если же я этого не сделаю, то я буду навечно проклят и погублен. Однако наш Бог и Господь дал мне силы и разумение противостоять им речами из Слова Божьего.

Эти двое злых парней даже заперли дверь, чтобы принудить меня перейти в их папистскую веру, но наконец они отпустили меня, и я спустился на подъемнике от этих двух попов, которые с юности учились у иезуитов<sup>360</sup>. Я рассказал своему отцу то, что произошло. Он был чрезвычайно этим разгневан, но не мог отомстить им. Благодарение Богу, что в тот раз я ускользнул от дьявола.

В 1607 г. была неслыханно холодная зима. Я вместе с другими детьми просидел три часа в церкви, вынужденный ждать, из-за чего у меня заоченели бедра и ноги. Они замерзли так сильно, что у меня

появилось пять язв, которые причиняли мне сильные боли и страдания. Мой отец забрал меня домой, и там я должен был четыре месяца проваляться в постели, так как сильно страдал и кричал от болей. Я боялся, что мне отрежут ноги, но Бог, высший врачеватель, помог мне и полностью исцелил меня.



## Тяжелое отрочество

В 1608 г. мой отец отослал меня в Бакорн в Лотарингии, чтобы я выучил там французский язык. С радостью я отправился из дома, чтобы чему-либо научиться. Господу было угодно сохранить меня бодрым и здоровым, за это я благодарил Его от всего сердца. Благодаря Его милости я в совершенстве овладел французским языком и уберегся от всех опасностей.

В том краю я был очень весел и смел и не позволял обижать себя другим мальчикам. Почти все дни проходили у меня в подобных драках. Дважды меня спасали из глубокой воды, когда я летом ежедневно купался вместе с другими мальчиками, иначе я бы точно захлебнулся. Весной, когда еще не до конца растаял лед, мы прыгали в воду и говорили друг другу, что должны от этого стать сильнее. Но часто мы так сильно замерзали, что некоторые немецкие мальчики долго после этого принуждены были страдать от лихорадки. Мы были еще детьми и не понимали, к чему это может привести.

В 1610 г., после того как я год пробыл в той стране, мой отец забрал меня домой. Я возвратился домой через два дня после смерти моей матери, которая умерла после длительной болезни. Она страдала от чахотки и паралича и страстно желала видеть меня еще раз. В браке с моим отцом она вела хозяйство 44 года и прожила 59 лет. Она умерла в субботу 14 апреля 1610 г. в Оберенхайме. В браке с моим отцом они произвели на свет девять детей, трех сыновей и шесть дочерей. Она много и тяжело болела и трижды была скована параличом по рукам и ногам. Благодарение Господу нашему Богу за ее избавление, Он один, если Ему будет это угодно, может даровать нам в наш смертный час блаженную и осознанную кончину<sup>361</sup>.

Когда я возвратился домой в Оберенхайм и не нашел более в живых своей матери, я сильно плакал и горевал. Мой отец приставил меня к большим работам в поле, чтобы я не бездельничал в дурной компании. Я должен был каждый день дважды подметать дом и садовую беседку, окуривать их можжевельником, носить дрова и воду на кухню и к назначенному сроку разжигать огонь в печи. По субботам я должен был чистить все башмаки в доме, а в воскресенье утром и смазывать их мазью. Также я должен был задавать корм скотине, чистить стойло

и подметать переулок. В хорошую погоду я должен был работать в поле, а в непогоду в литейной мастерской. Каждый день утром и вечером я должен был читать свое молитвенное правило по Хаберманну<sup>362</sup>. Утром по воскресеньям я должен был читать Евангелие перед всеми обитателями дома, ибо люди евангелической веры тогда не имели официальной церкви и собраний, и ходить до обеда в евангелическую церковь было строго запрещено, – а после обеда это не запрещалось<sup>363</sup>. И так я все воскресенье должен был ходить на евангелические проповеди и на воскресные занятия для детей, что я, впрочем, делал с радостью.

Все это я выполнял, пока мне не исполнилось 19 лет и я не пустился в странствия. Многие люди упрекали моего отца за то, что он держал меня в такой строгости, он, однако, всегда отвечал таким: «Праздность порождает злых бездельников и плутов и приводит на виселицу». Он проповедовал мне это днем и ночью и угрожал мне моим падением и позорной смертью, если я не буду благочестивым и достойным. Я и сам не понимал, почему он так хорошо ко мне относится и такой любящий отец, но при этом держит меня в такой строгости. Временами я даже хотел потихоньку сбежать из дому, но потом неоднократно благодарил его за строгость, с которой он обращался со мной в детстве. <...>

## Франсуа Тристан Отшельник (1601–1655)

Французский поэт и прозаик. Родился в замке Сулье (Солье) в провинции Ла Марш. В детстве был привезен ко двору и помещен в качестве придворного при маркизе де Верней (1601–1682), бастарде короля Генриха IV. В 13 лет поссорился с телохранителем, убил его на дуэли и скрылся за границей, поскольку эдикты того времени были очень суровы к дуэлянтам. Поначалу Франсуа отправился в Англию, но впал там в крайнюю бедность. Устав от нее, он решил переправиться в Испанию, где находился один из его родственников. Проезжая Пуату, Франсуа из-за безденежья обратился за помощью к Сцеволе де Сент-Марту, который оставил отрока у себя более чем на год. По протекции де Сент-Марта Тристан был устроен секретарем маркиза Виллар-Монтпеза и последовал за ним в Бордо, когда в 1620 г. через Пуату проезжал королевский двор. Пользуясь благосклонностью монарха, он вернулся в Париж и примкнул ко двору герцога Гастона Орлеанского. Свои пристрастия Франсуа делил между азартными играми и сочинением пьес и мадригалов. С 1634 г. он становится известны его стихи, а с 1636 г. – и пьесы. В 1649 г. становится членом Французской Академии. Воспоминания о приключениях и путешествиях в ранней молодости, озаглавленные «Опальный паж» («Le page disgracié»), написаны в 1642 г. в возрасте 41 года. Предполагавшееся продолжение не последовало, и «Опальный паж» так и остался первой частью ненаписанной трилогии. Воспоминания Тристана в целом позитивны, чем контрастируют с текстом Бушара примерно того же времени. Период до 12–13 лет излагается очень сжато, последующий – чрезвычайно подробно вплоть до прерывания изложения на событиях 18–19-летнего возраста. Рассказ построен в основном по эпизодам. Произведение Тристана стоит в ряду первых памятников жанра, в которых была применена такая последовательность эпизодов, какой она была в самом течении реальной жизни автобиографа – от раннего детства до момента готовности начать взрослую жизнь<sup>364</sup>.

# Опальный паж

## Часть первая

### Глава I

#### Предисловие к истории опального пажа

Дорогой Тиринт<sup>365</sup>, я хорошо знаю, что мое сопротивление бесполезно и что вы непременно желаете знать весь ход моей жизни и каковы были вплоть до сегодняшнего дня превратности моей судьбы. Я не решаюсь томить более ваше любознательное желание; но мне весьма трудно принять решение его удовлетворить. Как осмелюсь я обнародовать приключения столь малозначительные? и возможно ли, что вы нашли бы сколько-нибудь сладости в том, в чем я нашел столько горечи? и то, что мне было столь тяжело перенести, будет ли для вас приятным чтением? Затем, что скажут о моей дерзости, из-за того что я осмелился сам описать свою жизнь в манере, имеющей мало изящества и силы? учитывая, что легко осмелились порицать одного из величайших умов века из-за того, что он иногда говорил без должной серьезности в благородных и сильных эссе своего пера?<sup>366</sup> Действительно, этот великолепный гений иногда говорил в свою пользу, описывая себя самого: я же могу сказать, что, не имея никакой причины хвалить себя в этом труде, я претендую здесь лишь на то, чтоб жаловаться. Я не пишу величественную поэму, где я хотел бы представить себя героем; я делаю набросок печальной истории, где я предстаю лишь как существо, достойное сочувствия, и как игрушка страстей, звезд и фортуны. Выдумка отнюдь не заблестает здесь помпезно своими прикрасами; лишь правда предстанет здесь столь плохо одетая, что можно сказать, она совсем нага. Здесь вовсе не будет приукрашенной картины; это точная копия достойного сожаления оригинала; это подобно отражению в зеркале. Поэтому я весьма опасаясь, как бы слишком большая моя простота не испортила бы вам вкус от чтения этого труда. Рассказ о вещах выдуманных несомненно

гораздо более приятен, чем повествование о вещах реальных: так как обыкновенно события жизни бывают либо обыкновенными, либо редкими. Во всяком случае моя жизнь до сегодняшнего времени была столь бурной, а мои путешествия и любовные похождения столь полны событиями, что их разнообразие может вам понравиться. Я разделил всю эту историю на маленькие главы, опасаясь наскучить вам чересчур долгими речами и чтоб облегчить вам возможность оставить меня в любом месте, где я могу вам быть не так приятен.

## Глава II

### Происхождение и рождение опального пажа

Я происхожу из довольно хорошего дома и ношу имя и герб достаточно прославленного дворянина, который, как и другой, Перикл, был одновременно и великим оратором и великим полководцем. История удостоила его многих похвал за то, что он был одним из главных пасторов той удачной войны, что шла в Святой Земле пятьсот лет тому назад<sup>367</sup>: и я могу сказать, что некогда наша семья имела довольно большой вес и достаточно средств. Но так как во всех вещах мы видим постоянную превратность судьбы и в силу тайных и справедливых законов Божественного провидения малые состояния возвышаются, а большие погибают, я увидел, как исчезло, рождаясь, процветание моих предков. Два раздела, произошедшие в нашем доме, один из которых был между девятью детьми, сильно уменьшили его мощь. А большой уголовный процесс, в который был вовлечен мой отец в возрасте 17 лет, почти довершил его разорение. Это дело стоило многих средств сему дворянину, и, если бы в такой ранней молодости он не проявил большую добродетель, то это несчастье стоило бы ему жизни. Я не буду вовсе повествовать вам об этом деле, оно слишком печально и длинно, и намереваться его здесь изложить было бы желать написать историю оруженосца-авантюриста, а не авантюры опального пажа. Достаточно того, если я вам скажу, что один из величайших полководцев<sup>368</sup> нашего века и прекраснейшие и превосходнейшие женщины света приняли участие в его спасении и что благодаря его

друзьям чудом король даровал милость, позволившую моему отцу со славой выйти из столь опасного дела.

Именно во время этих событий он свел знакомство с одним старым дворянином хорошего происхождения и больших заслуг<sup>369</sup>, каковой, найдя моего отца человеком приятным и хорошим собеседником, решил сделать его своим зятем, тем более что мой отец был из весьма отдаленной от его места жительства провинции и он не знал целиком, каково было положение его дел; ему было нетрудно справиться с этой затеей; он, имея могущественных друзей и обладая приятным характером, оказал столько услуг моему отцу и внушил ему такую к себе привязанность, что вскоре тот решил жениться на его дочери, которую он немедля увез в провинцию, где я родился. Через два или три года я появился на свет, и те, кто с тщанием составлял мой гороскоп, нашли, что Меркурий хорошо для меня расположен, а Солнце несколько не благосклонно; верно, что Венера, которая оказалась там сильна, дала мне сильную тягу к склонностям, от коих со мной приключились мои несчастья. Я думаю, что этот первый отпечаток звезд оставляет свои характерные черты, которые трудно изгладить, на натуре человека: и пусть они не всегда принуждают, по крайней мере, они без конца его склоняют к чему-либо; говорят, что мудрец может укротить это божественное насилие; но необходимо также и то, чтобы он действительно был мудр, а подобных умов почти не находят. Следует, чтобы хорошее воспитание в достаточной мере дополнялось философией, чтобы всегда с успехом противостоять врагам, свойственным нашей природе, которые, как гидры, без конца разрастаются и зачастую усиливаются своим поражением. Кто как не святые могли бы это сказать, они, чьи души были обращены лишь к небу и тем не менее день и ночь осаждались опасными искушениями, против которых они не были защищены, даже выиграв великие битвы. Верно, что, чтобы сделать их заслуги еще выше, Господь позволил демонам вмешиваться в это, и с тех пор именно чуждая причина всегда делает нам пагубные предложения.

### Глава III

## Детство и воспитание опального пажа

Едва мне исполнилось три года, как моя бабка по материнской линии приехала навестить свою дочь; и, движимая той горячей и естественной любовью, которая происходит от крови, попросила разрешения взять меня с собой, чтобы воспитать; так начал я менять места жительства, и, видевший прежде лишь деревья и сельскую тишину, я увидел различные красоты и суматоху одного из самых знаменитых городов мира<sup>370</sup>. Мне часто говорили, что в этом раннем возрасте я проявлял достаточно большую живость мысли и что мое любопытство невозможно было удовлетворить, притом что на все мои вопросы отвечали достаточно заботливо и с удовольствием. Предметы, которые в громадном количестве в таком большом разнообразии представляли перед моими глазами, вовсе не были способны удовлетворить деятельность моего ума; я принуждал говорить с собой о вещах более значительных, чем те, которые обычно усваивают в столь нежном детстве. Я с усердием осведомлялся даже о вещах, касавшихся загробной жизни и таинств нашей религии. Один из князей Церкви<sup>371</sup>, из моих близких родственников, был восхищен теми вещами, что он от меня услышал, и был еще более удивлен, когда однажды, в то время как он ласкал меня и шутливо отвечал на вопросы, которые я задал относительно формы ада, я заявил ему в своей манере выражаться, что сомневаюсь в том, что существует мрак там, где так много зажженных огней. Я скажу вам, что мне было едва более четырех лет, как я умел читать, и что я начал испытывать удовольствие от чтения римлян, которых я в приятной манере декламировал моему родителю и моему деду, когда, чтоб отвратить меня от этого бесполезного чтения, они отправили меня в школы, для того чтобы научить началам латыни. Я употребил там свое время, но я вовсе не приложил усердия. Я выучил много, но с таким же отвращением, как будто к весьма безвкусному мясу, так что эта учеба мне вовсе не принесла пользы: мне дали слишком вольно попробовать вещи приятные, и, когда меня хотели заставить заниматься другими вещами, более полезными, но трудными, я оказался вовсе к этому не расположен. Я учился потому, что боялся розог, но я почти не запоминал вещи, которые я учил. Я за мгновения терял сокровища,

которые силой закладывались в меня, и лишь с силой я вновь их обретал, ибо я не имел к этому никакой склонности.

## Глава IV

### Как опальный паж поступил на службу к одному принцу

Учение привело меня в столь сильную меланхолию, что я не мог более его терпеть, когда со мной произошло счастливое событие, заставившее меня изменить свой образ жизни: мой отец имел честь служить одному из величайших и выдающихся королей мира<sup>372</sup> во время войн, и эта истинно королевская душа, не имевшая большей страсти, чем творить добро для всех, этот король, чья память бессмертна, скажу я, вспомнил однажды о том, что мой отец верно ему служил; и, чтобы изъявить ему свою благородную признательность, справившись о том, есть ли у моего отца дети, он приказал ему представить меня своей персоне, заявляя, что он хочет, чтобы я вскармливался при одном из его детей. Мой родитель, движимый радостью от подобной приятной новости, приложил усилия, чтоб снарядить меня для такого великолепного случая, и я имел честь отправиться приветствовать этого короля вместе с моим отцом и моим дядей по материнской линии, человеком выдающейся добродетели и большого авторитета<sup>373</sup>. Я был совершенно ослеплен пышностью и красотой дворца<sup>374</sup>, куда меня привели, и особенно великолепием тех божественных персон, которым меня представили: отец нашел меня красивым и выказал мне особые ласки, сын также принял меня и оказал мне благожелательный прием<sup>375</sup>.

Мы были почти одного возраста и роста, но он был удивительно красив и обладал таким благородством духа, которое уже с того времени чудесным образом предвещало то, что впоследствии доказали с лихвой его великие добродетели. При нашей первой встрече мне в душу запало сильное и верное впечатление от его достоинств: а поскольку он обладал великолепным характером, он испытывал ко мне большую привязанность, было ли это из-за тайного признания



моего усердия или из-за естественной склонности. Как только я оказался на его службе, можно сказать, что я буквально был к ней привязан: совершенства господина были тяжкими цепями для слуги. Я постоянно был так же близок к нему, как его тень: я видел его, как только он открывал глаза, и переставал его видеть, лишь когда сон смеживал его глаза. Я был зрителем и подражателем его повседневных занятий, я присутствовал на его молитвах, на его уроках и на всех его развлечениях. Воспитатель моего господина вовсе не был педантом: тот, кого выбрали для того, чтобы обучать моего господина, был человеком весьма вежливым и образованным<sup>376</sup>, учившим его как будто бы играя прекраснейшим вещам – истории и морали. Этот великий человек превосходно знал искусство воспитания молодости и доказал это при обучении одного из моих родственников, который, возможно, со всеобщего согласия, является одним из самых красноречивых и искусных людей нашего века. Наш воспитатель принял особое участие в моем обучении, признавая то обязательство, которое он имел перед моими родственниками, но горячее рвение, которое он имел к воспитанию своего главного ученика, мешало ему с достаточным интересом заботиться обо мне. Он в достаточной степени позаботился о том, чтобы преподать мне все то, что он преподавал моему господину, что могло бы служить к добрым знаниям и к добродетели, но он не мог приложить такие усилия, которые были необходимы, чтоб отвратить меня от того, чтобы смотреть и следовать дурным примерам, которые подавали мне многие распутные молодые люди, которых я видел в доме. Для моего счастья необходимо было бы тогда, чтобы такой же достойный воспитатель, как этот, полностью посвятил себя мне и постоянно бы внимательно за мной присматривал. Молодость склонна к распущенности и столь подвержена воспринимать плохие привычки, что немного нужно, чтобы ее развратить. Это чистое полотно как для хороших, так и для плохих отпечатков, но она гораздо более восприимчива к плохим, чем к добродетельным. Существуют уже сложившиеся люди, что укрепляются в добрых нравах посреди случаев порока; но было бы подобно чуду, чтобы дети сохраняли незапятнанной свою невинность среди плохих компаний. Таким образом, недолго мне надо было пробывать при этом дворе, чтобы увидеть интриги и поучаствовать в нескольких мелких распутствах.

## Глава V

### **Дружба, которую опальный паж завязал с другим пажом дома и каковая была ему вредна**

Я имел лишь одного друга, который был в таком же положении, что и я при моем господине, и о котором позаботились так же, как и обо мне; он был ребенком знатного рождения и хорошо ощущал свое положение. Я чтил его и сильно его любил из-за доброты его души и его естественных качеств, без зависти мы вместе разделяли милости нашего господина; он не завидовал моей памяти, гораздо лучшей, чем у него, и, к сожалению, он не побуждал меня думать, что он лучше меня. Я частенько подсказывал ему на уроках, чтобы он вспомнил вещи, о которых забыл, но он был способен предупредить меня в любых обстоятельствах о том, что касалось моего долга. Это был мальчик настолько благоразумный, что я не смог бы никогда развратиться в его компании, но моя горькая судьба хотела, чтоб я свел знакомство с неким пажом, самым лукавым и самым большим мошенником двора. Я склонен думать, что это был тот инструмент, которым воспользовался мой злобный гений, чтобы искушать меня и меня уничтожить. Этот злобный переодетый демон смог своим искусством прервать счастливое течение моих занятий, тайком показав мне тонкие правила искусства, которое тяготеет лишь к тому, чтобы налагать проклятья на души. Именно он научил меня игре в кости и карты, воспользовался моей невинностью, чтоб завладеть теми немногими деньгами, что у меня были, внушил мне безрассудное желание возратить свои потери и постоянно все более и более втягивал в беду меня, влекомого обманчивой и глупой надеждой. Он настолько сообщил мне эту страсть, что вскоре она стала равна моей страсти к учебе, и некоторое время спустя почти невозможно было, чтоб в моем письменном приборе не нашли кости, а среди моих книг карты, и даже эта распущенность заходила так далеко, что я частенько продавал необходимые мне для учебы вещи, чтобы удовлетворить свою страсть к игре, так что из всех книг, которые я имел обыкновение листать, мне оставались лишь карты. Наш воспитатель вскоре заметил

мою распущенность, но он не мог отворотить меня от нее: он напрасно употреблял розги и свои увещевания по этому поводу, зло уже слишком крепко укоренилось. Часто я со слезами обещал не играть больше, но, как только меня теряли из виду, тотчас в руках у меня оказывались три кости или пара карт. Что делало меня тем более неисправимым, так это то, что острота моего ума снискала мне в таком раннем возрасте значительных друзей, которые мешали моему исправлению. Лишь только я думал, что меня застали с поличным и боялся, что мне придется держать ответ перед моим воспитателем, я устремлялся в объятия тех могущественных лиц, при которых я был бы в безопасном убежище. Многие молодые принцы, которых я имел честь знать, весьма часто добивались прощения для меня, и, полагаясь на их поддержку, я испытывал большую надежду оставаться безнаказанным. Вы видите, как могущественные лица, чья благосклонность должна была принести мне пользу, достойным сожаления образом приняли участие в моей гибели, и как хорошие качества, которые я имел, давали мне средства укрепляться в плохих. В целом моя любовь к игре окончательно внушила мне отвращение к горечи первых знаний. Я находил удовольствия всюду, только не в учебе, и, вместо того чтоб повторять уроки, занимался лишь тем, что читал и декламировал пустые истории. Моя память была чудом, но то был арсенал, полный лишь весьма бесполезными орудиями. Я был ходячей энциклопедией романов и сказок: я был способен очаровать все праздные уши; я держал в запасе беседы для любого сорта людей и развлечения для всех возрастов. Я мог приятным и легким образом декламировать все известные нам истории, от историй Гомера и Овидия до Эзопа и сказки об ослиной шкуре.

Когда двор пребывал в каком-нибудь из королевских дворцов, все молодые принцы имели свои апартаменты рядом друг с другом и именно в это время у меня было больше всего возможности ходить беседовать с ними. Случалось часто и так, что кто-нибудь из них, находясь в плохом настроении, просил меня у нашего воспитателя, чтоб развлечь себя или чтоб заснуть под мои истории. Их здоровье было столь ценно, что в этом случае вовсе не обращали внимания на то время, что я терял, а я был рад его терять. Именно тогда, когда я был нужен для развлечения какого-нибудь значительного лица, я смело предпринимал действия, которые не были необходимы для моего

спокойствия: так как я имел надежного посредника, я в безопасности шел играть или драться с кем-нибудь из пажей. Мой воспитатель иногда узнавал о куче проделок, которые я совершил и за которые меня следовало высечь более дюжины раз, и тем не менее это стоило мне лишь слезинки или двух, что заставляли меня пролить страх и жалостливая мольба, которую я охотно обращал к кому-нибудь из этих молодых светил. Мне помнится, что среди них был один, имевший большой вес, часто просивший прощения для меня в течение моей жизни и в память о котором мне часто даровывали милость после его смерти.

## Саймондс д'Юс (1602–1650)

Саймондс Д'Юс – политический деятель стюартовской эпохи, депутат парламента и известный историк-антикварий, прославившийся изданием парламентских журналов времен Елизаветы I и Якова I. Получил образование в Кембриджском университете и юридической школе Мидл-Темпл. В 1641 г. был произведен Карлом I в баронеты, но в период гражданских войн принял сторону парламента. Тем не менее Д'Юс остался умеренным политиком и сохранил симпатии к королю; он продолжал заседать в парламенте до 1648 г., когда последний был окончательно разогнан армией.

Отойдя от политической деятельности, Д'Юс занялся историческими изысканиями и литературными трудами: в течение десяти лет он писал «Общую историю Англии», основывавшуюся на материалах и документах, сбор которых потребовал от автора двадцатилетней подготовки. Помимо главного труда его жизни, оставшегося незаконченным, перу Д'Юса принадлежит «Автобиография» (ее оригинал, а также письма историка находятся в коллекции рукописей Британского музея).

Автобиография сэра Саймондса написана на основе его дневниковых записей, отсюда – точность датировок и масса мелких подробностей. В то же время, испытывая чисто профессиональный интерес к родословной и ранней истории своего семейства, Д'Юс проводил специальные архивные изыскания, записывал устные воспоминания родных и близких, которые помогли ему детально восстановить в том числе и историю собственного детства от момента рождения, которого он, естественно, не мог помнить, до того времени, как сам автор начал вести дневниковые записи.

Написанная историком в зрелом возрасте, его «Автобиография» несет на себе сильный отпечаток его религиозных и политических убеждений. Д'Юс был набожным человеком, ревностным протестантом; он с негодованием наблюдал деградацию нравов стюартовского двора, потворствование «папизму», отвергал

религиозные нововведения архиепископа Лода в англиканской церкви. Его критическое отношение к внутренней и финансовой политике Стюартов сквозит в главах, хронологически относящихся к периоду детства автора, в которых Д'Юс дает характеристики политикам и государственным деятелям эпохи Елизаветы I и Якова I.

Творческий метод Д'Юса при написании «Автобиографии» заключался в том, что он, взяв за образец труды глубоко почитаемого им французского историка де Ту, решил соединить повествование о своей жизни с изложением истории Англии, поэтому его рассказ о детских годах неоднократно прерывается обширными пассажами, посвященными политическим событиям и международным делам, которые, безусловно, не основывались на его непосредственных впечатлениях. Тем не менее, как замечает сам автор, многие события «взрослой» общественной жизни – сватовство Фридриха Пфальцского к наследнице Якова I, смерть принца Генри – запечатлелись в памяти подростка благодаря тому, что все вокруг активно обсуждали их, придавая большое значение.

Непосредственные же воспоминания сэра Саймондса о детских годах рисуют картину чрезвычайно теплых эмоциональных отношений в его семье, особенной близости между ним и родней с материнской стороны, нежных отношений с матерью и сестрами, которых он называет «дорогими, любящими, нежными, милыми». На этом фоне бросается в глаза прохладное отношение Д'Юса к отцу, осознанная или бессознательная критика почти всех поступков последнего. «Автобиография» дает нам богатейшую палитру переживаний ребенка, связанных с утратой близких, расставанием с родными местами и трудным вживанием в новую среду. В то же время она отражает живейшую реакцию любопытного подростка на все необычное, что встречалось ему на пути, будь то ураган необыкновенной силы, представления деревенского силача или громкое убийство, потрясшее округу<sup>377</sup>.

## **Автобиография и переписка сэра Саймондса д'Юса, баронета**

### **Глава I. 1602 г**

Я родился благодаря милости и провидению моего милосердного Бога (с тех пор хранившего меня) в Коксдене, в приходе Сердсток в графстве Дорсет в субботу 18 декабря около пяти часов утра в год Господа 1602, на сорок пятом году правления нашей бесценной государыни-девственницы, блаженной памяти королевы Елизаветы, скончавшейся четыре месяца спустя<sup>378</sup>, к великому горю всех ее любящих подданных в Англии и преданных союзников за границей; и был крещен в 29 день того же месяца в среду на галерее упомянутого дома в Коксдене (ввиду необычно холодной погоды) м-ром Ричардом Уайтом, викарием из Чердстока. <... >

Мое появление доставило огромную радость обоим родителям и не меньшую – моему дедушке Саймондсу и его жене, еще здравствовавшим в ту пору: ибо моя матушка оставалась бесплодной около шести лет после женитьбы (отчасти из-за того, что вышла замуж очень рано, едва ей исполнилось четырнадцать лет), затем, за два года до меня, родила дочь, а я был их первым сыном – надеждой на продолжение обоих родов и фамилий. Отец моей матушки смотрел на меня с неменьшей радостью, а позднее относился ко мне с такой заботой и нежностью, как если бы я был его собственным сыном, зачатым им самим. Поэтому он вместе с... его старшим братом дал мне при крещении свою фамилию как имя<sup>379</sup>, которое я сохранил на всю жизнь. Хотя обычно меня по ошибке называли Саймоном или Симеоном, не зная истории происхождения моего имени...

Пол Д'Юс из Майлдинга в графстве Саффокл, эсквайр, мой отец, обычно жил во время каникул в Уэлшелле в вышеназванном приходе Майлдинг (поскольку в сессионное время он изучал право в Мидл-Темпле<sup>380</sup>, а с 1607 г. был одним из клерков Канцелярии<sup>381</sup>). Уэлшелл находился на расстоянии ста восьмидесяти миль от дома моего дедушки. Но рука Всевышнего распорядилась так, что я был зачат, когда мои отец и матушка наносили визит ее родителям, оставив почти на год их собственный дом в Саффолке. Из всех их детей лишь я один родился в упомянутом графстве [Дорсет]. Позднее я слышал рассказ отца о шуточных словах, с которыми обратилась к нему матушка, когда он вернулся на летние каникулы из Лондона в Коксден, еще до моего рождения. Встретив ее и обняв, он сказал: «Я рад, что, кажется, у нас будет еще один ребенок», – или что-то вроде того. «Да, конечно, – ответила она, – я ношу ребенка, но он – не твой!» Подобные слова из

уст той, что была образцом набожности и добродетели, заставили отца улыбнуться; тогда матушка объяснила ему смысл ее загадки, рассказав, что ее отец намеревается взять себе это дитя. Она сама была под опекой отца в то время, ребенок был зачат и, вероятно, должен был появиться на свет в его доме, поэтому дедушка заявлял, что это его ребенок, и потому-то матушка и сказала: «Этот – не твой».

Однако Господу было угодно примешать толику печали к их радости по поводу рождения наследника мужского пола, дабы показать, что и это, и все другие мирские блага – преходящи и несовершенны. Матушка моя или потому, что не рассчитала времени, или из-за того, что в графстве не было лучшего выбора, была вынуждена прибегнуть к помощи повитухи, у которой шея была свернута на сторону, по естественной причине или вследствие какого-то несчастного происшествия. Как мне достоверно рассказывали, один ее вид при первой встрече очень напугал матушку, увидевшую, как та идет прямо вперед, но при этом смотрит через плечо. Если бы в этот момент схватки, становившиеся все сильнее и чаще, утихли или была бы возможность позвать другую повитуху, матушка ни в коем случае не приняла бы помощи от нее. Женщина, почувствовав это, тоже пришла в раздражение и, не знаю, случайно или намеренно, помогая при родах, очень сильно ушибла и поранила мне правый глаз. В течение некоторого времени я оставался под особым присмотром из-за этой травмы, и были серьезные причины опасаться, что я совсем потеряю глаз. Тем не менее благодаря благословенной помощи высшего Провидения я оправился от ушиба и болячки, но черное пятно в моем глазу настолько увеличилось, ослабив способность видеть, что, хотя я и мог смутно различать крупные предметы, от этого глаза уже не было никакой пользы при чтении или письме. Это было не слишком заметно другим, однако, принимая во внимание мои постоянные и непрерывные занятия, давало мне немало поводов болезненно переживать эту потерю<sup>382</sup>. <... >

## Глава II. 1603 г

Радость по поводу моего рождения была все же неполной из-за травмы, которую я получил, последующие же напасти, посетившие



меня в младенчестве, преисполнили мою дорогую матушку и остальных друзей отчаянием и неверием в то, что я доживу до зрелого возраста. Не только по причине этой травмы, но и вследствие других болезней я почти беспрестанно плакал к немалому огорчению матушки, выкармливавшей меня с великими заботами и тщанием в течение двадцати недель от моего рождения<sup>383</sup>. И не без чудесного вмешательства божественного Провидения случилось так, что мой отец (которому я позднее прямо так и заявил) все же не сделался из-за своего упрямства виновником моего внезапного и безвременного конца. Ибо, пробыв почти год в Коксдене у моего деда Саймондса и обнаружив, что слуги, на которых он оставил Уэлшелл в Саффолке, не заслуживают доверия в управлении его делами, он во избежание дальнейших потерь решил в конце апреля 1603 г., несмотря на мою слабость, а также мольбы и всевозможные протесты, что моя благочестивая матушка должна сопровождать его, когда он поедет в Лондон на пасхальную сессию<sup>384</sup>, а затем ей следует вернуться в Саффолк и приглядывать за домашним хозяйством. В первый день они проделали путь от Коксдена до Дорчестера (около двадцати миль), и милый дедушка сопровождал их все время, хотя это был всего лишь короткий однодневный переезд. Я почти не прекращал плакать из-за тряски в отцовской карете на извилистых и неровных дорогах. Ни грудь моей матушки, ни пение ее служанки, ни мягкие подушки, на которые меня уложили, ничто, что бы они ни предпринимали, не могло меня успокоить. В ту ночь отец начал понимать, что его неуместная настойчивость может принести ему зловещую прибыль, поскольку возникли большие сомнения относительно того, доживу ли я до утра. Назавтра он был вынужден прервать свое путешествие на один день, чтобы, остановившись, посоветоваться и предпринять что-то для спасения моей жизни, висевшей на волоске. Если бы меня повезли дальше, он, без сомнения, хотя и непреднамеренно, стал бы причиной моей скорой и безвременной смерти. Моей матушке предстояло остаться со мной ради моего спасения, если бы в вышеупомянутом городе Дорчестере (каковой является первым и главным городом в Дорсетшире и с давних пор – епископской резиденцией) не нашлось заботливой и подходящей няньки. Были наведены справки, и, после того как за ней послали, очень порядочная женщина, жена некого

Кристофера Уэя, торговца из этого города, согласилась взять на себя заботу обо мне.

Дедушка Саймондс, утешив как мог матушку, его единственную и любимую дочь, и заверив ее, что мне будет обеспечена неусыпная и непрестанная забота, после этой однодневной остановки отбыл вместе с моим отцом в Лондон к началу сессии. Но моя нежная и любящая матушка не смогла столь быстро покинуть меня, которого она сама кормила около двадцати недель; она оставалась подле меня еще две недели, до тех пор, пока не убедилась, что угроза неотвратимой и немедленной смерти миновала. Тогда, расставшись со мной, она направилась в Лондон, а оттуда вскоре в Уэлшелл в Саффолке, с меньшей тревогой и печалью в сердце, чем она ожидала.

За то время, что я оставался с нянькой, помимо обычных неприятностей и напастей, случающихся с детьми, меня излечили от трех опасных болезней. Во-первых, у меня возникло воспаление в правом глазу. Во-вторых – серьезный разрыв<sup>385</sup>, грозивший мне страшной опасностью и будущими неудобствами, если бы не некая миссис Маргарет Уолтен, проживавшая в Мелкоме, около вышеупомянутого Дорчестера, которая принялась весьма своевременно и тщательно его лечить и делала это в течение десяти недель или около того, да так удачно, что я и представить себе не мог, что страдал от чего-то в этом роде, пока мне не рассказали.

После третьей и самой большой напасти у меня осталась большая и глубокая вмятина на черепе с левой стороны головы, каковую, полагаю, я унесу с собой в могилу, если мне будет суждено умереть от естественных причин и в мирное время. Мои отец и мать всегда утверждали, что она появилась после опасного падения, случившегося, когда я был у вышеупомянутой няньки... Но Кристофер Уэй и его жена уверяли, что я никогда не падал, а вмятина осталась от большой болячки, которая сама по себе возникла у меня в голове, и что некоторое время ее наблюдал врач, излечивший ее. Поэтому я лишь могу предположить, что либо эти двое говорят правду, но вмятина на черепе заставила моих родителей подозревать, что я упал, либо – кто-то из слуг Кристофера Уэя уронил меня и скрыл это от него и его жены или ушиб меня головой обо что-то твердое.

Мой дедушка Саймондс, как и обещал, не только заботился обо мне, пока я оставался у няньки, но в надлежащее время перевез меня из

Дорчестера в его коксденский дом в приходе Чердсток и держал меня при себе там или в доме мистера Уайта, викария из вышеназванного города, до тех пор, пока мне не исполнилось семь лет и еще три четверти года. Я хорошо помню опасности, которых мне случилось избежать позднее, хотя при их перечислении я, возможно, могу немного изменить их очередность во времени. К северу от дома дедушки бежал красивый ручей, который в дожди внезапно разливался, в обычное время оставаясь тихим и неглубоким. Я безрассудно задумал перейти его по нижнему мосту около амбара и конюшен. Мостик был узким и я упал вниз в одежде. Поток был не очень глубокий, но из-за внезапности падения и испуга я вполне мог бы утонуть, если бы держатели дедушки, точившие свои инструменты на жернове около моста и поглядывавшие на меня, немедленно не бросились на помощь.

Двух других опасностей я избежал в то время, как с нами в западных графствах были мой отец, мать и две... сестры. Пока я там оставался, они дважды приезжали, чтобы навестить бабушку (ибо дедушку они могли видеть в начале каждого сезона в Лондоне, поскольку он был почетным советником в Мидл-Темпле). Я заболел корью в доме своего учителя м-ра Уайта. Сама по себе эта болезнь не слишком опасна, но ей предшествовало такое сильное и долгое кровотечение, что все, кто меня видел, полагали, что моя жизнь – под угрозой, пока, наконец, с Божьего благословения, оно не прекратилось. Моя дорогая матушка была заботливой и внимательной сиделкой в течение почти всей моей болезни.

Другая опасность была всего лишь угрозой, но не менее страшной, чем неприятности, действительно случившиеся со мной. Во двор дома в Коксдене привели на водопой сменных лошадей, которых запрягали в карету отца. Я же играл в мяч неподалеку. Случилось так, что он закатился под одного жеребца, стоявшего немного расставив задние ноги. Я тут же бросился под брюхо коню, чтобы достать мячик, и выбрался у него между ног. Но не успел я это сделать, как увидел отца (а он сидел в дальнем конце двора вместе с дедушкой и матушкой), бегущего ко мне с таким свирепым видом, что стало ясно: его рука будет менее милостива, чем копыта лошади. Воистину, они уже сочли, что я погиб, ожидая, что конь лягнет и вышибет мне мозги, но когда дедушка и матушка увидели, что Господь чудесным образом спас меня,

они стали увещевать отца, чья нежность ко мне (а незадолго до этого он похоронил моего младшего брата Пола, родившегося 3 января 1605 г. в пятницу) начала сравниваться с их, поэтому неудивительно, что величина его страха и гнева соответствовала опасности.

После всех этих испытаний некоторое время внешне я пребывал в отменном здравии и безопасности, но исподволь моя нежная детская душа получила множество дурных и вредных впечатлений. Поскольку моя любящая и ласковая бабушка по причине ее преклонного возраста стала слабой и некрепкой здоровьем, а дедушка каждый сезон отлучался в Лондон, в его семействе воспоследовало множество беспорядков: пьянство, ругань, неподобающие речи, и всему этому я начал учиться на свою беду. Дедушка вел дом на широкую ногу, его погреб был полон сидра, крепкого пива и вина разных сортов, и я столь щедро прикладывался ко всему этому, что, полагаю, это поистине воспламенило мою кровь и стало причиной опаснейшей лихорадки, которой я заболел позднее. Она почти свела меня в могилу, как я покажу ниже.

В школе, все с тем же м-ром Уайтом я достаточно много занимался грамматикой, но главное, чему я научился, – грамотно писать и хорошо читать на английском (а я знаю некоторых ученых мужей, которых с самого начала не научили этому, и до конца своих дней они были нетверды в английском правописании). Однако его мягкость и снисходительность ко мне были столь велики, что недостатки мои почти совсем не исправлялись, пока я жил у него. Тем не менее, как я хорошо помню, иногда он заботился о том, чтобы искоренить во мне атеизм и привить почитание и пиетет перед Св. Писанием. В отсутствие должного наказания и исправления со стороны тех, кто за мной присматривал, Господь пожелал самолично взять в руку розгу и весной 1610 г. посетил меня, наказав жесточайшей и долгой лихорадкой, продлившейся восемь или девять недель, так что самая жизнь моя была под большим сомнением ввиду слабости моего молодого организма. И то были не просто беспочвенные страхи, а обоснованные и осознанные опасения м-ра Джона Мэрвуда, весьма искусного доктора, жившего в Каллитоне, в пяти милях от Кокседена, который однажды преисполнился такого отчаяния относительно моего выздоровления, что счел необходимым заранее подготовить моего дедушку и дал ему знать об этом. Для последнего это известие было

столь ужасным и печальным, что он, с глазами полными слез, сказал окружающим: «Сейчас он заставил меня плакать, но, конечно, если по Божьей милости он выздоровеет, я привезу его домой, чтобы впредь избежать подобных страхов», – или что-то в этом роде. Так и произошло: после того, как Господу в его великом милосердии было угодно вопреки всем ожиданиям вернуть мне жизнь и здоровье, за время долгих летних каникул я относительно поправился и пополнел (а из-за болезни я исхудал, почти как скелет), и уже в начале октября того же года, когда дедушка отправился в Лондон ко дню Св. Михаила<sup>386</sup>, он взял и меня, причем я ехал верхом самостоятельно не только в течение этого долгого пути, но затем – из Лондона в Уэлшелл еще 50 миль. В то время мне было неполных восемь лет, и я еще не знал, что мне предстоит остаться в Саффолке, поэтому я весело и охотно покинул дедушку и бабушку, которые были мне дороже самих родителей, и Коксден, место, любимое мною сильнее любого другого. Я до сих пор помню, как весело подошел к дорогой бабушке, чтобы проститься, а она, роняя слезы, смотрела на меня с откровенной печалью, но почти ничего мне не сказала, предвидя, возможно, что это наша последняя встреча в Коксдене. Вскоре она покинула этот бренный мир, о чем я еще напишу в надлежащем месте.

Так же я не мог предвидеть, что, как только я покину это место, мое внешнее благополучие внезапно кончится и множество невзгод и бедствий станет преследовать меня на протяжении всей жизни, как вы увидите из моего дальнейшего повествования. На пути в Лондон мы остановились в Бленфурде в гостинице «Красный Лев». После того как мы разместились, я решил прогуляться по саду, взяв с собой Томаса Тиббса, одного из дедушкиных секретарей. Проходя по двору мимо конюшен и увидав пташек, выискивавших еду на навозной куче, я, как дитя, тотчас же бросился их ловить, но там оказалась лужа, лишь сверху прикрытая недавно вываленным мусором, в которую я внезапно погрузился выше колен. Упомянутый секретарь весьма вовремя пришел мне на помощь и вытащил оттуда, но при этом сам провалился еще глубже. Когда же мы вернулись к дому, нас со всех сторон принялись убеждать, что если бы я сделал еще один шаг вперед, то провалился бы в глубокую яму, специально вырытую для сбора навоза из конюшен. Поэтому, полагаю, мое избавление заслуживает не только рассказа о нем, но и моей вечной благодарности; и как бы порочные

времена ни грозили скорым концом истине и благочестию, я надеюсь продолжать жить, дабы сослужить хорошую службу Церкви и государству и доказать тем самым, что Господь избавил меня от такого множества бедствий не без цели, имеющей некий общественный смысл (some public end). Я не сомневаюсь, что Он лучше всех знает, какие деяния людей или их страдания будут больше способствовать Его славе. И в том и в другом я хотел бы полностью положиться на волю Его Провидения.

После нашего благополучного прибытия в Лондон дедушка дал знать об этом моему отцу, равно как и о том, что он привез меня с собой. Отец появился, когда мы обедали. При виде его я немедленно переменялся (как я потом слышал, он и сам признавался, что ощутил во мне внезапную перемену), мои радость и раскованность тут же исчезли и уступили место смущению. Но я все еще мог наслаждаться удовольствием в компании дедушки, дорогого дедушки, которого в то время любил нежнее кого бы то ни было в целом мире: столь глубокие корни пустила моя привязанность к нему и благодарность за терпение, с которым он меня воспитывал.

В предшествующее лето в Лондоне распространилась чума, и город еще не совсем избавился от нее, поэтому, чтобы предотвратить малейшую возможность заражения (поскольку я любил бродить, где придется, из-за чего мог также потеряться), дедушка живописал мне эти опасности с такими яркими примерами, что, будучи сильно напуган, я ни за что не вышел бы на улицу без кого-нибудь, кто бы присматривал за мной и охранял.

На этот раз моя матушка не приехала в Лондон к Михайлову дню, и дедушка решил (а он не взял бы меня с собой, если бы не надеялся встретиться с ней), что мне следует отправиться к ней в Уэлшелл в Саффолке. Но ему было невыносимо принуждать меня, которого он так нежно любил, расстаться с ним. Сначала он спросил, хочу ли я туда поехать. Я ответил отрицательно и в доказательство того, что говорю правду, после этого разразился целым потоком слез, сопровождавшихся искренними мольбами позволить мне остаться с ним. Но он, дав мудрости возобладать над чувством привязанности, в конце концов убедил меня, пообещав, что потом я вернусь к нему в западные земли. Так, получив его дражайшее благословение, я горестно простился с дедушкой. Расставание было бы еще печальнее,

если бы мы могли знать, что это – в последний раз и мы уже никогда не встретимся.

На следующий день после отъезда из Лондона мы с неким Уильямом Сифом, дедушкиным держателем, прибыли в Уэлшелл. В тот момент, когда я вошел в гостиную, матушка шла на кухню. Я бросился к ней и внезапно упал на колени, чтобы получить ее благословение. Она была так рада моему появлению, что подхватила меня и обняла и трижды вскрикнула так громко и пронзительно, что мои сестры, находившиеся с кем-то из соседей в маленькой приемной, и слуги во дворе, услышав это, прибежали ей на помощь, опасаясь, что ей грозит какая-то большая и неминуемая беда, но, приблизившись и узнав меня, все они присоединились к матушке в ее ликованиях.

### Глава III. 1610 г

Среди слуг мне встретился там некий Джон Мартин, повар матушки, история которого заслуживает передачи потомкам. Он родился в Чердстоке в Дорсете около 1580 г. и был вторым сыном Уильяма Мартина и Эммы, дочери Томаса Уилса. Он появился на свет таким большим, как будто ему было уже три года, а зубы имел – как в шесть лет; ростом он был с двенадцатилетнего мальчика, но руки и ноги у него были крупными, как у взрослого мужчины, над верхней губой росла черная щетина, а силой он мог сравниться с самым крепким йоменом из западных земель, что он доказывал удивительным и невероятным образом, поднимая и перетаскивая камни, бревна и прочее. Мой дедушка Саймондс был высоким мужчиной крепкого телосложения, но Мартин, когда ему было шесть или семь лет, поднимал его и мог пронести на руках вокруг зала Коксденского дома. Достигнув этого возраста, он уже не стал выше или больше. Как мне кажется, его росту помешало то, что он постоянно поднимал и таскал разные тяжести и порой перенапрягался, чтобы произвести впечатление на тех, кто приходил на него посмотреть. <... > Этот Джон Мартин, женившись, и сейчас живет в Литтл Бромли в Эссексе.

По приезде в Уэлшелл я нашел столько тепла и понимания со стороны моей дорогой матушки и удовольствия от ежедневного общения с двумя сестрами, старшей – Джоанной, родившейся на два

года раньше меня, и Грэйс, которая была на столько же младше меня, что я начал чувствовать себя таким же счастливым, каким был в Коксдене. Веселье также не покидало меня, пока там оставался дедушка, но после того, как он уехал и я понял, что все мои надежды на возвращение с ним напрасны, меня редко или никогда уже не видели таким радостным, как раньше. Тоска моя ничуть не уменьшилась, а, напротив, усилилась, когда в декабре после окончания Михайловой сессии вернулся отец. Его отношение ко мне было обычным для любого отца, но, по сравнению с нежностью и вниманием любимого дедушки, оно зачастую давало мне повод оплакивать переезд и мечтать снова оказаться в Коксдене.

После окончания каникул, чтобы я не растерял те немногие знания, что приобрел в Чардстоке, меня отдали в школу в соседний рыночный городок Лавенхэм, где был хороший учитель. Там я оставался до самой смерти дедушки. Следует отметить, что мое первое знакомство с саффолкским джентри состоялось именно там, ибо моими однокашниками были младший сын сэра Томаса Бернардистона Джайлс и Уолтер Клэптон, второй сын Томаса Клэптона, эсквайра из Кентуэла, умершего незадолго до того. Впоследствии по воле божественного Провидения оба стали мне дядьями благодаря моему браку. (Сэр Уильям Клэптон, старший брат упомянутого Уолтера, женился на Анне, дочери сэра Т. Бернардистона, родившей ему дочь и наследницу Анну, ставшую моей женой.)

В то время, как я жил там, моя милая престарелая бабушка скончалась в Коксдене в шестнадцатый день февраля, последовавшего за моим отъездом оттуда. Когда дедушка вернулся после Михайловой сессии, она при встрече сразу же спросила его: «А где мальчик?», и это доказывает, что дедушка обещал ей привезти меня с собой назад. Когда же она поняла, что он меня оставил, то тут же впала в печаль и так тихо увядала до самого дня своей смерти. Даже в старости она была приятной, высокой, благородной дамой, очень гостеприимной, поэтому память о ней долго сохраняли любившие ее бедные соседи. Ее похоронили в приходской церкви Чердстока... 23 февраля 1610–1611 г. <sup>387</sup> Когда я узнал о ее смерти, я стал горько оплакивать ее днем и постоянно воскрешать по ночам в своих снах, в которых я снова разговаривал с ней. Таким образом, мой пример подтверждает, что возможно зарождение «amor a morte», длящейся после смерти, ибо я



проявлял такую сильную привязанность к умершей, как будто только теперь начал любить ее.

Но еще более странным и замечательным был сон дедушки, которому по возвращении после летней сессии из Лондона (где он встретился с моей матушкой, отправившейся туда специально, чтобы увидеться с ним и утешить после смерти жены) и до того, как он заболел в Коксдене, приснилось, что бабушка пришла к нему и позвала за собой, что, по его мнению, было предупреждением о приближении его конца. Он приехал в Коксден в понедельник 17 июня 1611 г., заболел в следующий четверг и, промучившись семь дней от лихорадки и колик, скончался 27 июня. Он был очень огорчен тем, что против некоторых из его клиентов были вынесены приговоры вопреки закону и справедливости, об этом он много говорил и сетовал на смертном одре, как уверял один из его людей, находившихся при нем. Но, без сомнения, главной причиной его болезни стал сильный затяжной дождь, принесенный столь же сильным и резким ветром, который настиг его на дороге домой между Солсбери и Шефтсбери, отстоящими друг от друга на восемнадцать миль. Дождь и ветер с огромной силой хлестали ему в правый бок на протяжении почти шести миль и, несмотря на одежду, промочили его до костей.

Во время его болезни в двадцать четвертый день июня в Коксдене случилась сильная буря, расколовшая несколько деревьев в дедушкином саду. Кажется, это был вселенский ураган с дождем, ветром, громом и молнией над всей Англией, поскольку я помню, что в Лавенхэме он был очень сильным и все мы в школе перепугались. Многие (не только там, но и в других концах Англии) решили, что воистину пришел Судный день, и некоторые бедняки явились к нашей школе просить, чтобы мы пошли с ними по домам и читали там молитвы. Как только я вернулся туда, где временно жил, мы все вместе, собравшись перед обедом, соединили свои голоса в молитве. Я слышал от некоего старика, жившего там, о пророчестве, предвещавшем эту бурю, и о том, что якобы вместе с ней придет конец света. Я не могу припомнить, почему мы все тогда собрались в школе, ведь это был Иванов день<sup>388</sup>, если только буря не разразилась над Саффолком на день раньше или позже, чем в западных графствах.

... Уильям Саймондс, старший брат дедушки... после его смерти немедленно послал одного из слуг к моим отцу и матери, жившим в

Лондоне, чтобы дать знать об этом. Слуга прибыл к ним в тридцатый день того же месяца; меня тут же вызвали из Лавенхэма, и, уезжая оттуда, я совсем не предполагал, что уже никогда не вернусь в эту школу, но еще меньше мог догадываться о печальном событии, вызвавшем мой поспешный отъезд и долгую отлучку из Саффолка, где я прожил не более восьми месяцев и двух недель с момента прибытия в это графство.

По приезде в Лондон я отправился прямо на Ченсери-Лейн в контору отца, где застал... Томаса Саймондса, младшего брата дедушки, и нескольких друзей, пришедших утешить мою матушку, которая почти тонула в потоках слез, оплакивая утрату дорогого и любимого отца. Когда я вошел, они собирались ужинать. Усевшись за стол, я начал спрашивать, в чем причина этих страданий, но когда дядя и другие сообщили, что дедушка умер, я никоим образом этому не поверил, ибо в это время мои недуги так мучили меня, что я боялся сделаться совсем несчастным, поверив услышанному.

Около пятого июля отец выехал из Лондона в Коксден, взяв матушку, меня и двух старших сестер (две младшие – Мэри и Сесилия – остались с няньками близ Уэлшелла). Пока мы не прибыли в Бленфорд (в тридцати милях от Коксдена), я все еще тешил себя надеждой, что дедушка все-таки жив, но, увидав хозяйку и хозяина постоянного двора «Красный Лев», где я избежал опасности, о которой рассказал выше, сочувствовавших дорогой матушке не только из-за ее потери, но также из-за тяжелой утраты, которую понесло все графство, начал с ужасом и горечью осознавать то, в чем вскоре с грустью убедился на собственном опыте. Ибо по приезде в Коксден я встретил там безутешную семью в трауре, и мне ничего не оставалось, как обнять моего дорогого дедушку, но уже в закрытом гробу, заключавшем его безжизненное тело. С тех пор меня часто огорчало то, что с него никогда не был написан портрет. Он был уже в преклонных годах к моменту смерти – ему было шестьдесят один. Его отличали очень приятное лицо и великолепное красноречие...

Дедушка был предан земле в четверг 11 июля, спустя четырнадцать дней после смерти, в том же восточном конце центрального нефа церкви, что и бабушка, его супруга. М-р Уайт, викарий из Чердстока, служил заупокойную службу, как несколькими месяцами раньше на похоронах его жены. Велика была печальная торжественность этого

дня: все усилия были приложены, чтобы не только с почестями доставить тело дедушки к могиле, но и воздвигнуть ему прекрасный монумент...

<... > В тот же год второго июля я был зачислен в Мидл-Темпл, когда вернулся в Лондон из Саффолка и до отъезда в Дорсет. Поэтому, спустя девять лет, в 1620 г. впервые появившись там как полноправный член за общим столом, я оказался старше почти двухсот членов этого сообщества.

Лето подходило к концу, отец в начале октября спешил в Лондон к Михайловой судебной сессии, и возник вопрос о том, следует ли мне вернуться в школу в Лавенхэме или остаться в западных землях. При поддержке дорогой и нежной матушки я постарался с помощью слез и уговоров добиться последнего – чему сам не могу не удивляться: такова была моя чрезвычайная привязанность к месту, где я был рожден и воспитан, что я хотел остаться здесь один, без отца, матери и сестер, разделенный с ними расстоянием в сто двадцать миль, даже когда они были мне ближе всего. После моего окончательного отъезда из западных земель в 1614 г. и покупки отцом манора Стауленгтофт в Саффолке – прекрасного и приятного места, но в особенности после того, как я вкусил безмерной благодати, женившись на единственной наследнице первейшего и древнейшего семейства в этом графстве, я больше никогда не возвращался на запад, но начал ценить Саффолк не меньше, чем прежде – Дорсет.

Мой дорогой покойный дедушка, пока был жив, предвидел, что Коксден окажется слишком уединенным местом для арендатора или фермера. Один друг, навестивший его незадолго до смерти, перевозносил удобства дедушкиного дома и его расположения. «Ах, – ответил тот, – это правда, но мой сын Д'Юс никогда не поселится здесь, поскольку должен бывать в своей конторе в Лондоне, а это далеко отсюда, поэтому после моей смерти здесь наступит запустение...» Верно, что в конце своего завещания, взывая к Господу, он выразил надежду, что я буду жить там и поддерживать дом в память о нем и его добром имени, а также чтобы помогать бедным, но это завещание было написано за два с половиной года до его смерти, и тогда, возможно, он еще питал надежды на это, но, без сомнения, чем дольше он жил, тем менее вероятной находил такую возможность.

Когда было решено, что я остаюсь в западных землях, а мой прежний школьный наставник м-р Уайт, викарий из Чердстока, распустил всех своих учеников, возник вопрос, куда меня определить. В конце концов нам сообщили, что некий м-р Кристофер Мэлакер из Уомбрука (в трех милях от Коксдена в том же графстве) – превосходный учитель. Моя дорогая матушка послала к нему и, уговорившись обо всех деталях, я поселился у него в конце сентября 1611 г. и оставался там по меньшей мере три полных года. После зимней судебной сессии<sup>389</sup> отец и матушка приехали с семьей в Коксден, и, хотя он возвратился в Лондон на время наступавшей пасхальной сессии 1612 г., не приезжая до летних каникул, матушка оставалась там целых полгода или дольше. Поэтому за мной часто посылали из Коксдена, и я снова начал в какой-то мере наслаждаться приятной и мирной жизнью, которую вел здесь прежде с моим ныне покойным дедушкой.

Первым общественным горем, которое я осознал в тот год в Уомбруке, была смерть бесценного принца Генри, этой радости Англии, шестого ноября того же года<sup>390</sup>. Оплакивание его было всеобщим, даже женщины и дети участвовали в нем. Тогда в Англию впервые прибыл Фридрих, пфальцграф Рейнский, чтобы жениться на принцессе Елизавете, его сестре. Принц был горячим сторонником этого брака и потому не упустил возможности выразить свою привязанность вышеупомянутому курфюрсту, а также добавить почета и торжественности к встрече последнего. Не исключено, что он мог перегреться и заболеть после спортивных игр и забав в компании курфюрста, но крепость его организма и молодость должны были бы помочь ему преодолеть недуг, если бы за игрой в теннис он не попробовал винограда, который, как полагают, был отравлен. Принц был скорее привержен военным искусствам и занятиям, чем игре в мяч, теннису и другим ребяческим забавам. Это был истинный протестант, по-настоящему любивший английскую нацию, избегавший не только идолопоклонства и суеверия, но также и лютеранской заразы, распространившейся в Германии и погубившей ее. Он не ценил буффионов и паразитов, сквернословов и безбожников, но водил компанию с образованными благочестивыми людьми... И если бы наши грехи не побудили Господа забрать у нас столь несравненного принца, весьма вероятно, что его стараниями папизм был бы

окончательно изгнан из Британии и Ирландии, а Божья церковь за границей не пережила бы того крушения, которое случилось с ней около шестнадцати лет тому назад<sup>391</sup>. Чарльз, герцог Йоркский, наш нынешний государь<sup>392</sup>, его младший брат, был тогда юным и болезненным, и мысль о том, что у нас есть он, совсем не уменьшала и не смягчала горя, столь великого еще и потому, что все считали, что дни принца Генри были пресечены враждебной рукой, подобно тому как оборвалась жизнь отважного Германика или окончилось царствие Генриха Великого<sup>393</sup> – последнего французского короля, убитого иезуитом Равальяком...

## Глава IV. 1612 г

Еще до кончины бесценного принца Генри, 24 мая того же года умер Роберт Сесил<sup>394</sup>, граф Солсбери: я заметил это событие, поскольку оно вызвало всеобщее ликование, подобно тому, как смерть принца – всеобщие оцепенение и скорбь. Прошедшее с той поры время оправдало деяния этого человека, доказав, что каким бы плохим христианином он ни был... он все же оставался добрым государственным мужем и не самым дурным членом общества. Ибо, будучи лордом-казначеем Англии (а в этой должности он и умер), Сесил заботился о том, чтобы покрывать обычные расходы короны за счет ее традиционных доходов, которые были разнообразны и велики, не угнетая и не разоряя подданных новым бременем и неограниченными налогами. <... > К концу этого года, по нашему счету, или к началу следующего, по календарю, принятому за границей, четырнадцатого февраля в Прощеное воскресенье во дворце Уайтхолл был освящен брак между курфюрстом Фридрихом Пфальцским и принцессой Елизаветой, единственной дочерью короля Якова, – с великими радостью и торжественностью. <... >

Я не испытывал недостатка в отдыхе, поскольку в наступившем 1613 г. уехал в Коксен, куда по окончании зимней сессии прибыли из Лондона мои родители с семьей. Они прожили там до конца каникул, а затем, сдав местные земли с главной мызой в аренду, окончательно покинули западные земли и больше туда никогда не возвращались.

Они обосновались в Саффолке в Лавенхэм-Холле, который вместе с поместьем и городком Лавенхэм был славным пожалованием короля и старинной наследственной собственностью графов Оксфорд. Отец купил Лавенхэм-Холл в 1611 г. у м-ра Айзека Уодера частично на те деньги, что дедушка Саймондс оставил мне.

При отъезде из западных графств отцу предложили три тысячи фунтов за Коксден, что было хорошей ценой, но матушка не пожелала продавать свое наследство и сделка не состоялась; однако отец увез с собой весь домашний скарб за исключением кое-какой рухляди, а также все акты, документы и записи, касавшиеся моих аренд и наследственных земель. Эти бумаги сгорели вместе с частью домашней утвари в конторе шести клерков<sup>395</sup> во время пожара в 1621 г., что стало причиной многих понесенных мною потерь и неудачных тяжб. Но большая часть домашних вещей была отослана в Лайм – дорсетскую гавань в четырех милях от Коксдена. Оттуда их доставили морем в Саффолк, и таким образом они избежали пожара. Значительной их частью я владею и поныне. Среди этих вещей мне особенно дороги три позолоченных кубка, подаренные моим прадедом Томасом Саймондсом отцу моей матушки, его второму сыну. Я слышал, как мой отец говорил, будто их одалживали кому-то на время, и один из кубков потерялся, а взамен его был изготовлен новый, но, разглядывая их, я находил, что все они – старинные, и уверен, что либо отца ввели в заблуждение, либо потерянный кубок нашелся и был возвращен.

В то лето бедный городишко Эксминстер в Девоншире в пяти милях от Уомбрука был опустошен чумой, эпидемия длилась несколько недель и унесла с собой множество жителей. Пока я оставался там<sup>396</sup>, я провел одно Рождество в Уомбруке, а другое – в Таунтоне, где у меня много друзей и родственников. Я с большим удовольствием осматривал этот красивый город – главный в Сомерсетшире, с остатками прекрасного замка, некогда возвышавшегося над ним...

Насколько я помню, в тот год (а я уверен, что это случилось, когда я жил в Уомбруке) произошло громкое убийство одной богатой вдовы в небольшой деревушке Кингстон в Сомерсетшире в трех милях от Таунтона. Ее убил некий м-р Бэбб, который поначалу честно ухаживал за ней и сделал предложение, но в конце концов после всех своих усилий и стараний добиться ее расположения он получил

насмешливый отказ. Его любовь обратилась в ненависть; будучи человеком приятной наружности и довольно состоятельным, он до такой степени оскорбился, что решил стать ее палачом... Бэбб отправился к дому вышеназванной вдовы и спрятался в ее пивоварне. Спустя некоторое время она вошла туда, не подозревая об опасности; он предстал перед ней и спросил, возьмет ли она его за себя. «Взять тебя? Низкий подлец! – ответила она. – Нет!» – и запустила ему в голову оловянным подсвечником. Кажется, это была смелая женщина, сильная духом, если не испугалась и не пришла в смятение, встретив здесь того, кого она привела в такое раздражение. Или же она полагала, что мужчины не могут ненавидеть тех, кого когда-то любили. Мистер Бэбб бросился на нее, повалил и нанес ей пятнадцать ран кинжалом, принесенным с этой целью. Три из них были смертельными. <... > На четвертной сессии суда в городке Чард в Сомерсете этот Бэбб был допрошен и осужден. Он признался в своем преступлении, сокрушаясь и раскаиваясь, и вскоре был казнен: вздернут на виселице около упомянутого городка вместе с другими. Это место находилось всего в миле или двух от Уомбрука, и я обыкновенно ездил туда во время судебной сессии, находя в этом удовольствие. Я также был среди очевидцев казни мистера Бэбба, красивого и хорошо сложенного мужчины. Он поднялся по лестнице, одетый в траурные одежды, выказав так много признаков искреннего раскаяния во время пребывания в тюрьме, такие терпение и твердость перед лицом мук, что все, кто наблюдал за его поведением и видом в момент смерти, сочли состояние его души обнадеживающим.

В 1614 г. я отправился в Эксетер, чтобы провести Пасху с дядей Уильямом Саймондсом, который был одним из свидетелей на моих крестинах. Он и его жена, моя тетушка, очень гостеприимно приняли меня, и я получил большое удовольствие от осмотра как самого Эксетера, так и окрестностей этого хорошо укрепленного города. Мне впервые случилось общаться и вести беседы со своим престарелым дядюшкой, после того как я навсегда покинул западные земли в этом году.

Мистер Мэлакер был превосходным учителем, но большим плагиатором<sup>397</sup>, он давал больше знаний, чем было нужно, но не с того конца. Прогресс в моем обучении был пропорционален времени, которое я провел с ним: если по приезде я почти не владел латынью, то

ко времени отъезда оттуда уже познакомился с некоторыми избранными латинскими поэтами и другими авторами, научился писать на заданные темы, составлять письма и диалоги, а также немного говорить на этом языке. Я хорошо помню, как в ноябре перед моим отъездом м-р Мэлакер дал мне много советов, а напоследок сказал: «Что касается твоего образования, не опасайся за него. Я знаю, что ты с большой пользой для себя провел это время». Только в одном его можно было упрекнуть: он не пекся о душах своих учеников, хотя сам был священником, никогда не заботился о том, чтобы они записывали его проповеди или повторяли то, что выучили по этим записям. Я не могу без ужаса подумать о том беспросветном безбожии, в котором я тогда пребывал, хотя и ходил в церковь каждое воскресенье, но не обращал внимания на то, что там читают, о чем молятся или проповедуют, проводил время в Божьем доме столь же нечестиво, как и по выходе оттуда, даже в Его день<sup>398</sup>.

В ноябре я проделал весь путь из западных графств (куда с тех пор не возвращался) до Лондона в сопровождении только одного отцовского слуги, но все же, Божьей милостью, мы благополучно добрались туда. Я испытал большую радость, встретив обоих родителей и четырех любимых сестер, – все они теперь жили с отцом в его конторе на Ченсери-Лейн. Вскоре было решено, что мне не нужно возвращаться в западные земли, поскольку это далеко, да и содержание мое там было скудным и недостаточным, а следует поступить в школу в Лондоне. Вскоре после рождественских каникул я поселился с неким м-ром Генри Рейнолдсом, проживавшим в приходе Сент-Мэри-Экс<sup>399</sup>, напротив церкви... У него была дочь по имени Бэтшуа (Bathshua), превосходно знавшая греческий, латинский и французский языки, а также понимавшая древнееврейский и сирийский. Ученостью она далеко превосходила своего отца, который лишь изображал из себя ученого. Благодаря славе о ее знаниях (полученных ею от других), к ее отцу поступало много учеников, которые в противном случае не стали бы селиться и надолго оставаться с ним. И тем не менее у него была приятная манера преподавать, отличавшая его от других наставников, ибо розга и линейка<sup>400</sup> в его школе были выставлены скорее как знаки его власти, чем орудия его гнева, и редко использовались для наказания за проступки. Обычно он щедро награждал изюмом или другими фруктами заслуживших это, если позволяло время года, и



полагал, что ненаграждение нерадивых и небрежных учеников равнозначно самому строгому наказанию. <...>

## Жан-Жак Бушар (1606–после 1641)

Жан-Жак Бушар, автор «Исповедей», родился в Париже, по некоторым данным, 30 октября 1606 г., в семье Жана Бушара, королевского секретаря, а затем наместника в небольшом местечке в Лангедоке, и его супруги – Клод Мерсерон. Он получил блестящее образование и стал превосходным латинистом, но прослыл развратником. Из-за неприятностей с матерью, поскольку он совращал служанок, Бушар 14 сентября 1630 г. покинул свой дом. С рекомендациями к известным библиофилам – поэту Шаплону, библиотекарям братьям Дююи, к естествоиспытателю и археологу Пейреску, а также и к Рафаэлю Булонскому (епископу Диньскому) он уехал в Рим, где стал жить под именем сеньора Фонтене. Он близко сошелся с либертенами<sup>401</sup> – Ноде и Труйером, был принят в дом кардинала Барберини в качестве секретаря-латиниста, стал членом Академии юмористов, перевел на французский книгу «Заговор графа Фиески» (1639 г.) своего старшего современника, итальянского историка А. Маскарди. В 1640 г. Бушар произнес перед папой Урбаном VIII проповедь «De ascensione Christi» и стал клерком Святейшей консистории. Французский посол, маршал д'Эстре, отметил свое недовольство этим выбором, заставив 15 августа 1641 г. так жестоко избить нового клерка, что тот вскорости умер.

Бушар завещал собранные им древние манускрипты кардиналам Ришелье и Барберини. Среди бумаг обнаружили его «Исповеди», которые были опубликованы со множеством изъятий. Последнее издание объясняли тем, что это книга сексуального маньяка, непристойность и цинизм которой оправдывают любые сокращения. Его журнал о путешествии из Парижа в Рим, приложенный к «Исповедям», выдает в нем хорошего наблюдателя. Такой же его журнал о путешествии из Рима в Неаполь не был издан<sup>402</sup>.

### Исповеди

*Орест* <sup>403</sup> был только в первом расцвете лет и тем не менее, в силу продолжительного изучения философии, которой его увлек его дорогой друг *Пилад*<sup>404</sup>, он настолько усмирил беспокойство сильных привязанностей и неумеренные аппетиты, к которым юность привыкла, чтобы быть бурной, что он чуть не достиг стоического освобождения от страстей. Ибо, излечившись от горестей (прежде всего благодаря тому, что сознательно старался их забыть), которые ему принесла потеря его первого друга *Ардона* и его милой сестры *Анжелины*, он запасся терпением против тирании, которой его жестоко подвергали *Агамемнон* и *Клитемнестра*; и, оставив все свои первоначальные намерения, которые тревожили его дух на протяжении многих лет: похоронить свою жизнь в монастыре или броситься в рабство службы кому-нибудь великому, лишь бы освободиться от родителей, – он, наконец, решился сносить их не только храбро, но и весело. И с этой целью он сократил утомительные занятия критикой и грамматикой, которым в другое время предавался с рвением, отчасти напоказ, а также чтобы приобрести уважение, возможность добиться выгодных условий, благодаря которым он мог укрыться от преследований домашних, и решил отныне искать только красоту и удовольствия в книгах, к которым он присоединил еще большее увеселение – музыку. К нему присоединились также его брат *Глон*, и красавица его кузина *Артенника*, и друг *Пилад*, который, сделавшись в этих обстоятельствах отчаянно влюбленным в красивое личико и ум этой девочки и в обаяние ее голоса, получил столько же горя и досады в это время, сколько *Орест* удовольствия и удовлетворения. Кто достаточно сильно испытал такое влияние музыки на свой темперамент, кто приписал ему причину необычайного здоровья, которым наслаждался в течение трех лет без каких-либо перерывов, и признал, что обязан этому отчасти влиянию веселости и безмятежности духа, в котором жил какое-то время, тот с завистью смотрит, как *Любовь*, в возрасте 23 лет пользуясь уже привилегиями зрелой старости, увлекла друга [*Пилада*] привязанностью к девочке, которая заставляет испытать все счастье и все бури, о которых наиболее влюбчивые поэты когда-либо нам писали.

Шел 1629 г., когда *Клитемнестра*, по обыкновению силой, увезла *Ореста* на виноградник в *Нэокрен*<sup>405</sup>. Она хотела опробовать на нем новый вид тирании – заставить его быть весь день возле нее: или

читать ему какую-нибудь чепуху, или же уводить гулять, и тогда она проявляла всю силу своего красноречия, крикливого и обидного. *Орест*, желая освободиться и видя себя лишенным всех остальных приятных разговоров с друзьями, решился полностью погрузиться в одиночество, так что, кроме часов для еды и сна, он постоянно прятался в каком-нибудь глухом лесу или на отдаленной горе, беря с собой для компании только Сенеку и какую-нибудь веселенькую книжку. Там он узнал, какова жизнь в одиночестве, что она не так ужасна и не так уныла, как ее рисуют: что если в ней и есть какие-то неудобства, то они компенсируются и присущими ей весьма значительными преимуществами. Она является, так сказать, матерью свободы, отдыха и истинной философии, которая заключается не в чтении и не в спорах, а в глубоком и вдумчивом созерцании явлений этого мира.

Этому *Орест* и посвящал большую часть времени, которое он проводил в уединении, и если ему в голову приходили необычные мысли, он шел сообщить их любезному монаху, который жил неподалеку в ските. Это было единственное его знакомство там, он не желал общаться ни с кем, даже с домашними, с которыми говорил очень мало или не говорил вовсе. Так в течение месяца он пребывал в молчаливом одиночестве, пока однажды утром, прогуливаясь по винограднику, не встретил у одного куста *девочку, которую Клитемнестра нашла просящей милостыню у деревни и взяла к себе день или два спустя, чтобы та сторожила коров*. Подходя, он сообщил новенькой свое имя, сколько ему лет и каково его положение. И когда он увидел, что она необычайно стыдлива и простодушна, ему пришел в голову каприз, просто удовольствия ради проверить, действительно ли деньги имеют такую же власть в деревнях, как и в городе. Он положил ей в руку *два су*, и сопротивление тотчас начало понемногу ослабевать, она позволила себя уложить и повсюду прикасаться. *Орест*, натолкнувшись на небольшую *полость, мох вокруг которой еще только пробивался и которая, по всей вероятности, никогда еще не была возбуждена*, от страсти, которую он начал выказывать к уединенным местам, в течение часа несколько раз стремился посетить это укромное местечко, и в основном потому, что его было нетрудно достигнуть, установив цену *по су за раз*<sup>406</sup>.

Итак, назначив этой *девочке* свидание вечером в том же месте, поскольку он хотел войти **во влагалище, в тесноту мест**<sup>407</sup>, а холодность, которая обычно в таких случаях овладевала им, ослабила ему как раз то место, которое он никак не мог оставить без внимания, он отнюдь не был сердит или взволнован, как иногда уже случалось с ним. Напротив, ночью этот инцидент породил в нем мысли самые серьезные и приятные за всю его жизнь. Так, как только он лег, то начал философствовать о том неповиновении, которое постоянно, во всех самых важных случаях, оказывал этот средний член в верхней части, и хотел понять, происходит ли эта слабость от нее или от него. Поэтому, желая получше узнать источник и причину своего недуга, он начал прежде всего обдумывать его последствия и восстанавливать в памяти по порядку все симптомы, которые обыкновенно имели место. Прежде чем оказаться с какой-нибудь *женщиной*, он ощущал несказанный пыл и нетерпение все время, пока она отсутствовала; затем, уже в ее присутствии, его охватывали приступы какого-то ужасного стыда, бросавшего его в такой холод, что ни тепло заботы, ни вино, ни ласки, ни даже поцелуи не могли его побороть. Нужно было произвести сильные и многочисленные движения руками в течение целого часа, пока обе не уставали. И после того, как он хорошенько *разминался, трясся и растирался* и представлял себе самых редких красавиц, какие только есть в свете (поскольку *Орест* в таком расположении духа никогда не грезил о своих действиях в отношении нынешнего объекта, а только о какой-нибудь другой женщине, внешность которой ему когда-либо нравилась), ему удавалось только сильно пропотеть после озноба столь жестокого, что не было ни малейшей части тела, которая не тряслась бы в конвульсиях. Это порождало столь рассеянное состояние духа, что большую часть времени он находился в полубессознательном состоянии. То, что после этого он собирался домогаться и умолять новую пугливую лошадку, могло случиться только тогда, когда он проявлял самые яркие причуды и упрямство, ибо тысячу раз видел, как он вставал и, когда собирался уже войти, падал более безжизненный, чем раньше. Наконец, после двух-трех часов подобного развлечення наибольшее удовлетворение, которого он мог достичь, но опять же таки редко, были каких-нибудь три-четыре капли *спермы*, которым он позволял выходить с некоторым злорадством, ибо вместо того, чтобы быть в состоянии заниматься

любовью, он был пустой и дряблый как никогда, и вместо того, чтобы приносить наслаждение, приносил боль. Эти чрезвычайные усилия порождали такую усталость, что нужна была не одна ночь, чтобы прийти в себя, и следы ее не один день сохранялись на лице.

После столь тщательного анализа своего недуга *Орест* занялся поисками причин – происходил ли он от простого и врожденного темперамента или от распутства его юности – которые он с этой целью рассмотрел. Он вспомнил, какую боль испытал в восемь лет, когда начал *взбираться на маленьких барышень*, приходивших играть с его сестрой, так как вместо того, чтобы *вставлять им в зад маленькие палочки, как делали маленькие бездельники, чтобы поставить клизму*, он дерзко занимался с ними любовью, не зная, однако, что творит. Он узнал, что это *любовный акт*, только три или четыре года спустя, когда ему сказал об этом брат; это так хорошо запечатлелось в его памяти, что он помнил даже час, день и месяц, когда это случилось, – утром в пятницу в мае месяце.

Достигнув одиннадцатилетнего возраста, он открыл для себя способ *мастурбации* следующим образом: как-то после ужина, обосновавшись в маленькой классной комнате на камне под столом, *рассматривая и ощупывая свой член*, он ощутил очень необычный зуд, который в следующий раз заставил его возобновить занятия с большим вниманием. И, обнаружив тут несравненный вкус, он начал, помимо этого, совершенствовать это искусство, открывателем которого считал себя, обучая ему своих маленьких лакеев и некоторых соседских мальчишек и еще около двух лет упражняясь в этом деле, названия которому сам не знал, получая от этого огромное удовольствие, хотя *совсем еще не выбрасывал спермы*. Только страстность и настроение порождали, как он думал с этих пор, этот зуд. Сперма начала появляться примерно в тринадцать – четырнадцать лет, около того времени, когда его послали в коллеж Кальви, где его любили и ласкали многие из-за прекрасных и редких открытий, которые он сделал в этом деле, желая, чтобы перед ним всегда был какой-нибудь хороший объект, как то *обнаженные женщины или, если он был один, члены и влагалища, сделанные из воска*, которые имели внутри полости с пленкой и волосками, или чернильницы, чтобы *засунуть свой член внутрь*, и проделывая это всегда у огня, если была такая возможность, – удовольствие тогда было двойным. У него были и

другие секреты, если дело происходило в компании, когда он во все свободные дни отпраплялся попрактиковаться с кем-нибудь из своих товарищей на виноградник Шартре к находившемуся там гроту, и там, в высокой траве, сняв *штаны*, вместе пробовали *тысячу прекрасных поз, никогда, однако, не доводя дело до конца*. В другой раз они шли в какую-нибудь церковь и, сев рядом с красивыми барышнями, *занимались онанизмом друг с другом*. Он *в самом деле* любил многих из этой компании, как, например, обоих Манжо, Дюрана, Донона, ля Брюнетьера, ле Нуара, Друана и других – Гулю, Луазё и Де Фюрне, обучая трех последних. Но он стал яростным любовником Бутией и Бельевра; он, *купив, наконец, первого, долго с ним развлекался*. С Бельвром он никогда не мог заниматься онанизмом, кроме одного раза; к тому же из-за *сильнейшего влечения*, которое он имел в избытке, он не мог *никогда возбудиться*, и это был первый *каприз его члена*. Такую жизнь он вел в течение всего своего пребывания в коллеже, то есть с тринадцати до восемнадцати лет, *выбрасывая сперму каждый день обычно два, самое большее три или четыре раза*, никогда не делая ни отдыха, ни перерывов кроме *четырёх праздников в году*, когда он *проводил* восемь или десять дней, ничего не делая, и никогда не мог прожить целых две недели *в благочестивом воздержании*.

В то время помимо всего этого он *вкалывал в доме у маленькой горничной по имени Анжелина*, в комнате которой он спал. У этой девицы была одна *причуда* – когда она не спала, то не позволяла *приближаться к себе*, но когда она думала, будто кажется, что она спит, то позволяла *делать с собой все что угодно, так что Орест занимался с ней любовью каждую ночь*, пока поза девицы, *притворившейся спящей*, позволяла это, и даже несколько раз днем. Когда ее хозяйка уходила, она *делала вид, будто засыпает, принимая самую удобную позу: она становилась на колени, головой к земле, а задницей кверху*, так что Орест, *при всем этом*, всегда мог легко **привести свой довод сзади в пизду**<sup>408</sup>.

Эта *девица съехала с жилища* и покинула коллеж, и он стал жить менее регулярно, не имея больше такой возможности, но не то чтобы совсем по-другому, продолжая все же, примерно в течение года, *мастурбировать по разу, изредка по два каждый день*. Таким образом, Орест выяснил, что, находясь в возрасте от одиннадцати до двадцати четырех лет, только и делал, что применял *свое орудие*, и пришел к

выводу, что промахи, которые тем были совершены, происходили скорее от вялости и ослабленности, которые были вызваны очень длительной и непрерывной службой, сделавшей его как бы изношенным, нежели от природного строения. К последнему все-таки можно отнести кое-что: прежде всего, *Орест* имел весьма тонкую и слабую комплекцию, это что касается тела; кроме того, его темперамент, в котором имели равную силу желчность и меланхолия и благодаря которому он сначала очень живо мысленно постиг добро и зло пылкостью и активностью желчности, а затем холодность меланхолии успокоила ему кровь осознанием горя или стыда, которые он ощущал, если не достигал даже воображаемого оргазма, и которые заставляли его упускать обладание в настоящем из-за страха вообще его потерять. И этот дурной нрав испробовал свою власть не только над *гениталиями*, но и над всем остальным, ибо с *Орестом* довольно часто случалось, что, когда он очень хотел что-нибудь сказать, язык становился неподвижным, а память ему изменяла; если он желал пробежаться, ноги ослабевали и дрожали. Одним словом, когда он имел сильное желание сделать что-нибудь, именно тогда преуспевал меньше всего, и как раз тогда, когда больше всего боялся совершить ошибку, он падал наиболее быстро. Так что, чтобы исправить эту поспешность воображения, которому изменяют и не повинуются части тела, Орест был принужден во всех делах, которые он предпринимал, полностью разуверять себя в успехе, прежде чем начать, чтобы его сознание, устраняющее за раз все помехи, которые могут появиться в случае, если он не достигнет успеха в своем намерении, без каких-либо проблем убедило его в спокойствии.

На этом решении Орест закончил размышления этой ночи; прекратив столько раз представлять себе, сколько раз он будет иметь возможность *обладать этой маленькой пастушкой*, даже если ему придется делать всегда одни и те же ошибки.



## Томас Рэймонд (ок. 1610–ок. 1681)

В английской истории XVII в. действует большое количество лиц, носящих подобные имя и фамилию. Этот Томас Рэймонд, скорее всего, был секретарем английского посла в Венеции, гувернером и сопровождающим различных знатных англичан в их путешествиях по Европе и Ближнему Востоку, затем, вероятно, делопроизводителем в парламентской администрации. Точная идентификация данного автора представляет значительную проблему и требует специальных изысканий, которые не являются целью настоящего издания<sup>409</sup>.

### Рапсодия

Мой отец, будучи в последних числах декабря в полях на псовой охоте, внезапно почувствовал необычный холод в верхней части живота, который [затем], когда он вернулся домой и лег в постель, сменился сильным жаром, от чего он и умер через несколько дней. Он [отец] был человеком чуть менее рослым, чем [люди] среднего сложения, но с пропорциональными конечностями, с коричневыми волосами, беспечный в разговоре, раздражительный и запальчивый, но отходчивый.

Нас, детей, было четверо, три сына и дочь, из которых я был вторым и наименее им любимым, но при каждом происшествии (несмотря на то что мне было около 12 лет, когда он умер) сильно чувствовавшим на себе последствия его гнева, ибо более всего он делал несчастным меня, поскольку я имел мягкий и боязливый характер. И, конечно, это обстоятельство вскоре начало оказывать неблагоприятное влияние на мое душевное развитие, что в дальнейшем в разных вариациях преследовало меня в течение всей моей жизни и послужило препятствием в достижении жизненных успехов. Столь вредно подавление в зародыше задатков мужского характера.

Вскоре после смерти отца я и мой младший брат были отданы в пансион (школу-интернат), и здесь я, не будучи столь проворен, как мой младший брат, в повторении не по учебнику, хотя в остальных

аспектах развития превосходил его, что почти не учитывается педагогикой, был к своему стыду и разочарованию поставлен классом ниже.

Такова норма воспитания «Рамбусов»<sup>410</sup>, благодаря чему, как я опасаясь, много отважных мальчишеских душ было осквернено и поругано. Не будь этого, они могли бы вырасти храбрыми людьми, и поэтому особое сожаление вызывает тот факт, что должного внимания не уделяется подбору способных людей для наставления и обучения молодежи.

Во время моего пребывания там наш невежественный сосед (старик), наблюдая со своего двора за соседским кабаном, заметил, что животное подрыло лаз и проникло на его землю, [он] взял лопату и стал копать землю, чтобы засыпать его, и вместе с землей выкинул [на поверхность труп] крепкого младенца мужского пола без одежды, единственно с накидкой вокруг шеи. При этом старик, испугавшись, позвал нескольких своих соседей, с которыми обсудил случившееся, некоторые из соседей говорили, что до недавнего времени его [старика] дочь подозревалась в том, что носит ребенка. Так и оказалось. Она родила тайно и здесь его похоронила. Тем не менее ей, вопреки ожиданиям и несмотря на закон, удалось избежать виселицы.

После трех лет, проведенных мною в школе, я был послан моим дядей, служившим в суде, в Лондон, где меня намеревались пристроить к месту. По прибытии в Лондон я был вверен [заботам] юриста для совершенствования в письме и изучении жизни и обычаев города. Следующий день после моего прибытия в город был днем благодарения за избавление от страшной чумы 1625 г. <sup>411</sup>

В это утро девушка, спустившаяся вниз, чтобы открыть дверь на улицу, нашла письмо, лежащее так, как его бросили, – под дверь, адресованное лично ей, вскрыв которое она прочитала: «Дорогая кузина» – что должно было означать, что письмо было от кузины, умоляющей ее [служанку], как только хозяин уйдет в церковь, прийти к ней, чтобы узнать нечто срочное, касающееся лично ее, что письмо послано с прохожим, который проходит мимо двери очень рано, и в случае если дверь не будет открыта, то ему дано указание положить письмо под дверь.

Девушка была поражена содержанием письма, так как видела свою кузину днем раньше и не могла представить, какое могло тут

возникнуть дело, о чем она и сообщила хозяину, показав ему письмо и попросив разрешения пойти к своей кухне, обещая, что поспешит и вернется к началу церковной службы; что она и исполнила, вернувшись с известием о том, что кухня удивлена письмом, так как ничего не посылала. При этом возникли подозрения, что кто-то замышляет ограбить дом, так как вся семья была бы в отсутствии, если бы ушли одновременно и юрист, и служанка. Оба они пришли к мнению, что это план некоего Антония Грима, который незадолго до того жил у юриста, а [затем] ограбил ювелира, жившего по соседству. Грим служил у последнего клерком и жил, не вызывая подозрений в бесчестье. Несколько раз Грим поздно возвращался домой, однажды он отсутствовал всю ночь, вернувшись домой рано утром и сказав, что встретил земляков. Однако в тот вечер он залез в лавку ювелира, спрятался в темном углу, а ночью ограбил его [хозяина], забрав украшения, кольца и пр., не испытывая жалости к потерям хозяев, будучи сам вором. Он держал краденый товар 5–6 недель, после чего часть товара отдавал на продажу ювелиру из Вестминстера, которому говорил, что [его] брат служит у ирландского лорда; был там же задержан, но бесстыдно отрицал кражу, а когда констебли вели его по началу улицы Фостерлейн, в конце которой жил ювелир, он вырвался от них. При этом они кричали: «Держи вора», и он кричал: «Держи вора», как они. Однако его вновь схватили, заковали и отправили в Ньюгейт, а незадолго до написания письма он бежал из тюрьмы.

Как я уже сказал, этого парня подозревали в некоем заговоре против дома, и, хотя ни в одном из фрагментов письма юрист не нашел его почерка, он решил не оставлять дом без присмотра, я сам оставался дома до обеда, а юрист после. Подошло время ужина, служанка направилась в кладовую, причем ей нужно было пройти через комнату, называемую конторой, в подвал; а так как последняя была особой острого ума, то, глядя на окна, выходящие на улицу, она заподозрила, что один из новых засовов подрезан, а остановившись и рассмотрев его получше, она поняла, что засов подпилен с двух сторон; после чего она двинулась к углу под лестницей, где также новый засов, но без свечи ничего не разглядела. Она поспешила наверх со словами, что в этом углу несомненно должен был быть Антоний, и рассказала об окне и засовах. Затем она зажгла свечу, и все трое спустились вниз, а она, убрав засов, посветила свечой под лестницей и воскликнула: «О, Боже,

вот он, вот он». При этом все трое выскочили из комнаты, один почти бежал по другому, и сумели, к счастью, запереть дверь. Мы были так сильно напуганы, что позвали соседей: ювелира и еще одного. Вновь зажгли свечу, которая была загашена во время бегства, и один из нас заглянул в отверстие под лестницей. «Но ведь здесь никого нет», – сказал он. И действительно ничего не было видно, что и позволило юристу упрекнуть служанку за обман, но последняя была уверена, что он был здесь и не ушел еще, и действительно он там был, скорчившийся и сжавшийся в норе, никуда не ушедший. Его извлекли из угла, всего покрытого пылью и паутиной (ужасное зрелище для молодого провинциала), и послали в Ньюгейт, где о нем беспокоился тюремщик, так как до заседания оставалось 3–4 дня, а начальник, к которому он обратился по поводу беглеца, велел поймать его до начала сессии. Если бы это дело было кровавым или если бы Господь не направил мошенника, он вполне мог вышибить из меня мозги, так как, будучи один в доме, я часто спускался в подвал и попадал к нему в берлогу, из которой он мог бы выйти, сделать это и ограбить дом. В этом Господь оберегал меня.

Данный случай может служить примером того, как дьявол толкает своих приспешников в ловушки, им самим расставленные, ибо если бы этот мошенник не написал письма, он легко мог бы ограбить дом (ведь все мы в этот день собирались пойти в церковь) и избежать поимки. Но именно так дьявол платит своим слугам. Этот случай глубоко врезался мне в память: спустя еще нескольких лет с тех пор я не ложился в постель, не заглянув в каждый угол своей комнаты, – имея хорошие последствия только в том, что я постоянно твердил молитвы. Я заботился об осмотре двери комнаты и обо всех возможных путях доставить мне неприятный сюрприз; убеждался в безопасности всех частей моего замка, но в одном месте в подъемнике за уборной проход был столь широк, что иной из воров мог пролезть. Для предотвращения этого (поймите глубокий замысел молодого человека, постоянно раздираемого страхом) я достал небольшой колокольчик и привязал к веревкам, уверив себя, что при малейшем сотрясении мой «сторож» даст знать о себе.

И однажды случилось, что я услышал предупреждающий звук. Предположив, что это может быть сон или мираж, я с должным страхом ожидал подтверждения лучшего, но через некоторое время

мой страж опять зазвонил. Теперь мне пришлось выбирать: или трусливо зарыться головой в постель, или встать и отважно защищать свою честь. Мое мужество победило; я встал, взял свой Морглея<sup>412</sup>, который я ранее положил наготове на постель и, приблизившись к отверстию, крикнул: «Кто ты, вор? Я проткну тебе череп». Я ткнул шпагой в отверстие как можно дальше, совершенно уверенный, что попаду по голове или плечам какого-нибудь сельчанина, но ничего подобного. После нескольких выпадов по всем концам отверстия я вернулся в постель, предположив, что вор, возможно, ушел, но не желая покидать свое убежище из-за возможности подвергнуться новой опасности или вызвать всеобщий переполох, а также боязни быть осмеянным в случае ошибки. Я лег вновь, но (будьте уверены) не заснул из-за опасности нового нападения. В это время начало светать, а мои глаза все еще были прикованы к опасному месту, и в это время мой «сторож» опять звякнул своим железным языком. Поскольку наступил рассвет, мужества у меня прибавилось, и теперь, осмотрев то, что там было, я обнаружил своего врага – большую деревенскую крысу, запутавшуюся в веревках, над чем мне тогда совсем не хотелось смеяться и над чем я охотно смеюсь сейчас.

Мое присутствие там оказалось более длительным, чем я планировал, не помню, по какой причине. Но я хорошо помню, какой опасности подвергаются молодые люди, приехавшие в Лондон впервые: это дурные компании, дурные советчики и неблагоразумные хозяева, но все же никто так не подвержен разврату, как молодые клерки. Богу было угодно особым образом защитить меня от больших соблазнов, за что я всегда с благодарностью поминаю Его Святое Имя. Одна из золовок юриста была очень красивой молодой особой, соблазнительной сверх меры, ставшей в конце концов женщиной легкого поведения. Еще одним из моих искусителей был человек, доводивший меня до озверения, тот, что толкал к пьянству и т. п. Что касается пьянства, то я имел возможность просить у Бога прощения за все грехи, в том числе и за этот, а к своему удовлетворению скажу, что никогда не имел склонности к этому большому и слишком распространенному пороку. Однажды я следовал по улице за телегой, везшей большие деревянные брусья, и не принял необходимой предосторожности; неожиданно телега подалась назад и брус свалился на землю прямо мне на ногу, да так, будто собирался из нее расти

вверх; не подай лошадь в сторону, мою ногу разнесло бы на куски и я остался бы навек хромым. Вышеупомянутый юрист часто навещал дом богатой вдовы-содержанки, в чьем доме я часто слышал разговоры об убийстве герцога Бэкингема Фелтоном<sup>413</sup>. Там сильно осуждались длинные волосы, особенно локоны, которые носил на левой стороне лица добрый король Карл I. Тот же юрист пережил в упомянутом доме двух жен. Одна из них умерла где-то через 6–8 недель после свадьбы.  
<...>

## Джон Дейн (1612–1684)

Американец английского происхождения. Хирург, торговец и священник в г. Ипсвиче, штат Массачусеттс. Детство провел в Англии, в пуританской семье. Уехал в Америку после 1638 г. и был похоронен в 1684 г. Воспоминания записаны в 1682 г.<sup>414</sup>

### Рассказ о замечательном провидении в моей жизни

Сначала о семейном провидении. Когда я был младенцем, я это хорошо помню, мой отец переехал из Беркхемстеда в Стордфорд. Там он купил дом и перевез в него семью. Он вернулся в Беркхемстед еще раз, чтобы завершить там все дела, а моя мать и ее дети остались в Стордфорде. Отец был вынужден задержаться там дольше, чем они с женой предполагали, и поэтому моя мама столкнулась с нуждой, плакала и беспокоилась. Я не сомневаюсь, что она открыла свою нужду Господу, ведь она была серьезная женщина. Однажды моя сестра, она была маленькой девочкой, вышла во двор, села на солнце под окном и положила руки на землю, чтобы подрасти, а под ее ладошкой оказался шиллинг. Она принесла его. А я, тогда тоже еще маленький мальчик, спросил ее, где она его нашла. Сестра показала мне это место. Я пришел туда и руками откопал там еще одну монету. Это случилось как раз вовремя. Моя мама обратила на этот случай особое внимание, и я не сомневаюсь, что это явилось для нее явственным подтверждением Божьей милости...

Теперь о том, что касается меня. Когда я был маленьким мальчиком, воспитанным набожными родителями, они любили рассказывать мне о тех грехах, которые я не должен совершать. Когда мне было около шести лет, я много играл и бегал без разрешения моего отца. Однажды я пробежал почти весь день, и, когда я вернулся домой, отец взял и побил меня. Меня заперли дома, и я вернулся к своим занятиям только через два или три дня. Мои отец и мать внушали мне, что Бог благословит меня, если я буду повиноваться своим родителям, и каким плачевным будет исход в противном случае. Я понял всем сердцем, что

отец побьет меня еще, если я буду поступать дурно. А если он не будет этого делать, я так и не стану хорошим.

Вскоре после этого я как-то оказался один в лавке и распорол брюки одного джентльмена, в кармане которого была дыра, из-за чего джентльмен выронил кусочек золота за подкладку, а карман зашил снова. Когда я увидел золото, я решил, что могу взять себе эту находку, поскольку никто не знает об этом и никогда не узнает. Я забрал золото, спрятал его и вернулся к работе в лавке, но, размышляя о произошедшем, осознавал, что то, что мне удалось найти, – не мое. Я положил кусочек золота обратно, но после долгих размышлений взял его опять. Когда я сделал это, мне стало как-то не по себе, и я вернул золото, рассудив так: «Как же никто не знает о том, что я сделал, ведь Богу, ему-то известно». Я отдал свою находку отцу, а он вернул ее джентльмену, хозяину брюк. Господь явил мне свою милость, удержав от такого искушения.

Я правильно размышлял о себе. Я был убежден, что мне надлежит молиться, читать и слушать проповеди и ничего более. Но тем не менее праздно проводил время и танцевал и считал это вполне законным. Позже, когда мне было 18 лет или более, я поступил в школу танцев. Когда мой отец услышал об этом, он заявил мне, что, если только я пойду туда еще раз, он побьет меня. На это я ответил отцу, что он больше никогда не посмеет меня избить. Услышав это, отец взял прут и высек меня. Я очень страдал, не говорил ни слова день или два, а потом однажды утром встал, взял две рубашки, свой лучший костюм, положил в сумку Библию, открыл дверь в комнату отца и сказал: «До свидания, отец, до свидания, мама». «Почему? Куда ты уходишь?» «Искать счастья», – ответил я. На это моя мать сказала мне: «Иди куда хочешь. Бог тебе судья». Эти слова отпечатались в моей душе, и Господь высек их в моем мозгу.

Я считал отца чересчур строгим, я помнил, что Соломон сказал: «Не будьте слишком святы». Давид, будучи человеком Божьим, все же был танцором, так что я продолжил свое путешествие и был вдалеке от родителей полгода, пока отец не услышал, где я нахожусь. <...>



## Люси Хатчинсон (1620–ок. 1675)

Несмотря на то что сочинение Люси Хатчинсон принадлежит к числу наиболее знаменитых мемуаров стюартовской Англии, о жизни этой замечательной женщины известно сравнительно немного.

Отцом Люси был сэр Аллен Апсли, лейтенант (начальник) лондонского Тауэра, а матерью – третья жена сэра Апсли Люси Сент-Джон. Сэр Апсли был немолод, когда женился на матери Люси: ему было 48 лет, ей – 20. В своей автобиографии Люси с необыкновенной теплотой вспоминает глубокую религиозность матери и мудрость отца, а также их всегда нежные взаимоотношения. Родители дали Люси хорошее воспитание, чему в немалой степени, как мы видим из ее воспоминаний, способствовала природная одаренность девочки. Люси была четвертым ребенком в семье, так что когда умер отец (1630), ей было всего 10 лет, но, как явствует из записок, отношения родителей сформировали идеальный образ семьи, который она старалась воплотить в собственных отношениях с мужем. Когда ей было 18 лет, ее ученость привлекла внимание Джона Хатчинсона. Полковник Хатчинсон принадлежал к крылу индпендентов в парламенте, героически оборонял Ноттингемский замок и среди прочих подписал осуждение Карла I. После Реставрации он был заключен в тюрьму, где умер в 1664 г. После смерти полковника, чтобы поддержать семью, Люси вынуждена была продать родовое владение мужа, Оуторп, вместе с богатой библиотекой по теологии, его сводному брату, роялисту. В семье было много детей; желание сохранить их память об отце и подвигло Люси, по ее собственному признанию, к написанию прославивших ее воспоминаний о муже (1664—1671). Год ее смерти неизвестен, скорее всего, она умерла после 1675 г.

Брак Люси Хатчинсон был счастливым, отношения между супругами отличала доверительность, общность духовной жизни. Как многие современники, Люси искала свой путь к вере и в 1646 г. присоединилась к баптистам, убедив мужа последовать ее примеру. После Реставрации Люси удалось своими хлопотами и мольбами (она даже написала письмо спикеру парламента) отсрочить заключение

полковника. Когда его все же заключили в тюрьму, она пыталась добиться разрешения разделить с ним его камеру и каждый день приходила проведать мужа.

Наиболее знаменитое произведение Люси Хатчинсон – несомненно, жизнеописание ее мужа. Но сочинение миссис Хатчинсон не уникально. Она сама упоминает однотипные записки роялистки Маргарет Кавендиш. Известны и подобные воспоминания Анны Фэншо. Однако литературный талант Хатчинсон не ограничился только составлением жизнеописания. Люси была одной из ученейших женщин своего времени, владея кроме латыни и французского греческим и древнееврейским языками. Ее перу принадлежат переводы Лукреция и Вергилия, несколько религиозных трактатов, стихотворения и частично сохранившаяся автобиография.

Первый издатель записок (в 1806) был прямым потомком Джулиуса Хатчинсона, сына сводного брата полковника. В свод записей Люси Хатчинсон, найденный им в родовом поместье, входили: 1) жизнеописание полковника Хатчинсона, 2) дневник, 3) две книги на чисто религиозные сюжеты и 4) фрагмент автобиографии самой миссис Хатчинсон, отрывок из которого публикуется в антологии<sup>415</sup>.

## Жизнь Люси Хатчинсон, описанная ею самой

Я часто возвращаюсь к размышлениям о привилегии быть рожденной и воспитанной такими замечательными родителями, с великой благодарностью за эту милость и стыдом за то, что ничего больше не прибавила к ней. После того как моя мать родила троих сыновей, ей очень сильно хотелось иметь дочь, и, когда женщины при моем рождении сказали ей, что у нее девочка, она приняла меня с великой радостью; и так как у меня были более яркие цвет лица и внешность, чем обычно у столь маленьких детей, то няньки вообразили, что я не выживу, а моя мать возлюбила меня еще нежнее и больше старалась нянчить меня сама. Как только меня отняли от груди, взяли француженку ухаживать за мной, и меня научили говорить и по-французски, и по-английски. Моя мать, пока носила меня под сердцем, видела сон, что она гуляет в саду с моим отцом и что звезда спустилась в ее руку, и с другими подробностями, которые я, хотя и слышала часто, не потрудились точно запомнить; только мой отец сказал ей, будто ее сон означает, что у нее будет дочь необыкновенного положения; что, подобно другим таким пустым предсказаниям, привело так же далеко, как и само его исполнение, ибо мои мать и отец, вообразив тогда меня красивой и более обыкновенного понятливой, приложили все свои усилия и не жалели никаких средств, чтобы улучшить мое образование, которое обеспечило мне восхищение тех, кто льстил моим родителям. К четырем годам я читала по-английски в совершенстве и имела прекрасную память — меня носили на проповеди, я же, хотя и очень маленькая, могла запомнить и повторить их с точностью; и, обласканную, любовь к хвалам подстегивала меня и заставляла слушать более внимательно<sup>416</sup>. Когда мне было около семи лет, насколько я помню, в одно время у меня было восемь учителей по разным предметам, языкам, музыке, танцу, письму и рукоделию<sup>417</sup>, но мой гений полностью сторонился всего, кроме чтения книг, к которым я стремилась столь горячо, что моя мать, полагая, что это вредит моему здоровью, умеряла меня; но это скорее только подзадоривало меня, чем сдерживало, и каждую минуту, которую я могла урвать от игр, я посвящала любой книге, которую находила, когда мои собственные были заперты от меня под

замок. После обеда и ужина у меня был еще час, разрешенный для игр, и тогда я украдкой забиралась в тот или иной уголок, чтобы почитать. Мой отец хотел, чтобы я учила латынь<sup>418</sup>, и, хотя капеллан моего отца, мой наставник, был жалким тупицей, я была так способна, что превзошла братьев, которые учились в школе. Мои братья, обладавшие изрядным умом, стремились превзойти тот успех, которого я достигла в учении, что весьма радовало моего отца, хотя моя мать была бы более довольна, если бы я не настолько полно отдавалась ему и не забывала из-за этого другие искусства; что касается музыки и танца, я преуспела в этом весьма слабо и никогда не прикасалась к лютне или харпсихордам [род клавесина. – П. Л.], если только мои учителя не занимались со мной, что касается иголки, я абсолютно ее ненавидела; я презирала игру в компании других детей, и, когда меня заставляли развлекать тех, кто приходил ко мне в гости, я утомляла их более строгими замечаниями, чем их матери, и рвала их кукол на куски, и держала детей в таком почтении, что они были рады, когда я резвилась в более взрослой компании, для которой я больше подходила; и, живя в доме, где было много людей острого ума и очень полезные серьезные разговоры, частые за столом моего отца и в гостиной моей матери, я была очень внимательна ко всему и схватывала вещи, которые потом произносила к великому восхищению многих, которые принимали мою память и подражание за проявление ума. Господу было угодно, чтобы посредством добрых наставлений моей матери и проповедей, на которые она меня водила, я была убеждена, что знание Господа является высшим учением, и соответственно предавалась ему и практике того, чему меня учили: моей привычкой было помногу наставлять служанок моей матери и переводить их досужие разговоры на достойные предметы; но я думала, что, после того как сделала это в Господний день [воскресенье] и каждый день выполняла положенные задания читать и молиться, я могла свободно заниматься чем угодно, если только это не было грехом. Ибо в то время я не считала пустым занятием разговор, не являющийся очевидно *недобродетельным*, я не считала грехом учить или слушать забавные песенки или любовные сонеты и стихи<sup>419</sup>, и сотню вещей подобного рода, в чем я была столь способна, что стала поверенной во всех любовных делах, устраивавшихся в среде молодых женщин, прислуживавших матери, и

среди них не было ни одной, что не имела бы много любовников и сколько-нибудь особенных друзей, любимых более других. <...>

## Мери, Графиня Уорик (1625–1679)

Графиня Уорик начала работу над своими мемуарами, озаглавленными впоследствии «Некоторые подробности из жизни Мери, графини Уорик», в феврале 1671 г. В основу главной части ее сочинения, написанной с 1673 по 1674 г., лег подробный дневник, который она вела с юных лет. Мы располагаем весьма скудными сведениями о ее детстве, поскольку первые записи в дневнике, а соответственно и самое начало мемуаров (графиня дает очень краткую, традиционную для всех произведений этого жанра справку о своих родителях и первых годах жизни) относятся ко времени, когда ей исполнилось тринадцать—четырнадцать лет и в ее жизни появился первый претендент на ее руку. Прилагаемый ниже отрывок представляет собой поистине трогательный образец любовной истории юной барышни из хорошего семейства, написанный в духе и в соответствии с романами того времени<sup>420</sup>.

## Некоторые подробности из жизни Мери, графини Ууорик

Я родилась 8 ноября 1625 г. в Йохолле, в Ирландии; моего отца звали Ричард Бойл, граф Корк, а мать – Катерина Фентон. Отец был вторым сыном мистера Роджера Бойла, а мать – единственной дочерью сэра Джеффри Фентона.

Мой отец, будучи младшим сыном младшего сына, который был лишь простым херефордским джентльменом, после смерти отца воспитывался, благодаря заботе своей матери, в Кембридже, затем он учился в «Судебных Иннах»<sup>421</sup>, откуда, благодаря Провидению, вернулся в Ирландию, где, как магистр, имел двадцать семь фунтов и три шиллинга; но затем Господь настолько приумножил его состояние в этой стране, что он стал получать около двенадцати тысяч фунтов в год и был сделан Лордом Казначеем Ирландии, а также одним из двух Лордов Верховных Судей в этом королевстве.

Моя мудрая и, как мне рассказали, набожная мать умерла, когда мне было около трех лет, и некоторое время спустя, благодаря нежной заботе моего снисходительного отца, я была отправлена, для того чтобы получить хорошее и религиозное воспитание, к благоразумной и добродетельной даме, миледи Клейтон, которая, будучи бездетной, вырастила меня, делая для меня так много, как если бы она была мне родной матерью, весьма заботясь о том, чтобы дать мне приличное образование. Под ее наблюдением я оставалась в городке Маллоу, в графстве Манстере<sup>422</sup>, до тех пор пока, как я думаю, мне не исполнилось одиннадцать лет, после чего мой отец отозвал меня оттуда к моему великому огорчению, ибо я очень привязалась к этой даме, ставшей для меня доброй матерью.

Вскоре мой отец со своей семьей переехал в Англию и поселился в Дорсетшире<sup>423</sup>, в купленном там доме под названием Сталбридж; и туда, когда мне было тринадцать или четырнадцать лет, прибыл, чтобы склонить меня к замужеству, некий мистер Хамблтоун, сын милорда Кланденбойса, ставший впоследствии графом Кланбраселом. Несколько лет назад наши отцы договорились поженить нас, когда я достигну брачного возраста, при условии что мы будем согласны, после того как увидим друг друга. И теперь он, по повелению своего отца, возвращался из Франции, чтобы встретиться с моим отцом,

который оказал ему весьма любезный и внимательный прием, относясь к нему как к зятю, решив вдруг, что мы поженимся, и позволяя ему ухаживать за мной, приказав мне относиться к нему как к будущему мужу. Мистер Хамблтоун (возможно, повинуюсь своему отцу) задумал покорить меня чрезвычайно изысканными ухаживаниями, и, если он не притворялся весьма умело, я не была ему противна, ибо он демонстрировал мне глубокое чувство. Его признания в нежных чувствах были для меня очень нежелательны, и хотя он сделал мне, надеясь на согласие, весьма выгодное предложение (ежегодный доход с выделенного ему поместья составлял семь—восемь тысяч), тем не менее вся его доброта ко мне не могла примирить меня с мыслью иметь его мужем, несмотря на то что мой отец очень на этом настаивал. Мое отвращение к нему было огромным, хотя я и не могла объяснить его причину отцу.

Это продолжалось долгое время, в течение которого мой отец выказывал мне по поводу происходящего свое недовольство, чрезвычайно меня огорчавшее, однако ни по-хорошему, ни по-плохому меня нельзя было склонить к этому браку, так что мой отец в конце концов был вынужден расторгнуть договор, что повергло его в несказанное горе, а меня – в несказанную радость, ибо едва ли за всю мою жизнь мне было настолько тяжело, как во время этих переговоров. Позже я поняла, что это Божий промысел уберег меня от этого, поскольку в тот же год, после моего окончательного отказа ему, он [Хамблтоун] обнищал, потеряв на долгое время из-за восстания в Ирландии все свое поместье, попавшее к мятежникам<sup>424</sup>. Какой бы я выглядела глупой, если бы вышла замуж только ради его владений, а не ради него самого, ибо он сам был мне чрезвычайно неприятен.

После того как эта помолвка была расторгнута, мой отец перебрался в Лондон, где поселился в доме сэра Томаса Стафорда. Как только мы разместились там, отец, привыкший жить чрезвычайно широко, вложил в дом очень большие средства, заявив, что подыщет мне замечательную партию, ибо он уже получил на мой счет очень много прекрасных предложений от знатных и богатых людей; но я все еще продолжала противиться замужеству: живя свободно, я не хотела менять свое состояние и никак не могла заставить себя принять какое-либо предложение, по-прежнему прося отца, хотя он весьма настаивал,



чтобы я приняла одно из предложений, отказывать всем самым выгодным женихам.

Примерно тогда же моего четвертого брата, в то время мистера Франсиса Бойла (впоследствии ставший лордом Шанноном), мой отец женил на миссис Элизабет Каоейгрю, дочери миледи Стафорд; осуждаемый за то, что он слишком юн для того, чтобы жить со своей женой, мой брат был послан, через день или два после церемонии бракосочетания в Уайтхолле (которая состоялась в присутствии короля и королевы), путешествовать во Францию, а его жена переехала в наш дом, где мы стали соседками по комнате и по кровати. Между нами выросла настолько нежная привязанность, что она вскоре обрела большую и сильную власть надо мной, используя которую она сделала меня очень пустой и глупой, заставляя проводить время так же, как она: в просматривании и чтении пьес и романов и в примерке изысканных и изящных нарядов.

Когда она поселилась в нашей семье (а еще больше в моем сердце), у нее появилось много молодых поклонников, с которыми она познакомилась при Дворе, приехавших навестить ее в «Савое»<sup>425</sup>, где мы жили; среди них был некий мистер Чарльз Рич, второй сын Роберта, графа Уорика; человек очень веселый и красивый, хорошо воспитанный и модный, он был приятной компанией и очень понравился всем нам, а поэтому стал близким другом дома, посещала нас почти каждый день. В то время он был влюблен в фрейлину королевы, некую миссис Харисон, которая была соседкой по комнате с моей невесткой, когда та жила при дворе. Он продолжал проводить с нами много времени в течение пяти или шести месяцев, пока мой брат, в то время Брэгхиль (впоследствии ставший графом Оррери), также не воспытал страстной любовью к той же миссис Харисон. Брат затеял ссору с мистером Томасом Ховардом, вторым сыном графа Беркширского, по поводу миссис Харисон (в которую тот тоже был влюблен), мистер Рич принес моему брату вызов от мистера Ховарда и был вторым противником моего брата в поединке, после которого стороны расстались, не причинив друг другу никакого вреда. Это обстоятельство сделало невозможным для мистера Рича посещение нашего дома, а поэтому он в течение какого-то времени воздерживался от этого. Но наконец помолвка моего брата с миссис Харисон была весьма некрасиво (с ее стороны) расторгнута в тот момент, когда они

были настолько близки к браку, что заказали свадебные платья, после чего она вышла замуж за мистера Томаса Ховарда (к великому удовольствию моего отца), который всегда противился этому браку, хотя и дал согласие для их соединения, видя страсть моего брата).

Мой брат, будучи таким образом счастливо освобожденным от этой любви, снова вернул мистера Рича в нашу семью, и вскоре после этого он стал нам так же близок, как и был, как если бы он не совершал ничего нежелательного по отношению к нам. К этому времени по неизвестной мне причине он начал уклоняться от визитов к миссис Харисон (это имя она продолжала носить, еще долгое время не выходя за мистера Ховарда), удаляя от нее также и свое сердце; и начал думать об ухаживании за мной, поощряемый в этом намерении моей сестрой Бойл, обещавшей ему употребить все ее влияние на меня, чтобы добиться моей благосклонности, хотя она знала, что, поступая так, она могла потерять расположение моего отца и всей моей семьи, поскольку она полагала, что они никогда не изберут для брака со мной младшего брата кого бы то ни было; доброта моего отца ко мне, как она хорошо знала, заставляла его искать для меня прекрасную партию. В конце концов однажды она решила открыть мне, как она сказала, огромное чувство мистера Рича ко мне; сначала я была весьма удивлена как тем, что он испытывал его ко мне, так и тем, что сестра рассказывает мне об этом, зная, как многим она рискует, если я посвящу в это моего отца. Я призналась в том, что не нахожу его расположение ко мне неприятным для себя, но осознание того, что он является не кем иным, как младшим братом, наполняло меня грустным предчувствием недовольства моего отца, если я приму любое подобное предложение; и, решив так, я не дала ей ответ сразу, но сделала вид, что не верю в то, что он любит меня так сильно, как она мне сообщила, хотя я в течение некоторого времени замечала свидетельства его любви ко мне, — правда, я никогда не думала, что он задумал попытаться добиться меня.

После этого первого сообщения моей сестры о его симпатии ко мне он стал чрезвычайно любезен со мной, стараясь, когда в комнате не было других свидетелей, кроме моей сестры, самым смиренным и почтительным ухаживанием покорить мое сердце; но если кто-нибудь входил, он проявлял ко мне лишь обычное внимание, ухаживая, чтобы скрыть свой замысел, больше за моей сестрой; и хотя он действовал

подобным образом, это не очень нравилось нашей семье, правда, ему ничего не было сказано об их неудовольствии; таким образом, никто не подозревал о его намерении. И так мы прожили несколько месяцев, в течение которых он своим необыкновенно почтительным поведением по отношению ко мне незаметно похитил мое сердце, получив больше власти над ним, чем я подозревала. Моя сестра, когда он вынужден был отсутствовать, боясь привлечь внимание, так защищала его, что это также очень мне помогло. Во время его тайного ухаживания за мной я получила от своего отца много выгодных предложений, но моя привязанность к нему возросла настолько, что я не могла спокойно слышать ни об одном из них; осознав это, я начала серьезно обдумывать свое увлечение мистером Ричем, ибо мой отец, как я знала, никогда не позволит мне брак с ним; и, кроме того, я полагала, что мой ум был слишком высок и я получила слишком дорогое образование, чтобы заставить себя довольствоваться состоянием мистера Рича, которого у него никогда и не было: после смерти его отца он имел бы тринадцать – самое большее четырнадцать сотен фунтов в год. По этим соображениям я убедила себя, что для меня настало время дать ему окончательный отказ; и с этим, как я думала, окончательным решением я легла в постель, собираясь просить сестру больше никогда не говорить мне о нем как о муже и сообщить ему от моего имени, что я желаю, чтобы он никогда больше обо мне не думал, ибо я решила не злить своего отца; но, когда я была уже готова открыть рот, чтобы произнести эти слова, мое большое чувство к нему остановило их, заставив меня подняться, не сделав этого; что продемонстрировало мне ту большую и полную власть, которую он приобрел над моим сердцем. Это вынудило меня начать предоставлять ему больше надежд на взаимность, чем я делала раньше, хотя в любом случае позволение ему посещать меня, после того как он открыл мне свое намерение, доказывает, что он хорошо знал, что я никогда не смирилась бы ни с кем из тех, кто делал мне предложение.

Так мы жили достаточно долго, долг и разум часто воевали внутри меня с моими чувствами, которые в конце концов всегда побеждали, хотя страх перед негодованием моего отца удерживал меня от прямого признания в них мистеру Ричу. Когда моя сестра заболела корью (из-за моего неведения о том, что с ней произошло, хотя я думаю, что это могла быть оспа, я заразилась от нее), моя привязанность к ней стала

настолько большой, что хотя я прекрасно осознавала все последствия оспы, тем не менее не отдалилась от нее и продолжала оставаться с ней в течение всей ее болезни, пока по категорическому приказу моего отца я не была отселена в другую комнату; но было уже слишком поздно, ибо я подхватила инфекцию и вскоре тоже свалилась из-за опаснейшей болезни; но до того, как она проявилась, я была переселена в другой дом, потому что моя сестра Дангарван, в доме которой, на Лонг Акре<sup>426</sup>, я пребывала, со дня на день должна была разрешиться от бремени, а потому боялась заразиться. Мистер Рич очень беспокоился обо мне, а поэтому часто навещал меня; я находилась в разлуке со своей сестрой Бойл, а он был чрезвычайно заботлив по отношению ко мне; это способствовало значительному усилению моего чувства к нему, но также вселило в членов моей семьи и ничего не знающих друзей подозрение, что они были обмануты, полагая, что то чувство, которое он испытывал ко мне, было направлено на мою сестру, и они испугались, что моя симпатия к нему зашла слишком далеко.

Это заставило пожилую леди Стафорд, мать моей сестры Бойл (хитрую старую даму, которая сама была слишком долго весьма сведущей в амурных делах), начать делать правдивые выводы, полностью поверив в то, что ее дочь была великой актрисой в этом деле. Полагая, что ее потакательство нам поссорит ее с моим отцом, она, имея над ним некоторую власть (чтобы предотвратить те неприятности, которые бы свалились на ее дочь), решила ознакомить его с посещениями меня во время моей болезни мистером Ричем и с тем, что он продолжал делать это в «Савое», куда я была, по приказу моего отца, переселена после моего выздоровления и где я была освобождена от каких-либо визитов по причине возобновления болезни. После этого она с большой яростью разбранила дочь и пригрозила ей, что сообщит обо всем моему отцу, что она, с большим пылом и страстью, сделала тем же вечером, чтобы удержать меня, как она сказала, от причинения себе непоправимого вреда. Сейчас же моя сестра рассказала о решении своей матери мне и мистеру Ричу и, когда она осталась с мистером Ричем наедине, сказала ему, что, если он сегодня вечером не убедит меня открыть ему мое чувство и дать ему некоторые заверения в моем решении, я точно на следующий день буду ограждена от дальнейших разговоров с ним, и таким образом он

окончательно потеряет меня. Эта беседа вселила в него решение сделать то, что она советовала ему; и этим вечером, когда я была больна и лежала в своей постели, сестра предоставила ему возможность остаться наедине со мной, заботясь о том, чтобы никто не помешал нам. Стоя на коленях рядом с моей кроватью, он проговорил со мной два часа, в течение которых он настолько прекрасно выразил свое чувство (ему было приятно выразить это мне) и свой страх быть удаленным от меня по приказу моего отца, а также, вместе с многочисленными обещаниями, которые только можно было дать, он поклялся постараться примирить меня при помощи своей любви (которую он по-прежнему испытывал ко мне) со скромностью его состояния, если я соглашусь стать его женой. И хотя, я могу сказать правду, когда он опустился на колени рядом со мной, я была далека от решения признаться ему в том, что я чувствовала к нему, однако его речь была настолько убедительной, что я согласилась предоставить ему, как он хотел, позволение его отцу сослаться на меня в разговоре и пообещала ему признать все, что скажет его отец.

На этом мы и расстались этим вечером, после того как я открылась ему, и, если бы я не сделала это в тот вечер, я была бы разлучена с ним моим отцом или удержана от этого по крайней мере на долгое время. Ибо наутро мой отец, после того что ему рассказала накануне вечером миледи Стафорд, пришел ко мне рано очень хмурый и раздраженный, приказав мне отправиться (я еще раньше просила его об этом) в мое поместье, в небольшой дом около Хемтон Корта<sup>427</sup>, которым тогда владела миссис Катерина Кайлегрю, сестра моей невестки Бойл; он сказал мне, что знает о том, что меня посещал молодой человек, приказав не встречаться с ним там, куда я тогда направлялась. Он сказал об этом, не называя имя мистера Рича, чему я была очень рада; и спустя какое-то время после этого мой отец оставил меня с этим его нелюбезным видом (и, как я думала, жестоким приказом). Вскоре я была перевезена моим братом Брогхилем в его экипаже в очень маленький домик в Хемтоне, который в то время был для меня более мил, чем любой другой более роскошный и большой дом, потому что он удалял меня на определенное расстояние от моего отца, что было, как я полагала, наилучшим для меня, пока его гнев, как я надеялась, немного не утихнет. В тот самый день, когда я переехала за город, милорд Горинг, впоследствии граф Норич, стал первым человеком,

который должен был сделать моему отцу предложение о браке и ознакомить его с моим уважением к мистеру Ричу; он был избран для этой миссии милордом Уориком и милордом Горингом и одобрен мною, потому что его сын был женат на одной из моих сестер, в результате чего он стал очень дружен с моим отцом, на которого он имел более чем обычное влияние; но, хотя он сделал все очень хорошо, мой отец настолько тяжело это перенес, что плакал, и не было способа заставить его успокоиться.

На следующий день, как я помню, милорд Уорик и милорд Холланд посетили отца (впоследствии, вспоминая это, они отзывались о нем весьма любезно), который весьма почтительно с ними обошелся, но сказал им, что он надеется на то, что его дочь последует его совету и не отдаст свою руку без его согласия. А поэтому он решил послать ко мне на следующее утро, чтобы узнать о моем решении; для этого он выбрал двух моих братьев, старшего, Дангарвана, и моего третьего брата, Брэгхилия, которые прибыли ко мне настолько рано (правда, я была заранее извещена об их визите мистером Ричем), что я предстала перед ними, узнав об их прибытии, в беспорядке; но благодаря огромнейшему чувству, которое я испытывала к мистеру Ричу, я решила вытерпеть все ради него, и поэтому, когда мои братья сообщили мне о том, что они, по приказу моего отца, прибыли допросить меня о том, что было между мной и мистером Ричем, требуя, от имени моего отца, чтобы я пообещала никогда впредь ни по какому вопросу не иметь с ним дела, я дала твердый, но плохой и ужасно непокорный ответ. Что я признаюсь в очень большой и особенной нежности к мистеру Ричу и прошу их, со смиренным почтением к моему отцу, убедить его, что я решила не выходить замуж ни за кого другого в мире; и выразила надежду, что мой отец согласится отдать меня мистеру Ричу, против которого, как я уверена, у него нет других возражений, кроме того, что он является младшим братом; ибо он происходит из очень хорошей и уважаемой семьи и был, по мнению всех (так же как и по моему собственному), очень достойный человек, и я умоляла моего отца любезно обдумать то, что я с радостью согласна довольствоваться небольшим состоянием мистера Рича, полагая, что я буду более счастлива с ним, имея столь мало, чем без него, располагая самым большим состоянием.

После того как оба моих брата увидели, что я непоколебима в своем решении, они вернулись весьма неудовлетворенные к моему отцу, который, неожиданно услышав из моих собственных уст, что я буду с мистером Ричем или ни с кем, был чрезвычайно недоволен мною и запретил мне осмеливаться появляться перед ним. Но через некоторое время склонился, благодаря большому уважению, которое он испытывал к милорду Уорику и милорду Ховарду, начать с ними переговоры и в конце концов согласился, хотя и не отдавая мне ранее обещанной доли, но дать мне семь тысяч фунтов, а также встретиться и быть вежливым с мистером Ричем. А он постоянно, почти ежедневно, посещал меня в Хемтоне и был единственным человеком, которого я видела, ибо моя собственная семья не приезжала ко мне. Это продолжалось в течение примерно десяти недель, когда я была наконец препровождена милордами Уориком и Горингом в комнату моего отца и там на коленях смиренно просила его прощения, которое затем он мне даровал; с великой справедливостью сурово пожурия меня, он приказал мне подняться и, благодаря заступничеству милордов Уорика и Горинга, примирился со мной и сказал мне, что я выхожу замуж. Хотя он хотел, чтобы это произошло в Лондоне в присутствии моих и мистера Рича друзей, но, всегда будучи ярой противницей публичных свадеб, я, учтя сделанную ранее просьбу мистера Рича, без извещения моего отца, склонилась к скромной свадьбе, которая состоялась 21 июля 1641 г. в маленькой деревушке близ Хемтон Корта, под названием Шипертон. Когда мой отец узнал об этом, он снова рассердился на меня, но после того, как я попросила у него прощения и заверила его, что я поступила так, только чтобы избежать публичной свадьбы, против которой, как он знает, я всегда выступала, он, благодаря своей огромной снисходительности ко мне, простил мне также и этот промах. И через несколько дней я отправилась в Лисс, в поместье милорда Уорика, но никто из друзей не сопровождал меня, кроме моей дорогой сестры Ранелаг, чья великая доброта ко мне заставила ее простить меня и остаться со мной в Лиссе на какое-то время, где я получила самый радушный прием, какой только был возможен, от той семьи, а в особенности от моего доброго свекра.

## **Джон Баньян (1628–1688)**

Английский писатель, пастор и проповедник, один из авторитетов пуританства, баптизма. Участник гражданской войны в 1644–1647 гг., в 1653–1655 гг. начал проповедническое служение, впоследствии за свою деятельность, противоречащую доктрине англиканской церкви, отсидел в тюрьме 12 лет<sup>428</sup>.

### **Изобильное милосердие великому грешнику, или короткое повествование об исключительной милости Божьей во Христе к ничтожным слугам своим**

1. Было бы недурно в начале моего повествования о благословенной работе Господа над моей душой в нескольких словах упомянуть о своем происхождении и воспитании, чтобы тем самым, возможно, еще более была бы восхвалена перед сынами человеческими доброта и щедрость Господа ко мне.

2. Я происхожу, как это известно многим, из низкого и ничтожного рода; дом отца моего был самым захудалым и презренным среди всех семей нашей земли. Так что я не мог, как другие, похвастаться аристократической кровью и благородным происхождением. Тем не менее, приняв все это во внимание, я восхваляю Небесного Владыку за то, что именно через эту дверь он ввел меня в этот мир, чтобы я принял милость и жизнь Христа через Евангелие.

3. Но все же, несмотря на низость и незначительность моих родителей, благодарение Богу, их наставившему, они отдали меня в школу, чтобы я научился читать и писать, чего я и добился в той же мере, что и другие дети бедняков. Однако, к моему стыду, я признаюсь, что вскоре (задолго до того, как Господь начал свою милосердную работу, изменяя мою душу) я растерял то небольшое, чему научился.

4. Что касается моей жизни в то время, когда я был без Бога, она была поистине «по обычаю мира сего... и духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2:2). Мне было приятно быть в плену у дьявола, быть в его сетях (2 Тим. 2:26), быть наполненным



неправедностью... В детстве мало кто мог сравниться со мной (особенно это касается самого нежного возраста) в ругательствах, богохульстве, вранье и поношении святого имени Господа.

5. Я был настолько постоянным и закоренелым в этих занятиях, что это стало моей второй натурой. Позже, оценив все трезво, я понял, что мое поведение так оскорбило Господа, что даже в пору моего детства Он пугал меня страшными снами и устрашал ужасными видениями. Часто проводя очередной день во грехе, предаваясь снам в своей постели, я мучился видениями дьявола и злых духов, которые, как мне казалось, старались забрать меня с собой и от которых я никак не мог избавиться.

6. В те годы я также терзал себя размышлениями о муках адского пламени, о дьяволе и его адских друзьях, тех, кто связан узами тьмы вплоть до великого Судного дня. Я боялся, что в конце концов они станут и моим жребием.

7. Когда я был еще ребенком 9–10 лет, все это так ранило мою душу, что часто посреди забав и детской суеты, среди своих пустых приятелей я впадал в уныние и содрогался от своих мыслей, но избавиться от своих грехов я еще не мог. Безднадежность моей жизни и недостижимость Небес настолько лишали меня самообладания, что я желал, чтобы ада не было или чтобы я сам был дьяволом. Если действительно необходимо, чтобы я отправился в преисподнюю, я предпочитал бы быть самым мучителем, но не тем, кто испытывает муки.

8. Вскоре эти ужасные сны оставили меня, и я быстро забыл о них. Воспоминания об этих снах, к моему огромному удовольствию, я так быстро отсекал, как будто их и не было вообще. По этой причине, соразмерно силе моей природы, с еще большей жадностью я отпустил поводья моей похоти и наслаждался всеми видами нарушений законов Божьих: так что до тех пор, пока я не вступил в брак, я был зачинщиком всевозможных пороков и безбожия среди своих молодых друзей. <...>

## **Иоганн Куно (1630–1684)**

Дневник Иоганна Куно способен породить несколько необычное впечатление о европейской жизни в XVII в. Несмотря на ужасы Тридцатилетней войны, нашлось немало людей, которые оказались способными привить себе и своим детям хотя бы начатки европейской культуры и чувство собственного достоинства. Пожалуй, так оно и было – с той поправкой, что далеко не всем хватало образования, воли и везения не проиграть и не капитулировать в элементарной борьбе за существование. Отец Иоганна Куно был купцом, желанным попутчиком в странствиях своих товарищей потому, что «он хорошо умел драться и обращаться с оружием». Однако в 1641 г. он не смог оказать сопротивления шайке промышлявших под Нойхальденслебеном (в районе Магдебурга) мародеров, лишился товара и, придя домой, испустил дух. Иоганну было тогда только 11 лет, но благодаря заботам отца он уже имел определенные знания. Еще важнее то, что молодой Куно уже успел усвоить, как много внимания его отец, не жалея сил и денег, уделял обучению своих детей. Эти усилия не пропали: Йохан стал весьма начитанным человеком, учился в университете, впоследствии стал конректором в школе своего родного города, а затем и бургомистром. Сообщения, приводимые Иоганном Куно, небезынтересны как информация об отношении к знаниям и учености в бюргерской среде европейского Нового времени<sup>429</sup>.

### **Из дневника заместителя ректора и затем бургомистра Иоганна Куно, Хальденслебен**

#### **Дом и школа в Нойхальденслебене**

Я, Иоганн Куно, появился на свет 25 мая 1630 г. Моим отцом был Иоганн Куно, который принадлежал к купеческому сословию и в 1627

г. в Хальденслебене сочетался браком с Элизабет Мюзинг. Мне было одиннадцать с половиной лет, когда умер мой отец, до этого уже несколько лет страдавший от чахотки и подагры. В 1641 г., когда он возвращался домой с лейпцигской ярмарки в день св. Михаила (29 сентября) и под вечер приближался к монастырю Грос-Амменслебен, его схватили и ограбили несколько промышлявших разбоем солдат. Они забрали у него не только мелочного товара на 4 тысячи рейхсталеров, но обобрали и избили его так, что он принес свои зубы домой в поясной сумке. Сначала они хотели тащить его с собой, но несколько этих проклятых молодчиков сжалились над ним вследствие терзавших его болезни и лихорадки и оставили его. После четырехдневной лихорадки, к которой добавилась еще желтуха, отец испустил дух. Это было в то самое время, когда генерал Кенигсмарк стоял здесь на зимних квартирах и уничтожил запасы всего города. Многие зажиточные люди превратились вследствие этого в бедняков, город был полностью истощен и ввергнут в разруху, а здание школы чуть не превратили в конюшню.

Мой отец был среднего телосложения, хорош собой и веселого нрава, благодаря чему он был любим всеми. Так как он был смел и хорошо умел драться и обращаться с оружием, он был желанным попутчиком у торговых людей и их спутников, особенно во время войны, когда никто не отваживался пуститься в путь без надежной компании и оружия.

Как только разум пробудился во мне, отец стал сам, насколько позволяли ему его дела, учить меня и моего брата Франца чтению, письму, счету, Псалтири и Священной истории или приказывал учить нас этому. Он хорошо разбирался во многих областях знания и владел многими искусствами и не желал ничего более страстно, чем передать детям по наследству все то, что он сам знал и умел, ибо, как он полагал, вследствие злосчастной войны было очень сомнительно, сможет ли он оставить нам что-либо другое. Так как из-за своих дел и многочисленных разъездов у него было мало времени, он нанял для нас педагогов и послал нас в школу. Один из учителей городской школы занимался с нами также приватно, когда мы не имели педагогов<sup>430</sup>, что случалось довольно часто из-за войны. Особенно часто ощущался недостаток в музыкантах, которые могли бы руководить хором и оркестром. Когда правит Марс, музы молчат.

Чтобы устранить этот недостаток, отец нанял бакалавра<sup>431</sup>, который столовался у нас и за это должен был обучать нас наукам. Он условился с ним, что тот каждый раз, когда мы будем знать наш урок, будет давать нам подписанный отцом специальный листок, который мы должны были показывать за трапезой. Если мы не могли показать такового, то мы не допускались к столу и должны были вместо обеда учить урок. Случалось, что мы должны были снова возвращаться в школу голодными. Отец в этих случаях имел обыкновение приводить нам в пример два изречения: «Голод – это острый меч!» и «Кто не работает, тот не должен также и есть!»

Того, кто поступал по его воле, отец ставил в пример другим и награждал обильными похвалами. Он указывал нам, какими богатыми и уважаемыми людьми мы станем, если мы будем продолжать учиться с тем же прилежанием. Напротив, когда кто-то из нас шалил или ленился, он не только ругал и высмеивал озорника в присутствии челяди и чужих людей, но и угрожал, что отдаст его в услужение к пастухам и свинопасам.

Хотя отец сам писал прекрасным почерком и обучал нас письму, он сверх этого послал нас к высокочтимому бакалавру Радюхелю, который хорошо знал письмо и счет и впоследствии стал ректором в Кальферде, а затем даже вошел в состав хальденслебенского городского совета. Мы должны были ежедневно готовить письменный урок и каждый раз ставить внизу дату. Это особенно требовали с нас, когда отец был в отъезде, так как он после своего возвращения проверял, выполняли ли мы свои ежедневные обязанности. Тот, кто себя хорошо вел, получал на Рождество платье, книги, деньги и другие вещи. Тому же, кто вел себя плохо, он приносил посох жившего по соседству пастуха или свинопаса. Вручив ленивому посох и дав ему в руки кнут, он выгонял того за дверь и не позволял ему вернуться до тех пор, пока тот не давал твердое и решительное клятвенное обещание исправиться.

Отец купил каждому из нас по скрипке, к которым старый привратник изготовил смычки. Он с радостью исполнил это, доказав таким образом свою благодарность нам, ибо каждый раз, когда у нас пекли хлеб, он также получал свой кусок.

В то время, когда в наших краях свирепствовали война, чума и голод, это не считалось маленьким даром: однако часто пиво и хлеб

получали не за деньги и доброе слово. Многие, особенно солдаты, пожирали мясо собак, кошек, лошадей и даже человечину<sup>432</sup>. Во время осады императором и курфюрстом Саксонским Магдебурга свирепствовала такая жестокая нужда, что в сельской местности никого не осталось, так как почти все крестьяне, которые проживали в округе, [будучи] не в силах прокормиться, бежали в город. Тогда разразилась также эпидемия чумы, и по всей округе умерло 2560 человек, частью от голода, частью от болезни<sup>433</sup>. Когда родилась моя младшая сестра, в городе стоял бешеный Врангель с несколькими полками шведских рейтаров. Они совершали всякие бесчинства, и некоторые из них хотели даже взять штурмом наш дом, однако были отогнаны назад оказанным им сопротивлением. Отец выставил в нашем доме охрану и с помощью своих слуг и тех крестьян, которые бежали из сел в город и получили приют у нас, всю ночь вынужден был отражать с разных сторон натиск этих вояк, пока наконец не наступил день и вместе с ним спасение. Насколько я могу припомнить, они пытались вломиться в дом с трех сторон: во входную дверь, в маленькую комнатку и в пивоварню. В окно большой комнаты они бросили железный наконечник от секиры, он упал на кровать, на которой лежали мать и младенец. Легко могло бы случиться, что они оба получили бы увечья или простились с жизнью. От этого испуга болезнь матери, которая еще до родов страдала от лихорадки, стала еще тяжелее. Она не могла кормить грудью младенца, и, так как невозможно было найти кормилицу, младенца пришлось носить от одной женщины к другой, пока мать снова не оправилась. Каждый может сам представить себе, что это была за мука для всех домашних.

Я припоминаю, что мы учились пению не только в школе у тогдашнего кантора, высокочтимого Пауля Хабихорста, но также отец и наш педагог, которого, впрочем, обычно называли учеником, учили нас к Рождеству играть несколько рождественских песенок. Когда мы выучивали их, мы должны были вечером в сочельник играть их перед высокочтимым лейтенантом Мюзингом и высокочтимым Кристофом Баумгартеном так хорошо, как только могли. Они одаривали нас за это несколькими рейхсталерами, как будто мы совершили что-то особенное, и, радостно возвращаясь домой, мы показывали деньги отцу, прося его взять деньги на сохранение. Отец же заранее договаривался об этом со своими добрыми друзьями и тайно

возвращал им деньги назад. Это показывает, что он стремился вести нас к добродетели не только принуждением и наказаниями, но также любовью и подарками и не упускал случая, чтобы научить своих детей чему-либо хорошему. Его пример показывает нам также, что он был при этом чужд скупости и несправедливости. Он имел обыкновение говорить: «Я предпочел бы, чтобы меня обманул другой, чем я обманул его».

Когда солдаты предлагали ему купить у них по малой цене то, что они украли у других из скота, платья или другого подобного инвентаря, он отклонял сделку, ибо, как он повторял, не может пойти на пользу подобное несправедное и политое слезами добро. Не было бы скупщиков – не было бы и воров. Если бы никто не покупал краденое, тогда солдаты бы оставляли беднякам их имущество.

Можно было бы поставить теперь под сомнение, соответствует ли истине все то, что я рассказал о моем отце. Могут сказать, что из детской любви я слишком превозношу в похвалах моего отца. Однако я с чистой совестью могу сказать: все, что я написал, правда, хотя мне было только одиннадцать с половиной лет, когда умер мой отец.

## **Учеба в Брауншвейге**

После того как умер мой отец, моя мать выхлопотала для меня и моего брата Франца пропуск в Брауншвейг у генерала Кенигсмарка. Там мы должны были поступить в школу на полный пансион у моего дяди Вернера Куно, тогдашнего ректора школы при соборе св. Эгидия. Это было в 1641 г., когда мне было 12 лет. Через год мать забрала нас назад и объявила нам, что из-за убытков, нанесенных войной, она не может более платить за каждого из нас пансион в 20 рейхсталеров, не говоря уже об остальных расходах на платья, книги и карманные деньги. В будущем она может оплатить учебу только одному из нас, второй же должен будет избрать себе другое занятие. Поэтому Франц решил остаться дома и по примеру отца стать купцом. Мать снова поехала со мной в Брауншвейг, чтобы там заплатить 20 талеров, которые мы задолжали, и переговорить с высокочтимым ректором о том, как можно было бы мне помочь. Он обязался взять меня в оркестр и церковный хор и предоставить мне пристанище, чтобы я мог иметь

необходимые деньги для пропитания и обучения. Мать же должна была в меру своих возможностей присылать мне остальное. Верный своему обещанию, господин ректор нашел мне кров и пропитание у цирюльника Беренда Браунаренда, в доме которого я, едва достигнув 13 лет от роду, должен был начать ухаживать за его детьми. Двух его сыновей и дочь мне предстояло познакомить с основами наук. То, что я вытерпел у него и в целом в Брауншвейге, я лучше обойду молчанием.

В надежде улучшить свое положение я нашел комнату у пивовара Йохана Ельтца, который жил в Магнусторе. Это было в 1645 г., и мне было уже 15 лет. На собственном горбу я познал истину изречения: «Тот попадет к Сцилле, кто хочет избежать Харибды». До весны 1646 г. я терпел, а затем, спустя почти четыре года с начала моего учения в школе св. Эгидия, я покинул Брауншвейг. Два с половиной года я был во втором классе, где я изучал латинскую грамматику, письма Цицерона, комедии Теренция, греческую грамматику и греческие Евангелия. <...>

## **Иоганн Герхард Рамслер (1635–1703)**

Нижеследующий текст является отрывком из произведения, написанного священником из Фройденштадта (Баден-Вюртемберг, район Шварцвальда) Иоганном Герхардом Рамслером и озаглавленного «Cursus Vitae et Miseriae» – «История жизни и несчастий». Этот автор, вполне в соответствии с лютеранским вероисповеданием, которому он был предан, действительно представлял себе свою жизнь как череду угроз и напастей. Любой из них (особенно в детстве) хватило бы для того, чтобы оборвать существование будущего священника; однако Господь милосердно хранил своего слугу и допускал только те испытания, которые могли научить юного Рамслера хоть чему-то (например, благодарности Создателю). Самоощущение, представленное в автобиографии Рамслера, нередко выглядит достаточно наивным; этот же упрек можно адресовать и форме произведения, разбитого на 25 прозаических отрывков, каждый из которых предваряется благочестивым поэтическим гимном. Содержание текста по преимуществу состоит из повествований о приключившихся с автором или другими людьми несчастных случаях, а также из упоминаний о семейных связях и разнообразных чудесных историях<sup>434</sup>.

### **Жизнь и страдания магистра Иоганна Герхарда Рамслера, фройденштадтского священника**

#### **Мой отец**

... В 1634 г., когда мой отец имел приход в Эрленбахе, он взял в жены девицу Барбару, незамужнюю дочь господина Михаэля Келера, знатного горожанина из Вертхайма, и сочетался с ней браком в мае месяце на третий день после Пятидесятницы в приходской церкви Вертхайма. Я появился на свет в Вертхайме на следующий год после



этого события между 8 и 9 часами утра, и в тот же день вечером в 4 часа был крещен господином магистром Мартином Вольфиусом, приходским священником. Моим восприемником, или крестным, был по обычаю того местечка господин Йохан Аменд, городской хирург и член городского совета. Но вскоре сложилось так, что мои возлюбленные родители вынуждены были отправиться в изгнание из тех мест, ибо они не могли долее оставаться в Эрленбахе по вышеприведенным причинам (отец автора, лютеранский пастор, был изгнан из Эрленбаха, когда туда вошли имперские войска. На его место был поставлен католический священник. – *Прим. пер.*).

... Времена тогда были очень опасные, и повсюду свирепствовали экзекуции, войска, голод и чума. Особенно отличались имперские войска, среди которых было много поляков и хорватов, опустошавших и разорявших все и вся. Вследствие этого мои родители не могли ни единого часа чувствовать себя в безопасности, но ночью и днем принуждены были постоянно спасаться бегством, подвергаться многочисленным ограблениям, терпеть голод и нужду. И моя мать часто по несколько дней без еды и питья скиталась со мной, еще несмышленным младенцем, по лесам и опустошенным деревням...

## Мое детство

Между Беерфельдом и городком Эбербах во владениях графов фон Эбербах лежал замок в горах и густой лес, называемый Фрайенштайн, где жили окружной судья, или амтман, и графский егерь. Там часто находили пристанище мои родители. Однажды случилось так, что я, будучи трехлетним малышом, бегал вокруг моего отца, который вел беседу с окружным судьей в одной из верхних комнат замка и не особенно приглядывал за мной. И так как в стене фуражиры недавно проломали большую дыру, чтобы беспрепятственно скидывать вниз фураж, сено и солому для лошадей, то я, случайно оказавшись рядом с этим проломом, провалился в него и упал с высоты нескольких этажей на каменный пол нижней залы. Мой отец и судья сильно перепугались, полагая, что я переломал себе все кости, ибо, по человеческому разумению, и не могло быть иначе. В страшном волнении спустившись по винтовой лестнице в залу, чтобы поглядеть на меня, они нашли

меня лежащим без движения, но заметили во мне признаки жизни и дыхание. Подняв меня и ощутив все мои конечности, не чувствуется ли где переломов, они спросили меня, чувствую ли я боль и где? Затем они посадили меня к оконному ставню и судья распорядился принести в зал приготовленный и нарезанный кусок оленьей печенки, подружески предложив мне несколько раз попрыгать вокруг печенки, за что мне дадут ее съесть. Сказано – сделано (*dictum factum*), я заслужил печенку, усердно прыгая вокруг нее, на что мой отец и атман взирали с величайшей радостью и от всего сердца благодарили Бога за защиту, ниспосланную Им через Его ангелов.

Но этого еще было недостаточно, ибо несколько недель спустя в доме егеря, где укрывались мои родители, я снова упал с очень высокой балки через перекрытия двух этажей на булыжник двора и тем не менее снова поднялся живым и невредимым, только немного поранив себе лоб.

Эта ангельская защита снова проявилась, когда моя мать вместе со мною была вынуждена бежать в Эбербах, куда перед этим уехал мой отец. Но вследствие того, что многочисленные имперские войска и хорваты<sup>435</sup> расположились лагерем вокруг городка и держали его в осаде, моя мать оказалась не в состоянии ни проехать туда, ни вернуться назад и должна была прятаться без пропитания и воды на протяжении трех суток в небольшом леске прямо напротив стоящих лагерем войск, где ее легко могли бы выдать мое хныканье и вопли. Однако при ней был мальчик, который отважно пробирался в лагерь, покупал там хлеб, доставал воду и собирал для меня цветы, играя с которыми я переставал плакать. В таком бедственном положении мы пребывали до тех пор, пока наконец он не добрался прямо до ворот города и не сообщил о моей матери, после чего отец обратился за помощью к офицерам, которые стояли в городке, и мы были доставлены в город с хорошим конвоем.

## **Смерть моего отца**

... Это было в 1640 г. от Рождества Христова прямо перед Страстной неделей. Он ходил из комнаты в комнату в снятом им доме и размышлял над проповедью о страстях Господних, когда с ним

неожиданно случился удар, отнявший у него вдох и речь. Он смог только дойти до комнаты и лечь на кушетку и далее мог дать понять о своих желаниях только с помощью пальцев.

Это так поразило мою мать, что она от ужаса не знала даже, что ей нужно делать. Сбежались соседи и стали советовать разные средства, да только это ничем не помогло, отец в присутствии всех снял с головы колпак, сложил руки на груди, помолился, вздохнул и тут же отошел тихо и умиротворенно.

## **Вдовство моей матери**

... Сразу же после того, как она вернулась в Вертхайм, умер Петер, ее маленький трехлетний сынишка, а через 4 месяца дочка Мария Аполлония. Только меня, как старшего из детей, оставил ей Господь в своем всеведении, и это было в те горестные времена для нее весьма кстати. И хотя ей предлагали замужество много различных женихов, среди которых был доктор Хинтерхофер, эрбахский советник, затем господин Жили, богатый купец и член городского суда в Вертхайме, который имел одну дочь, потом овдовевший пастор из Хасльха в вертхаймском диоцезе<sup>436</sup>, она не ответила согласием ни на одно из этих предложений вновь вступить в брак, объясняя это тем, что она обещала Богу оставаться вдовой. Я также приписываю это ее решение Божественному промыслу, который, без сомнения, таким образом определил меня к изучению теологии, как это потом и произошло.

## **Наша жизнь в Вертхайме**

Хлеб был очень дорог, а средства недостаточны, поэтому моя мать была вынуждена ездить в Эрбах, когда там у кого-либо проводились празднества и застолья, чтобы потом выпросить что-либо из остатков в качестве вознаграждения. В таких случаях она очень часто брала меня с собой в качестве «comitem individuum»<sup>437</sup> своей нищеты. Она нередко донимала знатных господ и их слуг, да только по большей части она оставалась обнадежена лишь добрыми словами. Однажды

она искала помощи в Фюрстенау у графа Георга Альбрехта Старшего Фюрстенауского, в замке которого мы провели немалое время у господина придворного проповедника магистра Коммерелля и питались при графской кухне. Тогда мне было уже 9 лет, и я обучался у придворного проповедника вместе с двумя его сыновьями, и граф даже обнадежил меня, пообещав, что он пошлет меня учиться. Да только этому обещанию и моим надеждам вскоре пришел конец, ибо однажды в воскресенье Великого поста в придворной капелле, когда граф слушал проповедь, его хватил внезапный удар, и вскоре после этого он почил с миром.

Дома с самого начала нашего пребывания в Вертхайме мать была моей постоянной учительницей: помимо того, что она отправила меня в низший класс латинской школы, дома она занималась со мной чтением Библии и Псалтири.

Но радость, которую она находила во мне, часто обращалась в сердечные страдания, ибо случилось так, что моим злейшим врагом был более взрослый наглый малый. Однажды, когда мне было 7 лет и я летом ближе к вечеру сидел перед входной дверью рядом с моей матерью, он, потихоньку подкравшись к нам, швырнул в меня огромную и толстую чурку, которой разворотил угол стены, так что от него отлетели целые куски и осколки. И если бы добрый ангел не отвел этот смертоносный бросок, он бы наверняка размозжил мне голову. А тот малый в конце концов бежал к папистам и стал бюргером в Бишофсхайме на Таубере.

Кроме этого, на восьмом году своей жизни я получил более опасный удар от одного любящего забавы стражника при городских воротах Майна, где несколько мальчишек, среди которых был и я, играли в снежки. Он стал бегать вместе с нами, но по неосторожности задел меня острой стороной оружия в подвздошную кость, прямо ножом по мягкому бедру, и перерезал нерв с многочисленными маленькими артериями, так что я почти весь залитый кровью упал в обморок и два горожанина должны были принести меня от ворот домой. Знаменитый городской цирюльник, называемый Валентином, потратил на меня много усилий, пока наконец не поставил меня на ноги через 4 месяца, ведь я снова постепенно должен был учиться ходить.

Когда мне было 10 лет, я по неосторожности упал с сарая в очень глубокое место в Таубере, меня искали с нескольких лодок, но

напрасно, и в городе уже поднялся крик, что я утонул. Но Господь чудесно помог мне, ибо я тем временем (как это произошло, ведомо только Богу, а я не знаю) выбрался на берег далеко вниз по течению на месте впадения Таубера в Майн и, сидя под липой, сушил свое платье.

Но самое опасное происшествие случилось со мной в одну осень, когда мне было 11 лет. Я был тогда в доме моего двоюродного дяди, бургомистра, и хотел подняться рано утром, чтобы отправиться под присмотром сборщиков винограда в Вайнберг. Я в потемках подошел к винтовой лестнице не с той стороны и, ступив не туда, неожиданно упал вниз головой вперед и расшиб правый висок, так что кожа на лбу разошлась в длину на один палец. Меня подняли замертво, и мой дядя сразу же послал за хирургом и человеком, сведущим в ранах, которые единодушно признали, что я не выживу, и я, полумертвый, вновь попал в руки упомянутого Валентина. Мне вправили голову, разорванную кожу стянули над раной многочисленными швами, наложили пластырь, и вот, невзирая на самую хирургию и предположения людей, Бог помог мне, и я через восемь недель был снова на ногах. И поскольку моя мать тогда уже долгое время находилась в Эрбахе, где получала вспомоществование, ей по понятным причинам дали знать об этом случае со всеми возможными предосторожностями.

Хотя я и приобрел на всю жизнь отметину на поврежденном месте, но, опуская другие опасные случаи, рассказывать о которых здесь я считаю ненужным, этот случай я привел, чтобы воздать хвалу Богу, который столь часто и таким удивительным образом сохранял и спасал меня под защитой своих святых ангелов, а также чтобы показать, как сатана пытался меня погубить еще в пору моего детства и нежного отрочества и строил против меня всякие козни. О том же, как он дальше нападал и чего он добился в годы моего учения, свидетельствует следующее.

## **Моя учеба в школе**

Эти опасные случаи были причиной больших перерывов в моей учебе, но больше всего ей мешали частые поездки моей матери в Эрбах, куда ее гнала нужда получить в качестве вознаграждения что-либо из остатков трапез и куда она часто не хотела отправляться без меня<sup>438</sup>.

И хотя она заставляла меня заучивать изречения из Библии и псалмы, все равно я отставал в школе. Латинская школа в Вертхайме состояла в то время из трех классов, ректора, помощника ректора и младшего наставника. Я быстро выучился музыке и пользовался любовью ректора, магистра Йохана Фридриха Виллиуса.

Что касается остальных предметов, то, когда я приходил домой, я должен был еще учить много из того, что другие уже давно выучили, и одновременно вместе с [ними] двигаться дальше. Я делал все что мог, и наставники часто с сожалением рассказывали господину школьному инспектору, что я пропустил много времени, и поэтому спрашивали меня перед ним по легкой программе.

В остальном я был *perpetuum mobile* нашего ректора почти во всех делах, которые он затевал, а также я должен был оказывать разнообразные услуги господину суперинтенданту магистру Ангелинусу. В то время в 1648 г. в Оснабрюкке и Мюнстере в Вестфалии был заключен мир. И после того как об этом было повсеместно объявлено, самые старшие и состоятельные из моих соучеников отправились в академии. Я же, будучи еще довольно слаб в гуманитарных науках и не имея достаточных средств, чтобы продолжить свою учебу, не знал, что предпринять, и собирался поступить в услужение к аптекарю господину Дойбелену. Да только господин суперинтендант не согласился на это, сказав, что я должен остаться при школе, а Господь уж найдет путь и средства каким-либо другим способом позаботиться обо мне. И получилось так, что я стал давать уроки по два часа в день дочурке шведского старшего лейтенанта де Хойса из гарнизона в замке, а потом господин суперинтендант рекомендовал меня господину графу Фридриху Людвигу Левенштайнскому, который имел резиденцию в Вертхайме, для того чтобы я обучал молодого господина как в школе, так и дома по два часа в день. И этим я занимался с ним с 1650 вплоть до 1652 года, и мне и моей матери были оказаны при дворе большие благодеяния, содействовавшие моему продвижению.

В таких вот обстоятельствах и проходили первые шаги моего учения. Мое детство закончилось, ибо мне уже шел 16-й год. Мне почти нечего сказать о хороших временах, ибо в нужде я был рожден, в несчастье воспитан и возрастал в терпении и надежде, и только «in

manu Domini sortes meae», моя будущая судьба находилась в руке Господней и Его попечении. <...>

## Чарльз Маршал (1637–1698)

Чарльз Маршал родился в Бристоле в семье родителей-пуритан. Судя по оставленному Маршалом наследству, к тому времени весьма обескровленному штрафами, его родители, видимо, были довольно состоятельными горожанами, хотя нам неизвестен род их деятельности. Бристоль, один из крупнейших городов Англии, средоточие ткачества и морской торговли, был также одним из центров новых протестантских сект. Под влиянием упоминаемых им в автобиографии Одланда и Камма около 1654 г. Маршал стал квакером. В 1662 г. он женился на дочери бристольского кузнеца, столь же ревностной последовательнице квакеров. В 1670 г. Маршал, по собственному признанию, оставил друзей, семью и дела, чтобы заняться проповедованием в родной ему Западной Англии, где с 1670 по 1672 г. провел около 400 молитвенных собраний. При этом он не раз подвергался насилию и разорительным штрафам, но возвращался домой лишь дважды – в связи с тяжелой болезнью и смертью любимого ребенка. После 1672 г. он занялся примирением раздоров среди квакеров и вместе с их основателем Джорджем Фоксом участвовал в общем собрании 1677 г. С Фоксом его объединяли и неформальные отношения, так как Маршал был свидетелем на его свадьбе. В 1682 г. за отказ платить церковную десятину Маршал был заключен в лондонскую тюрьму Флит, где за два года написал религиозный трактат. После освобождения он поселился в Лондоне, откуда изредка навещался в Бристоль. После одной из таких поездок Маршал заболел и умер в ноябре 1698 г. Его похороны были многолюдны и по торжественности превосходили погребение самого Джорджа Фокса.

Параллельно с проповеднической деятельностью Маршал занимался лечением больных и даже написал «Ясное и точное сочинение о природе, использовании и дозах определенных испытанных лекарств, действительно приготовленных Ч. М., с приложением касательно общих правил, как сохранить здоровье, изданное на благо всего человечества» (1681). В своей врачебной деятельности он следовал



проповедуемым им религиозным принципам и не брал плату с бедных пациентов. Не удивительно, что современники характеризовали Маршала как «целителя раздоров», человека мягкого и милосердного.

Маршал оставил после себя немалое литературное наследие. Кроме упомянутых выше медицинского труда и религиозного трактата, это духовные сочинения «Открытый путь жизни и обнаруженный путь смерти» (1674), «Обращение к людям Верхней и Нижней Германии» (1674), «Труба Господа» (1675), многочисленные письма к сторонникам, проповедь (1693) и дневник. Основные труды выходили при жизни автора, неоднократно переиздавались и переводились на другие языки. Дневник, отрывок из которого публикуется ниже, впервые увидел свет в 1704 г. в собрании сочинений Маршала. О времени написания дневника ничего не известно, но мы можем предположить, что это были 1690-е годы, когда автор удалился от дел, ничего более не публиковал и мог подвести итог своей насыщенной жизни<sup>439</sup>.

### **Небольшое и краткое изложение моего паломничества в этом мире**

Я родился в городе Бристоле в четвертом месяце 1637 г. <sup>440</sup> Мои образование и воспитание строились согласно строжайшим образцам веры; мои родители были из тех, кто боится Господа. Меня, как правило, держали вне общества других детей, и к пятому или шестому году моей жизни я смог читать Писание Истины, в котором я скоро начал находить удовольствие, и в самом нежном возрасте питал отвращение к божбе и лжи и тому подобным грехам<sup>441</sup>. И не только это, но много раз у меня появлялась внутренняя потребность и горячее стремление к познанию Бога; так что к 11-му или 12-му годам моей жизни я не только алкал познания Истинного и Живого Бога, но и активно искал Его. И любил и почитал трезвых и честных людей, которые боялись Господа, и ходил вместе с матушкой на собрания индипендентов; в те времена эти люди только появились и были искренни, а иногда я ходил на собрания баптистов и слышал, как этих людей публично считали самыми большими ревнителями своего времени. И среди этих людей на тех ассамблеях были внутренние пробуждения, благодаря их побуждениям и поискам Дара Божьего;

через какое-то чувство живые картины и стремления были во многих душах, согласно истинному и духовному познанию Бога, Который есть Дух; но они отошли от этого к проповеди слов, дел, радостей святых и потеряли этот чистый источник света, жизни и истины, что более подробно я показал в книге «Открытый путь жизни»<sup>442</sup>.

Итак, по мере того как я рос, меня все менее и менее устраивали безжизненные пустые исповедания веры и проповедники, я чувствовал бремя своей греховной природы, которое лежало на моей душе и тяготило мой дух; ощущая это, я стал подобен безлюдной пустыне и грустил, как голубь без голубицы; и видя, что не могу найти Живого среди мертвых вероисповеданий, я проводил много времени, удаляясь один в поля и леса и на берега водных ключей, где я любил возлежать и пить из них. И в эти периоды уединения звучны, громки и многочисленны были мои воззвания к Господу, так что иногда, скрывшись в места, свободные от путников, чтобы облегчить сердце, кричал я вслух из-за беспокойства духа. И мне были откровения несчастного грехопадения, и невыразимого упадка человечества, и пленения, и рабства, в котором лежала моя душа. Чувствуя это состояние рабства и плена, я взывал: «О! [Господи, сделай так], чтобы моя душа могла сбросить эти тяжелые узы и груз смерти и мрака, чтобы из этого состояния полной египетской ночи я был бы спасен, и [выведен] из этой Земли засухи, Земли «беспокойства, Земли ужасающего мрака». О! Невыразимое падение! – говорила моя душа. О! Непреодолимая стена разделения и раздора! О! Пропать невыразимая!» Ибо падение и проклятое состояние сыновей и дочерей рода человеческого открылось мне во всей неопишуемой яви. И в те дни, когда я ходил и взору моему являлось творение Господа всемогущего, каждая вещь свидетельствовала против меня: небеса и земля, день и ночь, солнце, луна и звезды, да! даже водные потоки и ручьи великой бездны, придерживающиеся назначенного русла; трава и цветы полей; рыба в море и птицы в воздухе, соблюдающие свой порядок, – и лишь один человек, главное из творений руки Господа, сбился с пути.

Тогда вскричал я горестно: «Состояние человека в падении страшнее зверя погибающего, ибо телец знает своего владельца, а осел хозяйские ясли, но человек (в этом состоянии) не знает Бога своего Создателя и становится Ему чужим, ходит путями вражды и

неповиновения, служит и повинуется дьяволу, который не сделал и не сотворил ничего и не может удержать ни одно живое существо [нетленным]. И с самого начала его выступление против Бога было явной враждой, совокупным злом разрушителя и убийцы.

И таков неопикуемый густой мрак, спустившийся на человечество и распространившийся в нем, что он [человек] предается душой, телом и духом этому поводу. О! Густой мрак! Который таким образом спустился на земное потомство; здесь я мог приложить свою печать к истине сказанного в Писании: «Тьма покрывает землю, и мрак – народы»<sup>443</sup>.

Итак, в глубоком осознании несчастного положения человека и особенно моих собственных пленения и доли в этом невыразимом состоянии темноты, смерти, рабства, несчастья, горя и удивления, я пал на землю и просил Бога об освобождении и искуплении из этого состояния. И в те времена, хотя я и был потрясенным свидетелем Бога, и открывателем вышеуказанного плачевного состояния, все же я не видел и не имел ясного представления о том, что таким образом открыл.

И в это время, около 1654 г., было много таких, кто искал путей Господа; нас же было несколько, проводивших один день недели в посте и молитве, так что, когда наступал этот день, мы встречались рано утром, не притрагиваясь к съестному, и сидели иногда в молчании, и, когда кто-либо находил заботу в своей душе и склонность в собственном сердце, тот преклонял колена и искал Господа; так что иногда, прежде чем кончался день, нас могло быть двадцать молящихся, мужчин и женщин, а иногда дети произносили несколько слов молитвы; иногда же мы склонялись и простирались в великом смятении и умилении перед Господом. И на одно из этих наших собраний в 1654 г. пришли глубоко любимый Джон Одланд<sup>444</sup> и Джон Камм<sup>445</sup>, посланники Бога Живого, о которых записано свидетельство в письме слуги Божия Александра Паркера<sup>446</sup> о дорогом Джосии Коуле<sup>447</sup>, прежде чем были собраны его работы, после смерти упомянутого Джосии.

Через могучее пастырство этого Джона Одланда, данное и препорученное ему Богом, ко мне проник и обратил к себе Дух Божий, который открыл моим глазам мое вышеупомянутое состояние, и в скором времени свидетельство, рожденное этими посланниками, было

с готовностью принято, и тогда, по мере того как я держался этого света, к которому обратился, я узрел разницу, проведенную между светом и тьмой, днем и ночью, драгоценным и презренным; и как мой ум возлюбил свет, разумение проникло в мое сердце, мысли были приведены в согласие, а праведность [приторочена] к грузилу; так меня привели к великой боязни, страху и смирению перед предвечным Богом, и я высоко ценил и питал глубокое почтение к посланникам Господа, что принесли искомые вести жизни и спасения; и через них учение упало, подобно росе, и было принято; и так как их слова были словами милосердия, то каждое слово находило в моем сердце великую оценку и страх хотя бы частично преступить тот совет, который я получал от них, устно или письменно, и долгие муки я претерпел через осуществление проклятия, что поистине было в свое время спасительным; и как я придерживался в своем сердце суждения Господа, чье действие было как меч, огонь и молот, то и действие порочной природы в определенной мере стало преодолеваться; и тогда нечто сродни божественному облегчению устремилось в мою душу, и потекла любовь, которая облегчила мне мои поиски. <...>

## Иоганн Георг Оберакер (1638–после 1720)

Об Иоганне Георге Оберакере, авторе автобиографии «Из фамильной хроники», едва ли известно что-то большее, чем он сам посчитал нужным сообщить в (весьма кратком) повествовании о своей жизни. Родился он в Шпёке под Брухзалем (Баден-Вюртемберг) в 1638 г.; в пятилетнем возрасте потерял родителей и всю семью; успел столкнуться с последствиями Тридцатилетней войны и в военной, и в мирной жизни; в поисках работы и пропитания еще в юности прошел Европу от Гейльбронна и до Белграда. Оберакер упоминает о том, что принятие причастия было для него событием; любопытно, что в середине XVII в. он или считал, что для читателей очевидно, к какой конфессии он мог принадлежать, или сознательно предпочел это не указывать. В конце автобиографии Оберакер предстает счастливым владельцем двух мельниц, успевшим приобрести грамотность на каких-то неизвестных нам поворотах своего жизненного пути; омрачает эту картину то, что в 90-летнем возрасте он сошел с ума и попытался найти маленькую девочку, встреченную им, когда ему не было пятнадцати. Есть искушение рассмотреть эту автобиографию как клише: краткое и в основном лишенное деталей повествование об ужасах войны, снабженное сентиментальной рефлексией взрослого и не очень глубокого человека: «по происшествии четырех лет я размыслил о положении, в котором находился...». В то же время текст Оберакера оставляет возможность интерпретировать себя и как честное и достаточно ценное воспоминание о середине XVII в.: очень трудно счесть выдумками наивные истории о совершенно непродуманном дезертирстве или о попытке сварить мясо, не наливая в котелок воды. Едва ли стоит думать, что Оберакер был как-то особенно глуп: просто он искренне сохранил память о своем детстве, которому были свойственны и абсолютно спонтанное поведение, и моральная неразборчивость (например в понимании обязательств) перед лицом необходимости сохранить свое существование любыми средствами. Парадоксальным образом эта очень четко датируемая временами Тридцатилетней войны автобиография оказывается

способной информировать нас о некоторых надысторических чертах детства и его восприятия<sup>448</sup>.

## Из фамильной хроники

Я родом из деревни Шпек под Брухзалем и появился на свет в 1638 г. от Рождества Христова. Дату я не могу назвать с точностью, ибо на пятом году своей жизни, в 1643 г. я потерял своих родителей и пятерых братьев и сестер из-за Тридцатилетней войны и таким образом не имел ни отца и матери, ни сестер или друга. Еще с малолетства я принужден был на своей родине, которая была превращена в руины французами, сам добывать себе пропитание среди ярых врагов. О, как горько мне было, когда однажды после трехдневной битвы я увидел дом своего отца разрушенным до основания. Я звал отца, мать, сестер, но ни один отклик не унял моих слез, которые струями лились по моим щекам. Я даже не знал, то ли они погребены под развалинами дома, то ли убиты врагом, то ли бежали в другую страну, не ведал я также, к кому, я, бедный, мог обратиться за советом.

Несколько месяцев я скитался по стране, пока наконец в деревне Грабен не повстречал одного ткача, который после долгих уговоров взял меня к себе. Я выполнял у него любую работу, которую он только давал мне. Когда я был у него уже больше двух месяцев и ни разу не ел мяса, в тех краях ненадолго поутихли военные действия. В упомянутой деревне Грабен снова открылась церковь, что было впервые за два года. Все готовились к новому богослужению, и в их числе находились, на мое несчастье, и мой хозяин со своей женой. Перед тем как отправиться в церковь, они приказали мне: «Георг, здесь в этом горшке лежат два куска мяса, ты должен поставить их на огонь и сварить, к тому времени, когда мы вернемся из церкви». И с тем они радостно пошли в церковь. В своей жизни я, кажется, никогда не ел мяса и уж точно не видел, как его варят. Я был очень смущен и тем не менее не имел смелости спросить у них, как его готовят. Так как я был озабочен тем, чтобы меня не прогнали, я промолчал и приготовил свою стряпню следующим образом. Я бросил дрова в огонь и улегся рядом с ним, погружившись в размышления. Между тем прошло четверть часа, прежде чем огонь разгорелся в пламя. Тогда я взял указанный мне горшок, где находилось мясо, и поставил его на огонь. Мой бесхитростный скованный страхом детский ум совершенно не подумал о том, чтобы добавить туда воды. Кажется, больше чем на час

я оставил горшок без присмотра стоять на огне. Наконец, когда я хотел раздуть огонь побольше, я заметил дым, поднимающийся из горшка. Я схватил горшок и к моему великому ужасу увидел, что мясо сгорело.

Я решил бежать оттуда из страха быть избитым моим хозяином, что тут же и исполнил [на полях стоит: так как он нещадно бил меня и за меньшие проступки. – *Примеч. пер.*]. Я бежал в Хельбронн, где я наткнулся на полк имперской инфантерии, и устроился выполнять различные службы у одного офицера.

Однако когда вновь начались военные действия, то мой господин отказался от всего излишнего. Куда же теперь? Но Провидение не предоставило мне ни одной минуты на раздумья: ибо полк уходил, и каждый кричал мне, так как они все меня хорошо знали: «Оберакер, пойдем с нами!» Офицер также сказал: «Я прикажу научить тебя играть на флейте, и тогда со временем ты станешь музыкантом в нашей роте». Воодушевленный этими обещаниями, я решился последовать за ними и два года странствовал с ними по всей Империи.

Однажды наш музыкант умер. Кто же иной должен был стать музыкантом, как не я? Теперь наконец исполнилось мое желание, и я считал, что нет никого счастливей меня, так как в моем ремесле я был самым искусным во всем полку. Я старательно исполнял свои обязанности и за свою всегдашнюю услужливость и бесхитростный нрав был очень любим и офицерами, и солдатами.

По прошествии четырех лет я размыслил о положении, в котором я находился, и захотел освободиться, ибо я полагал, что я уже достаточно силен, чтобы заниматься каким-либо ремеслом. К тому же самым худшим было то, что мы часто ничего не ели по три-четыре дня. Это легко можно представить себе во время войны, в которой враг по большей части бывает победителем, а земледелец часто не может обрабатывать свое поле в течение восьми лет. Случилось так, что наш полк пришел в Мальш под Вислохом, в трех часах езды от Шпейера. Сам я был расквартирован у одного мельника, у которого я впервые за два месяца сытно поел. Мы остались стоять в упомянутой деревне Мальш 8 дней. [Оберакеру было тогда около 11 лет. – *Примеч. пер.*].

Все еще руководимый желанием освободиться, я решил просить мельника взять меня к себе учеником только за кров и стол, так как у меня-де есть охота к мельничному делу. Только через два дня, после того как он переговорил с женой, я получил от него следующий ответ:



если я обещаю быть прилежным и старательно буду выполнять его приказы, а также сначала освобожусь с военной службы, тогда он согласен будет принять меня. Обрадованный этим ответом, я радостно начал готовиться к освобождению. Я придумал следующий план: когда придет приказ трогаться с места на следующий день, я тут же улизну и дам тягу. Об этом, однако, ничего не должен был знать мельник. Прошло более трех недель, почти месяц, когда вдруг неожиданно пришел приказ отправляться на следующий день в пять часов утра. Мое убежище, которое было тайной для всех людей и которое я в течение всего этого времени хорошо оборудовал, теперь должно было быть проверено. После полуночи, около половины третьего утра, я заполз в выбранное мною убежище. Прошло почти полтора часа, как я там спрятался, когда пришел посланец и сообщил, что я должен тотчас же идти к капитану.

Мельник, который знал о моем исчезновении так же мало, как и посланец, указал посланцу комнату, где я имел обыкновение спать во время нашего пребывания в деревне. Он прокричал: «Оберакер!» два, три раза – нет ответа. Мельник, который слышал эти крики, сказал ему, чтобы тот пошел в комнату, чтобы проверить кровать, так как возможно, я очень крепко сплю или заболел. Посланец проделал это, но также безуспешно. После долгих призывов он вернулся к своему господину, капитану, и сказал, что я, должно быть, у кого-нибудь из моих друзей. Капитан был удовлетворен, я же не знал, что он от меня хотел.

Наконец, была уже половина пятого. Барабанщик стал бить в барабан, созывая всех. Они собирались в доме тамошнего старосты. Стали спрашивать, где же музыкант Оберакер. Они подождали еще немного, но безуспешно. Тогда они пришли к мысли, что я, должно быть, дезертировал. Тут же были приняты меры, чтобы найти меня где бы то ни было, и они пришли на мою квартиру, на мельницу. Они обшарили все, наконец, и, так как они меня не нашли, они набросились на моего хозяина, мельника, обвинив его в том, что он знает, где я, и должен немедленно меня выдать. Мельник, для которого мое бегство и мое убежище были такой же тайной, как и для них, сказал в ответ, что он не дал ни малейшего повода подозревать себя в этом. Однако они не отставали и, шаря повсюду, говорили, что он знает, где я. Мой хозяин был сыт несправедливыми упреками, ибо он

был убежден в своей невинности, и разразился против них ругательствами, так что дело быстро дошло бы до настоящей ссоры, если бы начальник не водворил перемирие между обеими сторонами. Все это я слышал собственными ушами, а также то, как они говорили, ища меня: «Когда мы найдем его, вздернем на первом же дереве». Моя семья легко может представить себе, каково мне было, когда часто они оказывались от меня на расстоянии меньше одного шага. На мое счастье, за интенсивными поисками время уже близилось к одиннадцати часам пополудни, так что им было невозможно искать далее из-за опасности быть захваченными врасплох врагом, ибо за день до этого перемирие вновь было расторгнуто. В половине двенадцатого они ушли.

Я, объятый ужасом, не решился выбраться на свет из своего убежища, частью из страха быть выданным, частью из опасения, что мой хозяин, мельник, может меня прогнать и при этом справедливо поколотить (что потом и произошло), ибо он должен был из-за меня натерпеться большого страха. Когда же я по прошествии трех дней отважился выбраться на свет, все еще опасаясь быть схваченным, я превратился в бледную тень, и в таком виде я предстал перед лицом своего хозяина. Мой пустой желудок, мое бледное лицо и трясущиеся члены не могли, однако, тронуть его. То, что он сильно избил меня, я вытерпел с покорностью. Но когда он после побоев сказал, что я не могу больше ни мгновения оставаться в его доме, у меня защемило сердце, едва я осознал то положение, в котором очутился: без сил, без разрешения остаться, без крова – ничего кроме порванного платья и страннического посоха в руке. Я набрался мужества, побежал за моим хозяином и умолил его наконец, чтобы он взял меня к себе.

После того как я пробыл у него уже 14 дней, он спросил меня, нравится ли мне у него. Мой ответ был мгновенным: «Да». Почему мне должно было не нравиться у него, если я прежде на своей военной службе за четыре года ни разу не ел досыта, а здесь у нас каждый день оставались после еды несъеденные куски. Затем он спросил меня, согласен ли я учиться мельничному делу, так как в таком случае он избавится от одного из своих работников. Я радостно сказал ему второе «Да». Тогда он сказал: «Тогда приготовься, сегодня будет твоя первая ночь на мельнице под присмотром других моих работников».

Наступила ночь; без сна я работал всю ночь напролет, так как я уже понял, что мой хозяин имел крутой нрав и нещадно бил своих работников, если они позволяли мельнице хоть на минуту работать вхолостую. Я скоро добился того, что стал так хорошо обходиться с мельницей, что работники покидали нас один за другим. Но редко проходила ночь без того, чтобы кто-либо из них не получал удары. Так что я каждые четыре недели имел разных напарников. Я продержался у него четыре года, хотя моя спина никогда не заживала до конца, так как, если я заставлял мельничный звонок звонить всего три раза, он лупил меня до крови. Однако я совсем и не помышлял о бегстве. Я полагал, что я должен был быть благодарен ему, несмотря на все побои, и я несмотря на его тяжелую руку продолжал оставаться у него, пока наконец мой хозяин не прибил до смерти одного своего работника, который осмелился ему возражать. С того момента меня стал преследовать страх, что меня постигнет та же судьба, и я помалкивал, когда он отказывался платить мне тяжело заработанное мною вознаграждение. Платье я имел. За это я всегда благодарил небеса: у него я узнал веру и принял святое Причастие [Автору было тогда около 14 лет. – *Примеч. пер.*].

Теперь все мои мысли постоянно устремлялись к Швейцарии, и только по следующей причине я не осуществил это свое намерение. В то время когда я один сезон работал на мельнице на Неккаре в Хайльбронне, у меня был верный друг, австриец, который подбил меня на то, чтобы отправиться с ним в Вену, где мы с ним получим работу, за которую нам заплатят еще больше, чем в Швейцарии. И так как я полагал, что мне нечего терять, я наконец решился и пообещал идти вместе с ним.

Мы начали наш путь: мы шли в Гюнцбург, откуда намеревались спуститься по Дунаю вниз до самой Вены. Было 16 августа 1652 года, когда мы достигли Вены.

Какого страху я натерпелся, когда, едва ступив на берег, я заметил моего господина, капитана, у которого я служил, который со своими людьми как раз стоял в карауле, проверяя документы. Я внутренне молил Бога смилостивиться и не дать моему господину узнать меня. Но Провидение спасло меня и на этот раз: он посчитал, что мои документы в порядке. Мы переходили от мельницы к мельнице, но ни одна предлагаемая работа не удовлетворяла нашим запросам. Мы

должны были идти все дальше и дальше и добрались, идя вдоль Дуная, вплоть до Белграда. Утомленные долгой дорогой, с похудевшими кошельками, в разорванном платье и стертymi ногами, мы оба были уже готовы работать только за еду. Но в Белграде и его окрестностях нам было отказано даже в этом. Таким образом, мы должны были без дальнейшего промедления убираться оттуда, ибо тогда германский император приказал ловить всех странствующих подмастерьев, которые были без работы, и силой определять их на военную службу. Теперь наш путь лежал на восток от Дуная, пока мы наконец не достигли одной мельницы, чей владелец, некий богатый дворянин, тут же пообещал нам работу.

У этого дворянина мы работали некоторое время, до тех пор, пока мы вновь немного не наполнили наши кошельки. Тогда мы снова отправились в путь, чтобы возвратиться в Германию, так как в тех краях нам не нравилось. Мы шли в Баварии через какой-то лес, в чаще которого мы нашли маленькую девочку. Мы спросили, откуда она родом, она не знала. На вопрос, как ее зовут, она ответила «Катарина». Тогда мы взяли девочку с собой и довели до ближайшей деревни, где мы оставили ее у одной хозяйки, которая была бездетной и с радостью согласилась взять ее к себе. Когда мы хотели отправиться дальше, девочка захотела идти с нами; и что же делать? Мы дали девочке кружку вина и затем с Богом отправились дальше.

Наше путешествие длилось вплоть до Майнца, где мы оба получили работу и где нам очень понравилось. И мы скопили там каждый хорошие деньги.

Однажды я, Оберакер, был и в своих родных краях. Когда я услышал, что в Дильхайме продается мельница, я отправился туда и купил эту мельницу за 300 гульденов... На оставшиеся деньги я приобрел зерно, приказал засыпать его в яму, где я обычно хранил свое зерно. Вскоре после этого цены на зерно выросли, и тогда я продал свое зерно, а позднее и свою мельницу.

## Томас Трахерн (1637?–1674)

О жизни Томаса Трахерна, английского поэта и мистика, известно немного. О судьбе поэта сообщает историк выпускников Оксфордского университета Антони Вуд. Фактически это единственный, кроме воспоминаний самого Трахерна, источник сведений о нем. Приблизительная дата рождения Трахерна – 1636/7 г. Вуд сообщает, что отцом Трахерна был сапожник из Херефорда. Упоминание о бедности можно встретить и в воспоминаниях поэта. Однако, вероятно, некоторую часть своей юности Томас и его брат Филипп провели у богатого родственника, хозяина гостиницы и дважды мэра Херефорда. На это умозаключение наводит и воспоминание Трахерна о роскошном банкетном зале, который на него, ребенка, произвел неизгладимое впечатление. Имена братьев не числятся в списках учеников грамматической школы Херефорда, но сам Трахерн упоминает тяготы школьной жизни и некоторые предметы – физику, геометрию и т. д. В 1652/3 гг. Томас Трахерн поступил в Оксфорд, в Брейзноуз, один из самых известных пуританских колледжей, и в 1656 г. стал бакалавром искусств. После этого он на некоторое время вернулся домой. Он стал священником в 1660 г. и принял приход Крединхилл под Херефордом, одновременно продолжая обучение в Оксфорде, где в 1661 г. он получил звание магистра искусств. В годы, проведенные в Крединхилле, Трахерн свел тесное знакомство с четой местных помещиков Хоптонов, которые собрали вокруг себя кружок ревнителей веры. Знакомство оказалось полезным не только в духовном плане. Отчасти благодаря рекомендации Хоп-тонов в 1669 г. Трахерна взял к себе на службу в качестве личного капеллана лорд-канцлер Орландо Бриджман. Сэр Орландо был благочестив и искусен в теологии. Трахерн же получил в 1669 г. степень бакалавра теологии и, очевидно, к этому времени уже написал часть своего признанного шедевра «Века размышлений», сочинения о пути религиозного познания и становления личности. Состоя на службе у сэра Орландо, Трахерн сначала жил в Лондоне, а в 1671 г. вслед за хозяином, вышедшим в отставку, переехал в тихий

Теддингтон. В 1673 г. он писал полемическое сочинение «Против римских фальсификаций», «Христианскую этику», продолжал работу над «Веками размышлений». Кроме того, на протяжении всей своей жизни Трахерн писал религиозные стихи и поэмы.

После смерти Трахерна в 1674 г. его имя было в забвении на протяжении многих поколений, пока в 1896 г. рукописи его работ случайно не приобрел известный лондонский издатель, который перепродал их другому издателю и литературоведу. Манускрипты содержали стихи и «Века размышлений», которые издатель приписал известному английскому поэту-метафизику Генри Воэну, чьи работы он издавал в тот момент. Однако из-за его внезапной смерти рукописи не были опубликованы и в конце концов попали в руки еще одного издателя, Бертрама Добела, который, опровергнув предыдущее мнение, начал искать настоящего автора. Случайно к нему в руки попала анонимная рукопись Британского музея, содержащая как прозаические размышления, так и стихи, необычайно напоминавшие стиль интересующего его автора. В конце концов Добел доказал, что автор всех рукописей – Томас Трахерн, и опубликовал его поэтические труды (в 1903 г.) и «Века размышлений» (в 1908 г.).

Тема детства является центральной в размышлениях Трахерна о духовной эволюции личности, которая проходит последовательно стадии невинности, падения, искупления и блаженства. Поэт отождествляет младенчество с состоянием Адама до его грехопадения, юность же связывает с духовной борьбой падающего и восстающего человека. Принимая во внимание философскую концепцию зрелого мыслителя, нельзя не отметить тонкую психологичность его детских образов, восприятия и передачи детского видения мира, будь то поэтические обобщения или воспоминания о собственном становлении<sup>449</sup>.

## **Века размышлений**

### **Из «Первого века»**

Незаполненная книга походит на душу ребенка, в которой можно написать все. Она способна включить в себя все, но еще ничего не содержит.

## Из «Третьего века»

### 2

Все казалось новым и неизвестным вначале, невообразимо редким и приятным, и красивым. Я был маленьким чужаком, которого по пришествии в мир приветствовали и окружали бесчисленные радости. Мое знание было от Бога. Я знал интуитивно то, что со времени своего падения вновь приобрел благодаря высшему разуму...[450](#)

### 3

Зерно было экзотической и бессмертной пшеницей, которую никогда не сожнут и которую никогда не сеяли. Я думал, что она стояла от вечности и на века. Пыль и камни улицы были драгоценны, как золото: ворота поначалу были концом света. Зеленые деревья, когда я увидел их впервые через одну из калиток, ослепили и заморозили меня, их прелесть и необычайная красота заставили мое сердце замереть и почти обезуметь от восторга, они были такими странными и удивительными. Люди! О, какими незащищенными и почтенными казались старики! Бессмертными херувимами! А юноши – сверкающими и сияющими ангелами, девушки же – неземными серафическими частицами жизни и красоты! Мальчики и девочки, кувыркаящиеся и играющие на улице, были живыми драгоценностями. Я не знал, что они родились когда-то и должны когда-нибудь умереть. Но все как будто пребывали раз и навсегда на своих законных местах...

## 7

Первый свет, засиявший в моем младенчестве в его простой и невинной чистоте, полностью угас: настолько, что мне пришлось постигать его снова. Спросите вы меня, как он угас? Истинно, благодаря привычкам и поведению людей, которые, подобно противным ветрам, задули его; окружению несчетного количества вещей, грубых, низменных и недостойных... Все помышления и слова людей были о других предметах. Они все ценили новые вещи, о которых я даже не помышлял. Я был чужим незнакомцем среди них; я был мал и уважал их мнение; я был слаб и легко поддавался их примеру; также и амбициозен и желал заслужить их одобрение...

## 10

Мысли ближе всего к мыслям и обладают самым сильным влиянием... Когда я начал говорить и ходить, ничто не стало мне близко, кроме того, что являлось в их [других людей] мыслях... Ничто не существовало, если о нем не говорили. Итак, я стал среди товарищей своих игр ценить барабан, красивую куртку, пенни, раскрашенную книгу и т. п., когда раньше и не мечтал о подобных сокровищах...

## 14

Таким образом, поглощенный несчастной пучиной глупой болтовни и бессмысленных безделушек, с тех пор я жил в окружении фантазий и теней, подобно блудному сыну, питаюсь отрубями вместе со свиньями. Безутешной пустыней, усеянной колючками и бедами, или еще хуже был мир: пустошью, покрытой праздностью и игрой, лавками, рынками и тавернами. Что касается церквей, то они были непонятными предметами, а школа – бременем, так что в мире не было ничего, что стоило бы иметь, чему радоваться, кроме развлечений и



игр, что тоже было лишь фантомом и через некоторое время забывалось. Так, я полностью забыл все добро, милость, утешение и спасение, каковые составляют блеск славы Господа, и из-за того, что их не было, я Его не знал...

## 16

Однажды, помню (я думаю, в то время мне было около четырех лет), я так рассуждал наедине с собой, сидя в маленькой дальней комнате бедного дома моего отца: «Если есть Бог, конечно, он должен быть бесконечно добр... И если Он бесконечно добр и совершенное Существо по своей Мудрости и Любви, конечно, Он должен делать самые славные дела и давать бесконечные сокровища, так почему же я так беден? Почему так скудно и незначительно мое состояние, почему я пользуюсь столь малыми и сомнительными утехами?» Я думал, что не могу признать его Господом по отношению ко мне, если его силы не направлены к моему прославлению. Я не знал тогда ни души, ни тела... все они были потеряны и не существовали для меня...

## 17

Иногда, когда я был один и сидел без дела, моя душа внезапно обращалась к себе и, забывая в целом мире все, что видели мои глаза, уносила вдаль к земным пределам, и мысленно я погружался в глубокие раздумья: где кончалась земля? окружали ли ее стены или резкие обрывы? или сойдутся ли когда-нибудь небеса с землей, и края земли и неба станут так близко, что человек с трудом будет проползать между ними? Что бы я ни предположил, было неутешительным, и мой ум, обремененный этим, быстро уставал. Также [я задавался вопросом], что поддерживает землю (ибо она тяжела) и удерживает ее от падения – колонны или темные воды? И если что-нибудь из этого, то что поддерживает их и что в свою очередь последнее – чему я не видел конца. Мало думал я о том, что Земля круглая, а мир полон красоты, света и мудрости. Когда я об этом узнал, то понял по

совершенству работы, что она принадлежит Богу, и был удовлетворен и возрадовался. Мысль о людях по другую сторону Земли, о полях и цветах, с другим солнцем и другим днем, весьма сильно нравилась мне, но еще больше, когда я узнал, что то же самое солнце, которое служило им ночью, служит нам днем.

## 18

Иногда я взлетал выше звезд и думал, где граница небес и что за ними. Этому вопросу я нигде не находил удовлетворения. Иногда мои размышления приводили меня к Сотворению мира, ибо к этому времени я уже слышал, что мир, который я сначала полагал вечным, имел начало. Каковым тогда было это начало и что было его причиной, почему оно не случилось раньше и что было до него? Вот что я страстно желал знать... К этому я так горячо стремился, что считал все золото и серебро мира грязью по сравнению с удовлетворением любого из этих вопросов. Иногда мне было интересно, почему люди не сотворены крупнее, чем они есть. Я бы желал видеть человека большим, как великана, великана величиной с замок, а замок – не меньше небес...

## 22

Тем временем меня иногда, хотя и редко, посещали и вдохновляли новые и более смелые желания того блаженства, которые природа нашептывала и предлагала мне. Всякая новая вещь возбуждала мое любопытство и будила мои ожидания. Я помню, как однажды меня в первый раз привели в блестящий и великолепный обеденный зал и оставили там одного, я обрадовался при виде золота и пышности и резных фигур, но, когда все утихло и нигде не было слышно движения, мне разонравилось, и я ушел разочарованный. Но потом, когда я увидел его полным лордов и леди, музыки и танцев, место, которое однажды, казалось, не отличалось от необитаемой норы, приобрело

занимательность, приятность и в нем не осталось ничего от [прежней] скуки...

## 23

В другой раз сгущавшимся и грустным вечером, когда я оказался один в поле, все замерло и стихло, и невообразимые тоска и ужас нашли на меня. Бесплодность и безмолвность места удручали меня; его ширь пугала; [слетевшиеся] из самых дальних концов земли страхи окружили меня. Откуда я мог знать, что внезапно с Востока не придут опасности и не свалятся на меня из неведомых краев за морями? Я был слабым и маленьким ребенком и забыл, что на свете существуют живые люди. Но одновременно что-то близкое к надежде и упованию несло мне успокоение с каждого края [поля]. Этот случай показал мне то, что меня заботит весь мир...

## 24

Когда я слышал о каком-нибудь новом королевстве за морями, свет и слава его сразу нравились мне, сознание этого поднималось во мне, и я был удивительным образом обогащен. Я входил в него, видел его товары, редкости, ручьи, поля, богатства, жителей и становился владельцем этого нового пространства, как будто его приготовили для меня, до такой степени я возвеличивался и наслаждался им. Когда читали Библию, мой дух витал в других эпохах. Я видел их блеск и величие, землю Ханаана, израильтян, вторгающихся в нее, древнюю славу аморитян... все это проникало в меня, и Бог в том числе. Я видел все и все чувствовал столь живо, как будто к этим местам не существовало другого пути, кроме только духовного...

## 25

Когда я слышал какие-либо новости, я принимал их с величайшей жадностью и радостью, ибо мои ожидания пробуждались надеждой на то, что счастье и то, чего я жаждал, скрыты в них. Как вы знаете, счастливые вести издалека приносят нам наше спасение, и я не обманулся. В Иудее убили Иисуса, а из Иерусалима пришло Евангелие. Когда я однажды узнал об этом, я полностью уверился, что каждое государство хранит подобные чудеса и причины для радости, хотя то первое известие является их источником. Как первые плоды, оно было залогом того, что я получу из других стран... Таким же образом, когда мне открывалось какое-либо собрание редкостей или тайны химии, геометрии или физики, я усердно изучал их, но, когда распознавал их до конца и видел, что не в них мое счастье, я начинал их презирать...

## 27

Среди других предметов на меня напало бесконечное желание получить книгу с Небес. Ибо, заметив, что все здесь на земле носит незатейливый и поверхностный характер, я заключил, что пути к счастью известны только в среде ангелов, и, если я не получу знания от них, я никогда не смогу быть счастлив. Эта жажда преследовала меня долгое время, пока наконец я не понял, что Бог ангелов уже позаботился обо мне и предупредил мои желания. Ибо Он послал книгу, которая была мне так нужна, прежде, чем я родился... Вы не можете себе представить, какие богатства и наслаждения я предвкушал в ней. Она должна была стать кладезем редкостей, диковин и чудес, занять силы моей души...

## 29

Это привело меня к двум вещам: изучению предмета, содержащегося в Библии, и постижению пути, каковым она ко мне пришла. Что касается предмета, я нашел там все добрые вести,

которых алкала моя душа, когда искала новостей; что касается путей, я понял, что мудрость Божия несравненно больше моей... [451](#)

## **Жанна Мария Бувье де ла Мотт Гюйон (1648–1717)**

Дочь королевского прокурора Клода Бувье сеньора де ла Мотт-Вергонвиль и Жанны Ле Метр де Мезонфор родилась в 1648 г. в Монтаржи. Детство провела в различных монастырях, а в 1664 г., в 15 лет, ее выдали замуж за 38-летнего богача Жака Гюйона. Жанна Мария впервые увидела своего жениха за два дня до свадьбы. От их союза, который не был счастливым, родилось пятеро детей. Двое из них умерли от оспы. Мадам Гюйон увлекалась чтением романов и мистической литературы. В 1671 г. она встретила монаха ордена Варнавитов отцом Лакомбом и стала пылкой сторонницей проповедуемого им учения испанца Мигеля Молины, называемого «молинизм», или «квиетизм» (от латинского *quietus* – спокойный, безмятежный). Основная особенность этого направления – учение об абсолютном покое души, т. е. о подавлении в ней всяких мыслей, чувств и желаний, так как только в состоянии полной пассивности душа бывает открыта для таинственного воздействия Бога и соединения с ним. Созерцание не зависит от молитвы, так как всякое усилие ума уводит от идеи о том, что душа принадлежит Создателю. После смерти мужа в 1676 г. мадам Гюйон сама становится проповедницей квиетизма. С 1681 по 1685 г. она путешествовала по Савойе, Пьемонту и юго-востоку Франции, проповедуя свои мистические идеи «чистой любви». Мадам Гюйон написала ряд религиозных сочинений, а в 1688 г. принялась за воспоминания. Религиозную деятельность она продолжила и в Париже, за что была арестована и посажена в Бастилию, где уже два года находился и отец Лакомб. Но благодаря своей подруге, герцогине де Бетюн, которая была близка с мадам де Ментенон, супругой Людовика XIV, в следующем году мадам Гюйон вышла на свободу. В Париже она познакомилась с другим сторонником квиетизма, воспитателем дофина Франсуа Фенелоном. Они вместе организовали при дворе детскую группу своих учеников. Покровителем группы выбрали святого Михаила, и детей стали называть «мишленами». В группе были свои правила и своя иерархия. Но квиетизм способствовал небрежению к

общим обязанностям и правилам послушания. Это не понравилось мадам Ментенон, и Жанна де Гюйон покинула столицу, продолжая активную переписку с Фенелоном. В 1694 г. комиссия во главе с епископом Боссюэ осудила ее учение и запретила мадам Гюйон менять место жительства и проповедовать. Она ослушалась этого решения и была вторично отправлена в Бастилию, где просидела до 1703 г. После освобождения она обосновалась в имении своего сына в Блуа, где до самой смерти вела тихую, уединенную жизнь. Мадам Гюйон скончалась в 1717 г. в возрасте 69 лет. Она оставила много произведений. Ее собрание сочинений насчитывает 48 томов, среди них такие работы, как «Ежедневные христианские размышления», «Легчайший способ молиться», «Толкование на несколько книг Ветхого и Нового Завета», «Беседы» и т. п. [452](#)

### **Жизнь мадам Гюйон, описанная ею самой**

Хотя вы желаете, чтобы я описала вам жизнь столь же бедственную и столь же необычную, как моя, и чтобы упущения, которые я сделала в начале, показались вам чересчур важными, чтобы оставить это в таком виде; я всем сердцем желаю, дабы повиноваться вам, сделать то, что вы пожелаете от меня, хотя работа кажется мне немного трудной в том состоянии, в котором я нахожусь, которое не позволяет мне много размышлять. Я бы очень хотела суметь заставить вас понять доброту Бога по отношению ко мне и чрезмерность моей неблагодарности, но это невозможно сделать в равной мере из-за того, что вы не хотите, чтобы я подробно описывала свои грехи, и потому, что я забыла многие вещи.

Я родилась, по словам некоторых, в канун Пасхи, 13 апреля (хотя мое крещение состоялось только 24 мая) 1648 г., у отца и матери, которые выказывали большую набожность, особенно мой отец. Он унаследовал ее от своих предков: поскольку, начиная с очень давних времен, в его семье можно насчитать практически столько же святых, сколько членов в ней было. Итак, я родилась раньше времени, ибо моя мать испытала однажды такой ужасный страх, что произвела меня на свет на восьмом месяце, когда, как говорят, выжить практически невозможно. Я была настолько безжизненна, что думали, что я испущу дух и умру без крещения. Меня отнесли к кормилице: мне и там не

стало лучше, и моему отцу пошли сказать, что я умерла. Это его очень удручило. Спустя некоторое время пришли уведомить, что у меня появились некоторые проявления жизни. Мой отец тут же позвал священника, и меня отнесли к нему, но не успел он подняться в комнату, где я находилась, как ему сказали, что те признаки жизни, которые я подавала, были последним издыханием и что я абсолютно мертва. Во мне и вправду нельзя было заметить никаких свидетельств жизни. Священник возвратился к себе, мой отец тоже, пребывая в величайшей скорби. Это длилось так долго, что, если я расскажу, в это трудно будет поверить.

О мой Бог! мне кажется, что Вы допустили столь странное поведение по отношению ко мне, только чтобы заставить меня лучше понять величие Вашей доброты ко мне и поскольку Вы хотели, чтобы я чувствовала себя обязанной за свое спасение не ловкости какого-нибудь создания, а одному Вам. Если бы я умерла тогда, я, возможно, никогда не смогла бы ни узнать, ни полюбить Вас; и это сердце, созданное для Вас одного, было бы отделено от Вас без возможности когда-либо объединиться с Вами. О Боже, который есть высшее счастье, если я достойна являть собой Вашу ненависть, и если я была сосудом, приготовленным на погибель, мне остается только то утешение, что я знала Вас, любила Вас, искала Вас и следовала Вам, и что я приняла добровольно из одной любви к Вашей справедливости вечное повеление, которое она дала против меня. Я любила эту ненависть, даже когда она была более сурова по отношению ко мне, чем к кому-нибудь другому. О Любовь! я люблю Вашу справедливость и Вашу сущую славу так, что, не считаясь с собой и со своим собственным интересом, я ополчаюсь вместе с ней против себя самой: я буду карать то, что она покарает. Но если бы я была тогда мертва, я вообще не смогла бы любить, я бы, возможно, ее ненавидела, вместо того, чтобы любить. И хотя у меня было бы то преимущество, что я никогда не грешила бы перед Вами, удовольствие жертвовать собой ради Вас по любви и счастье любить Вас берут верх в моем сердце над болью от Ваших обид.

Эта альтернатива между жизнью и смертью в начале моей жизни была роковым предзнаменованием того, что должно случиться однажды, то ли смерть в грехах, то ли жизнь в милости. Жизнь и смерть вели битву: смерть надеялась сломить и одолеть жизнь, но



жизнь победно выжила. О, если бы можно было полагаться на это, если бы я могла верить, что жизнь всегда будет побеждать смерть! Это без сомнения было бы так, если бы лишь Вы один жили во мне, о мой Боже, который только и является сейчас моей жизнью и единственной моей любовью.

Наконец наступил момент, когда мне была дарована благодать крещения. Я на короткое время перестала быть Вашим врагом, о мой Бог, но увы! я вскоре потеряла столь великую милость; и мой бедный разум, который казался более развитым, чем у многих других, оказался пагубным; впоследствии он мне служил только для того, чтобы все больше утрачивать Вашу милость.

Как только я была крещена, меня осмотрели на предмет этих продолжительных обмороков. Оказалось, что у меня внизу спины вздутие громадной опухоли. Мне сделали там надрезы; и рана была такая большая, что хирург мог просунуть туда всю руку. Болезнь столь необычная в таком нежном возрасте должна была бы отнять у меня жизнь; но, о мой Боже, поскольку Вы хотели сделать меня объектом Вашего самого великого милосердия, то не дали этому случиться. Эта опухоль, которая источала отвратительный гной, была, как мне кажется, тем способом, которым Вы, о Любовь моя! должны были заставить выйти наружу всю испорченность, которая была во мне, и выдавить всю злобность. Едва эта странная болезнь прошла, у меня началась, как мне сказали, гангрена на одном бедре, а затем и на другом: моя жизнь была не чем иным, как чередой болезней.

Когда мне было два с половиной года, меня отправили к урсулинкам<sup>453</sup>, где я пробыла некоторое время. Затем меня оттуда забрали. Моя мать, которая не очень любила дочек, немного пренебрегала мной и часто поручала заботам женщин, которые также мной не занимались. Вы, однако, защитили меня, о мой Бог, ибо со мной беспрестанно случались происшествия, где моя исключительная резвость была причиной падений, которые не имели никаких последствий. Я даже несколько раз падала через подвальное окно в очень глубокий подвал, наполненный дровами. Со мной произошло еще несколько случаев, о которых я не буду говорить, ибо это слишком длинно.

Мне было четыре года, когда герцогиня де Монбазон<sup>454</sup> приехала к бенедиктинкам<sup>455</sup>. Поскольку она была очень дружна с моим отцом, он

попросил ее поместить меня в этот дом, пока она там будет, так как я ее очень развлекаю. Я была всегда подле нее, ибо ей очень нравилась внешность, которой меня наделил Господь. Я постоянно была больна и очень опасно. Я не помню, чтобы я совершала в этом доме какие-нибудь значительные проступки. Я видела там только хорошие примеры; и так как моя натура была склонна к добру, я следовала им, тогда как не находила никого, кто бы отвратил меня от них. Я любила слушать разговоры о Боге, бывать в церкви и одеваться, как монашка. Однажды утром мне представилось, что страх перед адом, который мне внушали, был лишь средством запугивания, ибо я была слишком бойкая и у меня были маленькие хитрости, которые называли характером. А ночью мне приснился ад, и картина была столь ужасна, что я так никогда и не забыла ее, хотя была тогда совсем ребенком. Он привиделся мне как место ужасающего мрака, где томятся души. Мне показали мое место, что заставило меня горько заплакать и сказать Нашему Господу: «О мой Боже! Будьте так милосердны ко мне, даруйте мне еще несколько дней жизни, и я не согрешу больше перед Вами! Согласитесь, о мой Господь, и Вы дадите мне силы служить Вам, которые превосходят те, что свойственны моему возрасту». Я хотела пойти на исповедь, не сказав никому ни слова, но так как я была слишком мала, наставница воспитанниц отвела меня на исповедь и осталась со мной. Слушали только меня. Наставница с удивлением услышала, что я сначала стала винить себя за мысли против веры; и исповедник принялся смеяться, спросив меня, что это значит. Я рассказала им, что до сих пор сомневалась в существовании ада, что мне представлялось, будто моя наставница рассказала мне об этом, чтобы я была послушной, но что больше я в нем не сомневаюсь. После своей исповеди я почувствовала какое-то невыразимое рвение и один раз даже ощутила в себе желание претерпеть мученичество. Здешние славные девушки, чтобы подшутить и посмотреть, насколько далеко идет мое новоявленное рвение, сказали, чтобы я готовилась к нему. Я Вам молилась, о мой Бог, со страстью и нежностью и надеялась, что эта страсть, будучи моей новой отрадой, была свидетельством Вашей любви. Это придало мне смелости и заставило постоянно просить, чтобы мне было даровано мученичество, ибо через него я бы увидела Вас, о мой Боже! Но не было ли в этом какого-нибудь лицемерия и не была ли я полностью уверена, что мне не позволят умереть и что у

меня были заслуги для смерти без страданий? Надо думать, что в этом было нечто такого рода, так как эти милые девушки вскоре поставили меня на колени на широкое полотнище, и, увидев лежащий за мной большой кухонный нож, который они взяли, чтобы проверить, насколько далеко заходит мой пыл, я закричала: «Мне не позволено умирать без разрешения отца». Они ответили, что в таком случае я не стану мученицей, что я сказала это, лишь бы только меня освободили, и это было правдой. Однако я продолжала оставаться очень удрученной, и меня не могли утешить. Что-то меня укоряло, что я не хочу попасть на небо, хотя это зависит лишь от меня.

Меня очень любили в этом доме. Но Вы, о мой Господи! который не хотел от меня ни минуты без толики веры, соответствующей моему возрасту, Вы позволили, чтобы, как только я заболела, старшие девушки, которые были в этом доме, особенно одна из них, из-за ревности строили мне различные козни. Они обвинили меня однажды в проступке, который я не совершала, меня очень сурово наказали; это вызвало у меня неприязнь к этому дому, откуда меня забрали из-за длительных и частых болезней.

Как только я вернулась к отцу, моя мать, как и раньше, оставила меня на попечение слуг, поскольку там была девушка, которой она доверяла. Я не могу удержаться указать здесь на ошибку, которую совершают матери, под предлогом набожности или занятости, не придавая значения тому, чтобы держать дочерей подле себя. Ибо невероятно, чтобы моя мать, будучи столь добродетельной, могла так забросить меня, если понимала, что это неправильно. Я не могу также помешать себе осудить эти несправедливые предпочтения одного ребенка перед другим, которые приводят к разделу и утрате семьи, вместо того, чтобы объединять сердца и поддерживать любовь к ближнему.

Отчего я не могу заставить понять отцов и матерей и всех желающих руководить юностью то зло, которое они причиняют, не обращая внимания на поведение детей, надолго теряя их из виду и не занимаясь ими? Это небрежение означает потерю почти всех юных девушек. Сколько среди них тех, которых можно назвать подобным ангелам, и тех, кого свобода и праздность делают сущими демонами? И что самое печальное, матери, притом набожные, губят себя тем, через что должны были спастись: они создают беспорядок в том, что

должно обеспечивать их хорошее поведение; и, так как они имеют некоторую склонность молиться с самого начала, они впадают в две крайности. Первая – стремление удержать детей в церкви столь же долго, сколько времени они проводят там сами, что вызывает у тех отвращение к благочестию, каковое я видела у многих людей, которые, как только становились свободными, бежали от церкви и молитв, как черт от ладана. Это происходит так же, как если бы они настолько объелись мяса, что не могли бы больше на него смотреть, ибо их желудок не приспособлен для такой пищи, и нужны силы, чтобы ее переварить. Им можно простить такую неприязнь, ибо, хотя они на самом деле способны, они не желают еще раз подвергаться такому испытанию. С этим связано еще и то, что матери, стремящиеся удерживать дочерей так крепко, что не дают им никакой свободы, уподобляют их тем птицам, которых держат в клетках и которые, сумев как-то выбраться и улететь, больше никогда не вернуться. Вместо этого необходимо, пока они еще маленькие, время от времени давать им простор, дабы их приручить: и поскольку их крылья еще слабы и за их полетом можно проследить, то будет легко их поймать, пока они не скрылись, и этот небольшой полет убедит их возвращаться обратно, в их клетку, и их заточение станет приятным. Я убеждена, что нужно поступать так же и по отношению к юным девушкам, чтобы матери никогда не выпускали их из виду, но чтобы давали достаточную свободу, чтобы они их хорошо поддерживали без притворства, и они вскоре увидят плоды такого образа действий.

Следующая крайность представляет собой еще большую опасность. Дело в том, что благочестивые матери (я не говорю о тех, кто предается собственным наслаждениям, удовольствиям и суетным развлечениям века, ибо их существование более вредно для дочерей, чем отсутствие матерей, – я говорю о тех набожных, которые желают служить Господу по-своему, подчиняясь воле Божьей); говорю вам, они проводят все время в церкви, в то время как их дочери только и думают, как согрешить перед Богом. Они принесли бы большую славу Господу, если бы помешали им грешить. Что это за жертва, если она несправедна? Если бы они молились, никогда не отталкивая от себя дочерей, если бы относились к ним по-родственному, а не как к рабыням, если показывали бы, что радуются их развлечениям. Такое поведение заставило бы дочерей их любить присутствие своих

матерей, не стремясь их избегать, и, находя много радостей подле них, не мечтать найти их где-то еще. Необходимо заботиться, чтобы их ум был занят вещами полезными и приятными, это помешает им забить себе голову чем-то дурным. Нужно каждый день заставлять их немного заниматься полезным чтением и около четверти часа молиться, скорее эмоционально, нежели вдумчиво. О, если бы обращались с ними таким образом, сразу пресекая стремление к распутству! Больше не было бы ни скверных дочерей, ни плохих матерей. Поскольку дочери сами становятся матерями, они воспитывали бы своих детей так же, как были воспитаны сами. Не было бы больше раздоров и скандалов, в семьях все стали бы вести себя одинаково. Это поддерживало бы союз, в отличие от несправедливых предпочтений, оказываемых детям, которые порождают зависть и скрытую ненависть, со временем лишь возрастающую и сохраняющуюся до самой смерти. Сколько видно детей, кумиров семьи, которые делаются властителями и тиранами над своими братьями, как над рабами, по примеру отцов и матерей? Вы сказали бы, что одни становятся слугами у других. Часто получается, что такой обожаемый ребенок превращается в бедствие для мам и пап, а тот, кто был забыт и покинут, вскоре оказывается настоящим утешением.

Если бы жили так, как я описала, не пришлось бы приводить детей в религию силой и жертвовать одними ради возвышения других. Этим сняли бы беспорядки в монастырях, так как там не было бы больше никого, кроме людей, преданных Богу и чьим призванием было бы поддерживать Его. Вместо этого эти люди, видящие призвание в своих детях, становятся причиной их разочарования и проклятия из-за ненависти, которую те сохраняют к своим братьям и сестрам, являющимся невольной причиной их несчастий, преходящих и вечных. О, отцы и матери, какие основания есть у вас, чтобы поступать так? Этот ребенок, скажете вы, обижен природой, по какой причине мы должны его любить и жалеть больше. Возможно, это вы – причина его опалы, тогда увеличьте вашу милость по отношению к нему, ведь Бог дал вам его, чтобы он был объектом вашего сострадания, но не ненависти. Не слишком ли ему обидно видеть себя лишенным природных преимуществ, которыми обладают другие, и без ваших жестокостей, увеличивающих его скорби своими поступками? Этот

ребенок, которого вы презираете, будет один день святым, а на другой может стать сущим дьяволом.

Моей матери были свойственны обе эти крайности, так как она позволяла мне целый день быть вдали от нее со слугами, которые не могли научить меня ничему хорошему, но лишь приучить к дурному. Я была такова, что хорошие примеры привлекали меня, и, увидев нечто хорошее, я старалась этому следовать, даже не помышляя ни о чем плохом; но видя, что вокруг делаются дурные вещи, я забывала о добре. О Боже, какой опасности я подверглась бы тогда, если бы мое детство не служило тому противодействием! Вы рассеяли, о мой Боже, невидимой рукой все рифы.

Так как моя мать не проявляла любви ни к кому, кроме моего брата, и не выказывала по отношению ко мне никаких свидетельств нежности, я сама стремилась избегать ее. Правда, мой брат был приятнее меня, но та чрезвычайная любовь, которую она питала к нему, закрыла ему глаза на мои внутренние качества, так что он мог видеть только недостатки, которые не имели бы никакого значения, если бы обо мне заботились. Я часто болела и все время подвергалась тысяче опасностей, однако же, я не причиняла, мне кажется, другого зла, кроме болтовни о множестве вещей, как мне казалось, занятных, ради развлечения. Моя свобода росла с каждым днем, и это зашло так далеко, что однажды я покинула дом и ушла на улицу играть с другими детьми, в глазах которых в моем рождении не было ничего необычного. Вы, о мой Боже, который постоянно заботился о ребенке, беспрестанно принадлежавшем Вам, позволили, чтобы мой отец заметил меня, приехав домой: так как он очень нежно любил меня, то был так расстроен, что, не сказав никому ни слова, тотчас отвез меня к урсулинкам.

Мне было тогда почти семь лет. У меня были там две сестры монахини, одна дочь моего отца, а другая – моей матери, так как каждый из моих родителей к тому времени, как они поженились, однажды уже состоял в браке. Отец оставил меня на попечение своей дочери, которая, могу вам сказать, была одной из самых способных и духовных и наиболее подходящей для воспитания девочки. Это было для меня, о мой Боже, свидетельством Вашего провидения и Вашей любви и первой возможностью для моего спасения. Поскольку она очень меня любила, эта привязанность позволила ей открыть во мне

множество качеств, которыми Вы наделили меня, о мой Боже, по одной Вашей доброте. Она старалась их развивать. Я думаю, что, если бы я и раньше была в таких надежных руках, я стала бы в той же мере добродетельной, в какой впоследствии приобрела много вредных привычек. Эта добрая девушка тратила все свое время на то, чтобы наставлять меня в благочестии и в науках, доступных моему пониманию. Она обладала природными талантами, которые были хорошо развиты, к тому же она была необычайно набожная, и ее вера была из самых великих и из самых чистых. Она отказывалась от всех удовольствий, чтобы побыть со мной и побеседовать, и ее любовь ко мне была такова, что, если ей удавалось найти, о чем бы со мной поговорить, для нее было большим удовольствием быть подле меня, нежели где-либо еще. Если я давала ей какой-нибудь приятный ответ, чаще случайно, нежели по настроению, она верила, что ей с лихвой оплатились все ее беды. Наконец, она наставляла меня так хорошо, что некоторое время спустя почти не осталось вещей, которых я не ведала, но которые мне полагалось знать, и там даже было несколько знатных пожилых людей, которые не могли ответить на вопросы, на которые отвечала я.

Так как мой отец часто посылал за мной, чтобы меня увидеть, случилось так, что в то время, когда я была у него, он принимал в своем доме королеву Англии<sup>456</sup>. Мне было тогда почти восемь лет. Мой отец сказал духовнику королевы, что, если он хочет получить некоторое удовольствие, ему следует побеседовать со мной и задать мне несколько вопросов. Он мне их задал, и даже очень сложные. Я ответила бы ему, если бы меня не повели к королеве и не сказали ей, что нужно, чтобы Ее Величество потешилось таким ребенком. Она потешилась и, казалось, была так довольна моими живыми ответами и манерами, что стала настойчиво просить у моего отца разрешить ей взять на себя особую заботу обо мне, мне предназначалось стать фрейлиной Мадам<sup>457</sup>. Мой отец сопротивлялся этому так, что рассердил ее. О мой Бог, это Вы позволили моему отцу воспротивиться и этим отвели удар, от чего, возможно, и зависело мое спасение: будучи настолько верующей, какой я была, что могла я делать при дворе, кроме как губить себя?

Меня отправили обратно к урсулинкам, где моя сестра продолжила оказывать мне милость наставлениями. Но из-за того, что она не была

наставницей пансионеров и мне не всегда удавалось приходить к ней, я приобрела скверные привычки. Я сделалась лживой, сердитой и неблагочестивой. Я проводила целые дни, не думая о Вас, о мой Боже, который не переставал заботиться обо мне, я впоследствии расскажу об этом, чтобы это стало известно. Я недолго пробыла в этом скверном состоянии, так как забота сестры вернула меня. Я очень любила слушать разговоры о Вас, о мой Боже, и я никогда не пропускала их. Мне никогда не было скучно в Церкви, и я любила молиться Вам и была добра с бедными. Я от природы, впитав с молоком чистоту веры, чувствовала большое несогласие с людьми, чьим принципом было подозрение; и Вы всегда сохраняли для меня эту милость, о мой Боже, несмотря на всю мою неверность.

В конце сада там была капелла, посвященная Чадам Иисусовым. Я там молилась и в течение некоторого времени каждое утро приносила туда свой завтрак и прятала его за Твоим образом; каким же я была еще ребенком, если верила, что приношу огромную жертву, отказывая себе в завтраке. Я тогда была лакомкой, я очень хотела умерщвить свою плоть сама, но не желала, чтобы это сделали другие; это доказывает, сколько во мне тогда было самолюбия. Однажды, когда в этой капелле убрались тщательнее обыкновенного, за иконой обнаружили все то, что я туда принесла. Выяснилось, что это мое, так как нашлись люди, видевшие, как я ходила туда каждый день. Вы, о мой Боже, который ничего не оставляет, не возместив, Вы вскоре с лихвой отблагодарили меня за эту детскую набожность. Однажды мои спутницы, которые были уже взрослыми девушками, развлекаясь, отправились танцевать к источнику, воды которого не считались хорошими, так как туда выливали помой с кухни. Эта клоака была глубокой и закрывалась сверху досками, чтобы не произошло несчастного случая. Когда они вернулись, я захотела сделать так же, как они; но доски проломились подо мной. Я очутилась в отвратительной клоаке, вися на маленьком кусочке доски, всеми силами стараясь удержаться и не задохнуться. О Любовь моя! Не было ли это символом того состояния, в котором я должна была бы жить после? Сколько времени Вы оставляли меня, согласно Вашему пророку<sup>458</sup>, в глубоком болоте<sup>459</sup>, из которого я не смогла бы выбраться? Не свалилась ли я в эту пропасть, где я была вся покрыта грязью? Но Вы сохранили меня по одной только Вашей доброте:



я испачкалась, но не задохнулась; я была на пороге смерти, но смерть не имела никакой власти надо мной. Я могу сказать, о мой Бог, что это была скорее Ваша восхитительная рука, которая поддержала меня в этом ужасном месте, нежели та деревяшка, за которую я ухватилась, ибо она была слишком коротка, и за то долгое время, что я пробыла на воздухе, она без сомнения должна была сломаться под весом моего тела. Я кричала во все горло. Пансионерки, которые видели, что я упала, вместо того чтобы вытащить меня, отправились за сестрами-служанками, эти сестры, вместо того чтобы пойти ко мне, уверившись, что я уже мертва, направились в Церковь предупредить мою сестру, которая была там на молитве. Она первым делом помолилась за меня и затем, взывая к Богоматери, сама полумертвая прибежала ко мне; она была немало удивлена, обнаружив меня посреди этой клоаки, сидящей в грязи, как в кресле. Она восхищалась Вашей добротой, о мой Господь, который чудесным образом поддержал меня. Но увы, как бы я радовалась, если бы эта трясина была единственной, куда я должна была свалиться! Я выбралась из этого места только для того, чтобы попасть в другое, в тысячу раз более опасное. Я платила за покровительство столь особенное самой черной неблагодарностью. О Любовь! Я никогда не оставалась без Вашего терпения, ибо оно бесконечно. Я вскоре позволила Вам разочароваться в том, что Вы меня поддерживали.

Я еще некоторое время оставалась со своей сестрой, подле которой сохраняла любовь и страх перед Богом. Моя жизнь была достаточно спокойной: я потихоньку росла возле сестры; я даже делала большие успехи в те периоды, когда была здорова; ибо я постоянно была больна хворями, настолько быстротечными, чтобы это было экстраординарным. Вечером я чувствовала себя хорошо, а утром меня находили опухшей и с массой других опасных симптомов, прежде всего с температурой. В девять лет у меня случилась кровавая рвота, столь серьезная, что думали о моей скорой смерти; я оставалась очень слабой.

Незадолго до этого времени завистливый враг моего счастья сделал так, чтобы другая сестра, которая была у меня в этом доме, почувствовала ревность и, в свою очередь, пожелала заполучить меня. Хоть она и была доброй, но не обладала талантом обучать детей. Я могу сказать, что это положило конец тому счастью, которое я

испытывала в этом доме. Она по началу очень ласкала меня, но все ее ласки не произвели никакого впечатления на мое сердце: другая моя сестра одним лишь взглядом добивалась большего, нежели эта своими ласками и угрозами. Когда она увидела, что я люблю ее меньше, чем ту, которая меня вырастила, она сменила свои ласки на плохое обращение: она больше не желала даже, чтобы я разговаривала с другой своей сестрой, и когда узнавала, что я говорила с ней, то заставляла меня высечь или сама била меня. Я не могла выдержать такого жестокого обращения и платила самой черной неблагодарностью за всю доброту своей сестре по отцу, не видя ее больше. Это тем не менее ничуть не мешало ей выказывать мне свою обычную доброту во время той жестокой болезни, о которой я говорила, когда меня рвало кровью: она делала это тем более добровольно, что видела, что моя неблагодарность была скорее следствием жестокого наказания, нежели испорченности моего сердца. Я думаю, это единственный случай, когда суровое наказание так сильно подействовало на меня, ибо с тех пор моя натура приносила мне больше страданий от той боли, которую я могла причинить кому-либо из тех, к кому была привязана, нежели от той, какую могли причинить мне. Вы знаете, о моя Любовь, что суровость Ваших наказаний никогда не оказывала большого воздействия ни на мой дух, ни на мое сердце: несчастье оскорбить Вас было причиной всех моих скорбей, и это происходило так, что мне казалось, что, если не было бы ни рая, ни ада, я и тогда боялась бы Вашего неудовольствия. Вы знаете даже, что после моих ошибок Ваши милости были мне в тысячу раз более невыносимы, нежели Ваши строгости, и я скорее тысячу раз выбрала бы ад, нежели задела Вас. Моему отцу сообщили обо всем, что происходило между моими сестрами и мной, и отправили меня к нему, где я пробыла почти до десяти лет.

Находясь у своего отца, я становилась все более испорченной. Мои прежние привычки укреплялись день ото дня, и я беспрестанно усваивала новые. Вы постоянно охраняли меня, о мой Боже, во всех вещах, и я не могу взирать без некоторого удивления на то, что вместе со свободой, которую я имела в возможности избегать своей матери, Вы охраняли меня так тщательно, хотя я никогда не была достойна Вашей защиты.

Я недолго пробыла у своего отца, ибо одна монахиня из ордена св. Доминика<sup>460</sup>, очень знатного происхождения, и близкие друзья моего отца настоятельно просили его поместить меня под их кров, где она была настоятельницей и могла сама заботиться обо мне и поселила бы в своей комнате, ибо эта дама была очень расположена ко мне. Она знала меня только в лицо и не ведала, насколько я была испорчена, а я нравилась тем, кто меня видел. Как только я оказалась вне прежних обстоятельств, я забыла зло, которое я совершала не столько из склонности, а лишь потому, что поддавалась увлечениям. Этой даме я совсем не показалась плохой, так как я любила церковь и долго оставалась там: но она была так занята своим монастырем, где было много размолвок, что не могла заниматься мной.

Вы послали мне, о мой Боже! вид ветряной оспы, который продержал меня три недели в постели. Я больше даже не думала, чтобы оскорблять Вас. Я осталась совершенно беспомощной, почти без сил, хотя мой отец и моя мать были уверены, что обо мне заботятся надлежащим образом. Эти добрые женщины так сильно опасались ветряной оспы, что не решались приблизиться ко мне. Почти все время я провела, не видя никого, кроме тех часов, когда должны были приносить еду, и одна мирская сестра подавала мне ее и тут же уходила. Благодаря провидению в комнате, где я спала, я нашла Библию. Поскольку я очень любила чтение, то решила прочесть ее. Я читала с утра до вечера. У меня была превосходная память, так что я выучила все, что касалось истории. После моего выздоровления другая дама, видя меня покинутой из-за большой занятости настоятельницы, взяла меня в свою комнату. Коль скоро я нашла в ней разумную особу, с которой я могла побеседовать, и у меня появилось чем заняться, я и не помышляла больше о своих прежних привычках, к которым я не имела другой склонности, кроме той, что мне внушили, и я вновь стала более набожной. Я очень страстно молилась Святой Деве. Я не понимаю, как я была такой: даже в самых сильных своих отступничествах, я молилась и заботилась о том, чтобы часто исповедоваться. С другой стороны, я была очень несчастна в этом доме, так как там не было никого моего возраста, и поскольку другие пансионерки были совсем взрослыми, они очень преследовали меня. Я была так равнодушна к еде и питью, что очень похудела. В отношении одежды у меня был еще и другой крест. <...>

После того как я провела в этом доме около восьми месяцев, мой отец забрал меня оттуда. Моя мать стала держать меня подле себя. Некоторое время она была очень довольна мной и любила меня несколько больше, так как находила меня в своем вкусе. Она по-прежнему постоянно предпочитала мне моего брата; это было так заметно, что каждый находил сие скверным, ибо, тогда как я была больна и находила что-нибудь по своему вкусу, мой брат просил это же; и, хотя он чувствовал себя хорошо, меня заставляли отдавать ему это. Он причинял мне и множество других обид. Однажды он заставил меня залезть на империял<sup>461</sup> кареты, затем сбросил на землю: он задумал меня убить; я, однако, получила только ушибы, без ран, ибо после падений, которые со мной случались, у меня никогда не было серьезных ранений. Это была Ваша помогающая рука, о мой Господи, которая поддерживала меня. Казалось, что Вы совершаете со мной то, о чем Вы говорили через Вашего царского пророка<sup>462</sup>, что Вы подставите руку под праведника, дабы не поранился он, когда упадет<sup>463</sup>. В другой раз он избил меня: моя мать ничего не сказала ему на это. Такое поведение ожесточало мою натуру, которая без этого была бы кроткой, я забывала делать добро, говоря, что от этого я не стану лучше. О Боже! лишь ради Вас одного я делала добро, затем я прекратила его делать, ибо я не видела больше для себя причины творить его. Если бы я извлекла пользу из мучительного поведения, которое Вы сохраняли в отношении меня, я бы значительно продвинулась вперед: это не только не сбило бы меня с толку, но послужило бы тому, что заставило бы меня вернуться к Вам. Я ревновала своего брата, так как не было случая, чтобы моя мать не подчеркнула различие между ним и мной. Так что получалось, будто он всегда поступает хорошо, а я всегда плохо: горничные моей матери, ухаживая за нами, были ласковы с моим братом и грубы со мной. Я и вправду была плохой, так как впадала в свои прежние грехи, лгала и гневалась. Наряду со всеми этими грехами, я не прекращала добровольно подавать милостыню и очень любила бедных. Я молилась Вам, мой Боже, с усердием, и мне нравилось слушать беседы о Вас и читать полезные книги.

Я ничуть не сомневаюсь, что столь противоречивое поведение, столь длительная непостоянность, столько милостей и столько несправедливости удивляют вас, Господь, но Вы еще больше

удивились, когда Вы увидели, что этот образ действий с возрастом укреплялся и что разум, вместо того чтобы исправить такое неразумное поведение, служил только для усиления и увеличения моих грехов. Казалось, о мой Боже, что Вы удваивали Ваши милости по мере того, как увеличивалась моя неблагодарность. Во мне происходило то же, что случается с осажденными городами. Вы осаждали мое сердце, и мне не оставалось ничего, кроме как защищаться от Ваших атак. Я выстроила укрепления в этом жалком месте, каждый день удваивая свою несправедливость, чтобы помешать Вам занять его. Когда казалось, что Вы уже одержали победу в этом неблагодарном сердце, я устраивала ответный огонь. Я ставила преграды, чтобы остановить Вашу доброту и помешать течению Ваших милостей; нужно было быть по меньшей мере Вами, чтобы их разбить, о моя божественная Любовь, которая Вашим священным огнем делалась сильнее самой смерти, до которой грех доводил меня много, много раз.

Я не выношу, когда говорят, что мы не свободны, сопротивляясь милостям. У меня только и был долгий и пагубный опыт моей свободы. Это правда, что есть милости благодарности и вознаграждения, которые не нуждаются в свободе человека, так как они получаются без ведома человека, который не подозревает о них, пока не получит. Я так мало желала добра, что малейшая атака приводила меня в замешательство. Как только я оказывалась вне неблагоприятных условий, я более не думала о зле и открывала свои уши для благодати, но закрывала все дороги в свое сердце, чтобы не слышать больше Вашего тайного голоса, который звал меня, о мой Боже! И, вместо того чтобы бежать от обстоятельств, я искала их, и мне позволялось идти к ним.

Наша свобода вправду очень губительна. Вы поддерживали жестокое обращение со мной, чтобы заставить меня вернуться к Вам, но я не сумела этим воспользоваться, ибо я была вся в делах моей нежной юности либо по болезни, либо из-за гонений. Девушка, которая ухаживала за мной, причесывая, била меня, заставляя поворачиваться исключительно с помощью пощечин: все были заодно, чтобы заставить меня страдать. Но я, вместо того чтобы вернуться к Вам, о мой Господи, печалилась, и мой характер ожесточался. Мой отец ничего не знал обо всем этом, так как его любовь ко мне была

столь велика, что он не перенес бы этого. Я очень его любила, но в то же время так боялась, что вовсе не разговаривала с ним. Моя мать часто жаловалась ему на меня, но получала от него один и тот же ответ: «В сутках всего 24 часа, она еще убедится». Такое строгое обращение было не самым несносным для моей души, хотя очень ожесточало мой характер, который был очень покладистым; но причиной моих утрат было то, что, будучи не в состоянии долго находиться с людьми, которые плохо со мной обращались, я укрывалась у тех, которые ласкали меня, а потом оставляли.

Мой отец, видя, что я становлюсь взрослой, отправил меня на время поста к урсулинкам, чтобы я приняла первое причастие на Пасху, когда мне должно было исполниться полных 11 лет. Он отдал меня в руки своей дочери, моей дражайшей сестры, которая удвоила свои заботы, чтобы сделать все возможное для подготовки меня к этому событию. Я больше не мечтала, о мой Боже, чтобы мне было дано все Ваше благо; я часто ощущала борьбу своих хороших наклонностей против пагубных привычек, я даже ощущала некоторое раскаяние. Поскольку я проводила почти все время со своей сестрой, и пансионерки старшего класса, в котором я находилась, хотя и была их младше, были очень разумными, постольку и я становилась весьма разумной с ними. Это, конечно, преступление, что меня плохо учили, ибо у меня была склонность к добру и я любила все хорошее. Разумное поведение меня устраивало: мне позволяли легко зарабатывать на сладости, и моя сестра, не прибегая к строгостям, заставляла меня без всякого сопротивления выполнять все ее просьбы. Наконец, на Пасху с большой радостью и благочестием я приняла первое причастие, которому предшествовала коллективная исповедь. Меня оставили в этом доме до Троицына дня, но поскольку другая моя сестра была наставницей второго класса, она попросила, чтобы в ее неделю меня отправили в ее класс. Манеры моих сестер, столь несхожие, остудили мой первый задор. Я больше не чувствовала этого нового пыла, о мой Боже! который ощутила во время первого причастия. Увы! он длился совсем недолго, ибо мои проблемы повторялись. Меня отняли от религии.

Моя мать находила меня весьма рослой для своего возраста и, скорее по собственному капризу, нежели согласно обычаю, заботилась лишь о том, чтобы вывести меня в свет, присмотреть мне пару и хорошо

пристроить. Она была полна самого дурного самодовольства в отношении той красоты, которой Вы наделили меня, о мой Господи, и хвалить и благословлять за которую следует только Вас, но она, однако, и для меня была источником гордости и суетности. Представилось множество партий, но, поскольку мне не было двенадцати лет, отец не хотел о них и слушать. Я очень любила чтение и почти каждый день запиралась одна почитать во время отдыха.

Тот, кто завершил мое полное привлечение к Богу, по крайней мере на какое-то время, это племянник моего отца (чья жизнь описана в Реляции иностранных миссий под именем месье Шамессона, хотя его звали Туасси), остановившийся с месье епископом Гелио-польским у нас, проездом в Кошиншин. Меня не было дома, против обыкновения я прогуливалась со своей подругой. Когда я вернулась, он уже уехал. Мне рассказали о его святости и о вещах, о которых он рассказывал. Меня так это тронуло, что я думала, что умру от горя. Я проплакала весь остаток дня и всю ночь. Я поднялась рано утром и совершенно безутешная отправилась к своему исповеднику. Я сказала ему: «Что, отец мой? Стоит ли говорить, что я сама погубила себя в своей семье? Увы! помогите мне спасти себя». Он был очень удивлен, увидев меня столь удрученной, и утешил меня как только мог, ибо он не верил, что я так дурна, как это было на самом деле, так как в самых тяжелых своих неприятностях я обладала покорностью, я четко повиновалась, заботилась о том, чтобы чаще исповедоваться, и, с тех пор как я стала ходить к нему, моя жизнь стала более налаженной. О возлюбленный Боже, сколько раз Вы стучались в дверь моего сердца, которая была закрыта для Вас? Сколько раз Вы пугали скоростижной смертью? Но это производило только мимолетное впечатление: я вскоре возвращалась к своему вероломству. Вы захватили меня в этот раз, и я могу сказать, что Вы овладели моим сердцем. Увы! никакую боль я не чувствовала, разочаровывая Вас! Какие сожаления! Какие рыдания! Кто не поверил бы, увидев меня, что моя исповедь должна будет длиться всю жизнь? Почему не забрали Вы это сердце, о мой Боже? Я так легко отдала его Вам, и если Вы взяли его тогда, то почему опять позволили ему вырваться впоследствии? Были ли Вы достаточно сильны, чтобы удержать его? Но, возможно, Вы хотели позволить мне сделать это самой, заставив добиваться Вашего милосердия, и чтобы глубина моей неправедности послужила трофеем Вашей доброты.

Я исповедалась с глубоким ощущением скорби: я, по-видимому, сказала все, что знала, с потоками слез. Я так изменилась, что меня нельзя было узнать. По собственной воле я не совершала даже малейшей ошибки, и во время исповеди не находилось никаких грехов, которые следовало бы отпустить. Я открылась до самых мельчайших промахов, и Бог оказал мне милость, одолев меня во многих вещах. Оставалась только некоторая вспыльчивость, которую я с трудом поборолла. После того, как из-за этой самой вспыльчивости я причинила боль некоторым слугам, я попросила у них прощения, чтобы одолеть в то же время и гнев, и надменность, ибо гнев – порождение гордости. Очень покорный человек не впадает в гнев, поскольку его ничего не раздражает. Так как именно гордыня последней умирает в нашей душе, внешняя вспыльчивость также уходит последней. Но очень смиренная душа не может найти в себе гнева: ей нужно приложить усилие, чтобы рассердиться; и когда она захочет этого, то с силой ощутит, что этот гнев происходит от тела, минуя душу, и что он не имеет никакого отношения ни к сущности, ни даже к какой-нибудь эмоции из числа худших.

Есть люди, которые считают себя очень кроткими, потому что им ничто не досаждаёт: я говорю сейчас не об этих людях, во всем походящих на святых, но не проверенных ещё досадой, которая может проявить в них огромное количество недостатков, которые они считали уже погребёнными, но которые только спали, поскольку ничто не способствовало их пробуждению.

Я запиралась на целые дни, чтобы почитать и помолиться: я раздавала все, что имела, бедным, забирая для этого даже бельё из дома. Я обучала их катехизису и, когда мои родители отсутствовали, оставляла есть вместе с собой и прислуживала им с большим уважением. Я прочла в это время работы святого Франциска Сальского<sup>464</sup> и жизнеописание мадам де Шанталь<sup>465</sup>. Как раз оттуда я узнала, как молиться. Я просила своего исповедника научить меня, как это делать, но, поскольку он не делал этого, я сама старалась делать это как можно лучше. Но, как мне тогда казалось, это не удавалось, так как я ничего не могла себе представить, и убеждала себя, что не могу молиться, не создавая чувственного образа и без глубоких рассуждений. Эта трудность долгое время причиняла мне много боли. Я была тогда очень прилежной и молилась Господу с просьбой послать



мне дар молиться. Все, что было написано в жизнеописании мадам Шанталь, очаровало меня; и я еще настолько была ребенком, что верила, будто должна проделать все, что там описано. Все обеты, какие она только давала, я повторила тоже, как, например, такой – всегда стремиться к совершенству и в любых случаях исполнять волю Божию. Мне еще не было двенадцати лет, но я тем не менее бичевала себя в меру своих сил. Однажды я прочла, что она написала имя Иисуса у себя под сердцем, следуя совету супругов: «положи меня, как печать, на сердце»<sup>466</sup>, и что она взяла раскаленное железо, которым выжгла святое Имя. Я осталась очень удручена тем, что не могу сделать то же самое. Я решила написать святое и восхитительное Имя жирными буквами на куске бумаги, с помощью лент и толстой иглы приколола его к коже в четырех местах, и он долго оставался прикрепленным таким образом.

Я не думала ни о чем другом, кроме как сделаться монахиней, и очень часто ходила к визитанткам просить, чтобы они хорошенько меня испытали: так как любовь, которую я испытывала к св. Франциску Сальскому, не позволяла мне думать о каком-то другом монастыре. Я тайком уходила из дома, чтобы отправиться к этим монахиням-визитанткам, и очень их просила взять меня, но, хотя они были рады меня видеть и даже рассматривали мое пребывание как временное преимущество, они никогда не позволяли мне войти в их обитель так как весьма боялись моего отца, зная, как сильно он меня любит, и из-за того, что я была слишком молода, ибо мне только что исполнилось двенадцать. У них в доме была тогда племянница моего отца, на которую я возлагала очень большие надежды. Она была весьма добродетельна; и судьба, которая не была благосклонна к ее отцу, поставила ее в некоторую зависимость от меня. Она разгадала мои намеренья и мое желание быть монахиней. Поскольку мой отец некоторое время отсутствовал, а мать была больна, я находилась под ее присмотром, и она опасалась, что ее обвинят в том, что она дала повод к таким мыслям или по меньшей мере их поддерживала, ибо мой отец так этого боялся, что, хотя он ни за что на свете не хотел мешать моему истинному предназначению, не мог без слез слышать, что я стану монахиней. Моя мать была к этому более равнодушна. Кузина отправилась к моему исповеднику, чтобы просить его отговорить меня идти к визитанткам. Он не отважился на это из страха настроить

против себя этот монастырь, так как они уже считали меня своей. Когда я шла на исповедь, он не захотел отпустить мне грехи, говоря, что я ходила к визитанткам одна и окольными дорогами. Я была так наивна, что поверила, будто совершила чудовищное преступление, так как отпущение грехов не было получено. Я вернулась столь удрученная, что моя кузина не могла меня успокоить. Я не прекращала плакать до следующего дня. Когда утром я отправилась к своему исповеднику, то сказала ему, что не могу жить без отпущения грехов, и попросила его дать свое согласие. Он не исповедовал меня, пока я его не заставила. Он сразу исповедал меня. Я, между тем, все время хотела быть монахиней и очень просила свою мать отпустить меня в монастырь, но она не хотела из страха расстроить моего отца, который был в отъезде, и все время откладывала решение до его возвращения. Когда я увидела, что не могу ничего добиться, то подделала подпись своей матери и подменила письмо, в котором она якобы умоляла этих дам принять меня, извиняясь за мою болезнь, если она не пройдет сама собой, но настоятельница, доведившаяся родственницей моей матери, которая хорошо знала ее подпись, быстро разоблачила мой невинный подлог.

**Часть 3**  
**Конец XVII – начало XIX в**

## Воспоминания о детстве в эпоху Просвещения

Генетическая связь между идеями и духовными исканиями в XVII и XVIII вв. столь же очевидна, как и ощущение глубокого разрыва между этими столетиями. Наступление эпохи Просвещения было связано с действительным распространением рационалистических воззрений в самых широких слоях общества. Вера постепенно уступала свои теоретические позиции научным концепциям, объяснявшим мир без обращения «к гипотезе о существовании Творца». Человек становился объектом не столько религиозного внушения, сколько пристального изучения, как с точки зрения новых наук – педагогики, политики, психологии, так и традиционных, но все более секуляризовавшихся философии, этики и педагогики. Осмысление природы человека оживило идеи ренессансного антропоцентризма, не порывавшего с верой, но рассматривавшего человеческую личность и мораль автономно по отношению к религии. Просвещение пошло значительно дальше в полемике с религиозной доктриной и в отрицании ее (не говоря уже об острой антиклерикальной критике), что привело к заметной секуляризации общественного сознания. Светским духом была проникнута в XVIII в. и жизнь самой церкви, утратившей во многом пророческий пыл, – с ее галантными аббатами, скептицизмом и индифферентизмом духовенства, вовлеченностью его в политические интриги. Искреннее религиозное рвение находило свое прибежище в пиетизме набожных протестантов, янсенизме католиков, истовой вере баптистов, а также в народной среде, слабо затронутой просветительской пропагандой.

Ряд важнейших идей, выдвинутых теоретиками английского и французского Просвещения (Локком, Руссо, Вольтером, Смитом,

Беркли, Юмом), оказал глубокое воздействие на формирование новых общественных и воспитательных идеалов. Одной из самых привлекательных для просветителей задач становится анализ природы и эволюции человека. В противовес средневековой доктрине его изначальной греховности и порочности, они выдвигают тезис о красоте, разумности человеческого существа, наделенного от природы разнообразными способностями. Его апология дополняется картиной равенства людей и гармонии первозданного общества. В то же время,

наряду с оптимизмом, мыслителям Просвещения был присущ и трезвый реализм в оценке сущности человека: признание того, что тот, будучи от рождения ни порочен, ни добродетелен, может свободно развиваться в любом направлении, как совершенствуясь, так и деградируя. Он способен парадоксальным образом сочетать в душе высокое и низкое, бесконечно меняясь. Такой неоднозначной натурой признавал себя Ж.-Ж. Руссо: «Я... был... презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им». [467](#)

Руссо создал одну из самых популярных в литературе XVIII в. концепцию «естественного человека», «доброе дикаря», который, будучи с детства возвращен в природной среде, в простоте сельской жизни, неизбежно вырастает мягким, не склонным к порокам и излишествам, разумным и целомудренным, и лишь впоследствии столкновение с более сложной реальностью может развратить и искалечить его нежную душу. Несмотря на едкую критику этой идиллической картины, созданной Руссо (в частности Вольтером и Гиббоном), она оказала колоссальное воздействие на художественную литературу Просвещения, в том числе и на ряд жизнеописаний, приводимых ниже.

Главная роль в эволюции человеческой личности отводилась, таким образом, влиянию внешних обстоятельств – условий существования, благосостояния, окружающей среды, воспитания и образования. Последнему придавалось огромное значение, ибо обретение знаний, развитие интеллекта, приобщение к науке казалось в рациональный век Просвещения дорогой ко всеобщему счастью и прогрессу общества.

Даже когда в рамках культуры Просвещения развернулась полемика между рационализмом и сенсуализмом – теорией, утверждавшей примат человеческих ощущений и чувств над разумом, в особенности на ранних этапах жизни, это не изменило представлений о влиянии окружающей среды и обстоятельств на судьбу человека. Сенсуализм лишь внес важное уточнение: личность формируется также под воздействием жизненного опыта, включающего опыт чувственный и эмоциональный.

Идеи Просвещения способствовали важным переменам в общественной жизни Европы: развитию школьного дела и образования, привлечению внимания «просвещенных монархов»

к этой проблеме. (В результате в Пруссии в XVIII в. было введено всеобщее начальное образование.) Популяризация нового воспитательного идеала привела к тому, что как в среде дворянства, так и третьего сословия родители стали чаще посвящать себя воспитанию собственных детей, проводить с ними больше времени, учить чтению, беседовать, обучать правилам хорошего тона и музыке, заниматься закаливанием малышей и спортом. Подтверждением этому служат многочисленные пассажи в приводимых ниже воспоминаниях о детстве. Одна из теорий, порожденных сухим рационализмом Просвещения, снискавшая себе позднее дурную славу, мальтузианство, призывая к искусственному ограничению рождаемости, исходила тем не менее из важного тезиса о том, что родители должны нести ответственность за жизнь детей, иметь возможность прокормить их и обеспечить достойное существование. Пожалуй, впервые в истории в XVIII в. идея мирской социальной и моральной ответственности взрослых за их потомство была провозглашена столь осознанно и определенно (не только в расчете на узко профессиональную группу педагогов и школьных наставников, но как задача семьи и общества).

Прежде чем перейти непосредственно к воспоминаниям авторов, чье детство пришлось на эпоху Просвещения, следует сделать ряд замечаний относительно специфики художественной литературы того времени, оказавшей глубокое влияние на развитие самого жанра автобиографии. При всем разнообразии стилей – классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм, – главной темой художественной литературы XVIII в. было становление независимой и сильной личности, проходившее в борьбе с жестоким, лицемерным и испорченным миром. Это мог быть благородный положительный герой – «естественный человек», ведомый разумом по пути добродетели, – персонаж, столь любимый Руссо, Шефтсбери или Попом, или, напротив, одаренная, но далеко небезупречная личность, рожденная в неблагоприятных обстоятельствах, которая борется за свое место под солнцем, проявляя чудеса ловкости, цинизма и изворотливости (подобно героям Дефо, Смоллета и Филдинга). Всякого рода сироты, подкидыши, авантюристы, стоящие вне социальных связей, наводнившие литературу XVIII в., тем не менее вызывали симпатию читателей, впрочем, как и честные труженики, формировавшие в себе стойкость в борьбе с невзгодами и, как Робинзон Крузо, подчинявшие

себе окружающую среду даже в самых необычных обстоятельствах. Во второй половине и в конце XVIII в. литературные герои Стерна, Ричардсона, Шиллера, Гёте становятся сентиментальнее и эмоциональнее: подобно Клариссе, Памеле или Вертеру они захвачены чувствами, нередко торжествующими над разумом и заставляющими совершать ошибки. Драматизм их противостояния миру состоит уже не столько в борьбе с неблагоприятными обстоятельствами, сколько в трудном душевном выборе, буре страстей, кипящих в душе и увлекающих их по пути добродетели или бесчестья.

Излюбленной литературной формой эпохи становится роман во всем его многообразии: приключенческий, биографический, социально-психологический, бытовой, семейный, роман воспитания, роман-путешествие, плутовской роман (восходящий к традиции XVI в.). Именно роман – морализующий, реалистический или сатирический, закладывает, наконец, настоящий литературный канон жизнеописания, на который, как на образец, будут ориентироваться и современники в своих записках и воспоминаниях. В романах XVIII в. с их интересом к неповторимой человеческой личности ее развитие воспроизводится во всех подробностях (даже если речь идет о заурядном человеке); детству героя как поре, когда закладываются индивидуальные свойства его души, уделяется очень большое место. Оно воскрешается в мельчайших бытовых деталях, позволяющих представить повседневную жизнь, окружающую ребенка, и впервые становящихся самоценными для рассказчика. Тщательно выписываются портреты родных и близких, повествуется о курьезных случаях, из которых невозможно извлечь мораль, но можно составить представление о натуре героя.

Под влиянием романов и в автобиографиях современников повествование о детских годах становится все более пространным, изобилующим подробностями. Еще одна черта, характерная для воспоминаний XVIII в., – их более ярко выраженная аналитичность: авторы осознанно стремятся к самопознанию, к поиску истоков своего «я», пытаясь, по словам Шатобриана, «дотянуться до юности», до поры своего детства и даже младенчества. В частности, Э. Гиббон ставит вопрос о самых первых проблесках разума и соотношении их с чувственными ощущениями ребенка, обращаясь к собственным воспоминаниям. «О новорожденном... можно утверждать лишь одно:

“Он страдает, следовательно, чувствует”. В этом состоянии моего несовершенного бытия я все еще не осознавал себя и мир, мои глаза были открыты, но не могли видеть... разум, сия тайна и непостижимая энергия не обнаруживал своего присутствия... В течение моего первого года я оставался на ступени ниже громадной части животных тварей... Прошло по крайней мере три года, прежде чем я овладел тем, что составляет наши особенные привилегии – умение ходить и сознательно произносить отчетливые, ясные звуки. Тело развивается медленно, но разум – еще медленнее». Этот пассаж нельзя назвать типичным для жизнеописаний наших героев, мало кто из них был способен к таким сугубо научным наблюдениям над собой, но он, безусловно, характерен для общего умонастроения эпохи.

Приступая к осуществлению своего замысла – восстановлению первых воспоминаний о себе и собственных ощущениях, многие из них, как истинные дети своего века, критически оценивали возможность точно реконструировать события и впечатления, не привнеся в их трактовку более поздних знаний. Шатобриан мучается вопросом о том, какие из его воспоминаний действительно восходят к детству, а какие – плод позднейшего опыта<sup>468</sup>. Той же проблемой озабочен и Гиббон: «... природа ребенка так нежна, его клетки столь малы, что новые образы изгоняют из памяти первые впечатления. Без особого успеха я заставляю себя припомнить людей и события, которые должны были бы поразить меня. Перед моими глазами, однако, – лишь отдельные сценки детства... Но даже эта уверенность, быть может, обманчива и я просто повторяю то, о чем говорили позднее. Наши огорчения и радости, поступки и замыслы, относящиеся ко времени от рождения и до 10–12 лет, с нынешней нашей жизнью связаны весьма слабо. Рассказывать о жизни нам следовало бы, по здравому размышлению, лишь с отрочества»<sup>469</sup>.

Рефлексируют авторы и над сверхзадачей исследования собственного «я». Для одних, подобно Шатобриану, – это воскрешение его неповторимого индивидуального мира, «мира, ведомого лишь мне одному», которое не должно подвергаться обобщению (выражаясь языком современной науки, это микроисторическое исследование уникального явления – человеческой личности). Для других же автобиографические изыскания ценны, поскольку позволяют делать умозаключения обо всем человеческом роде, то есть обобщать. И. В.



Гёте говорил о своей автобиографии: «Отдельные факты, пересказанные мною, служат лишь для того, чтобы подтвердить общее наблюдение, более высокую правду... Любой факт нашей жизни ценен не тем, что он достоверен, а тем, что он что-то значит»<sup>470</sup>.

В XVIII в. происходит очевидная смена парадигм в трактовке детства; большинство цитируемых ниже авторов осмысливают его не как этап мистического путешествия души к Богу, а в качестве чрезвычайно важного периода становления независимой и разумной личности, обладающей неповторимой индивидуальностью. Справедливости ради надо отметить, что традиционная средневековая парадигма в отношении к детству сохраняется, конечно, и в XVIII в., будучи характерна для глубоко религиозных людей (независимо от их конфессиональной принадлежности), подобных испанской монахини Марии де Сан-Хосе или английскому квакеру Джону Вулману<sup>471</sup>, жизнеописания которых вполне могли бы быть приписаны авторам XVI—XVII вв. или даже более отдаленного Средневековья. Они содержат весь набор элементов, характерных для дидактической морализующей автобиографии: признание собственной детской греховности и преодоление ее, угрызания совести и ужас перед наказанием, видения и непосредственные контакты с Богом, Девой Марией и святыми и т. д. Но уже не эти памятники определяют в XVIII в. общую тональность воспоминаний о детстве.

В противовес средневековой концепции греховного детства, начинающегося уже как бы в состоянии «изгнанности» из Рая, в скорбной земной юдоли, где слабую детскую душу терзают страхи и недуги, авторы эпохи Просвещения вслед за Руссо создают образ детства, мирно протекающего в некоем земном раю, в естественном состоянии безмятежности, любви и ласки. Сам Руссо в своей «Исповеди», вспоминая ранние годы и «простоту сельской жизни», утверждал, что она исключала появление у ребенка вздорных причуд, капризов или злобных чувств. В окружении любящих людей, друзей, среди игр расцветали только лучшие склонности его души. Почти в тех же выражениях вспоминает свою жизнь «дикаря» в прекрасной сельской Англии Т. Де Квинси, и К. Линней ностальгически описывает тихий садик пастора, где среди цветов и деревьев прошли его ранние годы<sup>472</sup>.

Однако каждому из авторов пришлось пережить своеобразное «изгнание из рая» – в большой мир, устроенный по жестоким законам, в котором царствовали несправедливость, суровая регламентация и дисциплина. Для многих таким качественным рубежом стал отъезд из дома и поступление в школу. Превратившись впоследствии в выдающихся ученых или литераторов, необыкновенно высоко ставивших образование, они тем не менее резко негативно отзывались о мире школы и муштры, особенно невыносимой после домашней свободы. Для Карла Линнея – это место, где царствовали «учителя» с их «варварскими методами», от которых «волосы вставали дыбом», для Руссо полученное им формальное образование – «всякая ненужная дребедень», для Гиббона школа – «пещера страха и печали», а Шатобриану коллеж кажется клеткой.

Для некоторых авторов знакомство со «свинцовыми мерзостями жизни» началось еще раньше: с первыми проявлениями несправедливости или жестокости со стороны окружающих, нарушивших гармонию детского мира. Для Руссо «концом детства» было незаслуженное наказание, которому подвергли их с кузеном. Разочарование, ненависть, утрата былого уважения к взрослым, ожесточение ребенка, «всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое», – вот спектр эмоций, порожденных этим событием. Дети еще «не изгнаны из рая», но уже «перестали им наслаждаться».

Жестокость, проявленная нянькой по отношению к младшей сестре Т. Де Квинси, к тому же больной и умирающей, стала тем потрясением, которое знаменовало «утрату рая» для него, – «первый проблеск истины о том, что я нахожусь в мире зла и борьбы».

В отрочестве и юности зло нередко персонифицировалось в грубых тираничных хозяевах или наставниках, прибегавших к побоям и унижительным публичным наказаниям, что порождало в ответ ложь, притворство, воровство и, как резюмировал Руссо, «склонность к нравственному падению», несмотря на самое «благоприятное воспитание», полученное в раннем детстве. Однако противостояние внешнему миру только начиналось, и в нем герои могли опереться и на добрые примеры родителей, близких, находили поддержку в чтении книг, изменявших их взгляды на мир, в творчестве. В постоянной

борьбе с собой и с внешними обстоятельствами складывалась неповторимая индивидуальность каждого из авторов жизнеописаний.

Предаваясь углубленному самоанализу, многие из авторов перечисляли черты, определившие в конечном итоге их характер, размышляя при этом над соотношением врожденных и приобретенных свойств. Если попытаться составить совокупный психологический портрет молодых людей того времени на основе их автобиографий, окажется, что всем им свойственны упорство, стремление к справедливости, гордость и болезненная чувствительность к позору, чувство внутренней свободы, нетерпимость к «ярму и рабству» и в то же время – мягкость, «нежность сердца», чувственность в сочетании со стыдливостью. Как правило, все они стремятся к знаниям, любят читать, большинство наделены богатым воображением и творческими способностями. Перечень этих качеств, казавшихся нашим мемуаристам уникальными, подозрительно напоминает характеристики литературных героев, действовавших в романах XVIII в. Трудно не заподозрить, что в данном случае мы сталкиваемся с ситуацией «двойного подражания»: в детстве оно выразилось в стремлении уподобиться персонажам любимых книг, а в зрелые годы – в использовании литературных клише и расхожих образов при написании автобиографии.

Наряду с прославлением человеческого разума, XVIII в. стал эпохой оправдания безудержных страстей и эмоций, апологии которых способствовали как научные труды Беркли и Юма, так и вездесущие романы с их сентиментализмом. Зарождение в раннем детстве первых эмоций, первые «опыты горя и радости» вызывают неподдельный интерес наших авторов. Среди ощущений, испытанных почти во младенчестве, некоторые из них называют чувство теплоты, проистекавшей от окружающих, безмятежности и безопасности. (Впрочем, для менее здоровых или благополучных детей это могло быть ощущение физической боли.) Томас Де Квинси, относившийся к первой категории, объяснял состояние покоя и удовлетворенности незрелостью самих младенческих чувств, а также изолированностью ребенка в раннем возрасте от остального мира, откуда он почти не получал впечатлений. В его собственной жизни этот этап продлился до шести лет, когда к нему пришло внезапное понимание того, что окружающие его любовь и безмятежность – не вечны, более того, не

вечна сама жизнь, ибо он стал свидетелем смерти своей сестры. Сцена прощания с ней, которую маленький мальчик устроил сам тайком от взрослых, – одна из самых трогательных в его автобиографии.

Смерть близких часто и грубо вторгалась в жизнь ребенка, порождая неизбежные страх и скорбь по близкому человеку, покинувшему бренный мир. Однако встреча со смертью не вызывает в воображении детей XVIII столетия ассоциаций с адом, дьяволом, демонами, увлекающими души в бездну, не заставляет воображать картину Страшного суда – что было так естественно для религиозного сознания предшествующей эпохи. В XVIII в. маленький мальчик, разглядывая облака, видит в них колыбельки умерших младенцев, поднимающиеся на небеса к Господу, – сентиментальный образ, порожденный сентиментальным веком, эстетизирующим даже страдание и смерть. С другой стороны, переживания по поводу ухода кого-то из близких – родителей, сестры или брата – могут быть очень глубокими. Традиционные для Средневековья благочестивые рассуждения о том, что душа покойного скоро воссоединится с Богом, не всегда способны утешить ребенка, чувствующего себя одиноким и покинутым.

Утраты оплакивали, не стесняясь проявлений своего горя и потоков слез, и взрослые, и дети. Никогда прежде не встречалось в жизнеописаниях такого множества эпизодов, рисующих отчаяние и грусть отца, потерявшего жену и переносящего на ребенка свою любовь к супруге, или, напротив, меланхолию безутешной матери. Очень эмоционально переживали смерть матери и супруги Руссо и его отец: «Когда он целовал меня, то по его вздохам, по его судорожным объятиям я чувствовал, что к его ласкам примешивается горькое сожаление, но от этого они становились еще нежнее. Когда он говорил мне: “Жан-Жак, поговорим о твоей матери”, я отвечал ему: “Значит, мы будем плакать, отец”, и эти слова вызывали у него слезы». Но не всегда дети могли разделить свою скорбь со взрослыми, страдая сильнее их из-за невозможности осмыслить произошедшее и опереться на жизненный опыт, которым они не обладали. Де Квинси точно подметил, что обостренное ощущение одиночества – «самое глубокое детское чувство под гнетом горя».

Эмоциональное пробуждение ребенка могло быть связано и со вполне счастливыми событиями, сулившими восторг и интересные впечатления, но, как подметил Де Квинси, они были «нарушителями

безмятежности»; бурные страсти, поджидавшие впереди, знаменовали собой наступление очередного этапа – отрочества и юности.

Шатобриан заметил удивительно точно: страсти «приходят вместе, как музы или фурии», внезапно обрушиваясь на молодого человека. Диапазон переживаемых эмоций был чрезвычайно широк – любовь, страх, робость, честолюбие и неудовлетворенность собой, ревность, меланхолия, жажда самоутверждения и крушение надежд, доводящее, например, юного Шатобриана до попытки самоубийства (еще одна крамольная мысль, едва ли возможная в XVI или XVII в., как и рассказ о ней).

Страстность, порывистость, непоследовательность постоянно сопутствуют юношеским поступкам. Руссо прекрасно выразил это: «У меня очень пылкие страсти, и, если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью: тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия; я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым; стыд не останавливает меня, опасность не пугает; кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновение, и вслед за тем я впадаю в оцепенение. Застаньте меня в спокойном состоянии, я – воплощенная вялость, даже робость; все меня тревожит, все отталкивает, пролетающая муха пугает меня; сказать слово, сделать движение – мысль об этом приводит в ужас мою лень; боязнь и стыд до того порабощают меня, что я хотел бы исчезнуть с глаз людских...»<sup>473</sup>.

В XVIII столетии мир окружающей живой природы, кажется, начал вызывать более горячий отклик в детских душах, чем прежде, занимая немало места в автобиографиях, и это нельзя приписать целиком влиянию на авторов модной концепции «естественной» сельской жизни или литературных клише. Рустический идеал Руссо еще не был провозглашен, когда Карл Линней, возвращенный, по его словам, в саду «с дивными деревьями и редчайшими цветами», зачарованный ими, посвятил себя этим растениям, систематизацией которых занимался потом всю жизнь. Интересно его замечание, что тяга к цветам каким-то образом была уже заложена в его душе, их красота задела в ней «ту струну, которая всего сильнее была натянута». Опоэтизированное восприятие природы проявилось у него, одного из самых рационалистически настроенных умов эпохи, в описании пейзажа его

родных мест – озер, равнин, хлебных полей и буковых лесов, а также в довольно необычном для автобиографии зачине, повествующем о рождении героя «в самый расцвет весны, когда кукушка выкликает лето, как раз во время молодой листвы и месяцем цветов». Для него, как и для многих других, расставание с садом детства и «обучением среди цветов» стало первым горем и означало окончание периода безмятежности и покоя.

Умозрительные построения Руссо, певца здоровой деревенской жизни, по-видимому, также опирались на вполне реальный детский опыт, оставивший заметный след в его воспоминаниях, – увлеченное участие в посадке орехового дерева, а потом и “собственной” ивы, ради которой они с кузенком предприняли героические усилия по строительству водопровода; волнения за судьбу ростка и убежденность в том, что вырастить живое дерево – подвиг больший, чем победа в детских бранных играх.

В глубоком благоговении перед распускающимися весной крокусами признавался Т. Де Квинси, утверждая, что это зрелище запечатлелось в его памяти, когда ему было всего два года.

В воспоминаниях всех вышеупомянутых авторов природа демистифицирована – она фигурирует не как часть божественно устроенного мира, отражающая красоту и самого Творца, и его замысла, а в качестве вполне реальной окружающей среды. Это подчеркнуто «земное» отношение к красоте, никак не связанное с ее религиозным осмыслением, даже стало предметом размышления Де Квинси: «Последнему<sup>474</sup> я не нахожу объяснения, ибо ежегодное возрождение растений и цветов действует на нас обычно только как оживление воспоминаний или предзнаменование неких перемен высокого порядка, поэтому и связывается с идеей смерти, – в то время как о смерти я не мог тогда иметь вообще ни малейших представлений». Его устами человек XVIII в., хотя и не без колебаний, признавал, что непосредственная детская радость от встречи с природой может быть порождением естественных ощущений, а не имманентно заложенных в сознании образов.

Во второй половине столетия воспевание природы и использование пейзажа для характеристики душевного состояния героя становится до такой степени общим местом в литературе сентиментализма и романтизма, что трудно не заподозрить их влияния на

автобиографические заметки авторов рубежа XVIII—XIX вв. Описания любимых с детства ландшафтов и сцен единения с природой становятся в них все более пространными и подчас выполняют самостоятельную художественную задачу – подчеркнуть утонченность и восприимчивость натуры мемуариста. Это в полной мере можно отнести к запискам Шатобриана, которого душевные переживания то гонят в бурю на крышу замка, чтобы подставить лоб потокам дождя, подобно романтическому герою, то заставляют «элегически» бродить по безлюдным лесным дорожкам и встречать закат среди древних дольменов – «священных камней друидов». Исполненный печали, он прячется в тайном убежище, сплетенном в ветвях ивы, слушая «вздохи соловья и шепот ветра». Зрелый автор говорит о своем юношеском томлении с долей самоиронии, указывая на литературную обусловленность своих страданий в ту пору и не скрывая, что в реальности живая природа нарушала его меланхолическое настроение: «Вечерний ветер... вересковый жаворонок, садившийся на камень, призывали меня к действительности». С другой стороны, многие из воспоминаний Шатобриана, связанные с природой, основываются на подлинных и, несомненно, менее утонченных впечатлениях детства: это радость, охватывавшая его в лесу, желание скакать и дурачиться на приволье, лазанье на дерево за сорочьими яйцами, любовь к охоте – блуждание по полям и вересковым пустошам с собакой, азарт, заставляющий часами поджидать уток, стоя по пояс в воде, радость при виде живописного морского побережья Бретани. Эти эмоции выливались в юношеские стихи автора о природе, которые он читал любимой сестре, всячески поощрявшей его, – доказательство того, что он был не одинок в своих восторгах.

И все же философская рефлексия сопутствовала восприятию природы и попыткам понять ее законы: неизбежную смену сезонов года, неумолимость смерти живого и его последующего воскресения. И если в душе юного Шатобриана эти мысли рождала осенняя пора, исполненная, по его словам, «нравственного смысла», являя картины угасания и иллюзорности бытия, то у Де Квинси те же реминисценции причудливым образом рождало лето. Его анализ возникновения у ребенка таких необычных ассоциаций крайне любопытен; по мнению Де Квинси, на него оказала огромное влияние смерть сестры, произошедшая летом, а также очень ранние детские воспоминания о

чтении Библии вместе с няней, во время которого он живо воображал себе сцены распятия и воскресения Христа среди знойных пейзажей Палестины. «Антагонизм между тропической избыточностью жизни летом и холодным бесплодием могилы» укрепил в сознании ребенка связь между понятиями «лето» и «скорбь смерти».

В рациональном и одновременно сентиментальном XVIII в. мемуаристы, занимающиеся самоанализом, увлеченно исследуют и первые порывы, и страсти, вызванные любовным влечением. В отличие от предшествующего столетия об этом предмете рассуждают без ложного смущения, однако с той долей целомудрия, которая может удивить современного читателя, знакомого, благодаря художественной литературе, с нравами «галантного века».

Большинству авторов – выходцев из благородных дворянских или добропорядочных буржуазных семейств – с детства прививались идеалы сдержанности, благонравия и добродетели, основными носительницами которых в доме выступали женщины – матери, сестры, родственницы. Не случайно Шатобриан упоминал, что, когда его начали волновать привлекательные взрослые дамы, образы матери и сестры, тут же возникавшие в его воображении, сообщали чистоту и другим женщинам, окутывая их пеленой недоступности, внушая робость и превращая его несмелые порывы в «братскую любовь».

Однако добродетель уже не предполагала аскетизм, а благонравие не требовало подавления эмоций, в том числе и влечения к противоположному полу. Зарождение чувственности в юном возрасте осознавалось как нечто естественное, вытекающее из человеческой природы. Гиббон как человек ученый спокойно рассуждал о предмете, который ужаснул бы религиозных пуританов любого толка столетием раньше: о том, что в основе взаимной симпатии братьев и сестер может лежать подспудное половое влечение, которое в данных обстоятельствах находит выражение лишь в платонической любви, но готовит душу к пробуждению более сильной чувственности. Руссо в своей «Исповеди» пошел еще дальше в рассказе о «первых проявлениях своих чувствований», относившихся к восьмилетнему возрасту и связанных с образом взрослой и недоступной м-ль Ламберсье, заменявшей ему мать и наставницу. Неожиданное удовольствие, испытанное им в детстве, когда она подвергла его физическому наказанию, судя по всему, наложило глубокий отпечаток



на всю последующую эмоциональную и сексуальную жизнь молодого Руссо, трепетавшего перед своими возлюбленными и неизменно выступавшего в роли бессловесного и робкого вздыхателя, находившего привлекательность в несколько пониженном положении. Он же делает весьма тонкие наблюдения об оттенках чувств, внушаемых ему двумя другими молодыми дамами: в то время как влечение к одной из них подстегивало его честолюбие, поскольку ее обожало общество, а интеллектуальное соперничество с нею льстило молодому Жан-Жаку, другая казалась более соблазнительной, порождая физический трепет.

Смутную потребность в любви рано или поздно осознавали и другие авторы, даже не имея перед глазами достойного предмета, на который ее можно было бы излить, что вызывало у одних сентиментальную грусть, а у других бурный полет фантазий. Огромную роль в стимулировании ранней чувственности играло чтение – не только сентиментальные романы, но и античные трагедии и даже исторические сочинения, в которых юные читатели находили «соблазнительные описания душевного смятения» героев. Для этого не требовалось обращения к фривольной или откровенно скабрёзной литературе, в избытке поставляемой веком. Робкий Руссо, зная о существовании этих книг, которые читали даже дамы, не покупал их, а Шатобриану «очарование представительниц иного пола» открыла классическая литература – Гораций, «Энеида» Вергилия, дидактический «Теле-мак». Воспламененное воображение помогло Шатобриану создать образ идеальной возлюбленной, сочетавшей в себе черты античных богинь, красавиц восточных сказок и романтических легенд, с которой он мысленно переносился в иные эпохи и земли, изобретая фабулы заманчивых приключений. В его мечтах «они посещали знаменитые развалины Венеции, Рима, Афин, Мемфиса, Карфагена... наслаждались счастьем под пальмами Отаити, в благоухающих рощах Амбуана и Тидора... поднимались на вершину Гималаев... спали на берегах Ганга... меж тем как бенгалец... пел свою индийскую баркаролу».

Увлечение душещипательными романами и желание оказаться на месте героя, переживая бурю страстей, составляющие ныне привилегию почти исключительно женщин, в XVIII в. были свойственны всем, и в этом убеждают не только прямые признания

Руссо и Шатобриана, но и трогательная сцена, изображающая, как мальчик Жан-Жак и его вдовец-отец просиживают ночи напролет за чтением романов, отвлекаясь от них лишь с наступлением утра.

Прогресс образования и распространения книжной культуры во всех слоях общества в XVIII в. превратил чтение в один из любимых досугов детства и юности (заметим, что речь идет именно об удовольствии от художественной литературы, в противовес обязательному «серьезному» чтению Св. Писания, вменявшемуся в обязанность юношеству в кругах «благочестивых» всех конфессий в XVII в., в котором мы почти не встречаем упоминания о любимых книгах). При этом разнообразная по характеру светская литература также оказывала глубокое влияние на формирование личности ребенка, в чем неоднократно признавались авторы жизнеописаний. Руссо, например, связывал свойства своей натуры с чтением классических произведений – исторических сочинений, которым он был обязан «римским характером», а также с уже упоминавшимися романами, привившими ему «чувствительность». Гиббон утверждал, что он раннюю неодолимую любовь к чтению не променял бы на все сокровища Индии. Знаменитый Бенджамен Франклин, работая в юности над собой и собственным литературным стилем, опирался на книги великих авторов древности, а также властителей дум его века – просветителей: Локка и постоянных авторов «Зрителя» Дж. Аддисона и Р. Стила<sup>475</sup>. Одержимый страстной любовью к книгам Де Квинси навсегда убежал из школы, унося в одном кармане томик английской поэзии, а в другом – Еврипида. Во всех случаях мы сталкиваемся с книгами, изменившими самую жизнь наших мемуаристов, ставшими источником их жизненных идеалов, социально-политических идей, знаменовавшими определенный этап в становлении молодой личности, определив на всю оставшуюся жизнь ее профессиональные пристрастия (как чтение философских трудов для Дж. Вико;<sup>476</sup> Геродота, Ксенофонта и Тацита – для Гиббона и т. д.).

Мальчик из благородного семейства Э. Гиббон, окруженный гигантскими фолиантами; подмастерье Руссо, тративший все деньги на книги и не брезговавший ради этого мелким воровством; ученик печатника Франклин, экономивший на еде и читающий в перерывах между работой злободневные политические памфлеты, жуя при этом сухари; шевалье Шатобриан с его романами и восточными сказками –

одним словом, «человек читающий» – вот собирательный образ юного существа эпохи, справедливо названной веком Просвещения.

Почти все наши авторы, единодушно проклиная школу, были тем не менее (за редким исключением) учениками «с первой скамьи». Образование большинства было классическим, а уровень владения латинским и греческим языками – чрезвычайно высок: Де Квинси к 15 годам свободно говорил и писал стихи на греческом, Кольридж, Шатобриан – на латыни и родных языках (хотя последний и признавался в трудностях с чтением на первых порах). Сомервиллю было невозможно угодить в преподавании языков, его постоянно не удовлетворяли методики и уровень знаний наставника. Дж. Вико был фанатично предан изучению логики, а Гиббон – истории. Заметно также увлечение молодых людей XVIII в. естественными науками – медициной, анатомией, ботаникой, математикой.

Другая их особенность – стремление к самовыражению в творчестве. Наиболее распространенной его формой была поэзия, которой увлекались как аристократы, так и ремесленник Б. Франклин, пробовавший себя и в злободневной политической прозе. Руссо с одинаковым жаром предавался «механическим искусствам» – мастерил игрушки и повозки, изготавливал марионетки – и сочинял проповеди в подражание взрослым. Законная гордость успехами в типографском искусстве сквозит в автобиографиях Хэнсэрда и Франклина. Творческий склад и живость воображения проявлялась также в увлечении театром и музыкой. Упоминаний об этих сторонах детской натуры мы почти не встречаем в XVII в.

Индивидуализм и жажда самоутверждения, присущие годам отрочества и юности, в XVIII в. также находят новые формы выражения: наряду с извечным соперничеством детей в силе и ловкости, с драками, перебранками и коварными проделками, мы встречаем у наших авторов воспоминания об ораторских состязаниях, теологической и научной полемике в школах, университетах, риторических и философских обществах. Нередко при этом не столь важен был предмет полемики, сколько победа в поединке. Так, Бенджамен Франклин азартно спорит с товарищем о женском образовании не потому, что уверен в его необходимости, а потому, что хочет во что бы то ни стало одержать верх. И все же сами

интеллектуальные формы, в которые облекается это соперничество, симптоматичны и представляются яркой чертой эпохи.

Заметно также и проявление очень раннего интереса к политике у ряда наших авторов (Хэнсэрд, Сомервилль, Гиббон), обусловленное, несомненно, активной вовлеченностью в нее взрослых, окружавших ребенка. Чего стоит, например, признание Э. Гиббона, что одно из самых ранних воспоминаний его детства – имена соперников его отца в предвыборной борьбе!

Таким образом, в эпоху Просвещения радикально меняются как подходы к детству, отрицающие средневековую религиозную парадигму, так и сами дети. Пора детства осмысливается прежде всего как путь к самому себе – к уверенной в собственных силах, разумной, универсально образованной и творческой личности, неповторимой в ее индивидуальных чертах. При этом детство расценивается как важнейший этап, на котором закладываются все основные свойства человеческой природы. Э. Гиббон назвал взросление ребенка еще и продвижением к свободе: «Свобода есть первая потребность нашего сердца... первый дар нашей природы... мы становимся свободнее, подобно тому, как становимся старше». Как и многие мыслители Просвещения, под истинным освобождением человека он подразумевал его способность независимо осуществлять свой жизненный выбор, руководствуясь разумом. Эта мысль перекликалась с призывом И. Канта: «Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-нибудь другого... Имей мужество пользоваться собственным умом!»

Трактовке детства в XVIII в. свойственны диалектичность и историзм: главное внимание обращается на непрерывность развития человеческой личности и ее противоречивую природу, при этом перспективы ее совершенствования оцениваются весьма оптимистично.

*Ольга Дмитриева*

## Мария де Сан-Хосе (1656–1719)

Сочинение мексиканской (новоиспанской) монахини августинианского ордена Марии де Сан-Хосе (в миру Хуаны Паласио) было написано по частям в 1703 и последующие годы по просьбе ее духовного отца и исповедника Пласидо де Олмедо и выдержано в жанре духовной автобиографии. Это вызывало две основные особенности изложения. Во-первых, автор, в силу доминирования внешней мотивации и периодического контроля над ходом работы со стороны духовника, была ограничена в выборе тем повествования. В тексте встречаются оговорки, указывающие на то, какие требования или пожелания предъявлялись с его стороны к общей направленности и конкретному содержанию автобиографии; имеются и прямые обращения к духовному отцу. Во-вторых, в сочинении явно преобладает морально-этический пафос. Собственно, как и всякая исповедь, данное сочинение изначально нацелено на покаяние в совершенных грехах, а также на поиск истоков человеческой греховности. Эта сторона здесь однозначно доминирует над анализом позитивных аспектов духовного опыта. В силу сказанного, оценки, даваемые автором тем или иным действиям, совершенным ею в прошлом, даже более ярко характеризуют ее мировоззрение и личность в целом, чем сами эти действия. В ряде случаев такие оценки могут удивить современного читателя, тогда как действия, намерения и помыслы, подвергаемые автором осуждению с точки зрения критерия греховности, представляются нам естественными.

В особенности это касается периода детства Хуаны. Так, монахиня вспоминает, как примерно в одиннадцать лет ей стало нравиться наряжаться и уделять внимание своему внешнему виду. И это видится нам сейчас вполне естественным явлением, необходимым, даже немного запоздалым модусом развития девочки. Однако вслед за этим признанием монахиня обрушивает шквал критики на тягу женщин к красивым нарядам и украшениям; и любопытно, что при этом она отчасти проецирует свои новые воззрения со всем комплексом глубоких морально-этических оценок на себя – одиннадцатилетнюю

девочку. Неправдоподобность такого переноса системы ценностей на детский возраст оттеняется лишь тем фактом, что сама эта система была в высшей степени характерна для испанского мира в ту эпоху, когда жила Мария де Сан-Хосе. Речь идет о средневековой по существу и христианской по истокам и содержанию системе ценностей, надежнейшим оплотом которой на рубеже XVII–XVIII вв. выступала Испания со своими колониями, – системе, опиравшейся по преимуществу на те страницы Священного Писания, где, к примеру, в укор женщинам ставилось заплетение кос.

В рассказе Марии де Сан-Хосе мы сталкиваемся с несколькими разрозненными впечатлениями и сценами ее детства. Но это не мешает выстроить целостный образ впечатлительной и ранимой девочки, большую часть сознания которой занимают фигуры отца, матери, старшего брата. На первом плане фигура отца, образ которого в значительной степени идеализирован, и утрата которого травмировала Хуану даже больше, чем она сама признается в этом. Смерть отца можно рассматривать как основной фактор, предопределивший духовную биографию рассказчицы. По-видимому, именно внутренний диалог девочки с отцом, молитва за него стимулировали ее добровольный уход от мира. Не менее ярок абсолютно идеализированный образ матери, которую девочка потеряла также в раннем возрасте. Пример матери, несомненно, сыграл решающую роль в выборе духовной модальности поведения и ориентации сознания её дочери.

Язык, которым написана духовная автобиография сестры Марии, прост и, как правило, исчерпывается стандартной бытовой и церковно-канонической лексикой. Орфография, что необходимо отметить, в обоих случаях слабая: по существу, речь идет об относительной неграмотности автора и небрежности рукописи<sup>477</sup>. Крайне примечательно, что стилистика текста и, соответственно, уровень его сложности меняется при переходе автора от рассказа о своем прошлом к рассуждениям этического или отвлеченного свойства. В последнем случае в тексте появляются нехарактерные для обычной авторской речи усложненные обороты и церковно-канонические штампы; и это неоспоримо свидетельствует о наличии двух разных слоев в сознании автора: обывательского и религиозного, или же – с другой точки зрения – естественного и наносного. Обращаясь к

психоаналитическому языку, можно сказать, что два эти слоя соответствуют двум формам идентичности, или самоидентичности, – Эго и Супер-Эго. И здесь мы сталкиваемся с самым непосредственным выражением конфликта между двумя этими составляющими человеческой личности: Эго действует и вспоминает, Супер-Эго судит и оценивает<sup>478</sup>.

## [Духовная автобиография]

Среди великих милостей, которые Господь Бог наш оказал мне – и одна из самых больших милостей, – то, что я была внучкой и дочерью истинных христиан. Мне помнится, хотя тогда я была тяжело больна, что я слышала, как моя мать говорила, будто мои дедушки и бабушки, все четверо, были *кочупинами* из Испании<sup>479</sup> и что они участвовали в завоевании здешних индейских царств. Мне не довелось знать их лично. Моего отца звали Луис де Паласьио-и-Солорсано, мою мать – Антония Верруэкос. Они оба были очень богаты нажитым капиталом, хотя с течением времени он таял, как и все земное и преходящее в этой жизни. Моя мать родилась и выросла в Пуэбле, в Лос-Анжелесе, где всегда жили ее родители. И поскольку они были так богаты, имея много сокровищ – больше, чем мой отец, хотя у него они тоже были, – велика была та часть, которую они ему выделили.

Моя мать вышла замуж в возрасте 15 лет. После того как закончились свадебные торжества, мой отец увез ее в одно из двух своих поместий, которые у него были в долине Тепеака. Бог наградил ее многими достоинствами, помимо того, что она была очень хороша собою. Будучи совсем еще девочкой, она одевалась как женщина в возрасте, в чем вполне угадывалась великая ее добродетель, и ей не о чем было говорить с людьми, которые оной не имели, и никогда не допускала она лишних разговоров; и во всем она показывала большое разумение, которым обладала. Она очень почитала Пресвятую Богородицу и часто приобщалась к Святым Таинствам. За время своей жизни довелось ей преодолеть многие и великие труды и болезни. Все это она переносила с великим терпением. В этом и была добродетель, которая более всего ее отличала. Всем нам мать давала великий пример и наставление. С того дня, как мой отец привез ее в поместье,

когда, как я уже сказала, ей было 15 лет, больше он уже никуда не увозил ее из дома.

В поместье были очень хорошие дома и богато украшенная часовня. На нее была лицензия, чтобы в ней можно было проводить богослужения. После того как у моей матери родилась первая дочь, она послала моего отца к господину епископу Пуэблы просить эту лицензию, которая тогда была нужна, чтобы в этой часовне можно было крестить. Когда лицензия была получена, та приняла крещение с большим удовольствием от моего отца, и так было со всеми детьми, которые рождались у моей матери и которых в общей сложности вместе со мной было одиннадцать. Двое умерли еще маленькими, осталось у нее восемь дочерей и один сын – то есть в общей сложности девять. Звали их: Томас – он был старший, Августина, Анна, Элеонор, Франсиска, Мария, Хуана – последняя была я, в монашестве же мое имя сменилось с Хуаны на Марию. После меня у моей матери были еще две дочери – Исабель и Каталина. Все были крещены в часовне поместья.

Все мы стали большими, но ни одна еще не прошла конфирмацию к тому времени, когда Господь забрал к себе моего отца. Спустя некоторое время после смерти моего отца случилось, что один епископ проходил по нашей долине, которая лежала на пути в его епархию. Он остановился в селении Тепеака, где совершал конфирмации. Моя мать, желая, чтобы мы прошли конфирмацию, собралась в путь и взяла нас всех с собою в это селение, которое находилось неподалеку от поместья. Там мы все милостью Божьей прошли конфирмацию, кроме Томаса, который сделал это еще раньше. Это было большой отрадой для моей матери. Как мне помнится, тогда мне было уже более 12 лет. В тот день мы исповедовались и причастились Святых Тайн.

Все дети вполне походили на своих родителей, по милости Господа Бога нашего, в том, что были добродетельными, за исключением меня, оказавшейся совсем не похожей на них, хотя я всех более была обязана стать такой, и задатки, которыми наделил меня Господь, были добрыми. Я все их растеряла, позволяя себе идти на поводу у своих страстей, которые сокрушительно возрастали с годами. Благословен будь Боже, что ждал меня так долго.

Мать моя растила восьмерых своих дочерей и сына с большим усердием, а мой отец помогал ей воспитывать нас добрыми



христианами. Как я сказала, оба они были друзьями добродетели и хороших книг, по которым и нас учили читать. Мою мать Бог наделил великим даром уметь делать вещи интересными, и в ней было все, что необходимо матери, чтобы воспитывать своих детей. Всех нас она научила читать и, в конце концов не было необходимости, чтобы нас обучали чему-либо учитель или учительница, за исключением моего брата Томаса, которого, уже повзрослевшего, отец послал в город Пуэблу в дом одного из своих родственников, чтобы он там учился. Он оставался там в обучении, даже когда стал совсем взрослым. Видя, что у него нет склонностей ни к Церкви, ни к какому другому занятию, отец вернул его домой, чтобы тот помогал ему в работе на земле, которая у него была.

И это было предначертание свыше: ведь Богом уже был предопределен уход моего отца, и всех нас семерых он оставил без поддержки и каких-либо средств к существованию и мою мать – обремененной долгами и вдобавок такой большой семьей. Что до моего брата Томаса, он и был, и остается таким добродетельным, ведь он стал поддержкой и опорой для моей матери и для всех нас, это он дал нам средства к существованию. После всего ему достались и им поддерживаются два поместья, которые мой отец оставил нам после смерти – Господь наградит его своей великой милостью. Мой отец умер по-христиански в субботу, в день рождества Пресвятой Богородицы 1667 г. [480](#) Моя мать пребывала в великой скорби и одиночестве, хотя и с покорностью приняла волю Господа Бога нашего. Когда мой отец умер, мне было десять лет и пошел одиннадцатый.

Здесь я хочу сказать несколько слов о том лучшем, что я нашла в своем отце за то короткое время, которое мне довелось с ним общаться. Насколько я знала его, он всегда был молчалив, ни о ком не говорил дурного, напротив – хорошо обо всех. То небольшое время, которое у него оставалось от работы в поместье, он проводил за чтением житий святых. И мой брат вырос большим любителем чтения и очень увлекался чтением добрых книг еще с малых лет. Никогда он не имел склонности к книгам, которые не были бы поистине полезными. При отце было так, что всегда, когда он, находясь дома, читал, моя мать и все мы располагались в гостиной – одни вышивали, другие пряли, третьи ткали – безо всякого шума, без единого слова,

чтобы все внимали тому, что он читал. Очень мне пошло во благо слушание этих деяний святых, в особенности святых мучеников, о чем я потом еще скажу в свое время. Моему брату это святое занятие настолько вошло в привычку, что после смерти моего отца он, прямо как входил, брал книгу в свои руки и начинал читать. Он не имел другого развлечения.

Продолжу говорить о своем отце. Он всегда постился по четвергам и субботам, не говоря уже о Великом посте и канунах Великих праздников. После того как прошла суматоха, связанная с его кончиной, решила я открыть сундук, который принадлежал ему, и нашла в нем два кремня, которые, как я знала, он использовал. Мне они потом служили многие годы. Я проводила большую часть ночи стоя на коленях в молитве, так что и не знала, в котором часу уходила к себе, было ли то в полночь или позже. Я бы могла сказать здесь и о многом другом, но от меня не требовалось, чтобы я говорила более, чем то, кем были мои родители и какое воспитание они мне дали... [481](#)

Нынче, за два дня до Рождества Госпожи нашей в этом самом году, в котором мы живем<sup>[482](#)</sup>, стояла я на моленье общины в хоре и была очень далека от того, чтобы просить о душе отца моего; и просила о совсем других нуждах Пресвятую Богородицу. И тут я почувствовала очень близко от себя душу моего отца. Потом я поняла, что он приходил не во славе, хотя и не видела, в какой форме. Он только дал мне понять, что еще не находится в покое. Он сказал мне следующее: после мессы, которую ты мне закажешь в алтаре Госпожи нашей в день Ее Рождества, я покину чистилище, и душа моя будет в покое.

О Господи, найдется ли у кого способность, чтобы описать все, что я при этом почувствовала: великую радость видеть, что он спасен, и, с другой стороны, горечь и муку от осознания того, что многие годы он провел в страданиях! И видя, и радуясь Господу Богу нашему в силу того, что я тогда почувствовала, я не могла сомневаться, что все от Бога, но всегда с тем страхом и опасением, как бы не впасть в искушение от лукавого...

После всего этого, разговаривая в исповедальне с Вашим Преосвященством и рассказывая о случившемся со мною, тут я начала опасаться и сомневаться, не было ли это каким-то искушением от лукавого или воображением моей головы. Потом я почувствовала Господа нашего – так, как я описала это раньше. И чуть дальше я

увидела душу моего отца, и, как мне показалось, он был уже во славе небесной. И тогда мне сказала Пресвятая Богородица: «Не бойся, дочь Моя, то не искушение от лукавого. И чтобы ты увидела, как сильно Я тебя люблю, Я покажу тебе душу отца твоего во славе, чтобы ты имела утешением, что отец твой покоится с миром...».

Совсем не похоже на то, что я рассказала о душе моего отца, было то, что привиделось мне с душой моей матери, о которой я знаю точно, что Господь дал ей чистилище в этой жизни, ведь ей так много довелось пережить. Ибо в тот же день, когда ее похоронили, когда я находилась в хоре, молясь за нее Богу, Господь явил мне ее, и я увидела ее не постаревшей, какой она была, а совсем молодой, удивительно красивой, исполненной сияния. И она сказала мне, что уже на пути к вечному упокоению. И о многом другом, что тут произошло, я уже писала в тетради, которая находится у Вашей Светлости, и потому не стану излагать здесь всего этого<sup>483</sup>.

Я родилась в день святого евангелиста Марка 25 апреля (года 1654)<sup>484</sup>, и поскольку крестного отца звали Хуан, мне дали имя Хуана<sup>485</sup>. Когда же я приняла обет, мне дали имя Хуана де Сан-Диего. Позднее, когда подошло время вступления в орден, я попросила, чтобы мне сменили имя с Хуаны де Сан-Диего на Марию де Сан-Хосе, потому что так велико было мое стремление и желание сбросить с себя все мирское, что я почла за лучшее отказаться от имени, которое у меня было, и принять другое, как я и сделала.

После того как я родилась, моя мать сказала, что хочет растить меня одна, без помощи других женщин, как имела обыкновение в случае с другими своими чадами. Так она и сделала; так что я не взяла ни капли молока от другой женщины, кроме своей матери. Мне очень хорошо помнится, что даже когда мне было пять лет, и тогда еще я брала материнскую грудь. Все это она делала из-за решения не иметь другого ребенка. После того как я родилась, она стала молить Господа о том, чтобы он не давал ей нового ребенка, потому что была слишком измождена уходом за уже родившимися. Но Господь, который очень хорошо знает, что для нас лучше, не внял ее мольбам. И чтобы испытать ее покорность, притом, что я была пятой, послал ей других двух чад. Когда она почувствовала, что беременна, она была сильно огорчена, хотя всегда оставалась покорной воле Божьей. Несколько позже она отдала меня от себя, чтобы обо мне заботились мои

старшие сестры, и в особенности одна добродетельная девушка, которая также выросла в нашем доме.

Насколько мне помнится, в возрасте пяти лет я уже знала четыре молитвы<sup>486</sup>, которым научила меня моя мать, и меня сажали учиться писать по христианским текстам, которые сказались на моем воспитании больше, чем что-либо иное. Мне кажется, я могу сказать со всей правдивостью, что, еще до того, как я научилась ясно говорить обо всем, Господь вселил в меня равнодушие ко всему земному в этой жизни, и не было вещи, о которой я могла бы сказать кому-то, что она моя. Лишь в этом я находила покой.

Так как я осталась без опеки моей матери, я начала терять все то доброе, чему научилась от нее, пока она воспитывала меня. В нашем доме было много прислуги, и все жили как одна большая семья, и потому были девочки, с которыми мы веселились и озорничали; ведь все были моего возраста, с небольшой разницей, и они не причиняли мне вреда, кроме одной сиротки, которую вырастила хозяйка соседнего дома и которая приходила к нам в дом вместе с другими озорничать. Мне, как я уже сказала, исполнилось пять лет. Эта соседская девочка была старше меня; ей было семь лет. Мои сестры проявляли уже благоразумие, поскольку были уже большими. Те же две, которые родились после меня, были еще слишком малы. Я начала в этой компании девчонок терять и упускать все те добрые наклонности, которые имела, поскольку научилась злословить и ругаться и говорить некоторые слова, которые были не очень приличными. В играх и шалостях, которыми занимались все мы, маленькие девочки, без здравого смысла и понимания, я все растеряла, поддаваясь своим страстям, которые лишь усиливались с возрастом. Как это ни печально, когда мне исполнилось десять лет, я была такой озорной и веселой в этих играх и шалостях, что хуже некуда. Но это было потерянное время, потраченное впустую, и тем самым у Бога были связаны руки помочь мне и пролить мне свет разума, чтобы постичь это и понять, какую ничтожную жизнь я избрала на свою погибель.

Мне кажется, что я могу сказать, что в те десять или одиннадцать лет, которые я провела в такой жизни, в которой было больше животного, чем разумного человеческого начала, я не достигла такой сознательности, чтобы понять, что я оскорбляла Бога теми дурными

делами, которые совершала. Я даже не знала, что существует Бог, рай и ад, – так велико было тогдашнее мое невежество...

Итак, я говорю о дурных привычках и наклонностях, которые у меня были: злословие, брань и склонность к некоторым столь недостойным играм, что хуже некуда, – та девочка-сиротка, о которой я сказала, причинила мне много вреда, поскольку была настоящим бесенком в своих шалостях. Но это было не что иное, как мое дурное естество и мои необузданные страсти. Благословен Бог, что столько ждал меня и терпел с великим милосердием, тогда как мог покинуть меня и бросить меня в ад. Во мне было много низкого и дурного, потому что преобладала во мне гордыня. Когда мне шел одиннадцатый год, кажется, я уже различала добро и зло из всего того, что видела и слышала, и исходя из этого старалась не делать того, что не хорошо, в присутствии людей благоразумных и рассудительных. Стало быть, я понимала, что это было не хорошо, а плохо.

В это время Бог забрал моего отца, и, хотя он послал мне тяжкое испытание видеть, как тот умирает, но не настолько, чтобы привнести изменения в мою бесшабашную и ничтожную жизнь. Моя мать несколько не перестала заботиться обо мне, хотя и была так занята, потому что велика была ее любовь ко мне. Она прилагала большое усилие к тому, чтобы я исповедовалась и готовилась к причащению в дни богородичных праздников. Я противилась этому, потому что не находила в себе склонности ко всему этому и даже не знала, как исповедоваться. Я послушно ходила на исповедь, но не помню, чтобы ходила когда-нибудь также и причащаться. Мать усердствовала, давая мне уроки, чтобы я научилась читать, но поскольку я не прилагала стараний, то так и не научилась до поры до времени.

Помимо шалостей, о которых уже было сказано, большую часть времени я проводила за помолом муки и переносила камни или другие тяжелые вещи, бегая с ними из одного места в другое до такой усталости, что больше я уже и не могла. И не имела другого развлечения, кроме этого, и тех, о которых я сказала. Впрочем, то, о чем я только что говорила, больше похоже на испытание, чем на развлечение, потому что этим, как кажется, божественная сила мне давала понять, что крест, который я понесу через всю свою жизнь, будет очень тяжким, в чем я теперь уже и убедилась, ибо крест, который я несла и несу, очень тяжел. Спасибо Господу, что всегда

принимал меня согбенной под грузом непрерывных страданий, и это поистине благодеяние, которое я во многом заслужила.

К тому времени, как мне исполнилось одиннадцать лет, уже тогда мне стало нравиться то, чего я до этого не делала и о чем даже не думала, – тщательно наряжаться, чтобы хорошо выглядеть. И то, что я не растрачивала свое время на это пустое занятие, было не моей заслугой, а моей матери и моих сестер, потому что никогда я не видела, чтобы в доме кто-нибудь подавал пример этого тлетворного и вредоносного занятия бедных женщин. И хотя в те годы я была такой испорченной, никогда не доходили до меня вещи, которые происходили в свете. И касательно нарядов и украшений, которые в нем использовались, – никогда у меня не было склонности и интереса к таким вещам, ибо я всегда к ним имела великое отвращение; я не говорю только о том, чтобы использовать их самой, но и даже видеть их на других людях (что мне было неприятно), поскольку всегда я понимала, сколь напрасным оказывается время, которое некоторые люди тратят на свою внешность и наряды только для того, чтобы выглядеть хорошо и угождать тем, кто их видит. Потому, когда я говорю о том, как следила за своим внешним видом, в особенности за волосами, которые в этом возрасте у меня были уже очень красивые, следует признать, что мне не хватало разума, чтобы понять, что само по себе это было плохо.

Мне помнится, что, как я уже сказала, вместе с другими девочками моего возраста мы озорничали. Но никогда я не общалась ни с кем из мужского пола, потому что они всегда вселяли в меня не знаю какой страх и ужас, так что это заставляло меня убегать как можно скорее всегда, когда мне представлялся случай говорить с каким-нибудь мужчиной; впрочем, такое случалось очень редко, поскольку я всегда пребывала в одиночестве. <... >

Однажды вечером я вышла из комнаты моей матери во двор и стала молоть муку. Тут ко мне подошли мои сверстницы, как обычно по вечерам, молоть муку. Я была мельником. Мы все находились у стены, которая окружала двор. Одна из тех, которые меня окружали, не знаю как, сделала мне больно. Я, будучи плохо воспитанной, заругалась на нее, но не успела я произнести слова, как Бог послал на меня луч. И хотя он казался обычным лучом, для меня он был не чем иным, как лучом света, который Господь послал в мое сердце. Луч упал посреди

всех, с кем я была рядом, и, хотя он оставил всех нас распластанными по земле, он не причинил никому вреда. Он прошел через угол стены и через отверстие, которое он проделал, ушел в даль и убил животное, которое находилось в поле недалеко от этой же стены.

О Боже! Сколь ясно и отчетливо Он показал мне свое величие, ведь так же, как Он отнял жизнь у этого животного, Он мог с большей справедливостью лишить жизни меня! Ведь я не служила Ему ничем, кроме как оскорблением, и Он мог отправить меня в пропасть ада. Да воздастся бесконечная благодарность столь безмерным доброте и милосердию, которые Он проявляет к тем, кто заслуживает тысячи адских мук за свои<sup>487</sup> великие низости и прегрешения!

После того как прошел страх и испуг, который был ужасен, мы поднялись с тех мест, где лежали поверженные и ошеломленные тем лучом. Я, не обращая ни на кого внимания и ни с кем не разговаривая, пошла в залу, где были моя мать и мои сестры. И, проходя по лестнице, я натолкнулась на демона, который сидел на первой ступени в человеческом облике совсем раздетый и похожий на мулата. Он покусывал свою руку. Как я увидела его, он сразу поднял палец, будто угрожая мне, и сказал мне: «Ты моя. Никуда тебе не уйти из моих рук». Я увидела это скорее внутренним зрением души, чем глазами тела<sup>488</sup>. Его слова зазвучали у меня в ушах, и я услышала, как они были произнесены. Но с помощью и при поддержке Его, который все может и который есть Бог, я смогла превозмочь себя и продолжить путь, пока не вошла в залу, где находилась моя мать.

Испуг от этого второго случая был не меньшим, чем тот, который был вызван лучом. Я утаила все, не сказав никому ни слова, ни матери, ни кому-либо еще, о том, что со мной случилось, – что я видела лукавого в столь устрашающем облике и о тех словах, которые он мне сказал. После того как я пришла в себя, я нашла себя совсем иной, я даже сама себя не узнавала. Я уже не была той, кем была раньше; так что кажется, в моей душе открылось большое окно, через которое входил очень ясный свет, в котором я видела и понимала с великой ясностью и просветленностью все, что Господь делал, и терпел, и творил, чтобы спасти меня ценой Своей драгоценной крови. И одновременно я отчетливо увидела перед собой все, что я делала на протяжении одиннадцати лет, – не знаю точно, исполнилось ли мне столько, когда все это случилось. Я видела и ясно осознавала многие и

тягчайшие прегрешения, в которые впадала, оскорбляя Божье Величие таким неблагодарным невежеством. Я почувствовала великую боль от того, что оскорбляла Господа Бога моего, который облагодетельствовал меня своей щедрой рукой. И были слезы и воздыхания<sup>489</sup>, взывающие к Господу, чтобы он послал мне исповедника, которому я могла бы признаться во всех своих прегрешениях...

Всю эту ночь я провела в колебаниях и размышлениях, какой образ жизни я могла бы избрать, чтобы отвернуться и уйти от всего мирского. Находясь в том состоянии, в каком я была, я встретила утро следующего дня слишком обеспокоенной, без надежды найти возможность осуществить свое желание исповедоваться – так что каждый миг мне казался вечностью; без надежды найти решение в поиске образа жизни, который следовало мне избрать. Потом, когда я увидела, что моя мать одна спит в комнате и никого больше нет, – ибо тогда я старалась убежать ото всех людей, чтобы они не увидели меня в том состоянии, в котором я была, – в тот же день поутру я вошла в эту комнату и закрыла дверь, оставшись одна, чтобы дать выход стонам, вздохам и слезам, прося милосердия у Божественного Провидения, которое хорошо знает, как много я перед ним виновата.

Это происходило со мной в комнате, и, уставшая уже от хождения, я присела на скамью, которая стояла перед постелью моей матери, а в головах там был образ Пресвятой Богородицы. На этом образе Она была с маленьким Иисусом на руках. Сидя, как я сказала, на скамье, задумчиво положив руку на щеку, безучастна ко всему, я услышала, как Эта Госпожа, о коей я говорю, сказала мне: «Хуана, подойди ко мне». Я уже говорила, что мое имя было Хуана, а Мария – церковное имя. Как только я услышала эти слова, кажется, что я воскресла от смерти к жизни, почувствовав великое утешение в своей душе. Я поспешно поднялась и встала на колени, положив руки перед образом Пресвятой Богородицы, проливая море слез; ибо, как я понимаю теперь, Господь оказал мне милость, дав мне способность к слезам.

Я сказала Богородице: «Мать моя и мать грешников, отрада, прибежище и защита для моего сердца, изолью тебе, Госпожа, свои печали, горечь и тревоги. Покажу Тебе все злокачественные и неизлечимые раны и язвы моих тягчайших прегрешений, чтобы как Мать и Защитница моя Ты послала мне Божьей милостью прощение



моих грехов и благодать, дабы посвятить всю себя служению Тебе и любви к Тебе, как я должна это сделать...».

После того как я рассказала обо всех своих прегрешениях, говорила мне Пресвятая Дева, Мать и Госпожа, моя, и сказала Она: «Дочь моя, ты уже прощена, с тем, чтобы потом, когда у тебя будет исповедник, ты исповедовалась, как тебе было сказано. Желает ли ты по собственной воле стать невестой моего Пресвятого Сына? Взгляни на Него, как Он прекрасен! Он даст тебе в залог Своей любви это кольцо, которое у него на пальце»<sup>490</sup>. Потом все исчезло. Колечко я больше никогда не видела. Образ Госпожи нашей, которая, я говорила, была с Младенцем на руках, вновь стал таким, как и прежде. Я осталась на том же месте, где стояла на коленях, пока происходило все, о чем я здесь рассказала. Мои глаза были переполнены слезами. Я не знала, как возблагодарить Ее Божественное Величество за ту благодать, какую она пролила на мою низость и ничтожество. Я нашла себя настолько другой, что сама себя не узнавала, и я уже не была такой, какую была прежде. <...>

## Джамбаттиста Вико (1668–1744)

Итальянский философ эпохи Просвещения. Родился в семье торговца книгами. Обучившись – частично у наставников и в различных школах, частично – самостоятельно, он становится домашним учителем, а затем профессором Неаполитанского университета. Заложил основы истории культур, антропологии и этнологии, а также науковедения. «Жизнь Джамбаттисты Вико, написанная им самим» появилась впервые в 1729 г., переиздана с добавлениями в 1731 г. «В истории нового времени это один из первых опытов интеллектуальной автобиографии ученого. По своим литературным достоинствам это, пожалуй, лучшее произведение Вико. К тому же «Автобиография» – важный источник для изучения идейного генезиса и основного содержания самой концепции «новой науки». Здесь о чрезвычайно абстрактных и темных материях с воодушевлением рассказывает мыслитель, охваченный страстью познания», – пишет о данном памятнике М. А. Киссель (Джамбаттиста Вико. М.: Мысль, 1980. С. 30–31)<sup>491</sup>.

### **Жизнь Джамбаттиста Вико, написанная им самим**

Сеньор Джамбаттиста Вико родился в Неаполе в 1668 году от почтенных родителей, оставивших по себе весьма добрую славу. Отец был веселого нрава, мать была складу довольно меланхолического. Таким образом, оба они содействовали развитию природных склонностей своего сына. Ребенком он был очень жив и непоседлив, но в возрасте семи лет, упав головою вниз с высокой лестницы на землю, он пять часов пролежал без движения и без чувств – у него оказалась разбитой правая сторона черепа, причем кожа не была повреждена. В результате этого ушиба появилась огромная опухоль, а от многочисленных и глубоких разрезов ее ребенок потерял много крови, так что хирург, видя разбитый череп и принимая по внимание длительный обморок, высказал предположение, что он или умрет, или, если и выживет, то будет глупцом. Однако суждение это, благодаря

Богу, не сбылось ни в одной из двух частей, но после выздоровления от болезни и впредь он рос меланхоличным и печальным по природе, какую она и должна быть у людей умных и глубоких; благодаря уму они блистают острою, благодаря рефлексии они не развлекаются шутками и ложью.

После длительного выздоровления (в течение добрых трех лет) он снова начал посещать школу грамматики; но так как он быстро исполнял дома то, что ему задавал учитель, то отец, опасаясь, как бы такая быстрота не оказалась на самом деле нерадивостью, однажды спросил учителя, выполняет ли его сын обязанности хорошего ученика. Учитель подтвердил это, и тогда отец попросил его удвоить работу сына. Учитель отказался, ибо он должен был равняться по другим своим ученикам и не мог устроить особый класс для одного-единственного; следующий же класс был много выше. Тогда присутствовавший при этом разговоре ребенок стал горячо просить учителя, чтобы тот разрешил ему перейти в высший класс, причем он сам догонит то, что ему еще оставалось выучить с середины. Учитель больше для испытания того, на что способен детский ум, который должен был добиться такого результата, разрешил ему. И с удивлением убедился через несколько дней, что ребенок был сам своим собственным учителем.

Когда этого учителя оказалось уже недостаточно, он был послан к другому, но у него он удержался недолго, так как отцу посоветовали послать сына к иезуитам, которые приняли его во вторую школу. Учитель, заметив его хороший ум, дал ему в качестве противников последовательно трех самых лучших своих учеников. Прилежанием, как говорят отцы иезуиты, т. е. необыкновенными схоластическими [т. е. ученическими. – *Прим. ред.*] трудами, Джамбаттиста одного из них посрамил, другого довел до болезни от соревнования с ним, а третий, так как он пользовался покровительством общины, еще до зачитывания списка, как они говорят, за успехи был переведен в первую школу. Это Джамбаттиста воспринял как лично ему нанесенную обиду и, поняв, что во втором семестре придется повторять то, что было уже пройдено в первом, ушел из школы. Запершись дома, он сам начал по Альваресу учить то, чему еще оставалось научить его отцам в первой школе, а в октябре следующего года перешел к изучению логики. Так как в это время было лето, то он

садился за столик с вечера, и добрая мать, просыпаясь от первого сна и жалея его, приказывала ему идти спать, но много раз заставляла его занимающимся до утра. Это было знаком того, что, становясь взрослым среди занятий науками, он будет с честью защищать свою репутацию ученого.

Случай послал ему в учителя отца Антонио дель Бальцо, иезуита, философа-номиналиста. Слыхав уже в школах, что хороший автор «Сумм» должен быть особенно глубоким философом и что лучшую из «Сумм» написал Петр Испанец, он принялся усердно изучать последнюю; здесь учитель обратил его внимание на то, что Паоло Вене-то был самым острым из всех авторов «Сумм», и тогда он принялся также за него, чтобы и отсюда извлечь пользу. Но ум, еще слишком слабый, чтобы направляться этой разновидностью хризипповой логики, едва не погиб здесь, и потому он с большим сожалением должен был покинуть ее. Разочаровавшись (вот как опасно давать юношам изучать такие науки, которые превосходят их возраст!), Вико стал дезертиром и отступился от наук на полтора года. Здесь... с простодушием, надлежащем историку, будет рассказано последовательно и искренне о ряде всех учений Вико, чтобы были известны истинные и природные причины его таких, а не иных достижений в образовании. Так блуждал он вне прямого пути исправной ранней юности, как породистый конь, много и хорошо упражнявшийся на войне и давно предоставленный собственной воле пастись в полях, когда случается, что он слышит военную трубу, пробуждается в нем аппетит к войне, и он стремится быть оседланным всадником и направленным в битву. По случаю возобновления после многолетнего перерыва занятий Академии дельи Инфуриати в Сан-Лоренцо, где выдающиеся ученые общались с виднейшими адвокатами, сенаторами и городской знатью, гений Вико побудил его снова вступить на покинутую дорогу, и он пустился в путь. Такой прекрасный плод приносят городам блистательные академии, ибо юноши, вступившие в тот возраст, когда благородная кровь и неопытность преисполняют их доверчивостью и высокими надеждами, горят желанием изучать науки ради похвал и славы, с тем, чтобы вступая в старческий возраст, заботящийся о пользе, они были справедливо оценены по заслугам. Так и Вико получил для себя много совершенно нового в Философии под руководством отца Джузеппе

Риччи, также иезуита, человека острейшего ума, Скотиста по направлению, но Зенониста в глубине; Вико ощущал большое удовольствие от уразумения того, что абстрактные субстанции имеют большую реальность, чем модусы Номиналиста Бальцо. Это было предвестником того, что в свое время он будет наслаждаться больше, чем всякой другой, Платонической Философией, к которой скотистская ближе всех других схоластических направлений, и что впоследствии ему придется трактовать точки [т. е. моменты. – *Прим. ред.*] Зенона иначе, чем это сделал Аристотель, исказивший их смысл в своей «Метафизике». Но так как Вико казалось, что Риччи слишком долго задерживается на объяснении сущности и субстанции и их различий в метафизических степенях, и так как он жаждал нового знания, то, услышав, что Суарес в своей «Метафизике» говорил о всяческом познании в философии весьма очевидно, как подобает метафизику, и в стиле в высшей степени ясном и легком (и на самом деле он все это отчеканивает с несравненным красноречием), то Вико оставил школу с большей пользой, чем в прошлый раз, и на целый год заперся дома, чтобы изучать Суареса. <... >

# Бенджамин Франклин (1706–1790)

Политический деятель, журналист, издатель, изобретатель, дипломат. Один из лидеров войны за независимость США от Великобритании. Первый американец, удостоившийся звания иностранного члена Российской академии наук (1789). Родился в Бостоне. Пятнадцатый из семнадцати детей Дж. Франклина, эмигрировавшего в Америку из Англии, ремесленника-мыловара. Из-за финансовых проблем Бенджамин пробыл в школе лишь 2 года. С 12 лет подмастерье в типографии брата. Образец автодиакта. В дальнейшем стоял у истоков возникновения Американского философского общества.

В 1771 году начал писать автобиографию, но смог довести ее лишь до 1757 года, поскольку в последние несколько лет жизни уже не имел сил продолжать работу над этим произведением<sup>492</sup>.

## Автобиография

### Глава I

Дорогой сын!

...Все мои старшие братья обучались какому-либо ремеслу. Меня в возрасте восьми лет отдали в грамматическую школу, так как мой отец намеревался посвятить меня, как десятого из своих сыновей, служению церкви. Рано проявившаяся у меня охота к чтению (должно быть, в весьма раннем возрасте, так как я не помню времени, когда бы я не умел читать) и мнение всех его друзей, утверждавших, что я обязательно буду хорошим учеником, поддерживали его в этом намерении. Одобрял это и мой дядя Бенджамин, который предложил отдать мне свои тома застенотографированных проповедей для обзаведения, если я овладею его стенографией. Однако мне довелось посещать грамматическую школу менее года, хотя за это время я

постепенно передвинулся из середины класса на первое место и меня перевели в следующий класс, откуда должны были к концу года перевести в третий.

Но для моего отца, обремененного многочисленным семейством, было бы затруднительно оказывать мне материальную поддержку, необходимую для получения высшего образования, а, кроме того, как он сказал одному из своих друзей в моем присутствии, эта профессия давала мало преимуществ. Он отказался от своего первоначального плана, взял меня из грамматической школы и поместил в школу, где обучали письму и арифметике. Эту школу содержал знаменитый тогда господин Джордж Браунелл. Браунелл был превосходным педагогом, достигавшим больших успехов с помощью самых мягких и стимулирующих методов<sup>493</sup>. Под его руководством я быстро научился хорошо писать, но арифметика мне не давалась, и я в ней недалеко ушел. Когда мне исполнилось десять лет, отец забрал меня домой, чтобы я помогал ему в мастерской – отец занимался тогда изготовлением сальных свечей и варкой мыла. Это не было его первоначальным занятием, но он принялся за это дело по прибытии в Новую Англию, когда обнаружил, что его ремесло красильщика не было здесь особенно нужным и не давало ему возможности прокормить семью. И вот я стал нарезать фитили, заливал формы для отливки свечей, помогал в лавке, был на посылках и т. п.

Мне это ремесло было не по душе, и меня очень тянуло к морю, отец же мой решительно высказался против такого плана; но, живя у воды, я много времени проводил в ней и на ней. Я научился хорошо плавать и управлять лодкой; а когда я бывал с другими мальчишками, мне обычно доверяли быть рулевым, в особенности при каком-нибудь затруднении; да и в других случаях я обычно верховодил среди мальчишек, а иногда и возглавлял некоторые проделки, из которых расскажу об одной в качестве примера того, как рано во мне обнаружился дух общественных начинаний, хотя он тогда и не нашел правильного применения.

Около мельничного пруда был солончак, на краю которого мы во время паводка удили пескарей. Мы там столько топтались, что это место превратилось в настоящее болото. Я предложил соорудить там нечто вроде пристани, на которой мы могли бы стоять. При этом я показал своим товарищам на большую грудку камней,

предназначавшихся на строительство нового дома около солончака; эти камни прекрасно подходили для нашей цели. И вот вечером, когда рабочие ушли, я собрал несколько своих приятелей, и мы старательно взялись за работу, перетаскивая камни, как муравьи, иногда берясь вдвоем или втроем за каждый камень, пока не соорудили нашу маленькую пристань. На следующее утро рабочие с удивлением обнаружили пропажу камней, которые пошли на постройку нашей пристани. Учинили дознание; нас разыскали и пожаловались родителям; некоторые из нас получили от своих отцов соответствующее внушение, и, хотя я доказывал полезность нашей работы, мой отец убедил меня, что ничто нечестное не может быть действительно благотворным.

... Итак, вернемся к нашей теме: я помогал своему отцу в течение двух лет, то есть до двенадцатилетнего возраста; а поскольку мой брат Джон, с детства обучавшийся этому ремеслу, отделился от отца, женился и открыл собственное дело в Род-Айленде, то по всем приметам мне было суждено занять его место и стать свечным мастером. Однако я продолжал выказывать такое нерасположение к этому ремеслу, что мой отец почувствовал, что если он не подыщет для меня более привлекательного занятия, то я выйду из повиновения и стану моряком, как сделал брат мой Джозайа, к величайшему неудовольствию отца. Поэтому отец стал брать меня с собой на прогулки и показывал мне плотников, каменщиков, токарей, медников и других мастеров за их занятиями, чтобы иметь возможность обнаружить мои склонности и определить меня к такому ремеслу, которое удержало бы меня на суше. Мне всегда с тех пор доставляло удовольствие видеть, как управляют со своими инструментами хорошие мастера; мне пошло на пользу и то, что я приобрел некоторый навык и мог сам сделать кое-что в доме, если нельзя было найти мастера; кроме того, я умею своими руками изготавливать небольшие машины для моих опытов. В конце концов отец решил сделать из меня ножовщика и поместил меня на несколько дней, в качестве испытательного срока, к Сэмюэлю, сыну моего дяди Бенджамина, обучавшемуся этому ремеслу в Лондоне и только что устроившемуся в Бостоне. Но тот заломил такую сумму за мое обучение, что отец рассердился и взял меня снова домой.



С малых лет я страстно любил читать и все те небольшие деньги, которые попадали мне в руки, откладывал на покупку книг. Я очень любил путешествия. Первым моим приобретением были сочинения Бениана в отдельных томиках<sup>494</sup>. Позднее я их продал, чтобы иметь возможность купить собрания исторических произведений Р. Бертона; это были небольшие книжечки, по дешевке приобретенные у бродячего торговца, числом сорок или пятьдесят<sup>495</sup>. Небольшая библиотека моего отца состояла из религиозно-полемических сочинений, большинство из которых я прочел. С тех пор я не раз сожалел о том, что в то время, когда у меня была такая тяга к знанию, в мои руки не попали более подходящие книги, так как уже было решено, что я не буду священником. Среди этих книг были и «Жизнеописания» Плутарха, которыми я зачитывался; и сейчас еще я считаю, что это очень пошло мне на пользу. Была также книга Дефо, озаглавленная «Опыт о проектах», и сочинение доктора Мезера «Опыты о том, как делать добро»<sup>496</sup>. Эти книги, возможно, оказали влияние на мой духовный склад, что отразилось на некоторых важнейших событиях моей жизни.

Эти мои книжные склонности в конце концов привели к тому, что отец решил сделать из меня печатника, хотя один из его сыновей (Джемс) уже занимался этим ремеслом. В 1717 году мой брат Джемс вернулся из Англии и привез с собой печатный станок и шрифты, чтобы открыть типографию в Бостоне. Хотя это ремесло было мне куда больше по душе, чем то, которым занимался мой отец, но море по-прежнему продолжало меня манить. Моему отцу не терпелось связать меня с братом договорными обязательствами, так как он опасался возможных последствий моего влечения. Некоторое время я сопротивлялся, но, наконец, не выдержал и подписал контракт о поступлении в ученичество, хотя мне и было тогда всего двенадцать лет. По контракту я обязывался служить подмастерьем, пока мне не исполнится двадцать один год, причем только в последний год я должен был получать жалованье настоящего работника. За очень короткий срок я достиг значительных успехов в этом деле и оказывал своему брату большую помощь. Теперь у меня был доступ к более хорошим книгам. Я свел знакомство с учениками книготорговцев, что давало мне возможность одалживать то одну, то другую книжку, и я всегда старался возвращать их аккуратно и не пачкать. Частенько я

просиживал за чтением в своей комнате чуть не всю ночь напролет, если книга была одолжена вечером, а вернуть ее надо было рано утром, чтобы ее нехватились.

Спустя некоторое время один купец, умный и здравомыслящий человек по имени Мэтью Адамс, имевший прекрасное книжное собрание и часто посещавший нашу типографию, обратил на меня внимание, пригласил меня посмотреть его библиотеку и очень любезно предложил давать мне читать любые книги по моему выбору. Теперь я пристрастился к поэзии и сам сочинил несколько стихотворений. Мой брат решил, что на этом можно заработать, и стал поощрять меня к сочинительству. По его побуждению я написал две баллады на случай. Одна называлась «Трагедия у маяка», и в ней рассказывалось о кораблекрушении, жертвой которого сделались капитан Уортилейк и его две дочери, другая была озаглавлена «Песня матроса по случаю захвата знаменитого “Тича”, или пирата Черная борода» [1719]<sup>497</sup>. Это была жалкая стряпня в духе уличных баллад; и когда они были напечатаны, он отправил меня продавать их по городу. Первую из них брали нарасхват, так как описанное в ней событие произошло недавно и наделало большой шум. Этот успех приятно щекотал мое самолюбие, но отец обескуражил меня, высмеяв мои вирши и объяснив, что стихотворцы всегда бывают нищими. Так я избежал опасности сделаться поэтом, да к тому же, вероятно, плохим. Но так как сочинения в прозе приносили мне большую пользу на протяжении всей моей жизни и оказались одним из главных средств моего успеха, то я расскажу тебе, каким образом я приобрел то небольшое мастерство, которым, как считают, я обладаю.

В городе был еще один книголюб по имени Джон Коллинс, молодой человек, с которым я вел близкое знакомство. Иногда мы вступали в споры и очень любили словопрения и всегда старались опровергнуть друг друга, а такая склонность к препирательствам, кстати говоря, может превратиться в дурную привычку и часто делает человека невыносимым в обществе, так как он начинает всем противоречить; это же в свою очередь не только отравляет беседу, но и вызывает отвращение и враждебность со стороны тех, с кем вы могли бы иметь дружественные отношения. Я приобрел эту привычку, начитавшись отцовских книг религиозно-полемического содержания. Люди здравомыслящие, как мне с тех пор довелось убедиться, редко себя так

ведут, кроме юристов, университетчиков, а также всех, получивших образование в Эдинбурге.

Как-то, не помню уже почему, между мной и Коллинсом разгорелся диспут о том, стоит ли давать женщинам образование и обладают ли они необходимыми способностями. Он стоял на той точке зрения, что им это ненужно и что они от природы для этого не приспособлены. Я занял противоположную позицию, возможно, отчасти и из желания поспорить. Он был от природы более красноречив, обладал большим запасом слов, и иногда, как мне казалось, я бывал побежден не столько силой его аргументации, сколько словесным искусством. Поскольку мы расстались, не придя к определенному выводу, и должны были увидеться только нескоро, я решил письменно изложить свои доводы; я переписал их набело и отослал ему. Он мне ответил, а я послал новый ответ. Мы обменялись уже тремя-четырьмя письмами с каждой стороны, когда они случайно вместе с другими бумагами попали в руки моему отцу, который их прочел. Не высказываясь по существу затронутого вопроса, он воспользовался этим случаем, чтобы поговорить со мной о моем литературном слоге, причем заметил, что хотя я был сильнее своего противника в правописании и пунктуации (чему я, по его мнению, был обязан работе в типографии), мне недоставало изящества выражений, последовательности и ясности, — все это он доказал мне на ряде примеров. Я увидел справедливость его замечаний и с тех пор стал более внимательно следить за своим слогом и решил во что бы то ни стало улучшить свой стиль. <... >

## **Карл Линней (1707–1778)**

Шведский естествоиспытатель, врач и путешественник. Создатель единой классификации флоры и фауны мира. Один из основателей Шведской академии наук. Сын сельского священника из крестьян, увлекавшегося садоводством и флористикой, Карл прошел через разные виды домашнего, начального и среднего школьного обучения (1716–1724), гимназию (1724–1727) и два университета – Лундский и Упсальский. Линней работал в Голландии и Швеции.

Приобретя мировую известность, Линней неоднократно составлял записки о себе – как по необходимости при избрании членом того или иного ученого общества, так и по просьбе друзей. Есть отдельные наброски и фрагменты, есть и более оформленные тексты, среди которых четыре варианта более или менее полных. Во всех текстах Карл пишет о себе в третьем лице.

Нами воспроизводится часть последнего варианта его автобиографии, переведенная на русский язык в начале XX века под редакцией Н. В. Сперанского и сверенная В. Г. Безроговым для данного издания с немецким и шведским вариантами<sup>498</sup>.

### **Собственноручные записки [о себе]**

... Родился он в 1707 году, в ночь с 22 на 23 мая в 1 час утра, в самый расцвет весны, когда кукушка выкликает лето, как раз во время появления листвы и цветов. Этот, в то время единственный, сын своего отца был, так сказать, возвращен им в сад, ибо отец и в Стенбрухульте [поселок в Юж. Швеции], как только сделался пастором, развел один из лучших садов в целой округе, с дивными деревьями и редчайшими цветами и проводил там все время, остававшееся у него от служебных обязанностей. Маленькому Карлу едва пошел пятый год, когда однажды отец взял его с собой в гости в Мекленес по прекраснейшей летней погоде. И вот, когда под вечер гости расположились на зеленой лужайке, пастор стал занимать общество, обратив его внимание на то, что каждый цветок имеет свое особое имя, и сообщая разные

любопытные и достопримечательные вещи касательно растений; при этом он показывал корни сивца, лапчатки, орхидей и других цветов. Ребенок был совершенно этим захвачен: сие задело его за ту струну, которая всего сильнее была натянута в его душе. С того часу мальчик не давал отцу покоя, спрашивая беспрерывно об именах растений много больше, чем сколько отец мог ответить. Но, как водится у детей, он потом забывал названия, за что однажды ему сильно досталось от отца, который сказал, что больше никогда не станет сыну говорить имен растений, если он будет их забывать. С тех пор мальчик только об одном и думал, как бы ему получше запомнить имена, чтобы не лишиться своего первейшего удовольствия.

В 1714 году Карл был препоручен первому своему домашнему учителю Иоганну Теландру, который мало что смыслил в обучении детей.

В 1717 году Карл помещен в местную школу (*trivialskola*) в Вэксё, где необразованные, грубые и жестокие учителя и столь же варварские способы преподавания внушали детям такую охоту к наукам, что волосы у них становились дыбом...

В 1722 году Карл поступил в настоящие классы, освободившись таким путем, по принятому обычаю, от частных уроков, благодаря чему у него явилась еще большая возможность бегать от книги, ибо у мальчика не было другого удовольствия, как бродить среди цветов и узнавать растения. И так как ежегодно ему по нескольку раз приходилось ездить из Стенбрухульты в Вэксё, то, всматриваясь постоянно в цветы при дороге, он скоро был в состоянии сказать, где какой растет на всем этом пути длиною в пять миль.

В 1724 году Карл был переведен из низшей школы в гимназию, что дало ему еще большую свободу уклоняться от занятий, к которым он в прежние годы из-за жестокого обращения получил такую великую неохоту. Не все науки, однако, его отталкивали, хотя большая часть их в этой гимназии направлена была лишь к тому, чтобы готовить мало-мальски годных церковных проповедников. Так вот, если он был одним из последних в классе на уроках риторики, метафизики, морали, греческого и еврейского языка или богословия, то он, напротив, всегда был одним из первых по математике и особенно по естественным наукам. Бурсак раздобыл разные ботанические книги, читал их день и ночь и скоро знал их как свои пять пальцев...

## **Карло Гольдони (1707–1793)**

Венецианский драматург, один из классиков-реформаторов итальянской комедии. Работал в Италии, во Франции (с 1761 года жил в Париже), временами в Англии. В 1761–1772 написал первый вариант автобиографии (в виде серии автобиографических очерков). В конце жизни переработал эти очерки в единое произведение, которое в 1787 году опубликовал на французском языке. Через год Гольдони издал «Мемуары» и на итальянском – в собственном переводе. Подробные данные об авторе, его жизни и работах можно найти в периодических научных изданиях *Studi Goldoniani* и *Problemi di critica goldoniana*<sup>499</sup>.

### **Мемуары Карло Гольдони, содержащие историю его жизни и его театра**

... Я был общим любимцем. Няня находила, что я умный мальчик. Матушка занялась моим воспитанием, отец же взял на себя заботу развлекать меня. Он соорудил театр марионеток и сам управлял куклами, вместе с тремя или четырьмя из своих друзей. Мне было тогда четыре года, и эта забава казалась мне восхитительной. <... >

Я очень любил читать и легко усвоил грамматику, основы арифметики и геометрии. Но моим любимым чтением были авторы комедий. Я нашел их в большом количестве в маленькой отцовской библиотеке и постоянно читал их в свободное время, выписывая особенно нравившиеся мне места. Матушка была довольна, что я не занимаюсь ребяческими глупостями, и не обращала внимания на то, что я читаю.

... Когда мне исполнилось восемь лет, я решился сам сострять комедию<sup>500</sup>. Первым лицом, кому я прочел мою пьесу, была моя няня; она нашла ее прелестной. Зато тетка стала смеяться надо мною, матушка одновременно бранила и целовала, а учитель утверждал, что я умен и находчив не по возрасту. Но удивительнее всего было то, что мой крестный отец, человек судейского звания, у которого было больше денег, чем знаний, ни за что не хотел поверить, что я сам

написал эту пьесу. Он утверждал, что мой учитель просмотрел и исправил комедию, а тот возмущался этим подозрением. Спор был готов разгореться, как вдруг, к счастью, вошло третье лицо, которое примирило спорящих.

Это был аббат нашего дома, синьор Валле... Он видел, как я работал над пьесой, и был в курсе моих ребяческих занятий. Я просил его никому не говорить о них, и он сохранил мою тайну; теперь же он подтвердил мои таланты, заставив замолчать неверующего. <... >

Если читатель спросит меня, как называлась моя пьеса, я не смогу ему ответить, ибо, сочиняя ее, я даже не подумал о таком пустяке, как заглавие. Мне ничего не стоило бы сейчас придумать для нее любое название, но я предпочитаю рассказывать вещи так, как они есть, не прикрашивая их.

Эта комедия или, лучше сказать, эта детская шалость, облетела все дома, в которых бывала моя мать. С комедии сняли копию и послали ее отцу. <... >

В то время славилась иезуитская коллегия. Отец подал туда прошение, и меня приняли без всяких затруднений.

В Италии средняя школа устроена иначе, чем во Франции. У нас имеется только три класса: Начальной Грамматики, Высшей Грамматики или Словесности, в собственном смысле слова, и Риторики. Ученики, которые усердно занимаются, могут пройти курс в течение трех лет.

Я уже в Венеции прошел Начальную Грамматику и мог бы теперь приступить к Высшей. Но я потерял много времени, путешествие отвлекло меня от занятий и, кроме того, мне предстояло заниматься у новых учителей. Поэтому отец решил, что я начну свое ученье сызнова, и поступил совершенно правильно. Вы увидите сейчас, дорогой читатель, как в одно мгновение [в Перудже] сбили спесь с венецианского грамотея, который не упустил случая похвастаться сочиненной им пьесой.

Учебный год был в полном разгаре. Меня встретили в младшем классе, как вполне подготовленного для старшего. Мне задали вопрос – я ответил скверно. Мне дали переводить – я что-то лепетал. Мне дали латинскую работу, – я наделал множество варваризмов и солецизмов. Надо мной начали издеваться; я стал посмешищем для своих товарищей; им доставляло удовольствие вызывать меня, причем

я все время терпел поражения<sup>501</sup>. Отец был в отчаянии; я был удивлен и подавлен: мне казалось, что меня околдовали.

Приближалось время каникул. Нам предстояло написать работу, которую в Италии называют переводной латынью, так как это маленькое упражнение должно решить судьбу школьника и выяснить, можно ли его перевести в старший класс или нужно оставить на второй год в младшем. Мне следовало ожидать, в лучшем случае, второго исхода.

Решительный день наступил. Регент диктует, ученики пишут; все стараются выполнить работу как можно лучше. Я напрягаю все свои силы; я думаю о своей чести, о своей гордости, об отце, о матери. Я вижу, как мои соседи исподтишка поглядывают на меня и смеются. *Facit indignatio versum* [Негодование порождает стих – Ювенал]. Ярость и стыд воспаляют меня; я перечитываю свой текст; чувствую, что голова моя свежа, работа идет легко, память не изменяет мне. Я кончаю работу раньше других, запечатываю ее, отдаю учителю и ухожу, довольный собой.

Через неделю собирают всех учеников, чтобы объявить им заключение коллегии. Первое постановление: «Гольдони переводится в старший класс». Весь класс издает восклицание, слышатся нелестные замечания по моему адресу. Мой перевод читают вслух; в нем не оказывается ни одной грамматической ошибки<sup>502</sup>. Регент подзывает меня к кафедре; я встаю с места, чтобы подойти к нему. Но тут я вижу в дверях отца и бросаюсь в его объятия. <... >



## Жан-Жак Руссо (1712–1778)

Жан-Жак Руссо – философ, писатель – представитель сентиментализма и композитор, музыковед; один из крупнейших деятелей французского Просвещения. Его философия оказала большое влияние на развитие современной политической, социологической и педагогической мысли.

Родился в Женеве, его отец был часовщиком и учителем танцев, мать умерла при родах. В юности вел скитальческую жизнь, затем на некоторое время обосновался в Париже, где завоевал известность своими сочинениями. Первыми из принесших ему успех были «Рассуждение о науках и искусствах» (1750) и остро критиковавшее современное общество «Рассуждение о неравенстве» (1753). В 1761 г. им был опубликован сентиментальный роман «Юлия, или Новая Элоиза», в 1762 – трактат «Об общественном договоре», имевший подзаголовок «Принципы политического права», и в этом же году роман-трактат «Эмиль, или О воспитании», в котором, продолжая критику современного ему общества, Руссо излагал свои педагогические взгляды.

Две части «Исповеди» Руссо были в основном закончены в 1766–1769 гг., (опубликованы после смерти автора в 1782–1789 гг.). Это его сочинение единодушно считается началом автобиографического жанра в новоевропейской литературе. Автор ставит в ней грандиозную по масштабам и небывалую по своей революционности задачу: на примере бескомпромиссной правды о себе и событиях своей жизни обнажить природу человека вообще. Своеобразными дополнениями к «Исповеди» стали два других сочинения Руссо: «Диалоги: Руссо судит Жан-Жака» (1775–76) и «Прогулки одинокого мечтателя» (1777–78), также опубликованные посмертно.

В период Великой французской революции Руссо почитался якобинцами как самый выдающийся философ, поэтому в 1794 г., через 16 лет после смерти, его останки были перенесены в Пантеон и погребены рядом с другими национальными героями Франции<sup>503</sup>.

# Исповедь

## Часть первая

### Книга первая

(1712–1728)

Intus et in cute<sup>504</sup>

Я предпринимаю дело беспрецедентное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, – и этим человеком буду я.

Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь.

Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно, – я предстану пред Верховным судьей с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такую, какую ты видел ее сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека»<sup>505</sup>.

Я родился в Женеве в 1712 году, от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Так как из весьма незначительного состояния, разделенного между пятнадцатью детьми, отец мой получил ничтожную долю, то существовал он исключительно ремеслом часовщика, в котором был очень искусен<sup>506</sup>. Богаче была моя мать, дочь пастора Бернара<sup>507</sup>. Она была одарена умом и красотой. Не без труда добился отец мой ее руки. Они полюбили друг друга чуть ли не со дня рождения; детьми восьми-девяти лет они каждый вечер гуляли по Трейлю<sup>508</sup>; в десять лет они уже не могли расстаться. Чувство, порожденное привычкой, было укреплено в них симпатией, согласием душ. Оба от природы нежные и чувствительные, они ожидали только мгновения, когда им откроется их склонность друг к другу, или, лучше сказать, это мгновение поджидало их, и каждый из них бросил свое сердце в раскрывшееся сердце другого. Судьба, которая, казалось, шла наперекор их страсти, только еще более разжигала ее. Влюбленный юноша, не имея возможности добиться своей возлюбленной, изнывал от горя; она посоветовала ему отправиться в путешествие, чтобы забыть ее. Он странствовал напрасно и вернулся еще более влюбленным, чем раньше. Ту, которую любил, он нашел нежной и верной. После этого испытания им оставалось только любить друг друга всю жизнь; они поклялись в этом, и небо благословило их клятву.

Габриэль Бернар, брат моей матери, влюбился в одну из сестер моего отца; но та соглашалась выйти за него замуж только при том условии, чтобы брат ее женился на его сестре. Любовь уладила все, и обе свадьбы состоялись в один и тот же день. Таким образом, мой дядя оказался мужем моей тетки, и дети их приходились мне двоюродными братьями и сестрами вдвойне. В конце года у каждой четы родился ребенок. Потом им пришлось расстаться.

Мой дядя Бернар был инженером; он отправился служить в Империю, и в Венгрии, под начальством принца Евгения<sup>509</sup>, отличился при осаде Белграда и в сражении под его стенами. Отец после рождения моего единственного брата уехал в Константинополь, куда его пригласили, и сделался там часовщиком при серале. В его отсутствие красота моей матери, ее ум, ее таланты<sup>510</sup> привлекли поклонников. Самым ревностным из них был г-н де Клозюр, французский резидент. Верно, страсть его была сильна, если по

прошествии тридцати лет я видел, что он растроган, говоря со мною о ней<sup>511</sup>. Моей матери защитой служила не только добродетель, – она нежно любила мужа; она попросила его скорей вернуться. Он бросил все и вернулся. Я был печальным плодом этого возвращения: я родился через десять месяцев, слабый и хворый. Я стоил жизни моей матери, и мое рождение было первым из моих несчастий.

Мне осталось неизвестным, как отец мой перенес эту потерю, но я знаю, что он остался безутешен. Он думал снова увидеть ее во мне, будучи не в силах забыть, что я отнял ее у него; когда он целовал меня, то по его вздохам, по его судорожным объятьям я чувствовал, что к его ласкам примешивается горькое сожаление, но от этого они становились еще нежней. Когда он говорил мне: «Жан-Жак, поговорим о твоей матери», я отвечал ему: «Значит, мы будем плакать, отец», и эти слова вызывали у него слезы. «Ах! – говорил он со стоном, – верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту, которую она оставила в моей душе. Любил ли бы я тебя так сильно, будь ты только моим сыном?» Через сорок лет после ее смерти он скончался<sup>512</sup> на руках второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце.

Таковы были творцы моих дней. Из всех даров, которыми наделило их небо, они оставили мне только чувствительное сердце; оно принесло им счастье и вызвало все несчастья моей жизни.

Я родился почти умирающим; было мало надежды на то, что удастся сохранить меня. Я нес в себе зародыш недуга, который усилили годы и который теперь иногда дает мне передышку только затем, чтобы заставить меня страдать еще более жестоко другим образом. Одна из сестер моего отца<sup>513</sup>, добрая и умная девушка, своим заботливым уходом спасла меня. В настоящее время, когда я пишу эти строки, она еще жива и, в восемьдесят лет, ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. Дорогая тетушка, я прощаю вас за то, что вы заставили меня жить, и скорблю о том, что в конце вашей жизни я не могу окружить вас такими же нежными заботами, какими вы осыпали меня в начале моей.

Моя кормилица Жаклина тоже еще жива, здорова и крепка. Руки, открывшие мне глаза при рождении, закроют их после моей смерти.

Чувствовать я начал прежде, чем мыслить; это общий удел человечества. Я испытал его в большей мере, чем всякий другой. Не

знаю, как я научился читать; помню только свои первые чтения и то впечатление, которое они на меня производили; с этого времени тянется непрерывная нить моих воспоминаний. От моей матери остались романы. Мы с отцом стали читать их после ужина. Сначала речь шла о том, чтобы мне упражняться в чтении по занимательным книжкам; но вскоре интерес стал таким живым, что мы читали по очереди без перерыва и проводили за этим занятием ночи напролет. Мы никогда не могли оставить книгу, не дочитав ее до конца. Иногда мой отец, услышав утренний щебет ласточек, говорил смущенно: «Идем спать. Я больше ребенок, чем ты».

В короткое время при помощи такого опасного метода я не только с чрезвычайной легкостью научился читать и понимать прочитанное, но и приобрел исключительное для своего возраста знание страстей. У меня еще не было ни малейшего представления о вещах, а уже все чувства были мне знакомы. Я еще ничего не постиг – и уже все перечувствовал. Волнения, испытываемые мною одно за другим, не извращали разума, которого у меня еще не было; но они образовали его на особый лад и дали мне о человеческой жизни понятия самые странные и романтические; ни опыт, ни размышления никогда не могли как следует излечить меня от них.

Романы кончились вместе с летом 1719 года. Следующей зимой пошло другое. Исчерпав библиотеку моей матери, мы прибегли к доставшейся нам части библиотеки ее отца. По счастью, там нашлись хорошие книги; впрочем, иначе и быть не могло, потому что библиотека была составлена, правда, священником и даже ученым, что тогда было в моде, но человеком со вкусом и с умом. «История церкви и империи» Лесюэра, «Рассуждение о всемирной истории» Боссюэ, «Знаменитые люди» Плутарха, «История Венеции» Нани, «Метаморфозы» Овидия, Лабрюйер, «Миры» Фонтенеля<sup>514</sup>, его же «Диалоги мертвых» и несколько томов Мольера были перенесены в мастерскую моего отца, и я читал их ему каждый день, пока он работал. Я получил к чтению редкое, а в моем возрасте, быть может, исключительное пристрастие. Любимым моим автором стал Плутарх. Удовольствие, которое я испытывал, постоянно перечитывая его, немного излечило меня от моей страсти к романам; скоро я стал предпочитать Агесилая, Брута, Аристида – Орондату, Артамену и Юбе<sup>515</sup>. Интересное чтение, разговоры, которые оно порождало между

отцом и мной, воспитали тот свободный и республиканский дух, тот неукротимый и гордый характер, не терпящий ярма и рабства, который мучил меня в продолжение всей моей жизни, проявляясь в положениях, менее всего подходящих для этого. Беспреданно занятый Римом и Афинами, живя как бы одной жизнью с их великими людьми, сам родившись гражданином республики и сыном отца, самую сильную страсть которого была любовь к родине, – я пламенел ею по его примеру, воображал себя греком или римлянином, становился лицом, жизнеописание которого читал; рассказы о проявлениях стойкости и бесстрашия захватывали меня, глаза мои сверкали, и голос мой звучал громко. Однажды, когда я рассказывал за столом историю Сцеволы<sup>516</sup>, все перепугались, видя, как я подошел к жаровне и протянул над нею руку, чтобы воспроизвести его подвиг.

У меня был брат, старше меня на семь лет. Он обучался ремеслу отца. Чрезмерная любовь ко мне приводила к тому, что на него меньше обращали внимания, чего я совершенно не могу одобрить. Это пренебрежение сказалось на его воспитании. Он начал вести распутную жизнь, не достигнув еще возраста, когда можно стать настоящим распутником. Его устроили к другому хозяину, но он продолжал потихоньку исчезать, как это было и в отцовском доме. Я его почти не видел и, можно сказать, едва был с ним знаком; тем не менее я любил его нежно, и он меня любил, насколько может любить кого-нибудь такой повеса. Помню, как один раз, когда разгневанный отец беспощадно его наказывал, я стремительно бросился на выручку и крепко обнял брата. Я укрыл его своим телом, получая удары, предназначенные ему, и так настойчиво подставлял свою спину, что отец наконец сжалился, оттого ли, что был обезоружен моими криками и слезами, или оттого, что не хотел наказывать меня больше, чем его. В конце концов мой брат совсем сбился с пути: убежал из дому и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии. Он ни разу не написал. С тех пор о нем не было никаких вестей, и вот каким образом я стал единственным сыном.

Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то нельзя сказать того же обо мне; за детьми короля не могли бы ухаживать с большим усердием, чем ухаживали за мной в первые годы моей жизни, когда все окружающие обожали меня и, что случается гораздо реже, обращались со мной, как с ребенком любимым, но отнюдь не

балуемым. Никогда, ни разу до моего ухода из родительского дома, не позволили мне бегать по улице с другими детьми; никогда не приходилось подавлять во мне или удовлетворять ни одной из тех вздорных причуд, в которых обвиняют природу, но которые порождает воспитание. У меня были недостатки моего возраста: я был болтун, лакомка, иногда лгун. Я мог стащить фрукты, конфеты, снедь, но никогда мне не доставляло удовольствия делать зло, вред, огорчать окружающих, мучить бедных животных. Вспоминаю, однако, что я помочился однажды в кастрюлю одной из наших соседок, мадам Кло, в то время как она была на проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех, потому что мадам Кло, женщина, в сущности, добрая, была все-таки самая ворчливая старуха, какую я только знал. Вот краткая и правдивая история всех моих детских проступков.

Как мог бы я сделаться злым, имея перед глазами только примеры нежности и видя лучших людей на свете вокруг себя? Мой отец, моя тетка, моя кормилица, мои родственники, наши друзья, наши соседи – все окружавшие меня, по правде говоря, не потакали мне, но любили меня, и я тоже любил их. Для моих капризов было так мало поводов, и так редко им давали отпор, что они и не приходили мне в голову. Могу поклясться, что до моего порабощения хозяину я не знал, что такое прихоть. Кроме того времени, когда я читал или писал возле отца, и того, когда няня водила меня гулять, я был постоянно с тетей, глядел, как она вышивает, слушал, как она поет, сидя или стоя подле нее; и я был доволен. Ее веселость, ее нежность, ее приятное лицо оставили во мне такое сильное впечатление, что я и теперь вижу выражение ее лица, взгляд, фигуру, помню ее ласковые слова; я мог бы описать, как она была одета и причесана, не забыв даже двух черных локонов на висках, по моде того времени.

Я уверен, что ей обязан я склонностью или, вернее, страстью к музыке, – страстью, вполне развившейся во мне только значительно позже. Она знала невероятное количество арий и песен и напевала их очень нежным голосом. Ясность души этой превосходной девушки отгоняла от нее и от всех, кто ее окружал, задумчивость и грусть. Прелесть ее пения была так сильна, что несколько ее песен навсегда остались у меня в памяти, а некоторые, совершенно забытые с самого детства, теперь, когда я потерял ее, по мере того как я старею,

возникают вновь с невыразимым очарованием. Кто сказал бы, что я, старый ворчун, снедаемый заботами и огорчениями, иной раз ловлю себя на том, что плачу, как ребенок, бормоча эти песенки голосом уже разбитым и дрожащим? Особенно ясно вспоминается мне мотив одной из песен, но половина слов упорно отказывается уступить усилиям моей памяти, хотя я смутно припоминаю рифмы. Вот начало и то, что я мог припомнить из остального:

Тирсис, свирелью  
Не зови меня под вяз  
В поздний час, —  
Ведь звонкой трелью  
В селе ты выдал нас.  
..... похмелью  
..... греха  
..... пастуха.  
Горести влечет за собой веселье<sup>517</sup>.

Я стараюсь постичь, в чем заключается для меня нежное очарование этой песни; странно и непонятно, но я не в силах допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Сотни раз я собирался написать в Париж и попросить, чтобы отыскивали остальные слова, если есть еще кто-нибудь, кто их помнит. Но я почти уверен, что удовольствие, которое я испытываю, вспоминая эту песню, отчасти поблекнет, если у меня будут доказательства, что и другие, кроме тети Сюзон, пели ее.

Таковы были первые мои привязанности на пороге жизни, так начало складываться и проявляться мое сердце, в одно и то же время такое гордое и такое нежное, мой характер, женственный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца моей жизни ставил меня в противоречия с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня.



Это воспитание было прервано случаем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. У моего отца произошло столкновение с неким господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников среди членов совета. У этого Готье, человека наглого и подлого, пошла носом кровь, и он из мести обвинил моего отца, будто тот обнажил шпагу в пределах города. Отца хотели посадить в тюрьму, но он заупрямился, требуя, чтобы обвинитель, согласно закону, был заключен вместе с ним; не добившись этого, он предпочел уехать из Женевы и на всю жизнь оставить родину, чем уступить в таком деле, в котором, как ему казалось, были затронуты его честь и свобода.

Я остался под опекой моего дяди Бернара, служившего тогда в Женевской крепости. Старшая дочь его умерла, но у него был сын одних лет со мной. Обоих нас отдали в Боссе<sup>518</sup>, на пансион к священнику Ламберсье, чтобы обучить там, наряду с латынью, всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней под названием образования.

Два года, проведенные в деревне, немного смягчили мою римскую суровость и вернули меня к детству. В Женеве, где меня ни к чему не принуждали, я любил занятия; чтение было почти единственным моим развлечением; в Боссе работа заставила меня полюбить игры, служившие отдыхом от нее. Деревенская жизнь была так нова для меня, что я не уставал наслаждаться ею. Я почувствовал такое сильное расположение к ней, что оно уже никогда не могло угаснуть. Воспоминание о счастливых днях сельской жизни всегда заставляло меня жалеть об ее удовольствиях вплоть до того времени, когда я вернулся к ней. Г-н Ламберсье был человек очень разумный; не пренебрегая нашим образованием, он вместе с тем не обременял нас чрезмерными занятиями. Доказательством его умелого руководства служит то, что, несмотря на мою нелюбовь к принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением о часах моих занятий, и если я усвоил у него не особенно много, то усвоенному научился без труда и ничего из этого не забыл.

Простота этой сельской жизни принесла мне неоценимое благо, открыв мое сердце дружбе. До сих пор мне были знакомы только чувства возвышенные, но воображаемые. Привычка жить мирно бок о бок тесно связала меня с моим двоюродным братом Бернаром. Вскоре я стал питать к нему чувства более нежные, чем к своему брату, и

сохранил их навсегда Это был высокий мальчик, очень худой, очень хилый и настолько же добрый сердцем, насколько слабый телом; он не слишком злоупотреблял предпочтением, которое оказывали ему в доме как сыну моего опекуна. Наши занятия, развлечения, вкусы были одни и те же; мы были одиноки, одного возраста, каждый из нас нуждался в товарище, разлучить нас – значило бы, в известном смысле, нас уничтожить. Хотя у нас было мало поводов для доказательства взаимной привязанности, она достигала крайних пределов, и мы не только не могли прожить ни одной минуты врозь, но не представляли себе, что это когда-нибудь может случиться. Оба с характером, легко уступающим ласке, услужливые, когда нас не принуждали к этому, мы всегда были во всем согласны между собой. Если благодаря благосклонности к Бернару наших воспитателей он в их присутствии имел некоторое преимущество передо мной, то, когда мы оставались одни, преимущество было на моей стороне, и равновесие восстанавливалось. Во время наших занятий, когда он запинался, я подсказывал ему; когда моя задача была решена, я помогал решать ему; а в наших играх мой характер, более деятельный, всегда служил ему путеводителем. Словом, наши характеры так хорошо подходили друг к другу и дружба, соединявшая нас, была так искренна, что в течение более пяти лет, которые мы прожили, почти не разлучаясь, как в Боссе, так и в Женеве, мы, признаюсь, хотя и часто дрались, но никогда нас не приходилось разнимать, никогда наша ссора не продолжалась более четверти часа, и ни разу мы не пожаловались друг на друга. Подробности эти наивны, если угодно, но из них складывается образец отношений, быть может единственный, с тех пор как существуют дети.

Образ жизни в Боссе так подходил для меня, что если бы он продлился дольше, то окончательно определил бы мой характер. Чувства нежные, благожелательные, мирные составляли его основу. Думаю, что никогда ни одно человеческое существо не было от природы менее тщеславно, чем я. Я поднимался порывами до возвышенных движений души, но тотчас же снова впадал в обычную вялость. Быть любимым всеми близкими было моим живейшим желанием. Я был кроток; мой двоюродный брат тоже; наши воспитатели сами были такими же. За целые два года я не стал ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств. Все питало в

моем сердце склонности, заложенные природой. Самой большой радостью для меня было видеть, что все довольны мной и всем вокруг. Я всегда буду помнить, что в храме, когда я запинаясь, отвечая по катехизису, ничто так не смущало меня, как признаки беспокойства и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Одно это удручало меня больше, чем стыд публичного промаха, хотя и это до крайности волновало меня; и я могу здесь сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня гораздо меньше, чем боязнь огорчить ее.

Однако она, как и ее брат, не упускала случая, когда это было необходимо, проявить строгость, но строгость эта, почти всегда справедливая, никогда не переходила границ и поэтому только огорчала, но не возмущала меня. Я больше боялся не угодить, чем понести за это кару, и признак неудовольствия был для меня тягостней телесного наказания. Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это. Как поспешили бы изменить методу обращения с детьми, если бы лучше видели отдаленные последствия той методы, которую постоянно применяют без разбора и часто безрассудно! Великий урок, который можно извлечь из примера, столь же обычного, сколь пагубного, вынуждает меня привести его.

Так как мадемуазель Ламберсье любила нас, как мать, она пользовалась и материнской властью, простирая ее до того, что подвергала нас порой, когда мы этого заслуживали, наказанию, обычному для детей. Довольно долго она ограничивалась лишь угрозой, и эта угроза наказанием, для меня совершенно новым, казалась мне очень страшной, но после того, как она была приведена в исполнение, я нашел, что само наказание не так ужасно, как ожидание его. И вот что самое странное: это наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему. Понадобилась вся моя искренняя привязанность, вся моя природная мягкость, чтобы помешать мне искать случая снова пережить то же обращение с собой, заслужив его; потому что я обнаружил в боли и даже в самом стыде примесь чувственности, вызывавшую во мне больше желания, чем боязни снова испытать это от той же руки. Правда, к этому, несомненно, примешивалась некоторая доля преждевременно развившегося полового инстинкта, и то же наказание, полученное от ее брата, вовсе не показалось бы мне приятным. Впрочем, зная его

характер, мне нечего было опасаться такой замены; и если я не старался заслужить наказание, то исключительно из боязни рассердить мадемуазель Ламберсье; ибо так сильна надо мной власть доброжелательности, даже той, которая порождена чувственностью, что она всегда повелевала в моем сердце.

Повторение, которое я отдалял, боясь его, произошло без моей вины, то есть помимо моей воли, и я им воспользовался, могу сказать, с чистой совестью. Но этот второй раз был и последним, – мадемуазель Ламберсье, несомненно, заметив по какому-то признаку, что это наказание не достигает цели, объявила, что она от него отказывается, так как оно слишком утомляет ее. До тех пор мы спали в ее комнате, а зимой иногда даже в ее постели. Через два дня нас перевели в другую комнату, и с тех пор я удостоился чести, без которой прекрасно обошелся бы: она стала обращаться со мной, как с большим мальчиком.

Кто бы мог подумать, что это наказание, которому подвергла восьмилетнего ребенка девушка тридцати лет, определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем? В то время как во мне зажглась чувственность, желания мои так изменились, что, ограничившись испытанным, я не стал искать ничего другого. Хотя чуть ли не с самого рождения кровь моя была полна чувственного огня, я сохранил себя чистым и незапятнанным до того возраста, когда развиваются самые холодные и самые медлительные темпераменты. Мучаясь долго, сам не зная отчего, я пожирал пламенным взглядом красивых женщин; мое воображение беспрестанно напоминало их мне только для того, чтобы распорядиться ими по-своему и сделать их всех девицами Ламберсье.

Даже по достижении возмужалости этот странный вкус, по-прежнему упорный и доведенный до извращенности, до безумия, сохранил во мне благонравие, хотя, казалось бы, должен был лишить меня его. Если когда-нибудь воспитание было скромным и целомудренным, то именно такое воспитание я и получил. Три мои тетки отличались не только примерной рассудительностью, но и сдержанностью, давно уже незнакомой женщинам. Отец мой, охотник до наслаждений, но любезничавший по старой моде, никогда не заводил с женщинами, которых он любил, разговоров, способных

заставить покраснеть девушку, и нигде уважение к детям не шло так далеко, как в моей семье; не менее внимательным ко мне в этом отношении был и г-н Ламберсье; одна очень хорошая служанка была выставлена им за дверь за какое-то немного вольное слово, сказанное при нас.

До своей юности я не только не имел ясного понятия о близости полов, но никогда смутное представление об этом не возникало у меня иначе, как в отталкивающем и противном виде. К публичным женщинам я чувствовал гадливость, которая осталась во мне навсегда; я не мог видеть развратника без чувства презрения, даже без ужаса; мое омерзение достигло высшей степени после того, как однажды, идя в Малый Сакконе по выбитой в горах дороге, я заметил по обеим ее сторонам углубления в земле, в которых, как мне говорили, эти люди совершали свои совокупления. То, что я наблюдал у собак, тоже всегда приходило мне на ум, когда я думал об этом, и от одного этого воспоминания меня начинало тошнить.

Эти предрассудки воспитания, сами по себе способные сдержать первые вспышки пылкого темперамента, как я сказал, получили поддержку в уклонении, которое вызвали у меня первые проявления чувственности. Рисуя в воображении лишь то, что перечувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастья, никогда не доходя до другого, который мне сделался ненавистным и который был так близок к первому, хотя я об этом и не подозревал. В своих глупых фантазиях, в своих эротических исступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился.

Таким образом, обладая темпераментом очень пылким, очень сладострастным, очень рано пробудившимся, я тем не менее прошел возраст возмужалости, не желая и не зная других чувственных удовольствий, кроме тех, с какими познакомила меня, совершенно невинно, мадемуазель Ламберсье, а когда время сделало меня наконец мужчиной, случилось так, что меня опять спасло то самое, что должно было бы погубить. Моя прежняя детская склонность, вместо того, чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить ее от желаний, зажженных чувственностью. И это

безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами; у меня не было смелости все сказать или возможности все сделать, ибо тот род наслаждения, по отношению к которому другое было для меня лишь последним пределом, не мог быть самостоятельно осуществлен тем, кто его желал, ни отгадан той, которая могла его доставить. Всю жизнь я вожделел и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил. Никогда не смея признаться в своей склонности, я по крайней мере тешил себя отношениями, сохранявшими хотя бы представление о ней. Быть у ног надменной возлюбленной, повиноваться ее приказаниям, иметь повод просить у нее прощения – все это доставляло мне очень нежные радости; и чем больше мое живое воображение воспламеняло мне кровь, тем больше я походил на охваченного страстью любовника. Понятно, что этот способ ухаживания не ведет к особенно быстрым успехам и не слишком опасен для добродетели тех, кто является их предметом.

Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, то есть в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность; но те же самые наклонности, возможно, погрузили бы меня в самое грубое сладострастие, будь у меня больше бесстыдства.

Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе; после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не может остановить меня. Чего стоят мне подобные признания, можно судить по тому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать, пронизывая все мое тело судорожным трепетом возбуждения, но никогда не мог я отважиться признаться в моем безумии, не мог даже в самых интимных отношениях умолять о единственной милости, которой мне недоставало. Это случилось со мной только раз, в детстве, с девочкой моих лет, да и то предложение исходило от нее.

Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем

не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое; и нахожу также другие, с виду тождественные, но образовавшие благодаря стечению известных обстоятельств столь различные сочетания, что трудно представить себе, чтобы между ними была какая-нибудь связь. Кто подумал бы, например, что один из самых могущественных двигателей моей души исходил из того же источника, из которого в мою кровь лились изнеженность и сладострастье? Не покидая предмета, о котором только что шла речь, я покажу, сколь несходное впечатление произвел он в другом случае.

Как-то раз, оставшись один, я учил урок в комнате, смежной с кухней; служанка положила сушить на плиту гребенки мадемуазель Ламберсье. Когда она вернулась за ними, оказалось, что у одной гребенки половина зубьев сломана. Кто виновник этого? Никто, кроме меня, не входил в комнату. Меня допрашивают; я утверждаю, что не трогал гребенки. Г-н Ламберсье и его сестра убеждают меня, угрожают мне, наступают на меня, — я упрямо стою на своем; но улика была слишком очевидна, она пересилила все мои возражения, хотя впервые было замечено, что я лгу так дерзко. К делу отнеслись серьезно: оно того стоило. Злость, ложь, упорство казались одинаково заслуживающими наказания; но, на беду, уже не мадемуазель Ламберсье произвела его надо мной. Написали моему дяде Бернару; он приехал. Мой бедный двоюродный брат был обвинен в другом, не менее тяжком проступке, и мы оба подверглись одному наказанию. Оно было ужасно. Если бы, ища лекарства в самой болезни, пожелали навсегда подавить мои извращенные чувства, то и тогда не могли бы лучше взяться за дело. И нужно сказать, что чувства эти надолго оставили меня в покое.

У меня не удалось вырвать требуемое признание. Меня призывали к ответу много раз, довели до ужасного состояния, но я был непоколебим. Мне легче было умереть, и я решился на это. Самой силе пришлось сдаться перед дьявольским упрямством ребенка, — так называли мою стойкость. Наконец я вышел из этого ужасного испытания, истерзанный, но торжествующий.

Прошло почти пятьдесят лет со времени этого происшествия, теперь мне нечего бояться наказания за тот случай, и вот я объявляю перед лицом неба, что я был в нем неповинен, что я не ломал и не трогал гребня, не подходил к плите и даже не думал об этом. Пусть меня не

спрашивают, как сломался гребень, – я этого не знаю и не могу понять; знаю одно только, что в этом я был неповинен.

Пусть представят себе характер, робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях, характер ребенка, всегда повиновавшегося голосу рассудка, всегда встречавшего обращение ласковое, ровное, приветливое, не имевшего даже понятия о несправедливости и в первый раз испытывавшего столь ужасную несправедливость со стороны людей, которых он любил и уважал больше всего. Какое крушение понятий! Какое смятение чувств! Какой переворот в сердце, в мыслях, во всем его духовном, нравственном существе! Я говорю: пусть представят себе все это, если возможно, а я совершенно не способен разобрать и проследить во всех мелочах то, что происходило тогда во мне.

У меня еще недоставало разума, чтобы понять, насколько видимость обличает меня, и поставить себя на место других. Я стоял на своем и чувствовал только суровость страшного возмездия за преступление, которого я не совершил. Телесная боль, хотя и сильная, была для меня мало чувствительна; я испытывал только негодование, бешенство, отчаяние. Мой двоюродный брат, находясь приблизительно в том же положении, будучи наказан за невольную ошибку, как за умышленный проступок, приходил в ярость по моему примеру и, так сказать, настраивал себя на один лад со мной. Лежа в одной постели, мы судорожно сжимали друг друга в объятиях, мы задыхались, и когда наши юные сердца, немного успокоившись, были в состоянии излить свой гнев, мы поднимались на нашем ложе и изо всех сил кричали: «Carnifex! Carnifex! Carnifex!»<sup>519</sup>.

И сейчас еще, когда пишу эти строки, я чувствую, как учащается мой пульс; эти минуты будут всегда у меня в памяти, хотя бы я прожил сто тысяч лет. Первое ощущение насилия и несправедливости так глубоко запечатлелось в моей душе, что все мысли, связанные с ним, будят во мне и прежние волнение; и это чувство, в своем истоке относившееся лично ко мне, так упрочилось и так отрешилось от всего личного, что при виде любого несправедливого поступка или даже при рассказе о несправедливости, над кем бы и где бы ее ни совершили, мое сердце так горит негодованием, как будто я сам являюсь жертвой. Когда я читаю о жестокостях свирепого тирана, об изощренном коварстве лицемера-священника, я охотно пустился бы в путь, чтобы



заколоть этих презренных, хотя бы при этом мне пришлось сто раз погибнуть. Я часто вгонял себя в пот, стараясь догнать или попасть камнем в петуха, корову, собаку, всякое животное, на моих глазах мучившее другое животное единственно потому, что было сильнее. Это чувство, возможно, у меня врожденное, и думаю, что это так; но впечатление от первой несправедливости, испытанной мною, было столь долго и крепко с ним связано, что значительно усилило его.

И вот пришел конец моей ясной детской жизни. С этого момента я перестал наслаждаться невозмутимым счастьем, и даже теперь чувствую, что воспоминания о прелестях моего детства на этом кончаются. Мы оставались в Боссе еще несколько месяцев. Мы переживали то, что переживал первый человек, еще не изгнанный из рая, но уже переставший наслаждаться им: все было как будто прежним, но на деле жизнь пошла совсем по-другому. Привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше учеников и воспитателей; мы уже не смотрели на них, как на богов, читающих в наших сердцах; мы уже меньше стыдились дурных поступков и больше боялись быть уличенными; мы стали скрываться, противоречить, лгать. Все пороки, свойственные нашему возрасту, развращали нашу невинность и безобразили наши игры. Даже сельская жизнь утратила в наших глазах обаяние сладостного покоя и простоты, идущих прямо к сердцу; она казалась нам теперь пустынной и мрачной; она как бы покрылась пеленой, скрывавшей от нас ее красоту. Мы перестали ухаживать за своими садиками, за цветами и травами. Мы уже не копались в земле и не вскрикивали от радости, видя, что брошенное в нее зерно дало росток. Нам надоела эта жизнь, и мы надоели воспитателям; мой дядя взял нас, и мы расстались с гном и с мадемуазель Ламберсье, пресыщенные друг другом и мало сожалея о разлуке.

Почти тридцать лет прошло со времени моего отъезда из Боссе, и я ни разу не вспомнил о пребывании там с удовольствием и сколько-нибудь связно. Но с тех пор как, перейдя зрелый возраст, я стал клониться к старости, я замечаю, что эти воспоминания возникают вновь, вытесняя все другие, и запечатлеваются в моей памяти в образах, очарование и сила которых растет с каждым днем; как будто я уже чувствую, что жизнь ускользает, и стараюсь поймать ее у самого начала. Мельчайшие события того времени милы мне единственно

потому, что они относятся именно к тому времени. Я вспоминаю во всех подробностях все места, всех людей, часы дня. Вижу служанку и лакея, убирающих комнату; ласточку, влетающую в окно; муху, садящуюся мне на руку, в то время как я отвечаю урок; вижу убранство комнаты, где мы находились: шкаф г-на Ламберсье по правую руку, гравюру, изображающую всех пап, барометр, большой календарь, кусты малины, которые затеняли окно и порой тянулись в комнату из сада, расположенного выше, нежели наш дом, выходявший в него задним крыльцом. Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом. Отчего мне не решиться поведать все маленькие происшествия того счастливого возраста, заставляющие меня еще и сейчас вздрагивать от радости, когда я вспоминаю их. Среди них есть пять или шесть, о которых мне особенно хотелось бы упомянуть. Договоримся. Я избавлю вас от пяти, но хочу сообщить об одном-единственном – при условии, что мне позволят рассказывать как можно дольше, чтобы продлить мое удовольствие.

Если б я думал только о вашем удовольствии, я мог бы выбрать происшествие с мадемуазель Ламберсье, зад которой, вследствие ее неудачного падения на покато́м лугу, предстал во всей красе перед сардинским королем во время его проезда; но происшествие с ореховым деревом на площадке для меня более занимательно, так как тут я был действующим лицом, а при падении мадемуазель Ламберсье – только зрителем; и, признаться, мне ничуть не хотелось смеяться над этим случаем, хотя и комичным самим по себе, но огорчившим меня, так как он произошел с особой, которую я любил, как мать, а может быть, и больше.

О вы, читатели, жаждущие услышать великую повесть об ореховом дереве на площадке, выслушайте эту ужасную трагедию без содрогания, если можете!

Возле двора, слева от ворот, была площадка со скамейкой, на которой часто сидели днем, но в этом месте совсем не было тени. Чтобы создать ее, г-н Ламберсье посадил там ореховое дерево. Посадка была произведена торжественно: оба питомца были восприемниками, и пока закапывали яму, мы держали дерево каждый одной рукой, распевая победные песни. Для поливки вокруг дерева устроили нечто вроде бассейна. Каждый день, жадно созерцая эту

поливку, мы с двоюродным братом все более укреплялись в очень естественной мысли, что гораздо лучше посадить дерево на площадке, чем водрузить знамя на вражеской крепости, и мы решили добыть себе эту славу, не разделяя ее ни с кем.

Для этого мы срезали черенок молодой ивы и посадили его на площадке, в восьми или десяти шагах от величественного орехового дерева. Мы не забыли также сделать углубление вокруг нашей ивы; трудность заключалась в том, чтобы наполнить это углубление, так как вода была далеко, а нам не позволяли за ней бегать. Между тем она была совершенно необходима для нашего черенка. В течение нескольких дней мы пускались на всевозможные хитрости, чтобы добывать воду; и нам это так хорошо удавалось, что мы вскоре увидели, как на иве набухают почки и распускаются маленькие листья, рост которых мы измеряли каждый час, уверенные, что ива, хотя и не достигавшая фута над землей, скоро будет давать нам тень.

Наше дерево, поглощая нас целиком, делало нас совершенно неспособными к прилежанию в учении; мы были как в бреду. Не понимая, что с нами творится, нам стали давать меньше воли, чем раньше, и мы уже предвидели приближение роковой минуты, когда наше дерево останется без воды, и приходили в отчаяние, ожидая, что оно засохнет и погибнет. Наконец нужда – мать изобретательности – подсказала нам способ спасти и себя и дерево от верной гибели: он заключался в том, чтобы провести под землей канавку, которая тайно подводила бы к иве часть воды, предназначавшейся для поливки орехового дерева. Это предприятие, выполненное с увлечением, удалось, однако, не сразу. Мы сделали такой неудачный наклон, что вода совсем не текла, земля обваливалась и засыпала канавку, вход наполнялся грязью; все шло вкривь и вкось. Но мы не падали духом: *Omnia vincit labor improbus*<sup>520</sup>.

Мы углубили и канавку, и наш бассейн, чтобы дать воде свободное течение; разрезали днища от ящиков на узкие дощечки, укрепили эти планочки – одни плашмя друг за другом, другие по обеим сторонам первых и под углом к ним, сделав из них трехугольный желоб для нашего канала. При входе в него мы установили узкие щепочки, переплели их, и они, образуя нечто вроде решетки или сетки, задерживали грязь и камни, не закрывая прохода для воды. Мы заботливо прикрыли наше сооружение землей, хорошо утоптали ее; и в

день, когда все было готово, обуреваемые надеждой и страхом, ждали часа поливки. После бесконечного ожидания этот час наконец настал; г-н Ламберсье, по обыкновению, пришел, чтобы присутствовать при этой операции, во время которой мы оба держались позади него, чтобы скрыть наше дерево, но он, по счастью, стоял к нему спиной.

Едва успели вылить первое ведро воды, как мы увидели, что она течет в наш бассейн. При этом зрелище благоразумие оставило нас, и мы так закричали от радости, что г-н Ламберсье обернулся; это было очень печально, потому что ему доставляло огромное удовольствие видеть, как хороша земля у его орехового дерева и как она жадно пьет воду. Увидя, что вода растекается на два бассейна, он, пораженный, в свою очередь испускает крик, озирается, замечает жульничество, резко приказывает принести себе заступ, наносит такой удар, что щепки от наших досок летят в воздух, и, крича во все горло: «Водопровод! Водопровод!» – сокрушает все безжалостными ударами, из которых каждый разил нас в самое сердце. В одно мгновение доски, канал, бассейн, ива – все было разрушено, все было срыто, и во время этого ужасного разгрома не было произнесено ни одного слова, кроме восклицания, которое он повторял без конца. «Водопровод! – кричал он, уничтожая наше сооружение. – Водопровод! Водопровод!»

Подумают, что приключение имело плохие последствия для маленьких архитекторов. Ошибутся: все кончилось на этом. Г-н Ламберсье не сказал нам ни слова упрека, не смотрел на нас сердито и больше не говорил с нами об этом; мы даже услышали через некоторое время, как он смеялся со своей сестрой во все горло, – потому что смех его был слышен издалека; и – что еще удивительней – мы сами, когда прошло первое потрясение, не были слишком огорчены. Мы посадили другое дерево в другом месте и, часто вспоминая катастрофу, погубившую первое дерево, повторяли с пафосом: «Водопровод! Водопровод!». До этого у меня временами бывали приступы гордости, когда я воображал себя Аристидом или Брутом. А здесь во мне впервые заговорило явное тщеславие. Построить собственными руками водопровод, заставить черенок соперничать с большим деревом казалось мне деянием, достойным высшей славы. В десять лет я судил об этом лучше, чем Цезарь в тридцать.

Мысль об этом ореховом дереве и маленькая история, с ним связанная, так хорошо сохранились у меня в памяти или снова

возникли в ней, что одним из приятнейших для меня замыслов во время моего путешествия в Женеву, в 1754 году, было отправиться в Боссе, чтобы вновь увидеть памятники моих детских игр и особенно – милое ореховое дерево, которому в то время должно было исполниться уже треть века.

Но меня непрерывно осаждали, я так мало мог располагать собой, что у меня не нашлось времени удовлетворить свое желание. Мало вероятно, чтобы такой случай когда-либо снова представился мне. Однако я не теряю ни желаний, ни надежды и почти уверен, что, если когда-нибудь вернусь в эти дорогие места и найду мое милое ореховое дерево еще в живых, – я орошу его слезами.

По возвращении в Женеву я провел около трех лет у моего дяди, ожидая, когда решат, что со мною делать. Так как дядя предназначал своего сына в инженеры, он немного выучил его рисовать и познакомил с «Элементами» Эвклида. Я учился за компанию и пристрастился к занятиям, особенно к рисованию. Между тем обсуждали вопрос – сделать ли из меня часовщика, адвоката или священника. Я предпочитал стать священником, потому что говорить проповедь казалось мне прекрасным. Но доход от имения моей матери, который еще надо было поделить между мной и братом, был слишком мал, чтобы я мог продолжать учение. Мой возраст позволял не слишком спешить с выбором, и я оставался пока что у дяди, почти ничего не делая и не переставая платить, как и подобало, порядочную сумму за свое содержание.

Дядя, подобно моему отцу, был любителем удовольствий, но не умел подчиняться своим обязанностям, как это делал отец, и довольно мало заботился о нас. Моя тетка была женщина набожная, немного пиетистка<sup>521</sup> и больше любила распевать псалмы, чем заниматься нашим воспитанием. Нам была предоставлена почти полная свобода, которой мы, однако, никогда не злоупотребляли. Всегда неразлучные, мы довольствовались обществом друг друга; не имея охоты водиться с сорванцами нашего возраста, мы не переняли ни одной из разнузданных привычек, которые могла бы нам внушить праздность. Я даже не прав, изображая нас праздными, так как мы были ими менее чем когда-либо, и, что было особенным счастьем – все забавы, которыми мы последовательно увлекались, удерживали нас обоих дома, так что у нас даже не было соблазна выйти на улицу. Мы

мастерили клетки, дудки, воланы, барабаны, дома, лодочки, самострелы. Мы портили инструменты моего доброго старого деда, стараясь сделать, по его примеру, часы. Особенно же мы любили марать бумагу, рисовать, раскрашивать, расцвечивать, изводить краски. В Женеву приехал итальянский шарлатан по фамилии Гамба-Корта; раз мы пошли посмотреть на него, и больше не захотели ходить. Но у него были марионетки, и мы принялись за изготовление марионеток; его марионетки разыгрывали нечто вроде комедий, и мы принялись сочинять комедии для наших. За неимением пищика мы подражали голосу Полишинеля горлом, разыгрывая эти прелестные комедии перед нашими несчастными добрыми родственниками, у которых хватало терпения смотреть их и слушать. Но после того, как мой дядя Бернар прочитал в семейном кругу отличную проповедь своего сочинения, мы бросили комедии и принялись составлять проповеди. Сознаю, что все эти подробности не слишком интересны, но они показывают, насколько хорошо было наше первоначальное воспитание, если и в таком нежном возрасте, предоставленные самим себе, мы никогда не пытались злоупотреблять своей свободой. Потребность в товарищах была у нас так мала, что мы пренебрегали представлявшимися случаями приобрести их. Гуляя, мы смотрели мимоходом на игры других мальчиков без зависти, даже не помышляя принять в них участие. Взаимная дружба так наполняла наши сердца, что нам было достаточно быть вместе, чтобы самые простые забавы становились для нас наслаждением.

Видя нас неразлучными, на нас обратили внимание, тем более что мой двоюродный брат Бернар был очень высокого роста, а я – очень маленького, так что получалась довольно смешная пара. Его длинная, тонкая фигура, маленькое, как печеное яблоко, лицо, хилый вид, небрежная походка давали детям повод для насмешек. На местном наречии ему дали прозвище «Барна Бреданна»<sup>522</sup>, и стоило нам выйти на улицу, мы только и слышали вокруг: «Барна Бреданна!» Он переносил это спокойней, чем я. Я сердился, лез в драку; а маленьким плутам только этого и надо было. Я бил и бывал битым. Мой бедный брат помогал мне как мог; но он был слаб: его сбивали с ног одним ударом кулака. Тогда я приходил в ярость. Однако, хотя мне и всыпали тумачков, предметом неприязни был не я, а «Барна Бреданна»; но я так ухудшил дело своим неукротимым бешенством, что вскоре мы

решались выходить из дому только в часы занятий, боясь травли и преследования со стороны школьников.

Вот я уже защитник угнетенных. Чтобы стать рыцарем по всем правилам, мне недоставало только дамы – у меня их оказалось две. Время от времени я отправлялся повидаться с отцом в Нион, маленький городок в кантоне Во, где он поселился. Моего отца очень любили, и это отражалось на сыне. Во время моего краткого пребывания у него меня угощали наперебой; некая г-жа де Вюльсон осыпала меня ласками, и в довершение всего дочь ее избрала меня своим кавалером. Понятно, что значит одиннадцатилетний кавалер для девушки двадцати двух лет. Все эти плутовки так любят выдвигать вперед маленьких кукол, чтобы прикрывать ими больших или заманивать последних игрою, которую они умеют сделать привлекательной! Что касается меня, то я не замечал никакого несоответствия между нею и мной и принял дело всерьез. Я предался всем сердцем – вернее, всей головою, так как был влюблен только головой, хоть и до безумия, – и мои восторги, волнения, неистовые вспышки гнева порождали сцены, от которых можно было умереть со смеху.

Мне известны два вида любви, очень определенных, очень реальных и не имеющих между собой почти ничего общего, хотя тот и другой пылки и оба не похожи на нежную дружбу. Вся моя жизнь разделилась между двумя этими видами любви, столь различными по природе, и порою я переживал их даже одновременно. Так, например, в тот период, о котором я говорю, увлекаясь мадемуазель де Вюльсон так открыто и деспотически, что не терпел, чтобы кто-либо из мужчин к ней приближался, я имел краткие, но довольно оживленные свидания с некоей маленькой мадемуазель Готон, во время которых она благосклонно брала на себя роль школьной учительницы, и это было все; но это «все» было действительно всем для меня и казалось мне высшим счастьем; и уже понимая цену тайны, хотя и пользуясь ею как ребенок, я оплачивал ничего не подозревавшей мадемуазель де Вюльсон за то, что она так усердно пользовалась мною для прикрытия своих увлечений. Но, к моему великому огорчению, моя тайна была раскрыта, или, может быть, моя маленькая учительница не хранила ее так, как я, потому что нас не замедлили разлучить, и через некоторое

время, после того как я вернулся в Женеву, я слышал, проходя через Кутанс, как девочки вполголоса кричали мне: «Готон тик-так Руссо».

Странным созданием, по правде говоря, была эта маленькая мадемуазель Готон. Она не была красива, но ее лицо трудно забыть, и я еще теперь вспоминаю его, даже слишком часто для старого безумца. В особенности глаза у нее были недетские, а также стан и манера держаться. У нее был милый, внушительный и гордый вид, очень подходящий для роли учительницы, что и вызвало у нас с ней первую мысль об этой игре. Но самым странным в ней было сочетание смелости и сдержанности, которое трудно было понять. Она позволяла себе со мной самые большие вольности, никогда не допуская ничего подобного с моей стороны; она обращалась со мной буквально как с ребенком, и это заставляет меня думать, что она уже перестала быть им или, наоборот, еще оставалась им настолько, что видела лишь забаву в опасности, которой себя подвергала.

Я, если можно так выразиться, всецело принадлежал каждой из этих двух особ, и так безраздельно, что мне никогда не случилось в обществе одной из них думать о другой. Впрочем, не было ничего сходного в том чувстве, которое они вызывали во мне. Я провел бы всю жизнь с мадемуазель де Вюльсон, не помышляя ее покинуть, но, когда я приближался к ней, моя радость была спокойна, и я не ощущал волнения. Особенно любил я ее в большом обществе: шутки, поддразнивание, даже ревность привлекали, занимали меня; я гордился и торжествовал, видя, что она предпочитает меня взрослым соперникам, с которыми, казалось, обходится дурно. Меня мучили, но я любил это мучение. Похвала, одобрение, смех возбуждали и оживляли меня. Я горячился, острил; я пылал любовью на людях; с глазу на глаз я был бы натянут, холоден, быть может скучал бы. Между тем я принимал в ней нежное участие; я страдал, когда она была больна; я отдал бы свое здоровье, чтобы она поправилась; и заметьте, что я по опыту прекрасно знал, что такое болезнь и что такое здоровье. Вдали от нее я думал о ней, мне недоставало ее; но ее ласки были приятны сердцу, а не чувствам. Близкое общение с ней было для меня безопасно; мое воображение требовало лишь того, что она мне давала; однако я не вынес бы, если бы видел, что она обращается с другими так же. Я любил ее, как брат, но ревновал, как любовник.



Я ревновал бы и маленькую Готон, как турок, как бешеный, как тигр, если б только мог представить себе, что с кем-нибудь другим она обращается, как со мной,— ведь это было милостью, о которой нужно просить на коленях. К мадемуазель де Вюльсон я подходил с живым удовольствием, но без смущенья, меж тем, как при появлении маленькой Готон я больше уже ничего не видел; все чувства мои приходили в смятение. Я был близок с первой без всяких вольностей, а перед второй я столько же трепетал, сколько возбуждался, даже при самых больших вольностях. Думаю, что, если б я слишком долго оставался с ней, я не выжил бы: сердцебиение задушило бы меня. Обеим одинаково я боялся не угодить, но был услужливее с одной и покорней с другой. Ни за что на свете не хотел бы я рассердить мадемуазель де Вюльсон, но, если бы маленькая Готон приказала мне броситься в огонь, думаю, что я тотчас же повиновался бы ей.

Моя любовь или, верней, мои встречи с маленькой Готон продолжались недолго, к счастью для нее и для меня. Мои отношения с мадемуазель де Вюльсон не были столь опасны, но и они кончились катастрофой, хотя продолжались дольше. Конец подобных отношений, наверно, всегда имеет несколько романтический вид и дает повод к пересудам. Хотя чувство мое к мадемуазель де Вюльсон было менее пылко, в нем, может быть, было больше привязанности. Мы никогда не расставались без слез, и трудно представить себе, в какую гнетущую пустоту ввергла меня разлука с ней. Я мог говорить и думать только о ней; мои сожаления были неподдельны и живы; но я подозреваю, что, в сущности, не все эти страстные сожаления относились к ней, и, хотя я сам не замечал этого, развлечения, центром которых она являлась, играли тут большую роль. Чтобы умерить горечь разлуки, мы писали друг другу письма, пафос которых был способен сокрушить скалы. Наконец, к моему величайшему торжеству, она не выдержала и приехала повидаться со мной в Женеву. Тут голова моя окончательно закружилась; я был точно пьян и безумствовал в течение двух дней, которые она провела здесь. Когда она уезжала, я хотел броситься вслед за ней вплавь по озеру и долго оглашал воздух своими криками. Через неделю она прислала мне конфет и перчатки, что показалось бы мне очень любезным, не узнай я в то же время, что она вышла замуж и что путешествие, которым ей угодно было почтить меня, имело целью покупку подвенечного платья.

Я не стану описывать свое бешенство: оно понятно само собой. В своем благородном гневе я поклялся никогда не встречаться с коварной, так как не в состоянии был представить себе более ужасного для нее наказания. Но она от этого не умерла; двадцать лет спустя, приехав навестить отца и катаясь с ним по озеру, я спросил, кто эти дамы в лодке невдалеке от нас. «Как! – сказал мне отец, улыбаясь. – Разве сердце тебе ничего не подсказывает? Это твоя прежняя любовь: госпожа Кристен, мадемуазель де Вюльсон». Я вздрогнул, услышав это почти забытое имя, но попросил лодочников повернуть в сторону; хотя мне теперь и легко было отомстить, я не думал, чтобы стоило труда нарушать клятву и возобновлять ссору двадцатилетней давности с женщиной сорока лет.

Так тратилось на пустяки самое драгоценное время моего детства, прежде чем решена была моя участь. После долгого обсуждения моих природных склонностей остановились наконец на том, к чему я меньше всего был способен, и устроили меня к Массерону, городскому протоколисту, чтобы я научился под его руководством полезному ремеслу *судебного крючоктвора*, как говорил г-н Бернар. Прозвище это очень не нравилось мне; надежда заработать кучу денег неблагородным путем мало льстила моему гордому нраву; занятие казалось мне скучным, невыносимым; кропотливость работы, подчинение окончательно меня от него отвратили, и я всегда входил в канцелярию с тайным ужасом, возраставшим день ото дня. Массерон, со своей стороны не слишком довольный мною, относился ко мне презрительно, непрерывно упрекал за вялость, глупость и повторял ежедневно, что дядя уверял его, *будто я знаю, будто я знаю*, а на деле я ровно ничего не знаю; что ему обещали славного мальчика, а дали просто осла. Наконец я был с позором изгнан из канцелярии за неспособность, и конторщики Массерона решили, что я гожусь только на то, чтобы орудовать напильником.

Когда, таким образом, мое призвание определилось, меня отдали в учение, – однако не к часовщику, а к граверу. Презрение протоколита очень меня удручало, и я безропотно повиновался. Мой хозяин Дюкоммен был молодой человек, грубый и резкий; и ему в очень короткий срок удалось омрачить мое радостное детство, огрубить мой ласковый, живой характер и низвести меня в умственном отношении, как я уже был низведен и в своем положении, до уровня настоящего

подмастерья. Латинский язык, античный мир, история – все было забыто надолго; я даже не вспоминал о том, что на свете существовали римляне. Мой отец, когда я навещал его, более не находил во мне своего кумира; я перестал быть для дам любезным Жан-Жаком и сам так хорошо понимал, что г-н и мадемуазель Ламберсье не узнали бы во мне своего ученика, что мне стыдно было показаться им на глаза, и с тех пор я больше не видал их. Самые низкие наклонности, самое гнусное озорство заняли место милых забав, не оставив о них даже воспоминания. Видимо, несмотря на самое благопристойное воспитание, у меня была большая склонность к нравственному падению, так как оно совершилось очень быстро, без малейшего затруднения, и, верно, никогда такой скороспелый Цезарь не превращался так быстро в Ларидона<sup>523</sup>.

Ремесло само по себе нравилось мне: я очень любил рисовать, работа гравировальным резцом меня занимала; а так как в часовом деле от гравера не требуется слишком многого, я надеялся скоро достигнуть в этом искусстве совершенства. Быть может, я добился бы этого, если бы грубость моего хозяина и чрезвычайное притеснение не отвратили меня от работы. Я крал у нее время для занятий того же рода, но имевших для меня прелесть свободы. Я гравировал нечто вроде медалей, которые должны были служить мне и моим товарищам рыцарскими орденами. Застав меня за этой контрабандной работой, хозяин исколотил меня, говоря, что я упражняюсь в ремесле фальшивомонетчика, так как на наших медалях был герб республики. Могу поклясться, что у меня не было ни малейшего представления о фальшивых деньгах и очень слабое о настоящих. Я лучше знал, как делаются римские ассы<sup>524</sup>, чем наши монеты в три су.

Тирания хозяина в конце концов сделала работу, которую я мог бы полюбить, невыносимой и породила во мне пороки, которые могли бы стать для меня ненавистными: ложь, безделье, воровство. Ничто так ясно не показало мне разницу между сыновней зависимостью и рабским подчинением, как воспоминание о происшедших во мне за это время переменах.

От природы робкий и застенчивый, я из всех недостатков всего более был далек от бесстыдства. Но ведь я наслаждался разумной свободой, которая с тех пор постепенно ограничивалась и наконец совсем исчезла. Я был смел у своего отца, свободен у г-на Ламберсье,

скромен у своего дяди; я сделался запуганным у своего хозяина и стал потерянным ребенком. Привыкнув быть равным со старшими в образе жизни, не знать удовольствий, в которых мне нельзя было бы принять участия, не видеть кушаний, в которых не было бы и моей доли, не испытывать желаний, которых я не мог бы высказать, и, наконец, переносить все движенья сердца на уста,— во что я должен был превратиться в доме, где не смел раскрыть рот, где надо было вставать из-за обеденного стола после первого блюда, уходить из комнаты, как только мне там нечего было делать; где, постоянно прикованный к работе, я видел возможность удовольствия только для других, а для себя самого — одни лишения; где зрелище свободы хозяина и мастеров увеличивало тяжесть моей зависимости; где во время разговоров о том, что я знал лучше всего, я не смел и заикнуться; где, наконец, все, что я видел, становилось предметом алчных желаний моего сердца единственно потому, что я был всего лишен. Прощай довольство, веселье, удачные словечки, которые, бывало, нередко избавляли меня от наказания! Не могу вспомнить без смеха, как дома меня однажды вечером за какую-то шалость отправили спать без ужина; проходя через кухню с одним жалким кусочком хлеба, я увидел вращающееся на вертеле жаркое и услышал его запах. Все мои близкие сидели вокруг очага; нужно было проститься с каждым. Когда я обошел всех, поглядывая одним глазом на жаркое, имевшее такой заманчивый вид и такой вкусный запах, я не мог удержаться, чтобы не попрощаться и с ним, и сказал ему жалобным тоном: «Прощай, жаркое!» Эта наивная выходка показалась всем такой забавной, что меня оставили ужинать. Может быть, она имела бы успех и у моего хозяина, но, уж конечно, здесь она не пришла бы мне в голову, а если бы и пришла, я не решился бы привести ее в исполнение.

Вот так привык я таить свои желания, скрываться, притворствоваться, лгать и, наконец, красть — склонность, раньше не свойственная мне, но от которой с тех пор я не мог полностью излечиться. Желание и невозможность его удовлетворить всегда ведут к этому. Вот почему все лакеи — воры, и все ремесленные ученики тоже вынуждены воровать; но последние, вырастая, оказавшись в положении равенства и спокойствия, при котором все, что они видят, доступно им, теряют эту постыдную склонность. Не достигнув подобного благополучия, я не мог извлечь из него и эту пользу.

Почти всегда именно хорошие, но плохо направленные чувства заставляют детей делать первый шаг к дурному. Несмотря на постоянные лишения и соблазны, я прожил у хозяина больше года, не решаясь что-нибудь взять хотя бы из съестного. Первое мое воровство было делом услужливости, но оно открыло дорогу другим кражам, не имевшим столь похвальной цели.

У моего хозяина был компаньон по имени Верра; дом его находился по соседству, при нем был довольно обширный сад, где разводили прекрасную спаржу. Г-н Верра нуждался в деньгах, и ему пришла в голову мысль украсть у своей матери молодую спаржу и продать ее, чтобы устроить несколько хороших завтраков. Будучи не слишком проворным и не желая подвергаться опасности, он выбрал для этого похода меня. После нескольких предварительных любезностей, подкупивших меня тем скорей, что я не знал их цели, он предложил мне совершить эту кражу, и с таким видом, будто мысль о ней пришла ему внезапно. Я долго отказывался – он настаивал. Я никогда не мог противиться ласкам – я сдался. Я ходил каждое утро собирать самую лучшую спаржу и относил ее на Молар<sup>525</sup>, где какая-нибудь тетенька, хорошо понимая, что спаржу я только что украл, говорила мне это, чтобы купить ее подешевле. В страхе я брал то, что ей угодно было дать мне, и относил деньги г-ну Верра. Они быстро превращались в завтрак, который я же и добывал и который он разделял с одним из своих товарищей; что же касается меня, то, довольный какими-нибудь обедами, я не притрагивался даже к их вину.

Проделки эти продолжались несколько дней, и ни разу мне не пришло в голову обокрасть вора – взыскать десятину с доходов г-на Верра от спаржи. Я был необыкновенно честным жуликом; единственным моим побуждением было услужить тому, кто заставлял меня это делать. Между тем, если б меня поймали, сколько побоев, сколько оскорблений, какое жестокое обращение пришлось бы мне перенести; тогда как негодяю, отрекись он от меня, поверили бы на слово, и я был бы наказан вдвойне за то, что осмелился его обвинять, ибо он был компаньоном, а я только учеником. Вот как во всех состояниях за сильного всегда отвечает бессильный.

Так я узнал, что воровать совсем не столь ужасно, как мне казалось, и вскоре так хорошо воспользовался этим знанием, что все, чего бы я ни пожелал, будучи мне доступным, не было в безопасности. У моего

хозяина кормили не так уж плохо, и умеренность была мне тяжела только потому, что я видел, как она плохо соблюдалась другими.

Обычай заставлять детей вставать из-за стола, когда подают самые соблазнительные для них блюда, кажется мне лучшим способом делать из них лакомок и воришек. Вскоре я стал тем и другим; и обычно я чувствовал себя при этом прекрасно, – плохо было лишь тогда, когда меня накрывали.

Воспоминание, до сих пор заставляющее меня и дрожать, и смеяться, – это охота за яблоками, дорого мне обошедшаяся. Яблоки находились в углу кладовой, в которую свет проникал из кухни через решетчатое окно, прорезанное высоко в стене. Однажды, оставшись один дома, я залез на ларь, чтобы заглянуть в сад Гесперид<sup>526</sup> и полюбоваться на драгоценные плоды, к которым не мог приблизиться. Я пошел за вертелом, чтобы попробовать, не достанет ли он до яблок; он оказался слишком коротким. Я удлинил его при помощи другого, маленького вертела, употреблявшегося для мелкой дичи, так как мой хозяин любил охоту. Несколько раз я безуспешно просовывал вертел и наконец с восторгом почувствовал, что тащу яблоко. Я тянул очень осторожно: яблоко уже коснулось окна; я готов был схватить его. Кто опишет мое горе! Яблоко было слишком велико и не проходило в отверстие. Сколько изобретательности пустил я в ход, чтобы протащить его! Надо было найти подпорку, чтобы удержать вертел в нужном положении, нож, достаточно длинный, чтобы разрезать яблоко, драпку, чтобы помешать ему упасть. Затратив немало ловкости и времени, я все-таки разрезал яблоко, надеясь, что вытяну один кусок за другим; но как только яблоко распалось на половинки, обе они упали в кладовую. Сострадательный читатель, посочувствуйте моей скорби.

Я не пал духом, но потерял много времени. Боясь, что меня накроют, я решил отложить свою затею до завтра, надеясь, что мне больше посчастливится, и, вернувшись в мастерскую, принялся за работу так спокойно, будто ничего не сделал, не помышляя о двух нескромных, обличавших меня свидетелях в кладовой.

На другой день, уловив удобный момент, я делаю новую попытку. Лезу на свои подмости, удлиняю вертел, нацеливаюсь, вот уже готов наколоть яблоко... К несчастью, дракон не дремал. Дверь кладовой открывается – мой хозяин выходит оттуда, скрещивает на груди руки,

смотрит на меня и говорит: «Смелей!..» Перо выпадает у меня из рук...

Вскоре, привыкнув к плохому обращению, я сделался менее чувствителен к нему, и оно стало казаться мне в конце концов чем-то вроде естественного возмездия за воровство, – возмездия, дававшего мне право продолжать свои проделки. Вместо того чтобы оглянуться назад и вспомнить о наказании, я глядел вперед и видел мщение. Я считал, что, раз меня бьют, как воришку, это дает мне право воровать. Я находил, что воровство и побои связаны друг с другом, составляют в некотором роде одно целое, и что, исполняя ту часть, которая зависит от меня, я могу предоставить другую заботам хозяина. Усвоив эту идею, я стал воровать спокойнее, чем раньше. Я говорил себе: «Что же случится в конце концов? Меня побьют. Пускай: я для этого и создан».

Я люблю поесть, но не жаден; падок на все вкусное, но не лакомка. Слишком много других склонностей отвлекают меня от этого. Я уделял внимание своему желудку, только когда сердце мое было свободно; но это случалось в моей жизни так редко, что у меня не было времени мечтать о лакомых кусочках. Вот почему я недолго ограничивался воровством съедобного и вскоре стал брать все, что меня соблазняло; и если я не сделался настоящим вором, то лишь потому, что деньги меня никогда особенно не прельщали. В мастерской у моего хозяина было особое отделение, запиравшееся на ключ; я нашел способ открывать дверь и закрывать ее так, что это было незаметно. Там я брал прекрасные инструменты хозяина, его лучшие рисунки, его оттиски, все, что вызывало во мне зависть и что он так старательно прятал от меня. В сущности, эти кражи были очень невинны, так как все, что я таскал у хозяина, употреблялось мною для работы на него же; но я был в восторге, имея эти пустяки в своем распоряжении; мне казалось, что я краду его талант вместе с его произведениями. Впрочем, там был золотой и серебряный лом, мелкие драгоценности, ценные вещи, деньги. Я считал себя богачом, когда у меня в кармане было четыре-пять су; тем не менее я не только был очень далек от желания притронуться к какому-нибудь из этих предметов, но даже не помню, чтобы бросил на них алчный взгляд. Я смотрел на это скорей с ужасом, чем с удовольствием. Думаю, что отвращение к краже денег и всего, что их приносит, было заложено во мне воспитанием. Сюда примешивалось смутное опасение бесчестья,

тюрьмы, наказания, виселицы, которое заставило бы меня содрогнуться, поддайся я искушению, тогда как мои проделки казались мне только шалостями и действительно не были ничем иным. Все это могло кончиться лишь порядочной трепкой со стороны хозяина, и я уже заранее был готов к ней.

Но, повторяю еще раз, мое вожделение не шло настолько далеко, чтобы была необходимость его преодолевать; мне нечего было подавлять в себе. Листок хорошей бумаги для рисования больше соблазнял меня, чем деньги, на которые можно купить целую стопу. Эта странность проистекала из одной особенности моего характера, имевшей такое сильное влияние на мое поведение, что необходимо ее объяснить.

У меня очень пылкие страсти, и если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью: тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия; я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым; стыд не останавливает меня, опасность не пугает; кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновение, и вслед за тем я впадаю в оцепенение. Застаньте меня в спокойном состоянии, я – воплощенная вялость, даже робость; все меня тревожит, все отталкивает; пролетающая муха пугает меня; сказать слово, сделать движение – мысль об этом приводит в ужас мою лень; боязнь и стыд до того поработают меня, что я хотел бы исчезнуть с глаз людских. Если надо действовать, я не знаю, что делать; если надо говорить, не знаю, что сказать; если на меня смотрят, я смущаюсь. Когда я охвачен страстью, я иной раз нахожу, что сказать, но в обычных разговорах не нахожу ничего, совершенно ничего; они несносны для меня уже тем, что я обязан говорить.

Прибавьте к этому, что ни одна из моих преобладающих склонностей не обращена на то, что можно купить. Мне нужны только чистые наслаждения, а деньги отравляют все. Я люблю, например, хороший стол, но, не вынося ни чопорности избранного общества, ни кабацкого беспутства, я могу предаваться этому удовольствию лишь с приятелем, ибо, когда я один, мое воображение занято другими предметами и я уже не ощущаю никакого удовольствия от еды. Порою моя разгоревшаяся кровь требует женщин, но взволнованное сердце еще больше требует любви. Женщины, купленные за деньги, потеряли



бы для меня всякое очарование; сомневаюсь даже, чтоб я мог пользоваться ими. И так бывает со всеми доступными мне удовольствиями: раз они не достались мне даром, я нахожу их бессмысленными. Я люблю лишь те блага, которые принадлежат только первому, умеющему их вкусить.

Никогда деньги не казались мне таким драгоценным предметом, каким их считают. Больше того, они никогда не казались мне большим удобством: сами по себе они ни на что не годны, их надо сначала превратить во что-нибудь, чтобы извлечь из них удовольствие; надо покупать, торговаться, нередко быть обманутым, дорого заплатить и получить плохой товар. Я хочу получить нечто, хорошее по своему качеству, и уверен, что за деньги получу плохое. Я плачу дорого за свежее яйцо, а оно лежалое; за зрелый плод – он зелен; за девушку – она порочна. Я люблю хорошее вино, но где его достать? У виноторговца? Как бы я ни изощрялся, он может отравить меня. Я хочу во что бы то ни стало достать хорошего вина. Сколько забот, сколько затруднений! Надо иметь друзей, корреспондентов, давать поручения, писать, ездить, возвращаться, ждать и нередко под конец быть опять обманутым. Сколько хлопот с деньгами! Я боюсь их больше, чем люблю хорошее вино.

Тысячу раз во время моего ученичества и позже я выходил из дому с намерением купить себе какое-нибудь лакомство. Приближаюсь к лавке пирожника, вижу женщин за прилавком; мне уже кажется, что они пересмеиваются и издеваются над маленьким лакомкой. Прохожу мимо торговли фруктами, искоса поглядывая на прекрасные груши,— их аромат соблазняет меня, но какие-то молодые люди поблизости глядят на меня; торговец, который знает меня, стоит перед своей лавкой; вижу вдалеке девушку, не наша ли это служанка? Мои близорукие глаза вводят меня в тысячи заблуждений. Я принимаю всех проходящих за своих знакомых; все меня смущает, всюду передо мной встает какое-нибудь препятствие; желание мое растет, но растет и стыд, и я возвращаюсь наконец как дурак, снедаемый желанием, имея в кармане деньги, для того чтобы удовлетворить его, и не осмелившись ничего купить.

Мне пришлось бы войти в самые скучные подробности, если б я захотел рассказать об употреблении, которое делали из моих денег я сам или другие, о затруднениях, стыде, отвращении, неудобствах,

всякого рода неприятностях, которые я всегда при этом испытывал. По мере того, как читатель, углубляясь в мою жизнь, будет знакомиться с моим характером, он сам все это почувствует и без моих объяснений.

Поняв это, он без труда поймет и одно из моих мнимых противоречий; соединение почти скарредной скупости с величайшим презрением к деньгам. Деньги для меня – имущество настолько неудобное, что мне даже в голову никогда не приходит желать их, раз их у меня нет, но когда они у меня имеются, я долго берегу их, не тратя, так как не знаю, на что их употребить; но только подвернется удобный и приятный случай, я так хорошо пользуюсь ими, что кошелек мой опустеет, прежде чем я это замечу. Впрочем, не ищите у меня мании скупых: тратить деньги напоказ. Как раз наоборот, я трачу их тайно и для собственного удовольствия; далекий от того, чтобы кичиться своими тратами, я скрываю их. Я так хорошо понимаю, что деньги созданы не для меня, что почти стыжусь иметь их, а тем более пользоваться ими. Если б у меня когда-нибудь был определенный и достаточный для жизни доход, мне не грозила бы опасность стать скупцом, твердо уверен в этом; я тратил бы весь свой доход, не стараясь его увеличить; но необеспеченность держит меня в страхе. Я обожаю свободу, ненавижу стеснение, нужду, подчинение. Пока есть деньги в моем кошельке, они обеспечивают мне независимость, избавляют меня от необходимости изощряться, чтобы добыть их вновь, а необходимость эта всегда приводила меня в ужас; я берегу их из боязни, что они придут к концу. Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы; деньги, за которыми гонишься, – орудие рабства.

Вот почему я хорошо прячу их и никогда не стремлюсь приобрести.

Мое бескорыстие, следовательно, не что иное, как леность: удовольствие иметь не стоит труда приобретения; и моя расточительность опять-таки не что иное, как леность: когда представляется случай приятно истратить, трудно не воспользоваться им как можно лучше. Меня меньше прельщают деньги, чем вещи, потому что между деньгами и желанием обладать вещью всегда есть посредствующее звено, тогда как вещью можно наслаждаться непосредственно. Я вижу вещь, она соблазняет меня; если я вижу только средство ее приобрести, она перестает меня соблазнять. Итак, я был воришкой, иногда бываю им и теперь, таская соблазняющие меня мелочи, которые я предпочитаю взять без спросу. Но ни в детстве, ни в

зрелом возрасте я не помню, чтобы когда-нибудь украл у кого-либо хотя бы ливр, за одним исключением, когда без малого пятнадцать лет тому назад украл семь ливров и десять су.

Случай заслуживает того, чтобы рассказать о нем, так как представляет собой такое изумительное сочетание наглости и глупости, что мне самому было бы трудно поверить, если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не обо мне.

Это было в Париже. Я прогуливался с г-ном Франкеем<sup>527</sup> в Пале-Рояле<sup>528</sup> около пяти часов дня. Он вынимает часы, смотрит и говорит мне: «Пойдем в Оперу». Я соглашаюсь, мы отправляемся. Он берет два билета в амфитеатр, один из них дает мне и первый проходит к своему месту; я следую за ним. Входя, я замечаю, что в дверях толпится народ. Осматриваюсь и вижу, что все стоят; я решаю, что легко мог бы затеряться в этой толпе или по крайней мере заставить г-на Франкея подумать это. Выхожу, беру свою контрамарку и, получив за нее деньги, ухожу, не помышляя о том, что, не успею я дойти до двери, все уже будут сидеть и г-н Франкей отлично увидит, что меня нет.

Ничто так не противоречит моему характеру, как это происшествие, и я отмечаю его, чтобы показать, что бывают минуты какого-то бреда, когда не следует судить о человеке по его поступку. Собственно говоря, тут были украдены не деньги, а их употребление. Здесь было не столько воровство, сколько подлость.

Я не покончил бы с этими подробностями, если б захотел проследить все пути, по которым в годы своего ученичества спускался с высоты героизма к низости негодяя. Тем не менее, усваивая пороки своей среды, я был не в состоянии до конца примириться с ней. Мне были скучны развлечения товарищей, а когда чрезмерные притеснения отвратили меня и от работы, мне наскучило все. Ко мне вернулась склонность к чтению, давно уже мною утраченная. Чтение, которому я предавался в ущерб работе, стало новым преступлением и навлекло на меня новые наказания. Склонность эта, раздраженная противодействием, превратилась в страсть, а вскоре в исступление. Известная Латрибю, дававшая книги напрокат, снабжала меня ими, и самыми разнообразными. Хорошие и плохие – все шли в дело; я совершенно не выбирал: я читал все с одинаковой жадностью. Читал за рабочим столом, читал на ходу, когда меня посылали с поручением,

читал в уборной, в самозабвении проводя там целые часы; голова моя шла кругом от чтения; я только и делал что читал. Хозяин подкарауливал меня, настигал, бил, отнимал книги. Сколько их было разорвано, сожжено, выброшено за окно! Сколько сочинений осталось у Латрибю разрозненными! Когда мне нечем было платить, я отдавал ей в залог свои рубашки, галстуки, старое платье; три су, которые я получал по воскресеньям, регулярно относились к ней.

Вот, скажут мне,годились и деньги. Правда, но это произошло, когда чтение отбило у меня охоту ко всякой деятельности. Всецело предавшись своей новой страсти, я только и делал, что читал, и уже не воровал больше. Вот еще одна из моих характерных особенностей. В самый разгар какого-нибудь увлечения безделица отвлекает меня, изменяет мои привычки, привязывает, наконец возбуждает во мне страсть; и тогда уже все забыто, я думаю только о новом предмете, занимающем меня. Сердце мое билось – так хотелось мне поскорее перелистать новую книгу, лежавшую у меня в кармане; я вынимал ее, как только оставался один, и уже вовсе не стремился рыться в каморке хозяина. Мне даже трудно представить себе, чтобы я стал воровать и в том случае, если б у меня появились страсти, требующие более крупных издержек. Живя только настоящим, я по самому складу своей природы не мог бы прибегнуть к этому способу для устройства своих дел в будущем. Латрибю оказывала мне кредит; задатки были маленькие; и когда книга была у меня в кармане, я больше ни о чем не думал. Деньги, которые я получал обычным путем, тоже переходили в руки этой женщины; а когда она становилась настойчивой, у меня всегда под рукой были мои собственные пожитки. Воровать на всякий случай – для этого надо быть слишком предусмотрительным, а воровать ради уплаты долга даже не представлялось соблазном.

От брани, побоев, чтения украдкой и без разбора я сделался молчаливым и угрюмым; рассудок мой начал мутиться, и я стал жить, как настоящий бирюк. Однако если пристрастие к чтению не уберегло меня от пошлых и безвкусных книг, то счастье уберегло от книг грязных и непристойных. Не то чтобы Латрибю – женщина во всех отношениях очень покладистая – совестилась снабжать меня ими, но для того, чтобы придать им большую цену, она называла их мне с таким таинственным видом, что именно поэтому я отказывался от них, – столько же из отвращения, сколько от стыда. И случай так

благоприятствовал моему стыдливому характеру, что до тридцатилетнего возраста я ни разу не заглянул ни в одну из тех опасных книг, в которых прекрасная светская дама видит лишь то неудобство, что их можно читать только тайком.

Менее чем в год я исчерпал скудную лавку Латрибю и тогда почувствовал весь ужас ничем не заполненного досуга. Я излечился от наклонностей, свойственных шалуну-ребенку, благодаря пристрастию к чтению и даже благодаря самому чтению, которое, хотя и шло без выбора и было часто плохим, все же пробудило в моем сердце чувства более благородные, чем те, что порождало в нем мое зависимое положение; но я смотрел с отвращением на все, что было мне доступно, чувствовал слишком недоступным все, что меня привлекало, и не видел ничего, что могло бы усладить мое сердце. Мои взволнованные чувства уже давно требовали удовлетворения, о котором я не имел даже понятия, и я был так далек от этого, как будто у меня не было пола; уже возмужалый и чувственный, я думал иногда о своих безумствах, но дальше их не видел ничего. В этих странных обстоятельствах мое беспокойное воображение избрало путь, который спас меня от самого себя и успокоил зарождающуюся чувственность. Он заключался в том, чтобы переноситься в положения, которые заинтересовали меня в книгах, вспоминать, изменять прочитанное, приравнивать его к самому себе, превращаться в одно из действующих лиц, видеть себя в положениях, наиболее отвечающих моим вкусам, и тогда воображаемое состояние, в которое я наконец приходил, заставляло меня забывать о действительности, которой я был так недоволен. Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор навсегда. В дальнейшем не раз обнаружатся странные результаты этого умонастроения: с виду столь мизантропическое и мрачное, оно в действительности проистекает от слишком благожелательного, слишком любящего, слишком нежного сердца, которое, за отсутствием существ, похожих на него, вынуждено питаться воображением. Пока достаточно отметить источник и первую причину той склонности, что изменила все мои страсти, сдерживала их при помощи их самих и вместе с тем

всегда делала меня ленивым в осуществлении своих желаний, именно потому, что они были слишком пламенны.

Так достиг я шестнадцати лет, беспокойный, недовольный всем и собой, без расположения к своему ремеслу, без развлечений, свойственных юности, снедаемый смутными желаниями, плача без причины, вздыхая неведомо отчего и нежно лелея свои химеры, ибо вокруг я не видел ничего равноценного им. По воскресеньям, после проповеди, товарищи приходили за мной и звали порезвиться с ними. Я с удовольствием скрылся бы от них, если б мог, но, вовлеченный в игру, играл с большей горячностью и заходил дальше всякого другого, так что меня трудно было утихомирить и сдержать. Таков был мой характер всегда. Во время прогулок за город я постоянно шел впереди всех и не думал о возвращении, если только другие не думали об этом за меня. Из-за этого я два раза попался: городские ворота оказались закрытыми, прежде чем я успел вернуться. Можно себе представить, как досталось мне на другой день; а во второй раз мне был обещан такой прием, если я опоздаю и в третий, что я решил больше не рисковать. Но этот третий раз, которого я так боялся, все-таки наступил. Моя бдительность была обманута одним проклятым капитаном по фамилии Минутоли, который, когда бывал в карауле, закрывал ворота всегда на полчаса раньше других. Я возвращался с двумя товарищами. В полумиле от города слышу вечернюю зорю; ускоряю шаг; слышу, как бьют в барабан; пускаюсь бежать со всех ног; прибегаю запыхавшись, весь в поту; мое сердце колотится; издали вижу часовых, – я бегу, кричу сдавленным голосом. Но слишком поздно. Мне оставалось еще сделать двадцать шагов, как подняли первый мост. Я содрогнулся, увидев в воздухе его ужасные рога – мрачное и роковое знамение неотвратимой судьбы, которую открывало передо мной это мгновенье.

В первом порыве горя я бросился на откос, кусая землю. Мои товарищи, смеясь над своим несчастьем, тотчас же приняли решение. Я тоже принял свое, но оно было иным. Тут же на месте я поклялся никогда больше не возвращаться к хозяину; и когда на следующий день, в час открытия ворот, мои товарищи вернулись в город, я простился с ними навсегда, прося их только предупредить потихоньку моего двоюродного брата Бернара о принятом мною решении и о месте, где он мог бы еще раз повидаться со мной.

С тех пор как я поступил в учение, я, живя отдельно от Бернара, виделся с ним реже; в течение некоторого времени мы с ним встречались по воскресеньям; но постепенно у каждого из нас появились свои интересы, и мы почти перестали встречаться. Я убежден, что его мать много содействовала этому. Он был мальчиком из «верхнего квартала», а я – жалкий подмастерье и всего-навсего мальчишка из Сен-Жерве<sup>529</sup>. Мы не были равны, несмотря на родство; часто видеться со мной значило ронять себя. Однако связь между нами прекратилась не совсем; по природе он был добрый малый и, вопреки наставлениям матери, следовал иногда своему сердцу. Узнав о моем решении, он прибежал не для того, чтобы разубедить меня или разделить мою участь, а чтобы облегчить положение беглеца небольшими подарками, так как с моими собственными средствами я не мог бы уйти далеко. Он подарил мне, между прочим, маленькую шпагу; она мне страшно понравилась, и я не снимал ее до самого Турина, где только необходимость заставила меня с ней расстаться и где я, как говорится, оплакал ее горькими слезами. Чем больше я размышляю о его поведении в ту решительную минуту, тем более убеждаюсь, что он следовал наставлениям своей матери, а быть может, и отца, так как совершенно невозможно, чтобы, действуя по собственному почину, он не сделал никаких попыток удержать меня или не соблазнился мыслью последовать за мной; но этого не было. Он скорей поддерживал меня в моем намерении уйти, чем отговаривал от него; потом, увидев, что я окончательно решился, покинул меня без лишних слез. Мы никогда не писали друг другу и не виделись. Это жаль: он был добр по природе; мы были созданы, чтобы любить друг друга.

Прежде чем предоставить меня моей злополучной судьбе, пусть разрешат мне бросить взгляд на ту участь, которая, естественно, ожидала бы меня, попади я в руки лучшему хозяину. Ничто так не подходило к моему характеру и не могло сделать меня более счастливым, чем спокойное и скромное положение хорошего ремесленника, особенно такого, как, например, гравер в Женеве. Это занятие достаточно прибыльное, чтобы дать безбедное существование, но не настолько доходное, чтобы привести к богатству, ограничило бы мое честолюбие до конца жизни и, давая мне заслуженный досуг для удовлетворения моих скромных потребностей, удержало бы меня в

моей среде, не давая никакой возможности ее покинуть. Обладая воображением, достаточно богатым, чтобы украсить мечтами любое состояние, достаточно могущественным для того, чтобы переносить меня, так сказать, из одного состояния в другое,— я не придавал бы значения тому, в каком нахожусь на самом деле.

Между местом, в котором я находился бы, и любым воздушным замком для меня не могло быть непреодолимого расстояния. Из одного этого следовало, что самое скромное положение, связанное с наименьшими беспокойствами и заботами, всего более оставлявшее ум свободным, подходило мне больше всего, но как раз таким и было бы мое положение. В лоне своей религии, своей родины, своей семьи и друзей провел бы я жизнь мирную и тихую, вполне отвечающую моему характеру, сочетавшую в себе труд по вкусу и общество по сердцу. Я был бы хорошим христианином, хорошим гражданином, хорошим отцом семейства, хорошим другом, хорошим ремесленником, во всех отношениях хорошим человеком. Я любил бы свое ремесло, быть может прославил бы его и, прожив жизнь незаметную и простую, но ровную и тихую, спокойно умер бы на руках у своих близких. Скоро забытый, конечно, я был бы по крайней мере оплакиваем то время, пока меня помнили бы.

Вместо этого... какую картину я нарисую! Ах! не будем предвосхищать несчастий моей жизни; и без того слишком много буду я занимать читателей этой грустной темой.



## Джон Вулман (1720–1772)

Вулман родился в 1720 г. в квакерской семье среднего достатка неподалеку от Филадельфии (графство Берлингтон, Нью-Джерси). Отец его был землевладельцем, садоводом и нотариусом. В семье было тринадцать детей; Джон был четвертым. В возрасте четырех лет он начал посещать сельскую школу, где проучился, как водилось в те времена, полных десять лет. С детства мальчик любил читать; семейная библиотека и собрания книг в домах у друзей пополнили его образование. В доме царила благочестивая квакерская атмосфера: каждое воскресенье после посещения молитвенного собрания вслух читалась Библия или другие религиозные книги. В возрасте 21 года Вулман оставил отчий дом и переселился в городок Маунт-Холли, чтобы начать работать по найму в магазине, где продавались хлебные изделия и разные другие мелочи. Через некоторое время Вулман уже открывает собственный магазин, который приносит ему все больший доход. Дело расширяется, хозяин богатеет. Вулман сознательно сокращает свое дело, урезает доходы, чтобы они не мешали его духовному росту. Он обучается ремеслу портного, начинает шить одежду и оставляет торговлю. Свой бюджет он пополняет время от времени, составляя завещания и другие официальные бумаги и обучая детей. Вулман с юных лет – активный член квакерского собрания. Свой «Дневник» Вулман начал писать, когда ему исполнилось тридцать шесть; это значит, что первая часть, до 1756 года, представляет собой скорее автобиографию, чем дневник. Впоследствии он до самой своей смерти вносил туда записи, более всего касавшиеся его путешествий и духовных переживаний. Он твердо верил в Божий промысел, который творит только благо для тех, кто вверяется ему. Это рождало у него особое чувство защищенности, безопасности и покоя даже в самых непредвиденных и затруднительных обстоятельствах. Для квакеров понятие молитвы выходило далеко за пределы еженощных молчаливых богослужений. Молитвой должна была являться вся жизнь, все действия и поступки человека. Созерцание Бога не отрывалось от

повседневности, а органически входило в нее. Каждый помысел и поступок в идеале соотносились с велениями Христова Света. Кроме того, убежденность в том, что «нечто от Бога» присутствует в душе каждого человека, приводила к подчеркиванию равенства всех людей независимо от пола, возраста, социального положения, расы и даже религиозных убеждений. Взгляды Вулмана оказали немалое влияние на нравственность его времени. Уже при жизни Вулмана были изданы и широко распространены среди квакеров его трактаты: «Некоторые размышления о содержании негров», «Размышления о чистой мудрости и человеческой политике», «Размышления об истинной гармонии рода человеческого» и др. Сразу после его смерти, в 1773 и 1774 гг. были опубликованы «Произведения Джона Вулмана», куда вошли «Дневник» и главные его эссе. «Дневник» в 1775 г. был издан также в Лондоне и с тех пор не раз переиздавался<sup>530</sup>.

## Дневник

Я часто чувствовал, что любовь побуждает меня оставить на бумаге какие-то следы испытанной мною благодати Божией, и сейчас, на тридцать шестом году жизни, я начинаю этот труд. Я родился в Норхэмптоне, в графстве Берлингтон в Западном Джерси в 1720 году по Рождестве Христовом, и еще до того, как мне исполнилось семь лет, начал ощущать воздействие божественной любви. Благодаря заботе моих родителей, меня научили читать, едва я стал способен различать буквы, и я помню, как однажды в Седьмой день недели [субботу], когда я шел из школы и мои товарищи начали играть по дороге, я ушел вперед, потеряв их из виду; и севши, прочел двадцать вторую главу «Откровения»: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. 22. 1). И когда я это читал, дух мой устремился к тому, чтобы найти эту чистую обитель, которую, как я верил тогда, Бог уготовал для рабов своих. Место, где я сидел, и сладость, заполонившая мой дух, все еще свежи в моей памяти.

Это и подобные им благодатные озарения оказали на меня такое влияние, что, когда мальчики сквернословили, это меня ранило, и по милосердию Божию я был от сего избавлен. Благочестивые наставления моих родителей приходили мне на память, когда мне

случалось оказаться в кругу дурных детей, и приносили пользу. Мои родители, имевшие много чад, обыкновенно в Первый день недели после собрания<sup>531</sup> усаживали нас вместе и просили почитать что-нибудь из Святого Писания или каких-нибудь иных религиозных книг; мы читали один за другим, а остальные сидели тихонько рядом, не разговаривая, и я часто впоследствии думал, что это хороший обычай. Из того, что я читал и слышал, я верил, что в прошлые времена существовали люди, отличавшиеся такой праведностью пред Богом, которая превосходила все, что я знал или слышал о ныне живущих; и сознание того, что среди людей нашего века гораздо меньше стойкости и твердости, чем было в прошлые времена, зачастую тревожило меня, когда я был ребенком.

Когда мне было около девяти лет, мне приснился такой сон: я видел луну, которая поднималась на западе и шла своим чередом к востоку столь быстро, что примерно за четверть часа достигла зенита, и тогда от нее отделилось маленькое облачко и направилось прямо к земле, осветив приятную зеленую лужайку на расстоянии около 20 ярдов<sup>532</sup> от двери дома моего отца (в которой, как мне виделось, я стоял) и тут же превратилось в прекрасное зеленое дерево. Луна продолжала двигаться с той же быстротой и вскоре закатилась на востоке, и в это же время взошло солнце в том месте, где оно обычно восходит летом, и засияло во всю силу своих лучей в прозрачном воздухе; это было самое прекрасное утро из всех, которые я знал.

Все это время я тихо стоял в дверях в благоговейном трепете и наблюдал, что по мере того, как жар от восходящего солнца усиливался, он столь пагубно воздействовал на маленькое зеленое деревце, что листья его стали постепенно сморщиваться и перед полуднем оно было уже сухим и мертвым. Тогда появилось существо, маленькое по размеру, но полное сил и решимости; оно быстро двигалось с севера к югу и называлось Солнечный Червь.

Было и другое замечательное событие в моем детстве. Однажды, идя к соседу, я увидел по дороге малиновку, сидевшую на гнезде; когда я подошел ближе, она вспорхнула, но поскольку в гнезде были птенцы, она стала летать кругами, криками выражая свое беспокойство о них. Я стоял и бросал в нее камешки, до тех пор, пока не попал, и она упала замертво. Сначала я возрадовался своему подвигу, но через несколько минут меня охватил ужас: как это я ради спорта убил невинное

создание в тот момент, когда она пеклась о своих малышах. Я видел, что она лежит мертвая, и подумал, что те малыши, о которых она так заботилась, должно быть, теперь погибнут, лишившись матери, которая их питала; после мучительных размышлений я влез на дерево, сгреб всех птенцов и прикончил их, полагая, что для них это лучше, чем зачахнуть и умереть жалкой смертью, и поверил, что в этом случае исполняется библейское речение: «Сердце же нечестивых жестоко» (Притчи 12. 10). Потом я пошел исполнять свое поручение, но в течение нескольких часов не мог думать ни о чем другом, только о той жестокости, которую я совершил; и был очень удручен.

Так Тот, Кто заботливо печется о своих созданиях, вложил в душу человеческую некое начало, побуждающее творить добро всему живому; и если только проявлять к этому внимание, то люди станут более милосердны и сострадательны; но поскольку это начало зачастую совершенно отвергают, душа замыкается, и склонности ее становятся прямо противоположными.

Как-то, когда мне было около двенадцати, а мой отец пребывал в отъезде, мать отчитывала меня за плохое поведение, на что я дерзко отвечал; в следующий Первый день, когда мы с отцом возвращались с собрания, он сказал мне, что, как он понял, я неправильно вел себя с мамой, и посоветовал мне быть более осмотрительным в будущем. Я знал, что вел себя предосудительно, и молчал со стыдом и смущением. Таким образом во мне пробудилось сознание моей греховности, в душе я чувствовал угрызения совести, и придя домой, я ушел к себе и молился Господу, прося Его о прощении; и я не помню, чтобы когда-либо после этого случая я разговаривал бы с моими родителями некрасиво, как бы ни был я безрассуден в остальном. <... >

## Ульрих Брекер (1735–1798)

Швейцарский крестьянин и писатель-самоучка, начавший свою литературную деятельность в 1770-е годы. Среди его произведений «Рассудительный крестьянский разговор о чтении книг и о церковном богослужении», «Разговор в царстве мертвых», пьеса «Ночь суда, или Что вам угодно», роман «Яус – рыцарь любви», послания, путевые очерки, стихи, эссе, повременные дневниковые записи и др.

Можно сказать, что Брекера подвигла на писательство свойственная ему проповедническая жилка. А материал дала ему собственная жизнь. Жанр автобиографии оказался идеальным полем для обозрения жизни души, предоставив для этого такие исповедальные возможности, которых не давали ни авантюрный роман, ни жизнеописания монархов и героев, ни жития. Брекер стоял почти у самых начал немецко-швейцарского автобиографизма XVIII в. Он узнал об «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо уже после того, как написал свою «Историю бедного человека». Лишь немногие мемуаристы, выступившие в жанре литературной исповеди, опередили тоггенбуржца, издавшего свое повествование в 1789 г. Это – И. Г. Гаманн (1730–1788), ранний предшественник немецкого романтизма, с «Мыслями о моей жизни» (1758), И. К. Лафатер – автор «Тайного дневника наблюдателя самого себя» (1771) и Г. Юнг по прозванию Штиллинг с циклом томов «История жизни» (1777–1789). Брекер знал и других авторов, писавших о себе непосредственно или изображавших свою судьбу в историях вымышленных героев (Х. Ф. Д. Шубарт, К. Ф. Мориц). Все эти писатели влияли на читательские вкусы, заменяя каждый в меру своих возможностей книжное слово живым разговорным эмоциональным языком. Если говорить о Брекере, то в его жизнеописании «я» не заслоняет окружающую жизнь. Напротив, личный взгляд, подобно увеличительному стеклу, лишь усиливает отчетливость и яркость деталей. Брекер, несомненно, подвергал переживания и факты своей жизни определенному отбору, где-то усиливая тему своей простоты и наивности (образ «бедного» и «неученого» человека требовал этого), где-то приукрашивая

чувствительностью свои лирические воспоминания, где-то опуская мелкие события. Задача явно состояла в том, чтобы взволновать читателя, тронуть его душу – как полагалось по законам эстетики сентиментализма. Но, разумеется, и заинтриговать его ходом событий. Автор задержался на полпути между дневником и литературной переделкой своей биографии, соединив в «Истории жизни» качества исторического свидетельства и художественного произведения<sup>533</sup>.

## **История жизни и подлинные похождения бедного человека из Токкенбурга**

### **III. Мои первые воспоминания (1738 г.)**

С уверенностью могу в памяти спуститься – или подняться, – к тем временам, когда мне пошел второй год. Отчетливо помню, как сползаю на четвереньках по каменистой тропке, чтобы жестами попросить яблочка у какой-то старушки. Хорошо помню, что не любил спать, и матушка, для того чтобы заработать пару пфеннигов, тайком от деда и бабки, ночами, при свече, пряла лен, а так как я не хотел оставаться один в темной комнате, она расстилала на полу свой передник, сажала меня на него голышом, и я забавлялся тенями и ее веретеном.

Помню, как матушка со мною на руках ходила через луг встречать отца и как я, едва завидев его, подымал истошный вопль, потому что знал, что он станет грубо кричать на меня за то, что я не хочу идти к нему. Его фигуру и его жесты вижу, как сейчас, перед собою. <... >

### **V. В опасности (1739 г.)**

С той поры как мне пошили первые штаны, я стал отцу приятнее. Временами он брал меня с собой. Осенью того года он жег селитру в Гандтене, что от Небиса в получасе ходьбы. Однажды он взял и меня с собой; а тут разразилась непогода с ветром, и он оставил меня у себя на ночь. Селитряный шалаш стоял перед самой хижинкой, а постель его

располагалась в сених. Он уложил меня и ласково пообещал, что сам скоро ляжет. А сам продолжал раздувать в бурте огонь, и я уснул. <sup>534</sup>

Через какое-то время просыпаюсь, зову его – не отвечает. Тогда я встал, проковылял в рубашонке к костру, обошел вокруг бурта. – Зову, кричу! Отца нигде нет. И я живо вообразил себе, что он отправился домой к матушке. Я торопливо натянул штанишки, набросил на голову шейный платок и побежал сквозь тьму и дождь через примыкавшую к хижине большую луговину. За нею шумел в овраге набухший от дождя поток. Тропы не было видно, а мне надо было во что бы то ни стало перебраться на тот берег и бежать в Небис; я соскользнул по промоине вниз, прямо к ручью, так что едва не свалился в воду. Я напряг все свои детские силенки, – и это спасло меня от падения. На четвереньках выполз я через заросли трав и терновника обратно на луг и стал метаться по нему, не находя нашей хижины. Ветер разорвал облака, и на светлом фоне я заметил вдруг на дереве двух парней, собравшихся, наверное, воровать груши или яблоки. Я крикнул им, чтобы показали мне дорогу. Но – попусту; они приняли меня, должно быть, за нечистую силу, и их трясло от страха на дереве еще сильнее, чем меня, бедного мальчугана, – в грязи под этим деревом.

Между тем отец, который, пока я спал, отправился за какой-то нужной вещью в один из довольно отдаленных домов, возвратился и, не найдя меня, стал искать по всем углам, не спрятался ли я где-нибудь, заглянул со свечой даже в кипящие котелки, но потом наконец услышал мои вопли, побежал на них и быстро меня отыскал.

О, как же он гладил и целовал меня, как плакал от радости и благодарил Бога! Когда мы вернулись в хижину, отмыл меня и обтер, потому что я промок, как мышь, до ушей перемазался в грязи, да еще от испуга наделал в штаны... Наутро он провел меня за руку по луговине: он хотел, чтобы я показал ему то место, где я скатился к ручью. Сам я не смог отыскать это место, но отец в конце концов нашел-таки его – по борозде, которую я оставил. Батюшка мой за голову схватился от ужаса, представив себе, каким опасностям я подвергался, и восхвалил Божью длань, которая лишь одна уберегла меня.

– Видишь, – сказал он, – ниже, в нескольких шагах отсюда, ручей падает со скалы. Если б вода потащила тебя, то теперь лежал бы ты внизу, разбитый насмерть!

Я не понял тогда из речей отца ни единого слова; страх свой я помнил, а что такое опасность – не ведал. Но еще долгие годы с особенной ясностью выделялись мне те двое на дереве, стоило только кому-нибудь вспомнить хоть словом эту историю.

Господи! Сколько тысяч детишек уже погибли бы самым жалким образом, если бы не оберегали их Твои ангелы-хранители! И мой ангел, как зорко он следил за мною. Славу возношу Тебе за то отныне и до века! <... >

## ХII. Мальчишечьи годы

Но все это нисколько меня не печалило. Я об этом знать ничего не знал и был вообще самым легкомысленным мальчишкой на свете. Трижды на дню вспомню о еде – и дело с концом. Стоило только отцу избавить меня от нудной или трудной работы, или же едва я от нее сбегу хоть на часок – мне и ладно.

Летом я бегал по луговине и вдоль ручьев, рвал травы и цветы и делал букеты с веник величиной; шнырял по кустам за птицами, лазал по деревьям, отыскивая гнезда. Или набирал целые кучи ракушек и красивых камней. Когда устану, – усядусь на солнышке и ну вырезать сперва колышки, потом птичек и даже коров. Коровы получали у меня клички, я отгораживал для них пастбище, строил им сарайчики и кормил их; потом продавал то одну, то другую и вырезал еще более красивых. А то, бывало, сооружу печь с очагом и варю отличную кашу из песка и глины.

Зимою я возился в снегу и катался с крутизны то на черепке от разбитой миски, а то и на собственном заду. Так и резвился я в зависимости от времени года, пока не позовет меня отец, свистнув сквозь пальцы, или пока сам я не пойму, что уже все сроки прошли.

Прятелей у меня все еще не было. Правда, в школе я завел знакомство с одним мальчиком, и он часто прибежал ко мне, предлагая за деньги всякие штучки, так как знал, что время от времени мне давали полбацена на мои расходы<sup>535</sup>. Однажды он продал мне птичье гнездо, устроенное в мышинной норе. Я заглядывал туда ежедневно. Но в один прекрасный день птенцы улетели. Это расстроило меня больше, чем если бы украли у отца всех коров.



А как-то раз, в воскресенье, он притащил пороха – этого адского зелья я раньше в глаза не видывал, – и научил меня, как делать шутихи. Однажды вечером мне пришла в голову мысль: не попробовать ли пострелять? Для этой цели я раздобыл кусок старой железной трубки, что употребляют для проведения струи из родника, один ее *конец* я залепил глиной и из глины же сделал «полку», на которую высыпал порох и положил тлеющий фитиль. Поскольку ничего не произошло, я дунул... Бабах! Пламя и глина – мне в лицо. Дело было за домом, и я сообразил, конечно, что натворил что-то неладное. Услыхав хлопок, прибежала из дома матушка. Я был изрядно-таки поранен. Она запричитала и потащила меня в комнату. Отец, находившийся в это время выше по горе, на выпасе, заметил вспышку, так как была уже почти ночь. Вернувшись домой, найдя меня в постели и узнав, в чем дело, он сильно рассердился. Но его гнев сразу же остыл, как только отец увидел мою обожженную физиономию.

Мне было очень больно. Однако я старался скрывать это, опасаясь получить еще и трепку и сознавая, что я ее заслужил. Все же отец решил, видно, что с меня хватит. Две недели не видел я ни зги; все ресницы сгорели.

Очень опасались за мое лицо. Но мало-помалу, день ото дня мне становилось лучше. И едва только я совсем поправился, отец поступил со мною так же, как фараон с израильтянами, а именно заставил меня крепко трудиться, полагая, что это самый верный способ отучить меня от проказ. [536](#) Он был прав. Но тогда я не мог этого понять и считал его тираном, когда ни свет ни заря он отрывал меня от сна и задавал работу. Мне же казалось, что все это ни к чему, – ведь коровы сами собой молоко дают.

## XIX. Мои приятели

... Каждый день собиралось нас трое или четверо мальчишек-козопасов. Не хочу судить, был ли я из них лучший или худший, – одно верно, что рядом с ними я выглядел совсем дураком. Пожалуй, только один из них был славным мальчуганом. Все же прочие не могли служить для нас добрым примером. Я сделался немного

сообразительнее, но стал еще большим сорванцом. Да и отец был не очень доволен тем, что я с ними якшаюсь и советовал мне лучше пасти коз в одиночку и каждый день – в другом месте. Тем не менее такая компания была для меня слишком внове и слишком уж интересной. И когда я однажды последовал отцовскому совету и услышал, как остальные мальчишки возятся и вопят, меня будто кто-то за рукав потянул, и я не успокоился, пока не присоединился к ним.

Случались и драки. Тогда я отправлялся по утрам опять пасти в одиночестве или с добрым Якобле. От него я редко слышал худое слово, и все же с остальными было веселее. Можно было сколько угодно лет пасти себе коз и не узнать и десятой доли всего того, чего я наслушался за короткое время. Все мальчишки были покрупней и постарше меня – почти уже рослые детины, у которых пробудились все дурные наклонности. Что у них ни слово, то всяческая гадость, что ни песенка, то непристойность, так что я слушал эти песни, выпучив глаза и разинув рот, но часто при этом заливаясь краской стыда и не зная, куда глаза девать.

Над моим прежним времяпрепровождением хохотали они до упаду. Птенцы были для них все равно что сор, если только нельзя было выручить за них денежку; в противном случае они выбрасывали их вместе с гнездом. Сперва это меня огорчало, но скоро и я стал поступать точно так же. <... >

## **XX. Новое, удивительное состояние души и конец пастушества**

Дома нельзя было ни полслова обронить о том, что я видел и слышал от моих сотоварищей, но не чувствовал я уже больше ни прежней радости, ни душевного покоя. Эти парни разбудили во мне страсти, о каких я прежде знать не знал, – и все же я понимал, что здесь что-то неладно.

Осенью, когда дороги были еще хорошими, я пас коз по большей части в одиночестве; с собой была у меня книжица, которая по одному этому и до сих пор мне дорога и которую я часто почитывал<sup>537</sup>. До сих пор помню наизусть разные примечательные места оттуда, которые

трогали меня до слез. Тут как раз и представились мне дурные наклонности моей души во всем их безобразии и заставили меня содрогнуться от страха и ужаса. Я молился, ломая руки и обращая взоры к небу, пока не проливались из глаз моих чистые слезы; одна клятва сменялась другой, и я строил такие суровые планы своей будущей праведной жизни, что и белый свет становился мне не мил. Я готов был отказаться от всех житейских радостей и долго вел, к примеру, самую серьезную борьбу с самим собою из-за любимого щегла – отдавать ли его или оставить себе. Об одной этой птахе размышлял я немало и так и сяк. И праведность моя, какой я себе ее тогда воображал, представлялась мне то непреодолимой горою, то делом легче пуха. Моих братьев и сестер хотелось мне любить всем сердцем; однако чем сильнее я желал этого, тем больше находил в них неприятного. Очень скоро я совсем запутался, и не было никого, кто бы мне помог, так как своими переживаниями я не делился ни с одной живой душою.

Я ставил себе в грех все – смех, пение песенок, свист per se. Надлежало мне перестать злиться на моих коз – но тем сильнее они меня раздражали. Однажды я принес домой мертвую птицу, которую один человек застрелил и повесил на шесте посреди луга. Я снял ее, считая в то мгновение, что поступаю по совести; теперь-то я не сомневаюсь, что на самом деле мне очень понравилось ее редкостное оперение. Когда отец объяснил мне, что сие, между прочим, означает кражу, я горько разревелся – на этот раз искренне – и рано поутру отнес трупик на место. Несколько самых красивых перышек я себе, правда, оставил, но и это стоило мне некоторой внутренней борьбы. При этом я подумал: перья все равно уже выщипаны, и если приставить их обратно, то их унесет ветром, и тому человеку так или иначе не будет от них никакой пользы.

Между тем я опять стал петь и свистать и по-прежнему скитался беззаботно по своим горам. Я рассуждал сам с собою: отвергать сплошь все-все, даже моих самодельных деревянных коровушек – именно так, буквально, представлял я себе тогда истинное христианство – какое же это воистину печальное занятие! <... >

## **XXI. Новые дела, новые заботы (1747 г.)**

... И вот, как следует набравшись духа, я в тот же вечер обратился к отцу и попросил его уступить мне такой-то кусочек земли. Конечно, он сразу увидел всю глупость моей затеи, однако вида не подал и только спросил, что же я с нею собираюсь делать.

– Как это – что? – отвечал я. – Ходить за ней, превратить ее в тучный луг и доход с нее копить.

Не трата лишнего слов, отец тогда сказал:

– Ну, так бери себе Дальний выпас; отдаю тебе его за пять гульденов.

Это было почти что даром. У нас такой участок земли стоил больше сотни гульденов. Я подпрыгнул от радости чуть ли не до потолка и немедленно принялся за новое хозяйство. Днем я работал на отца, а едва вечером освобожусь – работаю на себя. Даже при лунном свете я выкладывал из нарубленного засветло леса и хвороста небольшие поленицы дров для продажи.

Однажды под вечер я стал размышлять о своем нынешнем положении и сообразил следующее: «Твой Дальний выпас достался тебе почти бесплатно! Отец может одуматься и забрать его обратно, если ты не выложишь ему наличные за покупку. Надо поискать денег, чтобы не остаться тебе ни с чем». И я отправился к соседу Гёргу, объяснил ему, в чем дело, и попросил в долг пять флоринов; до возврата долга, сказал я, отдаю ему свою землю в заклад. Он выложил деньги, не задумываясь.

Совершенно счастливый, я прибежал к отцу, намереваясь тут же расплатиться. Но, о ужас! Как он оборвал меня!

– Откуда деньги?!

Еще немного – и к этому прибавилась бы пара оплеух. В первое мгновение я не понял, что же именно так сильно его рассердило. Но он сразу просветил меня, когда вскричал:

– Ах ты, бездельник! Закладывать мою землю!

Он вырвал у меня из рук те пять гульденов, помчался к Гёргу и возвратил их ему с настоятельной просьбой, чтобы он, упаси Боже, никогда больше не одалживал денег этому мальчишке; сколько ему нужно – он, отец, даст ему сам и т. п. На том моя короткая радость и кончилась.

Батюшка, несколько поостыв, долго внушал мне, что никакой платы за землю он от меня не требует; довольно будет и малого процента с

дохода, ведь этот «остатний» выпас все равно погоды не делает, и я могу хозяйничать на нем как на своей собственной земле. Мне в это верилось с трудом, потому что *отец* при этом неизменно про себя посмеивался. И это было мне подозрительно. Но у отца имелись на то веские причины.

Наконец стал я, дурачок-простачок, понемногу успокаиваться. И опять взялся подсчитывать синиц в небе – сколько с моего пятачка извлеку я со временем пользы, пока в один прекрасный день не вторглось на мое полюшко стадо коров и не сожрало все зелены, а на мои дрова так и не нашлось тогда покупателя, и почти все осталось лежать без пользы там, где было. Все эти несчастья, навалившись разом, совсем меня обескуражили. Свое разоренное владение я возвратил отцу и в утешение получил от него подарок – фланелевый шейный платок.

## **XXII. О, злополучная любознательность!**

В детские свои годы я ходил в школу всего пару недель; однако дома не было у меня недостатка в старании учиться. Заучить что-нибудь наизусть не составляло для меня ровно никакого труда. Особенно прилежно я штудировал Библию, многие истории оттуда мог пересказать без запинки и вообще примечал все, что могло прибавить мне знаний. Мой отец любил почитать что-нибудь историческое или мистическое. Как раз в это время вышла книга под заглавием «Беглый патер»<sup>538</sup>. Вместе с нашим соседом Гансом отец проводил над нею многие часы, и они оба верили, как в Евангелие, в предсказанное там явление Антихриста и в Страшный Суд, за которым должен последовать конец света.

И я также прочел в этой книжке многие страницы и долгими вечерами, бывало, проповедовал некоторым соседям из этого «Патера», прижимая ладонь ко лбу с выражением благоговейного ужаса и выдавая все за чистую монету, причем и сам я во все это свято верил.

Мне не могло и в голову прийти, что некий человек стал бы писать книгу, в которой не все было чистою правдой. А поскольку ни отец, ни

Ганс не сомневались в ней, то и для меня это было так, а не иначе – и аминь.

Но именно это и навело меня на разные горестные размышления. Хотелось бы приуготовить себя надлежащим образом к предстоящему Страшному Суду, однако это оказалось невероятно трудным делом – и не столько из-за моего дурного поведения и всяческого небрежения, сколько по причине моих дурных душевных наклонностей и мыслей. Желал бы я все это выбросить из головы, ан нет. Особенно если прочесть «Откровение» Иоанна или книгу пророка Даниила, то поверишь в справедливость и непогрешимость всего, что написал этот патер<sup>539</sup>.

Но хуже всего было то, что эта убежденность лишила меня всякой радости и бодрости. Видя, что батюшка и сосед стали, казалось бы, даже веселее, чем прежде, я вовсе утратил мужество, и не могу объяснить себе и по сей день, как это у них получилось. Догадываюсь, что оба они сидели в то время по уши в долгах и надеялись, вероятно, при конце света от них освободиться.

Во всяком случае мне приходилось частенько слышать, как они рассуждают о каких-то Новом Фаунденланде, Каролине, Пенсильвани и Виргини; а то и вовсе заговорят о бегстве, об исходе из Вавилона, о плате за дорогу и обо всем таком<sup>540</sup>. Тут-то у меня и ушки на макушке, как у зайца.

Помню, однажды мне действительно попался в руки печатный листок, оставленный на столе кем-то из них, со сведениями о названных землях. Я перечитывал его, наверное, сотню раз, и сердце прыгало у меня в груди при мысли об этом прекрасном Ханаане<sup>541</sup>, как я его себе воображал. «Ах! если бы всем нам очутиться там», – думалось мне тогда. Да ведь наши-то добрые люди, – как я теперь понимаю, не больше моего знали о путях-дорогах – как добраться туда и, по-видимому, еще меньше о том, где взять на это денег. И заманчивое предприятие застопорилось, а мысль о нем со временем сама по себе сошла на нет.

Между тем я прилежно читал Библию, а еще прилежнее – своего «Патера» и другие книги и среди них – так называемого Пантли Каррера<sup>542</sup>, а также еще один светский песенник, заглавие которого я запомнил. Впрочем, обыкновенно я не скоро забывал прочитанное. И мое беспокойство заметно возрастало от всего этого, как ни старался

я разными способами рассеяться. И самым печальным было то, что ни разу не набрался я смелости открыть пастору или хотя бы отцу даже малую толику своих забот. <... >

## LXXIX. Моя исповедь

...В юные годы и слишком рано пробудились во мне некие природные побуждения. Мальчишки-пастухи и кое-кто из взрослых глупцов по соседству наболтали мне такого, что оставило в душе неизгладимый след, поселили там уйму романтических [здесь: фантастических. – Р. Д.] картин и вымыслов, которые невольно овладели мной, почти лишив меня разума и внушая мне поистине смертельный ужас, несмотря на все мое сопротивление и всю борьбу. Ибо как раз в это самое время от отца, из некоторых любимых его книжек, я набрался, как теперь понимаю, преувеличенных представлений о том, что есть незамутненное благочестие и чистота сердца. Мне внушили закон, который надлежало неукоснительно исполнять. Предо мною все время маячили непреодолимые высоты и страшные слова из Нового Завета об отсечении руки и ноги, о вырывании ока и т. п. [543](#)

Сердце мое всегда отличалось весьма сильной чувствительностью. Нередко меня поражало то, что люди, которые намного лучше меня, остаются, как мне кажется, совершенно холодными при том или ином происшествии, при сообщении о каком-либо несчастье, внимая трогательной проповеди, или еще при чем-нибудь подобном.

Вообразите себе тогдашнее мое положение среди суровых, безлюдных, заснеженных гор, вдалеке от людского общества, если не считать оборванных мальчуганов да старых бесстыдников – с одной стороны, а с другой – те уроки мечтательности, которые жадно впитывала моя юная, горячая душа. Прибавьте к этому мой бешеный от природы темперамент и силу воображения, которая ни на минуту не давала мне покоя не только днем, но и ночи напролет и внушала мне такие сновидения, что, даже проснувшись, я все еще обливался холодным потом.

Самым страстным моим желанием (как об этом можно отчасти судить по уже сказанному) было забраться в колючий кустарник на

какой-нибудь высокой горе ясным утром или же тихим вечером, когда приходилось мне пасти наших коз, вытащить из-за пазухи ту книжицу, которая давно и повсюду была при мне, и до тех пор читать из нее об обязанностях по отношению к Богу, к родителям, ко всем людям и к самому себе, пока не найдет на меня некое дикое исступление – причем это происходило всякий раз, когда я дочитывал до конца обращение к детям, начинавшееся словами: «Приидите, чада! Преклонимся пред престолом Отца нашего на небеси!»

Тут мой взор неподвижно вперился в небо, и частые слезы бежали по щекам. Тут готов я был поклясться тысячей клятв на веки веков, что откажусь от всех и вся и последую одному Иисусу.

Исполненный невыразимых чувств, в которых сладость перемешивалась с горечью, брел я после этого дальше со своим стадом, с холма на холм, без устали занятый пугающим меня вопросом: с чего же надлежит начать, дабы удостоиться небесной благодати?

– Значит, – рассуждал я сам с собою то вслух, то мысленно, – значит, мне больше нельзя опекать моих козочек? Значит, надо распрощаться с моим щеглом? Значит, и вправду должен я оставить отца и мать свою? и т. д.

И меня одолевали лютая тоска, сомнения, смертельный страх; я не мог ума приложить, – что мне делать, чего не делать, чему следовать. Так продолжается несколько дней подряд. Потом на некоторое время я отдаюсь мечтам совсем другого рода, но и этим занимаюсь до умопомрачения – строю себе одну, две, а то и три дюжины воздушных замков, каждый вечер разрушая прежние и возводя по нескольку новых. Так продолжалось почти до моего восемнадцатилетия, пока отец не сменил наше место жительства и пока я не очутился, так сказать, в совсем новом мире, где было больше людей и дел и меньше поводов для фантазий.



## Джон Адамс (1735–1826)

Джон Адамс – личность незаурядная в американской истории. Выходец из Массачусетса, он стал одним из предводителей Войны Соединенных Штатов за независимость, крупным дипломатом, выполнявшим в Европе (в Нидерландах, Франции и Англии) миссию по признанию независимости США, и, наконец, вице-президентом при Джордже Вашингтоне и 2-м президентом Соединенных Штатов (1797–1801). Имя Джона Адамса значится наряду с именами Джорджа Вашингтона, Бенджамина Франклина и Томаса Джефферсона в числе отцов-основателей первого современного независимого государства на Американском континенте.

Вместе с тем за ним одним установилась репутация неудачника в политике. Это связано с серией реальных неудач как во внешне-, так и во внутривнутриполитической деятельности Адамса, начиная с неуспеха заведомо обреченной миссии в Англии, нацеленной на полное признание американской независимости и получение режима экономического благоприятствования, и заканчивая развалом Федералистской партии, одним из лидеров которой он являлся. Будучи избранным на пост президента, Джон Адамс сформировал кабинет из своих фактических противников – сторонников другого, к тому времени формального, лидера федералистов Александра Гамильтона. Когда в 1798—1799 гг. партия разделилась по внешнеполитическому вопросу – об отношениях с Францией под угрозой войны с ней, – Адамс реорганизовал свой кабинет, устранив из него сторонников Гамильтона. В результате партия оказалась окончательно расколота, что предопределило ее поражение на следующих президентских выборах и выборах в Конгресс.

Знание особенностей личностного становления Адамса в высшей степени способствует пониманию того, почему он предпочел дистанцироваться от матушки-Англии, когда большинство федералистов выступало за ее активную поддержку в борьбе с агрессией Франции, и избрал тактику примирения с Францией, которая была патроном и покровителем американской независимости

и демократии и представляла в глазах едва ли не всех североамериканцев своего рода отцовской фигурой. Помимо сказанного, президентство Адамса не было отмечено такими значимыми политическими инициативами, как последующие правления Джефферсона, Мэдисона и Монро, хотя в значительной мере именно его усилиями сосуществование и борьба федералистских и унитаристских тенденций в политической жизни Соединенных Штатов были направлены в мирное русло.

Необходимо отдать должное тому, как стойко Адамс преодолевал все жизненные трудности, находя неизменную опору и поддержку в лице своей семьи, и прежде всего своей супруги Эбигайль, урожденной Смит, одной из самых передовых, образованных и политически мыслящих женщин своего времени.

Совершенно замечательна фигура Джона Адамса как основателя одной из виднейших североамериканских политических династий. Это был единственный случай в истории США, когда сын президента также, спустя два с половиной десятилетия после отца, стал президентом Соединенных Штатов. Его внук и его правнук также являлись крупными политическими фигурами. Все это указывает на то, какое огромное внимание Джон Адамс уделял семье и какую роль играла его собственная семья в его личностном становлении.

Как литератор Адамс известен по статьям в «Федералисте»<sup>544</sup>, а также по переписке с женой Эбигайль и другими членами семьи. Стремление «литературизовать» и сделать поистине художественным эпистолярный жанр, нашедшее воплощение в указанной переписке, является верным признаком всеобъемлющего влияния культуры французского Просвещения, в первую очередь Монтескье и Руссо. Автобиография на фоне названных памятников смотрится значительно бледнее. При этом она не в меньшей степени является данью моде, теперь уже не только европейской, но и американской, начало которой положила знаменитая своей искренностью «Автобиография» Франклина.

Настоящему тексту предшествовали два собственноручно написанных Адамсом фрагмента. Первый, озаглавленный «Жизнь Джона Адамса», представляет собой две рукописные страницы in folio, без сомнения, написанные ранее, чем «Автобиография» Адамса в ее нынешнем виде. Это был черновой набросок, носящий следы

многочисленных правок и большей частью перечеркнутый, где речь идет об истории семьи Адамсов на Американском континенте. Текст обрывается на втором параграфе повествования о детстве автора. Второй фрагмент, озаглавленный «Эскиз», состоит из трех четвертей листа и крайне сжато излагает основные моменты из жизни Джона Адамса. Таким образом, Адамс неоднократно подступался к автобиографическим мотивам, а следовательно, конечному варианту было предпослано длительное осмысление автором своего прошлого, и в частности детства. Вместе с тем неоднократное прерывание работы над автобиографией свидетельствует об относительно невысокой значимости, которую придавал автор своему труду, что находит подтверждение и в преамбуле к тексту.

«Поскольку жизнеописания философов, государственных деятелей или историков, созданные ими самими, обыкновенно приписывались тщеславию, и потому немногие были расположены читать их без отвращения, – утверждает Адамс, – нет оснований ожидать, что какие бы то ни было наброски, которые я могу оставить о своем времени, будут восприняты публикой с каким-то удовольствием или даже отдельными людьми будут читаться с большим интересом». Именно это суждение заставляет автора ограничивать объем повествования о вещах, не имеющих, с его точки зрения, непосредственной социальной значимости, то есть, по существу, основных составляющих истории детства. В самой этой позиции и в его словах местами ощущается пренебрежение детством как таковым, своего рода неуважение к детству, в чем можно усмотреть последствие в основе своей интрузивного, или навязчивого (по Ллойд Демозу), типа воспитания, полученного Адамсом. Ключевую роль в личностном становлении Джона сыграл отец. Он целиком направлял развитие мысли и деятельность ребенка, порой, как это можно понять из текста, наиболее эффективными и преимущественно ненасильственными способами подавляя собственное волеизъявление Джона. Типической чертой характера последнего становится нерешительность, покорность внешней воле, сопровождающаяся отказом от выбора. Любопытной деталью в этом контексте выглядит то обстоятельство, что даже по окончании Гарвардского колледжа он не мог определиться, какую профессию выбрать.

Тот же усиленный моральный прессинг способствовал преобладанию у Джона Адамса внешнего источника моральных оценок. В связи с этим некоторые модальности поведения излагаются автором «от противного», то есть отправляясь от того, что могло бы быть и чего не было. Мы не найдем у Адамса той степени внутренней свободы, какая присуща Руссо, и такой меры внутренней необходимости, как у Франклина. С другой стороны, раннее вымещение Эдипова комплекса, признаки которого, с известными допущениями, можно выявить в небольшом отрывке из истории детства, иными словами, примирение с отцом в сочетании с дистанцированием от матери, способствовало гармоничному развитию личности Адамса. После короткого противостояния воле отца выбор был сделан однозначно в пользу него и дружбы с представительницами женского пола. Поэтому при кажущейся внешней деструктивности на всем протяжении взрослой жизни Адамса мы не найдем в его психике тех внутренних деструктивных элементов, которые чаще всего характеризуют активного политика<sup>545</sup>.

## Дневник и автобиография

<Начато 5 октября 1802>

...У моего деда Джозефа было десять детей: пять сыновей и пять дочерей – все они перечислены в его Завещании, которое теперь находится у меня.

У моего отца Джона было три сына: Джон, Питер Бойлстон и Элихью. Питер Бойлсон по-прежнему живет по соседству со мной и остается моим другом и любимым братом. Элихью умер в раннем возрасте в 1775 г. Его жизнь была пожертвована во имя Родины, поскольку он погиб в нашей армии под Кембриджем, где командовал ротой добровольцев из милиции, его свела в могилу инфекционная болезнь, и после него остались трое малолетних детей: Джон, Сюзанна и Элиша.

...Мой отец, благодаря своему трудолюбию и предприимчивости, вскоре стал человеком, пользующимся бóльшим уважением в городе, чем его патрон. Он стал выборщиком, офицером милиции и дьяконом в церкви. Он был достойнейшим человеком из всех, кого я когда-либо знал. В мудрости, благочестии, добродетели и милосердии вкупе с его образованием и местом в жизни я не нахожу ему равных. Моя бабушка была великая умница; но, поскольку она умерла задолго до моего рождения, мне немного известно из ее прошлого, за исключением того, что мне рассказала пожилая женщина, вдова нашего бывшего священника мистера Марша и дочь предшествовавшего ему священника мистера Фиске, – что она была человеком, обладавшим большей грамотностью, чем обыкновенно бывало среди лиц ее пола и положения, прилежной читательницей и самой образцовой женщиной во всех жизненных отношениях. Она умерла от чахотки и на досуге составила «Наставление детям», которое мне доводилось в детстве читать в рукописи, но которое теперь потеряно. Не знаю, случилось ли мне видеть его за последующие шестьдесят лет – а свидетельства семилетнего мальчика едва ли стоит принимать во внимание, – но тогда оно показалось мне удивительно красивым. Вероятно, от матери моему отцу передалось *восхищение чтением*<sup>546</sup>, как он это называл, которое он пронес через всю свою жизнь и которое вызвало в нем

неизменную решимость дать первому своему сыну гуманитарное образование.

Моей матерью была Сюзанна Бойлстон, дочь Питера Бойлстона из Бруклина, старшего сына Томаса Бойлстона, хирурга и фармацевта, который приехал из Лондона в 1656 г. и женился на женщине по фамилии Гарднер из того же города, от которой у него был Питер, Забдиэль, врач, впервые введший в Британской империи практику прививки от малой оспы<sup>547</sup>, Ричард, Томас, Дадли и несколько дочерей...<sup>548</sup>

Мой отец женился на Сюзанне Бойлстон в октябре 1734 г., а 19 октября 1735 г. родился я<sup>549</sup>. Поскольку мои родители оба были любителями чтения и мой отец предназначил свое первое дитя задолго до его рождения общественному образованию, меня очень рано начали обучать чтению дома и в школе миссис Белчер, матери дьякона Моисея Белчера, который жил в соседнем доме на противоположной стороне дороги. Не стану изводить бумагу, рассказывая забавные истории из своей юности. Меня отправили в публичную школу неподалеку от Каменной церкви, в которой священником был г-н Джозеф Кливерли, умерший в текущем, 1802 г. в возрасте девяноста лет. Г-н Кливерли на протяжении всей своей жизни являлся самым праздным человеком, какого я знал (за исключением г-на Вибирта), хотя и терпимым ученым-филологом и джентльменом. Его невнимание к своим ученикам было столь явным, что внушало мне неприязнь к школам, книгам и к учебе; и я проводил свое время, как ленивый ребенок, делая и пуская лодочки и кораблики по прудам и ручьям, изготавливая и запуская воздушных змеев, играя в крикет, в шарики, метая кольца, занимаясь борьбой, плаванием, коньками и в первую очередь, стрельбой – занятием, к которому я пристрастился с жаром, коего не чувствовал ни к одному другому делу, учению или увлечению.

Мой энтузиазм по отношению к спорту и мое невнимание к книгам настораживали моего отца, и он часто заводил со мной разговор по этому поводу. Я говорил ему, что не люблю книги и хотел бы, чтобы он оставил мысли отправить меня в колледж. «Что же ты будешь делать, сын? – Стану фермером. – Фермером? Так я покажу тебе, что это такое – быть фермером. Пойдешь завтра утром со мной на паром «Пенни» и будешь помогать мне собирать тростник. – Буду очень рад пойти, сэр». И следующим утром он взял меня с собой и в добром

расположении держал меня рядом на работе. Вечером дома он сказал: «Ну как, Джон, ты все еще хочешь быть фермером?» Хотя работа была очень тяжелой и грязной, я ответил, что мне все очень понравилось. – «Ну а мне это не так уж понравилось; и посему завтра ты пойдешь в школу». Я пошел, но не был там столь же счастлив, как среди речного тростника. Мой школьный учитель, как я считал, не уделял должного внимания и времени занятиям арифметикой, и меня это возмущало. Я обзавелся учебником, полагаю, Кокера<sup>550</sup> и, оставаясь один дома, приложил все свои старания к тому, чтобы пройти весь курс, и прошел его, наверстал упущенное и обогнал всех учеников в школе безо всякого учителя. Я не осмеливался просить помощи у отца, потому что ему не понравилось бы мое невнимание к латыни. Так, с ленцой, я дожил до четырнадцати с небольшим лет, когда я сказал своему отцу вполне серьезно, что хотел бы, чтоб он забрал меня из школы и позволил мне заняться работой на ферме. «Ты знаешь, – сказал отец, – что мое сердце лежит к тому, чтобы ты учился в колледже, так почему бы тебе не последовать этому моему желанию? – Сэр, мне не нравится мой школьный учитель. Он столь нерадив и столь зол, я никогда ничему с ним не научусь. Если Вы будете так любезны убедить г-на Марша взять меня, я приложу все свои силы к учебе, насколько позволят мои природные данные, и пойду в колледж сразу, как только смогу подготовиться». Следующим утром первое, что я услышал, было: «Джон, я убедил г-на Марша взять тебя, и сегодня ты должен будешь пойти в его школу». Этот г-н Марш, который был сыном нашего бывшего священника с той же фамилией, держал частный пансион в двух шагах от дома моих родителей. В эту школу я пошел, получив хорошее наставление, и я начал учиться всерьез<sup>551</sup>. Отец вскоре мог наблюдать, как мой интерес к охотничьему ружью ослабевает и как день за днем усиливается мое внимание к книгам. Немногим более чем через год г-н Марш объявил, что я готов к поступлению в колледж. В день, назначенный в Кембридже для экзаменов кандидатов на поступление, я оседлал своего коня и позвал г-на Марша, который должен был ехать со мной. Погода была пасмурная, и собирался дождь. Г-н Марш сказал, что плохо себя чувствует и боится выезжать. Итак, я должен был ехать один. Вдобавок к этой непредвиденной ситуации грянул гром, и, ужаснувшись от мысли самому представляться таким крупным людям,

как президент и члены совета колледжа, я поначалу решил вернуться домой; но, предвидя огорчение моего отца и понимая, что это обидит не только его, но также и моего учителя, которого я искренно любил, я взял себя в руки и нашел в себе достаточно решимости продолжить путь. Хотя г-н Марш уверял меня, что видел одного из преподавателей на позапрошлой неделе и передал тому все, что ему самому надлежало сказать, если бы он поехал в Кембридж, что он не боится доверить мне экзамен и уверен, что я смогу хорошо показать себя и буду достойно принят, однако у меня не было такой же уверенности в себе и всю дорогу я страдал меланхолией.

По прибытии в Кембридж я представился согласно данным мне указаниям и подвергся обычному экзамену перед президентом, г-ном Холиоуком, и преподавателями Флинтом, Ханкоком, Мэйхью и Маршем<sup>552</sup>. Г-н Мэйхью, чьи уроки мы должны были посещать, предложил мне перевести на латынь кусок английского текста. Он был длинен и, пробежав по нему взглядом, я нашел несколько слов, латинские аналоги которых не приходили мне на ум. Думая, что я должен перевести этот текст без словаря, я сильно испугался и ожидал, что буду отправлен назад, – этого я боялся больше всего на свете. Г-н Мэйхью направился в свой рабочий кабинет и просил меня последовать за ним. «Вот, дитя мое, – сказал он, – словарь, вот – грамматика, а вот – бумага, перо и чернила; ты можешь готовиться, сколько потребуется». Это было радостным известием для меня, и тогда я понял, что мое поступление обеспечено. Латынь вскоре была сделана; и объявили, что я принят. Мне дали тему – о чем писать на каникулах. Когда я возвращался домой, у меня было столь же легко на душе, сколь тяжело было, когда я ехал туда: мой учитель будет весьма доволен и мои родители очень счастливы. Я провел каникулы без большой пользы для себя, главным образом за чтением журналов и «Британского Аполлона». Под конец каникул я поехал в колледж и занял комнату, мне предназначенную, и свое место в классе г-на Мэйхью. Я нашел там несколько лучших, чем я сам, учеников, в особенности это Локк, Хемменуэй и Тисдэйл. Последний покинул колледж до окончания первого года, и что с ним стало, я не знаю. Хемменуэй все еще жив и стал крупным богословом, а Локк был президентом Гарвардского колледжа – место, для которого не найти было человека более достойного<sup>553</sup>. С ними я некогда водил дружбу,



без ревности и зависти. Я быстро сблизился с ними и начал чувствовать желание сравняться с ними в науке и литературе. В науках, в особенности в математике, я вскоре превзошел их – главным образом потому, что, намереваясь идти на богословие, они считали Закон Божий и классическое языкознание более важными для себя. В литературе я так никогда и не догнал их.

Здесь было бы уместно вспомнить о том, что составляет предмет огромной значимости в жизни каждого мужчины. Мне был присущ влюбчивый характер, и очень рано, с десяти или одиннадцати лет, я стал большим любителем женского общества. У меня были подружки среди юных дам, и я проводил многие из своих вечеров в их компании, и это пристрастие, хотя и находилось под контролем на протяжении семи лет с моего поступления в колледж, возвратилось ко мне и поглотило меня с новой силой, когда я уже был женат. Я не стану обрисовывать характер или же проводить подсчет своих юношеских увлечений. Это могло бы быть расценено как неуважение к тем, которые живы, – я скажу лишь следующее: все они были умеренные и добродетельные девушки, и на протяжении своей жизни всегда поддерживали в себе эти свойства. Ни одна девица или дама не имела когда-либо повода покраснеть от смущения под моим взглядом или из сожаления о своем знакомстве со мной. Ни один отец, брат, сын или друг не имел повода для огорчения или негодования по поводу моих отношений с их дочерью, сестрой, матерью или состоящей с ними в каком-либо ином родстве особой женского пола. Мои дети могут быть уверены, что у них нет и никогда не было незаконного брата или сестры. Утверждаю это с невыразимым утешением для себя, со всей искренностью и правдивостью, и я полагаю, что обязан этим благом своему воспитанию. Мои родители настолько презирали всякого рода распущенность, постоянно выставляли напоказ такие картины бесчестия, низости и гибели, что мой природный темперамент всегда осаждался моими принципами и чувством приличия. Эта добродетель тем более укоренялась во мне и тем более оказывала на меня влияние, чем больше я наблюдал примеров последствий иного поведения. Ржавое пятно на всю жизнь – вот неизбежное следствие незаконной любви как в Старом Свете, так и в Новом. Счастье жизни зависит в большей степени от невинности в этом отношении, чем от всей философии Эпикура и Зенона, не дополненной ею. Я мог бы

слагать романы или истории, столь же чудесные, сколь романы, о том, что я узнал или услышал во Франции, Голландии и Англии, и все это служило бы подтверждением тому, что я усвоил в своей юности в Америке, – что счастье потеряно навсегда, если потеряна невинность, по меньшей мере до тех пор, пока не придет раскаяние, настолько суровое, чтобы уравновесить все прелести распущенности. Раскаяние само по себе не способно восстановить счастье невинности, по крайней мере в этой жизни.

<Продолжено 30 ноября 1804>

В моем классе в колледже было несколько учеников, к которым я испытывал сильную привязанность: Вентуорт, Браун, Ливингстон, Сиволл и Дальтон, каждый из которых занял видное место в жизни, за исключением Ливингстона, добродушного и талантливого юноши, умершего через год или два после получения первой ученой степени<sup>554</sup>. В классе впереди меня шло несколько друзей: Трэдвелл, замечательнейший ученик в свое время, чья ранняя смерть в должности профессора математики и натуральной философии и по сей день не без основания оплакивается в Нью-Йоркском Американском научном обществе, Вест, выдающийся богослов Нью-Бэдфорда<sup>555</sup>, и Сэмюэль Куинси, простой, общительный и доброжелательный товарищ, не без таланта, элегантности и вкуса.

Я вскоре проникся возрастающей любезностью, любовью к книгам и к учебе, которые рассеяли мое увлечение спортом и даже дамским обществом. Я читал все время, но безо всякой методы и почти без разбора. Я регулярно посещал занятия и готовил свои задания безупречно. Математика и натуральная философия занимали большую часть моего внимания, о чем я потом сожалел, поскольку мне был предназначен тот жизненный путь, на котором эти науки мало использовались, а классические имели большое значение. Я обязан им, однако, вероятно, некоторой степенью исследовательской настойчивости, которой я мог бы не приобрести другим путем. Не следует опускать еще одно преимущество. Оно слишком близко моему сердцу. Мое поверхностное знание математики позволило мне впоследствии в Auteuil во Франции пройти вместе с моим старшим сыном курсы геометрии, алгебры и нескольких отраслей наук с

известной степенью удовольствия, что вполне вознаградило меня за все мое затраченный время и старания.

Между 1751 г., когда я поступил, и 1754 (то есть 1755), когда я покинул колледж, случился спор между г-ном Брайантом, священником нашего прихода, и одним из жителей, отчасти вследствие его принципов, которые назывались арминианскими<sup>556</sup>, а отчасти из-за его поведения, которое было слишком распущенным, если не аморальным. Церковный совет был созван и собрался в доме моего отца. В церкви и среди прихожан выделились партии, а в прессе развернулась полемика между г-ном Брайантом, г-ном Нильсом, г-ном Портером, г-ном Бассом касательно пяти пунктов<sup>557</sup>. Я читал все эти памфлеты и многие другие заметки на ту же тему и оказался вовлеченным в проблемы, выходящие за пределы моего понимания. Тогда же мне довелось столкнуться с таким духом догматизма, с таким фанатизмом среди священнослужителей и мирян, что я понял: если бы я был священником, я должен был бы занять одну из сторон и высказаться столь же определенно, сколь любой из них, или никогда не получил бы прихода или, получив его, должен был бы вскоре лишиться его. Мой разум посещали очень сильные сомнения: создан ли я для деятельности проповедника в такие времена, – и я начал подумывать о других профессиях. Я осознал очень ясно, как мне думалось, что изучение теологии и занятие ею в качестве профессии втянет меня в бесконечные перебранки и сделает мою жизнь ничтожной, безо всякой перспективы сделать что-либо доброе для своего ближнего.

## Эдуард Гиббон (1737–1794)

Научная репутация Эдуарда Гиббона создана его грандиозной «Историей упадка и разрушения Римской империи», сочинением, признанным великим современниками и устоявшим под всеми ударами, которые обрушивали на него едкие критики. Многие из брошенных ими упреков (в предвзятости, проявленной при анализе раннего христианства и его роли в судьбе империи, или в поверхностности взгляда на историю Византии) бесспорны. Но они ничуть не умаляют значения труда, совершенного историком. Труд Э. Гиббона занимает уникальное место в ряду памятников европейской исторической мысли: и по прошествии более чем двух столетий он не воспринимается как мертвый раритет или блестящая диковинка, доставшаяся от прошлого. «Истории» свойственно то обаяние, которое отличает живую классику от забавного, но пыльного антиквариата.

Э. Гиббон родился 27 апреля 1737 г. в Патни, близ Лондона. О своих родителях, воспитании и впечатлениях, полученных в детстве, он подробно рассказывает в публикуемом фрагменте воспоминаний. Пятнадцати лет Э. Гиббон был отдан отцом в колледж Святой Магдалины Оксфордского университета. Он пробыл здесь меньше года, но успел совершить поступок, возмущивший и напугавший близких: отказался от англиканского вероучения и принял католичество. С Оксфордом пришлось проститься, отец велел юноше покинуть Англию и отправиться в Швейцарию, в Лозанну. Годы, проведенные здесь, были решающими для становления историка. Упорные занятия философией, латинским и древнегреческим языками, математикой и естественными науками, первая и единственная любовь (отец не разрешил сыну жениться на Сусанне Кюршо), знакомство с Вольтером, возвращение в лоно англиканской церкви – таковы важнейшие события лозаннского периода жизни Э. Гиббона. Между возвращением в Лондон в 1758 г. и выходом в свет первого тома «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1776) прошло 18 лет. Э. Гиббон успел послужить в гэмпширском ополчении (шла Семилетняя война), совершить путешествие по Европе, побывать в

Париже, получить место члена палаты общин парламента. Впрочем, политическим темпераментом он не обладал, на заседаниях парламента не произнес ни слова, хотя и был его членом до 1783 г. Публикация последнего, шестого, тома завершила многолетнюю работу над «Историей». В 1794 г. Э. Гиббон скончался.

В 1788 г., как полагают исследователи, он начал писать воспоминания. Страницы, посвященные детским годам и родителям, по-настоящему интересны. Э. Гиббон с раздражением и даже гневом критикует тех, кто склонен видеть в детстве лучшие годы жизни. Он считает подобные утверждения либо лукавством, либо незрелостью ума, хотя и признает, что его ранние годы вряд ли типичны. Детство Э. Гиббона действительно нельзя назвать счастливым. Все мрачно, печально, тоскливо. Одиночество: пятеро братьев и сестра умерли в младенчестве, отец увлеченно выполняет обязанности светского человека, мать, преданная супругу, не слишком много времени проводит с единственным сыном. Болезни: ни одна детская хворь (за исключением разве что оспы) не пощадила ребенка, нормальное обучение дома и в школе постоянно прерывается новыми недугами, врачи не столько помогают, сколько усугубляют страдания. Отсутствие друзей: кому интересен болезненный мальчик, которого нельзя даже пригласить на спортплощадку? Школа, точнее школы: даже если они дают неплохое образование, ребенок лишен возможности воспользоваться им, он болен и не способен заниматься систематически, его удручают тирания и произвол старших товарищей и педагогов.

Мрак рассеивается только тогда, когда Э. Гиббон пишет о своей тетке, незамужней сестре матери, посвятившей свою жизнь племяннику, и о книгах, в которых смутно мерцают образы других миров, которые вытесняют – чем дальше, тем больше – грустную реальность жизни мальчика. Сначала сказки, потом герои и подвиги Троянской войны, греческие мифы, английская поэзия и беллетристика. «Чтение, не скованное никакими правилами и лишнее системы, занимало и услаждало часы моего одиночества», – признается Э. Гиббон. И увлечение историей возникает, вероятно, как продолжение все того же стремления к дальним и непохожим на действительность мирам.

В бумагах историка осталось шесть разных по объему, содержанию, времени создания вариантов мемуаров. Близкий друг и душеприказчик Э. Гиббона лорд Шеффилд, предваряя в 1796 г. ставшее классическим издание воспоминаний, уведомлял читателей о существовании этих шести набросков. Они были полностью опубликованы лишь в 1896 г. Джоном Мюрреем. Оказалось, что примерно одна треть принадлежащей перу Э. Гиббона рукописи была опущена лордом Шеффилдом: он опасался, что некоторые фрагменты чрезмерно резки и могут повредить репутации их автора. Положив в основу воспоминаний последний из написанных Э. Гиббоном вариантов, он вместе с тем дополнил его текстами, входящими в состав других рукописей.

О роли, сыгранной лордом Шеффилдом в посмертной судьбе воспоминаний друга, высказываются разные мнения. Большинство исследователей сходятся в том, что он проявил вольность, недопустимую с точки зрения современной текстологии, но добился результатов, которые заслуживают самой высокой оценки. Показательно в этом смысле, что целый ряд публикаций воспоминаний Э. Гиббона, сделанных в XX в., воспроизводил текст, подготовленный лордом Шеффилдом.

В 1966 г. Дж. А. Боннард, сохранив отличающие этот текст связанность и последовательность, восстановил изъятые в первых публикациях фрагменты. Эта публикация оценивается сегодня достаточно высоко.

При подготовке данного перевода в качестве основного использовался текст, изданный лордом Шеффилдом. В квадратные скобки взяты фрагменты, не вошедшие в издание лорда Шеффилда, восполненные Дж. А. Боннардом и содержащие важную для интересующегося детскими годами историка информацию<sup>558</sup>.

## Воспоминания о моей жизни и сочинениях

Я родился в Патни, графство Сюррей, 27 апреля года одна тысяча семьсот тридцать восьмого по старому стилю<sup>559</sup>; первым ребенком от брака Эдуарда Гиббона, эсквайра<sup>560</sup>, и Джудит Портен<sup>561, 562</sup>. Участь раба, дикаря или крестьянина могла бы быть моею; я всегда с удовольствием размышляю о щедрости Природы, давшей мне жребий родиться в свободной цивилизованной стране, в век науки и философии, в семье почтенной, с положением и материальным достатком. По рождению я обладал правом первородства; вслед за мною родились пятеро братьев и сестра, умершие в младенчестве. [Они умерли совсем маленькими, да и я был столь мал, что не мог почувствовать тогда и не сумею оценить теперь их потерю: ее значение было бы способно определить лишь будущее. Положенная по нашим английским законам младшим детям доля в наследстве довольно существенно уменьшила бы доставшееся мне имущество, тогда как вознаграждение – их дружественное расположение – зависело бы от случайных обстоятельств характера и поведения, совпадения или противоположности наших взаимных интересов.] Не стану утверждать, что оплакиваю братьев, имена которых можно найти в приходской книге Патни; но с детских лет и до этой самой минуты я глубоко и искренне скорблю о сестре, жившей чуть дольше, – я помню, она была прелестной малышкой. Отношения брата с сестрой, не вступивших в брак в особенности, представляются мне замечательными. Это близкая и нежная дружба с женщиной приблизительно вашего возраста; привязанность, покорная, быть может, тайному влиянию полового влечения; единственная разновидность платонической любви, которую можно простить искренне и без опаски.

[Примерно за четыре месяца до рождения их старшего сына мои родители получили свободу, отец наследовал значительное состояние, которое казалось ему, полному иллюзий и надежд, огромным<sup>563</sup>.] <... >

На всеобщих выборах 1741 г. мистер Гиббон и мистер Дельме вступили в Саутгемптоне в потребовавшее больших затрат и завершившееся победой соперничество с мистером Даммером и мистером Генри, впоследствии лордом-канцлером и графом

Нортингтонским<sup>564</sup>. Кандидаты-виги имели большинство среди жителей графства; муниципалитет твердо отстаивал интересы тори: неожиданное явление 170 новых горожан-фрименов склонило чашу весов; поддержка была с готовностью оказана почтенными волонтерами, хлынувшими со всей Англии для содействия их политическим соратникам. Новый парламент открылся победой оппозиции, сильной громкими протестами и странными коалициями. Сэр Роберт Уолпол уже с первых же голосований понял, что не может более опираться на большинство в палате общин и благоразумно (после 21 года правления) подал в отставку (1742)<sup>565</sup>. Но тысячелетие счастья и добродетели, вопреки всеобщим ожиданиям, вслед за падением непопулярного министра не наступило: кое-кто из придворных лишился постов, кто-то из патриотов – характера, преступления лорда Орфорда<sup>566</sup> исчезли вместе с властью; после недолгих пертурбаций на старой основе вигской аристократии утвердилось правительство Пелэма<sup>567</sup>. В 1745 г. трону и конституции угрожал мятеж<sup>568</sup>, не снискавший большого уважения в народной памяти; английские друзья претендента не имели мужества, враги же (большая часть нации) позволили ему проникнуть в самое сердце страны. Не обладая смелостью и, вероятно, желанием помогать бунтовщикам, мой отец неизменно поддерживал торийскую оппозицию. Служа партии, он в самый разгар кризиса принял должность олдермена Лондона<sup>569</sup>: эти обязанности были столь чужды его естественным намерениям и привычкам, что уже через несколько месяцев он покинул свой пост. Второй парламент, в котором он заседал, был распущен досрочно (1747): поскольку он не мог или не хотел вступать в новую борьбу в Саутгемптоне, его карьера сенатора на этом закончилась.

[Отец обладал бесценным сокровищем – любящей и преданной женой; в течение всех двенадцати лет их брака она оставалась предметом его заботы и любви. Портрет моей матери дает некоторое представление о ее красоте; об изяществе манер расскажут пережившие ее друзья; моя тетка Портен могла часами повествовать о талантах и добродетелях возлюбленной сестры. Домашняя жизнь могла бы стать призванием и наслаждением матери, но она прилагала тщетные попытки, чтобы шелковой уздой сдерживать страстные порывы своего независимого супруга. Мир расстилался перед ним;



живой по натуре, с блестящей внешностью, бодрым выражением лица, любезным обращением, он с изяществом включился в великосветскую жизнь; я слышал, как он с гордостью рассказывал, что является единственным представителем оппозиции в Старом клубе на Уайтхолле, куда вход закрыт подчас даже для первых лиц страны. Приятная уступчивость его темперамента была такова, что он умел легко и как бы равнодушно приспосабливаться к любому обществу – компании лордов или крестьян, горожан или охотников; ум мистера Гиббона не вызывал восхищения, но его любили как друга и уважали как человека. Но, увы, погоня за наслаждениями наносила ущерб его счастью и состоянию. Светская жизнь вытеснила бережливость; его доходы не соответствовали расходам. Его дом в ближайших окрестностях Лондона снискал опасную славу гостеприимного и открытого для гостей места; он не был неуязвим и для более серьезной опасности – игры; огромные деньги стремительно исчезали в этой преисподней. Немногим достает силы нести груз праздности: посвятив себя купеческим делам, мой отец, быть может, был бы счастливее, а его сын – богаче. <... >

О новорожденном нельзя сказать: «Он мыслит, следовательно, существует»<sup>570</sup>, можно утверждать лишь одно: «Он страдает, следовательно, чувствует». В этом состоянии моего несовершенного бытия я все еще не осознавал себя и мир, мои глаза были открыты, но не могли видеть; если следовать месье де Бюффону<sup>571</sup>, разум, сияющая тайная и непостижимая энергия, не обнаруживал своего присутствия до сорокового дня. В течение моего первого года я оставался на ступени ниже громадной части животных тварей; предоставленный самому себе, я бы обязательно погиб<sup>572</sup>. Прошло по крайней мере три года, прежде чем я овладел тем, что составляет наши особенные привилегии, – умением ходить и сознательно произносить отчетливые, ясные звуки. Тело развивается медленно, но разум – еще медленнее. К семи годам я не обладал и половиной физических возможностей и роста взрослого; если бы можно было измерить столь же точно силы разума, их недостаток оказался бы куда более значительным. Тренировка рассудка соединяет настоящее с прошлым; но природа ребенка так нежна, его клетки столь малы, что новые образы изгоняют из памяти первые впечатления. Без особого успеха я заставляю себя припомнить людей и события, которые должны были бы поразить

меня. Перед моими глазами, однако, – лишь отдельные сценки детства; предвыборная борьба отца в Саутгемптоне (мне было три-четыре года), мои вопли в отпущение за порку; имена его соперников – самое раннее, что я, как мне кажется, помню. Но даже эта уверенность, быть может, обманчива, и я просто повторяю то, о чем говорили позднее. Наши огорчения и радости, поступки и замыслы, относящиеся ко времени от рождения и до десяти-двенадцати лет, с нынешней нашей жизнью связаны весьма слабо. Рассказывать о жизни нам следовало бы, по здравому размышлению, лишь с отрочества.]

Смерть ребенка, предшествующая кончине его родителей, может казаться противоестественной, но она весьма вероятна: из любого числа родившихся большая часть умирает, не достигнув девятилетнего возраста, не овладев своими телесными и умственными способностями. Не осуждая чрезмерную расточительность или несовершенство Природы, отмечу лишь, что вероятность неблагоприятного исхода в моем младенчестве была во много раз выше. Мудрая предусмотрительность заставляла отца всякий раз давать имя Эдуард при крещении каждому из моих братьев<sup>573</sup>, чтобы в случае кончины старшего сына оставить в семье родовой патроним: столь слабой была моя конституция, столько опасностей угрожало моей жизни.

*Uno avulso non deficit alter*<sup>574</sup>.

И самой нежной заботы едва ли достало бы, чтобы сохранить и вырастить такое болезненное создание; внимание же моей матери было отчасти отвлечено страстной привязанностью к супругу и жизнью света, вращаться в котором ее обязывали его положение и привязанности. Моя тетка, миссис Екатерина Портен<sup>575</sup>, исполняла долг матери; при ее имени я чувствую, как слезы благодарности струятся по моим щекам. Вся нерастраченная любовь незамужней женщины обратилась на первенца ее сестры; мои болезни усиливали ее жалость; труды и свершения укрепляли ее преданность; и если хоть кто-нибудь – а такие, я верю, есть – радуются тому, что я живу, то только благодаря этой превосходной женщине. Множество дней, полных тревоги и одиночества, провела она, настойчиво пытаюсь всеми способами облегчить страдания и доставить радость. Сколько бессонных ночей бодрствовала она у моей кровати, в ужасном предчувствии, что каждый час может стать последним. [Моя бедная

тетка часто рассказывала мне со слезами на глазах, как я чуть не умер от истощения, когда у кормилицы кончилось молоко, как долго переживала она о том, что моя нелепая фигура (теперь она вполне нормальна) навсегда останется искривленной и сгорбленной.

Вакцинация, которую вводили тогда в Англии вопреки медицинским, религиозным и даже политическим предрассудкам, уберегла меня от опасной болезни – оспы. Одна за другой поражали меня болезни: ступор и лихорадки, чахоточный кашель и водянка, и нервные судороги, и глазная фистула, и укусы собаки, которую считали бешеной. Немного недугов недостает в перечне болезней, кои я перенес от рождения до отрочества.]

Воспоминания о частых и разнообразных заболеваниях, перенесенных мною в детстве, безрадостны. [На помощь приглашали всех практикующих врачей, от сэра Ханса Слоана до доктора Мида, Уорда и капитана Тэйлора<sup>576</sup>; счета от аптекарей и хирургов увеличивали расходы на докторов. Временами я проглатывал больше таблеток, чем еды, мое тело до сих пор отмечено неистребимыми шрамами от ланцетов, кровотечений, едких прижиганий. Я не очень хорошо помню о разнообразных и частых болезнях моего детства, кроме того, я не хочу распространяться на эту тему. Не прислушаюсь я к примеру самодовольного кардинала, Квирины<sup>577</sup>, полкниги воспоминаний которого наполнены врачебными заключениями относительно его состояния. Не буду подражать и нагой откровенности Монтеня, описывающего все симптомы своей болезни и действие каждой порции лекарств на его нервы и кишечник<sup>578</sup>.] Достаточно сказать, что в то время как всевозможные доктора-практики, от Слоана и Уорда до капитана Тэйлора, являлись, чтобы мучить меня или мне помогать, заботой о моем умственном развитии слишком часто пренебрегали ради заботы о здоровье: сострадание всегда находило оправдание поблажкам учителя или лени ученика; последовательность процесса обучения нарушалась всякий раз, когда от школьной учебы меня возвращали в постель больного.

Как только умение говорить подготовило мой детский разум к усвоению знаний, меня начали учить навыкам чтения, письма и арифметики. Не будь это исправляемой по средствам аналогии ошибкой, я был бы склонен считать их врожденными<sup>579</sup>. Так отдалено время и так смутны воспоминания об их возникновении во мне; [В

развитом обществе, в котором я имею счастье жить, эти навыки распространены так широко, что не являются более очевидным признаком, отличающим ученых от дворян. Умение писать и читать с теоретической точки зрения должно казаться чем-то таким, в чем сокрыта работа гения – посредством скорых, практически спонтанных движений руки превратить произносимые звуки в видимые знаки; видимые знаки выразить произносимыми звуками сознательно составленных высказываний. Опыт между тем доказывает, что столь сложные по видимости операции, если им учить всех, могут быть всеми усвоены, и что даже самые слабые способности ребенка не являются неподходящими для выполнения этой задачи. <... >] В детстве меня хвалили за легкость, с которой я умножал и делил в уме числа из многих цифр; похвалы поддерживали мой растущий талант; прояви я стойкость и рвение, быть может, добился бы известности в математических науках.

В возрасте семи лет, после предварительного обучения дома или в дневной школе в Патни, меня отдали в руки мистера Джона Керкби<sup>580</sup>, который около восемнадцати месяцев был моим домашним наставником. Ученость и благонравие представили его моему отцу; в Патни он мог найти хотя бы временное пристанище, если бы неосторожный поступок не заставил его покинуть дом. Однажды, молясь в приходской церкви, он, к несчастью, забыл упомянуть имя короля Георга<sup>581</sup>: его патрон, законопослушный подданный, после некоторых колебаний с достойным вознаграждением освободил его от должности. Как закончил бедняга свои дни, мне узнать не удалось. Мистер Джон Керкби был автором двух небольших книг: «Жизнь Аутомата» (Лондон, 1745) и «Английская и латинская грамматика» (Лондон, 1746); в знак признательности он посвятил их (5 ноября 1745) моему отцу. Книги передо мной: ученик может судить по ним о наставнике – и его общий приговор не будет неблагосклонным. Грамматика изложена педантично и мастерски: я не знаю, было ли в то время на нашем языке что-либо лучше этой; «Жизнь Аутомата» обнаруживает достоинства философской прозы. Это история юноши, сына потерпевшего кораблекрушение изгнанника, с раннего детства до взрослых лет жившего в одиночестве на необитаемом острове. Олениха вскармливает его; он находит хижину вместе с полезными и необычными инструментами; отдельные представления сохранились у

него от полученного в первые два года воспитания; кое-какие навыки заимствует он у озерных бобров, живущих по соседству; некоторые истины открываются ему в сверхъестественных видениях. Все это, а также собственное усердие превращают Аутомата в пусть и лишенного дара речи философа-самоучку, который с успехом познал свой интеллект, природный мир, абстрактные науки, великие принципы морали и религии. Автор не может претендовать на положенные изобретателю почести: он соединил английскую историю Робинзона Крузо<sup>582</sup> с арабской балладой о Хай ибн-Йокдане, которую мог прочитать в латинском переводе Покока<sup>583</sup>. Я не стал бы хвалить «Аутомат» ни за глубину мысли, ни за изящество стиля; но книга не лишена развлекательности и поучительности; среди нескольких интересных эпизодов выделю получение (discovery) огня, которое случайно нанесенным ущербом привело к пробуждению (discovery) сознания. Человек, так много размышлявший над вопросами языка и образования, не был, конечно, обычным наставником: мои детские годы и его поспешный отъезд не позволили мне в полной мере воспользоваться благами его уроков; но они расширили мои знания арифметики и сформировали ясные представления об основах английского и латинского языков.

На девятом году жизни (январь 1746), в один из редких периодов относительного здоровья, отец последовал принятому в английском воспитании обычаю; я был оправлен в Кингстонапон-Темз, в школу доктора Уодсона и его помощников<sup>584</sup>, в которой училось около семидесяти мальчиков. Всякий раз с тех пор, проезжая через пастбища вокруг Патни, я находил глазами место, где моя мать, пока мы ехали в экипаже, напоминала мне, что теперь я вступаю в жизнь и должен учиться думать о себе и действовать самостоятельно. Слова могут показаться нелепыми, но в жизни нет более значительной перемены, чем та, когда ребенок от роскоши и свободы богатого дома попадает в школу с ее скудным питанием и строгой субординацией, от ласк родителей и подобострастия слуг переходит к грубой фамильярности сверстников, надменной тирании старших по возрасту учащихся, к розге педагога, быть может, жестокого и капризного. Тяготы подобного рода, вероятно, закаляют душу и тело против несправедливостей фортуны; но мою пугливую застенчивость потрясли толкотня и суматоха школы; недостаток силы и активности не позволял мне

участвовать в спортивных развлечениях на игровом поле; не забыл я и того, как часто в сорок шестом году меня бранили и колотили за прегрешения моих торийских предков. Подчиняясь обычным дисциплинарным методам, ценой многих слез и небольшого количества крови я купил знание латинского синтаксиса: немного спустя я стал обладателем грязных томов Федра<sup>585</sup> и Корнелия Непота<sup>586</sup>, в которых я мучительно разбирался и которые плохо понимал. Выбор этих авторов не был неразумным. «Жизнеописания» Корнелия Непота, друга Аттика и Цицерона<sup>587</sup>, составлены в стиле, отвечавшем требованиям века: его простота элегантна, немногословие подробно; он представляет галерею людей и обычаев, притом с такими примерами, какие не всякий педант сумеет привести; этот классик биографий может ввести юного исследователя в историю Греции и Рима. Пользу басен или апологий признавали во все времена от древней Индии до современной Европы. В знакомых образах они сообщают истины нравственности и мудрости; даже ребенок (я имею в виду сомнения Руссо<sup>588</sup>) не предположит, что звери говорят, а люди могут лгать. Басня представляет подлинный характер животных; опытный учитель сумеет извлечь из сочинений Плиния и Бюффона<sup>589</sup> полезные уроки естественной истории, науки, соответствующей интересам и возможностям ребенка. Латинские басни Федра несвободны от примесей серебряного века, но его слог выразителен, изящен и нравоучителен: мысли свободного человека фракийский раб выражает рассудительно; в найденных текстах стиль прозрачно ясен. Его басни были опубликованы после долгого забвения Пьером Питу<sup>590</sup> с испорченной рукописи. Усилиями пятидесяти редакторов раскрыты как дефекты копии, так и ценность подлинника; школьника наказывали, пожалуй, за неправильный разбор фрагмента, который не сумели восстановить Бентли<sup>591</sup> и объяснить Берман<sup>592</sup>.

Мои занятия слишком часто прерывали болезни; после почти двух лет реального или номинального пребывания в Кингстонской школе я был окончательно отослан домой (декабрь 1747) в связи с кончиной на тридцать восьмом году жизни моей матери. [Я редко наслаждался материнскими ласками, она скорее была предметом моего уважения, чем любви. Немногие слезы быстро высохли; я был слишком мал, чтобы понять значение утраты; в моей памяти запечатлен лишь

бледный образ ее облика и речи.] Любящее сердце моей тетки, Екатерины Портен, оплакало сестру и друга; но мой бедный отец был неутешен. Казалось, что горе угрожает его жизни и рассудку. Я не могу забыть сцену нашей первой беседы, несколько недель спустя рокового часа; ужасная тишина, убранная черным комната, зажженные в полдень свечи; его вздохи и слезы; его восхваления матери, святой на небесах; его торжественные заклинания, чтобы я хранил память о ней и стремился быть похожим на ее добродетели, и трепет, с которым он целовал и благословлял меня, единственный залог их любви. Смятение страстей незаметно сменилось холодной меланхолией. [Он предавался скорби, которая далеко выходила за границы, установленные приличием и традицией.] На праздничных встречах с друзьями мистер Гиббон мог изображать радость или чувствовать ее слабый проблеск; но его планы на достижение счастья были разрушены; потеряв друга, он остался один в целом мире, дела и удовольствия которого были ему тягостны или неинтересны. После нескольких неудачных попыток он отверг суету Лондона и гостеприимство Патни и похоронил себя в сельском, даже деревенском Беритоне; в течение нескольких лет он редко выезжал оттуда. [Не нужно, впрочем, скрывать: решимость полного печали вдовца была вынужденной из-за пришедшего в расстройство состояния его дел. Его материальное положение ухудшилось, долги умножились; пока его сын оставался несовершеннолетним, он не мог по закону свободно распоряжаться имуществом. Даже если бы моя мать не умерла, он все равно должен был удалиться в деревню, живя покойно, но не пользуясь доверием, внушенным столь высокими и бескорыстными побуждениями. Осмелюсь добавить: быть может, именно тайное непостоянство, всегда свойственное его натуре, подсказало ему, человеку света, снизойти до занятий и образа жизни гемпширского фермера.]

Сколько я себя помню, дом моего деда по материнской линии в Патни близ моста и церковного погоста является в моих воспоминаниях собственным, родным. Именно здесь мне было позволено провести большую часть времени, в дни болезни или здоровья, на школьных каникулах или в период пребывания родителей в Лондоне, наконец, после смерти матери. Три месяца спустя, весной 1748 г. было объявлено о коммерческом крахе ее отца, мистера Джеймса Портена<sup>593</sup>. Неожиданно он бежал, однако, поскольку его

личная собственность не была продана, а дом – выселен, целый год до следующего Рождества я провел в обществе тетки, не осознавая, какая угроза над ней нависла. Я испытываю меланхолическое удовольствие от повторения слов признательности этой прекрасной женщине, миссис Екатерине Портен, подлинной матери моего ума и моего здоровья. Ее природный здравый смысл развился благодаря внимательному, от корки до корки, чтению лучших книг на английском языке; и если предрассудки туманили подчас ее разум, притворство и лицемерие никогда не искажали ее чувств. Ее всему потворствующая доброта и откровенный нрав, мое врожденное растущее любопытство быстро преодолели всякое расстояние между нами: подобно друзьям-сверстникам, мы свободно обсуждали все темы, знакомые и малопонятные; наблюдать за первыми ростками моих юных мыслей было для нее наслаждением и наградой. Голос участия и совета часто врачевали боли и слабость; моей ранней, неодолимой любовью к чтению, которую не променяю на все сокровища Индии, я обязан ее добрым урокам. Пожалуй, я был бы изумлен, если бы смог точно сказать, когда, постоянно повторяемая, навек запечатлелась в памяти моя любимая сказка<sup>594</sup> – Пещера ветров, Дворец счастья – и роковое мгновение, спустя три месяца или три века: принца Адольфа догнало истрепавшее в погоне немало крыльев Время. Еще до окончания моего пребывания в Кингстонской школе я был хорошо знаком с Гомером в переводе Поупа<sup>595</sup> и арабскими сказками<sup>596</sup>, двумя книгами, которые всегда будут радовать живыми сценами людских нравов и прекрасных чудес; не мог же я тогда увидеть, что перевод Поупа подобен портрету, обладающему всеми достоинствами, кроме сходства с оригиналом. Стихи Поупа приучали мой слух к звукам поэтической гармонии: в смерти Гектора или кораблекрушении Улисса я находил источник новых чувств ужаса и сострадания; я вел серьезные споры с моей теткой о пороках и добродетелях героев Троянской войны. Переход от Гомера в переводе Поупа к драйденовскому Вергилию<sup>597</sup> легок, но благочестивый Эней – вина ли в том автора, переводчика или читателя, не знаю – не захватил столь властно мое воображение; большее наслаждение доставили мне «Метаморфозы» Овидия<sup>598</sup>, особенно падение Фаэтона и речи Аякса и Улисса. Бегство дедушки оставило незапертой двери очень неплохой библиотеки: я пролистал множество страниц английской поэзии и беллетристики, исторических сочинений



и книг о путешествиях. Книгу с привлекшим внимание названием я брал с полки без страха и трепета; миссис Портен, находившая удовольствие в нравственных и религиозных размышлениях, скорее поощряла, чем сдерживала бившую через край любознательность мальчика. Этот год (1748), двенадцатый в моей жизни<sup>599</sup>, я должен отметить как самый благоприятный для моего интеллектуального роста.

Остатки состояния дедушки давали скудные средства, достаточные только для его содержания; моя досточтимая тетка, его дочь, которой было уже за сорок, осталась нищей. Благородство духа заставляло ее считать унижительным находиться в зависимости от кого-либо, жить в долг; обдумав несколько вариантов, она предпочла скромное место хозяйки пансиона в Вестминстерской школе<sup>600</sup>, где усердно трудилась, чтобы обеспечить старость. Мой отец решил воспользоваться уникальной возможностью объединить преимущества домашнего и общественного воспитания. После рождественских каникул в январе 1749 г.<sup>601</sup> вместе с теткой я прибыл в ее новый дом на Коллидж-стрит и был незамедлительно принят в школу, директором которой в то время являлся доктор Джон Николл<sup>602</sup>. Поначалу я оставался одинок; но решительность моей тетки снискала уважение; ее характер – высоко оценен; у нее появилось много деятельных друзей; за несколько лет она стала матерью 40—50 мальчикам, семьи большинства из которых жили в достатке. Поскольку первоначальное жилище оказалось слишком тесным, она построила и заняла просторный дом на Динс-ярд. Я всегда готов присоединиться к общему мнению о том, что наши классические гимназии<sup>603</sup>, подготовившие так много выдающихся деятелей, лучше всего соответствуют духу и характеру английского народа. Мальчик с сильной волей может рано получить здесь практический опыт; товарищи детских игр – окажутся в будущем сердечными и близкими по интересам друзьями. Честность, душевная стойкость, мудрость обретут зрелую силу в свободном общении со сверстниками. Стандарты личных достоинств уравнивают различия происхождения и богатств; в сценах исполненного стремлением к защите протеста выявляются министры и патриоты подрастающего поколения. Содержание нашего образования не соответствует в точности предписаниям спартанского царя: «Ребенка следует учить тому, что будет полезно мужчине»<sup>604</sup>; из школ Вестминстера или

Итона<sup>605</sup> может выйти поэтому прекрасно подготовленный ученый, совершенно не знакомый с торговлей и стилем отношений, принятым между английскими джентльменами в конце восемнадцатого столетия. Но эти школы действительно учат тому, чему они осмеливаются учить, – латинскому и греческому языкам: в руки учеников они влагают ключи от двух драгоценных шкатулок, и не дерзнет жаловаться тот, кто потерял или не использует их по собственной вине. Стремясь в силу необходимости выстроить по общему ранжиру неравных в способностях и рвении, они устанавливают для юношества продленный до восьми—десяти лет срок обучения, который можно было бы сократить вдвое, занимаясь ученик индивидуально у знающего преподавателя. Но многократно повторенные упражнения и наказания способствуют закреплению даже в пустой голове правил грамматики и просодии; занимающийся индивидуально или по собственному желанию ученик, которому дано понимать смысл и ощущать дух классических языков, оскорбит, вполне вероятно, тонкий слух хорошо натасканного критика неправильностью долготы звука. Что касается меня, я принужден был довольствоваться весьма малой толикой плодов гражданского и филологического образования классических гимназий. Два года (1749, 1750), с перерывами, вызванными опасными болезнями и недугами, я мучительно добирался до третьего класса. Вместо того чтобы отважно бросаться в спортивные состязания и ссоры, устанавливать связи в нашем маленьком мире, я все еще нежился под материнским крылом моей тетки; мой отъезд из Вестминстера случился много раньше, чем пришло время взросления. [В нашем домашнем сообществе я завязал, однако, близкое знакомство с юным дворянином одного со мной возраста<sup>606</sup>; я льстил себя напрасной надеждой, что наши чувства будут столь же долгими, сколь они казались взаимными. Когда я вернулся из-за границы, его холодность отвергла те слабые попытки восстановить дружбу, которые позволяла мне моя гордость; вступив на разные дороги, мы постепенно стали чужими друг для друга. Уединенный образ жизни, который ведет лорд Х., а он никогда не добивался известности в свете, не позволяет мне оценить уместность и достоинства моего раннего выбора.]

Тяжесть и многообразие болезней, по причине которых я часто пропускал занятия в Вестминстерской школе, заставили в конце

концов миссис Портен прислушаться к советам врачей и отправить меня в Бат; с неохотой отдала она меня в конце летних каникул перед Михайловым днем (1750) под опеку преданного слуги. Странное нервное расстройство, без всяких видимых причин вызывавшее перемежающиеся судороги и в высшей степени мучительные боли в ногах, безуспешно лечили ваннами и водным массажем. Из Бата меня перевезли в Винчестер, в дом одного врача; когда его медицинское искусство потерпело поражение, мы вновь обратились к силе батских вод. В перерывах между приступами я приезжал к отцу в Беритон и Патни; была предпринята короткая и ничем не увенчавшаяся попытка возобновить занятия в Вестминстерской школе. Примирить мои немощи с дисциплиной публичного учебного заведения было, однако, невозможно; отец же слишком неосновательно предпочитал домашнему преподавателю, готовому ловить благоприятные мгновения и осторожно продолжать процесс моего обучения, случайных учителей, которых можно было найти там, где я оказывался. Меня никогда не принуждали и лишь изредка убеждали посещать эти уроки: тем не менее в Бате я прочитал с неким священником несколько од Горация<sup>607</sup> и фрагментов из Вергилия, неясно и мимолетно насладившись латинской поэзией. Следовало бы тревожиться, что я на всю жизнь останусь неграмотным калекой; но стоило мне подойти к своему шестнадцатилетию, как Природа показала на мне действие своей таинственной энергии; мое тело окрепло, расстройства же, вместо того чтобы расти и усиливаться по мере моего роста и взросления, исчезли самым чудесным образом. Я никогда не обладал и никогда не пренебрегал здоровьем, но очень немногие были свободны от подлинных или мнимых болезней, как был свободен с тех пор от них я; читателю не будет более досаждать история моих телесных недугов, пока подагра не напомнит о них. Неожиданное выздоровление вновь вдохновило надежды на получение образования; меня поместили в Эшер, графство Сюррей, в дом преподобного мистера Филиппа Фрэнсиса<sup>608</sup>, прекрасный уголок, где обещал многообразные выгоды союз воздуха, занятий и учебы (январь 1752). Переводчик Горация, быть может, и научил бы меня наслаждаться латинскими поэтами, если бы друзья за считанные недели не выяснили, что лондонским удовольствиям он отдает предпочтение перед просвещением учеников. Не столько мудрость,

сколько растерянность заставила отца принять отчаянное и очень необычное решение. [Мистера Фрэнсиса как ученого и неглупого человека рекомендовал, я полагаю, Маллет<sup>609</sup>. Две его трагедии имели холодный прием, но сделанный им перевод Демосфена<sup>610</sup>, который я не видел, говорил о некотором знании древнегреческой литературы. С тяжелой миссией перевода на английский язык всех произведений Горация он справился с успехом, заслужив похвалу и одобрение. Кроме еще одного юного джентльмена, наше семейство состояло из меня и его сына, который позднее стал видным членом верховного совета в Индии и вернулся в Англию обладателем приличного состояния<sup>611</sup>. Было условлено, что его отец ограничится малым количеством учеников. Время, которое я потерял ранее, я мог бы нагнать под руководством опытного наставника в этой закрытой академии. Хватило нескольких недель, чтобы понять: дух мистера Фрэнсиса слишком игрив для его профессии, пока он тешился удовольствиями Лондона, его ученики оставались в эшерском заточении на попечении учителя-голландца, дурно воспитанного и необразованного.] Без всякой подготовки и без промедления он отправил меня в Оксфорд; я был внесен в списки студентов колледжа Святой Магдалины<sup>612</sup> еще до того, как мне исполнилось пятнадцать лет (3 апреля 1752).

Любознательность, свойственная мне с раннего возраста, оставалась такой же живой и деятельной; моему разуму, однако, недоставало знаний, чтобы осознать ценность или оплакать утрату трех дорогих мне лет, прошедших со времени поступления в Вестминстер до появления в Оксфорде. Вместо того чтобы оплакивать свое домашнее заточение, я тайно радовался недугам, избавлявшим меня от школьных занятий и общения со сверстниками. Лишь только боль становилась терпимой, чтение, не скованное никакими правилами и лишённое системы, занимало и улаждало часы моего одиночества. В Вестминстере моя тетка стремилась к одному – развлечь меня, доставить мне радость; в Бате и Винчестере, в Беритоне и Патни ложное снисхождение уважало мои мучения; мне разрешили, воздерживаясь от контроля и совета, удовлетворять все изменчивые желания моего незрелого ума. Мои безграничные аппетиты постепенно приобрели *историческое* направление; философия опрокинула представления о врожденных идеях и природных

пристрастиях, поэтому свой выбор я могу приписать усердному, от корки до корки, чтению «Всеобщей истории», тома которой *in octavo* следовали один за другим<sup>613</sup>. Это неровно написанное сочинение, а также трактат Херна «*Ductor historicus*»<sup>614</sup> познакомили меня с греческими и римскими историками, по крайней мере с теми, которые были доступны на английском языке. Я с жадностью проглатывал все, что мог найти, от литтлбериевского Геродота<sup>615</sup> в кожаном переплете и спелмановского бесценного Ксенофонта<sup>616</sup> до роскошных томов гордонского Тацита<sup>617</sup> и изодранного Прокопия<sup>618</sup>, изданного в начале прошлого века. Легко получая столь обширные знания, я укрепился в нелюбви к изучению языков<sup>619</sup>; я доказывал миссис Портен, что, если бы я владел греческим и латынью, мне пришлось бы самостоятельно излагать на английском мысли оригинала и что эти наспех сделанные переложения наверняка уступали бы искусным переводам ученых; глупый софизм, опровергнуть который человеку, не знавшему никакого языка, кроме собственного, было непросто. Из Античности я перепрыгнул в Новое время; словно занимательные романы, я глотал, не переварив, куски из Рапена, Мезерея, Давила, Макиавелли, отца Павла, Боуэра<sup>620</sup> и других; с тем же ненасытным аппетитом я набросился на описания Индии и Китая, Мексики и Перу. [Наше семейное собрание было вполне приличным, библиотеки Лондона и Бата располагали настоящими сокровищами, я просил книги для прочтения и тратил на них свои скудные средства. Друзья моего отца, приходившие к мальчику, бывали поражены, увидев его, окруженного гигантскими фолиантами, названия которых были не известны *им* и о содержании которых мог со знанием дела рассуждать *он*.]

Мое первое знакомство с теми событиями прошлого, которым я посвятил столько лет жизни, следует признать случайным. Летом 1751 г. я сопровождал отца в его поездке к мистеру Хоарсу в Уилтшир; красотами Стоурхеда я наслаждался значительно меньше, чем обнаруженным в библиотеке широко известным «Продолжением Римской истории Эчарда»<sup>621</sup>, сочинением, написанным, бесспорно, с большим мастерством и вкусом, чем ему предшествующее. Эпоха правления наследников Константина<sup>622</sup> была для меня абсолютно новой; я бывал целиком захвачен переправой готов через Дунай, когда, подчиняясь зовущему к обеду колоколу, с неохотой отрывался от

интеллектуального пиршества. Мимолетный взор скорее возбудил, чем удовлетворил мое любопытство; едва вернувшись в Бат, я достал второй и третий тома «Истории мира» Хауэлла<sup>623</sup>, содержащие обстоятельный обзор истории Византии. Магомет и сарацины<sup>624</sup> захватили мое внимание незамедлительно; какой-то инстинктивно возникший критический дух повлек меня к первоисточникам. Симон Окли<sup>625</sup>, оригинал во всех отношениях, первым открыл мои глаза; я шел от одной книги к другой, пока не завершил полный круг истории Востока. Не достигнув шестнадцати, я исчерпал все, что можно было узнать, пользуясь английским языком, об арабах и персах, татарах и турках; тот же пыл вдохновлял меня гадать над французским д'Эрбело<sup>626</sup> и толковать варварскую латынь «Абульфарага» Покока<sup>627</sup>. Столь беспорядочное и разнородное чтение не могло научить меня думать, писать или действовать; единственным, что лучом света проникало в этот суматошный хаос, было рано появившееся сознательное стремление к порядку времени и места. Античная география отпечатавалась в моем мозгу картами Целлария и Уэллса<sup>628</sup>; элементы хронологии я усвоил благодаря Штрауху<sup>629</sup>, таблицы Гельвица и Андерсона<sup>630</sup>, анналы Ашера и Придо<sup>631</sup> позволили установить последовательность событий, навсегда запечатлев в форме ясных рядов множество имен и событий. Смакуя историю первых столетий, я нарушал границы, воздвигнутые умеренностью и пользой. Я осмеливался на своих детских весах взвешивать системы Скалигера и Петавия, Маршема и Ньютона<sup>632</sup>, которые лишь в редких случаях изучал в оригинале; трудности согласования Септуагинты<sup>633</sup> с еврейской хронологией лишали меня сна. Я прибыл в Оксфорд с запасами эрудиции, которая смутила бы профессора, и степенью невежества, которого устыдился бы школьник.

Завершая описание первого периода моей жизни, чувствую желание высказаться против банальных восхвалений счастливой поры детства, расточаемых с таким притворством. Этого счастья я никогда не знал, о том времени – не жалел; если бы моя бедная тетка была жива, она подтвердила бы рано оформившееся постоянство моих чувств. Конечно, мне могут ответить, что я не могу выступать в роли знающего судьбы; что болезнь несовместна с наслаждением; что хворь исключает радость; что счастье школьных лет состоит в той бездумной

ребяческой живости, которой я никогда не отличался. Мое имя, это уж точно, никак не могло бы оказаться в списке тех весельчаков и повес, вышедших из Итона или Вестминстера, «что гибкой рукой рассекают зеркальную гладь, гонясь за летящим мячом»<sup>634</sup>. [Я хотел бы, однако, спросить разгоряченного героя спортивных битв, неужели он может серьезно сравнивать свои детские радости с удовольствиями взрослого мужчины, неужели он не понимает, что драгоценнейшая принадлежность его бытия, мощная зрелость его чувственных и духовных сил даруется Природой только с наступлением отрочества. Состояние счастья, основанное только на неспособности предвидеть и анализировать, никогда не разбудит моей зависти. Пристрастия столь низкого сорта низведут нас с вершины до уровня ребенка, собаки или устрицы, грубой твари, наконец, которой не дано страдать, ибо она неспособна чувствовать.] Поэту позволено игриво описывать часы короткого отдыха; но он забывает о скуке дневных трудов, осторожные шаги которых приближались утрами, вызывая отвращение. [Страдание скорее пропорционально рассудку, а не причине: *parva leves capiunt animos*<sup>635</sup>; немногие взрослые, претерпев все превратности жизни, испытывали чувство мучительнее того, что заставляет трепетать школьника, не выполнившего задание, накануне черного понедельника.

Школа – это пещера страха и печали: плененные дети прикованы к книге и парте; непреклонный учитель владеет их вниманием, каждую секунду томящимся желанием убежать. Как персидские воины, они трудятся под плетями<sup>636</sup>; обучение заканчивается еще до того момента, когда они могут осознать пользу жестоких уроков, которые их принуждают повторять. Это слепое и полное повиновение, быть может, необходимо, но оно не способно доставить удовольствие. Свобода есть первая потребность нашего сердца; свобода есть первый дар нашей натуры; не скованные цепями корысти и страстей, мы становимся свободнее подобно тому, как становимся старше.]

## Доротея Фридерика Бальдингер (1739–1786)

Родилась в Тюрингии в семье пастора. В 1743 г. семья Фридерики переехала из г. Гроссенготорна в г. Лангензальц. В 1744 г. умер ее отец. В 1761–1762 гг. она училась на врача частным образом. В 1764 г. начала практическую деятельность как врач. В том же году вышла замуж. В 1765 г. родился первый ребенок (дочь Софья), в 1767 г. – сын Эрнст. В 1768 г. переехала в Йену и приняла должность профессора кафедры ботаники. В том же году родилась еще одна дочь – Фридерика, в 1770 г. – сын Христиан, в 1772 г. – сын Иоганн (умер в 1773 г.). В 1773 г. Фридерика переезжает в Геттинген и становится профессором медицины и директором университетской клиники. В 1774 г. умирают ее сыновья Христиан и Иоганн (род. 1773). В 1778–1782 гг. она пишет сочинение «Очерк воспитания моего ума [сознания] (Versuch uber meine Verstandeserziehung)». С 1782 г. преподает медицину в Касселе, одновременно является лейб-медиком графа Гессен-Кассельского, пишет эссе о графском замке Плессе. В 1783 г. пишет обращение матери к своим дочерям на день их конфирмации и публикует в «Журнале для женских покоев» («Magazin fur Frauenzimmer»). В 1784 г. хоронит сына Эрнста и через два года умирает сама. Жизнеописание впервые напечатано в 1791 г. [637](#)

### Опыт воспитания моего ума (к моему другу)

Должна ли я описывать историю моего умственного развития? Как будто бы я обладаю столь большим умом, что стоит прилагать усилия для того, чтобы проследить его путь! Я предлагаю здесь вовсе не это, а лишь историю моего воспитания в той мере, в какой оно оказало влияние на весь мой характер.

Мой отец умер, прежде чем я успела его узнать. Если бы ум можно было унаследовать, то я получила бы его от моего отца, бывшего, судя по всем свидетельствам, очень умным и образованным человеком. Возможно, он оставил мне в наследство способность воспринимать ум



других и находить ему применение. Со своей стороны я не верю в наследства подобного рода.

Моя мать была честнейшей женщиной из всех, кого я знала. Однако во всех отношениях она была лишь женщиной и ничем иным более не выделялась. Она воспитывала меня в соответствии со своими принципами в набожности и благочестии. Однако все ее учение я могла бы выразить в двух словах: «Ты должна быть благочестивой и стыдливой». Влиянию, которое оказало ее учение на меня, я была впоследствии обязана счастьем всей моей жизни. Пожалуй, и без моего упоминания можно догадаться о том, что далее этой максимы она не оказала более никакого влияния на мой ум.

Моя мать потеряла в годы войны все свое имущество и потому не могла ничего потратить на мое воспитание. Так что развитие моих умственных и духовных сил при столь неблагоприятных обстоятельствах следует приписать исключительно жизненному опыту. Мне причиняло большую боль то, что многие мои сверстники имели в этом отношении лучшие возможности, нежели я. То обстоятельство, что неразумные люди отдавали им предпочтение по сравнению со мной, вынуждало меня ребенком прятаться в своей комнате, чтобы не дать повода пренебрегать мною. Но вследствие этого я упустила все преимущества, которые разум может извлечь из знания людей, и впоследствии часто удивлялась себе самой, как мне удалось угодить людям, когда я так мало знаю, как это следует делать.

В моем родном городе жила также сестра моего отца, жена старого пошлого врача. Она имела здравый и острый ум, и я, как сирота и дочь брата, почти постоянно составляла ей компанию частью из сострадания, частью из чувства долга, а также, поскольку сама она не имела детей, а я была достаточно смышлена, чтобы уже понимать ее идеи и смеяться над ними. Эта женщина могла бы оказать влияние на воспитание моего ума, если бы она сама была бы лучше образована; однако она никогда не читала ничего умного, а времена ее детства еще не были столь благоприятны для женского образования.

Она читала все, что имел дома ее лишенный вкуса муж: беседы в царстве теней, сказки о привидениях, «Хромой вестник» [популярный календарь] и т. д. Ее муж был также подписчиком всех научных газет, и я часто держала какую-нибудь из них в руках, когда, ускользнув из-под надзора тетушки, первым делом бралась за «Геттингенские научные

вестники»; я отдавала им наибольшее предпочтение из-за гладкой бумаги, которую геттингенцы тогда еще использовали.

Сообщения о многочисленных маленьких происшествиях из жизни ученых, об их повышениях по службе, смертях и т. д. оказывали на меня особое впечатление. Я сравнивала эти известия с сообщениями в «Хромом вестнике» о королях и императорах и проникалась тогда впервые уважением перед ученостью, ибо видела, что ученым мужам воздавались такие же почести, как и сильным мира сего.

Я страстно желала стать столь же образованной, как и эти ученые мужи, и досадовала на то, что мой пол препятствовал мне в этом. Если когда-либо в своей жизни ты хочешь стать ученой, думала я, а ученость приобретают из книг, ты должна много читать. Но где же взять книги, которые должны сделать меня умной? – ведь в нашем торговом городе таких не было.

Я умела очень хорошо читать, и научилась этому раньше, чем другие дети, я думаю, уже в трехлетнем возрасте, что моя мать всегда считала чудом.

У нее в доме всегда много молились и читали из Библии. Последнее было моей обязанностью, так как я читала с чувством. К этому добавилось также одно забавное обстоятельство, которое повысило мое умение. Брат моей матери был пиетист, богатый скряга, который, молясь, обманывал каждого, кто имел с ним дело... Этот человек жил по полгода с нами... и не делал ничего, кроме как молился. Мы должны были ежедневно прочитывать установленное число глав из Библии, и за это каждый получал по пфеннигу за главу. Служанки и моя сестра дружно засыпали уже на третьей главе, но я, ободренная поощрением моего дяди и обещанными пфеннигами, читала до тех пор, пока дядя сам не приказывал мне замолчать, и благодаря этому мое умение читать сильно возросло. Теперь я стала читать также и у моего другого дяди все, что мне давали, и никто уже не удивлялся, когда я без запинки прочитывала трудное имя какого-нибудь древнего императора. Сколько вечеров, читая, я просидела у постели моей больной тетушки Баазе и сколько раз мне хотелось читать что-нибудь лучшее, чем то, что было у меня в руках.

В ту пору вернулся мой брат из университета. Я почти его не знала, так как он до этого провел шесть лет в Шюльпфорте, однако он мне часто писал и в свою очередь мои детские письма ему нравились. Он

велел мне не читать в качестве образцов опубликованные письма или письмовники, так как это могло мне навредить, и я должна была всегда писать ему только то, что мне самой придет в голову.

Из его писем в мою голову пролился первый луч разума, или, вернее сказать, я поняла то, что еще не понимают некоторые ученые мужи: то, что я еще ничего не знаю. Как радовалась я приезду брата, который должен был внести свет в мое темное и необразованное сознание. Он наконец приехал, и силу нашей любви напрасно было бы стараться описать – мы были как одно сердце и одна душа.

Моему горячо любимому брату я обязана начатками всех моих познаний, всему моему счастью, и я могла бы получить от него больше, если бы моя добрая матушка не полагала, что читать книги, кроме Библии и Псалтири, есть смертный грех и праздность для девушки.

Как часто моя любовь к чтению строго порицалась ею, книги запирались под замок, а я отсылалась за прялку! Но поскольку я очень хорошо умела читать, то я клала книгу на свое левое колено и прядла правой рукой. Однако, когда пряжа была смотана, все начиналось заново... Я могла бы учиться у моего брата французскому, игре на клавикордах и тому подобному, однако все это осуждалось в то время как праздность для девушки. Мне не разрешалось даже долго оставаться в его комнате, когда меня за чем-либо посылали к нему, потому что считалось, что я могу быть им испорчена: ведь не собираюсь же я выйти замуж за профессора и т. д. Последнее было в моем положении, пожалуй, и не совсем возможно, но я и не собиралась замуж. Эти маленькие превратности делали моего брата только дорожкой для меня. Он начал обучать меня и однажды сказал мне: «Девочка, ты заслуживаешь большего одобрения, чем ты думаешь, но прошу тебя, ради Бога, если ты когда-нибудь должна будешь выйти замуж, то выходи только за образованного и, главное, умного человека, ибо, если ты когда-нибудь в чем-либо превзойдешь умом своего мужа, ты будешь несчастнейшим созданием из всех, кого я знаю». Тогда я не поняла, что он хотел этим сказать, но потом я, невзирая на все свое своеобразие, свою склонность все высмеивать и свое желание все время быть свободной и независимой от всего мира, стала умнее.

Постепенно я начала находить, что большая часть людей является для меня невыносимыми и в особенности неумные мужчины. Я вбила

себе в голову, что все мужчины обязательно должны быть умнее женщин, поскольку они претендуют на верховенство над нами, и открыла, что только очень немногие имеют на это право вследствие превосходства ума. Это восстановило меня против всего мужского пола, ведь я, неразумная девчонка, судила только по тому кругу, в котором жила. Я рассказываю об этом для того, чтобы описать все обстоятельства моего тогдашнего умственного развития. Я жила крайне одиноко, так как у женщин, чьих мужей я только что описала, я находила еще меньше понимания. Однако в моем родном городе жил один (и единственный) умный человек, который незадолго до этого приехал туда в качестве проповедника. Музыкальные занятия связали его сначала с моим братом, и из этой музыкальной дружбы возникло более близкое знание друг друга – духовная дружба.

Я не собираюсь описывать здесь человека, который всегда занимал первое место после моего Бальдингера среди моих живущих ныне и уже покойных друзей. Обширная ученость, глубокие знания, здравый рассудок, благороднейшее сердце должны были бы быть описаны рукой мастера, и в этом описании я узнала бы моего друга Гранихфельда, который, по собственному моему разумению, был моим духовным отцом. Его совет всегда направлял меня на скорбном пути моей жизни, и без него я не была бы той, кем стала: женой образованного и умного человека, который уважает меня. Несмотря на его суровый вид, его ум уже тогда завоевал мое юное сердце. Нигде я не бывала охотнее, чем в его обществе, которое искала, где только могла, и извлекала из него преимущества, которые приносили мне пользу на протяжении всей моей жизни. Он часто смеялся, когда я сидела рядом с ним, окутанная облаком табачного дыма, и с удовольствием вслушивалась в то, о чем он беседовал с другими, в то время как прочее дамское общество сердилось на эту вечную книжную «болтовню». Мое стремление понравиться ему наконец вызвало у него расположение ко мне, и он стал моим другом. Он посещал меня почти ежедневно, после того как уехал мой брат, так как тот просил его об этом, и вдобавок сказал мне, что я не должна ничего делать без совета этого человека.

Одной из первых книг, которую принес мне мой друг, был «Zuschauer». Я восхищалась им, ибо никогда в жизни не читала ничего прекраснее. В прошлом году я попробовала вновь перечитать его и не

смогла, так я изменилась по сравнению с тем временем. Мой брат очень часто писал мне. Я получала от него даже не письма, а небольшие трактаты, по крайней мере по внешней форме. Я до сих пор перечитываю эти письма с восторгом, и да вознаградит его Господь за все его заботы обо мне. Наша переписка была прервана его смертью, и моей душе была нанесена первая рана, которую влечет за собой потеря друга. Она была тем болезненнее для меня, что я еще не знала подобной боли. Я была безутешна, и родные всерьез опасались за мой рассудок, столь невыразимой была моя скорбь по нему. Я видела, что мои домашние также оплакивают его: моя мать потеряла свою единственную опору в старости. Но никто не безумствовал так, как я, ибо никто не знал его так хорошо, как я.

Я долго не брала в руки книг, я даже проклинала чтение, и мой ум долго оставался без применения, если я могу так выразиться.

Мой любезный Гранихфельд сделал для меня больше, чем можно было бы требовать от самой сильной дружбы, и был невыразимо терпелив во время моей душевной болезни. Я снова и снова благодарила его за его старания, направленные на мое выздоровление, но моя меланхолия не проходила, и большая часть радостей протекала мимо меня не изведанными и не востребованными. Мой резвый молодой задор превратился в тихую серьезность, необычную для моего возраста. Из-за нее мне давали обычно больше лет, чем мне было в действительности, и умные люди беседовали теперь со мной, как будто с равной им по возрасту и жизненному опыту. Я полагала, что очень хорошо держусь при этом, и стремилась действительно заслужить их внимание, которому до этого была обязана лишь игре случая. Таким вот образом я прожила в своем родном городе еще три года...

Я хотела никогда не выходить замуж, поскольку питала предубеждение против всех видов телесной любви. Я обладала всеми «задатками» святой: я была благочестива и непорочна, мечтательна и только не могла творить чудеса, к чему мне следовало бы стремиться, чтобы обрести посмертную славу и известность, как и случается со святыми.

За моим братом в могилу последовала моя сестра, которая уже была замужем. Я жила теперь совсем одиноко вместе с моей доброй матушкой и впервые могла поступать в соответствии со своими

склонностями, чего я еще никогда не делала. Я могла читать, сколько хотела, и читала то, что имела под рукой, то есть то, что мог доставить мне мой друг. Однако и эту радость мне отравляли заботы о пропитании: я принуждена была браться за работу, которую не могли вынести ни мой дух, ни мое тело, к тому же моя матушка постоянно болела, и я сама несколько раз была при смерти.

Несмотря на это, мне неоднократно предоставлялась возможность поправить свое положение, выйдя замуж и составив свое счастье, продав тело за хлеб и кров мужу, которого не могла бы полюбить. Но совет моего возлюбленного брата всегда стоял у меня перед глазами, и мой собственный рассудок говорил мне, что я сделаю столь же несчастным, как и себя, того мужчину, за которого выйду замуж, если я не буду иметь должного уважения к его уму. Моя семья, которая не могла меня понять, упрекала меня за мое упрямство, однако я не обращала на это внимания, ибо считала бесчестным строить свое счастье на горе хорошего человека, который на свое несчастье не подходил бы мне.

## Томас Сомервилл (1741–1814)

Известный шотландский церковный и общественный деятель Томас Сомервилл. Его долгая жизнь пришлась на яркий период истории Британии – когда еще живы были воспоминания о Славной революции и заключенной в 1707 г. Унии с Шотландией, он явился современником таких важнейших событий, как Великая французская революция и наполеоновские войны. Отношение Сомервилла к революции во Франции претерпело изменения – сначала он приветствовал ее и раскритиковал «Размышления» Э. Берка как «выражение аристократической гордости», но вскоре последовало разочарование, так как он понял, что последствия могли захватить и Англию. Результатом этих размышлений явился труд «Последствия Французской революции относительно интересов человечества, свободы, религии и морали, и замечания о конституции и нынешнем состоянии Британии». Вместе с тем Сомервилл был привержен принципам Славной революции 1688–1689 гг. и провел исследование событий в Британии XVII в. в «Истории политических отношений и партий с Реставрации Карла Второго до смерти короля Вильгельма» (1792).

Мемуары Сомервилла были написаны за год до смерти, поэтому о детских и юных годах достаточно бесстрастно размышляет человек умудренный опытом. Томас происходил из знатного рода Сомервиллей, известных со времени норманнского завоевания, и из семьи потомственных священнослужителей. Его дед получил приход в Корхаузе в 1674 г., но в силу политических событий – Реставрации – лишился его.

Томас рано потерял мать, долго болевшую в последние годы. Воспоминания о ней как о красивой и заботливой женщине он пронес через всю жизнь. Важно отметить ее религиозность – она читала сыну фрагменты из Священного Писания и комментарии к нему. Отец сыграл важную роль в становлении личности Томаса – он показан как мудрый и проницательный человек, образованный и одаренный (он был близко знаком с видным поэтом Алланом Рамзеем и, возможно,

являлся соавтором одного из его стихотворений), но постоянная работа не позволяла ему уделять много времени воспитанию сына, и он отдал его в школу к своему родственнику в Дансе. Однако автор мемуаров считает, что большая самостоятельность пошла ему на пользу в жизни и он сумел многому научиться. Юный Томас критически относился к своим преподавателям, умело выделяя их положительные и слабые стороны – он замечал тенденции одних к чрезмерной дисциплине, а других укорял в недостаточном профессионализме. Но наиболее острую критику вызывает у него недостаточная религиозность преподавателя древних языков. Круг чтения Сомервилла в то время был типичен для всех учащихся – это дидактические сочинения, труды античных авторов (Цицерон, Цезарь, Гораций, Корнелий Непот), среди гуманистов упомянут Эразм.

Следующей вехой в его жизни стало поступление в Эдинбургский университет на богословский факультет. Юность Сомервилла совпала с периодом становления Эдинбургского университета как крупного британского центра науки – если раньше он был на вторых ролях, то в середине XVIII в. в него устремились студенты из всех уголков Британии; особенно хорошо было поставлено изучение математики и медицины.

Таланты юного Сомервилла-оратора развивались благодаря его участию в двух ярких обществах того времени – Теологическом и Изящной словесности. Из них вышли многие крупные деятели того времени, о которых он вспоминает. Там он научился не только элоквенции, составлению речей, но и гражданским добродетелям – многие участники обществ впоследствии занимали руководящие посты и стали друзьями на всю жизнь. Любопытно отметить, что юные теологи проводили много времени в тавернах, и за излишество (видимо, в употреблении напитков) Сомервилл осуждает своих компаньонов.

Воспоминания Сомервилла проникнуты размышлениями с высоты прожитых лет – он склонен сопоставлять свое поколение и «нынешнее поколение», отдавая должное и тому, и другому. Он подробен в описаниях и деталях (в примечаниях приводит точные цены на продукты того времени, покупаемые отцом), что придает источнику колорит эпохи и привлекает внимание к становлению целого



поколения британской элиты эпохи Просвещения, к которой без сомнения принадлежал Сомервилл<sup>638</sup>.

## **Моя жизнь и моё время**

### **Глава 1. 1741–1759**

Следующие воспоминания о моей жизни и времени обязаны своим появлением несчастному случаю – разрыву ахиллесового сухожилия правой ноги, – приключившемуся со мной летом 1813 г., когда я навещал свою дочь, миссис Прингл, в Фермей Грин в Вестморленде. Я был прикован на несколько недель к постели или креслу, и чтение уже утомляло меня, а мои мысли стали пустыми и часто неприятными. Прочитав жизнеописание д-ра Уотсона, епископа Лендефа<sup>639</sup>, в рукописи, я был поражен мыслью о том, что подобная работа может оказаться спасением от угнетающей праздности, не требуя полного погружения (к чему я был непригоден в то время) в строго прилежный и изнурительный труд исследователя. Меня порадовало, что мне не потребуется исчерпывающих материалов. По прочтении этих мемуаров выясняется, что, несмотря на неопределенность моего положения, я пользовался значительными возможностями завести знакомства с видными людьми моего времени и не был при этом невнимательным наблюдателем происходящих событий.

В течение нескольких лет в юности у меня была привычка вести дневник, и, хотя я вскоре устал от нудной работы, которой подчинила меня эта практика, я долго после этого записывал отнюдь не те события, которые были интересны моей семье, но от случая к случаю в мою общую тетрадь проникали наблюдения о событиях общественного значения. У меня также сохранилась личная переписка, и, осуществляя эту работу, я обращался к беспомощным воспоминаниям только относительно ранних событий, которые, однако, сильнее всего удержались в моей памяти.

Имейте в виду, что собственное развлечение было главным мотивом моего автобиографического начинания и главной целью, которой я хотел достичь, берясь за него. В качестве оправдания того, что может

оказаться нагромождением незначительных событий и замечаний, я желал бы также отметить, что сведения о тех делах, которые в силу своей известности оказываются слишком мелкими, чтобы привлечь внимание современного историка, приобретают ценность, по крайней мере, в следующем поколении.

Я происхожу из древнего семейства Сомервиллей из Камбуснета, которое было ветвью рода Сомервиллей из Друма, получившего дворянство в 1424 г. В конце XVII столетия представитель рода Камбуснетов получил титул Корхауз после унаследования состояния Камбуснетов. Мой дедушка был одним из его сыновей. После смерти Джорджа Сомервилля Корхауза 50 лет назад я стал единственным представителем мужского пола в семье. Мой дед получил церковное образование и был назначен в приход в Кеверсе епископом Глазго в 1674 г. Епископат был устойчивой формой церковной структуры в то время. Он (епископ) отказался или был лишен бенефиция после Революции, и, насколько я слышал от моего отца, это событие нельзя отнести на счет религиозных колебаний или возражений по поводу пресвитерианской формы церковного управления, но, приняв клятву верности королю Якову, он полагал, что не сможет сознательно выражать свою лояльность королю Вильгельму. Дед умер в расцвете сил в Хоувике, где он продолжал исполнять свои обязанности священника, посещаемый теми, кто оставался верен епископату и предан королю Якову, среди которых было несколько джентльменов из самых родовитых семей страны<sup>640</sup>.

После смерти моего дедушки его вдова с детьми – моим отцом и двумя дочерьми, которые все были несовершеннолетними, – переехала в Ист Лотиан, чтобы быть поближе к брату, г-ну Бернсайду, который женился на наследнице Уайтлоу и взял ее имя. Мой отец был внутренне предрасположен к служению в церкви, и после посещения лекций в Эдинбургском университете он некоторое время работал учителем в семье лорда Элибанка, жившей по соседству и связанной близким родством с Уайтлоу. В 1720 г. он получил разрешение проповедовать и стал вхож в семью лорда Сомервилля, где он оказался посвящен в важнейшие дела лорда до назначения священником Хоувика в 1731 г.

Мой отец женился в марте 1732 г. Я был пятым ребенком в семье, родился 26 февраля 1741 г. Моя мать была единственным ребенком г-

на Грирсона, священника в Квинсферри, в приходе Линлитгоу, и жила со своей овдовевшей матерью в Даклейте, вблизи Друма, где мой отец был ей представлен. Тогда, как мне сообщали многие, кто хорошо помнил ее, ее оценивали как первую красавицу Даклейта. Она унаследовала от отца 500 фунтов, что в то время рассматривалось как щедрое обеспечение для лица ее статуса. Я мало помню о моей матери, которую к великой скорби я потерял на восьмом году жизни – 10 июня 1749 г., – кроме того, что она учила меня читать молитвы каждое утро в постели и слушала, как я читал главы из Библии, когда ей позволяло здоровье. Есть такие фрагменты Св. Писания, которые я никогда не прочитываю до сегодняшнего дня без воспоминания о ее образе и взгляде, когда она сидела в кресле, а я читал ей. Ее все любили в семье и ценили все, кто знал ее, за ее здравый смысл, приветливость и редкостную щедрость по отношению к бедным соседям и замечательную веселость духа в периоды передышки между приступами жестокой болезни, в течение многих лет гнетущей ее.

Посещая сначала английскую, а затем среднюю школу в Хевике, я был направлен в июне 1752 г. в школу в Дансе под опеку моего родственника г-на Диксона<sup>641</sup>. Хотя это событие и отдалило меня от общения с моим любимым отцом, которым я больше не имел счастья наслаждаться в течение сколько-нибудь продолжительного времени, я имею основание утверждать, что оно пошло мне на пользу в последующий период моей жизни. Как к единственному сыну ко мне относились с чрезмерной снисходительностью, которая, если бы продлилась, могла бы усугубить трудности, с которыми я был обречен столкнуться, и могла бы сделать меня непригодным для усилий, которые мне пришлось совершить вследствие потери отца в юности. Господин Круишанк заслужил высокую репутацию прекрасного преподавателя древних языков. Как его методика обучения, так и поведение – я имею в виду в стенах школы – по зрелому размышлению не давали основание для подобной оценки. В течение слишком продолжительного времени он ограничивал учащихся рабским использованием переводов. Кордерий, «Диалоги» Эразма и Корнелий Непот с параллельным латинским и английским текстом были его первыми школьными учебниками; и когда комментарии Цезаря, «Метаморфозы» Овидия и пр. тексты, не сопровождаемые переводом, попали в наши руки, он читал и переводил весь урок, не оставляя ни

малейшей его части для упражнения учащихся. Его манера преподавания была капризной и часто пристрастной. Он не знал, что преподавание должно было воспитывать здоровые амбиции в учениках похвалой и наградами; и, когда он воздерживался от применения кнута, он преследовал учеников не менее сурово насмешками, которые для застенчивых мальчиков были более мучительными, чем розги. Но наиболее тяжким обвинением, которое я должен выдвинуть против моего старого наставника, является не только отсутствие религиозного принципа в воспитании и небрежение им, но и выставление этого недостатка напоказ: подшучивания, что это неуместно, или непристойные насмешки и иносказательные намеки на определенные места Священной истории и доктрину откровения, слишком очевидные, чтобы не быть понятыми учениками. Укрепленный впечатлениями благочестивого образования, я благодарю Господа, что этот недостаток никогда не вызывал в моем уме какого-либо иного чувства, чем чувства досады и страха. Но на некоторых из моих соучеников такая манера производила иное и более губительное действие; и в их эмоциях в пору зрелости я обнаружил зерна скептицизма и неверия, которые заронились в их сердца до того, как они сумели осознать их опасность.

В ноябре 1756 г. я поступил в Эдинбургский университет. С моего времени это учреждение сильно продвинулось по характеру и уровню преподавания. На самом деле за время моей долгой жизни в образовательных учреждениях страны было введено много улучшений, но ни в одном из них прогресс не стал заметен более, чем в Эдинбургском университете.

В первую сессию я посещал публичный, или первый греческий, класс, и второй, или индивидуальный, латинский, как они тогда назывались, и первый элементарный класс математики, во вторую – логику, индивидуальный греческий и второй класс математики, в третью занятия по натуральной и моральной философии, параллельно я записался студентом богословского отделения<sup>642</sup>.

Господин Хантер, профессор греческого языка, почитался в то время за лучшего знатока древних языков в Шотландии. Его методика преподавания мало отличалась от приемов обучения большинства школьных учителей.

Господин Джордж, который вел занятия по латыни, не только был совершенным знатоком этого языка, но обладал корректностью и рафинированным вкусом, позволявшими ему, посредством суждения и доброго отношения, направлять его учеников, чтобы они могли оценить характерные красоты классических языков. Он не вдавался глубоко в критические дискуссии и не уделял так много внимания, как его предшественники, древней истории, географии, стихосложению и другим предметам, более или менее связанным с литературой древнего Рима. Занятия по латыни посещались немногими. Больше половины студентов начинали свое обучение с греческого, многие другие с логики, и в результате многие оказались слабы в классической образованности<sup>643</sup>.

В год моего посещения занятий по натуральной философии тогдашний профессор по этому предмету д-р Джон Стюарт опасно заболел и вскоре посчитал необходимым оставить свой пост. Д-р Мэтью Стюарт, профессор математики, занял его место и ограничился полностью математическими изложениями, за которыми могли следить лишь немногие студенты. Поэтому мы извлекали больше развлечения, нежели знаний, из демонстрации экспериментов, со знанием дела показываемых мистером Недалеким.

Даже на своей собственной кафедре, хотя он был, возможно, первым математиком в свое время, как явствует из его публикаций, Мэтью Стюарт оказался не соответствующим своей квалификации преподавателя. Он не мог отклониться от стандарта совершенной науки или сообразоваться со способностями своих учеников. Кроме того, он был по характеру столь робким и чувствительным человеком, что малейшее нарушение порядка или проявление грубости выводило его из себя. Плохое поведение любого из этих мальчиков, коими были большинство из учеников, вместо порицания вызывало у профессора смущение, как у ребенка. За исключением тех, которые пользовались помощью частных преподавателей, и тех, которые имели естественную склонность к математике, никто из студентов в мое время не стали мастерами в области доказательств и не смогли извлечь какого-либо значительного математического знания, посещая публичные занятия.

Курс моральной философии также посещался плохо, и часто его пропускали все вместе, даже студенты, готовившие себя к гуманитарным специальностям. Должность профессора считалась

синекурой и не требовала усилий в сфере преподавания. Лекции г-на Белфора состояли из ряда отрывочных иллюстраций текста Пуффендорфа «О гражданском праве» («De iure civilis»). Из этого описания я должен вспомнить несколько, не более шести, лекций, тщательно сочиненных, которые читались нам к концу сессии, и они были настолько популярными, что я помню студентов, которые в год моего посещения просили об их повторении – просьба, с которой профессор имел любезность посчитаться, по крайней мере отчасти. Они были задуманы, чтобы опровергнуть учения, содержащиеся в некоторых эссе Юма, тогда часто читаемых, особенно о роли активных сил, причинах и следствии, свободе и необходимости. С тех пор эти лекции публиковались, и они показывают, что профессор Белфор не был лишен философской эрудиции и таланта элегантного сочинителя.

Кафедрой богословия заведовал профессор Гамильтон, недавнее назначение которого вызвало всеобщее удовлетворение, вследствие его прекрасных личных качеств и эрудиции. Он читал курс лекций по теологии на основе текстов Пиктета четыре раза в неделю, а раз в неделю по библеистике<sup>644</sup>. Первое требовало плотного графика, так что я думаю, он не закончил своего изложения системы менее чем за пять или шесть сессий. Его лекции по критике Библии, составленные по-английски, хотя основательные и ученые, возможно, слишком подробно вводили в словесную и дискуссионную критику...

Д-р Каминг, королевский профессор богословия, в соответствии со своим титулом, читал лекции по церковной истории раз в неделю в течение четырех месяцев. Так как посещение этого предмета не было обязательным для квалификационных экзаменов, на лекциях присутствовали немногие студенты-богословы. Лекции были написаны на латыни, но после первой профессор начинал вступление повторением краткого содержания предыдущей лекции на английском. Эта практика, казалось, предполагала уступку мнению, которое я высказал относительно преимущества использования родного языка в академическом образовании.

Несмотря на сравнительно неудачное положение Эдинбургского университета в период, о котором я пишу, эти влияния [в смене языка обучения] тогда только начинали сказываться, завоевывая ему высокую репутацию как центра образования, которой он пользуется в настоящее время. Притоку многих студентов из всех точек Британии и

даже некоторых с континента в Эдинбург в особенности способствовала слава д-ра Александра Монро, профессора анатомии. Он читал на английском. Его стиль был изящным, элегантным и прозрачным, и его произношение, возможно, более правильным, чем любого другого публичного оратора в Шотландии в то время. Я слушал его заключительную лекцию в конце сессии 1757 г., и я полагаю, что никогда до того не был затронут силой и красотой изящного дискурса. Цель его обращения состояла в том, чтобы способствовать улучшению в изучении анатомии студентами и проявить свидетельство мудрости, силы и безграничной благодати Творца, которого в заключение он умолял с великой торжественностью словами мудреца... Слава и успех д-ра Монро подсказали прево Драммонду, долгое время председательствовавшему в городском совете<sup>645</sup> (патроны университета), что благополучие города и университета, равно как и страны в целом, могло бы быть в значительной степени достигнуто должной заботой в назначениях на медицинские кафедры, которые, как он предлагал, должны быть заполнены самыми пригодными людьми, независимо от их личного влияния<sup>646</sup>. Основание большой Медицинской школы в Эдинбурге дало стимул этой попытке, так как Королевская больница, обязанная своим существованием патриотичному магистрату, недавно расширила свои возможности как с точки зрения медицинского опыта, так и образования в городе. Его либеральный план осуществления патроната был принят, различные отрасли медицинского образования были успешно обеспечены преподавателями, наиболее достойными и прославившимися на их собственных факультетах, резко возросло количество студентов, и Эдинбургский университет стал наиболее славной школой медицинского образования в Европе. Д-р Робертсон стал во главе университета в 1761 г.<sup>647</sup> Блеск его имени, вместе с его рвением в развитии интересов и славы университета, способствовали ускорению общего улучшения, которое сохранило в Эдинбурге преподавательский состав почти в каждой отрасли науки и гуманитарного знания, игравших немаловажную роль в столице Шотландии.

В период моей первой сессии в университете умер мой отец (8 февраля 1757) на 66-м году жизни. Будучи преданным наследником

доброе имя отца, я никогда не перестану хранить живые воспоминания о его многих добродетелях.

Из некоторых, свежих в моей памяти воспоминаний, могу упомянуть об одной, возможно, наиболее заметной черте в характере моего отца – а именно его живой симпатии к тем из его соседей, которых постигало несчастье или неблагоприятные обстоятельства. Это может пролить определенный свет на состояние общества того времени. Единственный оставшийся в живых представитель старинной семьи Уитслейдов был в Хейвике врачом, но никогда не имел много работы. Состарившись и одряхлев, он потерял, возможно, всех пациентов, кроме семьи моего отца, и впал в крайнюю нужду. С тех пор, как я себя помню, он был гостем моего отца каждый вечер за ужином; и кусочек мяса был всегда припасен для «доктора Роберта» – как его обычно называли люди. Еда и молоко в насколько только можно деликатной форме препровождались его жене. К счастью, у него не было детей. Как бы извиняясь перед семьей за то, что можно было расценить как чрезмерную благотворительность, отец обычно пользовался случаем упомянуть, насколько добр был отец «доктора Роберта» к моему дедушке после того, как он был лишен Революцией поместья. Но замечательным также было то, что его пенсионер был настолько фанатично привержен епископату и якобитам, что он никогда не входил в церковь моего отца и, сидя за его столом, пускался в инвективы против пресвитериан и вигов, как бы нарочно с целью упрекнуть своего благодетеля за конформизм, при этом пользуясь вознаграждением, которое служило для его собственного существования. Помимо благотворительности моего отца, д-р Роберт не имел иных источников существования, кроме случайных скудных пожертвований от нескольких джентльменов графства, приходившихся ему дальними родственниками; и эти пожертвования были подсказаны моим отцом и передавались через его руки. Я никогда не забуду фигуры доктора. Это был благообразный человек, выглядевший как развалина, высокий, худой, являвший собой олицетворение голода и уныния.

Я не буду стараться долго описывать своего отца. Его характер был отмечен и почитаем подавляющим большинством всех тех, кто знал его. Его отличало сердечное отвращение к лицемерию. Никакие соображения никогда не удерживали его от выражения презрения к



любому, невзирая на его статус или влияние, кто бы запятнал себя недостойным поведением. Он был привязан с энтузиазмом к своим друзьям – и не скупился ни на труд, ни на расходы, если он мог защитить их интересы. Он действительно был расположен помогать всеми силами, которыми располагал, всем тем, кто претендовал на его добрые дела; и особенно проявлял свои усилия в открытии пути фортуны многим одаренным молодым людям, которые могли бы остаться в сумерках, если бы не его усилия. Я и сам имел возможность узнать, насколько он придерживался исполнению тайного долга. Он был одарен редкой бодростью духа и наслаждался больше, чем любой известный мне человек в его преклонном возрасте обществом молодых людей, счастьем которых он был бы рад поспособствовать, часто принимая многих из них в своем доме на вечерах музыки и танцев и других увеселений, подходящих для их возраста и вкуса. Его гостеприимство была поистине баснословным. Его дом был всегда открыт для друзей по церкви и молодых людей, преданных церкви. Я вспоминаю, что по традиции каждый раз в базарный день несколько джентльменов и фермеров, живущих по соседству, собирались пообедать в доме пастора, и многие, бывавшие частыми гостями моего отца по этому и другим поводам, говорили мне о сердечной приветливости, с которой их всегда принимали. Он пользовался глубоким уважением по своим профессиональным качествам. Его речи, многие из которых сохранились (хотя он обычно проповедовал без заранее подготовленного текста), в большинстве своем практического и описательного свойства, были составлены в манере Кларка и Тилотсона, его любимых авторов. Он был хорошо начитан в истории, хотя и имел сильные пристрастия к династии Стюартов, пользуясь авторитетом среди соседей во всех вопросах, относящихся к истории Шотландии. Его другие гениальные свойства, талант собеседника и неистощимый юмор, который он искусно и к месту применял, завоевали ему уважение в обществе со стороны друзей и знакомых, как сходного с ним положения, так и лиц более высокого ранга, которых у него было много.

Я уже говорил о гостеприимстве моего отца. Читателю может показаться любопытным узнать о способах развлечений, обычных в семьях, подобных его, в период, о котором я пишу сейчас. [Большая] компания редко приглашалась за стол. Я припоминаю только два или

три случая, когда подобные обеды проходили в доме моего отца. Несколько соседей приглашались на увеселения такого рода после предварительного закалывания теленка, засаливаемого на зиму, когда свежее мясо невозможно было достать на рынке. Этот обед назывался «обедом из ребрышек» (sparerib dinner), так как главным блюдом на столе считался ростбиф из порции телятины. Другой официальный обед происходил в каждой семье в один из праздников в начале или в конце года. Часто приходили нежданные гости, которые принимались с радостью. В доме моего отца подобные увеселения были не дорогостоящими, а добрыми и солидными. Обычными напитками были крепкий эль, с небольшим стаканом бренди, на более официальных обедах – пунш из красного вина. Ром и виски только начали вводиться, но мой отец, помню, протестовал против этой практики как новшества и, когда кто-либо из его посетителей предпочитал пунш, лишь тогда он посылал к бакалейщику за бутылкой рома.

Среди близких друзей моего отца был знаменитый шотландский поэт Аллан Рамзей<sup>648</sup>, о котором, как я помню, он много рассказывал. Несколько лет назад в литературных кругах распространилось мнение, будто он не является автором «Нежного пастушка». Мой отец всегда встречал эти высказывания с раздражением. Полагаю, что он сам видел поэму в подлиннике. Он говаривал, что исправления, предложенные друзьями Аллана, Вильямом Гамильтоном из Гильбертфильда и сэром Уильямом Беннетом – один из которых подозревался в подлинном авторстве, – были незначительны и относились главным образом к форме или аранжировке драмы.

В качестве доказательства его великой способности к сочинительству мой отец упоминал, как я слышал, что послание Рамзея к г-ну Сомервиллу<sup>649</sup>, автору «Охоты», было написано, когда он сидел рядом с ним и за очень короткое время. Кроме того обстоятельства, что это стихотворение написано «по подсказке», оно едва ли содержит другие достоинства, будучи одним из худших сочинений Аллана, но любопытная история, связанная с ним, достойна быть увековеченной. Уильям Сомервилл (поэт) решил, что связан клановым родством с лордом Сомервиллом, и, хотя никакой связи между семьями не прослеживается в более позднее, чем норманнское завоевание, время, это дало некоторое основание претендовать на

наследование<sup>650</sup>. Унаследование поэтом титула лорда, по статусу закрепленного за его именем в Глостершире, было уже решенным вопросом. В этих обстоятельствах Аллана Рамзея, который, как известно, переписывался с господином Сомервиллом, попросили возвестить о рождении старшего сына и наследника лорда Сомервилла в форме поэтического послания; и стихотворение было написано по этой просьбе. Впоследствии оно стало важным свидетельством в юридическом вопросе, в котором были затронуты значительные интересы сторон. Когда мальчик, о рождении коего было так возведено и который стал четырнадцатым лордом Сомервиллем, умер в 1765 г., дети его матери от первого брака стали претендовать на часть его собственного имущества, в соответствии с законом Англии, утверждая, что его титул лорда следует рассматривать как английский, а не как шотландский, и место его рождения рассматривалось как материальное доказательство для установления факта при споре. Однако никакого свидетельства о рождении не сохранилось ни в приходской книге, ни в семейной Библии, что противоречило семейной традиции...

Смерть моего отца горько опечалила меня. Его привязанность ко мне, сожаление, что я был лишен преимущества и радости разделять его общество; разочарование от каникул, на которых я надеялся увидеть отца, вернувшись из колледжа, с досадою наполняло все мои мысли во время визита, который я нанес в Хейвик в связи с похоронами, и в течение долгого времени после этого. В конце сессии 1757 г. я в последний раз вернулся в дом, все еще занимаемый сестрами. Наше одинокое положение и скудные средства к существованию с бесконечными напоминаниями о нашем недавнем горе, контрастируя с общительностью, веселостью и теми чертами, которые делали место нашего проживания столь дорогим для нас, превратили то лето в самый мрачный период моей прошедшей жизни. В ноябре мы с сестрами переехали в Эдинбург, как в наиболее удобное место для продолжения моего образования. Мисс Колвилл, кузина моей матери, предоставила нам бесплатно дом вблизи Невербоу Порта. В наших обстоятельствах требовалась жесткая экономия. <...>

В доме господина Дэвидсона, книгопродавца, который отошел от дел, скопив огромное состояние, я был впервые представлен Натаниэлю Дэвидсону, который на несколько лет стал моим самым

близким другом в Эдинбурге. Впоследствии он стал секретарем Уортли Монтегю, с которым посетил Большой Каир и Константинополь и сопровождал караван из Каира в Мекку через аравийскую пустыню<sup>651</sup>. По возвращении в Европу он был назначен консулом в Ницце, потом в Алжире, в обоих местах он жил в течение нескольких лет. Он собирался опубликовать отчет о своих путешествиях, который стал бы ценным вкладом в литературу. Однако он был вынужден отказаться от этой идеи вследствие утраты рисунков и незначительности гонорара, предложенного книгопродавцами, который он считал несопоставимым со временем и трудом, затраченными на написание работы. Письма, полученные мной от консула Дэвидсона, полны доброго юмора, любопытных сообщений, равно как и выражения постоянной привязанности. Мне посчастливилось встречаться с ним в Лондоне, так часто, как я бывал там, и, когда он посещал своих друзей в Элнвике, мы всегда умудрялись провести несколько дней вместе в доме старшего брата, доктора Дэвидсона, и в доме в Йедбурге. К числу приятнейших часов моей жизни относятся те, что я провел в компании Натаниэля Дэвидсона. Его вежливые манеры, живость, близкое знакомство с иностранными обычаями и традициями и запас забавных анекдотов об эпизодах его путешествий всегда делали беседу с консулом Дэвидсоном привлекательной для его друзей.

В это время я получил разрешение на деятельность проповедника, и теология стала моим главным занятием. Из круга моего чтения, я думаю, не выпало ни одной книги, трактующей вопросы естественной веры и Откровения. Из всех работ, однако, думаю, что я больше всего получил от «Аналогий» Батлера, так как они укрепили мое понимание, рассеяли мои сомнения и дали мне твердые правила и соответствующую духовную опору для постижения истины.

В первый год моего обучения на кафедре богословия я стал исповедником. Я обычно прислуживал в церкви Богоматери Йестерской, но так как мисс Колвилл принадлежало место в новой францисканской церкви, куда ее сопровождали мои сестры, мне представился особо удобный повод помочь моим родственникам по такому торжественному поводу. Приятные впечатления, которые я испытал от первого исполнения долга, часто приходили мне на память с того времени и заставили меня устыдиться сравнительной

холодности и равнодушия, проистекающих из знания и возраста, хотя уверен, что эти обязанности и теплота тех ранних непосредственных впечатлений никогда не сотрутся из моей памяти.

Господин Бургес, женатый на старшей дочери лорда Сомервилла, ушел в отставку после военной службы, был назначен комиссаром по акцизам в Шотландии и приехал в Сомервилл Хауз с женой и двумя детьми летом 1759 г. Будучи частым гостем в Сомервилл Хауз, я снискал его доброе расположение и он сделал мне предложение стать наставником его сына. Это предложение встретило одобрение лорда Сомервилля и всей его семьи. Я планировал исполнять трудоемкую работу наставника, но уже отверг несколько предложений, сделанных мне, так как они не соответствовали моим ожиданиям. Моя привязанность к семье лорда, дружелюбный нрав г-на Бургеса, лестное соображение получить более высокое положение, чем пост платного учителя, признание и рассматривание меня родственником семьи – всё это заставило меня оценить это событие как наиболее желательное, что может только произойти в моем возрасте и при моих обстоятельствах. Ожидания, которые я тогда питал, не разочаровали меня. Мой ученик Джеймс, ныне сэр Джеймс Бургес<sup>652</sup>, коему тогда шел восьмой год, проявил такую быстроту понимания, хорошую память и способность усваивать преподаваемые ему уроки, какую я никогда не встречал ни в одном другом мальчике до того. По мере того как мы занимались с ним, я часто втайне стыдился того, насколько мало у меня опыта преподавателя. Он сам не осознавал своей не по годам развитой гениальности.

В конце 1759 г. я стал членом Теологического общества и впоследствии Общества изящной словесности (1761). Моему посещению этих обществ, более, чем какому-либо чтению или обучению, я обязан всеми успехами, достигнутыми мною в литературе, сочинительстве и интеллектуальном развитии. Благодаря этому я приобрел особую легкость и правильность выражения и – то, что я считаю более важным, – научился ценить и любить истину. Правило, которого я непреложно придерживался, состояло в том, чтобы говорить только на те темы, которые находились в пределах моего понимания, и охватывать ту сторону вопроса, которая соотносилась с моими подлинными чувствами и представлялась подтверждаемой наиболее вескими аргументами. Мои усилия в обоих

обществах пошли на пользу также в иных отношениях: снискали мне уважение нескольких моих соучеников. Большинство членов Общества изящной словесности были сыновьями благородных джентльменов, большее их число студентами-юристами, и впоследствии я воспользовался их благоприятным мнением и ранней привязанностью к себе. Господа Блейр и Дундас считались лучшими ораторами Общества изящной словесности и с ранних лет представляли доказательства тех выдающихся ораторских способностей, которые затем привели их к благосостоянию и славе. Речи господина Блейра были не только блестящими, но полными здравых доказательств и строго ограничены предметом дискуссии. Г-н Дундас главным образом преуспел в изящности красноречия, но он слабо аргументировал свою позицию и часто отклонялся от вопроса. В дискуссиях политического характера он всегда исповедовал приверженность вигским принципам. Роль, которой достиг г-н Дундас как государственный деятель и способный спорщик, превзошла ожидания, которые у меня сложились на основе его выступлений в Обществе изящной словесности и в Генеральной Ассамблее, где он также принимал активное участие в обсуждении дел. Списки членов и протоколы Общества были положены на хранение в Адвокатскую библиотеку лордом Бьюкенем, который также входил в число участников, и жажда знаний которого и усердие давали многообещающие надежды будущего величия в литературном и политическом мире.

Теологическое общество было не только школой умственного совершенствования, но и питомником братской любви и добрых чувств. За первые два года существования общества, тогда ограниченного небольшим числом членов, общая добрая воля и привязанность объединяли всех и между многими членами завязывалась близкая и многолетняя дружба. Моя добрая привязанность к Джеймсу Диксону, Уолтеру Янгу, Эндрю Смиту, Джону Робертсону, впоследствии священнику в Килмарноке, Джону Мартину, Джону Куку, Джону Гоуди, Уильяму Лотиану и Джону Уордену проистекала из нашего общения в Теологическом обществе и с моей стороны, равно, как я надеюсь, и с их, продолжалась неослабно всю жизнь; ибо сейчас, когда я пишу эти строки в октябре 1813 г., Джон Кук, профессор моральной философии в Сент-Эндрюсе, и д-р

Янг, священник в Эрскине, и, возможно, еще не более шести-восьми человек – это те немногие оставшиеся в живых члены Теологического общества, которое до своего расформирования в 1764 г., возросло, по крайней мере, до 50—60 человек.

Я не скрою от Вас и мрачной стороны Общества, которая сокращала, а может, и перевешивала преимущества его работы. Наши посиделки по тавернам, которые следовали за нашими еженедельными встречами в колледже, были причиной излишеств и недисциплинированности, несовместимых с нашими обстоятельствами и профессиональными взглядами. Я никогда не забуду то изысканное наслаждение, которое я извлекал из этих многолюдных заседаний: непринужденное высказывание всех мыслей; беззлобные шутки, в которых мы упражнялись, плодотворная беседа, оживляемая весельем и добрым юмором, душевную привязанность, с которой мое сердце устремлялось к друзьям, возбуждение от благородных целей, часто приводящее к дружескими жестам. Но вновь, когда я начинаю думать о губительных привычках, которыми увлекались некоторые из наиболее достойных современников моей юности и которые я имею слишком много оснований считать проистекающими из тех очаровательных удовольствий, кои описаны мною выше, то понимаю, на каком тонком волоске держались мое собственное здоровье и характер, главным образом благодаря счастливому стечению обстоятельств после окончания учебы и отношениям с домашними, и вижу значительное моральное улучшение в той умеренности и сдержанности, которые практикуются людьми любого возраста и положения теперь, а также испытываю благодарность тому новому поколению, коим интересуюсь, за то, что оно освобождено от искушений, часто гасивших истинные светочи гения и добродетели.

Поскольку я предполагаю в этой работе вспомнить имена многих славных людей, которых мне посчастливилось узнать, я закончу эту главу кратким очерком о прево Драммонде, который стоял первым в ряду общественных деятелей столицы задолго до и в течение моей жизни здесь.

Джордж Драммонд происходил из благородной семьи из Перта, лишенной состояния вследствие приверженности ее главы королю Якову в 1689 г. Достоинство этого престарелого человека, каким я знал

его, с первого взгляда внушало уважение и почтение настолько, что, если незнакомый человек представлялся на каком-либо собрании жителям Эдинбурга для рассмотрения дела особой важности, его взгляд немедленно останавливался на господине Драммонде, выбирая его как наиболее подходящую фигуру для ведения заседания совета. Любое предположение в его пользу подтверждалось при ближайшем рассмотрении из-за вежливости его манер и изысканности его беседы. Я никогда не слышал, каким было профессиональное призвание прево Драммонда в юности. В молодости он отличился своими талантами бухгалтера и в 19 лет удостоился чести быть занятым в расследовании государственных финансов. Затем он занимал пост в Таможенном и Акцизном комитетах. Наиболее яркой чертой характера г-на Драммонда был его общественный дух. Всеобщее признание его деловых качеств и его популярные действия рано зарекомендовали его среди сограждан как наиболее достойного человека для отстаивания их общих интересов. В 1725 г. он занял пост главы городского совета Эдинбурга, на который его часто переизбирали до 1766 г., когда он ушел в мир иной, оставив по себе прекрасную репутацию и добрые дела. Его трудам город и страна в целом обязаны учреждением Королевской больницы, основанием Королевской биржи и рядом планов улучшения города. Он был чрезвычайно изобретателен, как уже отмечалось в стимулировании повышения роли и значения университета. Расширение и реформу Почтового ведомства также стоит выделить как одно из его общественных дел. Его патриотические усилия не оборвались с его смертью. Однажды в обществе д-ра Жардина, его зятя, мы стояли с ним у окна на верхнем этаже дома возле северной окраине Эдинбургского Торга, глядя на противоположный берег Норт-Лох, в то время называемого Берфут Парк, где тогда не было ни единого дома. «Посмотрите на эти поля, – сказал прево Драммонд, – вы молодой человек, г-н Сомервилл, и возможно доживете, в отличие от меня, до того дня, когда увидите все эти поля покрытыми домами, образующими прекрасный и великолепный город. Для осуществления этой цели следует только осушить Норт-Лох и дать достаточный проход от старого города. Я никогда не терял этого из виду с 1725 г., когда был впервые избран прево. Мне пришлось столкнуться с сильной оппозицией и многими проблемами, замедлившими успех, но уверен, что они преодолимы и



этот великий труд будет вскоре осуществлен». В то время Городской Совет уже планировал и составлял смету строительства Северного моста и начал осушать Норт-Лох.

## Маргарита Милов (1748–1826)

Автобиография Маргариты Милов одновременно может рассматриваться и как ординарный, и как незаурядный источник. С определенной точки зрения, эта написанная в конце XVIII в. автобиография выглядит как набор штампов, прежде всего религиозных и социальных. Маргарита придерживалась протестантского вероисповедания и благодарила Бога за возможность соблюдать нормы поведения, соответствующие ее происхождению из гамбургского патрициата. Чувства, наполнявшие собой ее детские годы, вроде бы тоже не слишком оригинальны: желание нравиться, восхищение красотами природы, стыд за худшие, чем у сверстниц, наряды, но самое главное: сильнейшее опасение нарушить «комильфо», преступить правила поведения девушки из хорошего общества. С другой стороны, небезынтересным и очень характерным для культуры этого времени является как раз сочетание некоторых внешне противоречивых компонентов: хотя бы того же светского, довольно легкомысленного, самовосприятия Маргариты с приобретенной несколько по инерции, но тем не менее абсолютно непоколебимой уверенностью в правильности христианских норм (по крайней мере Маргарита не представляет себе, как можно писать, представлять что-либо противоречащее этим нормам). Если подойти к нижеприведенному тексту с этой точки зрения, мемуары Маргариты Милов покажутся весьма интересным источником, тем более что автору свойственен достаточно высокий уровень рефлексии и откровенности<sup>653</sup>.

### Моя жизнь

С того времени, как я себя помню, я ходила в школу учиться чтению. Когда мне было восемь, а у моей матери было шесть детей, в 1756 г. у нас в доме появилась гувернантка, которая смотрела за тремя девочками. Мы почти все время были при ней, и для этого была отведена комната, которую мой отец при другом положении дел мог бы

сдавать. Однако самым счастливым было все-таки время *первого* детства: когда, приходя из школы, мы были свободными и играли у нашей матери. По вечерам, пока не наступало время идти в постель, мы сидели у одной портнихи, которая умела рассказывать такие чудесные истории, что иногда мы проливали над ними самые сердечные слезы, а иногда так пугались, что прижимались друг к другу насколько возможно тесно. С нами всегда был наш старший брат, и это делало наши игры и забавы еще более веселыми, особенно на Рождество, когда с надеждой заучиваешь рождественские пожелания, эти маленькие молитвы. Мы почти не выходили из дома: только каждое лето мы в большой лодке плавали на сеностав, а зимой, на Рождество, ездили в гости в Альтону, к брату нашего отца, да и там не было никакой радости, помимо яблочного пирога, уже ожидавшего на печи нашего прихода. У нашей гувернантки мы научились немного бормотать по-французски, всевозможному рукоделью, а также катехизису и множеству молитв. Натура она была примечательная и, когда мы шили, пела не умолкая. Однако это имело то преимущество, что и у меня молитва стала любимым занятием. С восьми часов утра до восьми часов вечера мы должны были непрестанно шить или учиться, и только по воскресеньям у нас было разрешение и время поиграть. Эта привычка находиться в постоянной занятости, как вы знаете, осталась при мне и по сию пору. Нам запрещалось смеяться, и вообще она держала нас в великом страхе, но мне она оказывала предпочтение, потому что я могла петь вместе с ней. Кроме этого, у нас были занятия по письму, а потом по счету. Всю зиму мы выходили из дома только в церковь, ну и еще к нашим дедушкам с бабушками, и раз в год – к теткам. Летом по воскресеньям мы ездили в маленький сад в Морэ, который снимал мой отец. Было сущим блаженством выезжать за город, после того как всю неделю мы сидели запертыми в четырех стенах. Уже тогда природа и свежий воздух были для меня всем, а я так редко ими наслаждалась! Так я жила четыре года, пока наша гувернантка не вышла замуж. Ее отъезд вызвал у меня слезы, это было мое *первое* расставание, моя *первая* боль. Пусть даже привычка жить с ней вместе была воспитана только течением времени, я была к ней достаточно привязана. Проходила вторая эпоха моей жизни, такая спокойная, такая единообразная, такая свободная от страданий, как больше никогда. О годы детства, к скорейшему прохождению которых

мы так стремимся, потому что мы представляем себе чудеса других лет! – эти годы никогда не повторятся, с их рождественским весельем, с радостью майского дерева на Троицу; увы, эти годы исчезли.

У нас появилась новая гувернантка, которая ничего не знала о Господе, и которая была наделена черными глазами и румяными щеками. Она была совсем молоденькой, играла с нами, и мы забыли то, чему успели научиться. Тогда же у нас появился некий кандидат, который преподавал нам религию, историю и географию; были также учителя танцев, языка и рисования; но к последнему предмету я не питала никакой склонности, и поэтому этот учитель со мной не занимался. Наши родители поняли, что эта гувернантка ни на что не годилась, и у нас появилась третья: старая, ворчливая... она ничего не понимала и все путала. Нам, детям, было с ней трудновато. Кандидат давал мне книги, романы Геллерта и ему подобные, которые я просто проглатывала, однако она их вновь отбирала, и я не осмеливалась читать ничего иного, кроме катехизиса. Однако и эту особу наконец отставили; появилась четвертая. Она была серьезной и строгой, но при этом разумной, и все наше воспитание приобрело другой вид.

Я ничего не знала о смерти, пока на Пасху 1761 г. не умер наш дед. Я была его любимицей, а когда он умер, я увидела его, обычно такого ко мне расположенного, окаменевшим от холода, увидела, как все плачут о нем, как его выносят из дома. Это впечатление осталось навсегда. На следующее лето мой отец снял мызу с несколькими комнатами на Даммторе. И вновь это было наслаждением: после того как мы неделю напролет едва ли могли вздохнуть полной грудью, а только работали да учились, субботним вечером, без нашей француженки (потому что места на мызе для нее не было), пойти в этот сад. О, мы дышали тем свободнее, чем дальше мы выходили из города, и мы могли прыгать и бегать совершенно так, как мы хотели. Какое наслаждение видеть заходящее солнце, ягнят, деревья! Мы ценили каждый час, каждую *минуту*. Там я могла читать то, что хотела, но не осмеливалась читать при моей француженке. Так счастливо прошло это лето (а лето никогда не бывает вечным), и именно тогда началась любовь между мной и моим старшим братом. *Такой* любви между братьями и сестрами больше никогда не будет; эта любовь, мои дети, которую я не смогу вам описать, но которая, как вы увидите, правила всей моей дальнейшей жизнью. Он, этот брат, имел

благородное, большое и доброе сердце, он обладал разумом и всеобъемлющей тягой к знаниям и насыщал ее, где только мог; он был радостью своих учителей, еще в детстве гордостью своих родителей, но у него было очень слабое, больное тело, никак не удовлетворявшее его дух, не способное поддерживать его, делавшее его не способным к стремительным радостям детства и юности. Его характеру эта болезнь придала меланхолию, робость, всепобеждающее терпение и только изредка – некоторую досадливость. Я и в болезни всегда была рядом с ним, была его товарищем по играм, а потом подругой, и это нас очень связывало. В конце того лета, вместе с нашей соседкой по приходу, девочкой того же возраста, мы были приглашены на маленький праздник на одно из (городских) укреплений. Мы знали об этом за две недели и не говорили ни о чем ином, как об играх, которые мы там устроим, потому что мы были еще детьми. Мадемуазель с нами также не шла, нас должна была привести туда эта соседская девица, и мы пошли, одевшись совсем просто, потому что тогда мы еще не знали, что такое туалеты. Но превращение из ребенка в подростка<sup>654</sup> произошло внезапно, совершенно неожиданно, с моей сестрой, которая была на год меня моложе, с моим братом и со мной. Я увидела парня моих лет, с красными щеками, темными волосами, и детство осталось позади. Детские игры превратились во что-то другое, что могло бы стать опасным для нас всех, если бы нас не оберегала рука Господа, который бдит над нашей невинностью. В сердце и голову поднимались еще пустые, смутные, абсолютно неразвитые из-за переизбытка детства желания и мысли, но именно они забрали с собой наше спокойное счастливое детство: ученье, работа и игра потеряли для нас свою привлекательность.

В тот раз наш учитель, славный добрый человек, напал на неудачную идею, что вся компания, которой он преподавал, должна совместно подготовить одну печальную и одну веселую пьесу. Он выбрал Горация и драму Геллерта. Я играла главную роль в первой из них. И наша невинная детская жизнь совершенно закончилась на этой затее; каждую неделю должны были проходить репетиции, в домах всех актеров, но только не у нас. И после того как репетиция заканчивалась, взрослые уходили и предоставляли нам, которых они считали еще детьми, время для детских игр. Однако игра оставалась игрой, только пока за нами наблюдали или в качестве предлога для

наших сборов, а потом каждый выбирал себе девушку, и забавлялись там поцелуями да игрой в фанты. И тогда же появились другие злые страсти, о которых мы раньше ничего не знали: зависть (потому что среди нас была одна особенно хорошенькая девушка), ревность, желание нравиться, охота наряжаться; эта последняя страсть, впрочем, могла проявиться только не у нас, потому что в те годы к нашей одежде относились чрезвычайно плохо, и моя мать, например, следила исключительно за чистотой. В октябре того года, когда мне были все 13, моя мать была на сносях моим братом Кристианом и лежала тяжело больной в постели. И мы, и она думали, что к тому времени, как надо будет играть спектакль, она разродится, но так не получилось, она хотела, чтобы постановку отменили, но отчасти это было невозможно из-за других детей, отчасти противоречило своеволию нашего учителя. Моя мать обозлилась, и нам не давали никаких новых платьев, которые мы должны были бы получать; также и о наших остальных одеждах она совершенно не заботилась, и поэтому мы были совершенно не прибраны, просто одалживали все вместе какой-то праздничный наряд, и все. И однако наша радость от постановки была очень велика, и мы, несмотря на наши плохие наряды, пользовались огромным успехом, а самая красивая девушка, в самом лучшем наряде, какой только можно было себе представить, не получила почти никакого. Эта постановка была дана четыре раза; на последний раз мы решили, что мы попросим наших родителей о продолжении нашего предприятия. Разрешение было получено, и первое наше сборище было у самого нашего учителя, по причине как раз бывшего тогда дня поминовения всех усопших. Из-за этого в тот раз с нами пошла наша мамзель. Отчасти по недомыслию, а отчасти для того, чтобы показать другим детям, будто мы уже слишком взрослые бояться нашей француженки, мы не обращали никакого внимания на ее присутствие, но целовались, смеялись, прыгали, так как будто бы ее вовсе здесь не было. Особенно разрезвилась в тот день (наша сестра) Сара. В компании она совершенно не обращала на нас (и на наши знаки) никакого внимания. Однако вечер, когда мы пришли домой, я никогда не забуду. Он заложил основы всего моего будущего целомудрия и добродетели. Наша гувернантка была не злой, но серьезной и взволнованной. «Вы девушки, – начала она, – на воспитание которых я положила очень много сил, о которых я думала, что во всяком своем

деле вы благочестиво храните Бога в сердце и перед глазами. О, я должна сказать вам: мне стыдно за вас, я хотела бы никогда вас не видеть. Этот ваш спектакль вовсе не был развлечением благонамеренных девушек, в особенности я говорю про Вас, Сара; Вы позволяли себе почти все. А Вы, Бетчин, Вы кричали и дрались, когда по отношению к Вам допускались вольности, но ведь добродетельная девушка не доводит до того, чтобы кричать и драться; уже Вашего выражения лица и манер должно быть достаточно для того, чтобы мужчины держались на почтительном расстоянии. Я предупреждаю вас, что завтра я попрошу у ваших родителей расчет».

Тогда мы разрыдались. Мы просили ее, ради Господа и нашей добродетели, не забывать нас и обещали исправиться. Наконец она согласилась, но под условием, что мы не будем больше общаться ни с одним из той компании и воистину исправимся. Я плакала всю ночь, все проходило у меня перед глазами: моя прошлая счастливая детская жизнь, и эти злые, беспорядочные желания. Но я – нет, не я, Господь помог мне это преодолеть. Когда должно было состояться следующее собрание, мы не пошли, и с тех пор я не говорила ни с кем из мужской части этой компании. Двух юношей из их числа постигла очень печальная судьба; вскоре после этого они попали в беспутную компанию, заработали дурные болезни, один из них был посажен своим отцом под замок, выпущен, но, поскольку он уже привык к разгульной жизни, в 17 лет он умер от мучительной болезни. Другой юноша, любимое дитя своей матери, умер на следующий год от истощения.

Итак, мы прожили еще полтора года с нашей гувернанткой, и это было спокойное, тихое время. Я могу искренне сказать, что в те годы я стала поистине добродетельна.

Еще один год после этого мы снимали мызу возле Даммтора; потом мой отец должен был отказаться от этого сада, и в 1763 г. мы сняли другой, в квартале Св. Георга. Его местоположение было не столь удачным, он был не так красив и близок к природе, но и старый и малый чувствовали себя там привольно, могли делать все что угодно. Это делало новый сад лучше, потому что своя воля дороже золота. Портило эту мызу только одно. Наши соседи всегда, а особенно по воскресеньям, расхаживали в самых лучших нарядах, а мы не могли этого себе позволить. В те годы мы действительно одевались хуже, чем

это полагалось нашему сословию, даже наша мать почти не следила за модой; в то время она была самой домашней, благочинной и умеренной женщиной этого мира, и я думаю, что это из-за нас, и еще я думаю, что это *было правильное время* для того, чтобы быть такой. Но это было нам в немалую досаду, мы стыдились того, что нас видели в нашей одежде, выходили гулять только тогда, когда надеялись никого не встретить, и даже праздники, когда мы сами с таким удовольствием нарядились бы, были для нас несчастными. Желание нравиться столь же укоренилось в наших сердцах, как и в сердцах всех девушек. Действительно ли хорошо подавлять это желание совершенно? Разве не разразится оно тогда с гораздо большей силой, когда девушки внезапно получают почти полную свободу? Все остальное наше время проходило в трудах; мы были ежечасно заняты. Наш учитель приносил нам множество книг, и они составляли мою воскресную радость, помогали забыть о туалетах и гулянии, потому что в другие дни мне не было позволено читать. Таким образом, в истинном смысле слова, воскресенье было для меня отдыхом.

В то лето наша гувернантка оставила нас, а учитель стал проповедником в Стокгольме. Наши родители больше не хотели нанимать гувернантку, и мы втроем поступили под надзор нашей матери. Мой брат, уже прошедший конфирмацию, ходил в контору моего отца. Наша мать начала приобщать нас к настоящим *домашним* делам. Была ли у меня истинная добродетель, пусть судит Бог, однако со времен злосчастного спектакля у меня не было никакой склонности к мужчинам. Те немногие, кого я знала, мне не нравились, а если все-таки я видела кого-то, от кого на душе становилось теплее, я подавляла эти мысли. Моей единственной радостью оставалось чтение, а счастливым днем – воскресенье.



# Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832)

«Поэзия и правда» – знаменитая книга мемуаров Гёте, над которой он работал значительную часть своей жизни (1810–1831). Повествование охватывает детские и юношеские годы поэта и доведено до 1775 года. Во многих отношениях «Поэзия и правда» – вершина реалистической прозы Гёте. Произведение Гёте не только знакомит нас с тем, как складывалась духовная личность самого писателя, но и ставит перед собой новаторскую тогда задачу – «обрисовать человека в его отношении к своему времени» (из аннотации к переизданию 2003 года). Сочинения Руссо, Гёте и де Квинси демонстрируют рождение своего рода основы для образов детства в автобиографиях последующего столетия, времени расцвета рассказов о себе как жанра литературного творчества романтиков. «Биография души» (термин Е. Халтрин-Халтуриной) теперь определяет и автобиографию детства. Рассказ Гёте о собственном детстве обширен и подробен. Мы приводим здесь небольшую часть [655](#).

## Из моей жизни: Поэзия и правда

### Книга первая

Двадцать восьмого августа 1749 года, в полдень, с двенадцатым ударом колокола, я появился на свет во Франкфурте-на-Майне. Расположение созвездий мне благоприятствовало: солнце, стоявшее под знаком Девы, было в зените. Юпитер и Венера взирали на него дружелюбно, Меркурий – без отвращения, Сатурн и Марс ничем себя не проявляли; лишь полная луна была тем сильнее в своем противостоянии, что настал ее планетный час. Она-то и препятствовала моему рождению, каковое могло совершиться не ранее, чем этот час минует. Сии добрые предзнаменования, впоследствии высоко оцененные астрологами, вероятно, и сохранили мне жизнь: из-

за оплошности повивальной бабки я родился полумертвый, и понадобилось немало усилий для того, чтобы я увидел свет...

Вспоминая младенческие годы, мы нередко смешиваем слышанное от других с тем, что было воспринято нами непосредственно. Итак, не вдаваясь по этому поводу в кропотливые изысканья, ибо они все равно ни к чему бы не привели, скажу, что жили мы в старинном доме, состоявшем, собственно, из двух соединенных вместе домов. Лестница, наподобие башенной, вела в комнаты, расположенные на разной высоте, а неровность этажей скрадывалась ступенями. Мы, дети, то есть младшая сестра и я, больше всего любили играть в просторных сенях, где одна из дверей вела в деревянную решетчатую клеть, на улице, под открытым небом. Такие «птичьи клетки» имелись во Франкфурте при многих домах и звались «садками». Женщины, сидя в них, занимались шитьем и вязаньем, кухарка перебирала там салат, соседки перекликались друг с другом, и в теплую погоду это придавало улицам южный характер. Здесь, в непосредственном общении с внешним миром, все чувствовали себя легко и непринужденно. Благодаря «садкам» дети легко знакомились с соседями, и меня очень полюбили жившие насупротив три брата фон Оксенштейн, сыновья покойного шультгейса. Они всячески забавлялись мною и иной раз меня поддразнивали.

Мои родные любили рассказывать о разных проделках, на которые меня подбивали эти вообще-то степенные и замкнутые люди. Упомяну лишь об одной из них. В городе недавно отошел горшечный торг, и у нас не только запаслись этим товаром для кухни, но и закупили разной игрушечной посуды для детей. Однажды, в послеполуденное время, когда в доме стояла тишина, я возился в «садке» со своими мисками и горшочками, но так как это не сулило мне ничего интересного [у *Н. А. Холодковского*: и так как ничего интересного у меня не выходило.], я швырнул один из горшочков на улицу и пришел в восторг от того, как весело он разлетелся на куски. Братья Оксенштейн, видя, какое мне это доставляет удовольствие, — я даже захлопал в ладоши от радости, — крикнули: «А ну еще!» Нимало не медля, я кинул еще один горшок и, под непрерывные поощрения: «Еще, а ну еще!» — расколотил о мостовую решительно все мисочки, кастрюлечки и кувшинчики. Соседи продолжали подзадоривать меня, я же был рад стараться. Но мой запас быстро истощился, а они все восклицали: «Еще! Еще!»

Недолго думая, я помчался на кухню и притащил глиняных тарелок, которые бились даже еще веселее. Я бегал взад и вперед, хватая одну тарелку за другой, покуда не перетаскал все, что стояли на нижней полке, но так как соседям и этого было мало, я перебил всю посуду, до которой мог дотянуться. Наконец пришел кто-то из старших и пресек мои забавы. Но беда уже стряслась, и взамен разбитых горшков осталась всего лишь веселая история, до конца дней забавлявшая ее коварных зачинщиков.

Мать моего отца, в доме которой мы, собственно, и жили, занимала большую комнату, непосредственно примыкавшую к задним сеням, и мы часто вторгались к ней и играли возле ее кресла или даже у ее постели, когда она бывала больна. <... >

Во втором этаже находилась комната, называвшаяся «садовой»: предполагалось, что несколько растений у окна и на подоконнике возместят нам отсутствие сада. По мере того, как я подрастал, она сделалась моим любимым уголком... В летнее время я учил здесь уроки, переживал грозы и не мог в досталь насмотреться на заходящее солнце, к которому было обращено окно. Но так как я видел еще и соседей, прохлаждавшихся в своих садах или ухаживавших за цветами, видел, как играют дети, как забавляются хозяева и гости, слышал, как катятся кегельные шары и падают кегли, то во мне очень рано пробудилось чувство одиночества и проистекавшее отсюда томление [у *Н. А. Холодковского*: неопределенная тоска.]...

Старый сумрачный дом, с многочисленными закоулками, казалось, был создан для того, чтобы вселять страх и робость в детские души. На беду, в те годы еще держались воспитательной максимы — пораньше отучать детей от ужаса перед неведомым и невидимым, заставляя их свыкаться с разными страхами. Поэтому мы с сестрой должны были спать одни, а когда нам это становилось невмозготу и мы, соскочив с кроватей, бежали в людскую или на кухню, отец в вывернутом наизнанку шлафроке, то есть для нас почти неузнаваемый, внезапно вырастал у нас на пути и загонял перепуганных детей обратно в спальню. Каждому ясно, что ничего доброго такая система принести не могла. Как избавиться от пугливости тому, кто зажат в тиски двойного страха? Моя мать, всегда веселая и жизнерадостная, ценившая эти качества и в других, изобрела лучший педагогический прием: она добивалась той же цели путем поощрений. В то время как

раз созрели персики, и она обещала по утрам давать их нам, сколько душе угодно, если мы сумеем побороть свои ночные страхи. Опыт удался, и обе стороны были довольны.

... Обычно часы досуга мы проводили у бабушки, в просторной комнате, где было довольно места для наших игр. Она любила забавлять нас разными пустяками и потчевать отменными лакомствами. Но однажды, в канун рождества, бабушка велела показать нам кукольное представление, и это был венец ее благодеяний, ибо таким образом в старом доме она сотворила новый мир. Неожиданное зрелище захватило наши юные души, и на детях, особенно на мальчике, долго сказывалось это глубокое и сильное впечатление. Маленькая сцена с ее немymi актерами, сначала только показанная нам, а потом всецело отданная в наши руки, с тем чтобы мы вдохнули в нее драматическую жизнь и научились управлять куклами, сделалась для нас, детей, вдвойне дороже уже оттого, что это был последний дар любимой бабушки, к которой нас вскоре перестали пускать из-за обострившейся болезни, а затем и навеки отнятой у нас смертью. Ее кончина имела для всей семьи тем большее значение, что повлекла за собой полную перемену житейских обстоятельств.

При жизни бабушки отец остерегался что бы то ни было менять или обновлять в доме, но все знали, что он носится с планами полной его перестройки, к которой он теперь и приступил без дальнейших промедлений. Во Франкфурте, как и во многих старинных городах, при возведении деревянных построек было принято, с целью выгадать место, строить этажи выступами, отчего улицы, и без того узкие, становились мрачными, даже жуткими. Наконец был издан закон, согласно которому при возведении нового дома разрешалось выдвигать над линией фундамента только второй этаж, остальные должны были строиться уже вертикально. Отец, не желая поступиться выдававшимися вперед помещениями третьего этажа и заботясь не столько о внешнем виде дома, сколько об удобствах внутреннего его устройства, прибег к уловке, к которой не раз уже прибегали его сограждане. Под верхний этаж были подведены подпоры, нижние этажи вынимали один за другим, а на их место как бы вдвигались новые, так, чтобы, когда от прежнего строения, собственно, ничего уже не оставалось, новое могло бы сойти за переделанное старое... Эта новая эпоха для детей была неожиданной и странной. Видеть, как

комнаты, где они нередко сидели взаперти за докучливыми уроками или другими занятиями, коридоры, где они играли, и стены, о чистоте которых так пеклись все в доме, рушатся под ломом каменщика, под топором плотника, да еще подсекаются снизу, в то время как ты паришь где-то вверху на подпорах, и вдобавок тебя понуждают, как всегда, делать уроки или какую-нибудь работу, – все это будоражило юные умы, и не так-то легко было их успокоить. И все же дети меньше чувствовали эти неудобства, потому что теперь было больше места для игр, к тому же иной раз предоставлялась возможность попрыгать с балки на балку или покачаться на досках.

Поначалу отец упорствовал в своих намерениях, но когда уже и крыша была частично снесена, и дождь, несмотря на натянутую сверху вощанку из-под содранных обоев, добрался до наших кроватей, он скрепя сердце все же решил отправить детей к благожелательным друзьям, уже давно предлагавшим им свой кров, и отдать их в [публичную государственную, у *Н. А. Холодковского* – общественную] школу (*eine öffentliche Schule*)<sup>656</sup>.

В такой перемене было много неприятного. Дети, обособленно воспитывавшиеся [букв.: содержащиеся, этот вариант принят *Н. А. Холодковским*] дома хотя и в строгости, но в понятиях чистоты и благородства, вдруг оказались среди необузданной юной толпы. Нежданно-негаданно им пришлось претерпеть много грубого, дурного, даже низкого, ибо у них не было ни уменья, ни оружия, чтобы защитить себя.

В это время я, собственно, впервые узнал свой родной город. Мало-помалу я стал все дольше и беспрепятственнее бродить по нему один или с моими бойкими сверстниками... Всего больше мне нравилось гулять по большому мосту через Майн. Длина, прочность и красивый внешний вид делали этот мост поистине примечательным сооружением... Река, живописная как вверх, так и вниз по течению, тешила мой взор. И когда на мостовом кресте в лучах солнца сиял золотой петух, я неизменно испытывал радостное волнение. Нагулявшись в Заксенхаузене<sup>657</sup> и уплатив крейцер перевозчику, мы любили переправляться через реку. И вот уж опять оказывались на своем берегу и спешили на Винный рынок подивиться тому, как работают механизмы подъемных кранов при разгрузке товара, но еще интереснее было наблюдать за прибытием торговых судов: чего-чего

тут не насмотришься и какие чудные люди иной раз сходят с них! Возвращаясь в город, мы всякий раз благоговейно приветствовали [дворец] Заальгоф, который как-никак стоял на [том самом] месте, где некогда высился замок императора Карла Великого и его преемников. Далее мы углублялись в ремесленный город и, особенно в базарный день, смешивались с толпою, кишевшей вокруг церкви святого Варфоломея. Здесь с давних пор теснились одна к другой лавчонки мелочных торговцев и старьевщиков... Более всего нас, детей, привлекали лавки на так называемом Пфаррэйзене, и мы снесли туда немало мелких монет в обмен на пестро раскрашенные бумажные листы с золочеными изображениями зверей. Но далеко не всегда удавалось нам протолкаться через забитую народом, тесную и грязную рыночную площадь. Помнится, я в ужасе шарахался от примыкавших к ней омерзительных узких мясных рядов. Тем более приятным местом для прогулок был Рёмерберг. Дорога в новый город, через новые торговые ряды, неизменно веселила и радовала сердце. Мы только досадовали, что от Либфрауенкирхе нельзя напрямик пройти к Цейле, а приходится делать крюк через Хазенгассе или ворота святой Катарины. Но всего сильнее на воображение ребенка действовали многочисленные маленькие городки в городе, крепостцы в крепости, то есть обнесенные стенами бывшие монастырские участки и похожие на замки строения, сохранившиеся от прошлых веков... в позднейшие времена приспособленные под жилье или мастерские. Ничего примечательного в смысле архитектуры в те годы во Франкфурте не было... Любовь к старине укоренялась в мальчике, питаемая и поддерживаемая главным образом старыми хрониками и гравюрами на дереве... наряду с этой любовью росло стремление – познать человеческую жизнь во всем ее естественном многообразии, не посягающем ни на красоту, ни на значительность. Может быть, потому одной из любимейших наших прогулок, которую мы обязательно совершали несколько раз в году, была прогулка по городской стене. Сады, дворы, службы тянутся до самого вала, тысячи людей видны нам в их домашней, повседневной, обособленной и потайной жизни... по пути мы любовались многообразнейшим, причудливейшим, на каждом шагу меняющимся зрелищем, которым не могло насытиться наше детское любопытство... Ключи, необходимые нам для того, чтобы проходить через всевозможные башенки, лестницы и ворота,

находились в руках зрителей, и мы всячески старались к ним подольститься. Еще значительнее и в некотором смысле плодотворнее было для нас все связанное с ратушей, именуемой Рёмер. Мы подолгу торчали в ее нижних сводчатых залах. Всеми правдами и неправдами добивались разрешения войти в большой, но очень скромный зал заседаний... По древнему обычаю, для членов совета вдоль панелей были поставлены скамьи, на одну ступень поднятые от пола. Таким образом, мы наглядно уяснили себе, почему ранги в нашем сенате распределяются по скамьям. По левую руку от двери до противоположного угла, так сказать, на первой скамье, сидели старшины, в самом углу – шультгейс, единственный, перед кем стоял маленький столик, дальше до окон сидели господа второй скамьи, и уже вдоль окон тянулась третья, занимаемая ремесленниками, в середине зала стоял стол протоколиста.

Попав в Рёмер, мы немедленно смешивались с толпой, теснившейся у входа в бургомистров аудиенц-зал. Но наибольший интерес возбуждало в нас все касающееся избрания и коронации императоров. Заручившись благосклонностью привратников, мы получали разрешение подняться по новой, нарядной, расписанной фресками императорской лестнице, обычно запиравшейся решеткой. Зал выборов, с пурпурными шпалерами и мудреной золотой резьбой по карнизу, внушал нам благоговейное чувство. Мы внимательнейшим образом рассматривали створки дверей, на которых, образуя причудливые сочетания, были изображены не то гении, не то младенцы в монаршем одеянье и при императорских регалиях, – в надежде когда-нибудь собственными глазами увидеть коронацию. Немалых трудов стоило выдворить нас из большого императорского зала, если уж нам удавалось в него проскользнуть, и мы почитали за лучшего друга того, кто хоть немного рассказывал нам о деяниях императоров, поясные портреты которых, все на одной высоте, были развешаны по стенам.

Много легенд слышали мы о Карле Великом, но интересное начиналось для нас лишь с истории Рудольфа Габсбургского, чья отвага положила конец великой смуте. Привлекал к себе наше внимание и Карл Четвертый. Мы уже были наслышаны о Золотой булле и об уголовном уложении, а также о том, что он не мстил франкфуртцам за их приверженность к его сопернику в притязаниях на

трон, Гюнтеру Шварцбургскому. Императора Максимилиана нам восхваляли за его человеколюбие и благосклонность к бюргерству, рассказывали и о сбывшемся пророчестве, что он будет последним императором из немецкого дома... Совершая свой обход, мы не забывали заглянуть и в собор, чтобы там постоять у гробницы Гюнтера, равно почитаемого друзьями и недругами... Рядом с нею находилась дверь в комнату конклава, долгое время остававшаяся для нас закрытой, покуда мы наконец не получили от высшего начальства дозволения войти и в этот примечательный зал<sup>658</sup>. Но лучше бы мы по-прежнему рисовали его себе в воображении: покой, игравший столь важную роль в немецкой истории, покой, в котором собирались могущественные властители для совершения акта первостепенной важности, не только не имел торжественного вида, а был завален балками, жердями, досками и прочим хламом, который хотелось поскорее вышвырнуть оттуда. Но еще больше пищи получила наша фантазия, когда немного времени спустя нам позволили присутствовать в ратуше при показе Золотой буллы каким-то знатным иностранцам.

Не удивительно, что позднее мальчик с жадностью внимал своим родителям, а также пожилым родственникам и знакомым, любившим рассказывать о последних коронациях, быстро следовавших одна за другой... представители обоих полов наперебой расписывали мальчику, который весь превращался в слух, необычайные достоинства царственных особ...

Не проходило и полугода в этих патриотических ограничениях, как уже наступала пора ярмарок, всегда производящих невероятное брожение в детских умах. Постройка лавок и балаганов, благодаря чему в городе в кратчайший срок как бы возникал новый город, суэта и спешка, выгрузка и распаковка товаров – все это с раннего детства пробуждало в нас неутомимо-хлопотливое любопытство и необоримую страсть к ребяческому приобретательству. Подрастая, мальчик старался то так, то эдак ее удовлетворить, в зависимости от содержимого своего маленького кошелька. Но заодно с этой суетой формировалось и представление о том, что производит человечество, в чем оно нуждается и чем обмениваются между собой обитатели разных частей света...



Но вскоре величайшее мировое бедствие в первый раз нарушило душевное спокойствие мальчика. Первого ноября 1755 года произошло Лиссабонское землетрясение, вселившее беспредельный ужас в мир, уже привыкший к тишине и покою... Мальчик... был подавлен. Господь Бог, вседержитель неба и земли, в первом члене символа веры представший ему столь мудрым и благодетельным, совсем не по-отечески обрушил кару на правых и неправых. Тщетно старался юный ум противостоят этим впечатлениям; попытка тем более невозможная, что мудрецы и ученые мужи тоже не могли прийти к согласию в вопросе, как смотреть на сей феномен.

Следующее лето предоставило мальчику еще более непосредственную возможность познать грозного Бога, о котором так подробно повествует Ветхий завет. Нежданно налетевший град под гром и сверканье молнии разбил новые зеркальные стекла на западном фасаде дома, повредил новую мебель, попортил несколько ценных книг и дорогих вещей; детям же все показалось еще страшнее, оттого что насмерть перепуганная челядь утащила их в темный коридор и там, пав на колени, отчаянными воплями и криками пыталась усмирить разгневанное божество. Отец, единственный не потерявший присутствия духа, успел распахнуть окна и вынуть рамы, чем спас несколько стекол, но зато открыл доступ ливню, разразившемуся после града; когда гроза наконец прекратилась, передние и лестницы были залиты журчащими потоками воды.

Подобные происшествия, хоть и вносившие известное беспокойство, лишь незначительно нарушали ход и распорядок уроков, которые отец решил сам давать детям... Уверенный в своих знаниях, полагаясь на свое долготерпенье и не доверяя тогдашним учителям, отец решил сам учить нас, лишь в силу необходимости приглашая учителей для нескольких предметов. В то время повсеместно утверждалось педагогическое дилетантство. Поводом к тому, вероятно, послужил унылый педантизм учителей в казенных школах. Начались поиски чего-то лучшего, но при этом никто не подумал о том, сколь неудовлетворительно должно быть такое любительское преподавание... я вскоре оставил позади то, что мне могли дать отец и прочие учителя, ни в чем не приобретаю основательных знаний. Грамматика не пришлась мне по вкусу, ибо я рассматривал ее как некое произвольное установление; грамматические правила,

опровергаемые бесчисленными исключениями, которые надо было заучивать отдельно, меня сместили. Если бы не рифмованный латинский учебник, не знаю, что бы со мной было, но эти стишки я охотно отбарабанивал или же читал нараспев. Была у нас и география с памятными стишками, и, странное дело, с помощью самых безвкусных виршей лучше всего запоминалось то, что надо было запомнить, к примеру:

В Обер-Исселе – трясина,  
Неприглядная картина.

Формы и обороты речи давались мне легко, отчего я быстро разобрался в том, что лежит в основе понятий. В риторике, хриях и тому подобном я был непревзойденным учеником, хотя сильно отставал в правописании. Тем не менее мои сочинения радовали отца, и за них он дарил меня деньгами, для мальчика довольно изрядными. Отец учил сестру по-итальянски в той же комнате, где я затверживал Целлариуса<sup>659</sup>. Быстро справившись с заданным уроком и все же вынужденный сидеть смиренно, я, уже не глядя в книгу, прислушивался к речам отца и вскоре понаторел в итальянском языке, представлявшемся мне забавным отклонением от латинского...

По предметам, которые нам преподавали учителя и которых становилось все больше, вместе со мной занимались и соседские мальчики. Эти совместные уроки мне мало что давали; учителя шли по проторенной дорожке, а проказы, иной раз даже злостные выходки моих соучеников вносили беспокойство, неурядицу и смуту в скудно отмеренные часы занятий. Хрестоматий, предназначенных оживлять и разнообразить уроки, в нашем городе еще не было. Слишком деревянный для юношества Корнелий Непот, не в меру легкий и благодаря проповедям и урокам закона Божия уже давно известный Новый завет, Целлариус и Пазор<sup>660</sup> не представляли для нас никакого интереса; зато нами овладела поистине неумемная страсть к рифмоплетству и стихотворству, вызванная к жизни чтением тогдашних немецких поэтов. Меня она охватила еще раньше, когда я

заметил, сколь забавно от риторического толкования предмета переходить к поэтическому.

Мы, мальчики, сходились по воскресным дням для чтения сочиненных нами стихов. И тут-то я столкнулся с поразительным явлением, на долгое время лишившим меня покоя. Мои стихи, каковы бы они ни были, всегда казались мне самыми лучшими. Вскоре, однако, я заметил, что и мои товарищи, довольно-таки незадачливые стихоплеты, не меньше меня чванятся своими стихами. И еще подозрительнее показалось мне, что, хотя стихи одного славного, но никак не созданного для подобных упражнений мальчика, с которым я был в самых дружеских отношениях, за него писал гувернер, тот не только считал их наилучшими, но был вполне уверен в своем авторстве; так, во всяком случае, он утверждал в откровенной беседе со мной. Будучи свидетелем столь безумного заблуждения, я однажды вдруг усомнился: не заблуждаюсь ли я в такой же мере, не лучше ли эти стихи моих стихов и не кажусь ли я моим приятелям таким же полоумным, какими они кажутся мне? Я долго из-за этого тревожился, ибо не мог отыскать внешней приметы истины, более того, перестал писать стихи, покуда легкомыслие, самомнение и, наконец, пробная работа, внезапно заданная нам учителями и родителями, внимание которых привлекли наши забавы, меня не успокоила, ибо я в ней отличился и заслужил всеобщее одобрение.

В те времена еще не существовали библиотеки для детей. Ведь и взрослым тогда был присущ детский склад мыслей, и они почитали за благо просто передавать потомству накопленные знания. Кроме «Orbis pictus»<sup>661</sup> Амоса Коменского ни одна книга, пригодная для детского чтения, не попадала к нам в руки, зато мы часто рассматривали Библию с гравюрами Мериана<sup>662</sup>. Готфридова хроника, иллюстрированная тем же художником, повествовала нам о примечательнейших событиях мировой истории<sup>663</sup>; «Aesopa philologica»<sup>664</sup> расцвечивала их всевозможными сказками, мифами и курьезами. А так как вскоре мне в руки попали Овидиевы «Метаморфозы» и я внимательно проштудировал их, в особенности первые книги, и мой юный мозг наполнился целой массой картин, событий, значительных и оригинальных образов, то я уже никогда не скучал, непрестанно занятый переработкой этой поживы, повторением и воссозданием воспринятого.

Куда более чистый и нравственный, чем нередко грубые и соблазнительные сочинения древних, «Телемах» Фенелона, впервые прочитанный мною в Нейкирховом переводе, несмотря на все несовершенство такого, произвел на меня сладостное и благотворное впечатление<sup>665</sup>. Стоит ли говорить, что за «Телемахом» последовал «Робинзон Крузо», а затем, уж, конечно, «Остров Фельзенбург». В «Кругосветном путешествии лорда Ансона» достоверность сочеталась с причудливой фантастикой сказки, и в то время как мы странствовали вместе со славным мореходом, пальцем прочерчивая его путь по глобусу, нам открывалась вся широта мира<sup>666</sup>. Но мне предстояла жатва еще более обильная, когда я наткнулся на множество писаний, устаревшая форма которых, конечно, похвал не заслуживала, что, однако, не мешало им, при всей их наивности, знакомить нас с достойными деяниями былых времен. Издательство, вернее, фабрика этих книг, впоследствии заслуживших известность, даже славу, под названием «народных книг», находилась во Франкфурте<sup>667</sup>. Из-за большого спроса они печатались со старого набора очень неразборчиво и чуть ли не на промокательной бумаге. Мы, дети, имели счастье ежедневно видеть эти бесценные останки средневековья на столике возле двери книгопродавца; более того, за несколько крейцеров они становились нашей собственностью. «Эйленшпигель», «Четыре Гаймонова сына», «Прекрасная Мелузина», «Император Октавиан», «Прекрасная Магелона», «Фортунат» и все их родственники вплоть до «Вечного Жида» были к нашим услугам на случай, если нам вдруг вздумается вместо сладостей приобрести книжки. Тут надо упомянуть еще об одном преимуществе: разорвав или как-нибудь повредив такую книжонку, мы могли тотчас же приобрести новую и снова ею зачитываться.

Подобно тому как летний семейный пикник вдруг досаднейшим образом нарушается налетевшей грозой и радостное настроение сменяется хмурым, так детские болезни неожиданно омрачают прекраснейшее время начальных лет жизни. То же самое случилось и со мною. Не успел я купить «Фортуната» с его мешком и волшебной шапкой, как на меня напали жар и общее недомогание, обычные предвестники оспы. Прививка тогда все еще считалась у нас делом сомнительным, и хотя даже известные писатели, разъясняя полезность таковой, настойчиво ее рекомендовали, немецкие врачи все еще

боялись вариоляции, как бы опережавшей природу<sup>668</sup>. На материк, правда, приезжали предприимчивые англичане и за солидное вознаграждение делали прививки детям зажиточных и свободных от предрассудков родителей. Тем не менее большинство еще было незащищено перед старым бедствием... Несчастье вошло и в наш дом, с особой силой обрушившись на меня. С телом, усеянным язвами, ничего не видя, с накрытым белой тряпкой лицом, я долгие дни лежал в жестоких страданиях. Чего-чего только не делалось, чтобы их смягчить, мне сулили золотые горы, если я буду лежать спокойно, не буду расчесывать и раздирать волдыри. Я поборол себя и лежал тихо; на беду, согласно господствовавшему тогда предрассудку, во время болезни нас кутали, как только возможно, отчего страдания еще обострялись. Наконец печальные дни отошли в прошлое, у меня точно маска спала с лица; видимых следов болезнь не оставила, но облик мой заметно изменился. Сам я был счастлив, что снова вижу свет божий и что пятна на моем лице мало-помалу исчезают, но окружающие немилосердно напоминали мне о моем былом состоянии; в особенности одна резвая тетушка, ранее меня обожавшая, даже несколько лет спустя, завидев меня, чуть ли не всякий раз восклицала: «Фу, черт, до чего же ты, братец, стал противный!» Затем она пускалась в подробные рассказы, как прежде любовалась мной и как все на нее заглядывались, когда она носила меня на руках. Так я еще в детстве узнал, что люди нередко сторицей взыскивают с нас за удовольствие, которое мы им доставляли.

Ни корь, ни ветряная оспа и как там еще зовутся мучители детских лет не обошли меня стороной, и всякий раз я слышал уверения: хорошо, что эта беда миновала и больше не повторится; но, увы, где-то вдали уже собиралась другая, чтобы вскоре меня настигнуть. Все это умножало мою склонность к размышлениям, и я, силясь избавиться от мучительного чувства нетерпения, уже давно упражнял себя в выдержке: прославленная добродетель стойков казалась мне достойной всяческого подражания, тем паче что нечто подобное проповедовалось и христианством под видом долготерпения... нарушения нормального хода дней по своим последствиям были для нас вдвойне обременительны. Дело в том, что мой отец, видимо составивший календарное расписание занятий с нами, стремился немедленно нагнать пропущенное, и взваливал на плечи

выздоровливающих двойную тяготу уроков. Справлялся я с ними без труда, но и безо всякой охоты, ибо внутренне мое развитие уже приняло определенное направление, а усиленные занятия его только задерживали, даже в какой-то мере подавляли.

От этих дидактических и педагогических притеснений мы обычно спасались у деда и бабушки. Они жили на Фридбергской улице, в доме, который некогда был замком: во всяком случае, при приближении к нему видны были только большие зубчатые ворота, с обеих сторон примыкавшие к соседним домам. Начинаясь за воротами длинный и узкий проход приводил нас в довольно широкий двор, окруженный строениями разной высоты... Первым делом мы спешили в хорошо ухоженный сад, вширь и вглубь простиравшийся за этими строениями. Большинство дорожек было обсажено шпалерами вьющегося винограда, часть земли была отведена под овощи, другая под цветы, с весны и до осени в пестрой своей смене украшавшие грядки и клумбы. Вдоль длинной южной стены росли прекрасные персиковые деревья, на которых летом, как бы дразня нас, зрели запретные плоды. Зная, что нам здесь не полакомиться, мы избегали этой стороны, предпочитая ей противоположную, где необозримые ряды смородины и крыжовника обильно плодоносили с лета до поздней осени. Не меньше влекла нас к себе и старая, широко раскинувшаяся шелковица, и не только своими плодами, но и потому, что, как нам говорили взрослые, ее листьями питаются шелковичные черви...

Само собой разумеется, что нас, детей, наряду с другими предметами, последовательно и постоянно обучали закону Божию. Однако церковный протестантизм оставался для нас неким подобием сухой морали. Об увлекательном изложении никто не помышлял, а без ононого это вероучение ничего не говорило ни уму, ни сердцу. Недаром же столько людей отпало от официальной церкви. Появились сепаратисты, пиетисты, гернгутеры, сельские меннониты и как там еще зовутся и характеризуются все эти секты, имевшие общую цель: приблизиться к Богу – в основном через посредство христианства, – познать его глубже, чем это казалось возможным в пределах официальной религии. Мальчик непрерывно слышал разговоры о таких взглядах и убеждениях, ибо как духовенство, так и миряне делились на их защитников и противников... известностью пользовался рассказ об ответе некоего благочестивого жестянщика,

которого другой рабочий понадеялся устыдить вопросом: кто же твой духовник? С простодушной убежденностью в благости своей веры тот отвечал: очень знатное лицо, ни более, ни менее как духовник царя Давида.

Разумеется, на мальчика подобные речи производили впечатление и настраивали его на тот же лад. Более того, он воодушевился мыслью непосредственно приблизиться к великому Богу природы, создателю и вседержителю неба и земли, чей прежний гнев давно позабылся перед лицом красоты мира и многообразия благ, которыми он дарит нас... Мальчик твердо держался символа веры. Бог, который непосредственно связан с природой, который видит и любит в ней свое творение, это истинный Бог, и, конечно же, он печется о человеке так же, как о движении звезд, о смене дня и года, о скоте и растениях. В некоторых главах Евангелия это написано черным по белому. Не умея сообщить верховному существу видимый образ, мальчик искал его в его творениях и пожелал, на ветхозаветный манер, воздвигнуть ему алтарь. Произведения природы должны были символизировать собою мир, а пламя, горящее на алтаре, – возносящуюся к своему творцу душу человека. Итак, из имевшейся в доме и пополнявшейся случайными предметами естественноисторической коллекции были извлечены наилучшие экземпляры; трудность теперь состояла в том, как разместить и уложить их. У отца имелся красивый нотный пюпитр в форме четырехгранной пирамиды, с подставками для нот, покрытый красным лаком и разрисованный золотыми цветами. Он считался очень удобным для квартетов, но в последнее время был в забросе. Мальчик завладел им и разместил различные минералы и отобранных представителей природы друг над дружкой по ступеням – получилось занятно и вместе с тем многозначительно. Первое богослужение должно было свершиться на рассвете; правда, юный жрец был в затруднении: как сделать, чтобы пламя еще и источало благоухание? Наконец великолепная идея осенила его: в доме имелись курительные свечи, которые не горели огнем, а тлели, распространяя чудесный аромат. Что ж, медленная их убыль и сгоранье, думалось ему, лучше, чем пламя, выразят состояние человеческой души. Солнце уже давно взошло, но соседние дома заслоняли собою восток. Наконец оно вышло из-за крыш, мальчик тотчас же вооружился зажигательным стеклом и зажег ароматические свечи, стоявшие на вершине пирамиды

в красивой фарфоровой чаше. Все удалось как нельзя лучше: то было истинное благолепие. Алтарь же и впредь продолжал украшать комнату, отведенную мальчику в новом доме. Все видели в нем лишь заботливо подобранную естественноисторическую коллекцию, а мальчик молчал о том, что знал он один. Он решил повторить торжественные минуты. К несчастью, когда взошло солнце, под рукой не оказалось фарфоровой чаши, он поставил курительные свечи прямо на пюпитр и зажег их. Жрец так благоговел перед свершаемым обрядом, что не сразу заметил, что случилось с алтарем, а после беды уже нельзя было помочь. Догорев, свечи прожгли красный лак и чудесные золотые цветы, так что казалось, злой дух прошелся по ним, оставив неизгладимые черные следы. Это обстоятельство повергло юного жреца в крайнее смятение. Правда, он сумел скрыть ото всех печальное происшествие, заставив пюпитр самыми роскошными и крупными экспонатами из своей коллекции, но мужества для новых жертвоприношений у него уже не осталось. Он даже готов был принять случившееся за указание и предостережение: сколь опасна попытка таким путем приблизиться к Богу.

## **Книга вторая**

... Едва 28 августа 1756 года мне минуло семь лет, как разразилась известная всему свету война, которая оказала немалое влияние на последующие семь лет моей жизни. Прусский король Фридрих Второй с шестидесятитысячной армией вторгся в Саксонию... Мой дед... вместе со всеми своими зятьями и дочерьями держал сторону Австрии. Отец... с меньшинством в семье стоял за Пруссию. Вскоре разладились и воскресные семейные встречи, неизменные в течение долгого ряда лет. Заурядные родственные несогласия теперь вдруг обрели определенную форму. За столом спорили, отпускали колкости, кто замыкался в молчанье, кто раздражался внезапным гневом. Дед мой, прежде веселый, спокойный и покладистый человек, нередко выходил из себя. Женщины тщетно пытались погасить разбушевавшееся пламя, и после нескольких пренеприятных сцен мой отец первым прекратил эти встречи. Теперь мы могли без помехи радоваться дома прусским победам... Занятие Дрездена, первоначальная осмотрительность



короля, его медленные, но верные успехи – победа при Ловозице, пленение саксонцев – считались триумфами нашей партии. Заслуги врагов Пруссии отрицались или приуменьшались, а поскольку той же тактики держалась противная сторона, стычки между родственниками происходили даже при встречах на улице, как в «Ромео и Джульетте»... я тоже горой стоял за пруссаков, вернее, за Фридриха, ибо на что нам сдалась Пруссия? Но личность великого короля покоряла все умы. Вместе с отцом я радовался нашим успехам, охотно переписывал победные песни, но еще охотнее сатирические куплеты, высмеивающие врагов короля, несмотря на то что стихи были довольно-таки плоскими.

Как старший внук и крестник, я с раннего детства по воскресеньям обедал у деда и бабушки, и это были самые лучшие часы за всю неделю. Но теперь кусок застревал у меня в горле, ибо при мне непрестанно и злобно поносили моего героя. Здесь мы дышали иным воздухом, и в разговорах звучал иной тон, нежели у нас дома, моя приверженность к деду и бабушке, даже уважение к ним пошли на убыль. Родителям я ни словом о своих терзаниях не обмолвился из чувства такта и еще потому, что мать меня всячески сдерживала. Таким образом, я волею-неволей замкнулся в себе, и если на шестом году моей жизни лиссабонское землетрясение поколебало мою веру в благость Господню, то теперь я усомнился в людской справедливости... Величайшие и очевидные заслуги подвергались осмеянию, доблестные подвиги, если уж их никак нельзя было отрицать, искажались и умалялись; и такая грубая несправедливость по отношению к человеку, который, безусловно, возвышался над всеми своими современниками и подтверждал это ежедневно, показывая, на что он способен, исходила не от черни, но от таких разумных и хороших людей, какими я не мог не считать своего деда и дядьев. О существовании разных партий и о том, что сам он принадлежит к одной из них, мальчик, конечно, не догадывался... убедившись в неизбежной пристрастности сторон, мальчик был огорчен до глубины души; к тому же это открытие пошло ему во вред: он стал отдаляться от тех, к кому прежде относился уважительно и с любовью. Непрестанно сменявшие друг друга военные и политические события не давали утихнуть семейной распре. Мы находили горькую радость в том, чтобы всякий раз заново обострять воображаемые беды, провоцировать необоснованные

стычки; и так одна сторона в течение нескольких лет мучила другую, покуда французы не заняли Франкфурт... Нас, детей, теперь редко выпускали из дому, и взрослые на все лады старались чем-нибудь нас занять или развлечь. Посему вновь был извлечен оставшийся от бабушки кукольный театр и установлен так, что зрители могли сидеть в моей комнате, те же, кто управлял куклами, да и сам театр вместе с просцениумом помещались в соседней. Приглашая на представления то одного, то другого мальчика, я было приобрел много друзей, но присущая детям подвижная нетерпеливость не позволяла им долго оставаться спокойными зрителями. Они мешали спектаклю, и нам пришлось довольствоваться более юной публикой, которую, по крайней мере, сдерживали няньки и мамки. Основную драму, с первого дня разыгрываемую куклами, мы затвердили наизусть и поначалу только ее и представляли. Но вскоре нам это прискучило, мы переменяли гардероб, декорации и храбро приступили к исполнению разных других пьес, безусловно, слишком громоздких для нашей маленькой сцены. Наверно, мы брали не по чину и потому портили, сводили на нет и то, что могли бы сделать хорошо; и все же эта детская забава способствовала многостороннему развитию моей выдумки и изобразительных возможностей, питала мою фантазию и вырабатывала во мне известный технический навык, который мне иным путем едва ли удалось бы приобрести в столь малый срок, на столь ограниченном пространстве и при столь малой затрате сил.

Я рано научился орудовать циркулем и линейкой и, стремясь к немедленному применению знаний, полученных мною из геометрии, очень увлекся картонажными работами. Однако на геометрических телах, коробочках и тому подобных изделиях я долго не задержался и решил строить изящные виллы, с пилястрами, наружными лестницами и плоскими крышами; но, по правде сказать, из этих замыслов ничего путного не вышло.

Гораздо упорнее я трудился с помощью одного из наших слуг, бывшего портного, над созданием реквизита для пьес и даже трагедий, которые мы, пресытившись куклами, стали разыгрывать сами. Мои приятели, правда, тоже обзавелись реквизитом и костюмами, считая, что у них они не хуже, чем у меня. Но я предусматривал потребности не только одного актера и из своих запасов мог снабжать многих из нашей маленькой труппы всевозможными аксессуарами, а потому

сделался самым необходимым лицом в нашем кружке. Само собой разумеется, что в этих играх происходило деление на партии, затевались сражения, дуэли, кончалось же все, как правило, самым плачевным образом – ссорами и потасовкой. Несколько мальчиков обычно держались моей партии, другие – враждебной, но иной раз они менялись ролями. Только один мальчик, назову его Пиладом<sup>669</sup>, всего однажды, и то подзадоренный товарищами, перешел на другую сторону, однако не смог и минуты пробыть в стане моих врагов. Пролитая обильные слезы, мы помирились и довольно долгое время стойко держались вместе.

Этот мальчик и другие, из числа моих доброжелателей, ничего так не любили, как слушать сказки, которые я тут же сочинял, и больше всего наслаждались, если рассказ велся от первого лица; видно, их радовало, что со мною, их сверстником, могли случаться такие чудеса. Примечательно, что они ни на минуту не задавались вопросом, откуда у меня бралось время для этих приключений и дальних странствий, хотя отлично знали, как я был занят и когда и где бывал. Действие сказок происходило если не в ином мире, то, уж конечно, в иных странах и при этом вчера или сегодня... я приведу сказку, которая донныне сохранилась в моей памяти и в моем воображении, ибо мне пришлось много раз повторять ее моим сверстникам и товарищам.

## НОВЫЙ ПАРИС

### Сказка для мальчиков

Намедни, в канун Троицына дня, мне снилось, что я стою перед зеркалом и примеряю новое летнее платье, которое добрейшие родители заказали для меня к празднику. Наряд мой, как вы знаете, составляли туфли из блестящей кожи с большими серебряными пряжками, тонкие бумажные чулки, черные саржевые панталоны и зеленый камлотовый камзол с золотыми пуговицами. К нему полагался еще жилет из золотой парчи, перешитый из свадебного жилета моего отца. Я был завит, напудрен, и локоны, как крылышки, трепыхались на моей голове. Но мне никак не удавалось все на себя надеть, я то и дело

хватал не тот предмет, и вдобавок уже надетый всякий раз сваливался с меня, когда я собирался присоединить к нему следующий. Я пребывал в величайшем замешательстве, но тут в комнату вошел красивый молодой человек и дружелюбно меня приветствовал.

– Добро пожаловать, – сказал я, – мне очень приятно вас видеть здесь.

– Разве вы меня знаете? – с улыбкой отвечал тот.

– Разумеется, – в свою очередь, улыбнулся я. – Вы Меркурий, и мне не раз доводилось видеть ваши изображения.

– Да, это я, – подтвердил гость. – Боги послали меня к тебе с важным поручением. Видишь эти три яблока?

Он протянул мне три яблока, едва уместившиеся у него на ладони. Яблоки были не только крупны, но еще и удивительно красивы, одно красное, другое желтое и третье зеленое. Казалось, это драгоценные камни, которым придана форма плодов. Я было хотел взять их, но он отвел свою руку и сказал:

– Сперва узнай, что они предназначены не тебе. Ты должен отдать их трем самым красивым юношам в городе, которые затем, каждый по своему усмотрению, выберут себе жен, самых прекрасных, каких только можно отыскать. Возьми их и добросовестно выполни поручение! – добавил он на прощание и вложил яблоки мне в руки; мне почудилось, что они стали еще больше.

Я поднял их к свету и увидел, что они совсем прозрачны, но вдруг яблоки стали тянуться вверх и превратились в трех красивых-прекрасных девушек, величиною с куклу, в платьях цвета яблок. Они мягко высвободились из моих пальцев, и когда я хотел их схватить, чтобы удержать хоть одну, они уже парили далеко в вышине, и мне осталось только глядеть им вслед. Я стоял, окаменев от удивления, с простертыми вверх руками и смотрел на свои пальцы, словно на них еще можно было что-то разглядеть. И вдруг я заметил, что на их кончиках танцует прелестная девочка, поменьше тех, но резвая и прехорошенькая; и раз уж она не улетела, как другие, а только порхала на пуантах с пальца на палец, то я некоторое время в изумлении созерцал ее. Она очень мне понравилась, и я подумал, что, наверно, словлю ее, надо только изловчиться, и в то же мгновение ощутил удар по голове и, оглушенный, упал наземь. Очнулся я, когда уже пора было одеваться и идти в церковь.

Во время богослужения у меня то и дело вставали в памяти образы этих малюток, и за обедом у дедушки тоже. Под вечер я собрался посетить кое-кого из своих друзей – пусть посмотрят на меня в новом камзоле, со шляпой под мышкой да еще при шпаге; к тому же я задолжал им визиты. Но я никого не застал дома и, узнав, что они отправились в сады, решил пойти следом за ними и приятно провести вечер. Путь мой лежал через Цвингер, и вскоре я очутился в местности, по праву прозванной Дурной стеною, ибо там водилась нечисть. Я шел медленно и думал о своих трех богинях, но прежде всего о маленькой нимфе, и время от времени поднимал руку и растопыривал пальцы, надеясь, что она будет так любезна и снова попляшет на них. Погруженный в эти мысли, я шел все дальше и вдруг заметил в стене воротца, которых, насколько мне помнилось, я никогда раньше не видал. Они были низенькие, но под их готической аркой мог бы пройти самый высокий человек. Их свод и стены украшали прелестная резьба и лепные фигуры, но больше всего мое внимание привлекла дверца. Из старого побуревшего дерева, без замысловатых украшений, она была обита широкими, местами выпуклыми, местами углубленными медными полосами, в листовенной резьбе которых сидели птицы, до того натурально сделанные, что я только диву давался. Но самое удивительное – на двери не было ни замочной скважины, ни ручки, ни дверного молотка, из чего я заключил, что она отпирается только изнутри. И я не ошибся. Не успел я подойти, чтобы пощупать резьбу, как дверь открылась вовнутрь и из нее вышел человек в странном широком и долгополом одеянии. Густая борода скрывала его подбородок, так что я было принял его за еврея. Но этот человек, словно отгадав мои мысли, осенил себя крестным знамением, давая мне понять, что он добрый христианин и католик.

– Как вы попали сюда, молодой человек, и что вы здесь делаете? – произнес он с приветственным жестом и вполне дружелюбно.

– Я дивлюсь, как сработана эта дверь, – отвечал я, – ничего лучшего я не видывал – разве что по частям в художественных собраниях коллекционеров.

– Мне приятно, что вы цените такую работу, – отвечал он. – Изнутри ворота еще красивее. Войдите, если вам угодно, прошу вас!

При этом мне стало как-то не по себе. Необычное одеяние привратника, заброшенность этого уголка и еще что-то, таившееся в

воздухе, удручало меня. Я помедлил, под предлогом, что хочу еще полюбоваться наружной стороною двери, и украдкой заглянул в сад: да, моему взору теперь открылся сад. Сразу же за воротами я увидел большую тенистую площадку. Переплетавшиеся сучья старых лип, посаженных через равномерные промежутки, затеняли ее всю, так что множество народу могло бы здесь в знойные часы наслаждаться освежающей прохладой. Я уже переступил через порог, а старик манил меня все дальше, шаг за шагом. Да и я не сопротивлялся, так как всегда знал, что принц или султан в подобных случаях не задаются вопросом, грозит ли им опасность. К тому же я был при шпаге и, уж, конечно, справился бы со стариком, перейди он к враждебным действиям. Итак, я вошел в полном спокойствии, привратник закрыл дверь, и она едва слышно защелкнулась. Он стал показывать и толковать мне резьбу на ее внутренней стороне, и вправду еще более прекрасную, при этом выказывая мне особое свое благоволение. Окончательно успокоившись, я пошел вместе с ним по осененной липами площади, вокруг которой тянулась стена, повергшая меня в изумленье. В ней были устроены ниши, искусно выложенные раковинами и кораллами, со ступеньками из металла, спускавшимися к мраморным бассейнам, куда, из пастей тритонов, обильными потоками лилась вода; пространство между нишами занимали клетки с птицами; в более просторных клетках резвились белки, из угла в угол сновали морские свинки, бегали самые хорошенькие зверюшки, каких только можно себе представить. Птицы пели и, казалось, окликали нас, когда мы проходили мимо, а скворцы болтали несусветный вздор. Один кричал: «Парис! Парис!» – а другой: «Нарцисс! Нарцисс!» – отчетливо, как старательный школьник. Старик, слыша, что кричат птицы, все серьезнее смотрел на меня, я же делал вид, что не замечаю этого, да мне и вправду было не до него. Я убедился, что мы идем по кругу и что это тенистое пространство, собственно, большое кольцо, замыкающее в себе другой круг, более значительный и важный. И правда, мы снова пришли к воротцам; старик, надо думать, намеревался выпустить меня, но я вперил взор в золотую решетку, видимо огораживавшую середину этого дивного сада, которую я заметил еще во время нашей прогулки, хотя старик умудрялся вести меня под самой стеной, то есть вдали от середины круга. Он уже шагнул к дверце, но тут я поклонился и сказал:

– Вы были так добры ко мне, что, прежде чем откланяться, я позволю себе потревожить вас просьбой. Нельзя ли мне поближе рассмотреть золотую решетку, которая, видимо, широким кругом охватывает внутреннюю часть сада?

– Охотно доставлю вам это удовольствие, – отвечал он, – если вы согласитесь на соблюдение известных условий.

– В чем они состоят? – поспешно спросил я.

– Вы должны оставить здесь свою шляпу и шпагу, и все время держаться возле меня, куда будет продолжаться прогулка.

– С радостью принимаю их! – ответил я, кладя шляпу и шпагу на первую попавшуюся скамью.

Правой рукой он тотчас же крепко схватил мою левую и с силой потянул меня за собой. Когда мы подошли к решетке, мое изумление сменилось безмерным восхищением. Ничего подобного я еще не видывал. На высоком мраморном цоколе стояли неисчислимы ряды копий и алебард, причудливо заостренные концы которых сходились, образуя полный круг. Я заглянул в просвет между ними и увидел неторопливо текущие воды, с обеих сторон закованные в мрамор, а в их прозрачной глубине множество золотых и серебряных рыбок

– и быстро снующих, и медлительных, которые то соединялись в стайки, то снова плыли вразброд. Мне очень хотелось увидеть другой берег канала и узнать, что делается в самой сердцевине сада, но, увы, он и с той стороны был забран решеткой, да так искусно, что против каждого просвета первой приходилось копье или алебарда второй, не считая украшений, так что, как ни становись, ничего нельзя было разглядеть. Вдобавок мне мешал старик, вцепившийся в мою руку, так что и не повернешься. Между тем любопытство мое еще возросло после всего виденного, и, набравшись храбрости, я спросил его, нельзя ли войти за решетку.

– Почему же, можно, – отвечал он, – но на новых условиях.

Когда я пожелал узнать, в чем они заключаются, он заявил, что я должен переодеться. Я обрадовался, и он повел меня назад к стене. Мы вошли в небольшой опрятный зал, где было навешано много всякой одежды, причем вся она походила на восточные костюмы. Я быстро переоделся, старик натянул на мои напудренные волосы пеструю сетку, предварительно, к вящему моему ужасу, с силою отряхнув с них пудру. Поглядевшись в большое зеркало, я очень понравился себе в

этом новом наряде и решил, что он куда лучше моего чопорного воскресного платья. Я сделал несколько жестов и прыжков, точь-в-точь как танцовщик в ярмарочном театре. При этом я продолжал смотреться в зеркало и вдруг увидел отражение ниши, находившейся за моей спиной. В ее белом углублении висели три зеленые веревочки, и каждая из них была закручена на свой манер, а как, издали мне было не разобраться. Поэтому я торопливо обернулся к старику и спросил, что это за ниша, и что за веревочки. Он охотно снял одну из них и показал мне. Это оказался зеленый шелковый шнур средней толщины, оба конца которого были продеты сквозь два прореза в куске зеленой кожи, так что вся эта штука смахивала на некое орудие для весьма нежелательного употребления. Я содрогнулся и спросил старика, для чего предназначены шнуры. Он же спокойно и добродушно отвечал: для тех, кто злоупотребит доверием, которое ему здесь готовы оказать. Он повесил шнур на место и приказал мне следовать за ним. На сей раз он не брал меня за руку, и я шел подле него.

Меня разбирало любопытство, где же находятся калитка и где мост для прохода через решетку и через канал, ибо до сих пор мне не удавалось их обнаружить. Поэтому я так и впился глазами в золотую ограду, когда мы подходили к ней, и тут же у меня вся кровь отлила от лица, ибо копья, дротики, алебарды и бердыши вдруг зашатались, затряслись, и странное их шевеленье кончилось тем, что острия склонились друг к другу, – казалось, две древние рати, вооруженные копьями, изготовились к бою. Такая сумятица была невыносима для глаза, а лязг – для ушей, но самым поразительным было то, что все пики вдруг легли, накрыли собою канал, образуя великолепнейший из мостов, который только можно себе вообразить, и моему взору явился пестрый цветник. Он был разделен на извилистые грядки, казавшиеся мозаикой из драгоценных камней, причем каждую в отдельности окаймляли низкие, пушистые растения, никогда мною не виданные. Цветы на всех были разные, подобранные по тонам, и низкие, так что легко было проследить общий рисунок цветника. Это удивительное зрелище, представшее мне в ярком солнечном свете, сковало мой взор, но я не знал, куда поставить ногу, ибо извилистые дорожки были усыпаны чистейшим голубым песком, так что казалось, на земле повторяется небо, только более темное, как небо в воде. Опустив взоры долу, я довольно долго шел рядом со своим вожатым,



покуда мне наконец не бросилось в глаза, что в центре этой цветочной окружности кольцом стоят кипарисы или какие-то другие деревья, похожие на тополя, в просвете между которыми ничего не было видно, так как нижние ветви, казалось, росли прямо из земли. Мой вожатый, хоть и не кратчайшим путем, вел меня прямо к этому зеленому кругу; и каково же было мое удивление, когда я, войдя в кольцо высоких дерев, увидел перед собою портик очаровательного садового павильона, со всех сторон которого, видимо, имелись одинаковые входы и открывались похожие виды. Но еще больше, чем это прекрасное творенье зодческого искусства, восхитила меня музыка, доносившаяся из павильона. То мне казалось, что я слышу лютню, то арфу, то цитру, а то вдруг какое-то иное теньканье, ничего общего не имеющее ни с одним из этих инструментов. Дверь, к которой мы приблизились, тотчас же открылась в ответ на легкое прикосновение старика, но как же я изумился, когда в вышедшей нам навстречу привратнице я узнал прелестную девочку, во сне танцевавшую у меня на пальцах. Она приветствовала меня как старого знакомого и пригласила войти. Старик остался на месте, а мы с ней пошли по небольшой сводчатой и красиво отделанной галерее в срединный зал, величавая соборная высота которого изумила и поразила меня. Но мой взор был немедленно отвлечен другим, еще более прелестным зрелищем. На ковре под самой серединой купола треугольником расположились три женщины, одна в красном, другая в желтом и третья в зеленом наряде. Они сидели в позолоченных креслах, а ковер под их ногами был совсем как цветник. Все три держали в руках инструменты, звуки которых донеслись до меня, когда я подходил к павильону, но при моем появлении они смолкли.

– Добро пожаловать, – сказала средняя, та, что была одета в красное платье и сидела лицом к двери подле своей арфы. – Садитесь рядом с Алертой и слушайте, ежели вы любитель музыки.

Тут только я заметил длинную скамейку, стоявшую чуть пониже, и на ней мандолину. Милая девочка взяла ее, села и меня усадила рядом. Теперь я уже мог рассмотреть и вторую даму, справа от меня. На ней было желтое платье, а в руках она держала цитру, и если арфистка была высока ростом, крупнолица и величественна в движениях, то девушка с цитрой выглядела премилым и резвым созданием. Она была стройна и белокура, тогда как голову арфистки венчали темно-русые

волосы. Разнообразие и гармоничность их музыки не помешали мне, однако, рассмотреть и третью красавицу, в зеленом наряде, чья лютня издавала трогательные звуки, почему-то особенно меня поразившие. Она больше других дарила меня вниманием и, казалось, играла для меня одного. Только я никак не мог ее понять, она представлялась мне то нежной, то своенравной, то искренней, то упрямницей, смотря по тому, как менялось выражение ее лица и манера игры. Минутами я думал, что она хочет растрогать меня, а минутами – что она меня дразнит. Но как бы там ни было, а она ничего от меня не добила, я весь был поглощен своей маленькой соседкой, с которой сидел бок о бок. С полной несомненностью узнав в трех дамах сильфид моего сна, одетых в цвета трех яблок, я сообразил, что мне нет нужды удерживать их. Я бы предпочел обнять прелестную малютку, не будь мне так памятен удар, которым она наградила меня во сне. До сих пор она спокойно сидела, держа в руках свою мандолину, но вот ее повелительницы, кончив играть, приказали ей исполнить несколько веселых пьес. Она было повиновалась и забренчала какую-то задорную танцевальную мелодию, но вдруг вскочила с места; я последовал ее примеру. Она играла на мандолине и плясала. Я не отставал от нее, и так мы исполнили своего рода балетный номер, которым дамы, надо думать, остались довольны, ибо по окончании его они приказали малютке попотчевать меня чем-нибудь еще до ужина. Мне же казалось, что на свете нет ничего, кроме этого маленького рая. Алерта тотчас же повела меня обратно на галерею, через которую я пришел. Сбоку там имелись две красиво обставленные комнаты. В одной из них, в той, где она жила, Алерта предложила мне апельсины, фиги, персики и виноград, и я с наслаждением отведал не только чужеземных плодов, но и тех, что должны были бы созреть много позднее. Сладостей здесь тоже было вволю, да еще Алерта наполнила для меня игристым вином бокал граненого хрусталя. Но мне не хотелось пить, так как я утолил жажду плодами.

– Ну, а теперь давай играть, – сказала Алерта и повела меня в соседнюю комнату, забитую разными разностями, словно рождественский базар, только что на этих базарах никто сроду не видывал такого множества изящных и дорогих вещей. Здесь были куклы, такие и эдакие, кукольное приданое, кукольная утварь, игрушечные кухни, дома, лавки, еще целая тьма разных других

игрушек. Но Алерта тотчас же закрыла первые шкафы, сказав: – Я знаю, это не для вас. А вот здесь, – добавила она, – мы найдем строительные материалы, стены и башни, дома, дворцы, церкви – все, что нужно для большого города. Но мне скучно строить город, и мы сейчас найдем другое занятие, одинаково приятное для нас обоих.

С этими словами она принесла несколько коробок, в них рядками были уложены оловянные солдатики, лучше которых я в жизни не видывал. Но она не позволила мне разглядывать их по отдельности и сунула себе под мышку одну коробку, я же взял другую.

– Мы пойдем на золотой мост, – сказала она, – там всего лучше играть в солдатики, потому что копья сразу же указывают, где надо расположить враждебные рати.

Мы вступили на золотой прогибающийся пол. Опустившись на колени, чтобы расставить свои полки, я услышал, как подо мной журчит вода и плещутся рыбы. Тут я заметил, что у меня в руках сплошь кавалерия. Алерта же не без гордости объявила, что у нее царица амазонок предводительствует женским войском. Зато у меня был Ахилл с великолепной греческой конницей. Армии уже выстроились друг против друга, и трудно было себе вообразить зрелище более прекрасное. Это ведь были не наши плоские оловянные солдатики, а объемные всадники и кони, тончайшей работы. И непонятно было, как они удерживались в равновесии, потому что подставок у них не было.

Не успели мы самодовольно оглядеть свои войска, как Алерта подала сигнал к бою. В коробках нашлись и орудия и к ним много ящичков с маленькими, хорошо отполированными агатовыми ядрами. Ими нам предстояло сражаться на известном расстоянии и при непременно условии: бросать не сильнее, чем нужно, чтобы свалить солдата, не повредив ни одной фигурки. Мы открыли канонаду, поначалу доставившую одинаковую радость нам обоим. Однако моя врагиня, заметив, что я более меткий стрелок, чем она, и, следовательно, одержу победу, которая определялась количеством оставшихся стоять фигурок, подошла ближе, и ее грациозные броски теперь и вправду стали попадать в цель. Она уложила лучшие мои войска, и чем больше я протестовал, тем ретивее она действовала. В конце концов я разозлился и объявил, что буду поступать, как она, и не только встал ближе, но в гневе метнул несколько ядер с недозволенной

силой, так что две или три из ее всадниц разлетелись на куски. В своем рвении она не сразу это заметила, но я положительно окаменел, увидев, что разбитые фигурки срastaются сами собой. Амазонка и конь снова слились воедино, да еще вдобавок ожили и галопом ускакали с золотого моста, пронеслись карьером под старыми липами и, наконец, каким-то непонятным образом скрылись из глаз, словно вошли в стену. Увидев это, моя прелестная противница принялась стонать и плакать, уверяя, что по моей вине она понесла невозвратимую утрату, куда большую, чем можно выразить словами. Но я, злорадствуя, что причинил ей горе, с размаху вслепую метнул оставшиеся у меня агатовые шарики в ее войско. На беду, я угодил в царицу, а в нее, согласно правилам игры, попадать не полагалось. Она разлетелась на куски, разбились и окружающие ее адъютанты, но тут же все они снова склеились, умчались, как и первые мои жертвы, весело прогалопировали под липами и исчезли, доскакав до стены.

Моя врагиня поносила меня на все лады, а я, уже не знал удержу, нагнулся, чтобы подобрать агатовые шарики, еще катавшиеся меж золотых бердышей. Мне страстно хотелось разнести в щепы всю ее рать. Но она, не растерявшись, подскочила и отвесила мне такую оплеуху, что у меня в глазах потемнело. Зная, что на пощечины девиц следует отвечать бесцеремонным поцелуем, я схватил ее за уши и несколько раз исцеловал. Она закричала так пронзительно, что я испугался и выпустил ее, как оказалось, на свое счастье, ибо в следующее мгновение я уже не понимал, что происходит. Почва под мной затряслась и загрохотала, тут же я заметил, что и решетка снова пришла в движение, но времени у меня уже не было ни на раздумья, ни на то, чтобы обратиться в бегство. Я понимал только, что вот-вот буду пронзен насквозь, так как копыта и пики, вздыбившись, уже протыкали мое платье. Не знаю, что было дальше, зрение и слух мне изменили, и очнулся я от этого ужаса у подножия липы, куда меня отшвырнула поднявшаяся решетка. Заодно пробудился и мой гнев, возросший до предела, когда я услышал насмешки и хохот моей врагини, тоже упавшей на землю, но по ту сторону решетки и, верно, не так больно, как я. Посему я вскочил на ноги и, заметив мое рассеянное воинство вместе с его предводителем Ахиллом, которое тоже было отброшено поднявшейся решеткой, схватил героя и изо всех сил стукнул его об дерево. То, как он восстановился и бежал, вдвойне

меня позабавило, так как к злорадству здесь присоединилось еще и восхищение прелестнейшим зрелищем; я уже готов был послать вслед за ним его греков, но вдруг со всех сторон послышалось журчанье вод, брызнувших из камней, из стен, из земли и с деревьев и нещадно хлеставших меня, куда бы я ни повернулся. Легкая моя одежда быстро намокла, к тому же она была разорвана, и я, не долго думая, скинул ее. Сначала я сбросил туфли, потом стал срывать с себя одну вещь за другой. В общем, мне было даже приятно в теплый день стоять под этим необычным душем. Нагой, я важно расхаживал меж освежающих струй, полагая, что успею вдосталь насладиться прохладой. Гнев мой остыл, и я ничего не хотел так, как примирения с моей маленькой противницей. Но ток воды внезапно остановился, и я, мокрый, стоял на отсыревшей земле. Появление старика, неожиданно выросшего передо мной, меня отнюдь не обрадовало. Мне хотелось если не убежать, то хотя бы прикрыться. Стыд, дрожь и невозможность прикрыть свою наготу превратили меня в весьма жалкую фигуру, старик же воспользовался этим мгновением, чтобы осыпать меня жестокими упреками.

– Не знаю, что мне мешает, – кричал он, – взять сейчас зеленый шнур, и если не стянуть его у вас на шее, то хоть заставить его прогуляться по вашей спине!

Меня возмутила эта угроза.

– Берегитесь таких слов и даже мыслей, – воскликнул я, – иначе вы пропали и ваши повелительницы тоже!

– Кто ты, – озлился он, – что дерзаешь так говорить?

– Любимец богов, – отвечал я, – который может сделать так, что эти девы найдут себе достойных супругов и будут вести счастливую жизнь, а может оставить их прозябать и стариться в этом заколдованном монастыре.

Старик, оробев, отступил на несколько шагов.

– Кто тебе это открыл? – изумленно спросил он.

– Три яблока, – отвечал я, – три драгоценных камня.

– Чего же ты требуешь себе в награду? – воскликнул он.

– Прежде всего малютку, которая ввергла меня в эту глупейшую историю.

Старик пал ниц передо мною, невзирая на то, что земля была мокрая и вязкая. Затем он встал, нисколько не испачкавшись, дружелюбно

взял меня за руку, повел в зал, где я недавно переодевался, там живо меня одел, и вот я вновь уже стоял завитой, в праздничном костюме, как раньше. Больше он ни слова не говорил, но, прежде чем позволить мне переступить порог, указал на стену по ту сторону дороги и, повернувшись, на воротца, через которые я вошел. Я отлично его понял: он хотел, чтобы я обратил внимание на приметы, по которым можно было бы вновь найти воротца, уже захлопнувшиеся за мной. Я постарался запомнить то, что видел перед собой. На высокую стену свисали ветки старых-престарых ореховых деревьев, частично закрывая зубцы, которыми она заканчивалась. Ветви спускались до каменной плиты, причудливый орнамент которой я бы, конечно, узнал, хотя и не мог прочесть того, что на ней было написано. Плита покоилась на выступе ниши, где искусно сделанный фонтан, переливая свои струи из чаши в чашу, заполнял водою большой бассейн или пруд, плоско растекавшийся по земле. Фонтан, надпись, ореховые деревья – все это вздымалось одно над другим. Мне очень хотелось зарисовать то, что я видел.

Нетрудно себе представить, как я провел этот вечер и несколько последующих дней и как часто я повторял про себя все эти истории, мне самому казавшиеся неправдоподобными. Едва только мне предоставилась возможность, я поспешил к Дурной стене, чтобы хоть освежить в памяти приметы и взглянуть на прекрасные воротца, но, к величайшему моему изумлению, там все переменялось. Ореховые деревья хоть и вздымались над стеною, но уже не стояли плотными рядами. Была там и вмурованная в стену плита, но много правее, без всякого орнамента и с вполне разборчивой надписью. Была и ниша с фонтаном, но левее, и фонтан не шел ни в какое сравнение с тем, который я видел тогда. Мне даже подумалось, что второе приключение – сон, так же как и первое, ибо воротец и след простыл. Утешает меня только то, что все три упомянутые меты не перестают перемещаться в пространстве, ибо при повторном посещении той местности мне бросилось в глаза, что деревья опять растут теснее, а плита и фонтан приблизились друг к другу. Наверно, когда все станет на прежние места, обнаружатся и воротца, и я уж сделаю все возможное, чтобы продлить приключение. Вот только будет ли мне дозволено рассказать вам о том, что произойдет дальше, или решительно запрещено, этого я еще не знаю.

\* \* \*

Сказка эта, в правдивости которой мальчики страстно хотели убедиться, имела большой успех. Молчком и поодиночке они отправлялись к Дурной стене и обнаружили плиту, фонтан, орешник, но все еще в отдалении друг от друга, как они в конце концов признались, ибо в эти годы люди не склонны хранить тайны. Но тут-то и разгорелся спор. Один утверждал: ничто не сдвинулось с места и все расстояния остались неизменны. Другой был уверен, что плита, деревья и фонтан движутся, отдаляясь друг от друга. Третий соглашался с ним по первому пункту, но считал, что деревья, плита и фонтан сблизилась. Четвертый видел и вовсе чудеса: по его словам, орешник рос посередине, а фонтан и плита поменялись местами, то есть то, что, по моим описаниям, было справа, переместилось налево. Касательно местонахождения воротца показания тоже расходились... Хоть у меня и не было недостатка в избранных и добрых друзьях, но мы всегда оставались в меньшинстве по сравнению с теми, что находили радость в грубых нападках на нас и бесцеремонно нас пробуждали от фантастических и самодовольных грез, в которые мы так любили погружаться, я – творя вымысел, а мои сотоварищи – участвуя в нем... Учителя часто обходились с нами весьма круто, награждая нас колотушками и подзатыльниками, к которым мы постепенно стали нечувствительны, тем более что нам было строжайше запрещено уклоняться от таковых или им противоборствовать. В основу многих детских игр или забав положено именно состязание в выносливости; иногда оно заключается в том, чтобы бить друг друга двумя пальцами или ладонью до полного онемения руки, при некоторых играх – в терпеливом принятии ударов или в том, чтобы не поддаться уже наполовину поверженному противнику, который отчаянно щиплетя и куда ни попадя брыкает тебя ногами. Каждому из нас нередко приходилось подавлять боль, причиненную не в меру разрезвившимся товарищем по игре, и даже равнодушно сносить щекотку – излюбленное боевое средство в мальчишеских потасовках... Расскажу хотя бы об одном случае. Однажды учитель не пришел на урок; мы все, конечно, были в сборе и вели себя вполне пристойно, но когда мои друзья и единомышленники,

наскучив ожиданием, ушли и я остался с тремя мальчиками из враждебной мне партии, они решили помучить меня, опозорить и обратить в бегство. Выскочив на минуту из комнаты, мои враги вернулись с пучком розог, наспех надерганных из метлы. Я понял их намерения, но, полагая, что до конца урока осталось уже мало времени, тотчас же решил не защищаться и ждать звонка. Тогда они начали беспощадно хлестать меня по ногам. Я и бровью не повел, но уже скоро понял, что просчитался и что такая боль очень и очень удлиняет время. Вместе с долготерпением во мне росла и ярость; едва только зазвенел колокольчик, как я схватил одного из них, никак не ожидавшего нападения, за шиворот и швырнул наземь, да еще изо всех сил придавил ему коленкой спину. Другой, помладше и послабее, напал на меня сзади, я же зажал его голову под мышкой и сдавил так, что он едва не задохся. Но оставался еще один враг, отнюдь не из самых хилых, а у меня для защиты была только левая рука. Все же я умудрился подцепить его за платье и ловким движением – он уж слишком торопливо увертывался – сбил его с ног и прижал лицом к полу. Разумеется, они кусались, царапались и брыкались, что было сил. Но моей душой и телом руководило лишь одно чувство – месть. В своем довольно выгодном положении я несколько раз стукнул их лбами друг о дружку. Тут они стали орать что есть мочи, и на этот крик немедля сбежались домашние. Валявшиеся в комнате розги и мои ноги – я поспешил снять чулки – свидетельствовали за меня. Мне только пригрозили наказанием и отправили меня вон из дому, я же во всеуслышанье заявил, что при малейшем оскорблении выцарапаю глаза обидчику, кто бы он ни был, оборву уши, а не то, пожалуй, и задушю... когда однажды... я выказал некоторую гордость по поводу того, что мой дед сидел словно бы на троне посреди совета старшин, одной ступенью выше других, под самым портретом императора, один из мальчиков насмешливо заметил, что, вспомни я о своем деде с отцовской стороны, который держал постоянный двор «Вейденгоф», я, уж, конечно, не мог бы притязать на троны и короны, а почувствовал бы себя павлином, увидавшим свои ноги. Я отвечал, что несколько этого не стыжусь и что честь и слава нашего города в том именно и заключается, что у нас все бюргеры равны и каждый своим трудом может добиться уважения и почета. <... >



## Книга третья

... Настал новый, 1759 год... у нас квартировал [французский] королевский лейтенант<sup>670</sup>, в обязанности которого входило улаживать споры между солдатами и бюргерами... я... более или менее сносно управлялся с французским языком, хотя никогда его не учил. И здесь мне на помощь пришла врожденная одаренность, я легко усваивал звучанье и ритм языка, его движения, акцент, интонацию и прочие внешние особенности. Многие слова я знал по занятиям латынью, итальянский язык давал мне, пожалуй, еще больше знания, кое-чего я слышался из разговоров слуг и солдат, часовых и посетителей, так что вскоре если и не мог принимать участия в разговоре, то все же научился задавать вопросы и отвечать на них. Но все это немного значило в сравнении с тем, что дал мне театр. От дедушки я получил даровой билет, которым, благодаря заступничеству матери, и пользовался ежедневно, несмотря на неудовольствие отца. Я сидел в креслах перед чуждой мне сценой и тем внимательнее следил за движениями, мимикой и интонацией актеров, что ровно ничего не понимал из того, что говорилось там, на подмостках, и, следовательно, получал удовольствие только от жестов и звучания речи. Всего непонятнее для меня была комедия, ибо в ней говорили быстро и к тому же ее сюжеты были заимствованы из обыденной жизни, а я ровно ничего не смыслил в повседневном языке. Трагедии давались реже и благодаря размеренной поступи, четкой ритмике александрийского стиха и обобщенности выражений были мне все же куда понятнее. В библиотеке отца я вскоре нашел Расина и с азартом декламировал его пьесы на театральный манер, то есть так, как их воспринял мой слух и подчиненный ему орган речи, не понимая, собственно, языка во всех его связях. Более того, я затвердил целые куски и декламировал их, точь-в-точь как говорящий попугай. Для меня это не представляло труда, ибо еще раньше я заучивал наизусть отрывки из Библии, в большинстве своем непонятные ребенку, и привык читать их, подражая тону протестантских проповедников. В те времена большим фавором пользовались стихотворные французские комедии... Я и поныне живо помню движения разукрашенных лентами юношей и девушек. Прошло немного времени, и во мне шевельнулось желание

побывать за кулисами театра, благо возможностей к тому представлялось хоть отбавляй. У меня, конечно, не хватало терпенья смотреть весь спектакль, и я немало времени проводил в коридорах, а при теплой погоде – и перед подъездом театра, играя со своими сверстниками; к нам вскоре присоединился красивый бойкий мальчик, имевший прямое отношение к театру, которого я даже видел, правда, мельком, в нескольких маленьких ролях. Объясняться со мной ему было легче, чем с другими, ибо я сумел пустить в ход все свои познания во французском, и он тем более ко мне льнул, что ни в театре, ни где-либо поблизости не было мальчика его лет и национальности. Мы расхаживали вместе не только по вечерам, но и днем, не отставал он от меня и во время спектаклей. Этот прелестный маленький хвастунишка болтал без умолку и так мило повествовал о своих приключениях, драках и прочих эскападах, что я слушал его как зачарованный и за месяц научился понимать и говорить по-французски лучше, чем это можно было предположить, так что все вокруг недоумевали, как это я вдруг, точно по наитию свыше, овладел чужим языком.

В первые же дни нашего знакомства он потащил меня за кулисы, вернее, в то фойе, где актеры дожидались своего выхода или переодевались. Помещение это было неудобное и неуютное, ибо театр пришлось втиснуть в концертный зал, где за сценой не было актерских уборных. В соседней комнате, довольно большой и прежде служившей для музыкальных репетиций, обычно вместе толклись актеры и актрисы, которые, судя по тому, что во время переодевания соблюдались далеко не все правила приличия, видимо, очень мало стеснялись как друг друга, так и нас, детей. Ничего подобного мне раньше видеть не доводилось, но, побывав там несколько раз и поосвоившись, чего-либо предосудительного я в этом уже не видел.

Прошло немного времени, и театр приобрел для меня особый, сугубо личный интерес. Юный Дерон (пусть так зовется мальчик, с которым я продолжал дружить), если не считать его склонности к похвальбе, был учтив и добронравен. Он познакомил меня со своей сестрой, очень милой девушкой, года на два старше нас, рослой, хорошо сложенной, со смуглым цветом лица, черноволосой и черноглазой, но всегда тихой и даже печальной. Я старался, чем мог, услужить ей, однако привлечь ее внимание мне не удавалось. Молодые

девушки всегда задирают нос перед мальчишками и, уже заигрывая с юношами, перед мальчиком, несущим к их стопам свое первое чувство, корчат из себя старых тетушек. С младшим братом Дерона я совсем не знался.

Иной раз, когда их мать была на репетиции или в гостях, мы, собравшись у них дома, все вместе играли или беседовали. Я никогда не приходил туда с пустыми руками и приносил красавице цветы, фрукты или какие-нибудь безделки, которые она принимала вполне благосклонно и вежливо меня благодарила, но ни разу я не видел, чтобы ее печальный взор повеселел, и никогда не замечал, чтобы она хоть раз обратила на меня внимание. Наконец, как я полагал, тайна ее мне открылась. Мальчик, приподняв элегантный шелковый полог, украшавший кровать его матери, показал мне висевший в глубине алькова портрет красивого мужчины, выполненный пастелью, и с лукавой миной пояснил, что это, собственно, не папа, но все равно что папа. Он на все лады превозносил этого человека и, по обыкновению, хвастливо и подробно о нем рассказывал, из чего я заключил, что старшая дочь рождена от законного мужа, а мальчик и его брат от друга дома. Теперь мне была понятна грусть девушки, и она сделалась мне еще дороже.

Склонность к этой девушке помогала мне сносить хвастливые выходки ее брата, нередко утрачивавшего чувство меры. Мне приходилось выслушивать пространные рассказы о его подвигах, — например, о том, что он не раз уже дрался на дуэли без всякого желания причинить вред противнику, а единственно из чувства чести. И всегда-то ему удавалось обезоружить противника, после чего он его прощал; в фехтовании же он якобы достиг такого искусства, что однажды даже попал в затруднительное положение, забросив шпагу противника на высокое дерево, откуда ее достали лишь с превеликим трудом.

Посещение театра было мне очень облегчено даровым билетом... он давал мне право сидеть где угодно, а следовательно, и в местах на просцениуме. Последний, по французскому обычаю, был очень глубок... Между актами занавес не опускался. Здесь я хочу упомянуть еще об одном странном обыкновении, антихудожественность которого для меня, доброго немецкого мальчика, была непереносима. Театр почитался величайшей святыней, и любое нарушение порядка в нем

подлежало немедленной каре, как преступление против ее величества публики. Итак, во время всех комедий по обе стороны задника стояли два гренадера, ничем не скрытые от зрителей, и были невольными свидетелями всех событий, происходивших в недрах сцены. Как я уже говорил выше, занавес между действиями не опускался; посему и смена караула происходила на наших глазах. С первыми звуками музыки из кулис выходили два новых гренадера и направлялись к старым, а те, сменившись, мерным шагом уходили со сцены. Такой порядок был разработан, казалось бы, нарочно для уничтожения того, что в театре зовется иллюзией, но это режиссерам несколько не мешало в то же самое время держаться принципов и примера Дидро, требовавшего от театра естественнейшей естественности, и выдавать за цель театрального искусства достижение полной иллюзии. Кстати сказать, трагедия была освобождена от такого полицейского надзора и героям древности дано было право самим охранять себя. Упомянутые же гренадеры во время представления стояли поблизости за кулисами. Мне остается еще сказать, что я смотрел в этом театре «Отца семейства» Дидро и «Философов» Палиссо. Из последней пьесы мне и сейчас еще помнится фигура философа, который ползает на четвереньках и грызет сырой кочан салата.

Но даже это театральное многообразие не всегда могло удержать нас, детей, в театре. В хорошую погоду мы играли у его подъезда или где-нибудь поблизости и дурачились изо всех сил, что никак не вязалось с нашим внешним видом, особенно в воскресные и праздничные дни, когда я и мальчики моего круга появлялись одетые точь-в-точь как в той сказке, где я описал себя: со шляпой под мышкой и при шпаге, на рукоятке которой красовался большой шелковый бант. Однажды, после долгой возни, замешавшийся в нашу игру Дерон стал уверять меня, что я его обидел и обязан дать ему сатисфакцию. Я, правда, не мог взять в толк, что произошло, но вызов принял и уже хотел обнажить шпагу, когда он объявил, что такие дела принято улаживать в местах, не столь многолюдных. Посему мы удалились за амбары и стали в соответствующую позицию. Поединок протекал несколько театрально, клинки звенели, сыпались удары, но в пылу боя острие его шпаги запуталось в банте на рукоятке моей. Бант был пронзен, и противник меня заверил, что сатисфакция им получена сполна; он даже обнял меня, кстати сказать, весьма театрально, и мы

отправились в ближайшую кофейню, чтобы за стаканом оршада передохнуть от только что испытанных волнений и еще прочнее скрепить наш дружеский союз.

В этой связи мне хотелось бы рассказать еще об одном приключении, случившемся со мною в театре, правда, несколько позднее. Как-то раз я и один из моих приятелей, спокойно сидя в креслах, с удовольствием смотрели, как хорошенький мальчик, надо думать – наш ровесник, сын приезжего французского танцора, ловко и мило исполняет сольный танец. Как тогда полагалось танцору, он был одет в узкий камзолчик из красного шелка, переходивший в короткую, до колен, словно фартук у скороходов, юбочку на фижмах. Вместе со всей публикой мы аплодировали юному артисту, как вдруг мне на ум, сам не знаю почему, пришла глубокомысленная сентенция. Я сказал своему спутнику: как красиво одет этот мальчик и как уверенно он себя держит, а ночью, кто знает, может, спит в рваной рубашонке. Все уже поднялись с мест, но в толпе мы не могли пробраться вперед. Женщина, сидевшая в соседнем кресле и теперь снова очутившаяся рядом со мной, оказалась матерью юного актера; она слышала мое замечание и разобиделась. На беду, она довольно знала по-немецки, чтобы понять мои слова да еще меня выбранить. Кто я такой, взбеленилась она, чтобы сомневаться в добропорядочности и благосостоянии семейства этого молодого человека. Чем он, спрашивается, хуже меня! Напротив, его талант в будущем сулит ему счастье, о котором мне и мечтать не пристало. Выговаривала она мне в толпе зрителей, и близстоящие стали с удивлением на меня озираться: что-де я там такое набедокурил? Поскольку я не мог ни попросить у нее прощенья, ни отойти от нее, я смешался и, воспользовавшись паузой в ее словоизвержении, проговорил, ровно ничего при этом не думая: «К чему этот шум? Сколько ни ликуешь, а смерти не минуешь». Когда я это сказал, она точно обомлела. Потом пристально на меня взглянула и ушла при первой же возможности. Я больше о своих словах не думал и вспомнил о них лишь некоторое время спустя, узнав, что мальчик не только больше не выступает, но лежит тяжело больной. Остался ли он в живых, я не знаю...

## Льюк Хэнсэрд (1752–1828)

Приведенные здесь воспоминания о детстве Льюка Хэнсэрда взяты из его автобиографии, труд над которой печатник Палаты Общин завершил в сентябре 1817 г. Льюк Хэнсэрд являлся печатником Парламента с 1774 г. Должность эта была очень значима и престижна в то время – период XVIII в. в Англии отмечен усилением парламентской борьбы, кипучей политической деятельностью, ведь с 1689 г. (с принятием акта о престолонаследии Вильгельмом Оранским) английскому Парламенту было передано направление всей национальной политики. В компетенцию печатника Парламента входил достаточно большой круг обязанностей: Хэнсэрд должен был освещать всю деятельность Палаты Общин (кроме голосований и вопросов, касающихся повестки дня, – за это уже был ответственен другой печатник, Джон Николс), кроме того, в обязанности Льюка Хэнсэрда входила работа со многими парламентскими департаментами, а также с большим числом частных парламентских агентов. Также, в распоряжении печатника Палаты Общин находился весь комплекс сессионных бумаг и их запасных копий для членов Парламента, до создания библиотеки Парламента печатник Палаты Общин выполнял работу библиотекаря. Более того, Льюк Хэнсэрд следил за оплатой складов, где размещалась бумага, нужная для парламентской печати. «Ежедневные записи решений Палаты Общин», которые издавал Льюк Хэнсэрд, сейчас «сравнительно редко используются за кругом парламентских чиновников, для которых они являются настольной книгой, содержащей в себе процедурные и исторические прецеденты». Авторитет Льюка Хэнсэрда был довольно высок, его очень ценили в правительственных кругах. Компаньонами в свое дело Хэнсэрд взял в 1807 г. младших сыновей, Джеймса (1781–1849) и Льюка Грейвза (1777–1851). Старший его сын, Томас Хэнсэрд (1776–1833), не был компаньоном в отцовском предприятии, а сам печатал «Дебаты Парламента», которые хотя теперь и более популярны среди широкой публики, чем издание Льюка Хэнсэрда, но известности и авторитета отца Томас Хэнсэрд не приобрел. Кроме сыновей у

печатника Палаты Общин были еще две дочери, о которых нам мало что известно.

Родился Льюк Хэнсэрд в Норидже, 5 июня. Отец его, Томас Хэнсэрд (1727–1769), был владельцем не очень крупной фабрики в этом городе. Мать, Сара Хэнсэрд (1717–1797), была дочерью приходского священника из Линкольншира. Свое начальное образование Хэнсэрд получил в начальной школе в Линкольншире, затем, вернувшись домой, после нескольких неудачных попыток испробовать свои силы в других областях, стал учеником у весьма известного издателя того времени Стефена Уайта. Затем Хэнсэрд работал вместе с печатником Палаты Общин, Джоном Хьюсом, чье место он занял в 1774 г. и оставался на нем до своей смерти. Издательство «Хэнсэрд и сыновья» процветало до 1828 г., но после смерти Льюка Хэнсэрда дела пошатнулись, и в 1881 г. издательство было продано. Но в 1817 г., когда Льюк Хэнсэрд работал над своей автобиографией, он, конечно же, не мог этого предвидеть. Наоборот, он посвятил свои записки своим сыновьям-партнерам, чтобы они продолжали процветание семьи и семейного бизнеса.

Автобиография Льюка Хэнсэрда – это небольшая книга, где автор разбивает свою жизнь на несколько периодов. Стил, в котором выполнены записки, характерен для своего времени, высокопарный и торжественный, что особенно заметно на примере посвящения к автобиографии.

Первый (1756–1760) и второй (1761–1770) разделы включают в себя описание детства и юношества печатника Парламента, годы его ученичества в Линкольншире, период его работы и обучения у Стефена Уайта. В третьем разделе (1771–1780) автор обрисовывает первые годы своей работы в Лондоне у Хьюса. Этот период Льюк Хэнсэрд характеризует как время расширения перспектив для работы печатников в Палате Общин. Наконец, четвертый и последний раздел автобиографии Хэнсэрда приходится на 1790–1810-е гг., годы славы и процветания дела автора.

В связи с поставленной перед нами задачей мы подробно останавливаемся лишь на первых двух разделах автобиографии Льюка Хэнсэрда. Надо отметить, что детство и юношество описаны пастельными тонами по сравнению с яркой цветовой гаммой, которая присуща описанию более зрелых лет жизни печатника Парламента. Но

ведь и сам характер этого описания зависит от той цели, которую ставил себе печатник перед тем, как приступить к написанию своей автобиографии. Льюк Хэнсэрд в посвящении к своему труду говорит, что “несколько пассажей о благополучнейшем и достойном подражания периоде его жизни” будут поучительны и интересны для его сыновей. Так как таким “благополучнейшим” периодом своей жизни Хэнсэрд считает время своего занятия парламентской печатью, то детству отдается роль увертюры к опере: «ребяческие забавы наших ранних лет в основном похожи одна на другую, даже если описывать то время с предельной точностью, то все равно из него не извлечешь много полезной информации... так как я никогда не был баловнем судьбы, никогда не нежился в роскоши, то я рано смог почувствовать превратности судьбы, поэтому я начну свои записки с того времени, с которого я точно могу воспроизвести события...» Автобиография Льюка Хэнсэрда – это рассказ человека о том, как он шел к успеху, основы которого были заложены, как все же показывает автор, еще в детстве.

Так как Льюк Хэнсэрд не отводит воспоминаниям о детстве центральной роли в своей автобиографии, то они малоэмоциональны, часто перемежаются с перечислением политических событий описываемого времени. Можно со всей определенностью сказать, что писал воспоминания человек целеустремленный, практичный, достаточно сдержанный. Возможно, из-за этого мало эмоций в описании детства – из-за сильной проекции на детские впечатления уже сформировавшегося, зрелого характера. Также, судя по тому, что пишет Льюк Хэнсэрд о своем детстве, можно сделать вывод, что в ранние годы своей жизни он действительно не был «баловнем судьбы», а решающий голос в семье принадлежал властной, суровой и религиозной матери. Конечно, это не могло не отразиться на характере будущего печатника Парламента. Хотя некоторые штрихи из детства отличаются большей живостью: например, рассказ об обратном путешествии из Линкольншира в Норидж. Немного говорит Льюк Хэнсэрд о своих родителях: отцу дает характеристику «человека общительного и хорошего обозревателя своего времени», а о матери пишет, что «она отличалась стойкостью духа», которой сын и научился у Сары Хэнсэрд, как отмечает сам автор. Ничего не говорит Льюк Хэнсэрд о чувствах, которые он испытывал к родителям в детстве.



Даже смерть отца описана им предельно сухо, просто как произошедшее в его жизни событие. Зато именно в связи со смертью отца Льюк Хэнсэрд говорит о «стойкости духа» матери, которая проявилась в том, как последняя решила вопрос об уплате долгов, оставленных отцом. О семьях же отца и матери Льюк Хэнсэрд сообщает весьма подробно, что вполне могут объяснить его же слова из посвящения к автобиографии: «Лаконичный и превосходный стиль, в котором древа семей представлены в Священном Писании, без сомнения, оставляет глубокий след в душе каждого, который делает для себя эту Книгу предметом обучения и восхищения, а также вызывает похвальное стремление хранить корни своих семей. Мы видим в этой Книге из Книг, с какой заботой и тщательностью евреи передавали свои генеалогии. И нынешний опыт показывает нам, как высшие круги общества ценят своих предков и наследников».

Вспоминает Льюк Хэнсэрд о своем обучении в Линкольншире, «среди овец и лошадей», которое ничего ему не принесло, но только выветрило из головы латынь, что, впрочем, пошло ему на пользу, потому что именно недостаточный уровень знания латыни способствовал тому, что Хэнсэрд не стал врачом или адвокатом. Призвания стать печатником Льюк Хэнсэрд, судя по воспоминаниям, с самого детства не имел. Он был отдан в учение к Стефену Уайту, можно сказать, по счастливой случайности. Дело в том, что отец, будучи сам фабрикантом и потерпев неудачу, ни в коем случае не хотел, чтобы его сын был связан с нарождающейся и еще «зыбкой» промышленностью, а мать, в свою очередь, никогда бы не согласилась на то, чтобы ее сын стал «простым механиком». Перспектива того, что их сын станет печатником, «восхитила родителей», так как занятие книгоиздательством было уважаемым и перспективным делом. Будучи учеником у Стефена Уайта, Льюк Хэнсэрд обнаружил талант к книгопечатанию, он легко обучился работе с прессом и другим техническим премудростям: печать иллюстраций на отдельном листе, тиснение печатной формы и т. д. (Кстати сказать, Льюк Хэнсэрд внес свою лепту в развитие печатного искусства – он первым предложил метод разноцветной печати, совместив красный и черный цвета.) О Стефене Уайте Хэнсэрд отзывается с восхищением, пишет о том, что «увеличил свое усердие в работе у хозяина, потому что любил его и восхищался своим делом».

Воспоминания о детстве в автобиографии Льюка Хэнсэрда играют роль вступления к периоду «процветания» в его жизни, описание которого и является целью создания записок. Поэтому, говоря о ранних этапах своей жизни, Льюк Хэнсэрд в основном останавливается на тех моментах, чертах своего характера и характеров своих родителей, которые в дальнейшем помогли ему достичь успеха<sup>671</sup>.

## Автобиография

### Посвящение Льюка Хэнсэрда к автобиографии<sup>2</sup>

Описание событий наших ранних лет, возможно, не принесет удовольствия ни нам самим, и ни тем близким и дорогим друзьям и родственникам, которых не оставляет равнодушными наше процветание и счастье. Но, с другой стороны, кто будет сопереживать нашим несчастьям и радоваться нашему успеху и благосостоянию? Некоторое время поразмыслив над этим вопросом, я все же льщу себя надеждой, что несколько пассажей о благополучнейшем и достойном подражания периоде моей жизни не будут лишними для вас, мои сыновья<sup>672</sup>, так испуганно стоящие передо мной, предвидя перед собой тысячу трудностей, и для тебя, мой друг, за то, что ты была так добра, что обещала мне свою помощь и поощрила меня своим согласием...

Тот лаконичный и превосходный стиль, в котором древа семей представлены в Священном Писании, без сомнения, оставляет глубокий след в душе каждого, который делает для себя эту Книгу предметом обучения и восхищения и с помощью ее приобретает похвальное стремление хранить корни своих семей. Мы видим в этой Книге из Книг, с какой заботой и тщательностью евреи передавали свои генеалогии. И нынешний опыт показывает нам, как высшие круги общества ценят своих предков и наследников. Это кажется правильным, потому что подобное желание возвышает нас над обыденностью, вдохновляет к похвальному стремлению сохранить все лучшее, усовершенствовать наш талант и достичь преимущественного положения с помощью чести и добродетели, которые Тому, Кто сотворил мир, было угодно сделать нашими сопровождающими на пути достижения успеха.

Все эти идеи навели меня на мысль, что вы, мои сыновья, которые столь долго сопровождали меня в занятии этим трудным, хотя и почетным делом, захотите узнать о некоторых чертах семьи вашего отца, его юношеских занятиях, которые и предстанут на ваш суд и

рассмотрение и подскажут вам, насколько значима их роль в настоящем благоденствии семьи.

Также как и для других отцов, моей надеждой всегда было, с тех пор как у меня есть семья, – заложить основы ее благополучия, и с того времени я пришел к мысли о том, что вы можете не только сохранить его, но и передать своим детям<sup>673</sup>, как я надеюсь передать вам семью процветающей, но все же еще нуждающейся в улучшении своего благополучия...

Трудность представляет то, что я не знаю, откуда мне следует начинать свой рассказ: ребяческие забавы наших ранних лет в основном похожи одна на другую, даже если описывать то время с предельной точностью, то все равно из него не извлечешь много полезной информации. Но так как я никогда не был баловнем судьбы, никогда не нежился в роскоши, то я рано смог почувствовать превратности судьбы, поэтому я начну свои записки с того времени, с которого я точно могу воспроизвести события...

### **Воспоминания о детстве Льюка Хэнсэрда из первой части его автобиографии (1756–1760)**

Среди моих детских воспоминаний большой след оставили землетрясение в Лиссабоне, смерть адмирала Бинга, взятие Квебека генералом Вульфом<sup>674</sup>, смерть короля Георга II и впечатления о моих родителях... Многие из того, что я узнал в детстве, как, например, перемена стиля<sup>675</sup> в 1752 г. и многое другое, относящееся к тому периоду, могло быть почерпнуто мною из бесед с моим отцом<sup>676</sup>, который был хорошим обозревателем своего времени и притом обладал очень общительным характером. А также многое я узнавал от моей матери<sup>677</sup>, которая получила образование у местного священника в Линкольншире, где жила с родителями, так что она прекрасно могла насытить детское сознание уроками морали и религиозными заповедями.

Мой Отец и я полагали, что с его стороны все в семье были норфолкскими вигами, а со стороны матери – тори из Линкольншира, но и те, и другие были тверды и непоколебимы по отношению к

церкви Англии. Впоследствии миссис Паркинсон, одна из сестер отца, рассказывала, что, когда мне было 11 лет, на семейном совете обсуждался вопрос о том, должен ли я пойти в начальную школу в Линкольншире<sup>678</sup>, а там готовиться к поступлению в колледж и карьере священника<sup>679</sup>, что предлагали друзья моей матери, державшие эту школу. Но мать возразила, указывая на то, что я не имею никого из покровителей в этой области, и сказала, что прекрасно помнит бедность своего отца, бывшего приходским священником. Поэтому она предложила, что мне лучше испытать счастье в другом деле.

### **Воспоминания о детстве Льюка Хэнсэрда из второй части автобиографии (1761–1770)**

...Несмотря на то что было решено, что я не буду готовиться к поступлению в колледж, все же я был отправлен в школу в Линкольншире<sup>680</sup>. Там я жил в одной или двух милях от дома приходского священника<sup>681</sup>, который был фермером и скотоводом, а также выращивал баранов и разводил лошадей, поэтому я был более вовлечен в скотоводство, чем в школьные занятия. Когда же подошло время, чтобы серьезно подумать о деле для меня, я был отправлен обратно в Норидж. Во время этого обратного путешествия по пересеченной местности и тяжелым дорогам, имея на своем пути несколько линкольнширских болот, я вымещал все накопившееся во мне раздражение на Бьярдо<sup>682</sup>, чьи проделки давали о себе знать еще до того, как я мог обуздать его. После целого дня тяжелого пути к вечеру мы достигли Линнской переправы. Здесь я расстался со своим провожатым из Линкольншира и непокорным, но преданным Бьярдо, затем на лодке пересек переправу и очутился в Линне<sup>683</sup>, где занялся поисками моего отца. После дневного отдыха я снова скакал на коне, только уже сидя позади своего отца – нам предстояло ехать еще 42 мили до Нориджа, куда мы прибыли только вечером...

Дома я понял, что мое возвращение вовсе не являлось радостью для моей матери: семья сейчас переживала не самые лучшие времена, положение ее изменилось с тех пор, как я уехал. Поэтому со дня моего

прибытия домой только и разговоров было, как бы поскорее сбыть меня с рук.

Сначала я был отдан в учение к лекарю, но тот небольшой запас латыни, которым я овладел перед тем как отправиться в Линкольншир, весь испарился среди овец, лошадей и волов. А так как этот недостаток никак не мог быть устранен, то мое учение у аптекаря было закончено. Следующим, к кому я был отдан учиться, был адвокат, но здесь опять возникло то же препятствие, и семья снова встала перед поиском занятия для меня.

Мой отец возражал против того, чтобы дело, которым я бы стал заниматься, было каким-то образом связано с промышленниками нашего города, но моя мать, с другой стороны, никогда не согласилась бы на то, чтобы я был обыкновенным механиком. Это противоречие было разрешено «Еженедельной газетой»<sup>684</sup>, где было помещено объявление о том, что компании Printer & Stationer требовался ученик. Перспектива профессии печатника совершенно восхитила моих родителей, и через день или два я был отдан на испытательный срок<sup>685</sup> в учение к мистеру Стефену Уайту, печатнику, книгопродавцу, стационару, граверу на медных копировальных досках, продавцу лекарств, художнику, лодочнику и прекрасному знатоку своего дела в его общество Bible and Crown, расположенное на улице Магдалены в Норидже...

Хозяин редко бывал в издательстве, он или гравировал, или рисовал, или резал по дереву, или рыбачил. Либо же он занимался охотой на кроликов и голубей, строительством лодок, греблей или парусным спортом – то есть всем, кроме его дел в конторе. Но я ценю его за то, что он был хорошим печатником... Хозяин рассказывал истории, при рассказе некоторых я имел честь присутствовать; они во многом послужили мне указаниями...

От случая к случаю и очень непоследовательно я получал персональные указания от моего хозяина<sup>686</sup>. Хотя он не был плохого нрава, все же он был нетерпелив, и я действительно невзлюбил практическую сторону его бизнеса. Он только давал мне указания, говоря: «Вот так делай, Льюк.» Как-то он показал мне, как подготавливать к работе все необходимое и правильно обращаться со всем этим, однажды он рассказал мне (даже не показал), как печатать иллюстрации на отдельном листе, добавив при этом: «Это именно тот

способ, Льюк, по которому ты будешь очень легко работать». Иногда он поручал мне работать с прессом, отмечая, что это упражнение для мужественных, и его он сравнивает с греблей, которой восхищается. Как ни странно, но за короткое время я действительно стал экспертом, я был горд тем, что исполнял обязанности наборщика и работал на прессе, был корректором и распорядителем в издательстве, печатником-гравировщиком и продавцом, работал хранителем книг и бухгалтером...

На третьем году моего учения умер отец<sup>687</sup>. Это принесло новые трудности матери. Конечно, стойкость ее духа и высокая нравственность никогда не позволили бы ей отказаться от выплаты долгов, в чем могли помочь лишь трудолюбие и упорство матери. Она сказала, что ради своих детей понемногу будет уплачивать за дом, исходя из денег, заработанных ею самой, небольших накоплений, расставаясь с вещами из ее прежней лучшей жизни, еженедельно внося небольшие суммы<sup>688</sup>. Эти слова показали мне, чего можно достичь с помощью такой стойкости духа...

... У своей матери я научился стойкости; моя усердность в работе возросла благодаря хозяину, потому что я любил его и восхищался своим делом.

## Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848)

Французский писатель, государственный деятель, историк, литературовед. Автобиографическую книгу Шатобриан стал писать в начале 1810-х годов, хотя первые размышления о таком произведении он относил к 1803 г. Разделы о детстве и юности написаны в основных чертах в 1811-1814 гг. В 1830-е годы, когда работа подходила к завершению, автор решил не публиковать свой труд при жизни. К 1847 г. относится последняя версия рукописного текста. Первое книжное издание появилось во Франции в 1849-1850 гг. Воспоминания Шатобриана быстро стали популярны в России, где фрагменты из них, переведенные из французской периодики, незамедлительно появились в «Отечественных записках», «Литературной газете» и «Санкт-Петербургских ведомостях» в 1848 году, и в «Библиотеке для чтения» в 1849 г. В том же году они изданы отдельным изданием (по переводу «Санкт-Петербургских ведомостей»), а в 1851 г. – также отдельным изданием, но уже по переводу «Отечественных записок» и, вероятно, с учетом первого двенадцатитомного французского издания. Вплоть до издания 1995 г. новых переводов Шатобриана выпущено не было.

Говоря с читателем уже как бы из «того мира», Шатобриан придал своим воспоминаниям особую атмосферу, которая полностью не была выдержана, поскольку его книга появилась в печати не через 50 лет, как хотел того автор, но очень скоро после его кончины. Сам же Шатобриан выбрал для описания прошлого точку зрения с высоты полустолетнего разрыва, оттеняя рассказ о повседневной жизни разного рода рассуждениями. Посмертные мемуары – особый вид литературы, хорошо отвечавший романтическим настроениям автора.

Шатобриан встраивал свое детство в поток времени и истории, воскресая его своим воображением и памятью деталей. Соединяя момент, о котором вспоминается, со временами написания и последующего редактирования текста, он придает и своему детству некоторую романтическую эпичность простого состояния природы человека. Не выделяя детство в особый период жизни, как, например, его старший современник и родоначальник жанра автобиографии



детства И. Г. Юнг (1740–1817), он тем не менее наделяет данный период жизни личности автора «милыми чертами детской поры», характерными для сентиментального отношения к детству со времен Руссо, и провиденциальными событиями, изображение которых в детской «части» автобиографии свидетельствовало о внимании Бога к жизни данного человека и следовало традиции религиозной автобиографии XVII–XVIII веков.

Исповедальный романтик, певец природы и экзотических стран, Шатобриан оказался на переломе между романтизмом и реализмом, духовной и светской литературой. Это положение отразилось в его воспоминаниях и реакции на них в европейской культуре<sup>689</sup>.

## Замогильные записки

### Часть 1, книга 1

<...> Из комнаты [в Сен-Мало], где моя мать разрешилась от бремени, виден пустынный участок городской стены, а за ним – необозримое море, которое плещет, разбиваясь о рифы. ... Я родился едва живым. Рокот волн, поднятых шквалом ветра, возвещавшим осеннее равноденствие, заглушал мои крики: мне часто рассказывали эти грустные подробности; они навсегда запечатлелись в моей памяти. Не было дня, чтобы, размышляя о том, чем я был, я не увидел внутренним взором скалу, на которой родился, комнату, где мать обрекла меня на жизнь, бурю, воем своим баюкавшую мой первый сон, несчастного брата, давшего мне имя, которое я весь век влачил в горести. Казалось, волею небес над колыбелью моей явился прообраз моей судьбы. <...>

Едва покинув материнское лоно, я узнал, что такое изгнание: меня сослали в Планкуэ, живописную деревушку... У кормилицы моей не оказалось молока; нашлась другая сердобольная крестьянка, которая вскормила меня. Она избрала Назаретскую Божию Матерь моей заступницей и дала обет, что в ее честь я до семи лет буду носить белый и синий цвета. Не успел я прожить и нескольких часов, как гнет времени уже запечатлелся на моем челе. Зачем мне не дали умереть? Господу угодно было во исполнение желаний существа невинного и неизвестного сохранить жизнь, обреченную на суетную славу. <sup>690</sup>

Обеты нынче не в моде, и все же как трогательно заступничество Божьей Матери, которая, снисходя к мольбам бретонской крестьянки, служит посредницей между дитятей и небесами и предстательствует за него вместе с матерью земной. <... >

Когда я вновь [через 3 года] оказался в Сен-Мало, мой отец находился в Комбурге, брат в Сен-Бриенском коллеже; четыре мои сестры жили с матерью.

Любовь моей матери безраздельно принадлежала старшему сыну; конечно, она заботилась и о других детях, но отдавала слепое предпочтение молодому графу де Комбургу. Правда, как мальчик, вдобавок самый младший в семье и шевалье (так меня называли), я имел кое-какие преимущества перед сестрами, но в конечном счете я вырос на чужих руках. <... > Я полюбил женщину, которая ходила за мной, превосходное создание, которое все называли тетушка Вильнёв – я вывожу это имя с теплым чувством и со слезами на глазах. Тетушка Вильнёв заправляла хозяйством, она носила меня на руках, втихомолку пичкала чем ни попадя, утирала мне слезы, целовала меня, ставила в угол, снова брала на руки и постоянно бормотала: «Вот кто не будет гордецом! Вот у кого доброе сердце! Вот кто никогда не станет гнушаться бедными! Кушай, малыш!» – и потчевала меня вином и сахаром.

Мою детскую привязанность к тетушке Вильнёв вскоре вытеснила дружба более достойная.

Люсиль, четвертая из моих сестер, была двумя годами старше меня. Младшая из сестер, она росла без призора и ходила в их обносках. Вообразите себе худенькую девочку, слишком высокую для своих лет, неуклюжую, робкую, запинаящуюся в разговоре и отстающую в учебе, в платье не по росту, запертой в жесткий корсет, вонзающийся в кожу, и с негнушимся стоячим воротничком, обшитом коричневым бархатом, с зачесанными назад волосами, в черной шляпке – и перед вами предстанет несчастное создание, поразившее мой взор, когда я вернулся под отчий кров. При виде тщедушной Люсиль никто бы не подумал, что придет время, когда она будет блистать красотой и талантами.

Ее отдали в мое распоряжение как игрушку; я нимало не злоупотреблял своей властью; вместо того чтобы помыкать ею, я сделался ее защитником. Каждое утро нас отводили к сестрам Куппар,

двум старым, одетым в черное горбуньям, – они учили детей читать. Люсиль читала из рук вон плохо, я и того хуже. Ее бранили; я царапал обидчиц: горбуньи сердились и жаловались матери. Очень скоро я прослыл бездельником, строптивцем, лентяем, наконец, ослом. Родители не спорили: отец говорил, что все шевалье де Шатобрианы только и делали, что гоняли зайцев, пьянствовали да скандалили. Мать вздыхала и ругала меня за порванную курточку. Как ни мал я был, слова отца возмущали меня, а когда мать завершала свои укоризны похвалой моему брату, которого называла Катонем, героем, у меня возникало желание совершить все зло, какого от меня ждали. <... >

Мне оканчивался седьмой год; мать повезла меня в Планкуэ, где мне следовало быть разрешенным от обета кормилицы; мы остановились у бабушки. Если я видел где-нибудь счастье, то, конечно, в этом доме. <... > В день Вознесения, 1775, я с матушкой, тетужкой... дядюшкой... и его детьми, с кормилицей и молочным братом отправился от дома бабушки в церковь Святой Девы Назаретской. На мне было белое полукафтанье, башмаки, перчатки, шляпа – все белое и голубой шелковый пояс. Мы вошли в аббатство в 10 часов утра. ... Монахи уже все были на своих местах; алтарь был освящен множеством свеч; с различных сводов висели лампы: в готических храмах есть дали и как бы последовательные горизонты. Жезлоносцы встретили меня торжественно у дверей и провели на клирос, где нам приготовлено было три места: меня посадили на среднее; кормилица села по левую сторону, а молочный брат – по правую.

Началась обедня. Во время антифона священник обратился ко мне и прочитал молитвы; потом с меня сняли мои белые одежды и повесили их... под образом Богородицы. Меня одели в платье фиолетового цвета. Приор произнес речь о действительности обетов, привел историю барона де Шатобриан, ходившего на Восток с Людовиком Святым, и сказал мне, что, может быть, и я так же буду в Палестине и посету Святую Деву Назаретскую. <... >

В Сен-Мало дети играют на берегу моря между замком и Королевским фортом; там я и вырос, дружа с волнами и ветрами. Одной из первых моих радостей стала борьба с бурями, игра с волнами, которые то отступали от меня, то бежали за мной на берег. Другим развлечением было строить из прибрежного песка сооружения, которые товарищи мои называли печками. <... >

Поскольку судьба моя была раз и навсегда решена [Рене собирались отдать в королевский флот. – *примеч. ред.*], в детстве мне не слишком докучали занятиями. Приблизительные понятия о рисунке, английском языке, гидрографии и математике казались более чем достаточными для образования мальчугана, готовящегося к суровой жизни моряка.

Я рос неучем... Моими закадычными друзьями были уличные мальчишки: они вечно толпились во дворе и лестницах нашего дома. Я ничем не отличался от них; я говорил их языком; у меня были такие же манеры и повадки, такой же расхристанный и неопрятный вид; рубашки на мне вечно были рваные, на чулках красовались огромные дыры; я носил старые, стоптанные башмаки, которые при каждом шаге сваливались с ноги; я часто терял шапку, а порой и пальто. Лицо у меня было чумазое, исцарапанное, в ссадинах, руки грязные... Между тем я любил и посейчас люблю чистоту, даже изысканность. Ночами я пытался штопать свои лохмотья; добрая тетушка Вильнёв и Люсиль помогали мне привести в порядок платье, чтобы избавить меня от наказания и упреков; но их заплатки делали мой наряд еще нелепее. Особенно я горевал, когда появлялся оборванцем среди детей, щеголявших своими обновами. <... >

В известные дни года городские и деревенские жители встречались друг с другом на ярмарках, называемых ассамблеями, которые бывали на островках и в фортах, окружавших Сен-Мало. Когда вода в море бывала низка, на ярмарки ходили пешком, а когда высока – ездили на лодках. Толпы матросов и крестьян, тележки, крытые полотном, табуны лошадей, ослов и мулов; группы купцов; палатки, раскинутые на берегу; процессии монахов и братств, пробирающиеся змеевидными вереницами с своими хоругвями и крестами сквозь толпы; шлюпки, снующие взад и вперед и на веслах, и под парусами; корабли, вступающие в гавань или становящиеся на рейд; пушечные салюты, звон колоколов – все сообщало этим собраниям шум, движение и разнообразие.

Я был единственный зритель этих праздников, непричастный внушаемой ими радости. У меня не бывало денег, не на что было покупать ни игрушек, ни пирожков. Чтобы избежать презрения, которое так пристает к бедности, я уходил далеко от толпы и садился подле луж, которые морские всплески наливают во впадины скал. Там забавлялся я, глядя на полет пингвинов [так в тексте. – *примеч. ред.*] и

чаек, глаза на синеющую даль, собирая раковины, слушая, как поют волны между камнями. Вечером, дома, мне было не лучше: я имел отвращение к некоторым кушаньям, а меня заставляли их есть. Я обыкновенно обращал умоляющие взоры к слуге Франсуа, и он ловко похищал мою тарелку в ту минуту, когда батюшка отворачивался. Насчет огня – та же строгость: мне не позволялось подходить к камину. Какая далекая разница между этими строгими родителями и нынешними баловниками!

Но если я имел неприятности, незнакомые нынешним детям, зато имел также некоторые неизвестные им удовольствия.

Нынче все уже забыли, что такое религиозные праздники и семейные торжества, когда кажется, будто вся родина и ее Бог ликует; Рождество, Новый год, Богоявление, Пасха, Пятидесятница, Рождество Иоанна Крестителя – в эти дни я расцветал... В дни праздников меня вместе с сестрами водили на моление в разные храмы города, в часовню Святого Аарона [ум. 552], в монастырь Победы [le convent de la Victoire]; слух мой поражали нежные женские голоса из невидимого хора: их стройные песнопения сливались с рокотом волн. Когда зимним днем наступало время причастия и собор заполняла толпа, когда множество коленопреклоненных старых матросов, молодых женщин и детей, держа в руках тоненькие свечки, читали свои часословы, когда священник благословлял прихожан, повторявших *Tantum ergo*, и под шквалами рождественского ветра витражи храма звенели, а своды, слышавшие мужественные голоса Жака Картье и Дюге-Труэна, дрожали, я испытывал необычайный прилив религиозного чувства<sup>691</sup>. Тетушке Вильнёв не было нужды напоминать мне, чтобы я молитвенно сложил руки, обращаясь к Богу и называя Его всеми именами, которым научила меня мать; я видел, как распахиваются небеса и ангелы несут к нему наш ладан и наши молитвы; я склонял голову; ее еще не коснулось бремя горестей, под гнетом которых хочется навсегда преклонить чело перед алтарем.

Один моряк, выйдя из церкви после торжественного богослужения, вновь отправлялся в море, готовый сражаться с бурями, другой тем временем возвращался из плавания, и путеводной звездой ему служил освещенный купол церкви: таким образом, религия и опасности постоянно окружали меня и в уме моем одно навсегда связалось с другим. С самого рожденья я слышал разговоры о смерти. Вечерами

по улицам ходил человек с колокольчиком, уведомляя христиан, чтобы они молились за одного из своих новопреставленных братьев. Почти каждый год на моих глазах гибли корабли, и, когда я играл на песчаных отмелях, море выбрасывало мне под ноги трупы чужестранцев...

Я сказал, что слишком ранним возмущением против учительниц Люсили началась моя худая слава; товарищ довершил ее. <... > На втором этаже занимаемого нами дома жил дворянин Жериль: у него был сын и две дочери. Этот сын... что ни делал, все признавалось прекрасным; единственным удовольствием его было драться, а главное – ссорить других и потом быть судьёй этих ссор. Коварно потешаясь над няньками, водившими детей гулять, он был известен только своими шалостями... Отец надо всем смеялся и любил сына без памяти. Жериль сделался моим искренним другом и приобрел надо мной власть невероятную; я преуспевал в уроках наставника, хотя характер мой был совершенно противоположен его характеру. Я любил уединенные игры, не искал ссоры ни с кем; Жериль был помешан на забавах, на шайках и ликовал среди шумной толпы детей. Когда какой-нибудь шалун заговаривал со мной, Жериль тотчас обращался ко мне с вопросом: «Ты ему спускаешь?» При этом вопросе я чувствовал, что честь моя страждет, и вцеплялся в глаза дерзкому, – каких бы лет и роста он ни был, все равно. Зритель битвы, мой друг, аплодировал моей храбрости, но сам никогда за меня не вступался. Иногда он собирал целую армию из всех встречных сорванцов, разделял их на две партии, и мы бились на морском берегу камнями.

Другая изобретенная Жерилем игра казалась еще опаснее. Когда в море была высока вода и случалась буря, валы, ударяясь о подошву замка, долетали до главных башен. В двадцати футах высоты над основанием одной из этих башен находился гранитный парапет, узкий, скользкий, наклонный, который служил для сообщения с равелином, прикрывавшим ров. Нужно было улучшить минуту между двух валов, чтобы перескочить это опасное место, пока разбившаяся волна не покрыла стену башни. Вот движется водяная гора, приближается с глухим ревом... промедлите одно мгновение, и она или унесет вас, или разобьет о стену. Ни один из нас не отказывался от этой потехи, но я видел, как некоторые дети бледнели, приступая к подвигу... А вот другое приключение... Мы стали на краю моста, схватили по камешку и пустили их в головы юнгам. Юнги бросились на нас, принудили

обратиться в бегство и, сами вооружившись камешками, гнали нас вплоть до резервного корпуса... Я не был, как Гораций, поражен в глаз, но один камень задел меня так жестоко, что левое ухо, вполовину оторванное, висело у меня до плеча. Я не думал о боли, а о том, как ворочусь домой. Когда мой друг возвращался из своих походов с подбитым глазом или изорванным платьем, – о нем жалели, за ним ухаживали, его ласкали, переодевали, а я в подобных случаях попадал под наказание. Полученный мной удар был опасен, но Франсуа никак не мог уговорить меня воротиться – так я был напуган! Я укрылся во втором этаже у Жерилия, который стянул мне голову салфеткой. Эта салфетка навела его на мысль: она представилась ему в виде митры: он преобразил меня в епископа и заставил вместе с ним и его сестрами петь мессу до самого ужина. Теперь епископ был принужден спуститься вниз. Сердце у меня билось, пораженный моей болезненной и окровавленной фигурой, отец не вымолвил ни слова. Матушка вскрикнула. Франсуа рассказал горестное приключение, оправдывая меня, но тем не менее меня бранили. Перевязали мне ухо и решили разлучить меня с Жерилем как можно скорее. <... >

Вот картина моего первого детства. Не знаю, хорошо ли полученное мною суровое воспитание, но оно усвоено было моими родителями без намерения, по естественному ходу их душевного настроения. Всего несомненное то, что это воспитание сделало мои идеи менее похожими на идеи других людей. Еще несомненное то, что оно бросило на мои чувства оттенок задумчивости, родившейся во мне от привычки страдать в лета слабости, беззаботности и веселья. Может быть, скажут, что этот образ воспитания мог довести меня до ненависти к виновникам моих дней? Нисколько. Воспоминание об их строгости мне почти приятно... Лучше бы развился мой ум, если бы стали учить меня раньше [в 1777 году, девяти лет от роду, Шатобриан определен в первое в его жизни учебное заведение – Долльский коллеж]? Сомневаюсь: волны, ветра и уединение, бывшие моими первыми учителями, может быть, больше соответствовали моим врожденным склонностям. Может быть, этим диким наставникам я обязан некоторыми добродетелями, которых не знал бы без них. Верно то, что всякая система воспитания сама по себе не лучше и не хуже другой системы. Больше ли теперь любят дети родителей оттого, что не боятся их и говорят им «ты»? Жерилия баловали в том самом доме, где

меня бранили. Мы оба были честные люди, нежные и почтительные сыновья. Что вы считаете дурным, то раскрывает талант вашего дитяти, что вам кажется хорошим, то может заглушить этот же самый талант. Провидение ведет нас, когда назначает играть нам роль на сцене мира. <... >



## Уильям Вордсворт (1770–1850)

Основоположник романтической поэзии в Великобритании. С литературным творчеством Вордсворт соприкоснулся задолго до рождения Байрона и Шелли, сочинял стихи будучи школьником. Когда Вордсворт достиг преклонного возраста, многие его поэтические произведения давно были разобраны на цитаты. Поэма «Прелюдия, или Становление сознания поэта» – основное произведение Вордсворта. При жизни он его не публиковал: сначала считал незаконченным, затем – слишком автобиографичным. Первые черновики «Прелюдии» датируются 1797–1798 гг. Вордсворт задумал написать грандиозную философскую поэму о природе, человеке и обществе, которую планировал назвать «Отшельник» («The Recluse»). Проект этот остался незавершенным. К концу жизни Вордсворт закончил только несколько частей «Отшельника»: Вступительную автобиографическую часть (поэма «Прелюдия»); две неполные книги Первой части («Дом в Грасмире» и «Островок первоцветов»); Вторую часть (поэма «Прогулка»). Основная работа над «Прелюдией» была завершена в 1805 г. Это творческая автобиография Вордсворта, которую в историях литературы также называют «романтическим эпосом», «исповедью», «историей философских идей рубежа XVIII–XIX вв., отразившейся в сознании одного человека». В поэме, написанной белым пятистопным ямбическим стихом (эпический размер в английской литературе), Вордсворт описывает ключевые моменты своего душевного развития. В качестве эпического героя здесь фигурирует сознание поэта, развивающееся до творческой зрелости. Он показывает, как на его становлении сказались повседневная жизнь, личные переживания и исторические катаклизмы. Герой излагает биографию своей души то языком ассоциативной философии XVIII в. (детство), то – годвинизма (юность; годвинизм – условное понимание морали, утилитаризм и анархизм, проповедуемые У. Годвином), то – романтической эстетики (творческое становление). В «Прелюдии» 1805 г., которую Вордсворт читал Колриджу зимой 1807 г. и которая впервые была опубликована в 1926 г.

с комментариями Эрнста де Селинкорта, – 13 книг: «1. Детство и школьные годы»; «2. Школьные годы (продолжение)»; «3. Кембридж»; «4. Летние каникулы»; «5. Книги»; «6. Кембридж и Альпы»; «7. Лондон»; «8. Ретроспект: От любви к Природе до любви к Человечеству»; «9. Франция»; «10. Франция и Французская революция»; «11. Воображение (потеряно и обретено вновь)»; «12. Воображение (продолжение)»; «13. Заключение». На этой редакции Вордсворт не остановился. Он продолжал работать над поэмой до 1839 г. Последний вариант был представлен вниманию читающей Англии вдовой поэта и до сих пор известен по дате публикации как «Прелюдия 1850 г.» В нем – 14 книг (см. таблицу) и около 8,5 тысяч стихотворных строк. Это биография души художника, стоящая в центре английского романтического канона. Примечательно, что поэт всегда изображает состояние души героя через картины природы. Современники говорили о Вордсворте так: «Его душа, отвратившаяся от внешнего мира и сосредоточенная на собственной внутренней жизни, познает ценность мыслей и чувств, вызванных самыми незначительными событиями прожитых лет. Песенка кукушки звучит в его ушах как голос из прошлого; на расцветающих маргаритках лежит отблеск мальчишеского восторга, лучащегося из умудренных опытом глаз поэта; радуга простирается в небесах великолепной аркой в ознаменование перехода от детства к юности, а старый терновник клонится под бременем воспоминаний»<sup>692</sup>.

Вордсворт имел обыкновение совмещать – словно диапозитивы – несколько мысленных пейзажей. Поэт сравнивал, как в разном возрасте при взгляде на один и тот же предмет человек замечает разные детали. Моменты душевных взлетов он выделял особо и полагал, что описывать их надо не в момент возникновения, а после осмысления. Вордсворт определил поэзию как «припоминание ярких моментов прошлого в состоянии покоя» (предисловие к «Лирическим балладам»). Главной творческой силой он считал *воображение*. Воображение для Вордсворта – творческая сила, встающая из глубин сознания поэта, которая позволяет ему острее ощущать бытие – как свое, так и других людей. В отличие от фантазии, воображение не уносит поэта в мир иллюзий, а приближает к нему живой мир, высвечивая лучшие, но скрытые стороны действительности. Моменты, когда происходят вспышки воображения, Вордсворт назвал «местами

времени» («spotsoftime»): «На жизненном пути встречаются Места во времени, / Где бьёт, не иссякая, родник чистейший / Сил жизненных. Туда, устав / От чванства и лукавства / Иль от чего куда потяжелее, / Из мира пустоты и круговерти / Мы обращаемся и черпаем / Целебную подпитку. / Родник, весельем брызжущий, / Проборист. Он дарует силы / Вершины штурмовать, упавшему же – на ноги подняться. / Мы попадаем в эти духовные оазисы тогда, / Когда до нас доходит / Пониманье: насколько / Мышлению подвластно всё, / Что видим мы вокруг. Такие минуты / Приходят откуда ни возьмись, встречаясь / Уже в самом раннем детстве» («Прелюдия», кн. 12, строки 208–225). «Места времени», полагал Вордсворт, могут быть разной интенсивности: одни яркие, другие побледнее. Интенсивность зависит от того, на каком этапе личностного развития находится человек. Первые вспышки еще не вполне развившегося творческого воображения случаются в детстве, они учат героя узнавать гармонию и дисгармонию, прислушиваться к голосу совести. «Места во времени» – это слившиеся в момент личного потрясения пространства внешнего и внутреннего мира, куда поэт (находясь в «состоянии покоя») может мысленно возвращаться, переосмысливая былое. Живительное свойство «мест во времени» – в их способности «пробуждать» героя от бесчувственной дремоты, тормозить воображение и мысль. Переживая вновь и вновь встречу с ними, Вордсворт ощущает в себе нечто очень похожее на те «человеческие движения», которые Н. В. Гоголь советовал забирать с собой, «выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество», не оставляя их на дороге<sup>693</sup>.

## Прелюдия, или становление сознания поэта

### Детство и школьные годы

В то время восхищение и страх  
Наставниками были мне. С пеленок  
Я пестуем был красотой, и после,  
Когда с иной долиной мне пришлось  
Девятилетнему свести знакомство,  
Я полюбил ее всем сердцем. Помню,  
Когда ветров морозное дыханье  
Последним крокусам на горных склонах  
Сжигало венчики, я находил  
Себе отраду в том, чтоб до утра  
Бродить средь скал и тех лощин укромных,  
Где всюду водятся вальдшнепы. Там,  
С силком через плечо, охотник жадный,  
Я обегал свои уголья, вечно  
Не находя покоя, и один  
Под звездами, казалось, был помехой  
Покою, что царил средь них; порой,  
Почти рассудок потеряв и жаждой  
Добычи обуян, чужой улов  
Себе присваивал и после слышал  
Среди холмов безлюдных странный шорох,  
Дыханье близкое, шаги, почти  
Неуловимые средь сонных трав.

Когда апрельский своевольный луч  
У первоцветов стрелки вынимал  
Из новеньких колчанов, я опять  
Вверх устремлялся, в горы, к одинокой

Вершине, где среди ветров и туч,  
Орел-разбойник кров нашел. Увы,  
И тут достойной цель мою назвать  
Я не могу. Но сколько дивных чувств  
Я испытал, когда, почти достигнув  
Гнезда, висел над пропастью – зацепкой  
Мне были лишь пучки сухой травы  
Да трещины в скале; я сам былинкой  
Трепещущею был; с налету ветер,  
Сухой и резкий, дерзостное что-то  
Кричал мне в уши, и чужим, нездешним,  
Каким-то неземным, казалось небо  
И заговорщиками облака!

Как в музыке гармония и лад  
Всем правят, так и человека ум  
Устроен. Некою незримой силой  
Все элементы, чуждые друг другу,  
В нем сведены в поток единый. Так  
И страхи ранние мои, и беды,  
Сомнения, метания, тревоги,  
Неразбериха чувств моих и мыслей  
Становятся покоем, равновесьем,  
И я тогда достоин сам себя.  
Что ж остается мне? Благодарить  
За все, за все, до самого конца.  
Однако же Природа, с юных лет  
Своих питомцев закаляя, часто  
Завесу облаков над ними рвет,  
Как бы при вспышке молнии – так первым  
Их удостаивая испытаньем,  
Наимягчайшим, впрочем; но порой  
Угодно ей, с той же благою целью,  
Устраивать им встряску посильней.

Однажды вечером, ведомый ею,  
Я лодку пастуха нашел, что к иве  
Всегда привязана была у входа  
В укромный грот. В долине Паттердейл  
Я на каникулах гостил тогда,  
И ялик тот едва лишь за приметив,  
Находку счел неслыханной удачей,  
Залез в него и, отвязав, отплыл.  
Луна взошла, и озеро сияло  
Средь древних гор. Под мерный весел плеск  
Шла лодочка моя – вперед, вперед,  
Как человек, что ускоряет шаг.  
Поступок сей, конечно, воровство  
Напоминал, и все же ликованья  
Была полна душа. И горным эхом  
Сопровождаем, ялик мой скользил  
По водной глади, оставляя след  
Из маленьких кругов, что расходились  
От каждого весла и исчезали  
В одном потоке света. Горный кряж,  
Тянувшийся вдоль озера и бывший  
Мне горизонтом, темный небосвод  
И звезды яркие – я, глаз от них  
Не в силах оторвать, все греб и греб,  
Собою горд, и весла погрузил  
В молчанье вод озерных. Мой челнок,  
Как лебедь, приподнялся на волне,  
И в тот же миг из-за прибрежных скал  
Огромного утеса голова  
Вдруг показалась, и росла, росла,  
Пока, воздвигнувшись во весь свой рост,  
Сей исполин меж звездами и мной  
Не встал – и мерным шагом, как живой,  
Пошел ко мне. Дрожащею рукой  
Я челн мой развернул и, поспешив  
Назад, по тихим водам, словно тать,  
Вернулся в грот Плакучей ивы. Там

На прежнем месте лодку привязав,  
Через луга я шел домой и в мысли  
Тяжелые был погружен. С тех пор  
Прошло немало дней, а я никак  
Забыть то зрелище не мог. Неясных  
И смутных образов был полон ум.  
Неведомые формы бытия  
Из темноты вставали. Как назвать  
Тот мрак, я сам не знал. Я был один,  
Покинут всеми; даже то, что прежде  
Мой составляло мир – деревья, небо,  
Поля зеленые, морская ширь –  
Все, все исчезло, кроме тех огромных  
Существ, не походящих на людей,  
Что среди дня мой посещали ум  
И в снах ночных тревожили меня.

Премудрость, дух Вселенной! Ты, душа,  
Бессмертье мысли – ты даешь дыханье,  
Движенье нескончаемое формам  
И образам. И мню, что неслучайно  
Ты с первого рассвета моего  
При свете дня и ночью занимала  
Мой ум не суетой, что человекам  
Столь свойственна, но тем высоким, прочным,  
Что недоступно ей – природой, жизнью  
Непреходящей, и мечты, и мысли  
И чувства все преображала так,  
Что освящались даже боль и страх.  
Так нам порой случается слышать  
В биенье сердца мирозданья пульс.

Сей дар причастности, хоть не заслужен  
Нисколько, но отпущен был сполна.  
Когда в ноябрьские дни долины

Волнистым, тонким выстланы туманом,  
Казались бесприютными вдвойне,  
И в ночи летние, когда по краю  
Озерных вод, что стыли среди холмов  
Печальных, возвращался я домой,  
Их бесприютности и дрожи полн,  
Та благодать сопутствовала мне.  
Когда ж морозы ударяли, день  
Сжимался и в окошках теплый свет  
Горел зазывно в сумерках – на зов  
Я не спешил<sup>694</sup>. Восторг и упоенье  
Владели мной. То был счастливый час  
Для нас для всех. Как на свободе конь,  
Счастливый, гордый, в новое железо  
Обутый, и о доме позабыв,  
По льду озерному под звон коньков  
И ветра свист, носился я. Стремясь  
Забаве взрослой подражать, в охоту  
Играли мы тогда. Все как взаправду:  
Рога трубят, веселых гончих стая  
И заяц быстроногий впереди.  
Холодный сумрак полон голосов  
Звонящих был. Вокруг отлоги гор  
Им вторили. И каждый голый куст,  
И деревце безлистное, и льдистый  
Утес в ответ звенели словно медь.  
А отдаленные холмы в пространство  
Унылый отзвук посылали. Звезды  
Сияли на востоке, и полоской  
Оранжевой на западе светился  
И постепенно догорал закат.

Порой, когда от шума отдохнуть  
Хотелось мне, в уединенной бухте  
Узоры я выписывал, любуясь  
Звездой какой-нибудь на льду. Когда же



Ватагой шумной, разогнавшись с ветром,  
Неслись мы вдаль, и берега во тьме  
Вытягивались в линию и тоже  
Навстречу нам свой ускоряли бег,  
Мне нравилось, отстав, на всем ходу  
Остановиться – редкие утесы  
Еще неслись навстречу, будто вместе  
С землей, что свой заканчивала круг,  
И застывали где-то позади,  
И я стоял, застигнут тишиной  
И скован ею, словно спал без снов.  
О, вы, явления чудные на небе  
И на земле, видения холмов  
И духи мест пустынных! Не напрасна  
Была забота ваша обо мне,  
Когда преследуя меня среди детских  
Забав – в лесах, пещерах, среди холмов,  
На всем вы оставляли отпечаток  
Желания и страха, в океан,  
Земную твердь вседневно обращая,  
Кипящий, где как волны набегают  
Восторг и страх, надежда и тоска.  
В любых занятиях наших, в круговерти  
Чудесной зим и весен, я всегда  
Следы волнений этих находил.

Мы жили, словно птицы. Солнце в небе  
Не видело долин, подобных нашим,  
И радости столь шумной и веселья –  
Таких не знают, верно, небеса.  
И ныне радуюсь, когда припомню  
Леса осенние, молочно-белых  
Орехов грозди; удочку и леску –  
Сей символ упования и тщеты, –  
Что звали нас к источникам среди скал,  
От звезд и солнца лето напролет

Укрытых, к водопадам на изломах  
Речушек горных. Сладко вспоминать!  
И сердцем прежним чувствую опять  
Тот дивный трепет, напряженье то,  
Когда с холмов в июльский полдень ввысь  
Взвивался змей воздушный, натянув  
Свои поводья, словно резвый конь,  
Или с лугов подхваченный внезапно  
Ноябрьским ветром, застывал на миг  
Средь облаков, чтобы потом рвануться  
Куда-то и, отвергнутым, на землю  
Вдруг рухнуть всею тяжестью своей.

Вы, домики смиренные, нам кров  
Дарившие тогда, забуду ль ваши  
Тепло и радость, святость и любовь.  
Среди приветливых полей какими  
Уютными казались ваши кровли!  
Каких только не знали вы забот  
И не чурались их! Однако ж были  
У вас и праздники, и торжества,  
И радости простые: вечерами,  
Собравшись у каминного огня,  
Как часто мы над грифельной доской  
Склонялись низко друг напротив друга  
И крестики чертили и нули  
В баталиях упорных – впрочем, вряд ли  
Их удостою описанья здесь.  
А то еще вокруг белого как снег  
Стола из ели, вишни или клена,  
Сойдясь за вистом, посылали в бой  
Войска бумажные – от настоящих  
Их отличало то, что после всех  
Побед и поражений не разбиты  
И не забыты были, но в поход  
В составе прежнем выступали вновь.

Компания престранная! Иные,  
К сословью низкому принадлежа,  
По прихоти судьбы вдруг возвышались  
Едва ли не до трона, замещая  
Правителей усопших. Как тогда  
Гордыня распирала их – всех этих  
Бубен и пик, трэф и червей! А нам  
Как сладко было всеми помыкать!  
Издевкам, шуткам не было конца,  
Когда потом, словно Гефест с небес,  
Ниц падали – великолепный туз,  
Сей месяц на ущербе, короли  
Опальные и дамы, коих роскошь  
Сквозь тлен еще светилась. За окном  
Меж тем шел дождь, или мороз жестокий  
Все пробовал на зуб, и лед, ломаясь  
На озере близ Истуэйта, порой,  
К воде сползая, доли и холмы  
Протяжным звуком оглашал, похожим  
На вой проголодавшихся волков.

И тщательно припоминая здесь,  
Как дивною наружностью природа  
Меня пленяла с детства, занимая  
Мой ум величием и красотой  
Своих созданий, и пристрастьем к ним  
Старалась пробудить, все ж не забуду  
О радостях иных – происхожденье  
Их мне не ведомо: как временами  
Средь шума и тревог я ощущал  
Вдруг чувства новые – святой покоей  
И тишину – и словно сознавал  
Свое родство со всем, что на земле  
Живет и дышит, и внезапно вещи  
По-новому мне открывались, будто  
Спешили донести простую весть

О том, что жизнь и радость суть одно.

Да, отроком еще, когда земля  
При мне раз десять свой свершила круг,  
К чудесным сменам приучая ум,  
Я Вечной красоты уж замечал  
Присутствие и часто по утрам  
Вдыхал ее как вьющийся туман  
Долины и в недвижной глади вод,  
Берущих цвет у тихих облаков,  
Ее, казалось, созерцал лицо.

Расскажут вестморлендские пески  
И кряжи Камбрии, как, когда море,  
Тень сумерек отринув, посылало  
Пастушьим хижинам благую весть  
О восхождении луны – как долго  
Стоял я, перед зрелищем сиим,  
Как странник, онемев и никаких  
Подобий оному не находя  
В короткой памяти своей, и мира,  
И тишины в смятенном сердце, все ж  
Уйти не мог и, взглядом обводя  
Сияющий простор, словно собирал  
С дрожащих лепестков в сем поле света  
Блаженство новое, как юный шмель.

Так, часто среди ребяческих забав,  
Среди радостей внезапных, словно вихрь  
Захватывавших нас, да столь же бурных,  
Сколь мимолетных, вдруг, словно щита  
Блистаньем поражен, я застывал  
На месте: то природа говорила  
Со мной своим бессмертным языком.

И преткновенья наши, и невзгоды –  
Проделки, верно, озорливых фей –  
Небесполезны были, сохраняя  
В себе сей драгоценный отпечаток  
Картин и форм, что много лет спустя  
Умели оживать и повзрослевший  
И приземленный окрыляли ум.  
И даже если радости самой  
Стирался след, то сцены – те, что были  
Свидетелями ей, – перед глазами  
Вставали вновь и вновь, и с ними чувства  
Забывтые: и воспитатель-страх,  
И удовольствие, и все, что ей,  
Той радости, сопутствовало, – так  
Исполнены великой красоты,  
Сии картины, времени барьер  
Преодолев, уже не покидали  
Ума, родными становясь, и каждый  
Цвет, и оттенок, каждая черта  
Хранили с прошлым радостную связь.

## **Томас де Квинси (1785–1859)**

Английский эссеист и критик. Рос в обеспеченной купеческой семье. В ее достаточно сплоченной и цельной атмосфере ощущал себя отчужденным. В 15 лет отправился в грамматическую школу Манчестера, из которой совершил побег в возрасте 17 лет. Спустя некоторое время получил дальнейшее образование в Ворчестерском колледже (Оксфорд). Писал на исторические, биографические, экономические, психологические и философские темы. С 1804 г. непостоянно, а с 1813 г. и до конца жизни регулярно принимал опиум, что стало темой целого ряда его сочинений. Был близок с Уильямом Вордсвортом и Сэмюэлем Кольриджем.

В наследии Де Квинси помимо уже дважды изданной по-русски «Исповеди англичанина, употребляющего опиум», где есть страницы о детстве и отрочестве автора, имеются подробные «Автобиографические записки» («Наброски о жизни и манерах»), ранее не переводившиеся на русский язык. Они писались между 1831 и 1852 гг. и впоследствии дорабатывались. Мы помещаем перевод первой главы, подготовленной первоначально отдельно и написанной в романтическом стиле, затем противопоставленном стилю иных очерков, например, описанию антагонизма между Томасом и его братом Уильямом во второй главе. Де Квинси не стремился придать стилевое и жанровое единство своим «Автобиографическим запискам», хотя все же произвел некоторую аранжировку отдельных текстов. Рассказ о смерти сестры стал началом автобиографического нарратива, отразив интерес автора к проблемам смерти<sup>695</sup>.

### **Автобиографические записки («наброски о жизни и манерах»)**

#### **Несчастье детства**

На исходе шестого года первая глава моей жизни внезапно закончилась – та глава, которая даже в преддверии обретаемого Рая заслуживала бы того, чтобы ее вспомнить. «Жизнь не вечна!» – таково было тайное предчувствие моего сердца. Для детского сердца оно так же страшно, как для взрослого сознания мысль о любой смертельной ране, наносимой своему счастью. «Жизнь конечна! Она закончится!» – такой была ужасная мысль, которая, наполовину бессознательно для меня, скрывалась в моих вздохах; и как звон колоколов, доносящийся издали летним вечером, кажется иногда наполненным отчетливыми словами, неким наставительным посланием, которое непрерывно повторяется, также и для меня некий неслышимый и таинственный голос, как бы нашептывающий тайное слово, слышимое только моему собственному сердцу, – казалось, гласил, «что ныне цветущая жизнь увянет навеки». Не то чтобы такие слова раздавались в моих ушах или срывались с моих губ, но они, подобно шепоту, тихонько проникли в мое сердце. И все же, что в этом могло быть правдой? Для ребенка не больше чем шести лет от роду возможно ли, чтобы обещания жизни были действительно разбиты или ее золотые кладовые радости исчерпаны? Видел ли я уже тогда Рим? Читал ли я Мильтона? Слышал ли я Моцарта? Нет. Собор Святого Петра, «Потерянный Рай», божественные мелодии «Дон Жуана» – все это было пока неведомо мне, и не столько из-за повседневных условий моего положения, сколько из-за моих все еще незрелых чувств. Впереди могли быть восторги, но восторги – нарушители безмятежности. Мир и покой, внутреннее чувство безопасности, принадлежащие любви, которая превыше всего – они не могут снова вернуться. Такая любовь, столь непостижимая, такой мир, столь нетронутый штормами или страхом штормов, – простерлись над теми четырьмя последними годами моего детства, которые погрузили меня в особые отношения с моей старшей сестрой. Она была на три года старше меня. Обстоятельства, которые сопровождали внезапное окончание этой самой нежной связи, я здесь перескажу. И сначала я сделаю то, что могу сделать наиболее вразумительно, – опишу ту ясную и скромную позицию, которую моя семья занимала в жизни<sup>696</sup>. Любое выражение личного тщеславия, вторгающегося в беглые записи, приводит их к плачевному результату, так как оно несовместимо с тем погружением духа и тем самозабвением, в котором глубокое чувство только и возникает и

может найти себе сердечное пристанище. Поэтому для меня было бы чрезвычайно тягостно, если бы даже тень или, более того, одна лишь видимость отражения этой тенденции прокралась в мои воспоминания. И все же, с другой стороны, невозможно без наложения на естественный ход такого рассказа травмирующих его ограничений предотвратить косвенные умозаключения, которые может вывести читатель из обстоятельств роскоши или аристократической элегантности, которой было окружено мое детство. Так, по зрелому размышлению, я думаю лучше сообщить ему с самого начала с правдивой простотой, в каком слое общества вращалось мое семейство в то время, с которого начинаются эти наброски. Иначе просто могло бы получиться, что, искренне сообщая факты этого раннего опыта, я едва ли смог бы предостеречь читателя от превратного впечатления о моей семье как о принадлежащей более высокому кругу, чем это было в действительности. И могло бы показаться, что это впечатление было намеренно инсинуировано мной.

Мой отец был купцом, но не в шотландском смысле этого слова, где оно означает розничного торговца, того, например, кто продает бакалею из погребка, но в английском смысле, смысле строго определенном; то есть он был человеком, занятым внешней торговлей и ничем другим, а потому оптовой торговлей и никакой другой. Это последнее ограничение понятия важно, потому что оно вводит купца в полезный слой общества, удостоенный отличия Цицероном, как того, кого, конечно, следует презирать, но не слишком сильно даже с точки зрения римского сенатора<sup>697</sup>. Он – этот не совсем презренный человек – умер довольно молодым, очень скоро после событий, описанных в этой главе, оставив своей семье, тогда состоящей из жены и шести детей, свободное от задолженностей земельное владение, приносящее 1600 фунтов стерлингов в год. Конечно, на момент моего повествования, когда он еще был жив, он имел доход гораздо больше, пополняя его прибылью с текущих процентов.

Сегодня любому человеку, кто знаком с коммерческой жизнью, существующей в Англии, будет ясно, что в состоятельной английской семье этого класса – состоятельной, хотя не слишком богатой по коммерческой оценке – домашнее хозяйство достаточно обеспечено, чтобы в нем появлялось все больше места для широты, неизвестной среди соответствующих социальных групп в зарубежных странах.



Например, штат служащих в таких домах, измеренный даже количественно, удивил бы зарубежного наблюдателя, рассматривающего положение английского купца по отношению к другим слоям общества. Но этот же самый штат, оцененный с точки зрения качества и количества обеспечения, сделанного для его комфорта, а также превосходного жилья, повергнет зарубежного наблюдателя в гораздо большее изумление как показатель социальной значимости равно и английского купца, и английского слуги: можно сказать совершенно точно, что Англия – рай для домашних слуг. Либерализм в домохозяйстве, фактически распространяющийся даже на самых презренных слуг, и презрение к мелочной экономии – характерная черта для Англии. И в этом отношении семьи английских купцов как класс по уровню своих расходов далеко обогнали не только соответствующий класс в континентальных странах, но даже и наименее богатые слои нашего собственного дворянства, хотя и признанного наиболее обеспеченным в Европе. С самого детства у меня было много личных возможностей убедиться в этом как в Англии, так и в Ирландии.

Из этой специфической особенности, определяющей домохозяйство английских купцов, возникает нарушение обычной системы для измерений отношений между сословными градациями. Соотношение, если можно так выразиться, между сословным положением и обычными следствиями этого положения, которые всегда соответствуют уровню расходов, здесь прервано и запутано так, что один статус может быть выделен по роду деятельности, а другой, стоящий намного выше, по роскоши ведения домашнего хозяйства. Поэтому я предупреждаю читателя (или мое объяснение уже достаточно предупредило его), что он не должен выводить из любого случайного показателя роскоши и элегантности соответствующий уровень социального положения.

Мы, дети из этого дома, находились фактически в самом благоприятном положении на социальной лестнице, доступном для всех благотворных влияний. Просьба Агари<sup>698</sup> – «Не дай мне ни бедности, ни богатства» – была для нас реализована. Нам была дарована благодать находиться ни слишком высоко, ни слишком низко. Мы были достаточно высоко, чтобы видеть примеры хороших манер, чувства самоуважения и собственного достоинства, но достаточно

незаметны, чтобы оставаться в самом сладостном из одиночеств. Достаточно обеспеченные всеми благородными преимуществами богатства; с отменным здоровьем, лучшей интеллектуальной культурой и изящными развлечениями, —мы, с другой стороны, не знали ничего о социальных различиях. Будучи не угнетенными сознанием лишений, слишком унижающих, и не испытывая нетерпения в стремлении к привилегиям, слишком возвышающим, мы не имели оснований ни для позора, ни для гордыни. До сих пор я благодарен тому, что среди роскоши всех вещей мы были обучены спартанской простоте в пище, поскольку мы питались фактически намного менее роскошно, чем слуги. И если (по примеру императора Марка Аврелия<sup>699</sup>) я должен возблагодарить Провидение за все благодеяния моих ранних лет, то я бы выделил четыре [факта] как достойные специального упоминания: то, что я жил в сельском уединении; что это уединение было в Англии; что мои детские чувства были сформированы благороднейшими из сестер, а не ужасными драчливыми братьями; наконец, что я и они были сознательными и любящими членами чистой, святой и величественной церкви.

\* \* \*

Было два события в моем раннем детстве, которые оставили такие следы в памяти, что я помню их и по сей день. Оба произошли прежде, чем мне исполнилось два года; а именно: первое — примечательное потрясающего великолепия видение любимой няни, которое интересует меня постольку, поскольку демонстрирует, что направления моих мечтаний были органичны и не зависели от настойки опиума<sup>700</sup>, и второе — связанность во мне глубокого чувства благоговения с возрождением крокусов ранней весной. Последнему я не нахожу объяснения, ибо ежегодное возрождение растений и цветов действует на нас обычно только как оживление воспоминаний или предзнаменование неких перемен высокого порядка, поэтому и связывается с идеей смерти, — в то время как о смерти я не мог тогда иметь вообще ни малейших представлений.

Их я, однако, должен был быстро приобрести. Двух моих старших сестер, старших из трех тогда живущих, а также более старших, чем я, постигла ранняя смерть. Первой из умерших была Джейн, приблизительно на два года старше меня. Ей было три с половиной, мне год с половиной, чуть больше или меньше – это пустяк, который я не вспомню. Но смерть тогда была едва ли понятна мне, и обо мне можно сказать, что я перенес горе как грустное недоумение. Приблизительно в то же время в доме была другая смерть – бабушки по материнской линии; но поскольку она приехала к нам с определенной целью умереть в обществе своей дочери и с момента своей болезни жила совершенно изолированно, круг нашей детской знал ее, но не очень хорошо, и мы, конечно, были больше впечатлены смертью красивой птицы (которую я наблюдал лично), пегого зимородка, случайно пораненного. Однако со смертью моей сестры Джейн (хотя и по-другому, поскольку я уже сказал, что был менее опечален, чем озадачен) был связан инцидент, который произвел на меня особо пугающее впечатление, намного более усугубляя мои склонности к размышлениям и абстракции, чем это могло бы быть свойственно моим годам.

Если и была хоть одна вещь в этом мире, вынуждавшая больше, чем от какой-либо другой, мой характер восставать, то это были жестокость и насилие. И вот в нашей семье возник слух, что служанка, которая по случайности была отстранена от своих обычных обязанностей, чтобы ухаживать за моей сестрой Джейн день или два, однажды обошлась с нею резко, если не жестоко. Поскольку эта жестокость случилась в течение трех или четырех дней, предшествующих ее смерти, и хотя причина ее должна была крыться в некоторой раздражительности бедного ребенка, вызванной его страданиями, конечно, в семье распространилось чувство страха и негодования. Я верю, что эта история никогда не достигала ушей моей матери и, возможно, она была преувеличена, но на меня ее воздействие было потрясающим. Я не часто видел служанку, обвиняемую в этой жестокости, но, когда я ее видел, мои глаза упирались в землю; я не мог бы смотреть ей в лицо, но, однако, ни в каком смысле это чувство не могло бы называться гневом. Чувство, которое обрушилось на меня, было возрастающим ужасом, вызванным первым проблеском истины о том, что я нахожусь в мире зла и борьбы.

Хотя я и был рожден в большом городе (город Манчестер даже тогда был среди самых крупных городов острова), я провел все мое детство, кроме нескольких самых ранних недель, в сельском уединении. С тремя маленькими невинными сестрами, подругами моих игр, спящий всегда среди них и скрытый всегда в тихом саду от всякого познания бедности, притеснения и произвола, я не подозревал до этого момента об истинной сущности мира, в котором жили я и мои сестры. С этого момента характер моих мыслей кардинально изменился, поскольку отдельные поступки бывают такими впечатляющими, что один случай из целой серии способен раскрыть перед вами весь репертуар вероятностей того же рода. Я никогда не слышал, чтобы женщина, обвиняемая в этой жестокости, приняла этот случай близко к сердцу, даже после того, как он вскоре приобрел трагический характер. Но на меня тот инцидент оказал продолжительное и сильное влияние, окрашивая собою все мое восприятие жизни.

Так исчезла с земли одна из тех трех сестер, что разделяли мои младенческие игры, и так началось мое знакомство (если можно так сказать) со смертью. И все же фактически я знал немного больше о смерти, чем то, что Джейн просто исчезла. Она ушла, но, возможно, она вернется. Счастливое время дарованного небесами неведения! Благословенна устойчивость детства от горя, несоизмеренного силе ребенка! Я был огорчен отсутствием Джейн. Но в моем сердце все еще я полагал, что она вернется снова. Лето и зима приходят вновь – как крокусы и розы, почему не маленькая Джейн?

Таким образом, тогда была легко излечена первая рана в моем детском сердце. Но не вторая. Ты, дорогая, благородная Элизабет, вокруг чьего высокого чела, как только твой сладостный лик возникает из темноты, я представляю себе тиару света или мерцающий ореол<sup>701</sup> в знак твоего преждевременного умственного превосходства, – ты, чья глава за ее превосходные достижения была удивлением науки<sup>702</sup>, – ты следующей, но после нескольких счастливых лет, ты также была вырвана из нашей детской. Черная тень этого события долго еще преследовала меня, и, возможно, сегодня я мало похож на того, каким мог бы стать. Столп огня, который шел впереди, чтобы вести и побуждать меня; столп тьмы, после поворота к Богу твоего лица, который слишком правдиво открыл моим пробуждающимся страхам тайную тень смерти. Каким таинственным притяжением было

притянуто к тебе мое сердце, сестра? Мог ли шестилетний ребенок особенно ценить успехи раннего интеллектуального развития? Были ли ясность и широта (а в этих качествах выступал передо мною разум сестры) тем колдовством, которое было способно завладеть сердцем ребенка? О нет! Теперь я думаю об этом с интересом, потому что в глазах незнакомого человека это придает некоторое оправдание избытку моей нежности. Но тогда это было недоступно мне; или, если не недоступно, то воспринято только через результаты. Даже если бы ты была лишена ума, сестра моя, не меньше я должен был бы любить тебя, имеющую такое доброе сердце – переполненное, как и мое, нежностью; уязвленное, как и мое, потребностью любить и быть любимым. Это и было то, что короновало тебя красотой и силой:

Любовь, святое чувство,  
Лучший из Божьих даров, в тебе была наиболее сильна.

Эта лампада Рая светила мне отражением живого света, который так непоколебимо горел в тебе; и никогда вновь после твоего ухода, никому, кроме как тебе, у меня не было сил или искушения, храбрости или желания раскрыть чувства, которые владели мной. Поскольку я был самым застенчивым из детей, в продолжение всей жизни врожденное чувство собственного достоинства отвращало меня от демонстрации малейшего проявления чувств, которые я не имел побуждений полностью показывать.

Ни к чему обстоятельно описывать развитие той болезни, которая унесла мою руководительницу и друга. Ей (насколько я помню в данный момент) было около девяти лет, так как мне было около шести. И возможно, это естественное превосходство в годах и в рассудительности, которое она с трогательным смирением не показывала, были пленительными свойствами ее присутствия. Именно в воскресный вечер, если я не ошибаюсь, впервые вспыхнул роковой огонь мозговой болезни, который до этого дремал в ней. Ей было позволено выпить чаю в доме рабочего, отца нашей любимой служанки. Солнце уже село, когда она вернулась в сопровождении этой служанки через поле, клубящееся паром после жаркого дня. С

того дня она заболела. В подобных обстоятельствах такой маленький ребенок, как я, не чувствует никакой тревоги. Рассматривая медиков как людей особых и естественным образом уполномоченных вести войну с болью и болезнью, я никогда не сомневался в положительном результате их усилий. Я, конечно, был удручен, что моя сестра должна лежать в кровати; я был еще более удручен, слыша ее стон. Но все это казалось мне не больше, чем беспокойной ночью, после которой снова взойдет солнце. О! Момент мрака и исступления, когда старшая няня пробудила меня от этой иллюзии, поразив, как ударом Божьей молнии, мое сердце своей уверенностью, что моя сестра должна умереть. Правильно было бы сказать об ужасном, ужасно мучительном, подавленном страдании, которое «невозможно вспомнить»<sup>703</sup>. Само по себе это воспоминание поглощается собственным хаосом. Полный беспорядок и замешательство мыслей обрушились на меня. Я был глух и слеп, настолько меня раздавило это открытие. Я хотел бы забыть обстоятельства того времени, когда моя агония была в апогее, а ее, но иная, приближалась. Достаточно сказать, что скоро все было кончено; и вот настало утро того дня, которое увидело ее невинное лицо, спящее сном, от которого невозможно проснуться, и меня, горюющего от горя, которому нет утешения.

На следующий день после смерти моей сестры, пока прелестный храм ее мозга был еще не нарушен человеческим исследованием, я придумал свой собственный план для того, чтобы увидеть ее еще раз. Ни за что на свете я не хотел, чтобы это стало известно, и не хотел терпеть свидетелей, сопровождавших меня. Я никогда не слышал о чувствах, которые называют «сентиментальными», и не мечтал о таковых. Но печаль, даже печаль ребенка, ненавидит свет и прячется от людских глаз. Дом был достаточно большим, чтобы иметь две лестницы; и я знал, что по одной из них, приблизительно в полдень, когда все стихнет (слуги обедали в час дня), я смог бы прокрасться в ее комнату. Мне представляется, что это было приблизительно через час после полудня, когда я достиг двери комнаты; она была заперта, но ключ не убрали. Войдя, я закрыл дверь так тихо, что, хотя она выходила в зал, который проходил через все этажи, даже эхо не пробежало по безмолвным стенам. Затем, обернувшись, я стал искать лицо моей сестры.

Но кровать была переставлена и повернута ко мне задней частью. Мои глаза ничего не встретили, кроме одного большого окна, широко распахнутого, через которое полуденное солнце середины лета заливало комнату сияющими лучами. Погода была сухая, небо было безоблачно, голубая бескрайность небосклона казалась точным отображением бесконечности, и глазам было невозможно увидеть, а сердцу – представить символы, более точно отражающие пафос и торжество жизни.

Позвольте мне на мгновение сделать паузу, приближаясь к воспоминанию, необычайно воздействующему на мои мысли, чтобы упомянуть, что в «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» я приложил все усилия, чтобы объяснить причину, почему смерть, при других равных условиях, более глубоко воздействует летом, чем в другие времена года, – настолько, по крайней мере, насколько это воздействие подлежит каким-либо видоизменениям в зависимости от пейзажа или сезона. Причина, как я там предполагал, лежит в антагонизме между тропической избыточностью жизни летом и холодным бесплодием могилы. Лето мы видим, могилу же представляем мысленно; торжество – вокруг нас, темнота – внутри нас; и они вступают в противоречие, каждое придает другому еще большую контрастность. Но в моем случае была даже более сложная причина, почему лето возымело такую сильную власть разыграть свой спектакль или пробудить мысли о смерти. И при этом воспоминании мне открылась истина, что большее количество наших самых глубоких мыслей и чувств приходит к нам через запутанные (пестрые) комбинации конкретных объектов, в переплетениях (если я могу применить такое слово) сложного опыта, которые невозможно распутать, а не достигает нас прямо и в своих абстрактных формах. Так случилось, что среди обширного книжного собрания нашей детской была богато иллюстрированная Библия. И долгими темными вечерами, когда мои три сестры и я сидели у огня вокруг ограды<sup>704</sup> нашей детской, никакую книгу мы так не просили, как эту. Она властвовала над нами и завораживала, словно музыка. Наша младшая няня, которую все мы любили, иногда, в соответствии со своим простым разумением, пыталась объяснять нам то, чего мы не понимали. Мы, дети, все без исключения были охвачены грустью; мерцающий сумрак комнаты и внезапные всполохи горящего пламени,

озарявшие полумрак, соответствовали нашему вечернему настроению; и также они соответствовали дивным откровениям мощи и таинственной красоты, которые заставляли нас трепетать. Прежде всего, история истинного человека – человека и все же не человека, того, кто действительно всякой действительности и все же призрачнее всякой действительности, – история того, кто претерпел крестные муки смерти в Палестине, пала на наши умы подобно рассветным лучам на воды. Няня знала и объясняла нам основные особенности восточного климата, и все эти особенности (как это случается) непосредственно выразились в большей или меньшей степени в различной связи с великими проявлениями и стихиями летнего времени. Знойное безоблачное небо Сирии – казалось, обещает вечное лето; апостолы собирают колосья пшеницы, стало быть, все происходит летом, но, более всего, само название Пальмового <sup>705</sup> возбуждало меня подобно церковному хоралу. «Воскресенье!» Что это было такое? Это был день умиротворения, который скрывал другое умиротворение, намного более глубокое, чем может постичь человеческое сердце. «Пальмы!» Каковы они были? Это слово имело двойной смысл: пальмовые ветви в смысле трофеев выражали великолепие жизни; пальмы как продукт природы выражали великолепие лета. Все же даже это объяснение недостаточно; это «Воскресение» было не просто миром и летом, глубоким звуком запредельного и возрастающего торжества, к которому я постоянно возвращался. Это происходило также потому, что образ Иерусалима пребывал рядом с теми глубокими образами в одном времени и месте. Великое иерусалимское событие было уже близко, когда настало Пальмовое воскресенье, и действие в это воскресенье происходило недалеко от Иерусалима. Чем был тогда Иерусалим? Представлял ли я его себе как пуп или физический центр земли? Почему это должно было волновать меня? На звание центра земли Иерусалим когда-то претендовал, как и какой-то греческий город, и обе претензии оказались смешны, когда стала известна форма планеты. Да; но если не для самой земли, то все же для смертных, для жителя земли Иерусалим стал пупом земли и абсолютным центром. И тем не менее, как? Там, как мы, дети, поняли, смерть была повержена. Это так; но именно по этой же причине там смерть открыла свою самую мрачную пропасть. Там, конечно же, произошло то, что человеческое вознеслось



на крыльях из могилы, но именно по этой же причине и божественное было поглощено бездной. Для того чтобы меньшая звезда могла подняться, большая должна закатиться. Лето поэтому соединилось со смертью не просто как модель антагонизма, но также и как явление, помещенное в сложные отношения со смертью библейскими пейзажем и событиями.

Из этого отступления, которое я сделал, чтобы показать, как неразрывно мои чувства и образы смерти были переплетены с чувствами и образами лета, как они связаны с Палестиной и Иерусалимом, позвольте мне вернуться в комнату моей сестры. От великолепного солнечного света я повернулся к трупу. На кровати лежала милая детская фигурка; ангельское личико; и, как обычно люди представляют себе и как было сказано в доме, никакие признаки смерти не отразились на ней. Их не было? Лоб, безмятежный и благородный лоб, возможно, таким и остался; но застывшие веки, тьма, которая, казалось, проступает из-под них, мраморные губы, окостеневшие руки, сложенные ладони, как будто в повторении просьб об окончании страданий, – могли ли быть они приняты за живые? Если бы это было так, почему я не бросился к этим божественным губам со слезами и бесконечными поцелуями? Но это было не так. Я стоял замороженный на мгновение; благоговение, а не страх, захватило меня; и, пока я стоял, начал дуть мрачный ветер, самый печальный из тех, что когда-либо слышало ухо. Это был ветер, который мог бы охватить поля смерти за тысячи столетий. Много раз с тех пор, в самые жаркие летние дни я замечал возникновение такого же ветра, издающего такой же глухой звук, торжественный, мемнонианский<sup>706</sup>, но наполненный святостью: он в этом мире один великий слышимый символ вечности. Три раза в жизни мне довелось слышать тот же самый звук при аналогичных обстоятельствах, когда я стоял между открытым окном и мертвым телом в летний день.

Тотчас же, когда мое ухо уловило эту величественную эолийскую интонацию<sup>707</sup>, когда мои глаза наполнились золотым избытком жизни, великолепием небес над землей, торжеством цветения на земле и когда, обернувшись, я увидел холод, покрывающий лицо моей сестры, я впал в транс. Казалось, небесный свод растворился в зените бескрайнего голубого неба и открылся тоннель света, убегающий вдаль. Я вознесся духом, словно на волнах, которые бежали по

тоннелю; и волны, казалось, бегут к трону Бога; но тот также парил перед нами и постоянно ускользал. Полет и преследование, казалось, продолжаются вечно. Холод, нарастающий холод, какой-то ледяной ветер смерти, казалось, отталкивает меня; какие-то могущественные силы, возникшие между Богом и смертью, подспудно боролись, чтобы вырваться из трагического антагонизма между ними; призрачные значения даже сейчас продолжают испытывать и мучить в видениях живущего во мне оракула, разгадывающего тайны. Я спал – как долго, не могу сказать; медленно я восстанавливал мое самосознание; и когда я очнулся, то обнаружил себя стоящим, как и раньше, у кровати моей сестры.

У меня есть основания считать, что это блуждание или остановка сознания заняла очень долгий промежуток времени. Когда я пришел в себя, на лестнице послышались шаги (или мне так почудилось). Я был встревожен; если кто-нибудь обнаружит меня, то будут приняты меры, чтобы пресечь мое возвращение сюда снова. Поэтому я торопливо поцеловал губы, которые я никогда больше не буду целовать, и как виноватый прокрался тихими шагами из комнаты. И так растворилось самое лучшее видение, которое было явлено мне на этом свете; так было нарушено расставание, которое должно было бы продолжаться вечно; и так отравлено было страстью это прощание, священное в своей любви и скорби, совершенной любви и неизбывной скорби.

О Агасфер, Вечный Жид! Басня ты или нет, ты, начинающий свое бесконечное горестное паломничество, ты, первый раз пролетающий через ворота Иерусалима и тщетно тоскующий о том, чтобы оставить преследующее тебя проклятье позади, не мог прочитать в словах Христа большой приговор бесконечного страдания<sup>708</sup>, чем я, когда навеки покидал комнату моей сестры. Червь был в моем сердце; и я могу сказать, что червь этот не мог умереть. Человек, несомненно, представляет собой некую тонкую связь, некую систему звеньев, которую мы не можем постичь, простирающуюся от новорожденного младенца к ветхому деньми старцу. Но что касается многих привязанностей и страстей, присущих его природе на различных стадиях жизни, он не есть единое целое, но прерывное создание, заканчивающееся и начинающееся заново; в этом плане единство человека существует только в определенный период, к которому относится конкретная страсть. Некоторые страсти, происходящие от

плотской любви, наполовину – небесного происхождения, наполовину – животного и земного. Они не переживут соответствующий им период. Но любовь, которая полностью свята, подобно этой, между двумя детьми, имеет привилегию вновь возвращаться, озаряя тишину и темноту закатных лет; и возможно, этот опыт кончины в спальне моей сестры, или какой-то иной, к которому ее невинность имела отношение, может возникнуть для меня снова, чтобы озарить облака смерти.

На следующий день после того, который я описал, прибыли медики, чтобы исследовать мозг и специфическую природу болезни; в некоторых ее симптомах проявились озадачивающие аномалии. Через час после того, как незнакомцы ушли, я снова прокрался к комнате. Но дверь теперь была заперта, ключ убрали, и меня никогда уже больше туда не впустили.

Наступили похороны. Я был доставлен на церемонию прощания. Меня поместили в коляску с незнакомыми мне господами. Они были добры и внимательны ко мне, но естественно, что они говорили о вещах, далеких от случившегося, и я тяготился их беседой. В церкви мне сказали, чтобы я держал белый носовой платок у глаз. Пустое лицемерие!

Какая необходимость была в масках и притворстве тому, чье сердце умирало в груди с каждым произнесенным словом? В течение той части службы, которая проходила в пределах церкви, я делал усилия быть к ней внимательным, но постоянно погружался в свою собственную уединенную темноту и мало осознавал слышанное, кроме нескольких мимолетных стихов из возвышенной главы послания св. Павла, которая в Англии всегда читается на похоронах<sup>709</sup>.

Наконец началась та великолепная литургия, которая в англиканской церкви исполняется на краю могилы; эта церковь не оставляет своих покойников, пока они находятся на земле, вплоть до последнего «сладкого и торжественного прощания»<sup>710</sup> у края могилы. Здесь снова и в последний раз выставляют гроб. Все глаза изучают запись имени, пола, возраста и дня ухода с земли – как наши записи призрачны – и как брошены они оказываются в темноту, – как послание, адресованное червям. Почти самым последним происходит символический ритуал, разрывающий и разбивающий сердце градом залпов, раскат за раскатом, из прекрасной артиллерии скорби. Гроб

опускается в свой дом, он исчезает от всех глаз, кроме тех, которые смотрят в пропасть могилы. Уже готов ризничий с его совком земли и камней. Голос священника слышится еще раз – «земля к земле», – и немедленно страшный грохот поднимается от крышки гроба; «пепел к пеплу» – и снова слышится убийственный звук; «прах к праху» – и прощальный залп провозглашает, что могила, гроб, лицо запечатаны на веки вечные.

Скорбь! Ты искусство, относящееся к угнетающим страстям. И истинно то, что ты обращаешь в пыль, но истинно и то, что ты возносишь к небесам. Ты сотрясаешь лихорадкой, но и укрепляешь, как мороз. Ты мучаешь сердце, но и излечиваешь его немощи. Среди главных черт моего характера была болезненная чувствительность к позору. И десять лет спустя я привык бросать самому себе упреки в этой форме немощи; так что, если бы требовалась моя помощь для погибающего ближнего, и я мог бы получить эту помощь только обратившись к большой компании критически настроенных или глумящихся лиц, я мог бы, возможно, полностью уклониться от своего долга. Правда, такой случай никогда не происходил на самом деле: просто он был надуманной казуистикой, чтобы обвинять себя в такой отвратительной трусости. Но чувствовать сомнение было то же, что ощущать приговор; и преступление, которое могло произойти, в моих глазах было преступлением, которое произошло. Теперь, однако, все изменилось, и в отношении ко всему, касающемуся памяти моей сестры, мое сердце в одночасье стало иным. Однажды в Вестморленде я наблюдал похожий случай. Я видел овцу, вдруг изменившую своей собственной природе под действием любви; – да, она сбросила ее полностью, как змея сбрасывает кожу. Ее ягненок упал в глубокую траншею, все попытки выбраться из которой без помощи человека были безнадежны. И она обратилась к человеку, жалобно бляя до тех пор, пока он не последовал за ней и не спас ее любимое существо. Я изменился не меньше. Пятьдесят тысяч глумящихся лиц не потревожили бы меня теперь в любом проявлении нежности по отношению к памяти моей сестры. Десять легионов не удержали бы меня от ее поисков, если бы здесь был хоть малейший шанс найти ее. Издевательство! Его не существует для меня. Смех! Я не ценю его. И когда оскорбительно издевались над моими «девичьими слезами», то слово «девичий» не жалило меня, а отдавалось словесным эхом одной

вечной мысли моего сердца, что та девочка была прекраснейшим существом из всех, которых я знал в моей короткой жизни; эта девочка была той, кто короновал землю красотой, и той, кто открыл моим жаждущим устам источники чистой небесной любви, из которых в этом мире мне не суждено больше напиться. Сейчас начали проявляться утешения одиночества, те утешения, испробовать которые было предназначено только мне, те очарования одиночества, которые, действуя в сообществе с неизбывной скорбью, в конце концов приводят к парадоксальному результату превращения скорби в сокровище; такое сокровище, которое перевешивает жизнь и энергию жизни и представляет возрастающую опасность. Все глубокие чувства хронического характера сходны в том, что они ищут одиночества и питаются одиночеством. Глубокое чувство скорби, глубокое чувство любви, как естественно делаются они союзниками религиозным чувствам! И все три – любовь, скорбь, вера – всегда и уединенных мест. Любовь, скорбь и тайна молитвы – что были бы они без одиночества? Весь долгий день, когда я имел возможность остаться один, я искал наиболее тихий и укромный уголок около дома или в соседних полях. Ужасная неподвижность летнего полдня, когда ни ветерка, притягательная тишина серого или туманного послеобеденного времени очаровывали меня как колдовство. Я пристально вглядывался в лес, в воздушный простор, как если бы там могло скрываться какое-то утешение. Я утомлял небеса своими молящими взглядами. Упрямо я изводил синие глубины моим пытливым взглядом, прочесывая их снова и снова глазами и ища в них одно ангельское лицо, которое могло бы, возможно, получить разрешение показаться на мгновение. В то время под давлением пожирающей скорби, которая цеплялась за то, чего не могла получить, во мне росла и прогрессировала способность создания из незначительных элементов образов, находящихся вне досягаемости, и группировки их вместе по велению сердечной тоски. И я сейчас вспоминаю один случай подобного рода, который может показать, как простые тени, или отблеск света, или вообще ничего могли предоставить достаточную основу для этой творческой созидательной способности.

Воскресным утром я отправился с остальной частью моего семейства в церковь. Это была церковь старинного английского

образца, имеющая проходы, галереи<sup>711</sup>, орган, все вещи древние и почтенные, и величественных размеров. Здесь, в то время как прихожане стояли на коленях во время длинной литании<sup>712</sup>, как только служба подходила к тому месту, такому красивому, как и многие другие, в котором Бога умоляют за «всех немощных людей и малых детей», надеясь, что он «проявит свое сострадание ко всем узникам и пленникам», я тайно плакал. И, поднимая свои заплаканные глаза к верхним окнам галерей, в дни, когда сияло яркое солнце, я видел зрелище такое поразительное, которое мог бы созерцать лишь пророк. Края окон были отделаны сюжетными витражами; через темный пурпурный и малиновый цвета струился золотой свет; краски, созданные небесным освещением (от солнца), смешивались с земными красками (от искусства и его яркой палитры), величайшим созданием человека. Там были апостолы, попирающие стопами землю и ее красоты из небесной любви к человеку. Там были мученики, которые пронесли свидетельства истины через огонь, через пытки и через полчища жестоких, оскорблявших их лиц. Там были святые, которые под невыносимыми муками прославляли Бога кроткой покорностью Его воле. И все время, пока этот гул возвышенного напоминания длился подобно аккорду какого-то музыкального сопровождения, звучавшего в низком регистре, я видел через широкую центральную часть окна, в которой стекло было прозрачным, белые кудрявые облака, плывущие по лазурным глубинам неба; это были они, но фрагмент или очертание такого облака немедленно в моих залитых слезами глазах росли и превращались в видения кроваток с белыми батистовыми пологам; и в этих кроватках лежали больные умирающие дети, которые металась в муках и, плача, призывали смерть. Бог, по каким-то таинственным причинам, не мог тут же освободить их от страданий; но он переносил кроватки, как мне казалось, наверх, медленно через облака. Постепенно кроватки возносились в воздушные палаты; так же медленно Его руки протягивались с небес, где Он и Его маленькие дети, которых в Палестине он раз и навсегда благословил, могли бы скоро встретиться, хотя они и должны медленно пройти через ужасную пропасть расставания. Эти видения были самодостаточны. Они не нуждались в том, чтобы до меня долетал какой-нибудь звук или чтобы музыка порождала мои чувства. Отзвук литании, фрагменты облаков – этого и витражей было

достаточно. Но тем не менее свою собственную линию создавали трубы рокочущего органа. И часто вместе с гимном, когда могучий инструмент выбрасывал мощные столпы звука, жесткого, но все же мелодичного, над голосами хора – высоко в арках, когда они, казалось, поднимаются вверх, преодолевая и подавляя спор вокальных партий и собирая силой принуждения общий хаос в единство, – тогда я, казалось, взмывал ввысь и торжественно гулял по тем облакам, за которыми минуту назад я следил, как за символами поверженного горя. Да, иногда под воздействием музыки само чувство скорби становится пламенной колесницей для победного вознесения над причинами печали.

Бог также говорит с детьми во снах посредством предчувствий, которые таятся в темноте. Но в одиночестве сверх тех вещей, которые вошли в созерцающее сердце через догматы и обряды национальной церкви, Бог имеет с детьми «ничем не нарушаемое общение». Одиночество, хотя оно может быть тихим, как свет, само быть подобно свету, – самое могущественное из сил, ибо одиночество присуще человеку. Все люди приходят в этот мир одни, все покидают его в одиночку. Даже в маленьком ребенке есть страх, нашептанный ему сознанием, что, если он будет призван совершить путешествие в горный мир, ни нежной няньке не будет позволено вести его за ручку, ни мать не отнесет его на своих руках, ни маленькая сестра не разделит его тревог. Король и священник, воин и дева, философ и ребенок – все должны пройти те громадные галереи одни. Поэтому одиночество, которое в этом мире ужасает или очаровывает детское сердце, – всего лишь эхо намного более глубокого одиночества, через которое ребенок уже прошел, и отражение другого такого же, через которое он еще должен пройти: восприятие одного одиночества – предчувствие другого. О, бремя одиночества, которое всегда присуще человеку на каждой стадии его бытия! – в его рождении, которое было, в его жизни, которая есть, в его смерти, которая будет, – могущественное и непреодолимое одиночество! Это бытие, и искусство, и искусство бытия; твой покров, подобно Божьему духу, парящему над поверхностью глубин, простерся над каждым сердцем, которое спит в детских христианского мира. Подобно тому как обширная воздушная лаборатория, кажущаяся несуществующей или меньшей, чем след от тени, скрывает в себе принципы всех вещей,

одиночество для размышляющего ребенка – агриппово зеркало<sup>713</sup> невидимой вселенной. Глубоко одиночество миллионов, кто, с сердцами, алчущими грядущей любви, не имеют никого, кто бы любил их. Глубоко одиночество тех, кто томится тайной печалью и не имеет никого, кто бы им сострадал. Глубоко одиночество тех, кто, борясь с сомнениями или тьмой, не имеет никого, кто бы наставил их. Но глубже, чем самое глубокое из этих одиночеств, то, которое нависает над детством под гнетом горя, предвосхищая время от времени последнее одиночество, которое ожидает в воротах смерти. О могущественное и непреодолимое одиночество, бытие, и искусство, и искусство бытия! Твое совершенное королевство находится в могиле; но даже тем, кто смотрит с другой его стороны, подобно мне, ребенку шести лет, ты протянуло скипетр обаяния.

### **Отзвуки видений этих детских опытов**

Замечание к читателю. Солнце, восходящее или заходящее, производило бы гораздо меньшее впечатление, если бы обманывало своими лучами и их неисчислимыми отражениями. «Увиденное сквозь туман», – говорит Сара Кольридж, благородная дочь Сэмюэля Тейлора Колриджа, – золотое, лучистое солнце напоминает тусклый апельсин или красный бильярдный шар»<sup>714</sup>. И по той же самой аналогии опыт глубокого душевного страдания или радости достигает своего полного выражения, когда он отражается в грезах. Читатель поэтому должен представить меня в Оксфорде; прошло более чем 12 лет. Я в расцвете молодости, но я сейчас первый раз попробовал опиум; и вот теперь волнения моего детства возникли с новой силой; и вот теперь они накатились на мозг с мощью и великолепием возрожденной жизни.

Еще раз, после двенадцатилетнего перерыва, наша детская снова предстала предо мной; моя сестра стонала в кровати; и я начинал мучиться страхами, непонятными мне. Еще раз старшая няня, но теперь увеличенная до огромных пропорций, стояла как бы на какой-то сцене греческого театра с воздетой к небу рукой и, подобно величественной Медее, возвышающейся над своими детьми в детской Коринфа<sup>715</sup>, беспощадно давила меня к земле. Снова я в комнате с



трупом моей сестры, снова великолепие жизни возникло в тишине, торжество лета, лучи сирийского солнца, холод смерти. Грезы загадочно порождают грезы; и в этих оксфордских грезах непрерывно возрождался транс, который я пережил в комнате моей сестры, – голубые небеса, бескрайний свод, парящие волны, трон, порожденный мыслью (но не видимый) о «том, кто мог бы сидеть на нем», полет, преследование, непоправимые шаги моего возвращения на землю. Еще раз собирается похоронная процессия; священник в своем белом облачении и с книгой в руках стоит в ожидании у открытой могилы; ризничий ждет его с совком; гроб опустили; прах был предан праху. Снова я был в церкви святым воскресным утром. Золотой солнечный свет Бога, покоящийся на головах Его апостолов, Его мучеников, Его святых; фрагмент литании, часть облака; снова возникли батистовые кровати, поднимающиеся в небеса, таинственные руки, опускающиеся вниз, чтобы встретить их. Еще раз нарастает гимн, взрыв хорового «Аллилуйя», буря звуков, клокочущее движение страстей хорала, волнение моих собственных трепещущих чувств, гул хора, рокот органа. И теперь все было связано воедино; первое и последнее состояния переходили друг в друга как в некой солнечной, окруженной ореолом дымке. Ибо высоко в небесах вокруг подушек умирающих детей парил сонм ангельских ликов, прикрытых крыльями. А подобные создания равно выражают сочувствие скорби, которая унижает, и скорби, которая возвышает. Такие существа грустят подобно ослабевающим в смерти детям и детям, живущим лишь для увядания в слезах.

### **Отзвуки грез пятьдесят лет спустя**

В этом случае отзвук, воспроизведший детский опыт, мог быть интерпретирован читателем как связанный с реальным восхождением на Брокен, которого не было в действительности. Это восхождение, осуществленное во всех его подробностях в грезах, которые при длительном использовании опиума с изумительной точностью повторяют самую длинную последовательность явлений, почерпнутых ранее из книг или из фактического опыта. Тот расслабляющий и одухотворяющий туман, который на всех стадиях приема опиума

принадлежит действию грез и фантомам, выработанным растревоженными воспоминаниями, возвращающими в прошлое всех этих моих 50 лет, в этот раз дополнил мои собственные чувства древним призраком лесной горы на севере Германии. Живописность сцены особенно пробуждает скрытые воспоминания, таящиеся в глубине души. Полуспортивные интерлюзорные символические видения дают тот же эффект. Одна часть эффекта от символического зависит от великого католического принципа *Idem in alio*.<sup>716</sup> Символ восстанавливает тему, но в новых комбинациях формы и цвета; возвращает вспять, но изменяет ее; восстанавливает, но в идеализированной форме.

Поднимитесь со мной в этот ослепительный праздник Троицы на Брокен на севере Германии. Рассвет открылся в безоблачной красе. Это – рассвет Июня – свадебной поры; но, поскольку часы спешили, его младшая сестра Апрель, иногда нисколько не заботясь о пресечении границ Мая, беспокоит солнечный характер невесты-Июня нападением быстро накатывающихся кратковременных ливней, летящих и преследующих, открывающих и закрывающих, скрывающих и возрождающих. Таким утром, достигнув с рассветом вершины горы, у нас будет всего один шанс для того, чтобы увидеть знаменитый призрак Брокена<sup>717</sup>. Кто и что он такое? Он – одинокое видение, в смысле любви к одиночеству; еще – не всегда одинок в своих персональных проявлениях, но в надлежащих случаях, как известно, может явить вполне достаточную силу, чтобы встревожить тех, кто оскорбил его. Теперь, чтобы проверить природу этого таинственного видения, мы проведем два или три эксперимента. Мы не без основания боимся того, что, поскольку призрак прожил много столетий с отвратительными языческими колдунами и запечатлел в себе многие поколения идолопоклонников, его сердце, возможно, было развращено и что даже теперь его вера может быть нестойкой или нечестивой. Мы испытаем его. Сделаем знак креста и понаблюдаем, действительно ли он повторил его (так как на Троицу<sup>718</sup> он, конечно, обязан это сделать). Смотрите! Он действительно повторяет его; но эти мчащиеся апрельские ливни сбивают образы с толку, и они, возможно, придают призраку видимость того, что он действует неохотно или уклончиво. Вот снова солнце сияет более ярко, и все ливни унеслись, подобно эскадронам кавалерии. Мы испытаем его еще раз. Сорвем анемон,

один из тех многих анемонов, которые были однажды названы волшебным цветком, и перенесем на него часть ответственности в этом неприятном ритуале страха; отнесем его к тому камню, который похож на языческий алтарь и однажды был назван волшебным алтарем<sup>719</sup>, тогда, преклонив колено и поднимая вашу правую руку к Богу, скажите: «Отец небесный, этот прекрасный анемон, который некогда украшал культ страха, вернулся в лоно Твоей церкви; этот алтарь, который некогда курился кровавыми ритуалами в честь Корфо (Cortho), был давно заново посвящен на святую службу Тебе».

Тьма исчезла, жестокость, порожденная тьмой, исчезла; стоны, которые издавали жертвы, прекратились; исчезло облако, которое некогда постоянно висело над их могилами, облако протеста, которое всегда поднималось к Твоему престолу от слез беззащитных и гнева праведных. И вот! Мы, я – Твой слуга и этот таинственный призрак, кого за час на Твоем празднике Пятидесятницы я заставил стать моим слугой, – вместе приносим жертву в этом твоём восстановленном храме. Смотри! Призрак срывает анемон и кладет его на алтарь; он тоже склоняет свое колено, он также возносит свою правую руку к Богу. Он нем, но иногда немой служит Богу особенно усердно. Может быть, вы все еще думаете, что на этом возвышенном празднике христианской церкви он находится под воздействием сверхъестественного влияния своей веры, служа которой, он так часто вынужден был кланяться и преклонять колени в убийственных ритуалах. В религиозной службе он мог быть робок. Поэтому испытаем его земными страстями, когда он не может лицемерить из корысти или из страха. Если однажды в детстве вы пережили непосильное несчастье, если однажды, будучи бессильными перед лицом этого врага, вы все же вызвались бороться с тигром, который таится в разлуках, порожденных могилой, в этом случае по примеру Иудей<sup>720</sup>, сидящей под пальмой для того, чтобы плакать, но сидящей с покрытой головой, вы также покройте вашу голову. Много лет прошло с тех пор; и, возможно, тогда вы были маленьким несмышленищем, чуть больше шести лет. Но сердце было глубже, чем Дунай; и такой же, как была ваша любовь, была и ваша печаль. Прошло много лет с тех пор, как эта тьма спустилась на вашу голову, много летних сезонов, много зимних; но все еще ее тени накатывают иногда на вас, подобно апрельским ливням на свадебный июнь. Поэтому теперь, в это кроткое

утро Пятидесятницы, покройте вашу голову, подобно Иудее, в память об этом запредельном горе и в доказательство того, что действительно этот жест превосходит любые произнесенные слова. Тут же вы видите, что призрак Брокена покрывает свою голову по примеру Иудеи, плачущей под своим пальмовым деревом, как если бы он тоже имел человеческое сердце и как если бы он также в детстве пережил непосильное несчастье и теперь пожелал этим немым символом послать вздох к небесам в память о том запредельном горе и обозначить, пусть и многие годы спустя, то, что оно действительно было невыразимо словами.

# *Приложение*

## **Неевропейский опыт воспоминаний о детстве**

**ШЭНЬ ФУ (р. 1763)**

«Шесть записок о быстротечной жизни» составлены Шэнь Фу в возрасте 46 лет. Рукопись увидела свет в 1877 г. Хотя, согласно названию, произведение должно было состоять из шести частей, сохранились только четыре тетради. Полный текст «Записок» не найден и вопрос о том, существовал ли он вообще, остается открытым. В истории китайской литературы эта книга занимает особое место, выходя за пределы известных китайских жанров и традиционных методов. Ближе всего она к литературе бицзи.

Бицзи – это пограничная литература между официальными жанрами и профессиональной повествовательной прозой на вэньяне. Литература бицзи воспринималась как запись факта. Автор здесь был собирателем; он записывал то, что казалось ему значительным. В бицзи попадали как рассказы о необычайном – особенно былички, бывальщина, так и реальные происшествия. Сочинения бицзи не претендовали считаться «литературой», они – вместилище сведений, фактов, всякого рода информации. Дневники, путевые записи, описания края или обычаев, поваренная книга или книга по садоводству – все это бицзи. Филологические и исторические разыскания по частным вопросам тоже бицзи. В бицзи писатель – профессионал или любитель – не был скован какими-то особыми жанровыми нормативами и соответственно материалом, поэтому это была литература без принятой литературности, литература наиболее свободного проявления личности, и, пожалуй, больше других литературных произведений бицзи могли рассказать о подлинной жизни китайцев.

Поставив перед собой иные эстетические задачи, нежели написание дневника, описания края либо путешествия, Шэнь Фу создал

своеобразную беллетризованную автобиографию. «Записки» Шэнь Фу – уникальное литературное явление, ибо впервые в китайской литературе XIX в. появилось описание частной жизни. До Шэнь Фу никто не рассказывал о своей семье, об интимных сторонах жизни, о себе с такой подкупающей искренностью.

Шэнь Фу не был профессиональным писателем, он был художником. Его книга полна тех же человеческих страстей, что, скажем, и автобиография Бенвенуто Челлини, но если для Челлини жить значило действовать, то для Шэнь Фу – воспринимать, он сознательно ориентировал себя на художественное восприятие окружающего мира.

О Шэнь Фу известно немного. Он был родом из Сучжоу, «китайской Венеции». Отец его был крупным чиновником. Воспитание мальчика было поручено наставнику, известному ученому-конфуцианцу, эрудиту, в частной школе которого учился Шэнь Фу. Школа знакомила с литературой, философией, историей, учила владеть жанрами официальных бумаг, воспитывала учеников на конфуцианских «Пяти канонах». В меньшей степени в китайской школе занимались арифметикой, географией и другими естественными науками. В Китае издавна существовало уважение к образованию, а признание его пользы было присуще всем классам китайского общества. Отец Шэнь Фу предполагал, что сын пойдет по его стопам, сдаст соответствующие государственные экзамены и поступит на государственную службу. Увидеть сына обладателем ученой степени – мечта каждого отца, ибо получение степени – начало карьеры, дорога к должностям и почестям; в то же время экзамены воспринимались в среде интеллигенции как необходимый рубеж, который должен пройти всякий культурный человек.

Шэнь Фу был отдан в школу четырнадцати лет. В школе обычно собирались мальчики разного возраста – от семи-восьми до семнадцати-восемнадцати лет. В зависимости от подготовки каждый занимался по своей программе, но всякое обучение обязательно начиналось с изучения иероглифики – с «Троесловия» («Сань Цзы Цзин»), «Тысячесловия» («Цянь Цзы Вэнь») и «Ста фамилий» («Бай Цзя Син»). Когда ученик знал две-три тысячи иероглифов, начинали читать «Четверокнижие» («Сы Шу») и «Пять канонов» («У Цзин»). Последний, третий этап обучения охватывал уже детальное изучение

древней классической прозы. Образцы из сочинений, вроде «Речей царств», «Планов Сражающихся царств», «Записок историка» Сыма Цяня, отдельные произведения Хань Юя, Лю Цзун-юаня, Оуян Сю, Су Дун-по, Ли Бо, Ду Фу входили в учебные программы и учебные антологии. Незаметно ученики впитывали конфуцианскую идеологию, которая становилась их мировоззрением. Проведя несколько лет в школе, Шэнь Фу должен был бы сдать экзамены прежде всего на первую степень – сюэя, но из «Записок» не ясно, сдавал ли он государственные экзамены. Скорее всего нет. Правда, Шэнь Фу в четвертой тетради «Записок» рассказывает, как он сдавал экзамен в Училище почитания словесности в Шаньине, ему тогда было шестнадцать лет. Этот экзамен мог быть простой проверкой знаний, которую устроила местная администрация.

В 1781–1782 гг. отец, решив приучать сына к службе, отдал его наставнику, некоему Сяну, под присмотром которого Шэнь Фу стал служить. С этого времени он переезжает из одной управы в другую, а в 1787 г. двадцатипятилетний Шэнь Фу получает самостоятельную должность – место письмоводителя в местечке Цзиси, в провинции Аньхой. Это было не таким уж плохим началом. Но у автора «Записок» хватило духа отречься от проторенной дороги, по которой шел его отец. Шэнь Фу решил заняться торговым делом – «продавать вино за море» – и вскоре потерял весь свой капитал. Он пробует жить своим трудом: пишет картины за плату, открывает лавку по продаже свитков и книг. Доход от лавки, однако, был недостаточен, и он не мог сносно содержать семью.

Шэнь Фу начал свои «Записки» человеком уже зрелым, достигшим такого момента осознания жизненного опыта, когда все становится уже однообразным его повторением. Видимо, поэтому самые яркие эпизоды его жизни приходятся на начало книги. Сама жизнь в его воспоминании предстает как цепь редких по силе, удивительно ярких моментов, и все дни, что прошли, словно разноцветные бусины на нитке, и нет среди них пустых, ничтожных, одинаковых. Хотя характер материала перекликается с традиционными жанрами, Шэнь Фу, как было сказано, пошел по пути создания нового для китайской литературы жанра автобиографии<sup>721</sup>.

## Шесть записок о быстротечной жизни

Я родился зимой двадцать второго дня одиннадцатой луны года гуй-вэй при правлении государя Цянь-луна – то было время мира и благоденствия<sup>722</sup>. Моя семья принадлежала к ученому сословию... Су Ши однажды сказал: «Житейские дела словно сон весной – уходят бесследно»<sup>723</sup>. Если не возьмусь за кисть и не опишу свою жизнь – содею грех пред вечным небом... Стыжусь, что в молодости бросил учение, нет у меня и малых познаний. Здесь я постараюсь правдиво и честно рассказать о своих настроениях и делах. Пытаться судить о блеске моего слова все равно что пожелать увидеть ясное изображение в потускневшем зеркале...

Помнится, ребенком я мог подолгу смотреть на солнце не мигая, мог отчетливо различать тончайшие линии и видеть самые мелкие предметы, подмечая их формы и узоры, я ощущал их неизъяснимую прелесть. Летом воздух звенит от комаров. Эти тучи комаров в моем воображении были кружащейся в воздухе стаей журавлей – сотней или даже тысячей самых настоящих журавлей. Задрав голову, я наблюдал за ними, пока не начинала ныть шея. Когда комары забивались ко мне под полог, я выпускал на них струйку дыма, заставляя пищать и кружиться в дымном воздухе, – они походили на белых птиц среди синих облаков, ведь и в самом деле журавли курлычат под облаками у края неба. Радости моей не было границ.

Иной раз, устроившись возле щербатой глинобитной стены или на террасе с цветочными горшками, а то и среди травы, я садился на корточки и замирал, внимательно вглядываясь в травы; тонкие стебельки становились для меня деревьями, букашки и муравьи – дикими зверями, земляные комья и камешки – горами, а ямки превращались в долины; и мой дух вольно странствовал среди них. Этот мир доставлял мне истинное счастье.

Однажды я увидел в траве двух яростно дерущихся насекомых; я был поглощен их борьбой и не заметил, как появилось какое-то жирное раздувающееся существо, вмиг обрушившее мои горы и вытоптавшее леса, – то была жаба. Одно движение языка – и она слизнула моих бойцов. От неожиданности я невольно вскрикнул.



Потом, придя в себя, я поймал жабу, исхлестал ее прутом и выбросил в чужой двор. Вспоминая этот эпизод в зрелые годы, я понял, что схватка двух насекомых была борьбой за самку. Древняя поговорка гласит: «Прелюбодеяние – на шаг от убийства». Не так ли и у насекомых?

В другой раз, когда я с жадностью наблюдал жизнь вокруг себя, ко мне в «гнездышко» (у нас, в Сучжоу, мужскую принадлежность называют «гнездо») забрался земляной червь. Все у меня распухло, и я не мог мочиться. Тогда поймали гусака – считалось, что его слюна губительна для насекомых. Гусь открыл клюв и уже был готов склевать червя, но служанка почему-то выпустила его из рук, и гусь, угрожающе вытянув шею, пошел прямо на меня. Я испугался и заревел. Так рассказывали эту историю, когда хотели посмеяться надо мной. Таковы первые впечатления моего детства...

Мне было пятнадцать лет, когда мой отец служил в Шаньине. В это время жил там один достойный конфуцианец, родом из Ханчжоу, некто Чжао, по прозвищу Шэн-чжай, имя его было Чжуань<sup>724</sup>. Как-то начальник уезда пригласил его в наставники сыну, отец приказал мне пойти к Шэн-чжаю и попроситься в ученики. Он взял меня.

Раз в свободное время мы с наставником отправились на прогулку в Куншаньские горы; горы находились не более чем в десяти ли, но добраться до них можно было только на лодке. Неподалеку от гор я заметил каменную пещеру, над входом ее лежал надтреснутый поперек камень – вот-вот обрушится, однако наша лодка благополучно прошла под ним, и неожиданно мы оказались в просторной пещере.

В народе пещеру называют Сад на воде. С четырех сторон она окружена отвесными стенами. У самой протоки расположен павильон на устоях из пяти камней, против – каменная стена с надписью: «Полнобуйтесь на резвящихся рыбках». В том месте вода безмерно глубока, говорят, будто в этой пучине живет превеликих размеров черепаха. Я попробовал приманить ее куском блина, но увидел лишь крохотную рыбешку, она-то и склевала мою наживку. От павильона шла тропа в Сухой сад, здесь как попало громоздились разных размеров камни. <sup>725</sup> Некоторые были круглые, величиной с кулак и больше, другие плоские, точно ладони. Были здесь и каменные столбы, на плоских верхушках которых покоились глыбы. Но следов зубила не было ни на одном.

Осмотрев пещеру, мы устроили пирушку в Водяном павильоне. Я велел запалить хлопушки – раздался грохот, и горы ответили многократным эхом, донеся до нас словно бы раскаты грома. Таково начало моих радостных странствий в дни отрочества.

В тот раз я так и не смог добраться до Беседки орхидей и могилы Великого Юя, о чем сокрушаюсь и по сей день<sup>726</sup>.

На следующий год мой наставник устроил школу у себя в доме. По старости он уже не мог совершать дальние прогулки, но все же мы поехали в Ханчжоу. Красоты озера Сиху превратили эту поездку в радостное путешествие<sup>727</sup>. Более всего я был восхищен завершенной красотой Драконова колодца и Небесного садика. Плиты для садика частью привезли из Индии с горы Фэйлай, а частью взяли из Древней пещеры благовещего камня с горы духа-покровителя города Сучжоу. Воду подвели из Нефритового источника, вот отчего вода в Небесном садике светла и прозрачна, а рыбки на удивление оживленные. Но сколь безмерно грубым показался мне Агатовый храм на Лиановом хребте! Остальные сооружения – вроде Беседки посреди озера или Источника старца по прозванию Один из шести<sup>728</sup> – очень красивы, их не перечислить. Однако озеро и его окрестности прямо-таки пропахли пудрой и притираниями<sup>729</sup>, а мне больше по душе заброшенная уединенность Малой обители спокойствия, где изысканность почти сравнялась с природой. <... >

## Вместо заключения

### На пороге нового детства

Исторически изменяются не только условия, в которых протекает детство, но и отношение взрослых к собственному детству. Пройдя через эпохи древности и Средневековья, Возрождения и Реформации, семнадцатого и восемнадцатого веков мы подошли с вами к рубежу XVIII и XIX столетий. Между «Исповедью» Руссо и рефлексивным повествованием «Поэзии правды» Гёте зарождается, по-видимому, автобиография детства как самостоятельный жанр в письменной культуре западного мира. На этом моменте мы и завершаем данную книгу. Рассказ о собственном детстве должен теперь затрагивать душу читателя XIX века, прорастая в романтизм и романтические образы из Просвещения с помощью эстетики сентиментализма<sup>730</sup>. В сочинениях, увидевших свет после «Поэзии правды», изображение детства становится своего рода правдой поэзии человеческой жизни. Мы видим тут зарождение новой концепции детства, опирающейся в том числе на автобиографическую рефлексию об этом периоде в жизни каждого человека. Именно на переходе к XIX столетию в европейской культуре происходит поворот от понимания младенчества и детскости как преимущественно «личиночной стадии» «нормального человека» – к идее о решающем значении ранних лет в жизни каждого человека. Они для большинства людей определяют дальнейшую жизнь, их личностные особенности и их судьбу. В образованных слоях мир детской психологии особенно становится одним из предметов для постоянных размышлений. В «детскости» находят источник чистоты чувств и поэтической тонкости личности. Образ ребенка в начале XIX в., конечно, наделяется условными чертами, привнесенными в него сентиментализмом и романтизмом; однако это уже своеобразный облик, самоценный во всех своих душевных движениях, не покрываемый целиком тенью взрослого. Каждый «момент существования» рассматривается отныне – впервые в мирском (а не только религиозном) отношении – как значительный по отношению к полноте и связанности жизни, «как наполненное жизнью настоящее, определяемое прошлым, как устремленное вперед, к формированию

будущего»; значение каждого момента отныне «есть одновременно и переживаемая самооценка момента, и его действенная сила» по отношению ко всей индивидуальной жизни в целом<sup>731</sup>.

Период детства становится важной и оправданной темой для воспоминаний и произведений художественной литературы, для обсуждений и размышлений, что свидетельствует об изменении к нему ценностного отношения. Люди осознанно замечают рядом с собой детство. Память и самосознание человека перестраиваются для включения в них периода собственного детства. Ребяческие проявления отныне фиксируются и интерпретируются все подробнее и подробнее. В целом развитие автобиографии привело к тому, что авторы увидели в своем прошлом ребенка. Более того, они увидели в нем ядро и основу своей взрослой индивидуальности («самости»), а также самостоятельного собеседника рядом с самим собой, находящимся на другой возрастной ступени. Отныне внутреннее «Я» личностного самосознания человека двух последних веков уже видит внутри взрослого индивида – ребенка, в то время как предшествующие эпохи по преимуществу видели в ребенке взрослого. Становится популярной идея, что взрослый «вырастает» из ребенка, который и есть его истинный родитель. Мир, как оказалось, управляется из детской.

К концу XVIII в. детство становится неперенным объектом внимания большинства автобиографов. Мир детских фантазий, страхов, интересов, мыслей и т. д. начинает ощущаться не менее реальным и необходимым, нежели мир взрослых правил и ограничений. Тот длинный путь развития образов детства в автобиографическом нарративе, который мы проследили с помощью всех помещенных в книгу текстов, завершился очевидной победой ребенка над взрослым.

Однако эта победа не принесла детям только ласки и сладости. Детство стало полем для экспериментов (педагогических и иных), необходимых, но не всегда удачных. Пристальное внимание к ребенку, моделирование взрослыми его внутреннего мира привело к усилению и положительных (внимательность), и отрицательных (деспотизм) форм участия взрослых в жизни детей. В этих условиях одной из основных функций «автобиографии детства», полностью выкристаллизовавшейся как жанр к 1830-м годам, становится

гуманизация отношений взрослых к детям. «Человеческий документ» в виде автобиографии сближает людей, вводит в их повседневное сознание диалог с детским опытом другого человека, группы, поколения, культуры. Как бы ни оценивал человек свое детство – положительно или отрицательно, – он в любом случае теперь – участник диалога с ним. Детство предстает той внутренней сферой, куда человек всегда может вернуться, передохнуть и набраться сил и стимулов для дальнейших свершений. Эти силы черпаются и из поддержания в себе «детскости», и из преодоления негативного опыта детских лет. В пространство, которое ранее заполняла в душе Взрослость, проникло теперь Детство, потеснившее ее.

Персональные рассказы как непосредственные документы человеческой души, как объявляемые результаты постижения и истолкования ею своей собственной жизни совершенно иначе могут поведать об отношении людей к своему детству и об осознании ими его воздействия на судьбу, нежели биографии и иные повествования. Именно автобиографии говорят свое веское слово при изучении личностного опыта детства индивида. Они одновременно есть и изложение бесценного исторического опыта отношений ребенка со всем его окружающим физическим, социальным и культурным пространством, – и результат осмысления и «переписывания» этого опыта как для самоактуализации (самовоспитания), так и для публичной репрезентации<sup>732</sup>. Опыт «автобиографики детства» обуславливает самопознание человека, воспитывающегося, воспитующего и воспитуемого, находящегося в фокусе всех возможных его взаимодействий с окружающим миром.

*Виталий Безрогов*

# Детство в европейских автобиографиях

От Античности  
до Нового времени



А л е т е й я



# 1

Часть вошедших в настоящее издание текстов публиковалась ранее в сборниках: *Память детства: Западноевропейские воспоминания о детстве от поздней Античности до раннего Нового времени (III–XVI вв.)* / Под ред. В. Г. Безрогова. М.: Издательство УРАО, 2001; *Память детства: Западноевропейские воспоминания о детстве эпохи рационализма и Просвещения (XVII–XVIII вв.)* / Под ред. В. Г. Безрогова. М.: УРАО, 2001; Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии Университета РАО. Выпуск 4: История педагогики и педагогическая антропология / Отв. ред. Г. Б. Корнетов. М.: Издательство УРАО, 2001. С. 132–157; Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии Университета Российской академии образования. Вып. 7: Теория и история педагогики, педагогическая антропология / Отв. ред. Г. Б. Корнетов. М.: Изд-во УРАО, 2001. С. 99–162.

[Вернуться](#)

# 2

Необходимость «персональных историй» для изучения воспитательных традиций и механизмов их функционирования в отдаленные эпохи (прежде всего в древности) была отмечена в 1985 г. Арнальдо Момильяно (*Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*. 1985. Serie III. vol. XV. fasc. 2.).

[Вернуться](#)

# 3

Разные науки, занимающиеся детьми и детством, также смотрят на предмет своего изучения по-разному. В 1980-е – начале 1990-х годов была совершена, например, интересная попытка соединить в одном исследовании взгляды социальных психологов и историков детства.



См.: Children in time and place: developmental and historical insights. Ed. by G. H. Elder, J. Modell, R. D. Parke. Cambridge, 1993.

[Вернуться](#)

## 4

Аръес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999. Некоторые авторы начало такого процесса переосмысления отодвигают в XVI в. См.: *Wooden W. W.* The topos of childhood in Marian England // *The journal of Medieval and Renaissance studies*, 12, 1982, 179–194.

[Вернуться](#)

## 5

Традиционные общества нередко рассматривают всех детей до периода перехода их в разряд взрослых аналогично тому, как современное общество – еще неродившихся детей. Они занимают подчиненное и безгласное положение, и об этих периодах жизни человека не принято рассказывать. О комплексе, связанном с ограничениями рассказов о себе, имевшемся у североамериканских индейцев, и его изживании см.: *Wong H. D.* Sending my heart back across the years: tradition and innovation in native American autobiography. N. Y., 1992. P. 44–46; *Wong H. D.* Native American autobiography: Oral, artistic, and dramatic personal narrative. Iowa City, 1986.

[Вернуться](#)

## 6

См.: The History of Childhood/ Ed. by L. de Mause. N. Y., 1974 (рус. пер.: *Де Моз Л.* Психоистория. Ростов н/Д, 2000); *Zur Sozialgeschichte der Kindheit/ Hrsg. J. Martin, A. Nitschke.* München, 1986; *Shahar S.* Childhood in the Middle Ages. L.-N. Y., 1990. Имеется несколько информативных историографических обзоров по истории детства, среди них: *Morel M. F.* Reflections on some recent French literature on the

history of childhood // *Continuity and Change*, 4(2), 1989, P. 323–337; *Niestroj Br. H. E.* Some recent German literature on socialization and childhood in past times // *Ibid.*, P. 339–357; *Stargart, Nicholas.* German Childhoods: the Making of a Historiography // *German History*, 16(1), 1998, P. 1–15; *Безрогов В. Г., Кошелева О. Е.* Детство и дети: начальная библиография // *Теория моды. Одежда. Тело. Культура*. 2008. № 8. С. 37–61.

[Вернуться](#)

## 7

*Калверт К.* Дети в доме. Материальная культура раннего детства, 1600–1900. М.: НЛЮ. 2009. С. 21–22.

[Вернуться](#)

## 8

*Hardach-Pinke I.* Die Gouvernante: Geschichte eines Frauenberufs. Frankfurt/M, 1993; Schrelber, Maglster, Lehrer: zur Geschichte und Funktion eines Berufsstandes /Hrsg. von J. G. Prinz von Hohenzollern, M. Liedtke. Bad Heibrunn, 1989.

[Вернуться](#)

## 9

*Berg J. H. van den.* Über die Wandlung des Menschen. Grundlagen einer historischen Psychologie. Göttingen, 1966.

[Вернуться](#)

## 10

*Jordanova L.* New worlds for children in the 18th century: problems of historical interpretation // *History of human sciences*, 3 (1), 1990, 69–83; *Pollock L.* «Teach her to live under obedience»: the making of women in

the upper ranks of early modern England // *Continuity and Change*. №4(2), 1989. P. 231–258.

[Вернуться](#)

## 11

*Jordanova L.* New worlds for children in the 18th century: problems of historical interpretation // *History of human sciences*, 3 (1), 1990, 69–83;  
*Pollock L.* «Teach her to live under obedience»: the making of women in the upper ranks of early modern England // *Continuity and Change*. №4(2), 1989. P. 231–258.

[Вернуться](#)

## 12

См., например, исследование о взаимоотношениях родителей и детей, сделанное по материалам судов: *Bardaglio P. W.* Challenging parental custody rights: the legal reconstruction of parenthood in the nineteenth-century American South // *Continuity and Change*. 1989. № 4(2). P. 259–292; *Dos Gulmaraes Sa I.* Child abandonment in Portugal: legislation and institutional care // *Idem.* 1994. №. 9(1). P. 69–89. По более раннему периоду см., например: *Ogilvie Sh.* Coming of age in a corporate society: Capitalism, Pietism and family authority in rural Würtemberg, 1590–1740 // *Idem.* 1986. №. 1(3). P. 279–331.

[Вернуться](#)

## 13

См.: *Durantini M. F.* The child in the seventeenth-century Dutch painting. Ann Arbor, 1983; *Бертон Э.* Филипп Арьес. Иконографические и материальные свидетельства истории семьи и детства // «Вся история наполнена детством»: наследие Ф. Арьеса и новые подходы к истории детства. Сост. В. Г. Безрогов, М. В. Тендрякова. Ч. 1. М.: РГГУ, 2012. С. 75–107.

[Вернуться](#)

## 14

См., например: *Hanawalt B.* Growing up in Medieval London. The Experience of Childhood In History. Oxford, 1993; *Janssen R., Janssen J. J.* Growing Up in Ancient Egypt. L., 1990.

[Вернуться](#)

## 15

См., например: *Egoff Sh. A.* Worlds within: Children's Fantasy from the Middle Ages to Today. Chicago, 1988; *Tatar M. M.* Off with their heads!: fairy tales and the culture of childhood. Princeton, 1992; *Hannabuss S., Mascella R.* (eds). Biography and children: a study of biography for children and childhood in biography. L., 1993.

[Вернуться](#)

## 16

See: *Kuhn R. C.* Corruption in Paradise: the child in Western literature. Hanover (NH), 1982; *Marcus L. S.* Childhood and Cultural Despair: A Theme and Variations in Seventeenth-Century Literature. Pittsburgh, 1978.

[Вернуться](#)

## 17

See: *Slater M.* Family life in the Seventeenth Century: the Verneys of Claydon House. L.: Routledge, 1984. Специальная глава этого исследования, построенного на 30 тыс. документах личной переписки членов одной семьи, посвящена детям и отношению к ним (p. 108–138).

[Вернуться](#)

## 18

См.: Дети в обычаях и обрядах народов зарубежной Европы. Т. 1–3. М., 1995; Этнография детства: В 4 кн. М., 1983–1992; и др.

[Вернуться](#)

## 19

See: *Alanen L.* Modern childhood: Exploring the «child question» in sociology. Jyvaeskylae, 1992; *Griffiths P.* Youth and Authority: formative experiences in England, 1500–1640. Oxford, 1996; *Sandin B.* Education, popular culture and the surveillance of the population in Stockholm between 1600 and the 1840s // *Continuity and Change*. 1988. № 3(3). P. 357–390; *Burchardt N.* Structure and relationships in stepfamilies in early twentieth-century Britain // *Idem.* 1989. №. 4(2). P. 293–322; *Sharpe P.* Poor children as apprentices in Colyton, 1598–1830 // *Idem.* 1991. №. 6(2). P. 253–270; *Mitterauer M.* Servants and youth // *Idem.* 1990. № 5(1). P. 11–38.

[Вернуться](#)

## 20

Лишь по истории детства XX в. исследователям удастся набрать более или менее представительные источники, непосредственно созданные детским и подростковым миром. Например, см.: *Was sie glauben. Texte von Jugendilchen/R. Shuster* (Hrsg). Stuttgart, 1984; *Kappeler E.* Es schreit in mir. Briefdokumente junger Menschen. München, 1980; *Liebste Mutter. Briefe berühmter Deutscher an Ihre Mütter/ P. Elbogen.* Berlin, 1929; etc. Ср.: *Walczak Y., Burns Sh.* Divorce: the child's point of view. L, 1984 (Hrsg.); *McCredie G., Horrox A.* Voices in the dark: children and divorce. London, 1985. Относительно предыдущих эпох Хью Каннингэм определяет такой набор источников по истории детства представителей образованных сословий (для других групп их меньше): документы, дневники, автобиографии, письма, завещания, надгробия, игрушки, одежда, изображения (картины). См.: *Cunningham H.* Children and Childhood in Western Society since 1500. Harlow, 1995. P. 51. По отражению проблем детства, ранней юности и отношений между родителями и детьми в письмах XV–XVI вв. опубликована

диссертация Матиаса Беера «Родители и дети позднего Средневековья по материалам писем» (*Beer M. Eltern und Kinder des späten Mittelalters in ihren Briefen. Familienleben in der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit mit besonderer Berücksichtigung Nürnbergs (1400–1550).* Nürnberg, 1990. 570 S.).

[Вернуться](#)

## 21

О взаимодействии автора и аудитории см.: *Lejeune Ph. Le Pacte autobiographique.* p., 1975.

[Вернуться](#)

## 22

Термин «автобиография» (букв. «саможизнеописание»), от греческих слов «авто», «биос», «графо», заменил бытовавшее в позднюю Античность, Средневековье и Раннее Новое время латинское выражение «*De vita sua*» («О своей жизни»), в котором еще не был столь сильно подчеркнут индивидуальный авторский элемент.

[Вернуться](#)

## 23

*Olney J. Autobiography and the Cultural Moment: A Thematic, Historical, and Bibliographical Introduction // Autobiography: Essays Theoretical and Critical.* Princeton, 1980. P. 5–7.

[Вернуться](#)

## 24

*Mowinckel S. Die vorderasiatischen Königs – und Fürsteninschriften // Eucharisterion. Festschrift für H. Gunkel.* Göttingen, 1923. S. 278–322;  
*Janssen J. De traditioneele Egyptische autobiografie voor het Nieuwe Rijk.* Leiden, 1946; *Imparati F., Saporetti C. L'autobiografai di Ḫattušili I //*

Studi Classici e Orientali. 1965. Vol. 14. P. 40–85; *Barish D. A.* The Autobiography of Josephus and the Hypothesis of a Second Edition of his Antiquities // Harvard Theological Review. 1978. Vol. 71. P. 61–75; *Bruce F. F.* Further Thoughts on Paul's Autobiography (Galatians 1:11–2:14) // Jesus und Paulus: Festschrift für Werner Georg Kümmel zum 70. Geburtstag / E. Earle Ellis, E. Graesser (Hrsg.). Göttingen, 1975; *Idem.* Galatian Problems: I. Autobiographical Data // Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester. 1969. Vol. 51. P. 292–309.

[Вернуться](#)

## 25

Демократический и публичный характер жизни некоторых античных городов-государств не способствовал развитию интереса к индивидуализированной автобиографии. Подробнее об этом см.: *Momigliano A.* The Development of Greek Biography. Cambridge (Mass.), 1971. Восточные сказания с ярким биографическим компонентом более соответствовали монархическим формам правления в этих регионах, «автобиография была хорошо развитым литературным жанром в различных странах Персидской Империи от Египта до Ассирии» (Там же. С. 35). Арнальдо Момильяно пишет, что по крайней мере в V в. до н. э. культурный фон Афин не благоприятствовал развитию автобиографии, трагедия и комедия опирались на типичные образцы, история имела своим предметом события военные и политические, связанные с судьбой групп и коллективов, медицина выводила индивидуальные особенности из природной среды и климата, ораторы обращались к согражданам как к целому. На этом фоне доминирования организованного коллективного, однако, все же происходит выделение индивидуального, прежде всего в политике и истории, но ценность индивидуального заключалась в его вкладе в благополучие государства, к которому он принадлежал (Там же. С. 38–41). В IV в. до н. э. ситуация стала уже существенно иной. Политическая стратегия деяний исторических личностей теперь уже персональна и отделена от полиса. Подчеркивается важность индивидуального образования, совершенства, самоконтроля. Автобиографии IV в. до н. э., по Момильяно, – еще достаточно

статичные портреты общественных фигур, а не частных лиц, показывающие автора в отношениях с его профессией, политической общностью и т. п., воплощающие противоречие между историческим описанием хронологии событий и внеисторическим – характера (С. 48). Жизнеописания своей жизни в целом в глазах античной аудитории входили в один разряд текстов наряду с биографиями, хотя и не имели полного сходства с ними. Первое имя приобрел для IV в. до н. э. – Ксенофонт, чей «Анабасис» под большим влиянием литературы путешествий приобрел, так же как и последняя, автобиографический характер. Субъективность текста сбалансирована его написанием от третьего лица. Можно отметить также Исократу, который по образцу платоновой «Апологии Сократа» написал ок. 354 г. до н. э. *peri antidoseos*, *Antidosis* («Об обмене») – интересный образец аутентичной апологетической автобиографии, составленной для воображаемого судебного заседания (Momigliano A. *Op. cit.*, 59). Попытка соединить размышления о вечных проблемах с индивидуальным опытом предпринята в «Седьмом письме», приписываемом Платону (См.: *Edelstein L. Plato's Seventh Letter. Leiden, 1966; Müller G. Review of L. Edelstein, Plato's Seventh Letter // Göttinger Gelehrte Anz. 221, 1969, 187–210*). На основании сохранившихся упоминаний о памятной книге македонских царей, А. Момильяно делает вывод, что в то время еще не было четкого разделения между официальными поденными записями и персональными воспоминаниями (С. 90). В сохранившихся фрагментах автобиографии Николая Дамаскина, жившего во времена императора Августа, апологетический самопортрет также соединяется с изложением фактических событий. В автобиографических текстах римлян продолжается традиция сообщать минимум о частной жизни и максимум – о политических, военных и сопоставимых с ними деяниях. У римлян труднее, чем у греков, считает Момильяно, отделить автобиографию от биографии, ставшей частью аристократического истеблишмента. В римских текстах более важную роль играет рассказ о семье (С. 95). Из римских фрагментов наиболее интересно жизнеописание Суллы (*Res Gestae*). О римских автобиографиях см.: *Suringar W. H. D. De Romanis Autobiographis. Leiden, 1846; Armstrong H. H. Autobiographical Elements in Latin Inscriptions. University of Michigan, 1910; Blumenthal F. Die Autobiographie des Augustus // Wiener Studien. 1913. Bd. 35. S. 113–130, 267–288; 1914. Bd. 36. 84–103; Dalfen*



J. Formgeschichtliche Untersuchungen zu den Selbstbetrachtungen Mark Aurels. München, 1967. См. также: Antike Autobiographien. Werke – Epochen – Gattungen. Hrsg. von M. Reichel. Köln, 2005.

[Вернуться](#)

## 26

*Boas G.* The Cult of Childhood. London, 1966. P. 11–15; *Garland R.* The Greek Way of Life. From Conception to Old Age. Ithaca, 1990. P. 106–162; etc. Иное дело – рассказ о своем происхождении, родителях и предках.

[Вернуться](#)

## 27

См.: *Swain S.* Biography and Biographic In the Literature of the Roman Empire //Portraits: biographical representation in the Greek and Latin literature of the Roman Empire/ M. J. Edwards, S. Swain. (eds). Oxford, 1997. P. 36; а также см.: *Demosthenes.* De corona.

[Вернуться](#)

## 28

*Momigliano A.* The Development... P. 103. Ср.: *Sampley J. P.* «Before God, I do not lie» (Gal. 1:20): Paul's Self-Defence in the Light of Roman Legal Praxis // New Testament Studies. 1977. Vol. 23. P. 477–482; *Wilamowitz-Möllendorff U. von.* Die Autobiographie im Altertum // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. 1907. Bd. 1. S. 1105–1114.

[Вернуться](#)

## 29

После смерти Платона появилась даже его фиктивная автобиография, написанная кем-то из его последователей в форме письма (см.: *Edelstein L.* Plato's Seventh Letter. Leiden: Brill, 1966.

(Philosophia antiqua. A series of monographs on ancient philosophy. Vol. 14). P. 4ff.

[Вернуться](#)

## 30

См.: *Wiedemann T.* Adults and Children in the Roman Empire. L., 1989; *Nutton V.* Galen and Medical Autobiography // Proceedings of the Cambridge Philological Society. 1972. Vol. 198. P. 50–62.

[Вернуться](#)

## 31

*Roberts C. M.* A Treatise on the History of Confession until it developed into Auricular Confession A. D. 1215. London, 1901.

[Вернуться](#)

## 32

*Sommerville C. J.* The Rise and Fall of Childhood. N. Y., 1990. P. 49–61.

[Вернуться](#)

## 33

*Shahar S.* The Childhood in the Middle Ages. L., 1990. Стали различать также детскость истинных верующих и ребячество обычных детей.

[Вернуться](#)

## 34

*Ferguson C. D.* Autobiography as therapy: Guibert de Nogent, Peter Abelard, and the Making of Medieval Autobiography // The Journal of Medieval and Renaissance Studies. 1983. Vol. 13. P. 187–212.

[Вернуться](#)

## 35

*Miles M. R.* Infancy, Parenting, and Nourishment in Augustine's Confessions // *The Journal of the American Academy of Religion*. 1982. Vol. 50(3). P. 349–364.

[Вернуться](#)

## 36

*Баткин Л. М.* «Не мечтайте о себе»: О культурно-историческом смысле «Я» в «Исповеди» бл. Августина. М., 1993; Он же. Ради чего Абеляр написал свою Автобиографию? // *Arbor Mundi*. Мировое древо. 1994. Вып. 3. 25–57.

[Вернуться](#)

## 37

См.: *Shea D. B.* *Spiritual Autobiography in Early America*. Princeton, 1968; *Caldwell P.* *The Puritan Conversion Narrative: the Beginnings of American Expression*. Cambridge, 1983; *Mascuch M.* *Origins of the Individualist Self: Autobiography and Self-Identity in England, 1591–1791*. Cambridge, 1997; etc.

[Вернуться](#)

## 38

Об этом периоде см.: *Burke P.* *Representations of the Self from Petrarch to Descartes* // *Rewriting the Self. Histories from the Renaissance to the Present* / R. Porter(ed.). London, 1997. P. 17–28; *Weintraub K. J.* *The Value of the Individual. Self and Circumstance in Autobiography*. Chicago, 1978.

[Вернуться](#)

## 39

См.: *Pastenaci S.* Erzählform und Persönlichkeitsdarstellung in deutschsprachigen Autobiographien des 16 Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Historischen Psychologie. Trier, 1993.

[Вернуться](#)

## 40

См.: *Matthews G. B.* Thought's Ego in Augustine and Descartes. Ithaca, 1992.

[Вернуться](#)

## 41

*Ben-Amos I. K.* Adolescence and Youth in Early Modern England. New Haven and London. 1994. P. 15.

[Вернуться](#)

## 42

Ibid.

[Вернуться](#)

## 43

*Bouchard J.-J.* Les Confessions de Jean-Jacques Bouchard, parisien; suivies de son voyage de Paris à Rome en 1630. A. Bonneau (éd.). P., 1881.

[Вернуться](#)

## 44

*Nussbaum F.* The Autobiographical Subject, Gender and Ideology in Eighteenth-Century England. Baltimore, 1989; The Private Self: Theory and Practice of Women's Autobiographical Writings/ S. Benstock (ed.).

Chapel Hill, 1988; *Jelinek E. C. The Tradition of Women's Autobiography: From Antiquity to the Present.* Boston, 1986; etc.

[Вернуться](#)

## 45

*Янке Г.* Каритас Пиркхаймер, Мартин Лютер и другие духовные лица. Автобиографическое сочинение как социальная практика в немецкоязычных странах // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: люди, тексты, практики. М.: Библио-глобус, 2017. С. 149–196.

[Вернуться](#)

## 46

См.: *Koppes Ph. B. The Child in Pastoral Myth: A Study in Rousseau and Wordsworth, Children's Literature and Literary Fantasy.* Lawrence: Uni. of Kansas, 1977. (Diss.)

[Вернуться](#)

## 47

*Schlumbohm J.* Constructing Individuality: Childhood Memories in Late Eighteenth-century «Empirical Psychology» and Autobiography // *German History.* 1998. Vol. 16. N. 1. Рус. пер.: Шлюмбом Ю. Рождение индивидуальности. Воспоминания о детстве в «Практической психологии» Карла Морица и развитие автобиографии // *Вестник Унта Рос. акад. образования.* 1999. № 2. С. 114–131.

[Вернуться](#)

## 48

*Baldinger F.* Ich wünschte sogar gelehrt zu werden // *Drei Autobiographien von Frauen des 18. Jahrhunderts* / M. Heuser et al. (Hrsg.) Göttingen: Wallstein, 1994. S. 15–24. См. также: *Деккер Р.* Долгосрочные

тенденции в развитии автобиографического письма в Нидерландах после 1500 года // Автобиографические сочинения в междисциплинарном исследовательском пространстве: люди, тексты, практики. М.: Библио-глобус, 2017. С. 99–118; Ружжью Ф.-Ж. Лексикон социального пространства в сочинениях личного характера // Там же. С. 119–148.

[Вернуться](#)

## 49

См., например: *Jung-Stilling J. H. Lebensgeschichte/ G. A. Benrath.* (Hrsg.). Darmstadt, 1976; Жизнь Генриха Штиллинга. Истинная повесть. Ч. 1–2. СПб., 1816; *Schön ist die Jugend. Erinnerungen aus zwei Jahrhunderten.* W. Klinke. (Hrsg.). Zürich, 1948.

[Вернуться](#)

## 50

*Coe R. N. When The Grass Was Taller. Autobiography and the Experience of Childhood.* New Haven, 1984.

[Вернуться](#)

## 51

О Вордсворте см.: *Gill S. William Wordsworth, The Prelude.* Cambridge, 1991; *Cocker K. William Wordsworth: Child and Man: The Story of the Poet with his Family and Friends.* Huddersfield, 1983; *Messer-Davydow E. «In Simple Childhood»: Wordsworth's Philosophy of the Child.* University of Cincinnati, 1972 (Diss.); *Fadem R. K. The Child is Father of the Man: A Reading of William Wordsworth.* Ann Arbor: Columbia Univ., 1971 (Diss.); *Blanck G. K. Wordsworth and Feeling: The Poetry of an Adult Child.* Madison, 1995.

[Вернуться](#)

## 52

Ср.: *Walther L.* The Invention of Childhood in Victorian Autobiography // *Approaches to Victorian Autobiography.* G. P. Landow. (ed.). Athens, 1979.

[Вернуться](#)

## 53

См.: Природа ребенка в зеркале автобиографии/ под ред. Б. М. Бим-Бада и О. Е. Кошелевой. М., 1998; Гений детства: становление человеческой личности в фокусе воспоминаний / ред.-сост. С. Лебедев, Н. Ключарева. М.: Первое сентября. 2009.

[Вернуться](#)

## 54

*Braunstein Ph.* Un banquier mis à nu. Autobiographie de Matthäus Schwarz, Bourgeois d'Augsbourg. Paris: Gallimard, 1992.

[Вернуться](#)

## 55

*Shumaker W.* English Autobiography: Its Emergence, Materials, and Form. Berkeley, 1954 (English Studies, 8).

[Вернуться](#)

## 56

*Buckley J. H.* The Turning Key: Autobiography and the Subjective Impulse since 1800. Cambridge (Mass.), 1984.

[Вернуться](#)

## 57

*Pascal R.* Design and Truth in Autobiography. Cambridge (Mass.), 1960. P. 36–48.

[Вернуться](#)

## 58

Фрагменты из Гете см.: Природа ребенка в зеркале автобиографии. М., 1998.

[Вернуться](#)

## 59

*Coe R. N.* When the Grass was Taller: Autobiography and the Experience of Childhood. New Haven-L, 1984. P. 17–25.

[Вернуться](#)

## 60

*Misch G.* Geschichte der Autobiographie. 4 Bde. Bern-Franhfurt/Main, 1949–1969. См. также: *Jaeger, Michael.* Autobiographie und Geschichte: Wilhelm Dilthey, Georg Misch, Karl Löwith, Gottfried Benn, Alfred Döblin. Stuttgart–Weimar, 1995.

[Вернуться](#)

## 61

*Krusenstjern B. von.* Selbstzeugnisse der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. Beschreibendes Verzeichnis. Berlin, 1997.

[Вернуться](#)

## 62



*Tersch H.* Österreichische Selbstzeugnisse des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit (1400–1650): eine Darstellung in Einzelbeiträgen. Wien-Köln, 1998.

[Вернуться](#)

## 63

*Pollock L.* A Lasting Relationship. Parents and Children over Three Centuries. Hanover and London: University Press of New England, 1987.

[Вернуться](#)

## 64

Опубликована аннотированная антология: *Deutsche Kindheiten: Autobiographische Zeugnisse 1700–1900*. I. Hardach-Pinke, G. Hardach (Hrsg.). Kronberg, 1978; и исследование: *Hardach-Pinke I. Kinderalltag: Aspekte von Kontinuität und Wandel der Kindheit in autobiographischen Zeugnissen 1700 bis 1900*. Frankfurt/M–N. Y., 1981; см. также: *Borries B. von. Vom «Gewaltexzess» zum «Gewissebiss»? Autobiographische Zeugnisse zu Formen und Wandlungen elterlicher Strafpraxis im 18. Jahrhundert*. Tübingen, 1996.

[Вернуться](#)

## 65

*Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst*. R. Lindeman, Y. Scherf, R. M. Dekker (eds). Rotterdam, 1993; *Uit de schaduw in't grote licht: Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek*. Amsterdam, 1995.

[Вернуться](#)

## 66

*Lichtheim M.* Ancient Egyptian Autobiographies, chiefly of the Middle Kingdom: A Study and An Anthology. Freiburg, 1988; *Stauder-Porcher J.* Les autobiographies de l’Ancien Empire égyptien. Étude sur la naissance d’un genre. Leuven, 2017.

[Вернуться](#)

## 67

*Stargardt, Nicholas.* German Childhoods: the making of Historiography // German History. 1998. Vol. 16. N. 1. P. 10.

[Вернуться](#)

## 68

*Ariès Ph.* L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Paris, 1960 (2-ème ed. 1973; рус. перевод 1999).

[Вернуться](#)

## 69

См. об этом: *Кошелева О. Е.* «История детства» как способ реконструкции и интерпретации историко-педагогического процесса в зарубежной историографии // Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография / под ред. Г. Б. Корнетова и В. Г. Безрогова. М., 1996. С. 185–215.

[Вернуться](#)

## 70

См. *Кошелева О. Е.* Филипп Арьес и российские исследования истории детства // Вестник РГГУ. 2010. № 15. Сер. Культурология. Искусствоведение. Музеология. С. 25–32.

[Вернуться](#)

## 71

См. напр.: *Herlichy D. Medieval Children // Essays on Medieval Civilization. Austin; London, 1978. P. 109–141.*

[Вернуться](#)

## 72

*Shahar S. Childhood in the Middle Ages. London; New York, 1990. Цит. по: Кошелева О. Е. Указ. соч. С. 211.*

[Вернуться](#)

## 73

См. напр.: Антология педагогической мысли христианского Средневековья: В 2 т. / под ред. В. Г. Безрогова и О. И. Варьяш. М., 1994; Послушник и школяр, наставник и магистр: Средневековая педагогика в лицах и текстах / под ред. В. Г. Безрогова. М., 1996; Возлюблю слово как ближнего: учебный текст в позднюю Античность и раннее Средневековье / под ред. М. Р. Ненароковой. М., 2017.

[Вернуться](#)

## 74

*Абеляр П. История моих бедствий / пер. В. А. Соколова. М., 1959.*

[Вернуться](#)

## 75

*Карл IV. Жизнеописание / пер. и прим. А. В. Леонтьевского // Леонтьевский А. В. «Искусство возможного» в политике Карла IV Люксембурга. Волгоград, 1995. С. 35–36.*

[Вернуться](#)

## 76

Здесь использованы материалы об Отлохе Н. Ф. Ускова.

[Вернуться](#)

## 77

См. об этом: *Weinstein D., Bell R. M. Saints and Society. Christendom, 1000–1700. Chicago; London, 1982. P. 19–47.*

[Вернуться](#)

## 78

См. подробнее: *Зарецкий Ю. П. Детство в средневековой автобиографии: святой Августин и Гвиберт Ножанский // Вестник Университета Российской академии образования. 1998. № 1.*

[Вернуться](#)

## 79

*Guibert de Nogent. Autobiographie / éd. E.-R. Labande. Paris, 1981. P. 3.*

[Вернуться](#)

## 80

См. напр.: *Kantor J. A psychohistorical source: the *Memoirs* of Abbot Guibert of Nogent // Journal of Medieval History. 1976. Vol. 2.*

[Вернуться](#)

## 81

Пер. С. А. Ошерова. Печатается по изданию: *Овидий. Элегии и малые поэмы / Сост. и пред. М. Л. Гаспарова. М., 1973. С. 425–426.*

Вступительные статья и комментарии составлены на основе сведений, приведенных в этом издании.

[Вернуться](#)

## 82

Сульмон – город в области пелигнов в Апенинах (в 133 км от Рима); он до сих пор имеет в городском гербе первые буквы начальных слов этой строки Овидия.

[Вернуться](#)

## 83

Консулы 43 г. до н. э. Гирций и Панса погибли от ран, полученных в битве 21 апреля при Мутине против Марка Антония.

[Вернуться](#)

## 84

Потомственное всадническое звание пользовалось большим уважением, чем нажитое.

[Вернуться](#)

## 85

«Люцифер» – Денница, утренняя Венера.

[Вернуться](#)

## 86

День рождения у римлян олицетворялся как «гений рождения», которому человек приносил в этот день бескровные жертвы (ладан, пирог на меду и пр.)

[Вернуться](#)

## 87

Из пяти дней праздника Квинкватрий в честь Миневры (19–23 марта) со второго дня начинались гладиаторские игры; в этот день, 20 марта, и родились Овидий и его брат.

[Вернуться](#)

## 88

Имеется в виду Гомер, родиной которого считалась Меония (древнее название Лидии)

[Вернуться](#)

## 89

Согласно греческой мифологии, на горе Геликон находились священные для муз родники. По легенде, источник под названием Гиппокрена возник от удара копыта Пегаса по камню. Также на Геликоне находился родник, в который смотрелся Нарцисс. Геликон был обителью муз; в своем произведении «Причины» («Aitia») поэт Каллимах из Кирены рассказывает о сне, в котором он снова стал молодым и беседовал с музами на Геликоне. В честь муз на Геликоне был построен храм, в котором находятся статуи всех муз. Родник Гиппокрена служил источником вдохновения для поэтов. В конце VIII века до нашей эры поэт Гесиод писал о том, как в молодости он пас овец на склонах Геликона, а на вершине танцевали музы и Эрос. С тех пор Геликон стал символом поэтического вдохновения. Каллимах из Кирены поместил эпизод с ослеплением Тиресия на Геликоне. С упоминания о Геликоне также начинается «Теогония» Гесиода. В геометрическом гимне Посейдону бог назван «владыкой Геликона». Римские поэты также использовали в своих произведениях мифы о Геликоне.

[Вернуться](#)

## 90

Белую тогу вместо окаймленной детской тоги надевали при совершеннолетию, около 16 лет.

[Вернуться](#)

## 91

Туника с широкой пурпурной каймой означала намерение молодого человека домогаться государственных должностей, ведущих в курию, в сенат; узкая полоса, наоборот, означала намерение оставаться во всадническом сословии.

[Вернуться](#)

## 92

Одним из триумвиров по уголовным делам.

[Вернуться](#)

## 93

Музы, обитательницы Геликона в Беотии (Аонии).

[Вернуться](#)

## 94

Фрагмент из книги «Сновидение, или Жизнь Лукиана» в переводе Э. Диль приводится по изданию: *Лукиан. Избранное*. М., 1987. С. 33–39. Здесь и в дальнейшем, если не указан автор вступительной статьи и примечаний, это значит, что сведения взяты из тех же изданий, что и сами тексты воспоминаний.

[Вернуться](#)

## 95

Текст печатается в переводе Н. И. Сагарды по изданию: Творения Св. Григория Чудотворца и Св. Мефодия епископа и мученика. Пг. 1916; М., 1996. С. 18–52.

[Вернуться](#)

## 96

Фрагмент «Жизни, или О собственной доле» печатается в переводе С. Шестакова по изданию: Речи Либания. Казань, 1914. Т. 1. С. 4–7, с изм.

[Вернуться](#)

## 97

Софист – в Античности философ и ритор, обучающий других за плату, учитель высокой квалификации.

[Вернуться](#)

## 98

Текст сочинения в переводе М. Е. Сергеенко публикуется по изданию: Аврелий Августин. Исповедь. М., 1991. С. 56–85.

[Вернуться](#)

## 99

Пс 50:7.

[Вернуться](#)

## 100



Пс 93:22.  
[Вернуться](#)

## 101

Мф 10:30.  
[Вернуться](#)

## 102

Законченное образование во всем римском мире получали лица, прошедшие три школы: начальную, где обучались чтению, письму и счету; грамматическую, где занимались главным образом чтением и толкованием поэтов и прозаиков, введенных в канон школьного обучения; и риторскую, в которой юноша готовился к ораторской карьере.

[Вернуться](#)

## 103

Пс 77:39.  
[Вернуться](#)

## 104

Эней – главный герой «Энеиды» Вергилия, на которой воспитывалось все римское общество. Один из троянских героев, Эней бежит из объятай пожаром Трои. В Карфагене он принят царицей Дидоной, полубившей его. После отъезда Энея она покончила с собой.

[Вернуться](#)

## 105

Царь тевкров (т. е. троянцев) – Эней. Юнона старалась помешать Энею прибыть в Италию, где ему судьбой было определено основать великое царство. Подобные задачи по составлению прозаических речей от имени мифологических персонажей были обычным упражнением в школе грамматика.

[Вернуться](#)

## 106

Пс 30:23.

[Вернуться](#)

## 107

Мф 19:14.

[Вернуться](#)

## 108

Личностное сознание, коррелирующее данные органов чувств.

[Вернуться](#)

## 109

«Смертностью моей» – смертным телом. Желания тела оглушили юношу. Это было наказанием за гордость, выразившуюся в стремлении быть независимым от Бога.

[Вернуться](#)

## 110

Пс 18:13.

[Вернуться](#)

## 111

Мф 25:21.

[Вернуться](#)

## 112

Текст сочинения в переводе М. Л. Гаспарова публикуется по изданию: *Авсоний*. Стихотворения. М., 1993. С. 233—237. Предисловие Ю. П. Зарецкого.

[Вернуться](#)

## 113

Пелла была в древности столицей Македонского царства. Впоследствии захирела и превратилась в небольшой провинциальный город.

[Вернуться](#)

## 114

Префект – военное или гражданское должностное лицо высокого ранга. Викарий – заместитель префекта либо наместник.

[Вернуться](#)

## 115

Тирренское море располагалось между Италией, Корсикой, Сардинией и Сицилией.

[Вернуться](#)

## 116

Карфаген назван «сидонским городом», так как в нем обосновались потомки финикийского царя города Сидона.

[Вернуться](#)

## 117

Проконсул – наместник провинции, бывший консул. Консул – высшее должностное лицо Римской республики.

[Вернуться](#)

## 118

Бурдигала – французский город Бордо.

[Вернуться](#)

## 119

Невежество (греч.)

[Вернуться](#)

## 120

Высокомерная отчужденность (греч.)

[Вернуться](#)

## 121

Улисс – латинский вариант имени Одиссей.

[Вернуться](#)

## 122

Речь идет о Вергилии (70 до н. э. —19 до н. э.), римском поэте, авторе «Энеиды».

[Вернуться](#)

## 123

Автор имеет в виду обучение письменной традиции, существовавшей на двух языках.

[Вернуться](#)

## 124

«Аргивяне» (от г. Аргос) – синоним греков.

[Вернуться](#)

## 125

Текст приводится в переводе М. Л. Гаспарова по изданию: Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 596–598. Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

[Вернуться](#)

## 126

Бозтий (Бозций, ок. 480–524) – римский философ и государственный деятель.

[Вернуться](#)

## 127

Перевод с греческого Памвы Берынды приводится по изданию: Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения и послания. 8-е изд. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1900. С. 114–115.

[Вернуться](#)

## 128

Вступительная статья и перевод Н. Ф. Ускова.

[Вернуться](#)

## 129

*Migne J.-P. Patrologiae latinae... cursus completus... P., 1848. T. 146. Col. 280.*

[Вернуться](#)

## 130

*Otloh von St. Emmeram. Liber de temptatione cuiusdam monachi /S. Gabe. (Hrsg.). Bern, 1999. P. 352, 354.*

[Вернуться](#)

## 131

Перевод с латинского. Текст и примечания приведены по изданиям: Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков. М., 1972. С. 367–369 (перевод под ред. Т. И. Кузнецовой); Стасюлевич М. М. История Средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. 3-е изд. СПб., 1907. Т. 3. Ч. 1. Отд. 1. С. 101–109.

[Вернуться](#)

## 132

В предыдущих главах рассказывается о тяжелых родах матери и о данном отцом обете посвятить ребенка монашеской жизни.

[Вернуться](#)

## 133

С шести лет.  
[Вернуться](#)

**134**

Лакуна в тексте.  
[Вернуться](#)

**135**

Гвиберт был отдан в монастырь Флавиньи.  
[Вернуться](#)

**136**

«Буколики» Вергилия.  
[Вернуться](#)

**137**

Имеются в виду собрания монастырской братии.  
[Вернуться](#)

## 138

Фрагмент «Церковной истории» приводится по изданию: *Стасюлевич М. М.* История Средних веков. 3-е изд. СПб, 1906. Ч. 2. С. 311–313. Вступительная статья А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 139

4 апреля 1075 г., а родился Ордерики Виталий 16 февраля 1075 г.

[Вернуться](#)

## 140

Отец Ордерики Оделерий из Орлеана был личным священником Роджера Монтоммери, одного из соратников Вильгельма Завоевателя. Мать Ордерики происходила из англосаксонской семьи.

[Вернуться](#)

## 141

Адонай – одно из имен Бога (древнеевр.; букв. «мой господин»).

[Вернуться](#)

## 142

Быт 37–39.

[Вернуться](#)

## 143



Предполагают, что на момент своего прибытия на континент Ордрик, вероятно, знал латинский и англосаксонский языки, но еще не знал французского, на котором говорили в Нормандии.

[Вернуться](#)

## 144

Перевод с латинского выполнен Ю. П. Зарецким по изданию: *Giraldus Cambrensis. Opera.* London, 1861. Vol. 1. P. 21—23. Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

[Вернуться](#)

## 145

Первой главе в сочинении предшествует вступление от имени анонимного автора-современника, который якобы записал слышанный от Гиральда рассказ о его жизни. В этом вступлении Гиральд фактически приравнивается к великим героям древних времен.

[Вернуться](#)

## 146

«Неотесанный», «неотесаннее», «самый неотесанный» (лат.).

[Вернуться](#)

## 147

«Глупый», «глупее», «глупейший» (лат.).

[Вернуться](#)

## 148

Известно, что Гиральд учился в школе аббатства св. Петра в Глочестере.

[Вернуться](#)

## 149

«Семь свободных искусств» – система учебных предметов, состоявшая из двух циклов: начального (тривий) и продвинутого (квадривий).

[Вернуться](#)

## 150

Первый цикл «семи свободных искусств», включавший грамматику, риторику и диалектику.

[Вернуться](#)

## 151

Фрагмент автобиографии в переводе Л. А. Фрейберг печатается по изданию: Памятники византийской литературы IX–XIV веков. М., 1969. С. 324–325.

[Вернуться](#)

## 152

Ктитор – дословно «основатель», здесь попечитель, покровитель.

[Вернуться](#)

## 153

Афтоний – софист и ритор III–IV вв., автор «Прогимнасм» – учебника риторики. Гермоген – ритор II–III вв., автор многих сочинений по теории красноречия. См.: *Гермоген. Об идеях, или О видах слога // Разыскания. Вопросы классической филологии. Вып. VIII.* М., 1984. С. 88–160; *Гермоген. Введение к трактату «О видах*

речи» // Проблемы литературной теории в Византии и латинском Средневековье. М., 1986. С. 170–177.

[Вернуться](#)

## 154

Перечислены логические сочинения Аристотеля.

[Вернуться](#)

## 155

Перевод отрывка «Жизнеописания» выполнен Ю. П. Зарецким и М. А. Зеленской с сохранением, насколько это было возможно, синтаксических особенностей оригинала по изданию: *Frugoni A. Celestiniana / Intr. di C. Gennaro. Roma, 1991. P. 56–59.* Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

[Вернуться](#)

## 156

*Bowsma W. J. The Renaissance and the Drama of Western History // The American Historical Review. 1979. № 84. P. 1.*

[Вернуться](#)

## 157

*Буркгардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: В 2 т. СПб., 1904–1906.*

[Вернуться](#)

## 158

*Jelis J. The Child: From Anonymity to Individuality // A History of Private Life. Part III: Passions of the Renaissance / ed. R. Chartier; Tr. A.*

Goldhammer. Cambridge (Mass.), 1989. P. 309–310.

[Вернуться](#)

## 159

Культура и общество в Средние века: методология и методика зарубежных исследований: Реферативный сборник. М., 1982. С. 222, 224.

[Вернуться](#)

## 160

*Jelis J.* Op. cit. P. 317–320.

[Вернуться](#)

## 161

См. текст первых двух глав воспоминаний Тересы в: *Варьяш О. И., Зарецкий Ю. П.* Святая Тереса Авильская и ее «Книга жизни». Перевод и комментарии // Вестник Университета Российской Академии Образования. 1997. № 2(3). С. 99–108.

[Вернуться](#)

## 162

*Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1971. Т. 5. С. 213.

[Вернуться](#)

## 163

См.: *Кошелева О. Е.* «История детства» как способ реконструкции и интерпретации историко-педагогического процесса в зарубежной историографии // Всемирный историко-педагогический процесс:

концепции, модели, историография / под ред. Г. Б. Корнетова и В. Г. Безрогова. М., 1996. С. 209–210.

[Вернуться](#)

## 164

Здесь использованы биографические материалы, подготовленные К. Г. Челлини.

[Вернуться](#)

## 165

См.: *Брагина Л. М.* Гуманистические традиции в этико-философской концепции Джироламо Кардано // *Культура Возрождения XVI века*. М., 1997. С. 144–157.

[Вернуться](#)

## 166

Об обращенности сознания средневекового человека к идеальным жизненным моделям прошлого см.: *Ле Гофф Ж.* *Цивилизация средневекового Запада*. М., 1992. С. 302.

[Вернуться](#)

## 167

*Руссо Ж.-Ж.* *Избранные сочинения*. М., 1961. Т. 3. С. 9–10.

[Вернуться](#)

## 168

*Он же.* *Исповедь* / пер. В. Устрялова. СПб., 1898. С. 9.

[Вернуться](#)

## 169

См. об этом: *Кон И. С.* Открытие «Я». М., 1978. С. 183–224.

[Вернуться](#)

## 170

Фрагмент «Письма к потомкам» в переводе М. Гершензона приведен по изданию: *Петрарка Ф.* Канцоньере. Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру. Книга писем о делах повседневных. Старческие письма. М., 1997. С. 675–679. Фрагмент письма «Гвидо Сетте, архиепископу генуэзскому, о том, как меняются времена» в переводе М. Томашевской приведен по изданию: *Петрарка Ф.* Лирика. М., 1980. С. 321–325.

[Вернуться](#)

## 171

Слова Октавиана Августа (63–14 гг. н. э.), приведенные Светонием в «Жизни двенадцати цезарей», в главе «Божественный Август». См. рус. пер. М. Л. Гаспарова (М., 1991).

[Вернуться](#)

## 172

Марк Гавий Апиций, знаменитый гурман времен императора Тиберия, правившего с 14 по 37 г. Проев свое состояние, покончил с собой. Именем Апиция назывались различные блюда. Сохранилось произведение «О кулинарии» III—IV вв., приписываемое Апицию.

[Вернуться](#)

## 173

Под «юностью» Петрарка подразумевал возраст между «детством» и «зрелостью», то есть от 17 до 30 лет.

[Вернуться](#)

## 174

Лаура умерла в 1348 г.

[Вернуться](#)

## 175

Биографы Петрарки считают, что он здесь несколько преувеличивает, поскольку еще в письмах 1351–1352 гг. Петрарка жаловался на невозможность избавиться от плотских вожделений. Свое желание избавиться от них он в «Письме к потомкам» перевел в статус действительности.

[Вернуться](#)

## 176

Особенное увлечение Петрарки библейскими и христианскими текстами падает на 1346–1347 гг.

[Вернуться](#)

## 177

Уже на двенадцатом году жизни Август, согласно Светонию, произнес речь на похоронах своей бабушки. В дальнейшем он также уделял время совершенствованию в ораторском искусстве.

[Вернуться](#)

## 178

Считалось, что эра Христа – последняя в истории человечества.

[Вернуться](#)

## 179

Петрарка пробыл в Авиньоне с 1312 по 1316 г. Здесь и далее он упоминает разные коллизии, вызванные перемещениями резиденции римских пап из Рима в Авиньон и обратно.

[Вернуться](#)

## 180

Петрарка пробыл в Болонье с 1320 по 1326 г., но из них учился, вероятно, лишь три, поскольку некоторое время Болонский университет был закрыт.

[Вернуться](#)

## 181

Гвидо Сетте (1304–1367) стал архиепископом Генуи в 1358 г. В 1361 г. он основал бенедиктинский монастырь, где и умер. Петрарка был связан с ним тесной дружбой.

[Вернуться](#)

## 182

*Гораций*. О поэтическом искусстве [=Наука поэзии]. С. 173—174.

[Вернуться](#)

## 183

В Ареццо, где находился изгнанный из Флоренции отец Петрарки.

[Вернуться](#)



## 184

Петрарке было 7 лет, когда семья перебралась в 1312 г. в Авиньон. Туда в 1309 г. папой Климентом V была перенесена из Рима резиденция пап. В 1367–1370 гг. по инициативе папы Урбана V она вновь пребывала в Риме.

[Вернуться](#)

## 185

*Cammelli G. Demetrii Cydonii orationes tres, adhuc ineditae // Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 1922. Bd. 3. S. 283.*

[Вернуться](#)

## 186

Фрагмент в переводе М. А. Поляковской приводится по изданию: *Поляковская М. А. «Апология I» Димитрия Кидониса как памятник византийской общественной мысли XIV века // Общественное сознание на Балканах в Средние века. Калинин, 1982. С. 26.*

[Вернуться](#)

## 187

Перевод с латинского языка выполнен Н. В. Ревякиной по книге: *Giovanni Conversini da Ravenna. Rationarium vitae / A cura di V. Nason. Firenze, 1986. P. 67–74. Вступительная статья и примечания Н. В. Ревякиной и Ю. П. Зарецкого.*

[Вернуться](#)

## 188

Монахини св. Павла предположительно связаны с орденом еремитов св. Павла, возникшем в Венгрии в 1212 г. и утвержденном папой

Климентом V в 1308 г.

[Вернуться](#)

## 189

Донато дель Казентино – это Донато Альбанцани (до 1328 – после 1411), учитель риторики, друг Петрарки и Боккаччо.

[Вернуться](#)

## 190

Структура средневековой школы напоминала структуру ремесленной мастерской, учитель часто использовал в работе помощников (как мастер подмастерьев); у Алессандро дель Казентино, видимо, имелось несколько таких помощников, одним из которых был учитель Филиппино.

[Вернуться](#)

## 191

*Гораций Флакк.* Послания. II, I, 70—71.

[Вернуться](#)

## 192

Мой крестьянин – у отца Джованни Конверсини были земельные владения в окрестностях Болоньи.

[Вернуться](#)

## 193

Тезифона (Тисифона) – одна из эриний, богинь-мстительниц.

[Вернуться](#)

## 194

Стих псалма – Псалтирь в средневековой школе использовалась на начальных этапах обучения, с ее помощью учились читать по-латыни; псалмы заучивались наизусть еще до того, как начинали читать, и смысл их был еще непонятен.

[Вернуться](#)

## 195

*Квинтилиан. Об обучении оратора. II. 27.*

[Вернуться](#)

## 196

Дистихи Катона – мудрые изречения в двустишьях, приписываемые Катону Старшему.

[Вернуться](#)

## 197

Проспер – Проспер Аквитанский (V в.), его сочинение – поэтическое переложение высказываний блаженного Августина.

[Вернуться](#)

## 198

Боэций – возможно, что-то из учебников Боэция, философа, поэта, ученого (ок. 480–525).

[Вернуться](#)

## 199

Аргус (стоокий Аргус) – в древнегреческой мифологии существо, стерегущее, не зная сна, возлюбленную Зевса Ио.

[Вернуться](#)

## 200

Орк – в римской мифологии подземный мир, а также божество смерти.

[Вернуться](#)

## 201

Намек на Книгу Притчей Соломоновых.

[Вернуться](#)

## 202

Пс. 24:7

[Вернуться](#)

## 203

Минориты – монахи францисканского ордена.

[Вернуться](#)

## 204

Джованни Конверсини был возвращен к тем же монахиням монастыря св. Павла в 1353 г.; война между Миланом и Болоньей разразилась позже, в 1355 г.

[Вернуться](#)

## 205

Перевод С. А. Гаврильченко по изданию: *Butzbach J. Oedericon. Weinheim, 1991.* Вступительная статья и примечания А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 206

Пятница – постный день, и поэтому мальчик никак не имел права готовить мясо.

[Вернуться](#)

## 207

Из этого следует сделать вывод, что имевший полномочия уволить учителя городской совет был и его нанимателем.

[Вернуться](#)

## 208

Фрагмент ее публикуется по изданию: *Сперанский Н. В. Очерки по истории народной школы в Западной Европе с приложением автобиографии Ф. Платтера. М., 1896. С. 331–359.* Перевод сделан Н. В. Сперанским с немецкого издания: *Thomas Platters Selbstbiographie. Aus dem schweizerdeutschen des XVI. Jahrhunderts für die Gegenwart übertragen von J. K. Rudolf Heman. Gütersloh, 1882.* Примечания переводчика.

[Вернуться](#)

## 209

Кардинал М. Шиннер (ум. 1522), игравший видную роль в международной политике Европы конца XV и начала XVI в., сам был родом из мужиков Валлиса.

[Вернуться](#)

## 210

Фуггеры – немецкие Ротшильды конца XV и начала XVI в.

[Вернуться](#)

## 211

Иоганн Витц (Johann Witz, 1490–1561), в гуманистическом крещении Sapidus, был одним из самых видных педагогов первой половины XVI в. Приглашенный занять место ректора школы в своем родном городке Шлетштадте, он принес этой школе громкую славу. Реформация встретила в нем одного из самых горячих поборников. Благодаря этому в 1525 г. ему пришлось покинуть Шлетштадт и перенести свою деятельность в Страсбург.

[Вернуться](#)

## 212

Элий Донат (IV в.) – римский грамматик. Его сочинение «Искусство грамматики» являлось одним из наиболее распространенных учебников латыни.

[Вернуться](#)

## 213

Учитель перевел имена студиязусов как Фома из Платер и Антоний из Венеции.

[Вернуться](#)

## 214

Фрагмент автобиографии Челлини в переводе М. Л. Лозинского и примечания приводятся по изданию: Жизнь Бенвенуто Челлини, написанная им самим. М., 1991. С. 31–43.

[Вернуться](#)

## 215

Школой названа среда воинов знаменитого кондотьера (предводителя наемного отряда на службе Медичи) Джованни делле Банде нере (1498–1526). Он служил папе Льву X, городу Милану, французскому королю Франциску I. Был талантливым полководцем, другом и покровителем многих выдающихся лиц. Погиб от тяжелого ранения в бою.

[Вернуться](#)

## 216

Совет Восьми – судебный орган г. Флоренции.

[Вернуться](#)

## 217

Имеется в виду обучение воинскому делу или даже начало ратной службы.

[Вернуться](#)

## 218

Фрагменты автобиографии Кардано, относящиеся к его детству, приведены в переводе с латинского Ф. А. Петровского по изданию: *Кардано Д. О моей жизни. Ст. и коммент. В. П. Зубова. М., 1938. С. 1–135.*

[Вернуться](#)

## 219

Имеется в виду «К самому себе», сочинение римского императора Марка Аврелия (II в.).

[Вернуться](#)

## 220

Иосиф Флавий (I в.), историк, составил свое жизнеописание, приложив его к сочинению «Об иудейской войне».

[Вернуться](#)

## 221

Разъяснения основных астрологических терминов (асцендант, аспект и др.), используемых Кардано, см. в примечаниях в книге: Кампанелла Т. Город Солнца. М.; Л., 1934. С. 145–148.

[Вернуться](#)

## 222

Имеется в виду «Тетрабиблос» Клавдия Птолемея, одно из основных астрологических сочинений древности.

[Вернуться](#)

## 223

Гарпократический – обладающий ясновидением, даром озарения.

[Вернуться](#)

## 224

Генитура – положение светил в момент рождения человека. В зависимости от того, какое из своих «мест» занимает та или иная планета в момент рождения, как считалось, определялись наклонности и судьбоносные черты личности.



[Вернуться](#)

## 225

Восемь часов утра по современному счислению.

[Вернуться](#)

## 226

Дворянин из г. Павии, покровитель Кардано. В его доме Кардано появился на свет.

[Вернуться](#)

## 227

Как считалось, особенности характера и темперамента человека определялись соотношением в нем четырех жидкостей – крови, желчи, черной желчи, флегмы.

[Вернуться](#)

## 228

Джироламо был внебрачным сыном вдовы Клары Микери от Фацио Кардано, доктора права и медицины, который был на 22 года старше матери Джироламо (ему было 56 лет, когда родился мальчик). Лишь более чем через 7 лет Фацио стал жить вместе с матерью Кардано, ее сестрой и Джироламо в одном доме, который снял для них в Милане. В брак он так и не вступил.

[Вернуться](#)

## 229

Победа французов при Аньяделло (в 20 км от Милана, между реками Аддой и Серियो) 14 мая 1509 г.

[Вернуться](#)

## 230

Намек на начальные стихи «Энеиды» Вергилия, в которых упоминается о злоключениях Энея, преследуемого гневом Юноны.

[Вернуться](#)

## 231

Джироламо снимает ответственность с отца за все перипетии своей дальнейшей судьбы.

[Вернуться](#)

## 232

Описания симптомов (отказ от пищи и пр.) не вполне соответствуют именно чуме. Вероятно, этим словом Джироламо обозначил какую-то иную инфекционную болезнь.

[Вернуться](#)

## 233

Затем Джироламо обучался в Павийской академии, где уже в 21 год стал сам вести занятия.

[Вернуться](#)

## 234

В сочинении «О тонких материях» («De subtilitate») Кардано описал имевшиеся у его отца видения, подробно указывая рост, характер одежды и даже обуви семи явившихся к Фацио мужчин, содержание их рассуждений о душе, которыми они обменялись с отцом Джироламо.

[Вернуться](#)

## 235

См. на рус. яз.: *Тереза Авильская, Св. Внутренний Замок* / пер. под ред. Н. Трауберг. М., 2000; она же. *Книга жизни*. пер. Ю. П. Зарецкого, О. И. Варьяш//История через личность: историческая биография сегодня. М., 2005; *О. И., Зарецкий Ю. П.* Тереса Авильская. Книга жизни // Вестник университета Российской академии образования. 1997. № 2; *Зарецкий Ю. П., Брандт Г. А.* Читая Тересу Авильскую: монахиня и исповедник («Книга жизни», гл. 5, 3–6) // Средние века. Вып. 61. М., 2000; *Зарецкий Ю. П.* Тайна монахини // *De mulieribus illustribus*. М., 2001; *Мережковский Д. С.* Испанские мистики: св. Тереза Авильская, св. Иоанн Креста. Брюссель, 1988; *Подвижники: Избранные жизнеописания и труды*. 2-е изд. Самара, 1998; *Сикари А.* Портреты святых. Милан, 1987.

[Вернуться](#)

## 236

Перевод с испанского выполнен О. И. Варьяш и Ю. П. Зарецким по изданию: *Teresa de Avila. Libro de la vida* / Ed., intr. y notas de O. Steggink. Madrid, 1986. Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

[Вернуться](#)

## 237

Тереса имеет в виду ее духовников, по настоянию которых она стала писать «Книгу жизни».

[Вернуться](#)

## 238

Отец Тересы, Алонсо Санчес де Сепеда, сын состоятельного купца-выкреста Хуана Санчеса, был женат дважды и от первого брака имел двух детей, сына и дочь. После смерти первой жены, в возрасте

двадцати девяти лет он вступил в 1509 г. в брак с четырнадцатилетней доньей Беатрис Давила-и-Аумада (р. в 1494 г.) из знатной, но бедной испанской семьи и имел от неё десятерых детей, в числе их родившуюся третьей Тересу. В специальной тетради, которую он вел для учета обстоятельств появления своего потомства на свет, имеется по этому поводу запись: «В среду двадцать восьмого дня месяца марта тысяча пятьсот пятнадцатого года родилась Тереса, моя дочь, около пяти часов утра, получасом раньше или позже, что было в указанную среду, когда почти рассвело» (Tiempo y vida de Santa Teresa / ed. E. de la M. de Dios y O. Steggink. Madrid, 1977. P. 20–21).

[Вернуться](#)

## 239

Т. е. довольно для того, чтобы вести благую жизнь.

[Вернуться](#)

## 240

Буквально «хороших книг» (buenos libros). Тереса называет так книги религиозного содержания.

[Вернуться](#)

## 241

Т. е. «пробуждать мое религиозное сознание».

[Вернуться](#)

## 242

В Испании XVI века домашнее рабство еще имело место.

[Вернуться](#)

## 243

Донья Беатрис приняла последнее причастие 24 ноября 1528 г. и вскоре после этого скончалась.

[Вернуться](#)

## 244

Скорее всего, Родриго, который родился в 1513 или 1514 г. В 1535 г. он отправился в Америку, где погиб в одном из сражений с индейцами. Тересой его смерть была воспринята как мученическая гибель за веру.

[Вернуться](#)

## 245

Испанское выражение «amor de Dios» может быть переведено и как «любовь к Богу», и как «любовь Божья».

[Вернуться](#)

## 246

По сведениям Франсиско Риберы, современника и биографа святой, беглецы в «страну мавров» были случайно встречены по дороге их дядей и возвращены домой (*Ribera F. de. La vida de la madre Teresa de Jesús. Barselona, 1908. I, 4*).

[Вернуться](#)

## 247

Подразумеваются, по-видимому, и упомянутое выше неудачное бегство «в страну мавров», и последовавшие после поиски уединения.

[Вернуться](#)

## 248

Здесь память изменяет автору. Тересе в это время было уже полных 13 лет.

[Вернуться](#)

## 249

Тереса понимает детство как «чистый» период ее жизни (ср. иную трактовку детства в «Исповеди» св. Августина: I, 8–20).

[Вернуться](#)

## 250

См. гл. 1, § 2.

[Вернуться](#)

## 251

Имеются в виду популярные в XVI в. в Испании рыцарские романы.

[Вернуться](#)

## 252

Вероятно, трое сыновей Эльвиры де Сепеда, вдовы Эрнандо Мехиа, которые были старше Тересы на восемь, семь и два года.

[Вернуться](#)

## 253

Мария де Сепеда, дочь Алонсо от первого брака, которая была на 9 лет старше Тересы.

[Вернуться](#)

## 254

Возможно, Инес де Мехиа, дочь Эльвиры де Сепеда и Эрнандо Мехиа.

[Вернуться](#)

## 255

Размышляя о прожитой жизни, Тереса постоянно противопоставляет мирскую славу и честь (*honra del mundo*) высшей Божественной (*honra de Dios*) – см. об этом подробнее дальше, гл. 31, § 20–23).

[Вернуться](#)

## 256

Августинский монастырь Санта-Мария-де-Грасия, расположенный за северной городской стеной Авилы, в котором жили и мирянки, проводя время в благочестивых занятиях. Тересе в это время было уже полных 16 лет.

[Вернуться](#)

## 257

Мария де Сепеда, обвенчавшаяся в январе 1531 г. с Мартином Гусманом и Барриентосом.

[Вернуться](#)

## 258

Мотивы дона Алонсо, отправившего любимую дочь из дома на воспитание в монастырь, не вполне ясны. Возможно, это было беспокойство, что ее девичьи увлечения могут зайти слишком далеко.

[Вернуться](#)

## 259

У Тересы – *Su Majestad*, что может переводиться и как «Ваше Величие». Кроме того, поскольку местоимение *su* в испанском указывает также на 3-е лицо, возникают еще два возможных перевода: «Его Величество» и «Его Величие».

[Вернуться](#)

## 260

Интерпретация этого предложения традиционно вызывает затруднения – о каком человеке говорит Тереса и чей брак имеет в виду? Об Инес де Мехиа (см. выше) и ее предстоящем замужестве? Или Тереса имеет в виду свои собственные намерения в отношении одного из ее кузенов?

[Вернуться](#)

## 261

Донья Мария де Брисеньо, принявшая обет в 1514 году шестнадцати лет от роду.

[Вернуться](#)

## 262

Мф 20:16.

[Вернуться](#)

## 263

«Дар слезный» в Средние века считался одной из христианских добродетелей.

[Вернуться](#)

## 264



Тереса имеет здесь в виду один из двух основных видов молитвы, *oración vocal*. Дальше она много говорит о втором виде, «мысленной молитве» (*oración mental*).

[Вернуться](#)

## 265

Донья Хуана Хуарес, монахиня-кармелитка монастыря Санта Мария де ла Энкарнасьон в Авиле.

[Вернуться](#)

## 266

В языке Тересы чувства и чувственность (*sentidos, sensibilidad*) – часть человеческой плоти (*carne*), и потому они враждебны душе (*alma*).

[Вернуться](#)

## 267

См. выше пример 21.

[Вернуться](#)

## 268

Дон Педро Санчес де Сепеда, чей дом находился в нескольких лигах от Авилы.

[Вернуться](#)

## 269

См. гл. 1, § 6.

[Вернуться](#)

## 270

Перевод Е. В. Казбековой по изданию: *Lebenserinnerungen des Burgermeisters Bartholomaeus Sastrow*. Hamburg, 1907. Вступительная сатья и примечания А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 271

Имеется в виду учебник латинского языка, составленный еще в IV в. монахом Донатом.

[Вернуться](#)

## 272

Речь идет о фрагментах григорианского хора, исполнявшихся детьми на Вербное воскресенье. См.: *Freitag G. Pictures of German life in fifteenth, sixteenth, and seventeenth centuries*. Vol. 1. L., 1862. P. 194–195. Благодарим С. В. Бабкину за это ценное разъяснение. – Ред.

[Вернуться](#)

## 273

Нижеследующий эпизод характеризует не только чадолюбие родственников Варфоломея, но и то отношение к морским забавам, которое было распространено до появления моды на спорт и на купание, т. е. до конца XIX в. Школьный устав 1591 г., например, категорически запрещал детям кататься на коньках на открытых водных пространствах и купаться в море. О подобных же представлениях в XVIII в. нам сообщает Гёте, рассказывая о своем путешествии в Швейцарию.

[Вернуться](#)

## 274

Перевод Е. В. Казбековой по изданию: *Leben des Jakob Andreae*. Stuttgart, 1991. Вступительная статья и примечания А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 275

В великом конфликте между империей и папством сторонники папы, как известно, именовались гвельфами (по имени соперничавшего с Гогенштауфенами рода Вельфов), а противники папы – гибеллинами (искаженное итал. от названия принадлежавшего Гогенштауфенам фамильного замка Вайблинген).

[Вернуться](#)

## 276

Буквальный перевод того, что сказал Яков с помощью доктора Шнепфа: «Я имеешь дом двенадцать животное».

[Вернуться](#)

## 277

Мэрклин, Марколеон – немецкий и латинский варианты одного имени.

[Вернуться](#)

## 278

Ближайший сподвижник Лютера и предшественник Андреэ в деле объединения лютеранских конфессий, Филипп Меланхтон (1497–1560) получил гуманистическое образование, прекрасно знал классические языки и был автором одного из лучших учебников XVI в. по латинскому языку.

[Вернуться](#)

## 279

Фрагмент «Опытов» в переводе А. С. Бобовича приводится по изданию: *Монтень М. Опыты: Избранные главы.* М., 1991. С. 148—153.

[Вернуться](#)

## 280

Персонажи различных рыцарских романов и эпических песен.

[Вернуться](#)

## 281

Перевод Е. В. Казбековой по изданию: *Schweinichen von H. Lebens-Erinnerungen.* Hamburg, 1907. Вступительная статья А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 282

Геллер – мелкая монета.

[Вернуться](#)

## 283

По-видимому, в гнездах под крышами или на чердаках.

[Вернуться](#)

## 284

Его Княжеской Милостью автор почти везде называет Фридриха III, которого герцог Генрих, сын его, держал в относительном заточении.

[Вернуться](#)

## 285

Катехизис – наставление в христианской вере, записанное в форме вопросов и ответов.

[Вернуться](#)

## 286

Литания – молитва, состоящая из прошений.

[Вернуться](#)

## 287

Вокабула – от латинского vocabulum, т. е. слово.

[Вернуться](#)

## 288

Франкония – историческая область в Германии.

[Вернуться](#)

## 289

Фрагмент «Мемуаров Маргариты Валуа» в переводе И. В. Шевлягиной приводится по изданию: Мемуары королевы Марго / пер. И. В. Шевлягиной; М., 1995. С. 36–50.

[Вернуться](#)

## 290

Карл IX, брат Маргариты, правил с 1559 по 1574 г.

[Вернуться](#)

## 291

Фемистокл (524–459 гг. до н. э.) – афинский государственный и военный деятель. Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.) – полководец.

[Вернуться](#)

## 292

Гибель Генриха II на рыцарском турнире в Париже в 1559 г.

[Вернуться](#)

## 293

В год гибели Генриха II Маргарите было 6 лет.

[Вернуться](#)

## 294

Встреча иерархов и теологов галликанской (французской католической) церкви с представителями (министрами) кальвинистской (протестантской) церкви.

[Вернуться](#)

## 295

Будущий король Генрих III.

[Вернуться](#)

## 296

Тетя Пьера Брантома, которому адресованы воспоминания.

[Вернуться](#)

## 297

Дворянин имел в виду военные победы герцога Анжуйского над гугенотами в 1568 и 1569 гг.

[Вернуться](#)

## 298

Герцогу Анжуйскому, о котором идет речь, в то время было на самом деле 18 лет.

[Вернуться](#)

## 299

Царь Аргоса Агамемнон, отец Ифигении, должен был принести свою дочь в жертву богине Артемиде, чтобы с ее помощью начать поход греческого флота на Троию.

[Вернуться](#)

## 300

Герцог Анжуйский имел в виду свое назначение командующим армией, санкционированное королевой-матерью Екатериной Медичи в 1567 г.

[Вернуться](#)

## 301

Автор мемуаров, придавая значение своему участию в придворных делах, обращается к библейскому сюжету, в котором Моисей взывает к Богу, прося дать ему знак, если Господь видит в нем способного вывести евреев из Египта и спасти от фараонова рабства. Огонь, вспыхнувший в кустарнике, был свидетельством благословения Моисея на эту миссию.

[Вернуться](#)

## 302

Наиболее подробное, хотя и небесспорное исследование на эту тему принадлежит Джеймсу Керку: *Kirk J. The Development of the Melvillian movement in Late-Sixteenth Century Scotland* (Ph. D. Thesis. University of Edinburgh, 1972).

[Вернуться](#)

## 303

См., напр., классическую работу об эпохе Э. Мелвилла: *McCrie T. The Life of Andrew Melville. Vol. 1–2. Edinburgh, 1819–1824.*

[Вернуться](#)

## 304

Филипп Меланхтон (1497–1560) – немецкий протестантский богослов, гуманист и педагог, автор Аугсбургского вероисповедания 1530 г. Эндрю Мелвилл также встречался с Меланхтоном в Германии и принял некоторые из его гуманистических воззрений.

[Вернуться](#)

## 305

Джордж Визарт – деятель периода лютеранской Реформации в Шотландии, сожжен на в костре 1546 г. в период преследований архиепископа Сент-Эндрюса Дэвида Битона

[Вернуться](#)

## 306



Дэвид Линдсей (1490–1555) – шотландский поэт при дворе Якова IV и Якова V, прославившийся своей «Сатирой о трех сословиях», где в пародийном стиле изображено духовенство.

[Вернуться](#)

## 307

Дэвид Риччио – возлюбленный шотландской королевы Марии Стюарт (1561– 1567), погиб в результате заговора, организованного Дарнлеем.

[Вернуться](#)

## 308

На краткое регентство Морей (1567–1570) приходится период относительного спокойствия в Шотландии. Мария Стюарт восприняла его убийство как свидетельство его посягательства на престол.

[Вернуться](#)

## 309

Перевод К. Г. Челлини выполнен по изданию: The Autobiography and Diary of Mister James Melvill. Edinburgh, 1842. P. 13–23. Вступительная статья и примечания К. Г. Челлини.

[Вернуться](#)

## 310

Автор приводит цитаты из Пс 26:10 и Ис 49:15 в редакции, не совпадающей с принятым Синодальным переводом.

[Вернуться](#)

## 311

Уильям Лили (1468–1522) – английский гуманист, автор многих учебников по грамматике латинского языка. С 1540 г. его «Грамматика» стала официальным школьным учебником. Он состоял из четырех частей – орфография, этимология, синтаксис, просодия. Лили же составил и так называемые «Начатки латинской грамматики» (Синописис), на которые ссылается Мелвилл.

[Вернуться](#)

## 312

Имеется в виду гибель Якова V в сражении с Генрихом VIII в декабре 1542 г.

[Вернуться](#)

## 313

Джордж Бьюкенен (1508–1582) – видный шотландский реформатор, гуманист, воспитатель Якова VI (I). Его творчество традиционно

ассоциируется с ценностями либерализма и шотландской кальвинистской церкви в ее противостоянии королевскому деспотизму. Его труды созвучны тираноборческим идеям французов Отмана и Дюплесси-Морнэ. Патриотические идеалы отражены в трактате «De jure regni apud Scotos» и в «Истории Шотландии».

[Вернуться](#)

## 314

По-видимому, речь идет об акте, реформировавшем структуру шотландской церкви (1563).

[Вернуться](#)

## 315

Итальянский математик, астролог XV в., автор поэмы «Зодиак жизни». Долгое время его имя считалось псевдонимом итальянского поэта Мадзолли, и лишь недавно немецкие исследователи выяснили, что это реальное историческое лицо. Подробнее см.: *Марцелл Палингений*. Зодиак жизни. Кн. II. Телец / пер., предисл. и примеч. А. Х. Горфункеля // Интеллектуальная история в лицах: Семь портретов мыслителей Средневековья и Возрождения / под общ. ред. И. В. Кривушина и Н. В. Ревякиной. Иваново, 1996. С. 105–119.

[Вернуться](#)

## 316

Вероятно, намек на Уильяма Мейтланда, государственного секретаря Шотландии в 1565–1573 гг., которого называли «шотландским Макиавелли».

[Вернуться](#)

## 317

Одно из наиболее известных пособий того времени по латинской грамматике.

[Вернуться](#)

## 318

Автор не указывает, перу какого из братьев Веддебернов принадлежала книга. Скорее это «Добрые и благочестивые баллады» – сборник песен, баллад и гимнов Джеймса Веддерберна.

[Вернуться](#)

## 319

Джеймс Стюарт, граф Морей (1531–1570), был регентом Шотландии в 1567–1570 гг.

[Вернуться](#)

## 320

Перевод П. В. Лавровой по изданию: *The Travels of John Sanderson in the Levant 1584–1602. With his Autobiography and Selections from his Correspondence* / ed. W. Foster. London: The Hakluyt Soc., 1931. Вступительная статья и примечания П. В. Лавровой.

[Вернуться](#)

## 321

Грамматическая школа Св. Павла (основана в 1512 г.), где Джон Кук был главным учителем в 1559–1573 гг., а Кристофер Холден младшим учителем в 1561–1578 гг. Дети начинали учиться в грамматических школах с семи-восьми лет.

[Вернуться](#)

## 322

Устав основателя школы, Колета, запрещал применять к ученикам телесные наказания. Тем не менее, как видим, уже в 1570-е годы они практиковались. Несмотря на рекомендации педагогов того времени использовать телесное наказание только как последнее средство, порка была достаточно обычным методом воздействия на учащихся. Айви Пинчбек приводит отрывок из сочинения Томаса Ингланда, в котором мальчик просит не отправлять его в школу из-за жестокости учителей к школьникам: «Их нежные тела и ночью и днем секут, и колотят, и бьют, словно камни, так что с головы до ног не сыщешь живого места». (*Pinchbeck I., Hewitt M. Children in English Society. London; Toronto, 1969. V. 1. P. 39.*)

[Вернуться](#)

## 323

Видимо, частные учителя, нанятые для обучения предметам, не входящим в программу грамматической школы. Главными предметами в грамматической школе были классические авторы, Св. Писание и манеры поведения.

[Вернуться](#)

## 324

Перевод выполнен О. В. Дмитриевой по изданию: *Herbert E. The Life of Edward Lord Herbert of Cherbury written by Himself. London, 1824.* Примечания О. В. Дмитриевой.

[Вернуться](#)

## 325

Э. Херберт редко указывает точные даты тех или иных событий. Упомянув час своего рождения, он тем не менее не называет даты. Годом его рождения мог быть 1581 или 1582, так как в 1600 г. Херберту, по его словам, было 18 или 19 лет.

[Вернуться](#)

## 326

Из текста остается неясным, имелось ли в виду кровотечение из ушей или они гноились. В любом случае ниже Херберт, по-видимому справедливо, связывает эти симптомы с распространенной в его семье эпилепсией, которую вызывало инфекционное поражение мозга или травма коры головного мозга, в результате которой возникал патологический очаг – источник возобновляющихся болей.

[Вернуться](#)

## 327

Физические страдания, перенесенные в детстве, а также судьба отца, подверженного эпилепсии и летаргии, произвели на Херберта очень сильное впечатление, определив его глубокий интерес к медицине и лекарственным средствам. Позднее он гордился тем, что, увидев любой рецепт в лавке аптекаря, «мог поставить диагноз любому больному, судя по предписаниям врача». В свою автобиографию он ввел пространные пассажи о лечении наследственных заболеваний у детей. По его мнению, кормилицам грудных младенцев следовало давать питье и отвары, влияющие на состав молока и предотвращающие образование камней и возникновение подагры. Для борьбы с последней, а также с параличом он настаивал на особых ваннах для ног, которые следовало принимать с детства.

[Вернуться](#)

## 328

«Смелым судьба помогает» (лат).

[Вернуться](#)

## 329

«Tertian ague» – малярия, или «болотная лихорадка».

[Вернуться](#)

## 330

Традиция отдавать детей из аристократических семейств в университеты в очень раннем возрасте (в 12–13 лет) была весьма распространена в Англии XVI в.

[Вернуться](#)

## 331

Имеется в виду неудачная попытка государственного переворота, предпринятая зимой 1600/1601 г. группой молодых аристократов во главе с графом Эссексом.

[Вернуться](#)

## 332

Дворец Уайтхолл – резиденция английских королей в Вестминстере (он же – Вестминстерский дворец), разрушен во время пожара 1698 г.

[Вернуться](#)

## 333

Современники единодушно утверждают, что в старости королева Елизавета нередко прибегала к крепким выражениям. Упомянутыми здесь «обычными ругательствами» королевы были, по-видимому, восклицания «Раны Христовы!» или «Смерть Христова!».

[Вернуться](#)

## 334

Перевод с немецкого Е. В. Казбековой по изданию: *Martin F. Das Hausbuch des Felix Gütrater, 1596–1634 // Mitteilungen der Gesellschaft*

fur Salzburger Landeskunde 88/89, 1948–1949. S. 1–50. Вступительная статья и примечания А. М. Пер-лова.

[Вернуться](#)

## 335

Оговорка о том, что автор будет рассказывать свою автобиографию с того возраста, в котором он себя помнит, является сравнительно редкой.

[Вернуться](#)

## 336

Весьма колоритное замечание, свидетельствующее о разном уровне образования в немецких и латинских школах (по меньшей мере в глазах современников).

[Вернуться](#)

## 337

То есть совершили какой-то из обрядов побратимства; см. ниже описание одного из таких обрядов.

[Вернуться](#)

## 338

Руководители местных христианских общин. Подробнее см.: *James E. O. A History of Christianity in England*. London; N. Y., 1949. P. 111–112.

[Вернуться](#)

## 339



См.: *Chambers R.* A biographical dictionary of eminent Scotsmen. New York, 1971. Vol. 1. P. 150.

[Вернуться](#)

## 340

См.: The new Cambridge bibliography of English literature. Cambridge, 1974. Vol. 1. P. 2248.

[Вернуться](#)

## 341

Перевод с английского А. В. Кореневской по изданию: *The Life of Mr. Robert Blair, minister of St. Andrews, containing his autobiography from 1593 to 1636 / ed. by Th. M' Crie.* Edinburgh: The Wodrow Society, 1848. Вступительная статья и примечания А. В. Кореневской.

[Вернуться](#)

## 342

Роберт Блэр был женат дважды. Его первой женой была Беатриса, дочь Роберта Гамильтона, купца из Эдинбурга. Она умерла в июне 1632 г. в возрасте двадцати семи лет. От Беатрисы у Блэра было трое детей, два сына и дочь (Джеймс, Роберт и Жанна). В данном отрывке речь идет о второй жене Блэра – Екатерине, дочери Хью Монтгомери, от которой у него было семь сыновей и одна дочь (см.: *Dictionary of National Biography (the compact edition).* Oxford, 1975. Vol. 1. P. 168).

[Вернуться](#)

## 343

Автор указывает на наиболее распространенные мотивы написания автобиографии – назидание по многочисленным просьбам окружающих его людей.

[Вернуться](#)

## 344

Отец Роберта Блэра – Джон Блэр из Виндиджа, предприниматель и авантюрист (см.: Dictionary of National Biography Oxford, 1975. Vol. 1. P. 168).

[Вернуться](#)

## 345

По-видимому, речь идет о внезапной болезни автора, но определенно сказать невозможно.

[Вернуться](#)

## 346

Роберт Блэр был шестым и самым младшим ребенком в семье.

[Вернуться](#)

## 347

Мать Роберта Блэра – Беатриса Мюир из дома Роваланов – прожила более века.

[Вернуться](#)

## 348

Дэвид Диксон (1583?–1663) – выдающийся шотландский священник. Родился в Глазго в семье зажиточного коммерсанта. После окончания университета в Глазго он был поставлен священником прихода в Ирвине (1618–1622, 1623–1637). Диксон принимал непосредственное участие в событиях, связанных с борьбой шотландской церкви против установления в стране единой системы епископата. После Реставрации он был смещен с поста профессора теологии в университете в Эдинбурге.

[Вернуться](#)

## 349

Ирвин – город на западном побережье Шотландии, в котором Роберт Блэр провел свои детские годы.

[Вернуться](#)

## 350

Скорее всего, Блэра удивило отличие облачения англиканского священника от облачения пресвитерианских пастырей (а именно две белые полосы, спускающиеся с воротника у англиканского священника).

[Вернуться](#)

## 351

Пс. 73(72):28.

[Вернуться](#)

## 352

Разбор и изучение Катехизиса составляли в XVII в. один из основных элементов начального образования.

[Вернуться](#)

## 353

Речь идет о нарушении заповеди Божьей: «Помни день субботний, чтобы святить его». В этот день (в отличие от иудеев христианам надлежало соблюдать день воскресный в воспоминание о воскресении Христовом) следовало отрешиться от мирских дел и забот и посвятить себя Богу. Игры и прочие увеселения в воскресный

день противоречили строгому уставу пуритан (см.: *James E. O. A History of Christianity in England*. London, 1950. P. 92).

[Вернуться](#)

## 354

«Исповедь» блаженного Августина, на которую указывает Блэр, является сочинением, положившим начало жанру религиозной биографии. Блэр использует ретроспективный метод блаженного Августина для достижения полноты религиозного самоанализа.

[Вернуться](#)

## 355

Перевод с немецкого Е. В. Казбековой по изданию: Augustin Guntzers merkwürdige Lebensgeschichte. Ein Kulturbild aus dem Jahrhundert des 30jährigen Krieges. Erzählt von ihm selbst. Barmen, 1896 (Barmer Bucherschatz, Bd. 3 und 4). Вступительная статья и примечания А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 356

Как известно, папа Григорий XIII еще в феврале 1582 г. обнародовал свою реформу о новом счете времени и об изъятии 10 дней в октябре указанного года. Реформе быстро подчинились католические страны, но на протяжении нескольких десятилетий европейские протестанты продолжали придерживаться старого стиля, с чем и связана двойная датировка у Гюнтцера. Указывая часы своего рождения, он имеет в виду, что уже в среду Солнце переходило под влияние Луны, что, с точки зрения астрологии, должно было отразиться на судьбе новорожденного.

[Вернуться](#)

## 357

Практика частных церквей, принадлежащих тем или иным знатным дворянским родам, сохранялась в германских землях и в высокое, и позднее Средневековье. В XVI в. «юнкер» – это, как правило, довольно крупный землевладелец.

[Вернуться](#)

## 358

Амтман – окружной судья.

[Вернуться](#)

## 359

Можно предположить, что странный способ попасть к этим проповедникам обуславливался тем, что они были вынуждены жить скрытно; либо это был тип конструкции здания, разработанный из соображений безопасности живущих в нем.

[Вернуться](#)

## 360

Гюнтцер упоминает о том, что его похитители были иезуитскими выучениками, желая показать, от какой опасности он избавился: иезуитские школы в XVI–XVII вв. готовили особенно ревностных и умелых проповедников католицизма.

[Вернуться](#)

## 361

Осознанная кончина необходима для того, чтобы иметь возможность покаяться.

[Вернуться](#)

## 362

Молитвенник издательства Хаберманна был широко известен в XVII в. как один из лучших.

[Вернуться](#)

## 363

В данном эпизоде стоит обратить внимание на то, насколько могли отступать реальные условия конфессионального сосуществования от, казалось бы, простых норм Аугсбургского религиозного мира. Видимо, в разных землях католики и протестанты находили свои формулировки компромисса, менявшиеся одновременно с соотношением сил между сторонами.

[Вернуться](#)

## 364

Перевод А. В. Кушнера по изданию: *Tristan l'Hermitte. Le page disgracie*. P., 1898. Вступительная статья А. В. Кушнера и В. Г. Безрогова. Примечания А. В. Кушнера.

[Вернуться](#)

## 365

Почти невозможно определить сегодня, кто из друзей Тристана был обозначен этим псевдонимом. Возможно, это абстрактное имя, введенное в рассказ, чтоб прерывать его местами, варьировать его тон и т. д.

[Вернуться](#)

## 366

По-видимому, речь идет об «Опытах» Монтеня.

[Вернуться](#)

## 367

Петр Отшельник, герой первого крестового похода (1095–1099).

[Вернуться](#)

## 368

Луи де Креван виконт де Бригей, маркиз де Юмьер.

[Вернуться](#)

## 369

Пьер Мирон де Малабри.

[Вернуться](#)

## 370

Париж.

[Вернуться](#)

## 371

Шарль Мирон, епископ Анжерский в 1588 г., затем архиепископ Лионский, дядя Тристана.

[Вернуться](#)

## 372

Генрих IV.

[Вернуться](#)

## 373

Речь идет о Франсуа Мироне, умершем в 1609 г.

[Вернуться](#)

## 374

Лувр.

[Вернуться](#)

## 375

Этот сын, как мы указали, был молодой герцог де Верней.

[Вернуться](#)

## 376

Клод дю Пон, дворянин из Нормандии, бывший воспитателем Шарля Мирона, епископа Анжерского, и позднее ставший наставником Гастона Французского, брата Людовика XIII.

[Вернуться](#)

## 377

Перевод осуществлен О. В. Дмитриевой по изданию: *D'Ewes S. The autobiography and correspondence of sir Simonds D'Ewes during the reigns of James I and Charles I / G. O. Halliwell. ed. 2 vols. L, 1845.*

<sup>В</sup>ступительная статья и примечания О. В. Дмитриевой.

[Вернуться](#)

## 378

На самом деле – через три месяца, королева умерла 24 марта 1603 г.



[Вернуться](#)

## 379

Т. е. фамилия Саймондс стала личным именем автора.

[Вернуться](#)

## 380

Мидл-Темпл (Средний Темпл) – одна из четырех высших школ права в лондонском Сити.

[Вернуться](#)

## 381

Имеется в виду государственная канцелярия, ведомство лорда-канцлера королевства.

[Вернуться](#)

## 382

Далее, ссылаясь на пример Ж.-О. де Ту, «человека изумительно сведущего в истории», Д'Юс приводит подробнейшие сведения о своих предках и этимологии имени Д'Юсов.

[Вернуться](#)

## 383

Термин «nursed» может быть истолкован по-разному, однако, как явствует из текста ниже, мать действительно кормила Саймондса грудью, не нанимая кормилицу.

[Вернуться](#)

## 384

Для практикующих юристов, как и студентов университетов или юридических корпораций, год делился на рабочие сессии (семестры). Пасхальная сессия – период от Пасхи до лета.

[Вернуться](#)

## 385

«Rupture» – термин, имеющий множество значений: разрыв связей, трещина, перелом, поэтому характер упомянутой здесь травмы остается неясным.

[Вернуться](#)

## 386

День Св. Михаила – 29 сентября. Михайлова сессия – осенний семестр, длившийся до Рождества.

[Вернуться](#)

## 387

«Февраль 1610/11 г.» – в Англии XVI в. новый год было принято начинать с 1 апреля, поэтому январь, февраль и март нередко датировали двойным годом.

[Вернуться](#)

## 388

Иванов день – 24 июня, связан с летним солнцестоянием (20–21 июня).

[Вернуться](#)

## 389

Зимняя сессия – период от Рождества до Пасхи.

[Вернуться](#)

## 390

Принц Уэльский Генри – старший сын Якова I, крайне популярный среди патриотически настроенного протестантского населения Англии, скончался 6 ноября 1612 г.

[Вернуться](#)

## 391

Имеются в виду события первого этапа Тридцатилетней войны: поражение протестантов в Германии и изгнание их главы – Фридриха Пфальцского – из его собственных земель. Английское общественное мнение осуждало Якова I за то, что он не поддержал своего зятя Фридриха и не вступил в войну на его стороне. Д'Юс разделял эту точку зрения.

[Вернуться](#)

## 392

Будущий король Англии Карл I (1625–1649).

[Вернуться](#)

## 393

Знаменитый римский полководец Германик внезапно умер в Антиохии в 19 г.; предполагалось, что он был отравлен по приказу императора Тиберия. Под Генрихом Великим имеется в виду Генрих IV Бурбон (1589—1610).

[Вернуться](#)

## 394

Роберт Сесил – видный политический деятель, государственный секретарь времен Елизаветы I и Якова I, пользовавшийся репутацией тонкого, но коррумпированного политика.

[Вернуться](#)

## 395

Контора шести главных клерков государственной канцелярии.

[Вернуться](#)

## 396

Т. е. в западных землях.

[Вернуться](#)

## 397

«A great plagiary» – не совсем ясно, что имел в виду Д'Юс, называя своего учителя плагиатором, возможно, в данном контексте речь идет о начетничестве и отсутствии у м-ра Мэлакера оригинальных идей.

[Вернуться](#)

## 398

«Его день» – воскресенье.

[Вернуться](#)

## 399

«St. mary Axe» – буквально: «Св. Мария на топорах» – средневековая церковь в лондонском Сити, давшая название пароходу,

известна с XIII в.

[Вернуться](#)

## 400

Ферула – линейка, традиционно использовавшаяся в школах для телесных наказаний.

[Вернуться](#)

## 401

Политическая партия в Женеве в XVI в., затем – движение противников кальвинизма. В более широком смысле – пантеистическая религиозная секта.

[Вернуться](#)

## 402

Перевод А. В. Стоговой по изданию: *Bouchard J. -J. Les Confessions de Jean-Jacques Bouchard, Parisien / éd. A. Bonnean. Paris, 1881.* Вступительная статья и примечания А. В. Стоговой

[Вернуться](#)

## 403

Слова, выделенные по тексту курсивом, написаны Бушаром при помощи греческого алфавита.

[Вернуться](#)

## 404

По греческой мифологии Пилад – верный друг, спутник и помощник Ореста, т. е. Бушара. Клитемнестра и Агамемнон – родители Ореста.

Бушар всех действующих лиц шифрует современными и древними именами.

[Вернуться](#)

## 405

«Источник нимф» (Naiokrène) скорее всего Фонтене-о-Роз.

[Вернуться](#)

## 406

Слова «за раз» написаны по-итальянски, но греческими буквами.

[Вернуться](#)

## 407

Слова, выделенные полужирным шрифтом, здесь и далее написаны Бушаром по-итальянски.

[Вернуться](#)

## 408

Слово «сзади» написано греческими буквами по-французски, а остальные тем же алфавитом, но по-итальянски.

[Вернуться](#)

## 409

Перевод выполнен А. В. Корневской по изданию: *Autobiography of Thomas Raymond and Memoires of the Family of Guise of Elmore, Gloucestershire* / ed. G. Davies. London., 1917 (Camden 3d Ser., XXVIII). P. 19–23.

[Вернуться](#)

## 410

Рамбус – педантичный учитель (некто вроде Холофернеса у Шекспира), который был представлен в драматической пьесе Филиппа Сиднея «Леди Мей» (1578).

[Вернуться](#)

## 411

Общий благодарственный молебен в благодарность за прекращение страшной эпидемии чумы был совершен 22 января 1626 года.

[Вернуться](#)

## 412

Наименование шпаги, используемое в романах.

[Вернуться](#)

## 413

Дж. Фелтон убил Бэкингема 23 августа 1628 г.

[Вернуться](#)

## 414

Перевод Н. В. Шуляковой по изданию: *Dane J. A Declaration of Remarkable Providence in the Course of Me Life / ed. J. W. Dean // New England Historical and Genealogical Registry. 1854. No. 7. P. 149–150. (Repr. in: Puritan Personal Writings: Autobiographies and other Writings. New York, 1982.)*

[Вернуться](#)

## 415

Перевод выполнен П. В. Лавровой по изданию: *Memoirs of the Life of Colonel Hutchinson. Vol. II. 3rd ed. London., 1810.* Вступительная статья и примечания П. В. Лавровой.

[Вернуться](#)

## 416

Проповедники и популярные книги по воспитанию детей предписывали родителям брать детей на проповеди, помогать им запомнить услышанное и всячески поощрять и хвалить их за это. По возвращении домой родители должны были спрашивать детей о предмете проповеди и основных ее положениях, часто дети должны были кратко записывать услышанное (*Pinchbeck I., Hewitt M. Children in English Society. London; Toronto, 1969. V. 1. P. 266–267.*)

[Вернуться](#)

## 417

Обычные предметы для девушки благородного семейства. Желание отца учить Люси латыни тоже не уникально, хотя и редко. Латыни учились дочери Томаса Мора, Антони Кука и сама Елизавета I.

[Вернуться](#)

## 418

Желание отца учить Люси латыни было не уникальным, хотя и редким. Латыни учились дочери Томаса Мора, Антони Кука и сама Елизавета I.

[Вернуться](#)

## 419

Несколько позже, в начале 1640-х годов, Люси перевела шесть книг Лукреция, чего необычайно стыдилась в более зрелые годы, так что



запретила их публикацию (Dictionary of National Biography. V. 28. P. 341).

[Вернуться](#)

## 420

Перевод Е. В. Калмыковой по изданию: Autobiography of Mary Countess of Warwick / ed. by T. Crofton Croker. London, 1848. Вступительная статья и примечания Е. В. Калмыковой.

[Вернуться](#)

## 421

По всей видимости, он учился в одной из четырех юридических корпораций: Внутренние Инны, Средние Инны, Грейс-Инн, Линкольн-Инн, носивших общее название Судебные Инны (Inns of Court).

[Вернуться](#)

## 422

Графство на востоке Ирландии.

[Вернуться](#)

## 423

Графство в центральной Англии.

[Вернуться](#)

## 424

Графиня Уорик, видимо, ошиблась, отнеся восстание в Ирландии к 1639 г., поскольку это событие имело место в 1641–1652 гг.

[Вернуться](#)

## 425

В XVI в., после пожара, дворец «Савой» был перестроен в госпиталь.

[Вернуться](#)

## 426

Район современного Ковент Гардена.

[Вернуться](#)

## 427

Со времен Генриха VIII – загородная королевская резиденция.

[Вернуться](#)

## 428

Автор одной из наиболее знаменитых духовных автобиографий, в которых описал свое детство и юность в весьма негативном ключе. Перевод Н. В. Шуляковой по изданию: *Bunyan J. Grace Abounding to the Chief of Sinners. Cambridge, 1907.*

[Вернуться](#)

## 429

Перевод с немецкого Е. В. Казбековой по изданию: *Koch W. Aus dem Tagebuch des Conrectors und nachmaligen Burgermersters Johann Cuno, Haldensleben (1630– 1684) // Jahresschrift des Krersmuseums Haldensleben. 1962. Bd. 3. S. 32–45.* Вступительная статья А. М. Перлова, примечания В. Коха и А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 430

Педагоги эти были по большей части сами еще учениками, которые за крышу и стол занимались с младшими учениками.

[Вернуться](#)

## 431

Бакалавр – школьный учитель, из четырех учителей городской школы (ректор, конректор, кантор) он был самым младшим.

[Вернуться](#)

## 432

Фридрих Шиллер сообщает в своей истории Тридцатилетней войны, что в окрестностях Магдебурга были также случаи каннибализма.

[Вернуться](#)

## 433

Запись в церковной книге за 1636 г. сообщает нам: «И, по сообщению могильщика, насчитал он всего 2240 по своим биркам, отпетых и не отпетых, однако, кажется, было значительно больше».

[Вернуться](#)

## 434

Перевод с немецкого Е. В. Казбековой по изданию: Lebens-und Leidensweg des M. Johann Gerhard Ramsler, Specials zu Freudenstadt. Die Lebenserinnerungen eines württembergischen Landpfarrers (1635–1703) / Bearb. von Uwe Jens Wandel. Stuttgart, 1993. Вступительная статья и примечания А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 435

Придерживавшиеся католического вероисповедания и участвовавшие в Тридцатилетней войне хорваты в данном эпизоде не входили в состав имперских частей и состояли под началом какого-то собственного военачальника.

[Вернуться](#)

## 436

Диоцез – территориальная единица церковного управления, подчиненная епископу.

[Вернуться](#)

## 437

Индивидуального сопровождающего (лат.).

[Вернуться](#)

## 438

Показательна степень разорения, причиненного Германии Тридцатилетней войной: хотя главный персонаж автобиографии и является двоюродным племянником бургомистра, его мать вынуждена побираться в соседнем, более крупном городе.

[Вернуться](#)

## 439

Перевод П. В. Лавровой по изданию: *Marshall Ch. Sion's Travellers*. London, 1704. Вступительная статья и примечания П. В. Лавровой.

[Вернуться](#)

## 440

В Англии год начинался с марта, поэтому следует думать, что Маршал родился в июне 1637 г.

[Вернуться](#)

## 441

Педагогические трактаты XVII в. рекомендовали родителям заставлять детей изучать Св. Писание и другую благочестивую литературу, как только те научатся читать. Маршал был далеко не одинок в своей детской боязни греха. Хотя существовали различные точки зрения на первоначальную природу новорожденного, все сходились в том, что дети особенно подвержены воздействию порока. В силу этого особенно большая роль в воспитании детей отводилась развитию у них чуткости к греху. Санфорд Флеминг приводит много примеров из XVII в., когда 4–6-летние дети молились, плакали и даже серьезно заболели из страха согрешить (*Fleming S. Children and Puritanism. The Place of Children in the Life and Thought of the New England Churches, 1620–1847. New Haven, London, 1933. P. 87.*)

[Вернуться](#)

## 442

The Way of Life revealed, and the Way of Death discovered. Bristol, 1674.

[Вернуться](#)

## 443

Ис. 60:2.

[Вернуться](#)

## 444

Джон Одланд (1630–1664) – квакер, обращенный в 1652 г. Джорджем Фоксом. В 1654 г. вместе с Каммом был послан в Бристоль, который стал центром его проповедей. В 1662 г. арестован на собрании квакеров в Бристоле за отказ принести присягу на верность королю. Главная его работа «School-Master Disciplined» направлена против официальной церкви и десятины.

[Вернуться](#)

## 445

Джон Камм (1605–1657) – квакер с 1652 г. Блестящий проповедник. По сообщениям современников, 7 сентября 1654 г. в Бристоле обратил в квакерство несколько тысяч человек. Несколько раз обращался к Кромвелю с требованием отменить законы о религии.

[Вернуться](#)

## 446

Александр Паркер (1628–1689) – квакер, близкий друг и сподвижник Фокса. Видный проповедник. В детстве получил хорошее образование и занимался активной литературной деятельностью. Автор изложения учения квакеров “A Testimony to the Light Within” (1657) и полемического труда “A Testimony of God” (1656). Он играл важную роль в организационном и финансовом становлении квакеров, а также в борьбе за консолидацию квакерства, в которой с ним бок о бок выступал и Маршал.

[Вернуться](#)

## 447

Джосия Коул (1633–1669) – обращен Одландом в Бристоле в 1654 г. Один из виднейших деятелей квакерства. Широко проповедовал в Англии в 1655–1656 гг., Новом Свете – в 1657–1662 гг. и снова в Англии с 1663 г. до самой смерти. Также делал попытки распространить квакерское учение в Голландии.

[Вернуться](#)

## 448

Перевод с немецкого Е. В. Казбековой по изданию: *Aus der Chronik der Familie Gruner, Ittlingen. Ein Schicksal aus dem Dreissigjährigen Krieg* / Bearb. von H. Teichert // Kraichgau, 1968. № 1. S. 106–110. Вступительная статья А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 449

Перевод осуществлен по изданию: *Traherne Th. Centuries of Meditations* / ed. V. Dobell. London, 1927. Вступительная статья, перевод и примечания П. В. Лавровой.

[Вернуться](#)

## 450

В одной из своих поэм («Приготовительная» – “The Preparative”) Трахерн предпринимает психологический экскурс в мироощущение новорожденного. Его известные строфы поражают наших современников яркой, мистической образностью и тонкостью наблюдений, вполне согласных с новейшими заключениями неонатологов и психологов. Ниже мы приводим две строфы из поэмы в оригинале и прозаическом переводе на русский.

My Body being Dead, my Lims unknown;  
Before I skild to prize  
Those living Stars mine Eys,  
Before my Tongue or Cheeks were to me shewn,  
Before I knew my Hands were mine,  
Or that my Sinews did my Members joyn,  
When neither Nostril, Foot, nor Ear,  
As yet was seen, or felt, or did appear;  
I was within

A House I knew not, newly clothed with Skin.  
Then was my Soul my only All to me,  
A living Endless Ey,  
Far wider then the Skie  
Whose Power, whose Act, whose Essence was to see.  
I was an Inward *Sphere* of *Light*,  
Or an Interminable Orb of *Sight*,  
An Endless and a living Day,  
A *vital Sun* that round about did ray  
All Life and Sence,  
A Naked Simple Pure *Intelligence*.

Before I skild to prize  
Those living Stars mine Eys,  
Before my Tongue or Cheeks were to me shewn,  
Before I knew my Hands were mine,  
Or that my Sinews did my Members joyn,  
When neither Nostril, Foot, nor Ear,  
As yet was seen, or felt, or did appear;  
I was within

A House I knew not, newly clothed with Skin.  
Then was my Soul my only All to me,  
A living Endless Ey,  
Far wider then the Skie  
Whose Power, whose Act, whose Essence was to see.  
I was an Inward *Sphere* of *Light*,  
Or an Interminable Orb of *Sight*,  
An Endless and a living Day,  
A *vital Sun* that round about did ray  
All Life and Sence,  
A Naked Simple Pure *Intelligence*.

Мое тело было безжизненно, члены неведомы мне;  
Прежде чем я научился ценить  
Те живые звезды – свои глаза,  
Прежде чем я увидел язык и щеки,  
Прежде чем я узнал, что мои руки – мои  
Или что жилы соединяют мои члены,  
Когда ни ноздря, ни стопа, ни ухо



Еще не были видны, не чувствовались, не проявлялись.  
Только что одетый в кожу, я был внутри  
Дома, которого не знал.  
Тогда моя душа была единственным всем для меня,  
Живым бесконечным глазом,  
Гораздо шире неба,  
Чьей силой, действием, существом было видеть.  
Я был внутренней *сферой света* Или безграничным *кругозором*,  
Нескончаемым и живущим днем,  
*Живительным солнцем*, что струило повсюду  
Лучи чистой жизни и смысла,  
Обнаженным простым чистым *знанием*.  
Прежде чем я узнал, что мои руки – мои  
Или что жилы соединяют мои члены,  
Когда ни ноздря, ни стопа, ни ухо  
Еще не были видны, не чувствовались, не проявлялись.  
Только что одетый в кожу, я был внутри  
Дома, которого не знал.  
Тогда моя душа была единственным всем для меня,  
Живым бесконечным глазом,  
Гораздо шире неба,  
Чьей силой, действием, существом было видеть.  
Я был внутренней *сферой света*  
Или безграничным *кругозором*,  
Нескончаемым и живущим днем,  
*Живительным солнцем*, что струило повсюду  
Лучи чистой жизни и смысла,  
Обнаженным простым чистым *знанием*.  
[Вернуться](#)

## 451

Затем, в 16 лет, Трахерн поступает в университет и ему открываются новые науки.

[Вернуться](#)

Перевод выполнен А. В. Стоговой по изданию: *La vie de madame J. M. B. de la Motte-Guyon, écrite par elle-même. Qui contient toute le experiences de la vie interieure, depuis ses commencemens jusqu'a la plus haute consommation avec toutes les directions relatives. Nouvelle Edition. Tome 1. Paris, 1791.* Вступительная статья и примечания А. В. Стоговой.

[Вернуться](#)

## 453

Урсулилки – члены римско-католического женского ордена святой Урсулы. Он был основан в Италии в 1535 г. святой Анжеликой Мериси как первый институт для женщин, специализирующийся на образовании для девочек. Первоначально урсулилки жили в семьях. В 1572 г. урсулилки Милана по просьбе святого Карла Борromeо впервые объединились в конгрегацию. Конгрегация Парижа в 1612 г. получила статус монастырского ордена.

[Вернуться](#)

## 454

Мария де Монбазон (1612–1657), урожденная д'Авог-ур де Бретань, вторая жена герцога де Монбазона, любовница герцогов де Лонгвиля и де Бофора.

[Вернуться](#)

## 455

Бенедиктинки – монахини ордена святого Бенедикта. Орден представляет собой конфедерацию конгрегаций монахов и светских братьев, которые следуют заповедям св. Бенедикта (480–547). Эти заповеди получили широкое распространение в Европе с VI в. Первые конгрегации появились в XV в. В 1617 г. во Франции была основана первая женская конгрегация. По сути, конгрегации не образуют единого ордена, так как каждый монастырь обладает автономией. Орден известен своими школами и научными исследованиями.

[Вернуться](#)

## 456

Имеется в виду Генриетта-Мария Французская (1609–1669), дочь Генриха IV, жена Карла I Стюарта (с 1625 г.), жившая с 1644 г. во

Франции.

[Вернуться](#)

## 457

Мадам – титул замужних теток, сестер и дочерей короля. Малолетнему французскому монарху Людовику XIV королева Англии приходилась тетей.

[Вернуться](#)

## 458

Имеется в виду царь Давид, автор большей части псалмов.

[Вернуться](#)

## 459

Пс. 69(68):3.

[Вернуться](#)

## 460

Орден святого Доминика (или доминиканский) – нищенствующий монашеский орден в католической церкви. Основан св. Домиником. В 1220 г. был объявлен нищенствующим, но в XV в. обет бедности был отменен. С 1227 г. ему была передана инквизиция. Орден был ослаблен Реформацией и соперничеством с иезуитами. Имел собственные учебные заведения.

[Вернуться](#)

## 461

Империял – второй этаж в дилижансах, омнибусах.

[Вернуться](#)

## 462

См. сноску 1 на с. 361.

[Вернуться](#)

## 463

Пс. 37(36):24: «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку».

[Вернуться](#)

## 464

Франциск Сальский (1567–1622) – французский святой (канонизирован в 1665 г.), епископ Женевский. Активно боролся против кальвинизма, основал орден Посещения Пресвятой девы Марии, монахинь которого принято называть визитантками. В 1923 г. папа Пий XI провозгласил его святым покровителем писателей.

[Вернуться](#)

## 465

Жанна Франсуаза Фремель, баронесса де Шанталь (1572–1641) – французская святая (канонизирована в 1767 г.). Вместе с Франциском Сальским основала орден визитанток.

[Вернуться](#)

## 466

Песнь песней 8:6.

[Вернуться](#)

## 467

*Руссо Ж.-Ж.* Педагогические сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1981. С. 188–222.

[Вернуться](#)

## 468

*Шатобриан Ф.-Р.* Замогильные записки. СПб., 1851; М., 1995.

[Вернуться](#)

## 469

См. в наст. изд., с. 481.

[Вернуться](#)

## 470

*Гёте И. В.* Собр. соч. Т. 3. С. 371 (из Эккефмана. Разговоры с Гёте. 30 марта 1831 г.

[Вернуться](#)

## 471

*Вулмен Дж.* Дневник. Ходатайство о бедных / Пер. Т. А. Павловой. М., 1995.

[Вернуться](#)

## 472

Вестник воспитания. 1907. Кн. 5. С. 1—7.

[Вернуться](#)

## 473

См. в наст. изд., с. 443.

[Вернуться](#)

## 474

Т. е. восхищению перед «возрождением» крокусов.

[Вернуться](#)

## 475

См.: *Франклин Б.* Избранные произведения. М., 1956. С. 422–432.

[Вернуться](#)

## 476

*Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев, 1994. С. 477–479.

[Вернуться](#)

## 477

В ливерпульском издании текст на испанском языке сохранен без коррекции орфографии.

[Вернуться](#)

## 478

Фрагмент в переводе А. М. Власова-Медного приводится по изданию: *Word from New Spain. The Spiritual Autobiography of Madre Maria de San Jose (1656–1719).* Liverpool University Press, 1993. Вступительная статья и примечания А. М. Власова-Медного.

[Вернуться](#)

## 479

«Кочупин» (cochupin) – прозвище, даваемое в испаноязычном мире переселенцам из Испании в Северную Америку.

[Вернуться](#)

## 480

8 сентября.

[Вернуться](#)

## 481

В автобиографии Мария де Сан-Хосе неоднократно возвращается к подобной оговорке, ссылаясь на волю своего духовника как силу, определяющую композиционное построение и общее содержание сочинения.

[Вернуться](#)

## 482

Данная часть текста была написана в сентябре 1703 г.

[Вернуться](#)

## 483

По-видимому, имеются в виду фрагменты духовной автобиографии, написанные в начале 1703 г. для епископа Пласидо де Олмедо и вошедшие лишь в приложение к опубликованной подборке автобиографических фрагментов Марии де Сан-Хосе. К периоду детства напрямую не относятся.

[Вернуться](#)



## 484

25 апреля 1654: на полях автор зачеркнула год 1656, исправив на 1654. Исследователи считают 1656 г. наиболее вероятным годом ее рождения.

[Вернуться](#)

## 485

Автор была крещена под именем Хуана Паласиос Берруэкос 8 мая 1656 г., ее крестным отцом стал капитан Хуан де Риверо Баррьентос.

[Вернуться](#)

## 486

Имеются в виду: молитва Господня, Херувимская песнь, «Верую», покаянная молитва.

[Вернуться](#)

## 487

Буквально в тексте: «мои», т. е. автор имеет в виду себя.

[Вернуться](#)

## 488

«Внутреннее зрение» и «глаза тела» – распространенная в тот период метафора, характерный штамп исповедальных текстов.

[Вернуться](#)

## 489

«Слезы и воздыхания» – штамп, характерное выражение средневековых католических молитв и песнопений.

[Вернуться](#)

## 490

Далее автор подробно, на нескольких страницах, излагает содержание диалога с Богородицей.

[Вернуться](#)

## 491

Текст приведен по изданию: *Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. М.; Киев: REFL-book, 1994. С. 477–479. Пер. А. А. Губера. Сокращенный А. А. Губером фрагмент оригинала частично восстановлен в переводе О. И. Фельдштейн.

[Вернуться](#)

## 492

В переводе А. Тургенева на основе издания: Франклин В. Избранные произведения / Общ. ред. и вступ. статья М. П. Баскина. М.; Л.: Государственное изд-во политической литературы, 1956. С. 418–554. Вступительная статья и примечания В. Г. Безрогова.

[Вернуться](#)

## 493

Бенджамин сначала около года посещал Boston Latin school, относившуюся к категории grammar schools, дававших хорошее классическое образование, необходимое для карьеры священника. Изменение отцовских планов повлекло за собой перевод на несколько месяцев в течение зимы 1715–1716 годов в частную платную школу Д. Браунелла. Это было обучение на дому у преподавателя, не получавшего платы от города и жившего доходами от учеников. См.:

*Beadie N.* Education and the Creation of Capital in the Early American Republic. Cambridge: University Press, 2010. P. 110.

[Вернуться](#)

## 494

Имеется в виду Джон Баньян (см. наст. изд., с. 320).

[Вернуться](#)

## 495

По-видимому, речь идет об Н. Крауче (Nathaniel Crouch, 1632?—1725?), издателе и авторе, писавшем под псевдонимами «R. B.», «Robert Burton», «Richard Burton». Выявлено 46 выпусков в его серии небольших по формату книжек (по шиллингу каждая), составленных им самим: 1. «A Journey to Jerusalem ... in a letter from T. B. in Aleppo, &c.», в 1683 расширено и переиздано как «Two Journies to Jerusalem, containing first a strange and true Account of the Travels of two English Pilgrims (Henry Timberlake and John Burrell); secondly, the Travels of fourteen Englishmen, by T. B. To which are prefixed memorable Remarks upon the ancient and modern State of the Jewish Nation; together with a Relation of the great Council of the Jews in Hungaria in 1650 by S. B. [rett], with an Account of the wonderful Delusion of the Jews by a False Christ at Smyrna in 1666; lastly, the final Extinction and Destruction of the Jews in Persia». Эти записки в дальнейшем переиздавались как «Memorable Remarks», «Judæorum Memorabilia», in 1685, 1730, 1738, 1759, в самом Бостоне воспроизведены в 1786 г. Последнее переиздание «Judæorum Memorabilia» состоялось в Бристоле в 1796. 2. «Miracles of Art and Nature, or a Brief Description of the several varieties of Birds, Beasts, Fishes, Plants, and Fruits of other Countrys, together with several other Remarkable Things in the World. By R. B. Gent., London, printed for William Bowtil at the Sign of the Golden Key near Miter Court in Fleet Street». 1678. 10th ed: 1737. 3. «The Wars in England, Scotland, and Ireland from 1625 to 1660». London, 1681. Предисловие подписано: Richard Burton. Затем переиздавалось, в частности, в 1683, 1684, 1697, 1706, and 1737. 4. «The Apprentice's Companion». London, 1681. 5.

«Historical Remarques on London and Westminster». London, 1681; расширено в 1684, далее 1703, 1722, 1730. 6. «Wonderful Prodigies of Judgment and Mercy, discovered in Three Hundred Histories». 1681, 1682, 1685, 1699, Edinburgh 1762. 7. «Wonderful Curiosities, Rarities, and Wonders in England, Scotland, and Ireland». London, 1682, 1685, 1697, 1728, and 1737. 8. «The Extraordinary Adventures and Discoveries of Several Famous Men». London, 1683, 1685, 1728. 9. «Strange and Prodigious Religious Customs and Manners of sundry Nations». London, 1683. 10. «Delights for the Ingenious in above fifty select and choice Emblems, divine and moral, curiously engraven upon copper plates, with fifty delightful Poems and Lots for the more lively illustration of each Emblem, to which is prefixed an incomparable Poem intituled Majesty in Misery, an Imploration to the King of Kings, written by his late Majesty K. Charles the First. Collected by R. B.». London, 1684. 11. «English Empire in America. By R. B.». London, 1685; 3rd ed.: 1698, 5th ed.: 1711, 6th ed.: 1728, 1735, 7th ed.: 1739. 12. «A View of the English Acquisitions in Guinea and the East Indies. By R. B.». London, 1686, 1726, 1728. 13. «Winter Evening Entertainments, containing: I. Ten pleasant and delightful Relations. II. Fifty ingenious Riddles». 6th ed. 1737. 14. «Female Excellency, or the Ladies' Glory; worthy Lives and memorable Actions of nine famous Women. By R. B.». London, 1688. 15. «England's Monarchs from the Invasion of Romans to this Time, &c. By R. B.». 1685, 1691, 1694. 16. «History of Scotland and Ireland. By R. B.». London, 1685, 1696. 17. «History of the Kingdom of Ireland». London, 1685, 1692, 17e изд. 1731. 18. «The Vanity of the Life of Man represented in the seven several Stages from his Birth to his Death, with Pictures and Poems exposing the Follies of every Age, to which is added Poems upon divers Subjects and Occasions. By R. B.». London, 1688, 3rd ed. 1708. 19. «The Young Man's Calling, or the whole Duty of Youth». 1685. 20. «Delightful Fables in Prose and Verse». London, 1691. 21. «History of the Nine Worthies of the World». London, 1687, 1713, 1727, 1738, 1759. 22. «History of Oliver Cromwell». London, 1692, 1698, 1706, 1728. 23. «History of the House of Orange». London, 1693. 24. «History of the two late Kings, James the Second and Charles the Second. By R. B.». London, 1693. 25. «Epitome of all the Lives of the Kings of France». London, 1693. 26. «The General History of Earthquakes». London, 1694, 1734, 1736. 27. «England's Monarchs, with Poems and the Pictures of every Monarch, and a List of the present Nobility

of this Kingdom». London, 1694. 28. «The English Hero, or Sir Francis Drake revived». London, 1687, расширено 1695, 1710, 1716, 1739, 1750, 1756, 1769. 29. «Martyrs in Flames, or History of Popery». London, 1695, 1713, 1729. 30. «The History of the Principality of Wales» in 3 parts, London, 1695, 2nd ed.: 1730. 31. «Unfortunate Court Favourites of England». London, 1695, 1706; 6th ed.: 1729. 32. «Unparalleled Varieties, or the matchless Actions and Passions displayed in near four hundred notable Instances and Examples». 3rd ed. London, 1697, 4th ed.: 1728. 33. «Wonderful Prodigies of Judgment and Mercy discovered in near three hundred Memorable Histories». 5th ed. enlarged, London, 1699. 34. «Extraordinary Adventures, Revolutions, and Events». 3rd ed. London, 1704. 35. «Devout Souls' Daily Exercise in Prayer, Contemplations, and Praise». London, 1706. 36. «Divine Banquets, or Sacramental Devotions». London, 1700, 1707. 37. «Surprizing Miracles of Nature and Art». 4th ed. London, 1708. 38. «History of the Lives of English Divines who were most zealous in Promoting the Reformation. By R. B.». London, 1709. 39. «The Unhappy Princess, or the Secret History of Anne Boleyn; and the History of Lady Jane Grey». London, 1710, 1733. 40. «History of Virginia». London, 1712. 41. «Æsop's Fables in Prose and Verse». 1712. 42. «Kingdom of Darkness, or the History of Demons, Spectres, Witches, Apparitions, Possessions, Disturbances, and other Supernatural Delusions and malicious Impostures of the Devil». 1706. 43. «Memorable Accidents and unheard-of Transactions, containing an Account of several strange Events. Translated from the French [of T. Leonard], and printed at Brussels in 1691. By R. B.». London, 1693, 1733. 44. «Youth's Divine Pastime, Part II., containing near forty more remarkable Scripture Histories, with Spiritual Songs and Hymns of Prayer and Praise. By R. Burton, author of the first part». 6th ed., London, C. Hitch, 1749. 46. «Triumphs of Love, containing Fifteen Histories». London, 1750. См.: [http://en.wikisource.org/wiki/Burton,\\_Robert\\_\(1632-1725\)](http://en.wikisource.org/wiki/Burton,_Robert_(1632-1725)). Трудно сказать, какие книги из «бертоновских книжULEK» Бенджамин прочел именно в детстве, а какие попадались на его глаза потом.

[Вернуться](#)

«Опыт о проектах» Дефо – сочинение 1697 года. См.: <http://www.gutenberg.org/ebooks/4087>. Перевод избранных отрывков см.: Европейская педагогика от Античности до Нового времени: исследования и материалы под ред. В. Г. Безрогова, Л. В. Мошковой. Ч. 3. М., 1994. С. 164–192. Под Мезером имеется в виду Коттон Мэзер (Cotton Mather, 1663–1728), проповедник, биолог, моралист, медик, публицист. В письме сыну К. Мэзера Б. Франклин вспоминал, как в детстве обнаружил весьма потрепанное издание сочинения «Essays to do Good» и как оно кардинальным образом повлияло на его систему ценностей: «я всегда теперь больше любых иных видов репутаций ценю репутацию делателя добра», и подчеркивал, что на его гражданское служение повлияла данная книга. Впервые сочинение появилось в 1710 г. под названием «BONIFACIUS. AN ESSAY Upon the GOOD, that is to be Devised and Designed, by THOSE, Who Desire to Answer the Great END of *Life*, and to DO GOOD While they *Live*». См.: Hall P. D. Doing good in the world: Cotton Mather and the origins of the Modern philanthropy // Documentary History of Philanthropy and Voluntarism in the United States, 1600–1900, онлайн ресурс: <http://www.hks.harvard.edu/fs/phall/dochistcontents.html>.

[Вернуться](#)

## 497

Джордж Уортилейк (George Warthylake) утонул вместе с семьей, слугой, рабом и другом 3 ноября 1718 года во время очередного возвращения с материка на остров. Он был первым смотрителем бостонского маяка (Boston Light), сооруженного в 1716 году на острове Литтл Брюстер. Пират Эдвард Тич (Edward Teach [Thatch, Thach, Thache, Thack, Tack, Thatche and Theach], 1680–1718), известный как Черная Борода (*thatch* – густая шевелюра), убит в сражении 22 ноября 1718 года близ острова Окракок (штат Северная Каролина, США).

[Вернуться](#)

## 498

Публикация осуществлена по изданию: Из автобиографии Линнея. Учебные годы // Вестник воспитания. 1907. Кн. 5. С. 1–20. Сверено по: Linne's eigenhändige Aufzeichnungen mit Anmerkungen und Zusatsen von Afzelius. Aus dem Schwedischen übersetzt von Karl Lappe. В.: G. Reimer, 1826; Carl von Linnés Ungdomsskrifter. Stockholm: R. A. Nostedt, 1888.

[Вернуться](#)

## 499

Перевод, вступительная статья и комментарии С. С. Мокульского приводятся по изданию: *Гольдони К.* Сочинения: В 4 т. Т. 3: Мемуары. М.: Терра, 1997. С. 7–26.

[Вернуться](#)

## 500

Показания Гольдони о возрасте, в котором он сочинил первую комедию, противоречивы. В автобиографическом предисловии к первому тому второго издания своих сочинений, вышедшему в 1761 году (за 30 лет до оформления автобиографии), он говорит, как и в последующих «Мемуарах», что ему тогда было 8 лет, во втором томе – что ему было 9 лет. То и другое маловероятно, если поверить Гольдони, что немедленно по ознакомлении с этой пьесой отец вызвал его к себе в Перуджу и отдал в иезуитскую школу, а по окончании учебного года устроил любительский спектакль с его участием. Гольдони сам говорит, что ему тогда было 12 лет; следовательно, ему могло быть не более 11 лет, когда он сочинил свою первую комедию.

[Вернуться](#)

## 501

Школьный обычай, существовавший еще в первой половине XX века. В начале года каждый школьник имеет право подать список своих товарищей, которых он желает вызвать на ответ по тем или

другим предметам. Вызов принимается, если учитель дает свое согласие.

[Вернуться](#)

## 502

Рассказы Гольдони о победах над одноклассниками не находят подтверждения в бумагах коллегии, в которых его имя фигурирует среди учеников, провалившихся на экзамене.

[Вернуться](#)

## 503

Первая книга «Исповеди» публикуется по изданию: *Руссо Ж.-Ж.* Исповедь /Пер. М. Н. Розанова, коммент. Д. А. Горбова. Т. 1. М. -Л.: Academia, 1935. Вступительная статья Ю. П. Зарецкого.

[Вернуться](#)

## 504

Часть 30-го стиха из сатиры III древнеримского поэта Авла Персия Флакка (34– 64 гг. н. э.): *Ego te intus et in cute novi* (лат.). – А тебя и без кожи и в коже я знаю (Перевод Ф. А. Петровского).

[Вернуться](#)

## 505

Эту фразу можно найти в письме Руссо к Мальзербу от 4 января 1762 г. и в письме к Дюкло от 13 января 1765 г.

[Вернуться](#)

## 506



Отец Руссо был внуком и сыном часовщика и сам стал часовщиком; короткое время он был учителем танцев.

[Вернуться](#)

## 507

Руссо ошибается: пастором был не родной его дед, а брат деда.

[Вернуться](#)

## 508

Площадь в Женеве, обсаженная каштанами.

[Вернуться](#)

## 509

Имеется в виду так называемая «Священная Римская империя германской нации», то есть Австрия, находившаяся под властью династии Габсбургов. Венгрия в XVIII в. была владением Габсбургов. Евгений III (1663–1736) – принц Савойский, австрийский полководец, был главнокомандующим австрийской армии и штатгальтером (наместником) Нидерландов.

[Вернуться](#)

## 510

Для скромного ее положения они были даже слишком блестящи, так как ее отец, священнослужитель, обожал ее и дал ей самое тщательное воспитание. Она рисовала, пела, аккомпанируя себе на теорбе (струнном музыкальном инструменте. – *Прим. пер.*), была довольно начитана и писала сносные стихи. Вот, например, что она сложила экспромтом во время отъезда брата и мужа, прогуливаясь со своей кузиной и двумя детьми, когда кто-то обратился к ней с замечанием об отсутствующих: Нам двое всех других милей, Мы их зовем в свои

объявлять. Любезней не сыскать друзей – Они для нас мужья и братья, Они отцы вон тех детей. (*Прим. Руссо*).

[Вернуться](#)

## 511

Разговор Руссо с де Клозюром состоялся в июле 1737 г. – следовательно, со дня смерти его матери прошло не тридцать, а двадцать пять лет. Руссо не всегда точен в датах.

[Вернуться](#)

## 512

Исаак Руссо умер в Нионе 9 марта 1747 г., через тридцать пять лет после Сюзанны Бернар, умершей 7 июля 1712 г.

[Вернуться](#)

## 513

Тетку Руссо звали г-жа Гонсерю. С 1767 г. Руссо стал выплачивать ей из своих средств ренту в сто ливров и делал это постоянно, даже когда находился в очень стесненном положении.

[Вернуться](#)

## 514

Лесюэр Жан (1602–1681) – французский протестантский священник и историк церкви. Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) – французский проповедник, писатель, идеолог абсолютизма. В «Рассуждении о всемирной истории», написанном для наследника французского престола, воспитателем которого Боссюэ был назначен, он, как и в ряде других своих произведений, пытается доказать «божественные права» самодержца. Нани Джованни (1616–1678) – историк и политический деятель Венецианской республики; его труд, упоминаемый Руссо, называется: «История Венеции с 1613 по 1671 г.».

Лабрюйер Жан де (1645— 1696) – французский писатель; в своем сочинении «Характеры, или Моральные портреты» (1688) дал яркую картину нравов своего времени и едкую сатиру на правовое и имущественное неравенство. Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757) – французский писатель, автор научно-популярного сочинения «Беседы о множественности миров» и «Диалогов мертвых», где он изображает великих людей древности беседующими на разнообразные философские и моральные темы.

[Вернуться](#)

## 515

Первые трое – реальные исторические лица древнего мира, фигурирующие в «Жизнеописаниях» греческого историка Плутарха (I в. до н. э.) как патриоты и борцы за счастье родины; последние трое – герои легких занимательных романов, принадлежащих великосветским французским писателям XVII в. г-же де Сюдери и Кальпренеду.

[Вернуться](#)

## 516

Сцевола – молодой римский патриот-республиканец, который во время осады Рима этрусками (507 г. до н. э.) проник в их стан, решив убить этрусского царя Порсенну. На допросе он сжег свою правую руку на костре, чтобы утратить врага, показав ему образец римской стойкости.

[Вернуться](#)

## 517

Перевод стихотворных отрывков в тексте принадлежит А. Мушниковой.

[Вернуться](#)

## 518

Боссе – деревня на границе Франции и Швейцарии, в часе езды от Женевы.

[Вернуться](#)

## 519

Палач! (лат.).

[Вернуться](#)

## 520

Все побеждает упорный труд (Вергилий. Георгики, 1, 144–145).

[Вернуться](#)

## 521

Сторонница пиетизма, одной из сект в протестантизме, возникшей в конце XVII в. в Германии.

[Вернуться](#)

## 522

На народном швейцарском диалекте – круглый дурак.

[Вернуться](#)

## 523

Ларидон – имя собаки, фигурирующей в басне Лафонтена «Воспитание». Там есть стих: «О, сколько Цезарей превратится в Ларидонов».

[Вернуться](#)

## 524

Асс – мелкая древнеримская монета.

[Вернуться](#)

## 525

Площадь в Женеве.

[Вернуться](#)

## 526

По греческому сказанию, у Гесперид, дочерей титана Атланта, был на «островах блаженных» охраняемый драконом сад с золотыми яблоками.

[Вернуться](#)

## 527

Дюпен де Франкей – сын богатого откупщика и пасынок г-жи Дюпен, светской дамы, в доме которой Руссо прожил несколько лет.

[Вернуться](#)

## 528

Пале-Рояль – дворец в Париже, выстроенный в 1629 г. для кардинала Ришелье; впоследствии сделался резиденцией герцогов Орлеанских. Галерея, примыкавшая к дворцу, служила местом прогулок для модного Парижа.

[Вернуться](#)

## 529

Густонаселенный (преимущественно часовщиками) квартал Женевы в более низкой части города.

[Вернуться](#)

## 530

Текст Вулмана публикуется по изданию: *Вулман Д.* Дневник. Ходатайство о бедных. М., 1995. С. 29–32. Перевод, вступительная статья и комментарии Т. А. Павловой.

[Вернуться](#)

## 531

В воскресенье, считавшееся первым днем недели, у квакеров проходили в течение часа молитвенные собрания, обычно с 10 или 11 часов утра.

[Вернуться](#)

## 532

Ярд равен 91,44 см.

[Вернуться](#)

## 533

Перевод, вступительная статья и комментарии Р. Ю. Данилевского приведены по изданию: *Брекер У.* История жизни и подлинные похождения бедного человека из Токкенбурга. СПб.: Наука, 2003. С. 21–59.

[Вернуться](#)

## 534

Селитряный шалаш – иначе «селитряница» или «бурт». Сооружение, в котором из смеси разлагающихся органических остатков (навоз, ботва, куски кожи и пр.) с водой, а также с известью и другими едкими веществами путем химической реакции окисления («кипения») получали («варили») калийную селитру, которая использовалась для удобрения почвы и производства черного (дымного) пороха.

[Вернуться](#)

## 535

Мелкая монета, равная 2 пфеннигам.

[Вернуться](#)

## 536

Фараон, согласно Книге Исхода, «изнурял» «тяжкими работами» евреев в Египте (1:11).

[Вернуться](#)

## 537

Речь идет о каком-то издании религиозно-назидательного характера.

[Вернуться](#)

## 538

Автор ее Хайнрих Фицнер (Heinrich Fitzner, род. в 1668). Книга выходила в двух частях в 1730, 1732 и затем в 1740 году. Отдельные части этого объемного произведения посвящены разбору Книги Даниила и Откровений Иоанна. Первая часть называлась более пространно: «Разговор беглого патера из Рима с неким клириком». Затем вышла «Беглого патера вторая часть», содержащая, в том числе, экзегезу на Даниила и Иоанна.

[Вернуться](#)

## 539

Речь идет о новозаветном Апокалипсисе и сне Валтасара.

[Вернуться](#)

## 540

Остров Ньюфаундленд, Северная и Южная Каролина, Пенсильвания и Вирджиния в Новом Свете рассматривались как направления и цели возможной эмиграции, ассоциировавшейся с исходом древних евреев из вавилонского плена (Исх.: 1:1-8).

[Вернуться](#)

## 541

Географическое название «земли обетованной», обещанной Моисею Господом (Втор.: 34).

[Вернуться](#)

## 542

Вероятно, аналогичный Фицнеру автор религиозно-мистических сочинений.

[Вернуться](#)

## 543

См.: Мф.: 18:8–9.

[Вернуться](#)

## 544



«Федералист» – сборник из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США.

[Вернуться](#)

## 545

Фрагмент приводится по изданию: Diary and Autobiography of John Adams. Vol. 3. New York, 1964. Перевод, вступительная статья и примечания А. Власова-Медного.

[Вернуться](#)

## 546

У автора выделено заглавными буквами.

[Вернуться](#)

## 547

То есть от ветрянки.

[Вернуться](#)

## 548

Адамс предпосылает автобиографическому повествованию более углубленную в века генеалогию – здесь приведена лишь та ее часть, которая непосредственно касается родителей будущего президента.

[Вернуться](#)

## 549

Согласно старому стилю. По новому стилю дата его рождения – 30 октября 1735 г.; именно ее после принятия Англией григорианского календаря в 1752 г. Джон Адамс всегда указывал как свой день рождения.

[Вернуться](#)

## 550

«Десятичная арифметика» Эдварда Кокера сохранилась и находится среди книг Адамса в Бостонской публичной библиотеке. Книга испещрена пометками, свидетельствующими об усиленном изучении предмета. По-видимому, найдя этот учебник в своей библиотеке, Адамс и смог указать его автора, но с оговоркой, свидетельствующей о том, что он не ручается за подобные детали.

[Вернуться](#)

## 551

Фрагментарные записи, составленные Харриет Уэлш по рассказам Джона Адамса в 1823 г., слегка дополняют воспоминания Адамса о его школьных днях. (Заметки Уэлш сохранились главным образом в виде копии, составленной внуком Адамса, в его литературном альманахе: Adams Papers, Microfilms, Reel № 327.) Адамс рассказывал следующее: «Мне было около девяти или десяти лет, когда я научился пользоваться ружьем и стал достаточно сильным, чтобы носить его. Я имел обыкновение брать его в школу и оставлять у входа и, как только занятия заканчивались, шел в поле убивать ворон и белок, а потом старался посмотреть, сколько мне удалось их настрелять; в конце концов мистер Кливерли обнаружил это и задал мне самый страшный нагоняй, после чего я оставил ружье в домике одной старой женщины по соседству. Вскоре я стал достаточно большим, чтобы ходить на болота стрелять дичь и плавать, и так сильно упрашивал отца и мать разрешить мне пойти туда, что в конце концов они соглашались; и сколько холодных бурных дней провел я на берегу без пищи, ожидая, пока появится дичь, – подчас *лежа* в ожидании ее на холодной земле, чтобы не спугнуть ее. Я не беспокоился о том, что делал, – и мог ли, – когда убегал из школы, и признаюсь к своему стыду, что временами я прогуливал занятия. Наконец я достиг тринадцатилетнего возраста и понял, что моя жизнь тратится впустую. Я сказал своему отцу, что, если я должен пойти в колледж, мне нужно найти другого учителя, ибо

мне не нравился тот, что был, и что я ни за что не смогу подготовиться, если останусь с этим учителем; но если он отправит меня в школу мистера Марша, я буду трудиться, готовясь к урокам и выполняя каждое задание с тем, чтобы пройти. Он сказал, что мне известно о неизменном правиле, по которому господин Марш не берет детей из города, он лишь взял восьмерых или десятерых, которые живут у него. Однако я так просил его, что он сказал, что попробует, и после многих усилий убедил учителя Марша согласиться. На следующий день после этого я взял свои книги и пошел к нему. Я выполнил свое обещание и усердно работал и через восемнадцать месяцев был готов к поступлению в колледж... Господин Марш был хорошим наставником и начитанным человеком. Дом, где я учился, был почти напротив отцовского – его снесли примерно двадцать лет спустя».

[Вернуться](#)

## 552

Эдвард Холиоук, Генри Флинт, Белчер Ханкок, Джозеф Мэйхью, Томас Марш.

[Вернуться](#)

## 553

Сэмюэль Локк являлся президентом Гарвардского университета в 1770—1773 гг. Моисей Хемменуэй на протяжении многих лет занимал место приходского священника в Уэльсе, штат Мэн. Ульям Тисдэйл из Левана, штат Коннектикут, в дальнейшем исчезает из поля зрения также и историков.

[Вернуться](#)

## 554

Джон Вентуорт – последний королевский губернатор Нью-Гемпшира; Вильям Браун из Салема – судья Верховного суда Англии и лоялист (верноподданный) короля; Филип Ливингстон, как и сообщает

Адамс, умер в 1756 г.; Дэвид Сиволл из Йорка (штат Мэн) – судья штата, а затем и федеральный, с Адамсом его связывала крепкая дружба; Тристрам Дальтон из Ньюберипорта – сенатор Соединенных Штатов, поддерживавший постоянную переписку с Адамсом.

[Вернуться](#)

## 555

Сэмюэль Вест – доктор богословия, являлся священником в Нью-Бедфорде с 1761 по 1803 г.

[Вернуться](#)

## 556

Арминианство – течение в протестантизме (не предполагавшее конфессионального обособления), названное так по имени одного из основателей, нидерландского проповедника XVI в. Арминия. Сторонники высказывались за свободу и неподконтрольность обществу и церкви путей личного обогащения.

[Вернуться](#)

## 557

То есть церковно-догматического характера.

[Вернуться](#)

## 558

Перевод выполнен М. Ю. Брандтом по изданиям: *Gibbon E. Memoirs of my life and writings*. London, 1869 (repr. 1796); *Gibbon E. Memoirs of my life* / ed. by V. Radice. London, 1984. Вступительная статья и примечания М. Ю. Брандта.

[Вернуться](#)

## 559

Пятого мая по новому стилю. Григорианский календарь был введен в Англии в 1752 г. Расхождение между старым и новым стилем, в XVIII столетии составлявшее 11 дней, заставило сократить количество дней в сентябре: вслед за 2 наступило 14 сентября.

[Вернуться](#)

## 560

Эдуард Гиббон (1707–1770) – отец историка, выпускник Вестминстерской школы и Кембриджского университета, член парламента в 1734 и 1741 гг., сторонник находившихся в оппозиции тори, отпрыск старого рода кентских эсквайров (известно, что Джон Гиббон в XIV в. был архитектором короля Эдуарда III). Роль отца в жизни сына была и значительной, и противоречивой. Публикуемые фрагменты в этом отношении весьма выразительны.

[Вернуться](#)

## 561

Джудит Портен (1709?–1747) – мать историка, дочь лондонского купца Джеймса Портена.

[Вернуться](#)

## 562

«Супружеский союз, которому я обязан своим рождением, был браком, основанным на влечении и уважении. Мистер Джеймс Портен, лондонский купец, жил с семьей в Патни, в доме близ моста и церковного погоста, в котором я провел счастливые годы детства. Он имел сына (покойного сэра Стэнъера Портена) и трех дочерей – Екатерину, которая сохранила отцовское имя и о которой я буду говорить позже; другую дочь, вышедшую замуж за мистера Даррела из

Ричмонда и родившую двух сыновей; младшей сестрой была Джудит, моя мать».

[Вернуться](#)

## 563

В 1736 г. умер дед историка, крупный лондонский торговец сукнами Эдуард Гиббон. К браку сына и Джудит Портен он отнесся неодобительно, пытался сделать его невозможным. Большая часть наследства, согласно завещанию, досталась не отцу историка, а его сестрам.

[Вернуться](#)

## 564

Роберт Генри, граф Нортингтонский (1708?–1772). О двух других названных Э. Гиббоном участниках предвыборной борьбы сведений в Dictionary of National Biography не содержится.

[Вернуться](#)

## 565

Сэр Роберт Уолпол, граф Орфордский (1676–1745) – видный государственный деятель Англии, стоял во главе правительства с 1721 по 1742 г., лидер одной из группировок вигов. Знаменит причастностью к множеству крупных и мелких скандалов, связанных с подкупом, взятками, коррупцией.

[Вернуться](#)

## 566

См. прим. 6.

[Вернуться](#)

## 567

Генри Пелэм (1694—1754) – политический и государственный деятель, сторонник вигов.

[Вернуться](#)

## 568

Речь идет о якобитском мятеже в пользу Карла Эдуарда Стюарта.

[Вернуться](#)

## 569

Олдермен – член законодательного органа городского самоуправления.

[Вернуться](#)

## 570

Э. Гиббон приводит известное положение из «Рассуждения о методе» французского философа Рене Декарта (1596–1650).

[Вернуться](#)

## 571

Жорж Луи Леклерк Бюффон, граф (1707–1788) – ученый-натуралист, создатель 36-томной «Естественной истории».

[Вернуться](#)

## 572

Ср.: «Мы рождаемся слабыми – нам нужна сила; мы рождаемся всего лишенными – нам нужна помощь; мы рождаемся

бессмысленными – нам нужен рассудок. Все, что мы не имеем при рождении и без чего мы не можем обойтись, ставши взрослыми, дано нам воспитанием» (*Руссо Ж. -Ж. Эмиль, или О воспитании. М., 1911. Кн. 1. § 5. С. 3*).

[Вернуться](#)

## 573

По данным приходской книги Патни, лишь один из умерших в младенчестве братьев историка был крещен под именем Эдуард Джеймс. Эта ошибка кажется некоторым историкам знаменательной (см., напр.: *Cannochan W. Gibbon's Solitude: the Inward World of the Historian. Stanford, 1987. P. 10–11*).

[Вернуться](#)

## 574

«Лишь сорвут один, другой вырастает» (*Вергилий. Энеида. VI. 143*).

[Вернуться](#)

## 575

Екатерина (Кэтрин) Портен (1705–1786) – сестра матери Э. Гиббона, рано оставшаяся одинокой и ставшей для племянника второй матерью. Любовь к ней историк сохранил до последних дней жизни.

[Вернуться](#)

## 576

Сэр Ханс Слоан (1660–1753) – врач, натуралист; Ричард Мид (1673—1754) – лондонский врач; Джошуа Уорд (1685–1761) – популярный врач-знахарь; Джон Тэйлор (1703—1772) – лондонский врач-окулист, известен как капитан Тэйлор.

[Вернуться](#)



## 577

Джироламо Квирини (1680–1759) – епископ Брешийский, кардинал, автор книги воспоминаний.

[Вернуться](#)

## 578

Мишель Монтень (1533–1592) – французский философ, эссеист, создатель знаменитых «Опытов». Э. Гиббон имеет в виду главу XXXVII «О сходстве детей с родителями» книги второй «Опытов».

[Вернуться](#)

## 579

Э. Гиббон следует мнению Дж. Локка и других критиков учения Р. Декарта о врожденных идеях. И говорит здесь от опасности быть обманутым несовершенством памяти. Сравнение воспоминаний и наблюдений за другими людьми помогает избегать заблуждения.

[Вернуться](#)

## 580

Джон Керкби (1705–1754) – выпускник Кембриджского университета, педагог, автор ряда книг (кроме названных Э. Гиббоном, им был написан памфлет против учения методистов и сочинение об изучении математики).

[Вернуться](#)

## 581

Имеется в виду Георг II (1683–1760), находившийся на английском престоле в 1727–1760 гг.

[Вернуться](#)

## 582

Роман Даниэля Дефо (1660–1731) «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка» был опубликован впервые в 1719 г.

[Вернуться](#)

## 583

Эдуард Покок (1604–1691) – востоковед, первый профессор арабистики в Оксфордском университете, автор «Philosophus Autodidactus» – перевода на латинский язык арабского сказания о Хай ибн-Йокдане, а также фрагментов сирийской хроники «Абульфараг».

[Вернуться](#)

## 584

Ричард Уодсон (1704–1774) – капеллан колледжа Святой Магдалины в Оксфорде, где учился Э. Гиббон, и директор школы в Кингстон-апон-Темз, небольшом городе близ Лондона.

[Вернуться](#)

## 585

Федр (15 г. до н. э. – 50 г. н. э.) – римский баснописец, раб из Северной Греции, отпущенный на свободу Августом. Сюжеты его басен широко использовали Лафонтен, Лессинг и др.

[Вернуться](#)

## 586

Корнелий Непот (ок. 99–ок. 24 гг. до н. э.) – римский писатель, автор книги «О знаменитых иноземных полководцах», которую имеет в виду Э. Гиббон.

[Вернуться](#)

## 587

Аттик Тит Помпоний (109–32 гг. до н. э.) – влиятельный римский всадник, друг Цицерона и Корнелия Непота; Цицерон Марк Туллий (106–43 гг. до н. э.) – великий римский оратор, писатель, политический деятель.

[Вернуться](#)

## 588

Жан-Жак Руссо (1712–1778) – французский философ эпохи Просвещения. Э. Гиббон полемизирует с взглядами Ж.-Ж. Руссо, высказанными в § 133–147 книги второй трактата «Эмиль, или О воспитании». Ж.-Ж. Руссо, в частности, сомневался, «нужно ли шестилетнего ребенка учить тому, что есть люди, которые льстят и лгут из-за своей выгоды» (см.: *Руссо Ж. -Ж. Указ. соч. С. 136*).

[Вернуться](#)

## 589

Плиний Гай Цецилий Секунд (Плиний Младший) (61 или 62–ок. 114) – римский натуралист, историк, писатель; Бюффон Жорж Луи Леклерк – см. прим. 12, с. 480.

[Вернуться](#)

## 590

Пьер Питу (1539–1596) – французский гуманист, историк, юрист, государственный деятель. Ему принадлежат публикации некоторых

произведений античной и средневековой литературы, в том числе басен Федра.

[Вернуться](#)

## 591

Ричард Бентли (1662–1742) – ученый, магистр одного из колледжей Кембриджского университета.

[Вернуться](#)

## 592

Питер Берман (1741–1778) – ректор Лейденского университета в Голландии, публикатор и комментатор басен Федра.

[Вернуться](#)

## 593

Коммерческий крах деда историка Джеймса Портена привел к важным переменам в жизни Екатерины Портен. Джеймс Портен умер в 1750 г.

[Вернуться](#)

## 594

«История Ипполита, графа Дугласского» французской писательницы де Ламотт, опубликована в 1699 г. на языке оригинала и в 1708 г. по-английски.

[Вернуться](#)

## 595

Александр Поуп (1688–1744) – английский поэт, переводчик «Илиады» и «Одиссеи».

[Вернуться](#)

## 596

«Сказки тысячи и одной ночи» имели в Европе XVIII в. широкую популярность. Первым в Европе был французский перевод, выполненный Антуаном Галландом в 1704–1711 и 1717 гг.

[Вернуться](#)

## 597

Публий Вергилий Марон (70–19 гг. до н. э.) – великий римский поэт, автор “Буколик”, «Георгик», «Эклог», «Энеиды»; Джон Драйден (1631–1718) – английский поэт, переводчик “Энеиды” Вергилия.

[Вернуться](#)

## 598

Овидий Назон Публий (43 г. до н. э. –ок. 18 г. н. э.) – великий римский поэт, создатель «Метаморфоз», «Любовных элегий», «Науки любви», «Скорбных элегий» и др.

[Вернуться](#)

## 599

По данным регистрационных книг Вестминстерской школы, Э. Гиббон поступил в школу в январе 1748 г. Историк, по-видимому, ошибается. Речь идет о событиях 1747 г., одиннадцатого в его жизни (см. комментарии Б. Рэдис в кн.: *Gibbon E. Memoirs of my life. L., 1984. P. 206*).

[Вернуться](#)

## 600

Вестминстерская школа – одна из старейших в Англии, основана еще во времена англосаксонских королевств. Официальное название – школа Святого Петра. Расположена вблизи Вестминстерского аббатства в Лондоне.

[Вернуться](#)

## 601

См. прим. 40.

[Вернуться](#)

## 602

Джон Николл (1683–1765) – директор Вестминстерской школы.

[Вернуться](#)

## 603

Понятие классическая гимназия или «public school» появилось в Англии в XVIII в. Эти школы наследовали традиционные для грамматических школ содержание, структуру и методы обучения, брали довольно высокую плату с родителей учеников.

[Вернуться](#)

## 604

Слова, приписываемые спартанскому царю Агесилаю (ок. 444–ок. 360 гг. до н. э.) Ксенофонтом.

[Вернуться](#)

## 605

Колледж Итон в Беркшире основан в 1441 г. Генрихом VI, это одно из наиболее привилегированных учебных заведений Англии.

[Вернуться](#)

## 606

Речь идет о лорде Хантингтаэре.

[Вернуться](#)

## 607

Гораций Флакк Квинт (65–8 гг. до н. э.) – великий римский поэт.

[Вернуться](#)

## 608

Филипп Фрэнсис (1708?–1773) – уроженец Дублина, выпускник Дублинского университета. Жил в Англии. Две его пьесы «Евгения» и «Константин» (последнюю поставили на сцене Ковент Гардена) провалились, перевод речей Демосфена считался неудачным. Известен как переводчик произведений Горация.

[Вернуться](#)

## 609

Вероятно, речь идет о Дэвиде Маллете (1705–1765), поэте.

[Вернуться](#)

## 610

Демосфен (ок. 384–322 до н. э.) – древнегреческий оратор.

[Вернуться](#)

## 611

Филипп Фрэнсис (1740–1818) – член парламента, сотрудник У. Питта-старшего, дипломат.

[Вернуться](#)

## 612

Колледж Святой Магдалины – колледж Оксфордского университета, старейшего в Англии (основан около 1167 г.).

[Вернуться](#)

## 613

«Universal History from the Earliest Accounts of Time to the Present», выходила в 1747–1766 гг. (всего 64 тома).

[Вернуться](#)

## 614

Томас Херн (1678?–1735) – английский историк-антиквар, автор «Ductor Historicus, or a short System of Universal History».

[Вернуться](#)

## 615

Геродот (ок. 486–ок. 420 гг. до н. э.) – древнегреческий историк, «отец истории»; Исаак Литтлбери – английский ученый, в 1709 г. вышел выполненный им перевод «Истории» Геродота.

[Вернуться](#)

## 616

Ксенофонт (ок. 486–ок. 420 гг. до н. э.) – древнегреческий историк; Эдуард Спелман (ум. в 1747 г.), английский ученый, переводчик, первый издатель английского перевода «Киропедии» Ксенофонта.



[Вернуться](#)

## 617

Тацит Публий Корнелий (ок. 55–ок. 120) – римский историк; Томас Гордон (ум. в 1756 г.) – шотландский писатель, переводчик. Ему принадлежит первый перевод произведений Тацита на английский язык.

[Вернуться](#)

## 618

Прокопий Кесарийский (ок. 500–после 560) – византийский историк, юрист, ритор, описавший войны Юстиниана с персами, вандалами, остготами. Знаменитая «Тайная история» содержит резко критическую характеристику Юстиниана.

[Вернуться](#)

## 619

Изъяны полученного в детстве образования Э. Гиббону удалось исправить лишь отчасти. Он блестяще изучил латынь, но в древнегреческом, по собственному признанию и оценкам историков, силен не был.

[Вернуться](#)

## 620

Поль де Рапен, господин де Тура (1661–1725) – французский историк, создатель 15-томной «Истории Англии»; Франсуа де Мезерей (1610–1683) – французский историк, автор «Истории Франции»; Энрико Катерино Давила (1576–1631) – итальянский историк, написавший «Историю гражданских войн во Франции»; Никколо Макиавелли (1469–1527) – флорентийский мыслитель, создатель «Государя», «Истории Флоренции»; отец Павел (Фра Паоло Сарпи)

(1552–1623)– венецианский историк, автор «Истории Тридентского собора»; Арчибальд Боуэр (1686–1766) – шотландский иезуит, создатель семитомной «Истории пап».

[Вернуться](#)

## 621

Лоуренс Эчард (1670–1730) – английский историк.

[Вернуться](#)

## 622

Константин Флавий Валерий (Константин Великий) (ок. 285–337) – римский император в 306–337 гг.

[Вернуться](#)

## 623

Уильям Хауэлл (1638–1683) – английский историк. Два дополнительных тома его «Всеобщей истории» содержат описание правления наследников Константина Великого.

[Вернуться](#)

## 624

Магомет (Мухаммед, Мухаммад) (ок. 570–632) – основатель ислама и арабского государства; сарацины – принятое в средневековой Европе наименование арабов.

[Вернуться](#)

## 625

Симон Окли (1678–1720) – английский востоковед, автор «Истории сарацинов».

[Вернуться](#)

## 626

Бартеlemeи д'Эрбело де Моленвиль (1625–1695) – французский писатель, историк, создатель «Восточной библиотеки».

[Вернуться](#)

## 627

См. прим. 2, с. 484.

[Вернуться](#)

## 628

Христофор Целларий (1638–1707) – немецкий географ, историк. Ему принадлежит сыгравший важную роль в развитии исторической географии труд «Notitia urbis antiqui»; Эдуард Уэллс (1667–1727) – английский географ и историк, автор трактата «О древней и новой географии».

[Вернуться](#)

## 629

Эгидий Штраух (1632–1682) – немецкий лютеранский богослов, автор «Breviarium chronologiae».

[Вернуться](#)

## 630

Кристофор Гельвиц (1581–1617) – один из основателей научной хронологии; Джеймс Андерсон (1686–1739) – шотландский ученый, специалист в области исторической генеалогии.

[Вернуться](#)

## 631

Джеймс Ашер (1581–1651) – архиепископ, историк, создатель труда «*Annales Veteres et Novi Testamenti*»; Генфри Придо (1648–1724) – священник из Норича, историк, автор «Жизни Магомета», книги по истории хронологии «Новый и Ветхий Завет в связи с историей евреев».

[Вернуться](#)

## 632

Жозеф Жюст Скалигер (1540–1609) – французский ученый, один из основателей научной хронологии, автор труда «*De emendatione temporum*»; Фионисий Петавий (Петивий; Дени Пето, 1585–1652) – французский иезуит, историк, автор трактата «*Opus de doctrina temporum*»; Сэр Джон Маршем (1602–1685) – английский историк, создатель книги «*Chronicus Canon Aegypticus, Ebraicus, Graecus*»; Сэр Исаак Ньютон (1642–1727) – великий английский физик, математик, философ. Э. Гиббон говорит о принадлежащем ему исследовании хронологии древности.

[Вернуться](#)

## 633

Септуагинта (лат. «семьдесят») – перевод Ветхого Завета с древнееврейского на греческий язык, осуществленный в III—II вв. до н. э. 70 переводчиками для живших в диаспоре иудеев.

[Вернуться](#)

## 634

Э. Гиббон излагает строки из стихотворения Томаса Грея (1716–1771), английского поэта, профессора Кембриджского университета.

[Вернуться](#)

## 635

«Мелочь милее всего!» (Овидий. Наука любви. I. 159.)

[Вернуться](#)

## 636

О том, что персы сражаются под ударами бичей, неоднократно говорит Геродот. (См., напр.: *Геродот*. История. VII. 56. 103.)

[Вернуться](#)

## 637

Перевод с немецкого языка выполнен Е. В. Казбековой по изданию: *Ich wunschte so gar gelehrt zu werden: Drei Autobiographien von Frauen des 18. Jahrhunderts / Hrsg. von M. Heusner et al. Gottingen: Wallstein, 1994. S. 15–24.*

[Вернуться](#)

## 638

Текст переведен К. Г. Челлини по изданию: *Sommerville T. My own life and times 1741–1814. Bristol, 1996.* Вступительная статья и примечания К. Г. Челлини.

[Вернуться](#)

## 639

Анекдоты из жизни Ричарда Уотсона, епископа Лендефа, написанные им самим в разное время и переработанные в 1814 г.

[Вернуться](#)

## 640

В правление английского короля Карла II (1660–1685) обострилось противостояние правительства, проводившего курс на поддержку англиканской церкви, и оппозиционного пресвитерианства – более радикального движения в протестантизме. Как раз в 1670-е годы последовали гонения на наиболее ярких представителей пресвитерианской оппозиции. Среди прочих их испытал и сэр Уильям Дуглас. Архиепископ Дарнет потребовал вернуть ключи от храма, где тот служил, но сэр Уильям ответил посланием, содержащим прямой вызов англиканской церкви, за что впоследствии и был отрешен от должности и заключен на два года в тюрьму в 1682–1684 гг.

[Вернуться](#)

## 641

Преподобный Адам Диксон, священник Данса, затем Уиттингема. Автор «Трактата о сельском хозяйстве».

[Вернуться](#)

## 642

В соответствии с правилами того времени кандидаты в священники должны были пройти шестилетнюю подготовку, до этого посетив курс философии в колледже. В 1770 г. было решено допускать к подготовке на богословском отделении только лиц, защитивших диплом магистра искусств, либо имеющих сертификат, свидетельствующий о прохождении курса философии.

[Вернуться](#)

## 643

Класс логики, где учил д-р Стивенсон, был совершенно по-разному – с одной стороны, непродуктивный и сухой, и, с другой стороны – наиболее привлекательный и полезный из всех классов, в которых я хоть что-нибудь почерпнул. [Далее Соммервилл объясняет, что в один из двух ежедневных часов, отводимых на этот предмет, изучалась

логика на латинском языке, понимать который, в данном случае насыщенный терминами и специфическими фразами, было очень сложно. Но содержание предмета было гораздо менее антикварно, включая, например, Локка. Второй час профессор отводил литературе и поэтике, погружая учеников не только в Аристотеля, но и в разного рода филологические споры].

[Вернуться](#)

## 644

Beneducti Picteti Theologia Christiana. Genevae, 1716 (и др. издания). Бенедикт Пиктет (1655–1724), профессор теологии и женеvский пастор. Автор популярных пособий по христианской морали и теологии.

[Вернуться](#)

## 645

Городской прево – должностное лицо городской администрации, отвечающее за внутренний порядок в городе (аналогично современному начальнику полиции).

[Вернуться](#)

## 646

В одном из дневников 1737 г. указывается, что коррупция городского Совета достигала таких масштабов, что его члены открыто игнорировали нормы морали.

[Вернуться](#)

## 647

Уильям Робертсон (1721–17937), автор «Истории Шотландии».

[Вернуться](#)

## 648

Шотландский поэт, автор стихов в духе народной поэзии. Сборник песен «Вечнозеленые растения» (1724) и «Цветы для чайного стола» (1727).

[Вернуться](#)

## 649

Стихи озаглавлены «Ответ на письмо от У. Сомервилля, эсквайра, из Уорвикшира».

[Вернуться](#)

## 650

«Вы все из рода одного, Де Сомервилль, того, Что на Вильгельма короля Знамена присягли, Дабы долины покорить И славу обрести». (*Рамзей*. Послание к г-ну Сомервиллю. Перевод К. Г. Челлини)

[Вернуться](#)

## 651

Натаниэль Дэвидсон был секретарем Эдварда Уортли Монтегю (1713–1776), политика, лингвиста, писателя, путешественника. Сохранилась их переписка 1760-х – 1770-х гг.

[Вернуться](#)

## 652

Джеймс Бургес, впоследствии член парламента от Хелстоуна, заместитель госсекретаря по иностранным делам, рыцарь-маршал с наследованием титула к старшему сыну. Автор поэм «Рождение и триумф любви», драм «Ричард I», «Исход».

[Вернуться](#)



## 653

Перевод А. М. Перлова выполнен по изданию: *Margarethe E. Milow. Ich will aber nicht murren.* Hamburg, 1993. Вступительная статья и примечания А. М. Перлова.

[Вернуться](#)

## 654

Буквально сказано «в девушку» (Maegden). – *Прим. пер.*

[Вернуться](#)

## 655

Пер. Наталии Ман (Наталии Семёновны Вильям-Вильмонт) (с изменениями) приводится по изданию: *Гёте И. В. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 3. Из моей жизни: Поэзия и правда.* М.: Художественная литература, 1976 (первое издание: 1969). Сопоставлено с переводом Н. А. Холодковского 1923 г. (по изд.: М.: Захаров, 2003) и с оригинальным текстом: [http://www. zeno. org/Literatur/M/](http://www.zeno.org/Literatur/M/)

Goethe,+Johann+Wolfgang/Autobiographisches/Aus+meinem+Leben.+Dichtung+und+Wahrheit/Erster+Teil/Erstes+Buch

[Вернуться](#)

## 656

Гёте полагает домашнее обучение тоже своего рода школой, поэтому применяет к обозначению общеобразовательной городской школы специальный термин. В переводе Н. Ман он опущен. – *Прим. ред.*

[Вернуться](#)

## 657

Квартал в г. Франкфурт-на-Майне (земля Гессен). Одноименный концентрационный лагерь времен Второй мировой войны располагался под г. Ораниенбургом (земля Бранденбург).

[Вернуться](#)

## 658

В этом помещении заседали курфюрсты перед тем, как провозгласить избрание нового короля в особой капелле собора св. Варфоломея.

[Вернуться](#)

## 659

Вероятно, Андреас Целлариус (ок. 1596–1665), картограф и математик, автор звездного атласа, описаний разных земель, сочинений о фортификации и др.

[Вернуться](#)

## 660

Георг Пазор (1570–1637), профессор по языкознанию и теологии, автор различных руководств и словарей по Новому Завету, в том числе и по новозаветному греческому.

[Вернуться](#)

## 661

«Мир чувственных вещей в картинках» [лат.].

[Вернуться](#)

## 662

Маттеус Мериан Старший (1593–1650), художник, гравёр и издатель. В 1616– 1620 и с 1623 года и далее жил и работал во Франкфурте. Гравюры к Библии были исполнены в 1625–1627 гг. и впервые изданы в Страсбурге в 1629 г. Гёте скорее всего имел дело с франкфуртским переизданием «мериановой Библии» 1696 года.

[Вернуться](#)

## 663

«Историческая хроника» Людвиг Готфрида (1581–1633).

[Вернуться](#)

## 664

«Филологическая кадилъница» [лат.]– популярный тип сборников, содержащих избранные отрывки из античных авторов.

[Вернуться](#)

## 665

«Телемах» Фенелона – педагогический роман французского писателя Франсуа Фенелона (1651–1715). Стихотворный перевод Бенъямина Нейкирха (1665-1729), упоминаемый Гёте, появился в 1727 г.

[Вернуться](#)

## 666

«Остров Фельзенбург» – роман Иоганна Готфрида Шнабеля, едва ли не лучшее из многочисленных немецких подражаний роману Дефо «Робинзон Крузо». «Кругосветное путешествие лорда Ансона» – это путешествие, совершенное в 1740–1744 гг., было описано некими Уолтером и Робинсом.

[Вернуться](#)

## 667

«Народные книги» – обширная литература прозаических переложений средневековых героических поэм и рыцарских романов, христианских легенд, исторических сказаний и комических шванков получила широкое распространение в XV и XVI вв. благодаря книгопечатанию. Впервые подобающее место в истории немецкой литературы уделили «народным книгам» романтики: Август Вильгельм Шлегель, Людвиг Тик и др. Гёте дает понять, что «народные книги» были ему знакомы еще с детства, а отнюдь не благодаря романтикам.

[Вернуться](#)

## 668

Речь идет о методе (вариоляция, вариолизация, инокуляция), предшествовавшем вакцинации и отличавшимся от нее тем, что людям в профилактических целях вводили небольшую дозу оспенного гноя из созревшей пустулы больного человека. Вакцину стали получать от животных, больных коровьей оспой – более легким для человека видом той же болезни. Гёте застал еще полемику относительно вариоляции, поскольку от нее также умирало немало людей. Поскольку при этом способе лечения ускорялось проникновение в организм возбудителя оспы, постольку Гёте и пишет об опережении природы.

[Вернуться](#)

## 669

Пилад в античной мифологии – любимый и преданный друг Ореста. Пиладом европейские авторы XVII–XVIII вв. нередко нарекали ближайшего друга.

[Вернуться](#)

## 670

Граф Торан Франсуа де Теа (1719–1794) – просвещенный аристократ, на должности «королевского лейтенанта» (то есть коменданта из армии союзников австрийского короля, его наместником в оккупированном Франкфурте) пробыл с 1759 по 1761 г., проявив себя во время Семилетней войны 1756–1763 гг. как способный администратор. Открыл постоянный французский театр и щедро оплачивал местных художников. Позднее был губернатором во Франции и на острове Сан-Доминго, в Вест-Индии.

[Вернуться](#)

## 671

Перевод Е. Ю. Бледновой по изданию: The auto-biography of Luke Hansard, Printer to the House, 1752–1828 / ed. by Robin Myers. Rev. & reset ed. London: Printing Historical soc., 1991.

[Вернуться](#)

## 672

Хэнсэрд обращается к своим младшим сыновьям, Джеймсу и Льюку Грейвзу.

[Вернуться](#)

## 673

Через несколько лет после смерти Льюка Хэнсэрда парламентская реформа и профессиональная конкуренция, семейные распри и ссоры пошатнули здоровье и рассудок Льюка Грейвза и вместе с тем и дела Хэнсэрда. В тот период фирма уцелела, но через четыре поколения (1881) была включена в состав Stationary Office.

[Вернуться](#)

## 674

13 сентября 1759 г.: взятие Квебека явилось британской победой над Францией, когда Англия в союзе с Пруссией выступила против Франции, Австрии и России. – *Е. Б.*)

[Вернуться](#)

## 675

Льюку Хэнсэрду было два месяца, когда Англия перешла на Григорианский стиль, поэтому 2 сентября 1752 г. стало 12-м. Как гласит легенда, разъяренная толпа окружила парламент с возгласами: «Отдайте нам назад наши 11 дней!».

[Вернуться](#)

## 676

Отец Льюка Хэнсэрда – Томас Хэнсэрд (1727–1769), третий сын Джона Хэнсэрда из Ворстеда. Имя Хэнсэрд впервые встречается в 1170 г. и обозначает название мастера арбитражных сабель. Нет прямого указания на то, что это имя исконно принадлежит Норфолку (графство на юго-востоке Англии. – *Е. Б.*), хотя оно часто встречается здесь среди записей XVIII в.

[Вернуться](#)

## 677

Мать Льюка Хэнсэрда – Сара (1717—1794), дочь Ревда Вильяма Норфолка, приходского священника в Спилсбери, Линкольншир. Ее влияние на сына, который в 17 лет лишился отца., было доминирующим среди всех других влияний

[Вернуться](#)

## 678

Благотворительная школа для мальчиков из бедных семей.

[Вернуться](#)

## 679

В таком случае Хэнсэрда ждал бы университет и посвящение в духовный сан, но его мать предвидела, что без влияния и денег ее сын никогда не приобретет положения и на всю жизнь останется лишь приходским священником, сверх меры занимающимся своими обязанностями.

[Вернуться](#)

## 680

Льюк Хэнсэрд был отдан в начальную школу Kirton-in-Holland, основанную в 1720 г. Расположена она была на юго-востоке Англии, близ залива Уош. Хэнсэрд описывает ее лежащей среди «двух болот». (Вероятно, «второе болото» – это пролив Хамбер. – *Е. Б.*)

[Вернуться](#)

## 681

Дом тети Льюка Хэнсэрда со стороны матери, миссис Хигдон.

[Вернуться](#)

## 682

Так назвал своего коня Карл Великий (742—814), от «bay horse» – никого не подпускающая к себе лошадь. – *Е. Б.* Обрато же в Норидж Хэнсэрд с отцом ехали вдвоем на одной лошади, как это делал беднейший люд.

[Вернуться](#)

## 683

Переправа к процветающему в то время порту King's Lynn (настоящее название Ferry Street). Возможно, Хэнсэрды могли останавливаться во все еще существующей гостинице Crown & Mitre перед тем как отправиться в Норидж.

[Вернуться](#)

## 684

Стефен Уайт держал издательство Bible and Crown в начале 1765 г. в Норидже и дал объявление о том, что ему требуется ученик в еженедельной газете Norwich Mercury, 1 июня 1765 г., в связи с чем к нему в учение 13 числа был отдан Льюк.

[Вернуться](#)

## 685

Без сомнения, Хэнсэрд был формально связан с Уайтом, хотя имя первого не значится в Регистре корпорации: но здесь нет ничего удивительного, потому что в Норидже в XVIII в. не было принято оформлять учеников в регистре.

[Вернуться](#)

## 686

Льюк Хэнсэрд был достаточно догадлив для того, чтобы почти без посторонней помощи обучиться столь непростой науке. Стефен Уайт же, основавший свое дело в 1759 г., был еще весьма молодым человеком, поэтому становится понятным то, что он так часто предпочитал своим основным занятиям другие.

[Вернуться](#)

## 687

В 1769 г. Льюк Хэнсэрд был на четвертом году обучения.

[Вернуться](#)



## 688

Льюка Хэнсэрда восхищала подобная бережливость у женщин: он хвалил свою жену за то, что у нее была специальная коробочка, куда она откладывала деньги, несмотря на то, что у его жены уже давно ушла в прошлое необходимость откладывать деньги на «черный день».

[Вернуться](#)

## 689

Текст приведен по изданиям: *Замогильные записки Шатобриана 1768-1815*. СПб.: И. Глазунов и Комп., 1851. С. 2–52; *Шатобриан Ф.-Р. де*. *Замогильные записки*. пер. О. Э. Гринберг и В. А. Мильчиной. М.: Издательство им. Сабашниковых, 1995. С. 19–45. Сверено по: <http://www.poesies.net/chateaubriandmemoiredoutretombe.txt>.

Комментарии В. А. Мильчиной. Вступительная статья составлена редколлегией на основе предисловия В. А. Мильчиной «Эпопея человеческого сознания», опубликованного в издании 1995 г.

[Вернуться](#)

## 690

В издании 1851 года данная фраза переведена таким образом: «Богу было угодно назначить, чтобы обет безвестности и невинности сберег жизнь, которую грозила настичнуть суетная известность» (с. 13).

[Вернуться](#)

## 691

Tantum ergo – начальные слова католического песнопения, исполняемого перед благословением Святыми Дарами. Жак Картье (1491–1557) и Рене Дюге-Труэн (1673–1736) – знаменитые моряки, уроженцы Сан-Мало.

[Вернуться](#)

## 692

*Хэзлитт У.* Застольные беседы / изд. подготовили Н. Я. Дьяконова, А. Ю. Зиновьева, А. А. Липинская. М.: Ладомир; Наука, 2010. С. 54.

[Вернуться](#)

## 693

Текст в переводе Т. Ю. Стамовой приводится по журналу «Иностранная литература». 2011. № 3. Вступительная статья и комментарии Е. В. Халтрин-Халтуриной. Подробнее см.: *Халтрин-Халтурина Е. В.* Ключ к поэме Вордсворта «Прелюдия, или Становление сознания поэта» // Известия РАН. Серия Литературы и языка. 2007. Т. 66. № 2. С. 54-62; *она же.* «Поэзия воображения» в Англии конца XVIII – начала XIX в. (стилевая динамика в эпоху романтизма). Автореф. дисс. М., 2012.

[Вернуться](#)

## 694

Ср. фрагмент «Влияние природы на воображение в детстве и ранней юности» в пер. М. Фроловского в издании: *Вордсворт У.* Избранная лирика. сост. Е. Зыкова. М.: Радуга, 2001.

[Вернуться](#)

## 695

Перевод выполнен Т. Бодякиной, О. Кошелевой и В. Безрозовым по изданию: *De Quincey T.* Selections Grave and Gay, from Writings, Published and Unpublished, of Thomas De Quincey, Revised and Arranged by Himself. 14 vols/ Edinburgh, 1853– 1860. Vol. 1. Вступительная статья О. Е. Кошелевой и В. Г. Безрогова.

[Вернуться](#)

## 696

Исходя из интересов повествования, когда, просто в целях ясности, становится необходимо привлечь внимание к персональным различиям в моем семействе, которые в другом случае были бы не так важны, я привожу здесь полный список моих братьев и сестер, в соответствии с порядком их появления на свет; и подобно Мильтону я включаю себя; имея, несомненно, так же много логических оснований включить себя в ряд моих собственных братьев, как Мильтон смог объявить Адама наиболее привлекательным из его собственных сыновей. С первого до последнего нас было восемь детей – четыре брата и четыре сестры, хотя никогда нас не было больше шести, живущих одновременно. <sup>1</sup>. Уильям, старше меня более чем на 5 лет. <sup>2</sup>. Элизабет. <sup>3</sup>. Джейн, которая умерла на четвертом году. <sup>4</sup>. Мэри. <sup>5</sup>. Я, конечно, не самый привлекательный из людей, особенно с тех пор, как родились мои братья. <sup>6</sup>. Ричард, которого все звали домашним именем Пинк (Здоровяк); он все свои последние годы прокачался вверх-вниз по волнам, почему и может быть назван британским повелителем океанов (Атлантического и Тихого), в качестве корабельного гардемарина, до тех пор, пока Ватерлоо в один день не поглотило целое поколение гардемарин, положив конец всем дальнейшим призывам для создания таких служб. <sup>7</sup>. Вторая Джейн. <sup>8</sup>. Генри, родился после смерти отца, учился в Бразенрудском колледже, Оксфорд, и умер около 26 лет от роду.

[Вернуться](#)

## 697

Цицерон в хорошо известном отрывке из «Этики» говорит о торговле как о бесплодном занятии, если она мелкая, но не как о такой уж абсолютно преступной, если она оптовая [автор имеет в виду *De officiis*, I, 42, 151 – *Примеч. ред.*].

[Вернуться](#)

## 698

Агарь – египтянка, служанка Сарры, жены Авраама, и мать Измаила (Быт 16:20). – [*Примеч. сост.*]

[Вернуться](#)

## 699

См.: *Марк Аврелий Антонин*. Размышления. М., 1985. – [*Примеч. сост.*]

[Вернуться](#)

## 700

Это правда, что тогда болеутоляющий эликсир давали иногда детям при простуде и что в этом лекарстве есть небольшая пропорция настойки опия. Но ни одно лекарство не выдавалось ни одному члену нашей детской без медицинского указания, и оно, конечно, не было получено в моем случае, поскольку мне было не более 21 месяца, а в этом возрасте действие опиума непредсказуемо и потому его применение рискованно.

[Вернуться](#)

## 701

«Ореол» – название, данное в «Легендах о христианских святых» золотой диадеме или кругу сверхъестественного света («слава», как это обычно называют в английском языке), которой великие мастера живописи в Италии окружали головы Христа и выдающихся святых.

[Вернуться](#)

## 702

Ее врачами были доктор Персифаль, хорошо известный образованный врач, который был корреспондентом Кондорсе, Д'Аламбера и др.; и мистер Чарльз Уайт, наиболее выдающийся хирург того времени на севере Англии. Он объявил ее голову наиболее

прекрасно развитой из тех, что он когда-либо видел, – утверждение, которое, по моим собственным сведениям, он повторял в последующие годы и с энтузиазмом. Можно предположить, что он имел определенное знакомство с предметом, поскольку на ранней стадии подобных исследований он опубликовал работу по человеческой краниологии, подкрепленную измерениями голов, отобранных из каждой человеческой разновидности. Однако же, поскольку меня огорчило бы, если может показаться, что в мои записи прокралось тщеславие, я признаю, что моя сестра умерла от гидроцефалита; и часто предполагалось, что преждевременное развитие интеллекта в случае такого порядка всегда патология, форсированная фактически простым возбуждением болезни. Я бы, однако, поддержал, как возможность, совершенно противоположный порядок отношений между болезнью и интеллектуальными проявлениями. Не болезнь всегда является причиной сверхъестественного роста интеллекта, а наоборот, рост интеллекта, развивающегося спонтанно и опережающего физические возможности, вероятно, послужил причиной болезни.

[Вернуться](#)

## 703

«Я стояла в невообразимом трансе И агонии, которые невозможно вспомнить» (Речь Альхадры в «Раскаянии» С. Т. Колриджа).

[Вернуться](#)

## 704

Я не знаю, является ли это название в употребленном мною смысле местным. То, что я им обозначаю, – своего рода каминная решетка, высотой четыре или пять футов, которая загораживает огонь от приближения к нему детей.

[Вернуться](#)

## 705

[Вербного] воскресенья, праздника англиканской церкви. – [Примеч. сост.]

[Вернуться](#)

## 706

Ради многих читателей, чьи сердца имеют возможность искренне следовать за рассказом о детском несчастье, но чей жизненный путь не позволил им иметь достаточно свободного времени для образования, я прервусь, чтобы объяснить, что голова Мемнона, находящаяся в Британском музее, величественная голова, носит на своих губах улыбку, соизмеримую со всем временем и всем пространством, эолийскую улыбку милосердной любви и подобной Пану тайны. Это самое проникновенное и возвышенное чудо, созданное рукой человека. Фигура, согласно античным авторам, издавала звучание на восходе солнца или сразу же после того, как солнечные лучи повышали температуру настолько, чтобы воздух в некоторых углублениях изваяния становился разреженным и создавал торжественный и панихидоподобный ряд звуковых интонаций. Есть простое объяснение, вполне укладывающееся в общую схему, что эти звучные потоки воздуха бывали произведены по причине того, что слои холодного и тяжелого воздуха давили на другие слои воздуха, теплого и разреженного, и потому легко уступающего давлению более тяжелого воздуха. Таким же образом потоки воздуха, направляемые искусственным устройством труб, образуют определенную последовательность согласованных звуков. Около Красного моря находится цепь песчаных холмов, которая благодаря естественной системе углублений, соединяющихся друг с другом, становится звучащей при изменении положения солнца на горизонте. Я знал мальчика, который после постоянных наблюдений и размышлений над явлениями, встреченными ему в его ежедневных опытах, в частности над тем, что трубы, через которые проходил поток воды, издавали разный звук в соответствии с изменением ее напора, изобрел инструмент, который производил грубую гидравлическую гамму звуков. И действительно, на этом простом явлении основана работа и использование стетоскопа. Точно так, как тонкая струйка воды,

сочающаяся через свинцовую трубу, производит резкий и жалобный звук, который можно сравнить с полным объемом звука, производимого полным объемом воды, – так же, без сомнения, и поток крови, льющейся по сосудам человеческого организма, будет издавать для тренированного уха, вооруженного стетоскопом, сложные музыкальные гаммы и диапазон, фиксируя разрушительное действие болезни или великолепные кладовые здоровья, – так правдиво, как углубления в древнем изваянии Мемнона, возможно, сообщали о восходе солнца возрождающемуся миру света и жизни или снова под грустной тоской умирающего дня звучал сладостный реквием, сопровождающий закат.

[Вернуться](#)

## 707

Вид мелодии, получивший название от Эолиды – области на эгейском побережье Малой Азии. – [*Примеч. сост.*]

[Вернуться](#)

## 708

Вечный Жид (Агасфер), осужденный на бездомное бессмертие до второго пришествия Христа, апокрифический персонаж. – [*Примеч. сост.*]

[Вернуться](#)

## 709

1 Кор. 15, начиная с 20-го стиха.

[Вернуться](#)

## 710

Я достаточно уверен, что это красивое выражение должно принадлежать госпоже Троллоп. Я прочел его, вероятно, в одном из ее рассказов, связанных с лесной глушью Америки, где отсутствие такого прощания должно невыразимо ухудшить погружение во мрак среди теней ее могучих лесов.

[Вернуться](#)

## 711

«Галереи» хотя и осуждены по некоторым причинам реставраторами подлинной церковной архитектуры, имеют, однако, одно преимущество: если высота церкви – то измерение, которое больше



всего выражает ее священный характер, то галереи объясняют и интерпретируют эту высоту.

[Вернуться](#)

## 712

Литания — молитва, состоящая из прошений. — [*Примеч. сост.*]

[Вернуться](#)

## 713

Видимо, речь идет о карте мира, составленной по указанию государственного деятеля Древнего Рима Марка Випсания Агриппы (64–12 гг. до н. э.). — [*Примеч. сост.*]

[Вернуться](#)

## 714

Biogr. Litt., introd.

[Вернуться](#)

## 715

См.: Еврипид Медея.

[Вернуться](#)

## 716

Одинаковое в разном (лат.).

[Вернуться](#)

## 717

Это поразительное явление постоянно описывалось немецкими и английскими авторами за последние 50 лет. Многие читатели, однако, не встретятся с этими описаниями, и для них я добавлю несколько объяснительных слов, отсылая их, однако, к лучшему научному комментарию по поводу этого случая – к сэру Дэвиду Брюстеру и его «Естественной магии». Призрак принимает форму человеческой фигуры, или, если посетителей много, то призраки множатся; они размещаются на синем поле неба или темной поверхности любых облаков, которые могут находиться в правой четверти, или, возможно, призраки выступят рельефом напротив тени скалы, на расстоянии в несколько миль, и всегда имеют гигантские размеры. Сначала из-за расстояния и колоссального размера каждый наблюдатель предполагает, что появление призрака будет весьма независимо от него. Но очень скоро он будет удивлен тем, что наблюдает имитацию своих собственных движений и жестов, и приходит к убеждению, что призрак – всего лишь увеличенное отражение его самого. Этот Титан среди видений земли особенно капризен, он внезапно исчезает по причинам, хорошо известным только ему самому, и он более скромен в движении вперед, чем Леди Эхо Овидия. Одна причина, почему его так редко видят, должна быть приписана стечению обстоятельств, только при наличии которых явление может появиться; солнце должно быть около горизонта (что непосредственно подразумевает время дня, неудобное человеку, начинающему свое путешествие со станции, такой отдаленной, как Эльбингероде); наблюдатель должен стоять спиной к солнцу; и воздух должен содержать некие испарения, но частично разреженные. Кольридж поднимался на Брокен на Троицу 1799 г. с группой английских студентов из Геттингена, но не сумел увидеть призрак; впоследствии в Англии (и при тех же самых условиях) он увидел множество редких явлений, которые он описал.

[Вернуться](#)

## 718

Именно на Троицу было зафиксировано намного больше проявлений призрака, чем в какой-либо другой день, – возможно, вследствие температуры и погоды, преобладающей ранним летом.

[Вернуться](#)

## 719

«Волшебный цветок» и «волшебный алтарь». Эти названия все еще держатся в языке по отношению к анемону Брокена и к обломку гранита в виде алтаря около одной из вершин; и нет сомнения, что они оба связаны через древнюю традицию с мрачными проявлениями язычества, когда весь Гарц и Брокен в течение долгого времени служили последним прибежищем свирепому, но гибнущему идолопоклонству.

[Вернуться](#)

## 720

На римских монетах времени ее подчинения Риму.

[Вернуться](#)

## 721

Перевод, вступительная статья и комментарии К. И. Голыгиной. Текст приведен по изданию: *Шэнь Фу*. Шесть записок о быстротечной жизни. М.: Наука, 1979. С. 23, 51–52, 95–97.

[Вернуться](#)

## 722

Цяньлун (1736–1796) – четвертый император маньчжурской династии Цин (1644–1911).

[Вернуться](#)

## 723

Су Ши – китайский поэт (1036–1101).

[Вернуться](#)

## 724

Шаньинь – уезд в провинции Шаньси. Ханчжоу – город на берегу озера Сиху.

[Вернуться](#)

## 725

«Сухой сад» – термин, употребляемый в дискурсе о садовом искусстве. Сад из камней, без ручьев, водоемов, а иногда даже и без растительности.

[Вернуться](#)

## 726

Беседка орхидей расположена недалеко от Шаньиня. Установлена в честь Ван Си-чжи (321—379), поэта и самого знаменитого каллиграфа в истории Китая; Великий Юй – мифический император, основатель династии Ся, ему приписывается усмирение стихии потопа и устройство каналов.

[Вернуться](#)

## 727

Красивое и наиболее популярное в Китае озеро, расположено к западу от Ханчжоу; этот искусственный водоем был вырыт при династии Тан, в VIII в.

[Вернуться](#)

## 728

Источник назван в честь Оуян Сю (1007–1072). Знаменитый писатель взял себе псевдоним Лю-и – Один из шести, разьяснив его так: «В доме моем хранятся книги – один десяток тысяч томов, да собрано древних надписей на бронзе и камнях – одна тысяча, есть одна цитра, одна доска для игры в шахматы, да один чайник для вина. Так разве я, старец, давно живущий среди этих пяти предметов, не есть шестой по счету, один из шести?»

[Вернуться](#)

## 729

Озеро было местом прогулок обитательниц веселых кварталов.

[Вернуться](#)

## 730

*Natov R. The poetics of childhood. London: Routledge, 2003; Coe R. N. When the Grass was Taller. Autobiography and the Experience of Childhood. New-Haven: Yale University Press, 1984.*

[Вернуться](#)

## 731

*Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопр. философии. 1988. № 4. С. 139.*

[Вернуться](#)

## 732

Природа ребенка в зеркале автобиографии. М., 1998; *Безрогов В. Г. и др. Педагогическая антропология: феномен детства в воспоминаниях. М., 2001; Davis R. G. Begin here: reading Asian North American autobiographies of childhood. Honolulu, 2007; Douglas K. Contesting Childhood: Autobiography, Trauma and Memory. New Brunswick, 2010; Rokosz-Piejko E. Hyphenated Identities. The Issue of*

Cultural Identity in Selected Ethnic American Autobiographical Texts. Rzeszów, 2011; *Рождественская Е. Ю.* Биографический метод в социологии. М., 2012; *Spearing A. C.* Medieval Autographies: The "I" of the Text. Notre Dame, 2012; *Hardwick L.* Childhood, Autobiography and the Francophone Caribbean. Liverpool, 2013; *Wang Q.* Autobiographical Self in Time and Culture. Oxford, 2013; *Aust M.* Imperial Subjects. Autobiographische Praxis in den Vielvölkerreichen der Romanovs, Habsburger und Osmanen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Köln, 2015; Von sich selbst erzählen: Historische Dimensionen des Ich-Erzählens. Hrsgs. S. Glauch, K.Philipowski. Heidelberg, 2017; etc.

[Вернуться](#)